Владислав

# КРАПИВИН

## МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ



РУССОВ ПРОСТРАНСТВО

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ:

# Мальчик со шпагой (Сборник)

## Владислав Петрович Крапивин

Аннотация
Владислав КРАПИВИН. «Мальчик со шпагой»
МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ
* * *
Часть первая. ВСАДНИКИ НА СТАНЦИИ РОСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Часть вторая. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС СЕРЁЖИ КАХОВСКОГО
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
Часть третья. ФЛАГ-КАПИТАНЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эпилог. БАРАБАНЩИКИ, МАРШ!
БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК
Часть первая. ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»
КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ
НАД ВСЕЙ РОССИЕЮ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ
РОДОСЛОВНАЯ
ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА
РАРИТЕТ
ЦИФИРЬ
УЛИЦА П. МОРОЗОВА
КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУНТ
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
МЫС СВЯТОГО ИЛЬИ
СНОВА О ФРЕГАТЕ «РАФАИЛ»
ПАРОХОД «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Часть вторая. «ТРЕМОЛИНО»
ФОНАРЬ И КОМПАС
ДЖОЗЕФ КОНРАД И МУЗЫКА
ГЕРОИ И НЕ ГЕРОИ
ПУСТОЙ ДОМ
ПИКЕТ
РАВНОДЕНСТВИЕ
ТЕМНОЕ КРЫЛО
ЗЮЙД-ЗЮЙД-ВЕСТ
ИСКРА НА НОСУ
ЧТО ОН ДЕРЖАЛ В РУКЕ
МЕДНЫЕ РУЧКИ
ОГНЕННЫЙ КЛЕН
ЭПИЛОГ

## Аннотация

Герои одного из наиболее известных романов В. Крапивина «Мальчик со шпагой» — юные фехтовальщики из отряда «Эспада». Доброта и справедливость, верная дружба и рыцарство, ответственность за свои поступки и готовность отстаивать правду — не пустые слова для этих ребят. Они свято следуют своему кодексу чести в жизни — реальной, но в то же время граничащей со сказкой.

О судьбе героев в наше время рассказывает завершающая часть дилогии — роман «Бронзовый мальчик».

# Владислав КРАПИВИН
# «Мальчик со шпагой»

# МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ

* * *

*РЕБЯТА, в этой книге рассказывается о мальчишке, который очень верил в дружбу, в честность и доброту. И считал, что все люди должны быть справедливыми друг к другу. А ещё он верил в свою сказку про всадников, которые приходят на помощь в очень трудные минуты. Верил так крепко, что не сказочные, а настоящие всадники в звёздных шлемах примчались ему на выручку, когда случилась беда...*

*Когда журнал «Пионер» печатал повести об этом мальчике — Серёже Каховском,— в редакцию приходили письма. Мальчишки и девчонки писали Серёже, просили его адрес, очень хотели с ним подружиться.*

*А отвечать на письма пришлось мне.*

*Дело в том, что такого Серёжи, по фамилии Каховский, я не знал.*

*Кое-кто из читателей, наверное, обидится: «Значит, нас обманули!» Нет, ребята. Просто в книгах не описывается всё в точности, как случилось в жизни. Ведь и художник, когда рисует картину, не делает её похожей на фотоснимок.*

*Серёжи Каховского не было. Не было и отря-*

*да с названием «Эспада». Но всё время, когда я писал «Мальчика со шпагой», рядом со мной были ребята, очень похожие на Серёжу. Рядом со мной, вместе со мной рос и работал, шагал через поражения и радовался победам такой же, как «Эспада», пионерский отряд — отряд юных моряков, юнкоров и фехтовальщиков.*

*Я точно знаю: не будь этих ребят — не было бы и «Мальчика со шпагой».*

*И потому эту книгу я посвящаю своим лучшим друзьям: матросам, подшкиперам и барабанщикам, штурманам и капитанам, флаг-капитанам и флагманам отряда «Каравелла».*

***Владислав Крапивин***

## *Часть первая*
## *ВСАДНИКИ НА СТАНЦИИ РОСА*
### 1

Хорошее было у станции название. Очень для нее подходящее. Мальчик пришёл сюда рано утром, и, пока он брёл от дороги к домику, брюки у него до колен вымокли от росы. Потому что кругом стояли высокие травы и на них дрожали крупные водяные шарики. В шариках зажигались огоньки: малиновые, золотые, синие.

Мальчик подошел к скамейке, поставил чемодан, бросил на него потертую рыжеватую курточку, сел и стал ждать поезд.

Ждал он долго и терпеливо.

Огоньки в траве давно погасли, пришёл июльский безоблачный полдень.

Станционный домик стоял среди лопухов и высокой овсяницы. Он был небольшой, светло-коричневый, с белыми кружевными карнизами. На острой башенке весело торчал жестяной петух. Он будто высматривал, не спешит ли сюда из-за дальних лесов какой-нибудь поезд. Но поезда появлялись редко: станция располагалась не на

главной дороге, а на боковой ветке.

У крыльца, в палисаднике, стояла гипсовая скульптура: мальчик и жеребенок. Низенький постамент скрывался в траве, и можно было подумать, что мальчик с жеребенком стоят прямо на земле. Будто они играли на соседнем лугу и на минутку забежали на станцию взглянуть на круглые часы: не пора ли обедать? Наверно, было еще не пора, потому что они затевали новую игру. Мальчик правой рукой обнял жеребенка за шею и чуть нагнулся, словно хотел что-то ему на ухо прошептать. Жеребенок стоял смирно, однако в каждой жилке его звенело нетерпение. Он будто говорил: "Я тебя люблю и слушаюсь, но давай поскорее перестанем шептаться и пойдем еще поскачем".

Так, по крайней мере, казалось маленькому пассажиру. Ему нравились гипсовые мальчик и жеребенок, чем-то похожие друг на друга — оба тонконогие, ловкие и, конечно, веселые, — и он смотрел на них как на товарищей. И даже немного им завидовал. Но все-таки они были не настоящие.

Мальчик на скамейке вздохнул и перевел взгляд.

Дверь в дом была открыта. В маленьком, стан-

ционном зале громыхала ведрами пожилая уборщица. За домом поднимался зеленый солнечный бугор с редкими и очень прямыми березами. За березами виднелись крыши и антенны дачного поселка. Еще дальше темнел сосновый лес. Он огибал станцию с трех сторон. А на юге, за рельсовой линией, уходили к реке светлые луга и кустарники.

Было жарко и тихо (только ведра погромыхивали). Пахло смолой и гудроном от разогретых шпал.

Из-за бугра пришёл серый клочкастый пес. Ростом с козу. У него были полустоячие уши, толстые лапы и озабоченная морда. Он сунулся было в дверь, но увидел уборщицу и попятился, поджав похожий на веер хвост. Улизнув от двери, пес принял независимый вид и деловито оглянулся. Тут он заметил мальчика.

С полминуты они разглядывали друг друга с любопытством и чуть настороженно. Потом пес медленно двинулся к мальчику и остановился в трех шагах.

— Чего тебе? — сказал мальчик. Сказал не сердито, а с неловкостью, как говорят с маленькими детьми, когда не умеют с ними обращаться и боятся обидеть.

Пес нерешительно махнул хвостом. Один раз.

Мальчик чуть улыбнулся. Щелкнул замком чемоданчика и поднял крышку. Пес сделал еще шаг, торопливо сел, наклонил голову и совсем по-человечьи моргнул. Мальчик вынул газетный сверток с дорожным запасом. Это были два ломтика хлеба, а между ними — котлета. Песий хвост засвистел и замелькал, как пропеллер, с пушистых одуванчиков стайками взлетели семена-парашютики и осели у мальчика на брюках. Он засмеялся, разломил котлету и бросил половину псу.

Мальчик думал, что кусок моментально исчезнет в собачьей пасти. Но пес, получив угощение, перестал вертеть хвостом, лег и начал жевать котлету, деликатно придерживая лапой. При этом поглядывал на мальчика благодарно и хитровато. Другую половину котлеты мальчик съел сам.

Потом они поделили хлеб. Он был не такой вкусный, как котлета, но пес охотно сжевал весь кусок и выразительно посмотрел на мальчика: "Нет ли еще?"

— Все, — сказал мальчик.

Пес глазами показал на газету: "А это?"

— Это же просто бумага. Видишь? — Мальчик

повертел перед ним смятый газетный лист.

Пес не прочь был пожевать и бумагу, пропитанную таким вкусным котлетным запахом, но мальчик не понял. Он скомкал газету и оглянулся: куда бы кинуть? Кругом было чисто. В траве палисадника и на дорожке мальчик не заметил ни окурков, ни бумажных клочков. К тому же сердитое побрякивание ведер напоминало, что мусорить на станции не следует. Уборщица уже вымыла пол внутри дома и мыла крыльцо. Мальчик подошел к ступеням.

— Скажите, пожалуйста, куда можно бросить бумагу?

Уборщица выпрямилась и глянула с высоты. Она сделала вид, что лишь сию секунду заметила мальчика, хотя давно украдкой наблюдала за ним. Она знала, что от мальчишек добра не бывает. Бывают лишь вытоптанные клумбы, шум, беспорядок, а то и окурки по углам. Она привыкла обходиться с этим народом сурово. Но сейчас привычка боролась в ней с симпатией к незнакомому парнишке — спокойному, удивительно ясноглазому, не похожему на скандальных поселковых пацанов.

Наконец она снисходительно сказала:

— Если уж так порядок любишь, снеси вон туда,

за угол. Там мусорный ящик есть.

Он кивнул и неторопливо зашагал по тропинке, протоптанной вдоль кирпичного фундамента. Пес неодобрительно взглянул на уборщицу и пошел за мальчиком. Они свернули за угол.

Уборщица смотрела мальчику вслед. "Ишь какой, — думала она со скрытым удовольствием. — Не хулиганистый, ладненький мальчонка. Родители, видать, культурные..."

Потом она взглянула на скамейку, где мальчик оставил вещи. Курточка сползла со спинки и свалилась в траву. Женщина вытерла о подол руки, спустилась с крыльца и подняла куртку. "Из лагеря возвращается, — подумала она. — Чего же это он один-то? Самостоятельный..."

...К большому огорчению пса, мальчик бросил вкусную газету в побеленный дощатый ящик и хлопнул крышкой. Пес вздохнул и сел.

— Что вздыхаешь? — спросил мальчик. — У тебя тоже неприятности?

Пес замахал хвостом. Он как бы говорил: "Неприятности — чушь. Если хочешь, я готов быть веселым".

— Ты смешной, — сказал мальчик. — Ушастый, хвостастый, блохастый.

Пес наклонил набок голову. Одно ухо встало у

него торчком, а другое совсем упало и закрыло глаз.

Мальчик засмеялся:

— Чучело репейное. Как тебя зовут?

Пес вдруг подскочил и припал на передние лапы. Он приглашал поиграть. Морда у него стала дурашливая и озорная.

— А ты меня нечаянно не слопаешь? — спросил мальчик.

Пес замотал головой так, что уши захлопали: "Ни в коем случае!"

Мальчик шлепнул его по косматому загривку:

— Ты ляпа! Догоняй! — и помчался по траве.

Разинув большую розовую пасть, пес рванулся за ним. Он тут же догнал мальчика и постарался ухватить его за ногу. Мальчик споткнулся и полетел в упругие заросли репейника. Пес вцепился в его штанину. Обрадованно заурчал. Но при этом косился золотистым взглядом: "Тебе не больно? Ты не ушибся?"

— Эй-эй! — крикнул мальчик. — Брысь со своими зубами! Не имеешь права!

Он тряхнул ногой и вскочил. Пес отпрыгнул и ждал, махая хвостом.

— Смотри, что ты грызешь, — укоризненно сказал мальчик. — Мои заграничные штаны. На

них твой портрет, а ты — зубами…

Он повернулся к собаке задним карманом. Карман украшала кожаная заплата с отпечатанной головой овчарки и буквами "Szarik". Это был знаменитый Шарик из польского фильма "Четыре танкиста и собака". Но кудлатый станционный пес не смотрел многосерийных телефильмов, и ему было все равно. Он снова примерился, как бы сцапать мальчика за штанину.

— Ах, ты так?!

Мальчик прыгнул к нему и хотел повалить в траву, но пес увернулся и зигзагами бросился наутек.

— Догоню! — крикнул мальчик.

И правда догнал, хотя и не сразу. Хлопнул пса по кудлатой спине:

— Ты опять ляпа! А ну, поймай!

И пес бросился за ним… Он понял, что такое игра в "ляпки"…

Наконец они устали. Мальчик сел на старую шпалу в тени красной трансформаторной будки, похожей на часовенку. Пес встал перед ним, вывесил язык и моргал желтыми глазами.

— Ты хороший, — сказал мальчик. — Ты совсем не чучело. Я пошутил.

Пес одобрительно задышал, подошел вплотную

и сунул морду мальчику под мышку.

— Пойдем, — сказал мальчик. — Вдруг у меня украли чемодан со скамейки? Тогда мы с тобой бросимся по следу и поймаем преступников. Согласен?

Пес был на все согласен. Они пошли в станционный скверик. Чемодан оказался на месте, куртка тоже. Да и кто их мог взять? На всей станции, кроме мальчика, было всего три человека: в глубине дома дремал пожилой дежурный, в комнатке с квадратным окошечком шелестела журналом кассирша, а недалеко от крыльца чистила медный колокол уборщица. Она стояла на табурете и драила колокол тряпкой с белым порошком. Солнце отражалось в начищенной меди, как большая лучистая звезда.

Мальчик и пес подошли, и уборщица глянула на них неласково. Теперь мальчик не казался ей таким уж культурным и воспитанным. Был он помят и взъерошен, на рубашке и брюках висели серые шарики репейника, в спутанных светлых волосах торчали мелкие листики и обрывки травы.

— Извините, — сказал мальчик. — Вы не знаете, как его зовут? — Он притянул к себе пса за шею.

— Этого-то зверя? — спросила уборщица хмуро

и пренебрежительно. — Да никак его не зовут. Как его звать, если он бесхозяйный? Как хошь, так и зови. Он на все откликается, лишь бы кормили.

— Значит, он ничей?

— Может, и был чей, а сейчас не поймешь. Ребятня притащила откуда-то, а в дом никто не пускает. Кусок кой-когда кинут, ну и все… Кто Полканом кличет, кто Жучкой, кто Фантомасом.

— Спасибо, — сказал мальчик. Ему хотелось еще что-то спросить, но он не решался.

Псу было неуютно тут, рядом с сердитой женщиной, у которой в руках тяжелая тряпка. Он переступал передними лапами и нетерпеливо поглядывал на мальчика: "Пойдем отсюда, а?"

— Извините, что я вас отвлекаю, — сказал мальчик. — Я только хотел спросить: если его здесь не будет, о нем никто не станет беспокоиться?

— Да кому он нужен-то? Все равно когда-нибудь пристрелят за то, что кур гоняет.

— Видите, почему я спрашиваю… Я хочу его взять к себе домой, если он правда ничей.

— Такую лахудру? — изумилась уборщица. — Да мать-то вас обоих из дому веником выгонит!

Мальчик тихо сказал:

— Что вы! Никто не выгонит. Значит, я могу

его взять?

— Да забирай на здоровье. Такое сокровище…

— Спасибо, — еще раз сказал мальчик и отступил к своей скамейке.

## 2

Человек устроен так, что ему обязательно нужен приют. Если он едет в вагоне, то привыкает к своей полке, и ему кажется, что эта полка — его маленький дом. Если он устраивается на ночлег в лесу под сосной, то сразу начинает отличать свою сосну от других: это дерево приютило его, и оно теперь ему ближе, привычнее, чем остальные.

Так и скамейка. Мальчик провел на ней почти полдня и привык.

Скамейка была сколочена из длинных деревянных брусков и покрашена в зеленый цвет. Давно покрашена. Бруски потрескались, краска отскакивала от дерева острыми сухими пластинками. Мальчик, пока сидел, потихоньку отколупывал их вокруг того места, где было вырезано слово "Алеша". Ему почему-то казалось, Алешей зовут гипсового парнишку. Мальчик поглядывал на него, но тот был занят, конечно, своим жеребенком.

Иногда мальчик вставал, чтобы напиться воды из бачка в пустом зале ожидания или погулять вокруг станции, а потом снова возвращался на скамейку, под ветки желтой акации — как домой. И снова сидел: ждал, когда пройдут долгие шесть часов и появится поезд.

Ему казалось, что ждет он очень давно, целую неделю. И целую неделю видит перед собой этот железнодорожный теремок, жестяного петуха на крыше, медный колокол и белую эмалированную табличку с синей надписью "ТЕЛЕФОНЪ" (сразу было понятно, что висит она тут с незапамятных времен, когда бегали по здешним рельсам паровозики, похожие на самовары).

У мальчика была привычка: от скуки читать все надписи задом наперед. Но слово "телефонъ" мальчик не мог прочитать наоборот из-за твердого знака. И от этого делалось еще скучнее.

Так было, пока не пришёл пес.

Пес оказался добрый и веселый. И когда мальчик понял, что эта ничья собака стала теперь его и не надо никогда с ней расставаться, все прошлые горести показались ему пустяками.

Он подвел пса к своей скамейке.

— Мы будем жить вместе. Понял? Ты меня не бросишь?

Пес фыркнул, чихнул и замотал головой: то ли семя одуванчика влетело ему в ноздрю, то ли вопрос мальчика показался оскорбительным.

— Молодец ты, умница. Только как мы с тобой поедем в поезде? Подожди-ка…

Мальчик достал из кармана складной ножик и расстегнул брючный ремешок. Ремень был длинный и опоясывал худенького хозяина почти два раза. Мальчик отрезал лишний конец. Затем проколол в отрезанном куске несколько дырок, вытащил из другого кармана колечко медной проволоки, протянул ее сквозь отверстия.

— Ну-ка, давай голову, примерю ошейник.

Пес отнесся к приглашению без восторга. Но не спорил. Он терпеливо ждал, когда мальчик закрепит у него на шее непонятную штуку.

— Ну вот, — с удовольствием сказал мальчик. — Теперь ты не бродяга, а вполне законная собака. И ничего, что ты худой и кудлатый. Ты еще станешь гладкий и красивый, когда подрастешь. Ты ведь еще не взрослый, хотя и большой. Ты почти щенок.

При последнем слове пес торчком поставил оба уха и моргнул.

— Ще-нок… — ласково повторил мальчик.

Пес переступил, передними лапами и усиленно

замахал хвостом.

Мальчик засмеялся:

— Нравится? Я и буду звать тебя Ще-Нок. А когда вырастешь, "Ще" мы отбросим.

Он вытащил из чемодана, из-под маек и рубашек, старенькие кеды, выдернул из них шнурки. Потом соединил шнурки узлом и один конец привязал к ошейнику. Поводок получился непрочный, но он ведь и нужен был только для вида: пес, по имени Ще-Нок, и без привязи не отходил от своего хозяина ни на шаг.

— Пошли, — сказал мальчик.

Они отправились к кассе, и мальчик вежливо побеспокоил молоденькую кассиршу, увлеченную журналом мод:

— Скажите, пожалуйста, для собаки надо брать билет?

— А как же! Если до города — тридцать две копейки.

Мальчик обрадованно подмигнул псу: денег хватало. Теперь они оба станут пассажирами. Билет — это документ. Это доказательство, что Нок в самом деле его собака.

Он взял пса за ошейник.

— Пошли, товарищ пассажир.

И в этот момент мальчик увидел у своей ска-

мейки человека.

Мальчик совсем не хотел с ним встречаться. Это был физрук лагеря Станислав Андреевич. Конечно, оказался он здесь неспроста.

Физрук пока не видел мальчика. Но все равно нельзя было ни спрятаться, ни убежать. Убегает и прячется тот, кто виноват. Или тот, кто боится. А мальчик знал, что не виноват, и не боялся. Правда, он испытывал тоскливое чувство: смесь унылой тревоги и досады, но это был совсем не страх.

Придерживая пса, мальчик медленно подошел к скамейке.

— А-га… — растянуто сказал Станислав Андреевич. — А то я смотрю: вещички здесь, а хозяина нет… Ну как? Набегался?

— Я не бегал.

— Ну… нагулялся, значит, — сказал физрук примирительно.

— Я не гулял. Я поехал домой, вы знаете.

— Смотри-ка ты, домой! — воскликнул Станислав Андреевич почти весело. — Ладно, друг, кончай дурака валять. И давай топать в лагерь, а то к обеду не поспеем. Да не бойся, ничего тебе не будет, это я по секрету могу сказать.

Мальчик удивился:

— "Не будет"? Я и не боюсь, что "будет". Я просто решил уехать домой.

— Обиделся!

Мальчик вскинул глаза:

— А что? Человек не имеет права обижаться?

— Человек... Если всякий будет на ерунду обижаться да из лагеря бегать, что тогда?

— Во-первых, это не ерунда, — четко сказал мальчик. — Во-вторых, я не убегал. Я сказал, что уйду, и ушел. Начальник сам говорил: "Убирайся!"

— А ты и обрадовался! Мало ли что человек может сгоряча сказать! Может, ты хочешь, чтобы он у тебя прощения попросил?

Мальчик подумал:

— Нет, не хочу. Да он и не будет.

— Слава богу, догадался. Сам во всем виноват, а еще выкаблучиваешься.

— Я? Виноват? — опять удивился мальчик.

Станислав Андреевич вздохнул и сказал добродушно:

— Ну ладно, парень. Не будем спорить, кто виноват. Я про эту историю подробно и не знаю. Мне что нужно? Чтобы ты в лагерь вернулся.

Мальчик мотнул головой:

— Не вернусь я... Теперь я уж совсем не могу,

даже если бы и хотел. Видите, у меня собака. Куда ее девать? В лагерь ведь не пустили бы… Нок, лежать! — Он ладонью нажал псу на загривок, и тот неохотно лег.

Физрук с усмешкой спросил:

— Где ты подобрал эту зверюгу?

— Подарили.

— Ну и подарочек… За версту видно, что он дурак и трус.

— Мне и такой хорош, — сдержанно сказал мальчик.

Станислав Андреевич щелкнул языком. Пес шевельнул хвостом, добродушно разинул розовую пасть и вопросительно глянул на мальчика. Тот сделал шаг вперед, словно хотел загородить собаку от чужого человека.

— Выходит, ты променял весь лагерь на бродячего пса, — сказал Станислав Андреевич.

Мальчик слегка растерялся:

— Да ничего я не менял… Ну при чем здесь ваш лагерь? Он без меня проживет. А собака не проживет. Мне ее отдали, значит, я за нее отвечаю.

— А за тебя отвечает коллектив. И администрация, — внушительно сказал физрук. — И покидать лагерь ты не имеешь права.

— А почему?

— Потому что порядок должен быть. Вот пускай приедут родители, напишут заявление, что хотят забрать тебя, и тогда — до свидания.

— Как же они приедут? Они не знают…

— Напиши им.

— "Напиши"… — насмешливо откликнулся мальчик.

— Да ладно тебе, — кисло сказал Станислав Андреевич. — Ты много о себе воображаешь. Думаешь, будто кому-то нужны твои письма! Если хочешь, можешь и это отправить, оно у меня. Тихон Михайлович велел отдать. Хоть сейчас опускай в ящик, вон он висит.

— Давайте, — быстро сказал мальчик.

Физрук протянул ему помятый конверт. Мальчик сложил его пополам и сунул в карман.

— Ты опускай, опускай в ящик-то.

— Зачем? — хмуро сказал мальчик. — Оно два или три дня будет идти. А сам я сегодня вечером буду дома.

Станислав Андреевич насупился и тяжело произнес:

— Не будешь ты дома… вечером. Ты эти шуточки играть со мной перестань. Мне директор сказал, чтоб тебя в лагерь доставить. Я доставлю, будь спокоен.

— Как? — удивленно спросил мальчик. — Разве я посылка или багаж? Ну как вы меня доставите, если я не хочу?

— А очень просто!

Станислав Андреевич шагнул к скамейке, левой рукой подхватил чемоданчик и куртку, а правой взял мальчика за локоть.

В первую секунду мальчик замер от неожиданности: никогда в жизни ему не приходилось еще испытывать на себе злую силу взрослого человека. В следующий миг напрягся он, чтобы рвануться со всей обидой и яростью! Но тут же почувствовал: напрасно. Пальцы физрука — сильные, загорелые, с белыми волосинками и короткими ногтями — охватили тонкую руку мальчика с каменной прочностью. И он отчетливо понял, что выхода нет. Сейчас этот человек в самом деле уведет, утащит его отсюда, и никто не заступится. Если кто-нибудь и встретится по дороге, то поверит, конечно, взрослому, а не мальчишке, у которого сто грехов: нарушил дисциплину, сбежал из лагеря, не слушает старших...

"Но ведь это неправда! Как вы смеете! Вы же не имеете права!" Мальчик хотел крикнуть эти слова, но помешали закипающие слезы. Отчаянные

слезы готовы были прорваться вместо слов. Но в этот миг сзади раздался короткий хрипловато-горловой звук.

Мальчик и физрук разом обернулись.

Пес уже не лежал. Он стоял на широко расставленных лапах. Это был совершенно незнакомый пес — со вздыбленным загривком и глазами хищника. Верхняя губа у него некрасиво сморщилась и открыла очень белые зубы.

Мальчик опомнился первым. И торопливым шепотом сказал:

— Отпустите меня, он же бросится.

Пальцы словно оттаяли: стали мягкими и скользнули с локтя.

Радость мальчика была как теплый толчок. Он коротко засмеялся.

— Нок, — сказал он. — Ничего, Нок. Спокойно, Нок…

Пес шевельнул хвостом, но по-прежнему неотрывно смотрел на Станислава Андреевича, и шерсть на загривке не опускалась.

Мальчик подошел и взял Нока за ошейник.

Станислав Андреевич медленно отступил на три шага. И проговорил:

— Бешеный… Пристрелить его надо такого. И сам ты тоже псих. Ну, черт с тобой. Вот напишут

тебе в школу такую характеристику, что на всю жизнь запомнишь.

Он отступил еще на несколько шагов. Потом осторожно повернулся и зашагал по тропинке к шоссе.

— Оставьте мои вещи, — сказал вслед мальчик.

Станислав Андреевич замедлил шаги, но не остановился. Он словно раздумывал: отдать чемодан или унести в лагерь? Может быть, тогда мальчишка сам прибежит?

Мальчик вспомнил его каменные пальцы, и опять нахлынула обида. Но это была уже не беспомощная обида. Глядя вслед уходящему человеку, мальчик звеняще повторил:

— Оставьте вещи!

Станислав Андреевич остановился, уронил в траву чемоданчик, куртку и опять зашагал. Не оглянулся.

Пес посмотрел на мальчика, приоткрыл пасть и коротко задышал.

— Нок, — сказал мальчик. — Он ведь сам виноват. Верно?

И подумал: "Хорошо, что я не успел заплакать".

Потом он потянул Нока за ошейник и, опустив голову, пошел к брошенным вещам. Шел он очень

медленно. И так же медленно возвращался. Лишь в нескольких шагах от скамейки он поднял глаза и увидел, что там сидит незнакомый мужчина.

Мужчина улыбнулся и сказал:

— Добрый день, Серёжа.

## 3

Если бы он просто сказал "добрый день", было бы не удивительно. Ведь когда на пустой станции встречаются два человека, неудобно смотреть друг на друга молча. Но незнакомец назвал мальчика по имени. И мальчик встревожился, боясь новой опасности.

— Здравствуйте, — напряженно сказал он.

Все так же улыбаясь, мужчина объяснил:

— Ну что ты удивился? Я прочитал твои анкетные данные на чемодане. Вон какой у тебя опознавательный знак.

Действительно, к боковой стенке чемоданчика был приклеен бумажный квадратик с печатными буквами: "Серёжа Каховский, 5-й отр.".

— Правда, я и не догадался, — облегченно сказал Серёжа. Он отпустил Нока и начал ногтями соскабливать с чемодана бумажку. Нок улегся рядом со скамейкой и вопросительно поглядывал

на хозяина.

Серёжа украдкой посмотрел на незнакомца. Тот сидел, неудобно согнув длинные ноги и откинувшись на спинку скамьи. На коленях у него лежала замшевая куртка, а правым локтем он придерживал пузатый желтый портфель. У незнакомца было длинное лицо с круглыми складками у рта, редкие волосы и длинные залысины. Он улыбался, показывая большие прокуренные зубы.

"Дон Кихот с портфелем", — подумал Серёжа. Подумал без насмешки. Дон Кихот (не этот, а настоящий, из книжки) ему нравился. А у этого "Дон Кихота" ему понравилась улыбка, хотя она могла показаться некрасивой и походила на улыбку лошади.

— Из лагеря возвращаешься? — спросил незнакомец.

— Да… — вздохнул Серёжа. — Возвращаюсь…

— Любопытно. Неужели ты и красавца этого из лагеря везешь? — Мужчина подбородком показал на Нока.

— Нет. Я его здесь… Ну, в общем, его мне подарили.

— А, понятно. Славный пес. Главное, порода хорошая.

Серёжа удивленно посмотрел на "Дон Кихота".

Тот опять улыбнулся и повторил:

— Хорошая. Типичная среднерусская дворняга.

Серёжа сказал слегка обиженно:

— Пускай. Мне породистая и не нужна. Зато он верный.

"Дон Кихот с портфелем" перестал улыбаться.

— Я ведь не смеюсь, — объяснил он. — Такие вот дворняги очень часто бывают умнее породистых псов. Я знаю одну девочку, у нее совершенно беспородная собака первое место заняла на областной выставке. За выучку. Я про них писал — про хозяйку и про собаку эту, про Берту.

Серёжа перестал соскребать наклейку и выпрямился. И тихо спросил:

— Вы писатель, да?

— Ну почему писатель? Я журналист. В редакции работаю… Видишь, поэтому я и любопытный такой. Как говорится, профессиональное качество…

— А… — сказал Серёжа и вздохнул.

— Почему "а"? — спросил мужчина слегка ревниво. — В том смысле, что понятно, отчего я любопытен? Или жаль, что не писатель?

— Что не писатель, — честно сказал Серёжа. — А то я хотел спросить…

— Д-да… А может быть, спросишь? Я кое-что в

писательских делах понимаю. Или нельзя?

— Да нет, можно. Я просто узнать хотел… — Серёжа замолчал, передвинул чемоданчик, присел на него и, глядя снизу вверх на "Дон Кихота", спросил: — Писатели про многое просто выдумывают, верно? Особенно фантастику или сказки. И ведь никто над писателями не смеется, не кричит, что они все наврали… А если какой-нибудь человек… ну, не писатель, а просто… Если он какие-нибудь истории просто для интереса начинает придумывать, его сразу дразнят, что хвастун. Почему?

— Бы-вает… — медленно сказал журналист. — Но тут, наверно, ничего не поделаешь. Просто не надо обращать внимания… Между прочим, над писателями тоже иногда смеются. Дураки-то еще есть на свете.

Серёжа кивнул. Хотел еще что-то сказать, повернулся… Шаткий чемоданчик опрокинулся под ним, и Серёжа полетел в траву.

Он тут же вскочил и засмеялся.

— Садись-ка на скамейку, — сказал журналист. — А то раздавишь свой багаж да еще шею свихнешь.

— Не свихну. Мне эта скамейка уже надоела, я на ней с самого утра торчу.

— Ну и что? По-моему, очень удобно. Спинка

удачно сделана и вообще… — Журналист повозился на скамейке, устраиваясь поуютнее.

Серёжа торопливо проговорил:

— Извините, я забыл сразу сказать. Там, кажется, где-то гвоздь торчит, можно брюки порвать.

"Дон Кихот" поспешно приподнялся. Ощупал под собой скамью.

— Черт… Действительно торчит. Это было бы чрезвычайно досадно — порвать штаны. Других у меня с собой нет.

— У меня нитка с иголкой есть. Зашили бы, — сказал Серёжа.

— Спасибо, утешил… А почему ты свои не зашьешь? Вон у тебя внизу штанина распорота.

— Да ну их! Я их вообще снять хотел, да в чемодан не влазят… Я их надел, потому что через колючки надо было пробираться. Ну и зацепился там.

— Где же ты пробирался через колючки? Ты ведь из лагеря едешь?

Серёжа нахмурился.

— Ну, извини, — поспешно сказал журналист. — Это опять профессиональная привычка. Командировочное настроение у меня. Когда я в командировке, то всех обо всем спрашиваю.

— Значит, вы в командировке? — переспросил

Серёжа. Потому что неловко было молчать.

— Угу, — откликнулся "Дон Кихот".

Он вдруг внимательно посмотрел на Серёжу, наморщил лоб, будто решал что-то. Потом спросил:

— Можно, я расскажу тебе маленькую историю? Ты не удивляйся. Понимаешь, мне очень интересно, что про эту историю скажет случайно встреченный человек. Ну, такой, как ты... Можно?

— Конечно, — сказал Серёжа. — А про что история?

— Да простое, в общем-то, дело... Получили мы в редакции письмо. От одного гражданина. Пишет гражданин про председателя здешнего колхоза "Луч". Пишет, что председатель этот такой-сякой, с людьми не ладит, зазнается, обижает подчиненных. Колхозные машины для своих личных дел использует. Пионеров из лагеря на колхозную стройку не велел пускать, когда они там хотели в порядке шефской помощи поработать...

— Это, наверно, про наш лагерь, — вставил Серёжа. — Здесь близко другого нет.

— Наверно, про ваш... А еще председатель заставил студентов дом для его родственницы ремонтировать. Там студенческий строитель-

ный отряд работает, новый конный двор строят ребята, так вот целую бригаду из этого отряда послал он частный дом чинить... Ну и еще кое-что понаписано... В общем, приехал я в колхоз разбираться. Вопрос-то серьезный. И действительно, вроде бы так оно все и есть, как в письме. На первый взгляд. А если поглубже копнуть, то в письме сплошная чушь. Конечно, есть в колхозе люди, которым председатель не по вкусу: лодыри это и прогульщики. Когда народ на поле выходит, они на свой огород или на базар. И насчет машин — чепуха. А насчет пионеров, так он правильно сделал, что не разрешил. Нечего на этой стройке ребятишкам делать, там такие бревна да шлакоблоки, что и студенты едва управляются. А что касается ремонта дома, то это вообще стопроцентное вранье. Никакая она ему не родственница, а просто однофамилица. У нее муж в прошлом году умер, а был он, кстати сказать, инвалид, бывший партизан. Умер, не успел дом поправить. А студенты услыхали эту историю и решили помочь. Их председатель и не заставлял. Вот так, брат... Ну, что?

Серёжа смутился. Не привык он обсуждать такие "взрослые" вопросы.

— Ну так что... — сказал он с неловкостью. —

Значит, все в порядке. Да?

Журналист шумно вздохнул и обрадованно заулыбался.

— Вот и хорошо. Ну, ты молодец, честное слово.

— Я… даже не понимаю, — растерялся Серёжа. — Почему я молодец? Вы смеетесь почему-то…

— Просто радуюсь. Видишь, не везло мне сегодня с утра. Встретил двух знакомых одного за другим (у меня тут в округе знакомых полно), рассказал им эту историю, а они… Один меня жалеть начал: вот мол, зря съездил, фельетон-то писать не о чем. А другой начал молоть: "Знаем мы этих председателей. Хоть и не подтвердилось ничего, а все равно они такие…" И ни тот, ни другой не порадовался, что человек-то оказался хороший этот председатель. А ты вот сказал самое главное: "Все в порядке". Это ведь здорово, что ты так сказал.

Серёжа подумал.

— Да… Только знаете что? Ведь тогда получается, что человек, который письмо писал — плохой.

"Дон Кихот" кивнул:

— Правильно заметил, Серёжа. Только это и так было видно, сразу. Еще когда письмо не про-

веряли.

— Почему?

— Ну… это заметно. Злое письмо. И подписано как-то странно. Вроде бы и есть фамилия, а не разберешь толком. На букву "С". И должность под фамилией написана странная: руководящий работник. Не нашел я в колхозе этого "руководящего работника", хотя многим письмо показывал.

— А он, наверно, просто не хотел, чтобы его узнали, — догадался Серёжа.

— Наверно… — сказал журналист и задумался.

А Серёжа сидел на чемодане, поглаживал Нока и незаметно разглядывал журналиста. Тот ему все больше нравился. И не потому, что он с Серёжей разговаривал, как со взрослым. Это многие умеют. Серёжа не сумел бы объяснить словами, но чувствовал доброту большого незнакомого человека. Это была сдержанная доброта, и в ней ощущались уверенность и твердость. И когда "Дон Кихот" улыбался по-лошадиному или неловко передвигал длинные ноги, это было не смешно. Потому что за неловкостью была заметна сила. Ну не такая сила, как, например, у штангиста, а сила характера, что ли…

А может быть, все это Серёже показалось?

Ведь полчаса назад он пережил встречу с

другим взрослым человеком — сильным и недобрым. Эта встреча оставила горькое беспокойство. И сейчас нужно было Серёже, чтобы рядом оказался кто-нибудь добрый и умный. Тот, кто все понимает.

"Интересно, как его зовут?" — думал Серёжа. Но спросить было неудобно. И вдруг журналист (бывает же так!) встретился с Серёжей глазами и сказал:

— Кстати, меня зовут Алексей Борисович... Ты не думай, что я на знакомство напрашиваюсь. Просто неловко получается: я твое имя знаю, а ты мое — нет... Между прочим, тебя, наверно, часто спрашивают, не потомок ли ты знаменитого декабриста?

Серёжа улыбнулся.

— Спрашивают. Ну, не часто, а так, иногда. Только тут декабристы ни при чем. У меня дедушка был красный конник. Мне папа рассказывал. Дедушка тогда еще совсем молодой был, ну не взрослый даже. И родителей у него не было, он беспризорничал. А красные его к себе взяли. Это было как раз под Каховкой, про которую песня есть. Ну и дали ему такую фамилию, потому что он свою настоящую даже не хотел называть. Говорил, раз жизнь новая, пусть и фамилия

новая будет… Он потом здорово воевал, даже командиром стал. Только умер он давно, его даже папа плохо помнит. И фотокарточки ни одной не осталось.

— Это не самое главное, — серьезно сказал Алексей Борисович. — Фамилия осталась. Славная у тебя фамилия, Сергей, позавидовать можно… Ну это я так, не подумай, что завидую. У меня фамилия тоже знаменитая. Иванов… Ты что смеешься? Я серьезно.

— Я не смеюсь, — запоздало сказал Серёжа. — Это я… нечаянно. Извините.

— Думаешь, не знаменитая фамилия? Одних писателей Ивановых двадцать два человека, я специально интересовался. Вот так-то…

— У нас в классе Иванов есть, — сказал Серёжа, чтобы сгладить неловкость.

— Один Иванов — это что! В нашем подъезде в трех квартирах Ивановы живут. Один, между прочим, тоже Алексей Борисович. Почтальонка замучилась, все время письма путает. Один раз открыл конверт, начал читать: батюшки мои, какая-то тетя Вера поздравляет меня с серебряной свадьбой. Смотрю — письмо-то соседу. Побежал извиняться. Ужас до чего неприятно.

— Ну, это ничего, — сказал Серёжа. — Это же

вы случайно... Алексей Борисович! А если какой-нибудь человек нарочно чужое письмо распечатывает и читает. Чтобы узнать что-нибудь про другого... Это как называется? Это очень плохо? Или... не очень?

Лицо Алексея Борисовича стало строгим и напряженным. Уж не подумал ли он, что Серёжа про себя говорит?

— Вот вопрос... Ты же не маленький, Сергей. Наверно, и сам знаешь. Тут уж как ни крути, а называется это всегда одинаково — подлость... Да ты что вскочил?

— Ну вот, — сбивчиво заговорил Серёжа. — Вот видите! Я ему так и сказал!

— Кому?

— Тихону Михайловичу. Начальнику лагеря...

## 4

Сначала Серёже понравилось в "Смене", хотя лагерь оказался совсем не такой, какой ему представлялся.

Раньше, когда говорили "лагерь", Серёже казалось, что это палатки и разноцветные домики, сгрудившиеся между скал и высоких черных елей. В вечернем небе — редкие звезды и яркая

половинка луны. И теплый оранжевый костер у самой большой скалы рядом с говорливым ручьем.

Оказалось, что все не так. Были три длинных дома среди редких сосен, посыпанная песком площадка, мачта с флагом, высокий зеленый забор, фанерные плакаты "Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья" и "Пионер — всем ребятам пример". Трава между соснами была вытоптана, только вдоль забора густо росли репейники и крапива.

Но все равно Серёжа не жалел, что приехал. Потому что в первый же вечер на лужайке за кухней развели костер, а вожатый третьего отряда Костя принес гитару и запел песню, от которой все притихли: песня была про очень знакомое, словно кто-то подслушал Серёжину тайну.

Только говорилось в ней не про Серёжу, а про маленького горниста.

*...У горниста Алешки Снежкова*
*Отобрали трубу золотую.*

*Говорили, что сам виноват он:*
*По утрам потихоньку, без спросу*
*Подымался Алешка с кровати,*

*Шел на берег по утренним росам.*

*Разносился сигнал его странный*
*Над чащобою спутанных веток,*
*Над косматым озерным туманом,*
*Под оранжевым флагом рассвета…*

И чтобы Алешка не нарушал режим, чтобы не разбудил кого-нибудь раньше срока, трубу у него взяли и заперли в шкаф. Ну что Алешка мог сделать? Может быть, даже плакал, закутавшись в одеяло, после отбоя, но трубу-то все равно не вернешь. Так и уснул.

Спит горнист. А что ему снится?

*Может, снится, как эхо сигнала*
*В теплый воздух толкнулось упруго*
*И за черным лесным перевалом*
*Разбудило далекие трубы…*

Тут у Серёжи, когда он слушал эту песню, каждый раз начинало щекотать в горле, и попавший под руку сосновый сучок он сжимал, как сабельную рукоять.

*Захрапели встревоженно кони,*
*Развернулись дугой эскадроны —*

*И склонились тяжелые копья,*
*И поднялись над строем знамена.*

*В чистом небе — рассветная краска,*
*Облаков золотистые гряды.*
*Словно в сказке, но вовсе не в сказке*
*Вылетают на поле отряды.*

*Мчится всадников черная россыпь*
*Сквозь кустарник, туманом одетый,*
*По холодным предутренним росам*
*Под оранжевым флагом рассвета.*

Потом были и другие песни. Но эту на каждом костре пели обязательно. И Серёжа всегда ждал ее, и заранее начинала звенеть в нем радостная тревога. Будто могло случиться чудо, и всадники из песни готовы были вырваться на поляну и встать у костра: отблески огня на мордах коней, золотые искры на уздечках, стременах и медных кольцах ножен. А лиц не видно в тени, только звезды проступают на высоких шлемах…

Однажды после костра Серёжа задержался рядом с вожатым и негромко спросил:

— Костя, а кто придумал эту песню?

— Да так… — неохотно сказал Костя. — Один

человек… — И было похоже, что он смутился.

Странно. Вообще-то Костя смущался редко. Он был веселый, неутомимый, справедливый. Не выгонял ребят раньше времени из речки, таскал на плечах малышей-октябрят и никогда не кричал на мальчишек, как вожатая Серёжиного отряда с дурацким именем Гортензия.

Гортензия часто кричала, потому что в отряде не было дисциплины. Все хотели то в поход, то на речку, то футбол гонять, а проводить тематические сборы и выполнять режим никто не хотел. Гортензия из кожи лезла, чтобы добиться порядка. Но у нее ничего не получалось, хотя она изо всех сил старалась походить на старшую вожатую Евгению Семеновну.

А Костя не старался быть похожим. Он ходил в темных очках и носил зеленые шорты с широким командирским ремнем.

Все знали, что начальник лагеря Тихон Михайлович Совков недоволен Костей. Начальник считал, что взрослому человеку неприлично ходить в коротких штанах, а вожатый к тому же не имеет права носить черные очки, потому что они отделяют его от детей. Но Костя продолжал ходить в шортах, а очки ни от кого его не отделяли…

И вот когда Серёжа спросил про песню, Костя слегка растерялся. И Серёжа не стал больше спрашивать, все и так было ясно. А Костя закинул за плечо гитару и взял Серёжу за руку.

— Пойдем, Сергей… Не все ли равно, кто придумал песню? Главное, что поют…

И Серёже стало хорошо-хорошо от того, что Костя помнит, оказывается, его имя, и они идут сейчас рядом, и Костя держит его ладонь в своей ладони, а над лагерем теплый такой, тихий вечер, и луна смеется среди темных сосен…

Луна была не совсем круглая, но очень яркая. А на севере не гасла желтая заря. Лунный свет сливался с зарей, и на сосновые ветки словно золотистая пыль осела. Спать никому не хотелось. Ребята сдвинули кровати и стали рассказывать разные истории. Было не очень шумно и очень интересно. Многие даже из других палат прибежали. Гортензия для порядка покричала, а потом незаметно исчезла.

— Гы… На свидание со Стасиком побежала, — съехидничал Вовка Падерин по прозвищу Пудра.

Стасик — это был Станислав Андреевич, физрук. Но никто не стал смеяться, не такое было настроение. Всем хотелось тихонько сидеть рядом друг с дружкой и слушать.

Истории были, конечно, страшные. Павлик Максимов рассказал про отрубленную руку, которую двое мальчишек нашли в старинном сундуке, а Валерка Сотников — про то, как их соседка по квартире оказалась колдуньей и летала в стиральной машине.

А потом Витька Солобоев из первого отряда начал рассказывать про собаку Баскервилей. Только говорил он плохо, все путал, сбивался. Кроме того, Витька на ужине объелся и сейчас сильно пыхтел. Слушать стало неинтересно, тем более что многие ребята историю про баскервильского пса знали лучше Витьки. Они стали перебивать, поправлять, зашумели. Витька, утомленный и обиженный, замолчал. А все заговорили про собак: какая порода лучше, у кого какие были щенки, как дрессировать…

У Серёжи никогда собаки не было, но слушал он все равно с интересом.

Вдруг, когда уже начал стихать разговор, маленький Димка Соломин сказал:

— У меня тоже была собака. Только я ее никогда не видел…

— Гы, — тут же отозвался Пудра. — Она меньше блохи была, ага? Смесь микроба с кабыздохом.

Несколько человек с готовностью хихикнули.

Но остальные на них зашумели: почти всем хотелось послушать про Димкину собаку.

И Серёже очень хотелось. Дело даже не в собаке. Просто ему нравился Димка.

Они познакомились в первый же лагерный день. Серёжа шел в пионерскую комнату и увидел, что прямо перед ним стоит на дорожке мальчишка лет восьми. Худой, золотоволосый, с боевой ссадиной на переносице. Стоит, крепко расставив ноги и заложив ладони за ремешок на штанах. Лицо у мальчишки было хорошее, с большим улыбчивым ртом и зелеными глазами.

— А я тебя помню, — сказал он и наклонил к плечу голову. — Ты учился в пятом "В", в нашей школе. Тебя Серегой зовут.

— Правильно, — обрадовался Серёжа. — Только я... не помню, как тебя зовут. — Он постеснялся сказать, что вообще не помнит этого мальчишку.

— Меня звать Димка, — охотно сообщил тот. И пошел рядом с Серёжей.

Наверно, они разговорились бы, но тут закричал кто-то издалека: "Димка! Соломин!" И Димка ускакал на зов.

Потом он много раз попадался навстречу и всегда улыбался Серёже, как давнему знакомому.

Серёжа ни с кем еще не успел подружиться в лагере. И с Димкой тоже. Но Димка нравился ему больше всех, жаль только, что был он маленький…

Димка стал рассказывать:

— Я тогда жил у нашей бабушки. Не в городе, а в поселке. Там овраг, а кругом дома. Я в первую ночь ну никак уснуть не мог. Потому что не привык. У нас в городе ночью в окошке сразу тыща огней видна, а у бабушки — никаких огоньков, потому что овраг за окном. Только луна. Ну, я не спал, не спал, а потом собака начала гавкать. Я сперва даже разозлился: чего спать не дает? А потом мне ее как-то жалко стало. Она так печально гавкала. Наверно, она все время на цепи сидела, и ночью и днем. Скучно ведь… У меня окошко открыто было. Я подошел и давай свистеть. Ну, не громко, а так, будто зову ее. Она замолчала. А потом гавкнула, будто спрашивает. Ну, я еще посвистел. А она опять: "Гав, гав". Будто отвечает… Вот так мы долго-долго переговаривались. А потом я три раза свистнул, что кончаем разговор, и лег спать. Она тоже еще полаяла немного и замолчала.

— А потом? — спросил Серёжа.

— Когда другая ночь наступила, мы опять так же переговаривались. И потом еще. Каждую ночь.

Она меня уже узнавала по свисту, эта собака. И откликалась по-всякому. Если весело начну свистеть, она тоже весело так залает! А если потихонечку, грустно, она тоже жалобно так гавкает… В общем, у нас целые разговоры были.

— А как ее звали-то? — спросили из дальнего угла.

— Я откуда знаю? — удивился Димка. — Я ее даже не видел ни разу. Даже не знаю, какая она. Я ее днем искал, да там у оврага огороды кругом и заборы высокие, не проберешься. А на свист она днем не откликалась.

— Какая же она твоя? — обиженно пыхтя, сказал Витька Солобоев. — Даже не знаешь, рыжая она или еще какая. Хозяин у собаки тот, кто ей жрать дает.

— Зато она со мной разговаривала, — тихо ответил Димка.

Серёжа с досадой сказал:

— Ты, Солобоев, не мешай рассказывать… Ну а потом что, Димка?

Димка вздохнул.

— Потом я подрался с Вовкой Кобасенком, и у меня губа распухла. Я уже не мог свистеть. А она лаяла, лаяла. Всю ночь. Я просто не знал, что делать. Кричать, что ли? Ну, я же не знал, как ее

зовут. И бабушка проснулась бы… А собака все лаяла, лаяла и вдруг как завизжит! И замолчала сразу… Я потом, когда губа прошла, всю ночь свистел, а она уже не отвечала.

Все сочувственно помолчали.

— Прибил кто-нибудь, — проговорил Женька Скатов, сердитый некрасивый мальчишка из первого отряда. — Есть такие гады. Им собаку убить что клопа раздавить.

Серёжа недолюбливал Женьку. Но сейчас Женька пожалел Димкину собаку и сразу показался Серёже симпатичным.

И вообще все вокруг были сейчас хорошие и добрые. Сидели вперемежку на своих и чужих кроватях, привалившись друг к дружке и завернувшись во все равно чьи одеяла. И к Серёже приткнулся тоже какой-то парнишка из другого отряда, незнакомый, но все равно славный. Все ярче светила луна, и совсем не хотелось спать, и хорошо было рядом друг с другом.

Кругом были товарищи, и Серёжа решил подарить им свою сказку.

Он сказал:

— А у меня есть всадники…

## 5

Это случилось позапрошлым летом. Серёжа выпросил у тети Гали разрешение пойти с ребятами за город, на Песчаное озеро. Дни стояли знойные, все мальчишки были одеты совсем легко. Ведь никто не думал, что в середине дня из-за кромки северного леса прилетит злой ветер с обжигающе холодным дождем. Это был один из стремительных циклонов, о которых не успевают предупредить синоптики.

Непогода захватила ребят, когда они были на луговой тропинке, в двух километрах от автобусной остановки. Лето сразу превратилось в осень. Солнце зарылось в косматые облака и, наверно, дрожало там, как промокший рыжий щенок. Травы согнулись под пружинистыми ударами струй.

Когда Серёжа прибежал домой, его можно было выжимать и вешать на веревку вместе со штанами и майкой. Тетя Галя заохала, кинулась греть воду. Но не помогла горячая ванна. И малина не помогла. К вечеру Серёжа осип, ослабел, задрожал от озноба…

Ангина — невеселое дело, особенно в канику-

лы. Лежишь и скучаешь. В первый день тетя Галя сидела с Серёжей, поила горячим молоком и кормила таблетками. А потом температура улеглась, и тетя Галя стала ходить на работу.

Отец был в командировке, Маринка в детском саду, Наташка — та, что жила в той же квартире, — в деревне у бабушки. На улицу Серёже запретили даже нос высовывать.

Да и что было делать на улице? Ветер и дождь хозяйничали как хотели. Под окном растеклась унылая лужа, по ней разбегалась рыжая от глины рябь. Мотались на ветру ветки рябины и желтой акации. Красный столбик в термометре, прибитом за окошком к карнизу, съежился и торчал на десяти градусах.

Наконец однажды к вечеру холодный дождь отшумел и откатился за дальние крыши. На западе прорезалась солнечная щель. Но зябкий ветер еще налетал порывами, и мокрые кусты вздрагивали, как вздрагивают после долгих слез маленькие дети.

Серёжа тоже вздрагивал: у окна было прохладно. Пришла тетя Галя и прогнала его в постель. Серёжа слегка обиделся. Он лежал носом к стене и весь вечер не поворачивался, хотя ему очень важно было знать, растет ли за окном светлая

полоса. Он лежал и разглядывал старые обои. Мелкий узор, пятнышки и царапины складывались в картинки. Можно было, если постараться, увидеть странных птиц, верблюдов, старинный пароход и хромую избушку Бабы Яги. Но отчетливей всего виден был всадник.

Всадник сидел на тонконогом коне. У коня была вскинутая голова и взлохмаченная грива. Всадник был в остром шлеме и шинели. В одной руке — изогнутая шашка, в другой — длинное копье (эту царапину Серёжа нанес деревянной саблей, когда воевал с подушкой).

Ресницы слипались, и узоры на стене начинали шевелиться. Конь перебирал ногами, и всадник оглядывался на Серёжу, словно с собой звал.

Серёжа тряхнул головой, всадник замер. Серёжа украдкой глянул в окно. Солнечная щель была теперь оранжевая. По ней, как по огненной дороге, летели маленькие облачка, похожие на кавалеристов с косматыми бурками. Они словно шли в атаку на непогоду.

Ночью шумел дождь. Серёжу будила тревога: неужели и завтра не будет солнца? Всадник на стене был не виден в сумерках, но Серёжа знал, что он здесь, и шепотом просил:

— Ну прогони эти тучи! Ну, пожалуйста…

Утро было серое, но дождь умолк. Серёжа прошлепал к окну. Циклон уходил. Темные облака откатывались к югу ряд за рядом. Они были похожи на армию, которая отступает, хотя еще не совсем разбита. К полудню синими проблесками стало мелькать небо, а потом в широкий разрыв пушечным ядром вылетело раскаленное солнце, и красный столбик термометра, салютуя, взлетел на девять делений.

Яркие лучи упали на стену. Все вечерние рисунки на обоях рассыпались от света, пропали. И всадник исчез. Но он-то не рассыпался, конечно: он ускакал бить отступавшего врага.

Ему, этому всаднику, трудно было одному в бою. Серёжа сел к столу и стал готовить армию.

Сначала Серёжа нарисовал на картоне одного кавалериста (может быть, не очень умело вышло, но он старался). Всадник получился ростом со спичечный коробок. Серёжа вырезал его маленькими тети Галиными ножницами. Потом он по этой фигурке обвел еще одиннадцать — сколько хватило картона. И тоже вырезал, а потом разрисовал папиной цветной тушью. Получился эскадрон из двенадцати всадников. С тонкими пиками из рисовой соломы от веника, с блестящими саблями из серебристой обертки от чая, со

звездами на шлемах.

Серёжа выстроил всадников на подоконнике, чтобы они мчались вслед за убегающими тучами.

И тучи, испугавшись, скоро совсем покинули поле боя. День стал яркий, сверкающий синими лужами, и теплый. Над высыхающим асфальтом поднимался пар.

Попробуйте посидеть дома в такую погоду! Когда пришла тетя Галя, Серёжа сказал, что умрет, если не выйдет на улицу. Тетя Галя повздыхала и разрешила. Велела только надеть резиновые сапоги, длинные штаны и свитер.

Ходить в таком наряде, когда на улице чудесный летний день, может только сумасшедший. Серёжа так и сказал. Тетя Галя обиделась. Серёжа тоже обиделся. Он даже хотел пустить слезу (в те времена он еще выкидывал такие шуточки), но распускать нюни перед лицом двенадцати всадников было неудобно. Серёжа заявил, что гулять не будет, и начал строить на подоконнике вражескую крепость из костяшек домино. Эту крепость всадники взяли с налета. Они были такие же сердитые, как Серёжа.

Однако долго сердиться не пришлось. Неожиданно вернулся из поездки отец. Он, оказывается,

поторопился, чтобы успеть на день рождения к своему хорошему товарищу. Узнав, что Серёжа нездоров, отец расстроился. В гости идти ему расхотелось. Но Серёжа не желал, чтобы отец расстраивался. Он сказал, что ни капельки уже не болеет, и что пусть папа с тетей Галей идут, а то дядя Володя будет ждать и обижаться. Только пусть возьмут с собой Маринку, а то она весь вечер будет приставать, чтобы Серёжа ей книжки читал. А у него своих дел много.

Вот так он и остался в тот вечер один.

…Прежде всего он распахнул окно. Гулять не разрешают, ну и ладно! А сидеть в открытом окне ему никто не запрещал.

Вечер наступил теплый и слегка влажный. Над крышами вырастала груда желтого облака. Улица была тихая, пустынная, только в кустах шастали воробьи. Серёжу стало клонить в сон. Может быть, он не совсем еще поправился, а может быть, просто утомился за день. Он прилег на кровать и стал смотреть в окно. Всадники по-прежнему были на подоконнике. Они словно мчались по вечернему небу навстречу желтому облаку.

Серёжа уснул.

Он проснулся от громкого, как выстрел, удара. Это ветер захлопнул окно.

Над городом разворачивалась гроза, которая пришла на смену холодному циклону. Это была теплая гроза с голубыми вспышками и раскатистым добродушным громом.

Серёжа подбежал к окну. И увидел, что на подоконнике нет всадников. Ветер, прежде чем захлопнуть створки, подхватил картонных кавалеристов и унес неизвестно куда.

Конечно, Серёже стало обидно. И одиноко. Папа с тетей Галей еще не вернулись, хотя было поздно и темно, всадники умчались и бросили его. У Серёжи защипало в глазах. Он не стал смотреть на грозу. Опять лег и ткнулся носом в подушку.

...И тут ему не то приснилось, не то придумалось, будто мягким толчком распахнулась дверь. И простучали от порога до кровати твердые, с металлическим перезвоном шаги.

Он открыл глаза и повернулся на спину.

В комнате нарастал свет, будто лампочки в люстре сами собой медленно набирали силу.

Недалеко от Серёжиной кровати стоял человек в остром шлеме и шинели до пят. На нем были желтые тугие ремни со звездной пряжкой, коричневая кобура и длинная сабля в черных ножнах с медным наконечником. Крошечные капельки дождя блестели на шинели. Человек смотрел на

Серёжу устало, но по-доброму. Потом он протянул Серёже руку и сказал:

"Не сердись... Мы не успели предупредить тебя. Мы ускакали, потому что ждало нас важное боевое дело".

Серёжа поспешно вложил свою ладошку в большую ладонь Всадника и поднялся.

То ли сон это был, то ли выдумка, но Серёжа помнит все ясно-ясно. Как он встал перед Всадником, ухватился за его кожаный пояс и прижался к шинели. Сукно оказалось сырым и колючим, когда Серёжа коснулся его голыми локтями и коленками. От ремня пахло, как от нового портфеля, а от желтой пряжки — кисловатой медью. Всадник был высокий, и Серёжа доставал до пряжки только подбородком. Он так и стоял, вцепившись в ремень и задрав подбородок, и смотрел на чудесного гостя.

"А вы вернетесь?" — спросил Серёжа.

Всадник серьезно сказал:

"Если будет нужно. Мы не можем всю жизнь торчать на подоконнике. У нас еще много боев. Но если тебе придется плохо, ты позови. Мы примчимся".

"Как позвать?" — спросил Серёжа шепотом, потому что хотелось заплакать. Не от горечи, не

от обиды, а наоборот — будто от любимой песни, когда вспоминается что-то хорошее.

Всадник улыбнулся.

"Как позвать... Ну, встань покрепче, локти согни, кулаки сожми, будто в одной руке поводья, в другой — шашка. И скомандуй тихонько, про себя: "Эскадро-о-он! Ко мне!" И мы сразу будем тут как тут... Может быть, нас никто и не заметит, мы умеем быть невидимками. Но ты обязательно знай, что мы рядом".

"Буду..." — прошептал Серёжа.

Всадник подержал на его плече тяжелую ладонь, повернулся и ушел за дверь, позвякивая шпорами. Тихо ржали за окном лошади, и откатывался за горизонт гром. Серёжа снова лег...

Сквозь сон он услыхал, как пришли папа и тетя Галя, как хныкала Маринка, которой давно пора было спать.

Потом тетя Галя вошла в комнату и охнула:

— Батюшки, так и уснул, даже свет не погасил. И не разделся.

Она стала расстегивать на Серёже рубашку, а он притворился, что никак не может проснуться. Лишь украдкой, одним глазком глянул на пол: нет ли следов от сапог. Но следы уже высохли. И только Серёжино плечо все еще будто чувствова-

ло тяжесть крепкой дружеской ладони….

Нет, Серёжа пока ни разу в жизни не звал на помощь всадников. Потому что не встречались еще настоящие враги.

Но он знает: если позвать, они примчатся.

Это уж точно…

Едва Серёжа кончил говорить, как появилась Гортензия. На этот раз она раскричалась всерьез, всех разогнала по своим постелям и палатам. Так Серёжа и не узнал, понравилась ли его сказка ребятам. Он только помнил, что слушали его внимательно, молча.

Если бы он знал, чем это кончится!

## 6

Пудру, Витьку Солобоева и Гутю начальник лагеря звал "мои мушкетеры". Они ездили в лагерь уже несколько лет подряд. Знали каждый камушек, каждую тропинку и щель в заборе. Знали они и все порядки. Когда и кому их можно нарушать, а когда и кому следить за ними. В пионерское начальство "мушкетеров" не выбирали. Но они и так ходили в главных. Когда надо перегонять лодки из соседней деревни, ехать в село за сметаной или заготавливать в лесу дрова для

костра и возить их на лошади, кого пошлешь? Завхоз дядя Вася на десять частей не разорвется. Не отправишь ведь по таким делам председательницу совета дружины Светку Мальцеву, хоть она и командирша. И на всяких других активистов надежда маленькая: они только альбомчики клеить умеют.

И когда малышовый отряд поднимает на тихом часе гвалт и начинает бой подушками, от совета дружины толку мало и от девиц-вожатых тоже. Станислава Андреевича никогда не доищешься, а с Костей у начальника отношения так себе. "Мушкетеры" же всегда тут как тут.

Ну а если они искупаются лишний разок, когда наблюдают за порядком на речке, или оттянут по затылку нарушителя дисциплины, беда невелика. Зато на душе спокойно.

Главным среди "мушкетеров" был Гутя. То ли это имя у него, то ли прозвище, Серёжа не знал. Девчонки из старшего отряда по Гуте вздыхали. Он был симпатичный: смуглый, темноволосый, стройненький. Всегда в отглаженной пионерской форме, как с картинки. И очень вежливый. Со всеми. Даже с теми пацанами, которых он за провинности собирался тюкнуть по лбу.

Впрочем, Гутя редко пускал в ход руки. Для

этого были Пудра и Витька.

Пудра был Гутин друг, хотя он на Гутю ну ни капельки не походил. Худой, длинный, в штанах с пузырями на коленях, в рубахе навыпуск, нескладный. У него была тонкая шея, круглая голова и желтые космы волос. Они торчали вразлет, и Пудра напоминал подсолнух.

Пудра умел притворяться дурачком. Как скажет свое "ты" да отпустит шуточку поглупее, сразу покажется, будто он недоразвитый. Но это тем покажется, кто Пудру не знает.

А Витька Солобоев ходил у Гути и Пудры в адъютантах. И ничего особенного в нем не было, кроме розовых щек и аппетита.

В этом году приклеился еще к "мушкетерам" Женька Скатов. Хмурый такой, неразговорчивый парнишка. Выбрали его в совет отряда, потому что, говорят, он в школе хорошо учился, но Женька отрядными делами не занимался, а все время гулял с "мушкетерами".

...Вот этих четверых и встретил Серёжа, когда проводил Костю и возвращался в лагерь.

Костя уехал. Не мог он оставаться: пришла из города телеграмма, что Костина мама заболела. Тяжело. Про Костин отъезд и телеграмму никто не знал, кроме вожатых.

Серёжа узнал случайно. Он раньше всех закончил завтрак и украдкой выскользнул из столовой: ему всегда было неловко орать вместе с другими, хором: "Спасибо всем!" Выскочил он на крыльцо и увидел, что Костя шагает к лагерной калитке с плащом на руке и с чемоданом.

Сердце у Серёжи неприятно стукнуло. Он догнал Костю.

— Ты разве уезжаешь?

— Приходится, — откликнулся Костя. И коротко рассказал про телеграмму.

Серёжа молча пошел рядом. Что тут скажешь? Потом он спросил:

— А почему ребята не провожают?

— Не сказал я никому. И так на душе муторно. А тут сорок человек — сорок расставаний. Девчонки еще слезу пустят.

"Не только девчонки", — подумал Серёжа. И попросил:

— Можно, я провожу? Я не пущу слезу.

— Пойдем, Сергей, — сказал Костя.

Серёжа взял у него плащ, и они зашагали к станции. Через лес, через луг. Молча.

Когда среди трав поднялся станционный домик, Костя остановился:

— Возвращайся, Сергей, а то потеряют тебя. Спа-

сибо. Ребята пусть не обижаются, я им напишу.

"А песню я навсегда запомнил", — хотелось сказать Серёже, но он промолчал. Стоял и смотрел вслед Косте. Даже "до свидания" не сказал. "До свидания" — значит "до встречи". А где им встретиться, если Серёжа и адреса-то Костиного не знает. Постеснялся спросить. Какие уж тут адреса, если у человека несчастье.

"Мушкетеры" повстречались ему у самой калитки.

— Очень приятно. Еще один самовольщик, — лениво произнес Гутя. — Кто разрешил за территорию лагеря уходить?

Серёже было грустно. Ему было не до "мушкетеров". Серёжа и не подумал, что их четверо, а он один. Просто сказал:

— Тебе какое дело?

— Ух ты... — в один голос возмутились Пудра и Солобоев и хотели ухватить Серёжу.

Гутя удержал их движением ладони.

— А вот какое дело, — любезно сказал он. — Позвольте довести до вашего сведения, что директор велел всех, кто из лагеря нос высовывает, отправлять на гауптвахту и держать там до выяснения.

— Куда отправлять? — удивился Серёжа.

— В пионерскую комнату. Под замочек. Под

арест. Пока он не придет и не разберется.

— Гы! Да ты не бойся, не заскучаешь, — вмешался Пудра. — Тама уже три гаврика сидят, веселятся.

— Ну идите и веселитесь с ними, — хмуро сказал Серёжа.

— Ты поговори, — пригрозил Женька Скатов. — Иди лучше добром. Нам директор приказ дал.

Директором почему-то все звали начальника лагеря.

— Приказ — дуракам напоказ, — сказал Серёжа. Ему было все равно, потому что Костя уехал. — Пусть он сам сидит под арестом, если хочет. Здесь не кадетский корпус.

— Взять! — сказал Гутя.

Пудра и Витька прижали Серёжу к забору. Хотели повести насильно. А ему вдруг так обидно сделалось и такая злость нахлынула! Кулаки сами сжались.

— Ладно, отпустите, — вдруг распорядился Гутя. — Дитя готово разрыдаться. Маму звать начнет.

Пудра заупрямился:

— Не-а… Пускай сказочку расскажет, тогда пустим. Это же тот сказочник. Он нам всю ночь про каких-то наездников мозги заправлял. У, потеха!

Видно, Пудра решил отомстить за Витьку, которого накануне вечером не захотели слушать ребята.

И сам Витька обрадовался:

— Точно! Он трепался, будто лошадиной дивизией командовал! Ты, Гутя, не слыхал, не знаешь. Будто, как свистнет, так все кругом без памяти валятся.

Стыд и ярость взметнулись в Серёже! Он им тайну открыл, сказку доверил, а они!

— А ну пустите! — крикнул он с такой злостью, что "мушкетеры" отшатнулись.

— Что случилось? — раздался голос начальника лагеря. Совков подошел незаметно.

— Ничего страшного, Тихон Михайлович. Самовольщик нервничает, — объяснил Гутя. — За пределами лагеря гулял, а теперь брыкается.

Совков повернулся к Серёже.

— Кто позволил уходить из лагеря?

Глядя в землю, Серёжа сказал:

— Я Костю провожал. Он мне сам разрешил.

— Надо было у меня спросить... Ладно, ступай.

Серёжа плечом отодвинул с дороги молчаливого Женьку и шагнул в калитку. Но злость и обида вдруг снова поднялись в нем. Он повернулся:

— А они... пусть лучше меня не трогают! Я под

их скрипку танцевать не собираюсь!

Серёжа ожидал в ответ возмущения и угроз. Но "мушкетеры" промолчали, а Тихон Михайлович

сказал почти ласково:

— Ступай, ступай. Они не тронут. Я поговорю.

Они и правда не трогали Серёжу. Но в тот же день он увидел на своей подушке листок с карикатурой: кривоногий всадник сидел на брюхатой лошади и держался за хвост.

На следующий день вслед Серёже то и дело звонко ржали наученные "мушкетерами" малыши. К вечеру кое в чем разобрался, видимо, Димка и навел среди октябрятской братии порядок: ржание прекратилось. Но перед ужином к Серёже подошла Гортензия и, хлопая крашеными ресницами, заговорила:

— Послушай, Каховский, у нас завтра костер. Ты не мог бы рассказать всему отряду свою сказку?

— Какую сказку?

— Ту самую, про которую все говорят. Про каких-то волшебников, говорящих верблюдов, лошадей…

"Сама ты говорящий верблюд", — подумал Серёжа. И спросил:

— Кто вам сказал про эту сказку?

— Падерин и Солобоев. А что?

— Скажите им, что они болваны, — четко произнес Серёжа.

— А ты грубиян! Тебя по-хорошему просят, а ты…

Вот в тот вечер Серёжа и написал домой письмо. Написал и бросил в фанерный почтовый ящик у пионерской комнаты.

А на другой день, на вечерней линейке, — как гром среди ясного неба!

Впрочем, сначала линейка шла как обычно: рапорта, итоги, благодарности дежурным по кухне. Потом взял слово директор. Это было тоже привычно: он часто выступал на линейках.

На этот раз он говорил о тех, кто самовольно уходит из лагеря в лес, на речку, в поле. Невысокий, кругловатый, энергичный, он стоял у мачты с флагом и при каждом слове резко дергал устремленным вниз указательным пальцем — словно кнопки нажимал или неумело печатал на большой пишущей машинке.

Слова директора были привычные и скучные:

— Отдельные безобразные случаи превратились в систему… Администрация будет вынуждена… Есть меры, которые заставят нарушителей…

Потом он передохнул и заговорил попроще:

— Ну чего вам не хватает? Территория благоустроенная, аттракционы всякие. Порядок надоел? Так ведь порядок этот не назло вам, а чтобы избежать несчастных случаев. Вам бы все скакать, а мы, взрослые, отвечаем. Понимаете? От-ве-ча-ем! Совести у вас нет, вот что. Безобразничаете, а потом еще жалуетесь родителям. Приезжайте, мол, заберите отсюда, а то как в тюрьме…

— А кто жалуется? — насмешливо спросили из рядов.

— Да есть такие… "Папа, приезжай, а то все плохо. На рыбалку нельзя, купаться нельзя…" А тонуть можно, я спрашиваю?

Серёжа в первый миг почувствовал себя так же, как при стычке с "мушкетерами", когда они издевались над его сказкой. А потом стало ему тоскливо и очень одиноко. И уже ничего не боясь, он спросил:

— Это вы про мое письмо говорите?

— А что? — ответил директор. — Может быть, я говорю неправду?

— Значит, вы его читали?!

— Может быть, ты хочешь сказать, что я лгу? Я могу прочитать письмо на линейке.

И тогда при напряженном молчании отрядов, в

ясной вечерней тишине, когда не колышутся листья и флаги, все до единого человека услышали Серёжины слова:

— Но ведь это подлость!

— Понимаете, Алексей Борисович, я совсем не хотел нагрубить, — сказал Серёжа. — Ну нисколечко. Так получилось. Просто другого слова не нашлось. А он раскричался, конечно: "Хулиган, как ты смеешь! Раз тебе наши порядки не нравятся, убирайся из лагеря! Чтоб твоего духу здесь не было!" Ну, я сказал "хорошо" и ушел. С линейки ушел и хотел сразу на станцию идти, но уже поздно было, сумерки.

— И страшновато, — добродушно уточнил Алексей Борисович.

— Ну... да. Не потому, что вечер, я темноты не боюсь. Просто на станции стали бы спрашивать: куда один едешь ночью? В общем, я переночевал, а утром ушел. Хорошо, что чемодан был не на складе, а под кроватью: я его как раз взял со склада, чтобы рубашку сменить...

— Никто не знал, что ты уходишь?

— Я Димке сказал, чтобы предупредил всех. Я рано ушел, на рассвете...

...На рассвете он проснулся, будто по сигналу. В окошке, за черными соснами, розовели клочкова-

тые облака. Серёжа неслышно оделся, подхватил чемодан и курточку, отодвинул на окне марлевую занавеску и прыгнул на песок.

Осторожно прошел он вдоль всего корпуса к самому крайнему окошку. У этого окошка, в палате шестого отряда, спал Димка.

Оконные створки были распахнуты. Видно, утренний холодок донимал Димку, и он завернулся в одеяло по самую макушку. Торчал только затылок с пшеничными растрепанными волосами.

— Дим, — позвал Серёжа и лег животом на подоконник.

Димка не пошевелился, лишь волоски на затылке вроде бы насторожились, как маленькие антенны.

— Ди-ма…

Димка откинул одеяло и сел. Поморгал. И внимательно, будто и не спал, посмотрел на Серёжу.

— Я ухожу. Домой уезжаю. Ты скажи вожатой… и всем, кому надо.

— Насовсем уезжаешь? — шепотом спросил Димка.

— Насовсем. Что ж теперь делать?

— Правильно, — серьезно сказал Димка. — Только жалко… Костя уехал, ты тоже.

— Что же теперь делать? — снова сказал Серёжа.

— Я понимаю…

— Я тебе письмо напишу, — пообещал Серёжа.

Димка растянул в улыбке большие губы.

— Ты длинное напиши, чтобы долго читать. Ладно?.. — И тут же насупился. — Нет, не надо. Это письмо, наверно, тоже распечатают. Ну их…

— Я так заклею, что никто не распечатает, — пообещал Серёжа. — Ну, ты ложись. Спи, рано еще.

Димка кивнул, но продолжал сидеть.

— Спи, Дим… Укладывайся.

Димка лег на спину, но продолжал во все глазищи глядеть на Серёжу. Серёжа до подбородка натянул на него одеяло.

— Ну, я пошел.

Короткая хлесткая злость на директора, на его "мушкетеров", на всех, из-за кого приходилось уезжать из лагеря, обожгла Серёжу. Он резко оттолкнулся от подоконника и зашагал к забору. Он успел еще заметить, что Димка снова сел и смотрит вслед. Но оглядываться не стал. Потому что все равно нужно было уходить. О том, что можно остаться, он даже не думал.

Лагерь спал таким глубоким сном, что можно было никого не опасаться. Но все-таки Серёжа

не пошел к калитке: сторож мог и проснуться. Доказывай тогда, что он не убегает, а просто уходит, потому что… В общем, сторожу трудно что-нибудь доказать.

Серёжа пробрался сквозь колючки к забору. Серые головки репейника приклеились к брюкам, острый сучок разорвал штанину. Серёжа отодвинул в заборе доску, и открылась щель. От нее убегала тропинка…

## 7

— Да-а. Заварил ты кашу, — сказал Алексей Борисович. — И знаешь что, Сергей? Тебя будут обвинять в дезертирстве. Скажут, не уходить надо было из лагеря, а доказывать свою правоту, раз уж ты уверен, что прав.

— Кто скажет?

— Да кто угодно. Ребята. Или тот же начальник лагеря.

Серёжа медленно покачал головой:

— Я не дезертир. Я не из-за трусости ушел. Просто противно стало. А доказывать там некому. Одни смеются, другим все равно. Ведь знают, что нельзя чужие письма читать, а молчат… А Тихон Михайлович тоже… Ну что я ему докажу? Он ду-

мает, что с ребятами что хочешь можно делать!

— Сейчас он так уже, наверно, не думает, — заметил Алексей Борисович.

Серёжа осторожно поднял на него глаза.

— А вы… не думаете, что я дезертир?

— Нет, — сказал Алексей Борисович и почему-то нахмурился.

Потом он спросил:

— А почему этого Тихона Михайловича так разозлило письмо? Что ты там такого понаписал?

— Да ничего особенного! Вот посмотрите! — Он вытащил из кармана помятый конверт.

— Постой, Серёжа. А откуда оно у тебя? Разве начальник вернул его?

— Физрук отдал… Ну… он меня тут догнал, уговаривал вернуться.

— Понятно. Это тот гражданин, с которым ты беседовал, когда я подходил к станции?

— Тот самый…

— Так… Значит, можно почитать письмо?

— Читайте, пожалуйста.

Алексей Борисович вынул из конверта большой коричневатый лист в крупную клетку. И удивленно глянул на Серёжу.

— А где ты взял такую бумагу?

— Да в лагере ее сколько угодно. Это такие конторские книги, мы из них отрядные дневники делали. А что?

— Да так, любопытно…

И он стал читать.

Серёжа придвинулся и тоже стал перечитывать знакомые строчки.

*Здравствуйте, папа,*

*тетя Галя и Маринка!*

*У меня все в порядке. Здоровье хорошее. Один раз ногу подвернул на футболе, но уже прошло. Недавно мы ходили в поход с палатками. Только ночевать не стали, потому что вожатая испугалась грозы. А еще будет военная игра. Но знаешь, папа, если по правде писать, то мне здесь не нравится. Сначала понравилось, потому что был один хороший вожатый и костры были. Но он уехал. Теперь скучно. Хотел я подружиться с ребятами, только пока не получается. Я один раз сказку рассказал, чтобы интереснее было. А они смеются теперь. Знаешь, папа, лучше бы ты приехал за мной. Лучше бы мы с тобой и Наташкой поехали на рыбалку, а то все только собираемся и собираемся. И никак не получается, чтобы вместе. А здесь даже и не порыбачишь. Одному на речку не дают нос сунуть, а когда целая толпа,*

*то тут уж не до рыбалки. Даже и не искупаешься как следует, потому что только залезешь и уже велят обратно.*

*Ты не думай, что я жалуюсь. Если надо, я проживу всю смену. Но ты ведь просил писать честно, вот я и пишу честно. Лучше бы ты приехал за мной. Здесь знаешь почему плохо? Потому что каждый день одно и то же! А если плохо, то зачем?*

*Но если ты не можешь, не приезжай.*

*Тетя Галя, можно, я сменяю свои польские штаны на трехцветный фонарик? Они мне все равно велики и сваливаются, а тому мальчику, у которого фонарик, они как раз.*

*Пусть Маринка не лазит в мой ящик без спросу, а то у меня там пистоны и острый циркуль с иголками.*

*До свиданья.*

*Ваш Серёжа.*

Письмо было написано на развернутом листе, вырванном из конторской книги. Одна половинка листа осталась чистой.

— Можно, я возьму эту бумагу? — спросил Алексей Борисович. — Здесь ничего не написано.

— Возьмите, конечно!.. А зачем?

— Да так, пригодится. В морской бой можно

поиграть, тут клетки подходящие. До поезда все равно еще много времени. Ты умеешь играть в морской бой?

Серёжа снисходительно усмехнулся.

— Ну и отлично! — Алексей Борисович аккуратно оторвал листок, а письмо отдал Серёже.

— А вы… — нерешительно сказал Серёжа. — Вы ведь сейчас прочитали. Как вы думаете, что в нем… такого?

— "Такого" ничего.

Серёжа сунул письмо в конверт, а конверт — в карман своих просторных брюк. Алексей Борисович глянул мельком и спросил:

— Не успел поменять штаны на фонарик?

— Не успел, — вздохнул Серёжа. — Да тетя Галя, наверно, и не разрешила бы.

— А тетя Галя… она кто? Твоя тетя?

Серёжа просто сказал:

— Она — папина жена. Мама у меня умерла.

— Извини, брат. Перестарался я со своим любопытством.

— Ну, а что ж такого, — спокойно откликнулся Серёжа. — Конечно, непонятно: папа и тетя Галя… — И вдруг спросил: — А вы были в Сибири?

— Был.

— Мама в Сибири умерла. Поехала в коман-

дировку к геологам и простудилась. Быстрая какая-то простуда. Врач на вертолете прилетел, да уж поздно… Алексей Борисович! — Серёжа глянул так, будто очень о чем-то просил. — Это шесть лет назад было. Может, вы встречали маму?

Алексей Борисович покачал головой.

— Нет, малыш. Не хочу я тебя обманывать, не встречал. Я бы запомнил такую фамилию.

— А у мамы другая фамилия — Ласкина.

— Нет, Серёжа. Не знаю… Сибирь громадная. Где это было?

— Где нефть. Под Сургутом.

— В тех краях я бывал. Да разве всех запомнишь? Может быть, и встречались когда-нибудь.

Почти шепотом Серёжа сказал:

— А у меня карточка есть. Хотите, покажу?

— Покажи, конечно.

Из нагрудного кармана курточки Серёжа достал блокнотик и вынул из него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце.

Алексей Борисович положил снимок на ладонь. Посмотрел полминуты и снова покачал головой:

— Нет, Серёжа. Я запомнил бы… Красивая у тебя мама. И молодая совсем.

Серёжа кивнул:

— Двадцать четыре года. Я ее хорошо помню,

хотя мне всего пять лет было.

— И карточка всегда с тобой?

— Всегда.

Он вложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман.

Морской бой — игра нехитрая, но тоже требует умения. Алексей Борисович один раз уже потерпел полный разгром и теперь слегка нервничал.

— Не понимаю, как ты ухитряешься? По теории вероятности шансы у нас должны быть примерно равные… Слушай, а ты не подсмотрел?

— Да честное пионерское! Просто у меня особый способ… Дэ-один…

— А, вот тебе и способ! Промазал! Жэ-семь.

— Мимо. Е-три.

— Тьфу, черт! Угробил канонерку. Бей еще… Ты что, Серёжа?

А Серёже сразу стало не до канонерок. Он увидел, как на дороге затормозил лагерный "газик". И от машины к станции шагал по заросшей тропинке сам Тихон Михайлович Совков.

— Ну вот, — тоскливо сказал Серёжа. — Директор приехал.

Алексей Борисович быстро оглянулся.

— Ишь ты, — непонятно сказал он.

Серёжа сидел сощурившись и сжав губы.

— Начнется теперь все снова, — шепотом сказал он.

— М-да… — неопределенно откликнулся Алексей Борисович.

Серёжа думал, что он заступится, а он "м-да".

Серёжа резко сказал:

— В лагерь я все равно не поеду.

— Смотри. Это в конце концов твое дело.

— Не поеду я! — повторил Серёжа.

Алексей Борисович вдруг улыбнулся.

— Ну а если не поедешь, тогда зачем нервничать? Давай играть дальше. Посмотрим, что будет.

И было вот что.

Начальник лагеря подошел и остановился, выжидающе глядя на Серёжу.

— Вэ-один, — напряженным голосом сказал Серёжа.

— Может быть, Каховский, ты обратишь на меня внимание? — спросил Тихон Михайлович.

— Я обратил, — сказал Серёжа. — Вэ-четыре, Алексей Борисович.

— Может, ты хотя бы поздороваешься? — спросил директор.

— Здравствуйте… Мимо, Алексей Борисович. Вэ-шесть…

— Вляпал, — с сожалением сказал Алексей Борисович. — В подводную лодку. Ловко у тебя получается.

— У меня способ. Нащупывание огнем…

— Гражданин, я, кажется, разговариваю с мальчиком, — с достоинством произнес товарищ Совков. — Я просил бы не мешать.

Алексей Борисович поднял на него добрые свои зеленоватые глаза.

— Разве я мешаю? Бог с вами. Мне показалось, что мальчик сам… э-э… не очень охотно общается с вами.

— Этот мальчик сбежал из лагеря! — возмущенно известил директор. — Вам это известно?

Услышав слово "сбежал", Серёжа шевельнул плечом, но промолчал.

— Мне Серёжа изложил, так сказать, ситуацию, — откликнулся Алексей Борисович. — В общих чертах. Правда, не совсем так, как вы. Он сказал, что не сбежал, а ушел из лагеря. В соответствии с вашим распоряжением. Кажется, вы не сошлись во взглядах на тайну переписки? Кстати, охраняемую законом.

— При чем здесь закон? Вы что, угрожаете мне?

— Ну, что вы, товарищ начальник лагеря! — с

мягким упреком воскликнул Алексей Борисович. — Ну чем я вам угрожаю, посудите сами? Разве я похож на человека, который может угрожать?

— Тогда почему вы вмешиваетесь? Собственно, кто вы такой?

— Да я и не вмешиваюсь. Я, простите, отвечаю на ваши вопросы. Кто я такой? Серёжин попутчик, вместе ждем, когда поезд придет… А вообще-то, Тихон Михайлович, я думал, что вы меня не забыли еще. Мы с вами как-то разбирали один сложный вопрос с выгрузкой овощей из вагонов. Помните? По правде говоря, я не думал, что после этой истории вы займете пост начальника пионерского лагеря. Тем более что дети чем-то отличаются от овощей.

Серёжа заметил краем глаза, что во время этой речи Тихон Михайлович начал часто мигать и лицо у него порозовело. И кислым голосом директор сказал:

— А, это вы… товарищ корреспондент. Я должен был догадаться. У вас удивительная способность возникать, где не надо.

— Ну, видите ли, тут у нас точки зрения очень разные. Когда вы считаете, что не надо, я как раз думаю, что надо.

Тихон Михайлович тяжело задышал и стал ощупывать карманы, словно искал сигареты.

"А ведь он чего-то боится", — с удовольствием подумал Серёжа.

— Да вы не волнуйтесь, товарищ Совков, — усмехнулся Алексей Борисович. — С Серёжей-то я случайно познакомился. Я в этих краях по другому письму. Понимаете, какой-то гражданин — не то Сапогов, не то Сачков — написал про председателя здешнего колхоза. Будто председатель этот — сущий жулик. Недлинное письмо, но… выразительное. Кстати, написано на такой же бумаге, как Серёжино. Хорошая бумага. Где вы ее для лагеря раздобыли, Тихон Михайлович?

Совков отступил на два шага и вздернул подбородок.

— Я вас попросил бы… Кто вам дал право делать намеки и клеить на меня ярлыки? Я не писал наканых писем. У меня с председателем отличные отношения.

— Ну и прекрасно! Тем более что не подтвердилось письмецо.

— Я не понимаю, зачем вы мне про все это рассказываете.

— Да просто так. Делюсь своими заботами. Думал, вам интересно. Учитывая вашу любовь к

чужим письмам…

— Я попросил бы не вести таких разговоров при детях.

— Прошу прощения. Но ведь "дети"… — он взглянул на Серёжу, — про это все равно знают.

— Давайте закончим разговор, — сказал Совков со сдержанной обидой. — Я выполняю свои обязанности. Ребенок самовольно покинул лагерь, и я должен увезти его назад. Почему вы мне препятствуете?

— Я? Препятствую? — Алексей Борисович даже отодвинулся от Серёжи. — Помилуйте, каким образом я препятствую? Ну увозите, пожалуйста. — Он поймал растерянный Серёжин взгляд и в ответ улыбнулся глазами. — Только, Тихон Михайлович… я не понимаю, как вы это сделаете. Уговоры, мне кажется, не помогут. А применять более решительные способы вы, наверно, не станете. Тем более что человек — не теленок, на веревке не утащишь…

— Я не собираюсь применять никаких способов, — заявил Совков, поглядывая на дремлющего Нока. — Я просто приглашу на помощь милиционера.

— Ну, Тихон Михайлович, — с укоризной сказал Алексей Борисович. — Вы путаете. Это не тот

лагерь, куда приводят с милицией. Кроме того, я точно знаю, что в радиусе шести километров нет ни одного милиционера, ибо участковый, товарищ Павлов, находится сейчас в Дмитровке.

Начальник лагеря перестал обращать внимание на Алексея Борисовича. Он всем корпусом повернулся к Серёже, слегка наклонился и стал говорить настойчиво и в то же время добродушно:

— Ну вот что, Каховский. Надо заканчивать эту историю, ты и сам понимаешь. Давай, дорогой товарищ, забудем все эти грустные события, сядем в машину — и в лагерь. Нас дела ждут.

— Извините, Тихон Михайлович, я не поеду. Я же сказал, — негромко, но твердо проговорил Серёжа. Он не смотрел на Совкова. Разглядывал бумажку с нарисованной эскадрой и с нетерпеливой досадой думал: "Когда он наконец уберется?"

— Видали его! — уже без всякого добродушия воскликнул Совков. — Он "сказал"! Фигура! Ты думаешь, что ты лучше всех? За что ты всех нас возненавидел?

— Кого? — удивился Серёжа.

— Весь лагерь!

— Я никого не возненавидел. Просто мне в лагере не нравится!

— Не нравится сейчас — потом понравится.

— Нет, — тихо сказал Серёжа. — Все равно хорошо уже не будет… Да еще собака. Где она там будет жить?

— При чем тут собака? Я приехал не за собакой, а за тобой. Я не могу забирать в лагерь всех бродячих псов.

— Он не бродячий, а мой. Я его бросить все равно не смог бы. Раз он мой, я за него отвечаю.

— А я отвечаю за тебя! Понимаешь? За тебя! И я не имею права отпустить тебя из лагеря.

Серёжа досадливо пожал плечами.

— Вы меня не отпускаете. Я сам уезжаю.

— Вот именно — сам! Самовольно! Ты думаешь, это тебе так сойдет? Не думай, голубчик. Мы и родителям сообщим, и в школу. Про все твои фокусы. И как собаку натравливал на Станислава Андреевича! За такие дела знаешь что?.. В колонию!

— Я не натравливал! Он меня схватил, а Нок зарычал!

— Эти сказки ты потом будешь рассказывать. Не здесь и не мне. Станислав Андреевич врать не будет, собака бросилась за ним вслед.

— Прошу прощения, — вмешался Алексей Борисович, — но ваш Станислав Андреевич

несколько… преувеличивает, так сказать. Я как раз подходил к станции и был свидетелем этой сцены. Собака вела себя вполне интеллигентно… в отличие от Станислава Андреевича.

Совков резко повернулся к нему.

— Я не понимаю, чего вы хотите? Чтобы я отпустил его одного домой? Интересно, что вы сделали бы на моем месте?

— На вашем месте, — с жесткой усмешкой сказал Алексей Борисович, — я бы помнил, что никто не имеет права читать чужие письма. Помнил бы также, что у детей тоже есть чувство собственного достоинства, которое никому не позволено оскорблять, да еще публично. И что каждый человек имеет право порвать отношения с тем, кто его оскорбил… Возможно, это не следует говорить "при детях". Возможно, это непедагогично. Прошу извинить… А посоветовать вам я мог бы вот что: раз мальчик категорически отказался жить в лагере, надо назначить ему провожатого — пусть доставят его домой. Странно, что это вам не пришло в голову.

— Если каждый мальчишка начнет бегать из лагеря, у меня людей для провожанья не хватит. У меня вожатые, а не провожатые.

— Ну, если у вас начнут бегать все мальчишки,

значит, в лагере что-то не так... А о провожатом для Серёжи не беспокойтесь, я эту роль могу на себя взять, раз уж так получилось.

— Я не понимаю, зачем вам нужно в конце концов, чтобы он не возвращался в лагерь. Чего вы хотите?

— Да ничего я не хочу, — опять усмехнулся Алексей Борисович. — Просто думал вам услугу оказать, проводить мальчика.

— Знаю я ваши услуги. Они, извините, медвежьи... Каховский, я последний раз спрашиваю, ты поедешь в лагерь?

Серёжа вздохнул и молча покачал головой.

— Ну, прекрасно. Так и запишем. А про вас, товарищ корреспондент, я напишу в редакцию. О вашем поведении. Имейте в виду.

— Буду иметь в виду. Только подписывайтесь разборчиво...

Совков круто повернулся и зашагал к машине, широко размахивая руками. Нок поднял уши и смотрел ему вслед.

Хлопнула дверца машины. "Газик" подпрыгнул и запылил по шоссе.

Серёжа с облегчением сказал:

— Кажется, все.

— Будем надеяться... Хотя должен сказать, что

Тихон Михайлович Совков — человек упрямый.

— Вы его знаете, да?

— Встречались. Не всегда он был начальником лагеря.

— Вот вы сказали… про овощи. Неужели он был жулик? Он овощи воровал, да?

Алексей Борисович засмеялся.

— Да нет, Серёжа, не придумывай. Ничего он не воровал. Все это гораздо сложнее… Хитрил он, чтобы лишнюю премию получить, а из-за этого дело страдало. Вагоны простаивали, график срывался. Да ну его… Ты что приуныл?

— Я не приуныл. Все в порядке.

— Тогда продолжим? Бой еще не закончен.

— Не закончен, — вздохнул Серёжа.

## 8

Подошло наконец время поезда. На станции появились еще три пассажира: старичок с белой бородой и пухом вокруг блестящей лысины, румяная старушка с корзиной, в которой кто-то крякал и шевелился, и девочка — крошечная, но резвая — в красном с белыми горошинами платочке.

— Как из сказки, — сказал Серёжа. — Дед, бабка

и внучка Маша.

Из-за леса выскочил зеленый поезд. На крыльце показался старик дежурный в красной фуражке и со свернутыми флажками — красным и желтым.

— Дождались, — сказал Алексей Борисович и поднялся со скамейки.

Поезд зашипел и остановился.

Двери открылись только в двух вагонах. Видно, сходить на этой станции никто не собирался, а для посадки пяти пассажиров достаточно было и двух дверей. Так, наверно, решили проводники.

Дед, бабка и внучка засеменили к ближнему вагону.

— Пойдемте в другой, — торопливо сказал Серёжа. — А то они сейчас вход закупорят, и мы не успеем.

Он подхватил чемоданчик, потянул за поводок Нока и вприпрыжку двинулся вдоль вагонов. Алексей Борисович обогнал его и широко зашагал впереди. Он первый вскочил на подножку и крикнул:

— Давай Нока!

Протянул руку, чтобы ухватить ошейник.

Позади возникла юная проводница с круглым неприступным лицом.

— Гражданин, вы куда с собакой?

Алексей Борисович оглянулся.

— Как куда? В вагон, разумеется.

— В вагон нельзя. Вы что, маленький? Правил не знаете?

— У нас билет есть! — крикнул снизу Серёжа.

— Билет ни при чем. Намордника-то нет!

— Да что вы, девушка, — вкрадчиво — сказал Алексей Борисович. — Ну зачем ему намордник? Это же еще совсем щенок.

— А нас не касается, щенок это или нет. Намордники для всех обязательны… Гражданин, кому я сказала! Не смейте втаскивать собаку, я не пущу.

— Ну, что нам делать-то? — взмолился Алексей Борисович. — Не бросать же пса! Сердце-то у вас есть?

— Сердце здесь тоже ни при чем. Если контролер по вагонам пойдет, ему до моего сердца дела не будет. Я из-за вас премии лишусь.

— Да пока контролер пойдет, мы какой-нибудь намордник сообразим!

— Вот сначала сообразите, а потом садитесь в поезд… Сойдите с подножки, гражданин. Слышите, отправление дали? Или оставьте собаку.

Алексей Борисович взглянул на Серёжу.

— Нет, — шепотом сказал Серёжа и обхватил Нока за шею.

Алексей Борисович чертыхнулся и спрыгнул на землю. Проводница старательно закрыла дверь. Вагон лязгнул и пошел, наращивая скорость.

— Фу-ты, как глупо вышло. Юная бюрократка… И не придерешься ведь, инструкцию соблюдает, — сказал вслед вагону Алексей Борисович.

Серёже было очень стыдно. Ну как он не сообразил, что нужен намордник! И Алексей Борисович из-за него остался…

— Вам надо было ехать, — проговорил Серёжа. — Я виноват, вот и сидел бы здесь. А теперь вы из-за меня застряли.

— Ну, брат, что за чепуху ты говоришь, — недовольно произнес Алексей Борисович.

Серёжа виновато помолчал и спросил:

— А что теперь делать?

— Ну, что делать… Сначала намордник. Потом еще раз сыграем в морской бой. Через полтора часа, насколько я помню, должен еще поезд быть… Только вот есть хочется. А? Что за станция, даже завалящий бутерброд купить негде. Прямо хоть ремень жевать начинай. У тебя кожаный?

Серёжа улыбнулся все еще виновато.

— Кожаный. Только его жевать нельзя. Из чего тогда намордник делать?

— А может быть, от моего аппарата возьмем

ремешок для намордника? У меня в портфеле фотоаппарат. Жалко, конечно, но… с тебя же штаны свалятся, если ты ремень снимешь.

— Нет, что вы, не надо от аппарата! — даже испугался Серёжа. — Да пусть они свалятся, у меня другие есть. А эти я под мышкой понесу, раз они в чемодан не влазят.

— Попробуем в мой портфель затолкать, — решил Алексей Борисович.

Они вернулись к скамейке. Алексей Борисович забрал у Серёжи ремень, моток проволоки и ножик. Он сказал, что никогда в жизни не делал намордников и хочет попробовать. Подозвал Нока и стал обмерять ему морду. Нок мотал головой и дергал ушами. Попробовал даже улизнуть, но Алексей Борисович ухватил его за ошейник.

— Стой спокойно ты, беспризорник… Никакой культуры в тебе, никакого воспитания. Вот нацепим намордник, сразу почувствуешь, что такое дисциплина.

Серёжа переоделся, вместо брюк надел синие шорты от пионерской формы, а заодно сменил рубашку, которую помял и перемазал, когда возился с Ноком. В коротких штанах и белой футболке он сделался тоньше и словно повыше ростом. И стал похож немного на того мальчика

с жеребенком. Особенно когда подошел к Ноку и взял его за шею. Правда, Нок совсем не был похож на изящного жеребенка.

— Отпусти его, пусть побегает, — сказал Алексей Борисович. — Может быть, он себе что-нибудь съестное отыщет.

Серёжа отпустил. Нок отошел, но искать ничего не стал, а сел и с укоризной поглядел на Серёжу: "Эх ты, хозяин. Взял, а не кормишь".

Подошел старичок в красной фуражке, дежурный по станции. Спросил с интересом:

— Что это вы, граждане пассажиры, не уехали? Понравилось, видать, у нас?

— Да вот так получилось. Из-за этого пассажира. — Алексей Борисович кивнул на Нока.

Тот сидел в трех шагах и чесался с такой силой, что от него разлетался ветер.

— Не пустили без намордника, — объяснил Серёжа.

— Правило такое существует, — сказал старичок сочувственно. — А вообще-то как повезет. На кого, значит, наткнешься. Когда пустят, а когда нет… А сейчас, я думаю, для вас, граждане, самый правильный выход — это шагать до тракта да ловить попутку до города. Ежели только вы, конечно, ночевать не расположены.

— Это почему же ночевать? — встревожился Алексей Борисович. — А поезд?

— А какой же поезд, милый ты мой? Сегодня поездов в ту сторону больше не будет.

— Как же не будет? А в шестнадцать двадцать девять? Я же на прошлой неделе ездил на нем.

— Э-э, вон ты про что! Ты это в субботу или в воскресенье ездил. Это точно. Есть такой поезд по выходным дням. Дополнительный, значит, чтобы дачников возить. А сегодня нету.

— Ну, дела-а… — сказал Алексей Борисович, жалобно глядя на Серёжу. — Все, брат, одно к одному.

— Все из-за меня, — убитым голосом произнес Серёжа.

— Нет, Сергей, ты эти речи брось, — тут же воспрянул Алексей Борисович. — Что ты, в самом деле, сразу нос опускаешь… Давай думать. Значит, так: на шоссе нам идти не стоит. Мало надежды. Грузовики нас не возьмут, их за это автоинспекция греет. А в легковую машину нас, такую компанию, тоже никто не пустит.

— Может быть, пешком? — робко предложил Серёжа.

— Шестьдесят-то верст! Да на голодное брюхо… Нет, брат, это не та романтика.

— Это верно, — вставил слово дежурный. — Пешком — это не тот фасон. Так что самое вам хорошее дело — сходить в поселок, в столовую, да остаться ночевать. Ежели негде, то я могу вас у себя устроить, раз уж так случилось. Глядите, в общем… — Он вздохнул и побрёл к домику.

— Спасибо, — сказали ему вслед Серёжа и Алексей Борисович.

Затем Алексей Борисович решительно встал.

— Ночевать нам, Сергей, не годится. Мне вечером надо быть дома. Да и тебе не стоит зря болтаться здесь… Есть один способ. Хватай чемодан, и пошли. Только быстренько!

Он затолкал в карман почти готовый намордник Нока, взял портфель и куртку и, не говоря больше ни слова, зашагал куда-то через кусты, через канаву, прямо в поле.

— Нок, за мной! — крикнул Серёжа. Схватил свой чемоданчик и бросился догонять Алексея Борисовича.

## 9

Они шагали гуськом по тропинке, которая то и дело терялась в траве. Позади, рассеянно вертя головой, семенил Нок. Под носом у него пролета-

ли желтые бабочки, и Нок щелкал пастью.

Алексей Борисович шел впереди. Он оборачивался и объяснял на ходу:

— На реке, километрах в полутора отсюда, стоит на приколе баржа. К ней иногда катера швартуются. Если какой-нибудь мимо пойдет — посигналим. Может, повезет нам. Катер, конечно, не экспресс, но в сумерках до города, возможно, доберемся... Ну а если не повезет — что ж, будем считать, что у нас еще одно приключение.

Слово — удивительная вещь. Если скажешь "неудача", кисло на душе делается. А если скажешь "приключение", то сразу веселее. Серёжа догнал Алексея Борисовича и зашагал рядом — не по тропинке, а прямо сквозь траву.

Травы цвели. Высоко, иногда у самых Серёжиных плеч, качались длинные розово-лиловые свечки иван-чая. Желтел в путанице листьев львиный зев-смешные цветки, похожие на щенячьи мордочки. Чиркали по Серёжиным локтям головки мелких белых соцветий, у которых мало кто знает названия.

Путешественники незаметно перевалили плоский пригорок, и когда Серёжа оглянулся, то уже не увидел станции. Только башенка с петухом торчала среди травы.

Иногда открывались лужайки с темно-красными головками клевера. Над клевером неподвижными мохнатыми шариками висели шмели. Неторопливо пролетела очень крупная коричневая бабочка "павлиний глаз".

Нок не выдержал, гавкнул и бросился в погоню.

— Несолидно он себя ведет, — с улыбкой сказал Алексей Борисович.

А Серёжа с беспокойством следил за Ноком: не слопал бы пес в самом деле такую симпатичную бабочку.

Не слопал, не догнал. И, виновато моргая, вернулся к хозяину.

— Будешь пиратничать — намордник наденем, — пообещал Серёжа.

Нок дурашливо фыркнул и замотал головой. К морде прилипли травинки.

— Смотрите, Алексей Борисович, он траву ел! Говорят, если собака траву ест, значит, дождь будет.

— Да нет, едва ли. Это он просто с голоду. Я и сам готов подорожник жевать. А дождя не должно быть, небо вон какое хорошее.

В небе замерли желтовато-белые груды облаков, которые никогда не закрывают солнца и не

грозят ненастьем. Ветра совсем не было. В прогретом воздухе стоял густой запах луга. Солнце припекало плечи.

— Придем к реке — искупаться можно будет, — мечтательно сказал Серёжа.

Реку еще не было видно. Она лежала вровень с низкими берегами. Темные полоски прибрежных кустов и высокие травы закрывали воду. Лишь изредка пробивался вдали сквозь зелень синевато-стеклянный блеск.

Но вот кусты приблизились, расступились. Сразу же распахнулась перед путешественниками голубая вода с отраженными облаками. Нок бросился к песчаной полоске, ступил в воду передними лапами и принялся лакать с таким усердием, что внутри у него забулькало.

— Алексей Борисович, я окунусь, можно? — заторопился Серёжа. — Мы с Ноком. На минуточку.

— Подожди-ка, дружище, — быстро сказал Алексей Борисович. Он смотрел вдоль берега. — Постой-ка. Нам, кажется, повезло больше, чем я ожидал. Пошли. Ты видишь?

В сотне метров от них стояла на отмели баржа, а к ней приткнулся бортом крупный катер с белой рубкой и тонкой мачтой.

— Поднажмем, — сказал Алексей Борисович, и

они "поднажали".

Нок припустил за ними — по самой кромке воды с плеском и брызгами.

— Точно, — отдуваясь, произнес Алексей Борисович, когда различимы стали белые буквы на корме — "Азимут". Ну, как здорово, честное слово!

По тонкой сходне они поднялись на баржу. Здесь пахло отсыревшей деревянной обшивкой бортов, сухими досками палубы и дегтем. Нок медленно переступал и повизгивал: нагретые доски обжигали лапы.

— Не ходи босиком, — мельком сказал Алексей Борисович.

Нок обиделся и ушел в тень высокого кормового люка.

Катер был ниже баржи. Алексей Борисович перегнулся через борт и позвал:

— Эй, на крейсере!

Из рубки выбрался широколицый веснушчатый парень. И заулыбался.

— Володя! — воскликнул Алексей Борисович. — Ну как я рад! Здравствуй... Серёжа, это капитан Володя. Он прошлой весной снял меня с необитаемого острова, на котором я оказался из-за происков местных браконьеров. Я там почти

сутки добросовестно играл роль Робинзона.

— Да вы и сейчас, мне кажется, товарищ Иванов, вроде Робинзона, — смеясь, проговорил Володя. — Хоть на что могу спорить, что до города транспорт ищете. Только не один вы сейчас Робинзон, а с Пятницей. Ага?

— Угадал. Насчет транспорта. А насчет Пятницы — это ты зря. Мы с Сергеем равноправные попутчики.

— Да я не к тому... Я про Пятницу вспомнил, потому что сегодня день-то как раз пятница.

— Ну-ну, вы опять путаете, мой капитан. Сегодня четверг.

— Вот уж тут-то я, товарищ Иванов, не путаю, — заупрямился Володя. — Я здесь стою как раз потому, что пятница. Витька, это наш новый моторист, взял на пятницу билеты в цирк на семь вечера, а к семи нам не успеть. Мы на базу, в Решетниково, запчасти отвозили, да там нас проманежили. Вот он и побежал звонить в город, девушке своей, чтобы не волновалась. Тут рядом водоразборная станция, а на ней телефон есть...

— Ч-черт, — сказал Алексей Борисович. — Как же это я? Неужели пятница? Сергей, что же ты молчал?

— Ну, Алексей Борисович, вы же не спрашива-

ли, какой сегодня день. А разве обязательно надо, чтобы четверг?

— Да в том-то и дело. Я же в студенческом отряде корреспонденцию заказал, чтобы ребята написали про свою работу. Завтра они должны ее в редакцию привезти. Договорились, что обязательно завтра. А редакция в субботу не работает… Ах, братцы, старая перечница я стал. Склероз.

— Да что вы, товарищ Иванов, — снисходительно утешил Володя. — Склероза у вас нет. Это у вас, извините уж, просто характер такой. Помните, когда я вас с острова снимал, вы там свою сумку оставили. Пришлось назад поворачивать… А я вам вот что посоветую. Вы сходите сейчас на водоразборку да звякните по телефону в колхоз, объясните, как и что.

— А вы подождете?

— А чего ждать? Это же рядом, шагов триста. Идите вниз по берегу, там деревянный дом да кирпичная будка. Увидите… А, вон Витька идет! Вить, работает телефон?

— Работает, — буркнул хмурый долговязый Витька. — Лучше бы не работал. Она мне знаешь каких вещей наговорила…

— Ну ничего. Может, еще успеем. Хотя бы на второе отделение. Только вот товарищ корре-

спондент сходит в колхоз позвонит, и мы сразу врубим на всю катушку.

— Я бегом, — заторопился Алексей Борисович.

— Да вы не спешите, товарищ, — скучным голосом сказал Витька — Мне лично, по крайней мере, спешить некуда. Раз уж она сказала, чтоб на глаза не показывался, это, значит, на три дня, не меньше.

— Да-а… — сочувственно протянул Алексей Борисович. — Ну, я все-таки поспешу. Ты, Серёжа, подожди, я мигом. Кажется, кончаются наши приключения… Э, Сергей, да что с тобой?

А Серёжа стоял с опущенными руками и всем своим видом словно говорил:

"Ну что же делать, если я такой никудышный, неудачливый, несчастный и бестолковый?"

— Что случилось, Серёжа?

— Брюки-то я забыл, — шепотом сказал он. — Остались на скамейке. На спинке висят. И куртка.

— Тьфу ты… Да ладно, Сергей. Неужели они тебе так уж нужны? Куртка старая, а штаны… Велики ведь они тебе. И порваны к тому же. Разве что клеймо интересное…

— Да не клеймо… Там же письмо в кармане осталось. Найдет кто-нибудь, читать будет.

— Досадно. Ну а, в общем-то, что в нем особенного, в этом письме? Пусть читают.

— А еще там в кармане карточка. Мамина, — совсем тихо сказал Серёжа.

— М-да…

И больше Алексей Борисович ничего не сказал. А что скажешь?

Серёжа тоже молчал. Он ясно представил, как чужие любопытные пальцы выворачивают карманы, вытряхивают медяки, нащупывают и разворачивают письмо… А потом достают записную книжку, шелестят листками. Падает на скамейку снимок. Ведь никто же не знает, что это его, Серёжина, мама. Это для него мама, а для других — просто незнакомая, чужая женщина. И бросят ненужную карточку в траву…

Серёжа наклонился над бортом баржи.

— Товарищ капитан, — звенящим голосом сказал он Володе. — Я очень быстро сбегаю. Можно, а? Я бегом. Тут же недалеко!

— Да что случилось-то? Товарищ Иванов? — забеспокоился Володя. — Чего это парнишка расстроился?

— Имущество кой-какое забыли на станции, — виновато объяснил Алексей Борисович. — Ну, не везет как по заказу.

— Да пусть малец сбегает, — сказал моторист Витька. — Это же дело-то пустяковое: туда и обратно километра три, не больше. За полчаса обернется. А нам теперь и подождать можно, чего уж…

— Подождем, — решил Володя.

— Жми, Сергей, — сказал Алексей Борисович. — Собаку возьмешь?

— Нет, придержите ее, пожалуйста. Один я быстрее…

По правде говоря, он опасался, что вдруг на станции появятся поселковые ребята и предъявят на Нока права. Лучше не рисковать.

Он прыгнул на сходню, на берег и помчался так, что трава засвистела у ног.

Алексей Борисович удержал за ошейник встревоженного пса и сказал Володе:

— Славный парнишка… Вот сегодня утром я еще не знал, что есть он на свете. А сейчас будто вместе тысячу верст прошагали.

— Пацаны — они народ такой. К ним привязываешься, — согласился Володя. — Я прошлым летом две смены вожатым в лагере работал, от райкома комсомола. А потом отказался. Потому что как начинают разъезжаться по домам — будто от сердца отдираешь.

Алексей Борисович кивнул и отвернулся. У него болели глаза: перед этим он смотрел вслед Серёже, а тот убегал в сторону солнца. Чтобы глаза отдохнули от блеска, Алексей Борисович стал смотреть на северный берег. Там были луга, пестрые домики, синий бор на горизонте, а перед ним — кудрявый березовый лес. За тем лесом прятался лагерь, где начальником Совков Тихон Михайлович.

Из леса выскочил серовато-голубой "газик" и запылил по дороге к мосту.

— Однако… — сказал Алексей Борисович. — Володя! Нет ли у тебя бинокля?

## 10

Еще издали, с пригорка, Серёжа увидел, что брюки и куртка по-прежнему висят на спинке скамьи. Осталось пробежать немного, перепрыгнуть заросшую канаву, проскочить кустарник — и вот скамейка.

Он перепрыгнул канаву. Но когда перед ним оказались кусты, оттуда, из засады, вышли четверо.

Это были, конечно, враги. Гутя, Витька Солобоев, Женька Скатов и Пудра.

— Гы… — сказал Пудра. — А вы говорили, уехал. Вот он, вовсе и не уехал даже. Ага.

— Привет, — насмешливо сказал Гутя. Он был, как всегда, красив и аккуратен, даже складочки на шортах отутюжены. Остальные трое были встрепанные и вспотевшие, а Гутя даже прическу не разлохматил. Он вертел в пальцах одуванчик с пушистой головкой и улыбался.

Серёжа сделал ошибку. Ему бы сразу шарахнуться назад, за канаву, а там еще посмотрели бы, кто быстрее бегает. Но он решил проскочить строй врагов, схватить со скамейки вещи и потом уже броситься к реке.

Не успел. Сразу шесть липких ладоней ухватили его за голые локти, за кисти рук. Серёжа рванулся, конечно, да толку мало. Его трое держали, и каждый был сильнее Серёжи.

— Не дрыгайся, силы береги, — сказал Гутя. — Еще до лагеря четыре километра топать, а ты, наверно, не обедал, бедненький.

— Ну, чего пристали?! — отчаянно крикнул Серёжа. — Я что вам сделал?

— Нас из-за тебя на речку не пускают и в лес, — объяснил ему из-за плеча Витька Солобоев. Он дышал Серёже прямо в ухо, и от него пахло грушевым компотом.

— Я-то здесь при чем?

— А говорят, что если отпускать, то все начнут разбегаться, как ты. Ты больно хитрый. Сам — до хаты, а мы сидеть из-за тебя в палатах должны?

— Врете вы все, — убежденно сказал Серёжа. — Вас директор послал.

— Ладно, это не твое дело, — сказал Гутя. Он один из всех не держал Серёжу. Прохаживался перед ним. Помахивал одуванчиком. А в другой руке у него был маленький газетный сверток.

— Я в лагерь все равно не пойду, — убежденно сказал Серёжа.

— За уши потащим, — пообещал Гутя.

"Ох, ну почему я не взял Нока?" — подумал Серёжа. И сказал:

— Надорветесь.

— Справимся.

— Вы права не имеете. У меня же вещей нет, они на берегу остались.

— А собака? — спросил Женька Скатов.

— Тоже на берегу! — ответил Серёжа и спохватился: "Не надо было говорить. Если бы думали, что Нок близко, может, испугались бы..."

— Вот и хорошо, — обрадовался Женька. — Дай, Гутя, колбасу, я ее вместо собаки съем. А то все равно Солобоев слопает, ему сегодня добавки

не дали…

— Дурак, — сказал Гутя и зашвырнул сверток в кусты. — Не знаешь, что ли, что в этой колбасе?

— Не знаю, — растерянно отозвался Женька. — Я еще на кухне откусить хотел. А что?

— Дурак, — опять сказал Гутя.

"Неужели иголку сунули? — подумал Серёжа. — Нок ведь не знает еще, что у чужих брать нельзя. Нет, хорошо, что он там".

И сказал:

— Живодеры.

— За живодеров поимеешь, — пообещал Гутя. — В лагере. Ладно, пошли.

Серёжа опять рванулся.

— Не пойду я! Меня там люди ждут! Катер!

— Гы, адмирал, — сказал Пудра. — Глядите, парни, катер его ждет…

Остальные загоготали.

— Не волнуйся, деточка, — сказал Гутя. — За тобой в лагерь персональный самолет пришлют.

— Вы еще за это ответите, — пообещал Серёжа. — У меня там чемодан. Если вам за меня ничего не будет, за вещи вы все равно ответите.

На Гутином лице мелькнуло сомнение. Но тут вмешался Пудра:

— А на кой нам твой чемодан? Нам про него

ничего не сказали. Может, ты его куда выбросил или запрятал, а мы искать обязаны? Нам не чемодан ведь, а тебя велели в лагерь притащить.

— Ага! — крикнул Серёжа. — Велели! Я же говорил!

— Ладно, заткнись, — буркнул Гутя.

— Жандармы вы, вот кто, — сказал Серёжа с закипающей яростью и бесстрашием. — Точно! Полевая жандармерия.

— Ну, ты… — медленно произнес Гутя и пушистой головкой одуванчика ткнул Серёжу в губы. А облетевшим стеблем стеганул его по носу. — За жандармов ты особо получишь, по первому разряду.

Серёжа мотнул головой и сплюнул прилипшие семена.

— Все равно жандармы, — сказал он. — А кто вы? Хорошие люди, что ли?

— Ладно, тащите его, парни! — скомандовал Гутя.

Серёжу рванули вперед. Он уперся пятками, но кожаные подошвы сандалей заскользили по траве. Серёжа постарался зацепиться за куст, но только зря расцарапал щиколотку.

Ну почему так устроен человек? И не боится он, и боли особой не чувствует, а только злость,

и плакать совсем не хочет, а слезы сами по себе закипают где-то в глубине и грозят прорваться. Они еще не очень близко были, эти слезы, но Серёжа уже чувствовал их.

Вырываясь, он сказал сквозь сжатые губы:

— Зря стараетесь. Ну, притащите в лагерь, а потом что? Все равно за мной сейчас придут. Алексей Борисович придет. И собака.

"В самом деле, — думал он, — ведь не уедет же Алексей Борисович. Все равно искать будет. Только как он догадается, где я? И когда он до лагеря доберется?"

Гутя злорадно объяснил:

— Пусть ищут. С собакой. Там для тебя отдельная комнатка приготовлена в изоляторе. Будешь сидеть, пока маму-папу не вызовут. А потом на линейке коленом под… Ну, в общем, ясное дело.

— Могут и галстук снять, — пыхтя, добавил Солобоев.

— Не, — огорченно сказал Гутя. — Не снимут. Гортензия говорила, что в лагере нельзя выгонять из пионеров. А то бы запросто.

"Если запрут, могут и не сказать Алексею Борисовичу, что я в лагере. Тогда что?" — подумал Серёжа. И рванулся так яростно, что его чуть не отпустили. Витька Солобоев сказал, дыша

компотом:

— Ну, я так не согласен. Четыре километра его переть. Машина-то небось уехала, а мы вкалывай. Я не лошадь.

— Чичас он сам побежит, — вдруг сообщил Пудра. — Вы его только подержите минуточку, я чичас…

Он отпустил Серёжу (а Витька с Женькой вцепились в него еще крепче) и побежал к заросшей канаве. Мальчишки ждали. Серёжа видел, как Пудра натянул на ладонь обшлаг рубашки и вырвал длинный, почти метровый стебель крапивы с темно-зелеными узкими листьями.

— Гады, четверо на одного, — сказал Серёжа и даже удивился, что ничуть не боится. И слезы больше не грозили ему. Была в нем холодная, спокойная злость, только и всего.

А Пудра улыбался большим ехидным ртом, помахивал крапивой и медленно подходил.

— Ну, побежишь? — спросил он.

— Животное, — сказал Серёжа. — Попробуй только ударь.

Пудра сильно размахнулся и стеганул его повыше колен. Серёжа закусил губу, но не двинулся.

— Дураки. Вы меня хоть огнем жгите, я вам подчиняться все равно не буду.

— Бу-удешь, — протянул Пудра и хлестнул еще раз.

Неожиданно, то ли из книжки про разведчиков, то ли еще откуда-то, вспомнились Серёже слова: "Если ударить противника под колено каблуком, можно сразу вывести его из строя..." И он без размаха, коротко, трахнул сандалей Пудру по ноге.

Пудра ойкнул, присел. Свободной ладонью зажал колено. Однако крапиву не выпустил. Глаза у него сузились, и он прошипел:

— Ну, чичас попляшешь... — и размахнулся.

— А ну, кончай, — сказал вдруг Женька Скатов и отпустил Серёжу.

Это было очень неожиданно, и Серёжа пропустил момент. Ему бы рвануться из Витькиных лап — и был бы свободен. А он прозевал, и в следующий миг его руку перехватил Гутя.

— Ты чего? — спросил Гутя у Женьки.

— А ничего, — хмуро бросил Женька. — Мучаете человека. Чего он размахался? — Женька кивнул на Пудру. — Ему бы так.

— Гы, а меня крапива не берет. Я в нее могу без штанов прыгнуть. На спор, — сказал Пудра.

— Ну и болван, — отрезал Женька. — Все вы... Собаку еще погубить хотели. Она-то при чем?

— А тебе жалко? — с досадой сказал Гутя. — Она

бы тебе ноги пообглодала.

— А мне чего их глодать? Я, если б знал, с вами бы не связался… Обождите, я еще скажу в лагере, как вы его мучили…

Он вдруг повернулся, пролез через кусты и зашагал к дороге.

— Во изменник, — сказал Пудра, все еще держась за колено.

— Ему же хуже будет, — сказал Гутя.

— Хуже всех будет вам, — пообещал Серёжа. — Вы еще вспомните…

— Ой, страшно. Он сейчас маму позовет, — прохихикал Витька Солобоев.

Серёжа напряг плечи и сжал кулаки — кулаки-то у него были свободны. И Пудра, глядя на него, вдруг проговорил:

— Не-а. Он не маму позовет. Он всадников своих позовет чичас… Мюн-хавузен. Ну, зови своих всадников! — И, скривив рот, он издевательски проблеял: — Ескадро-о-он!..

Ох, если бы на самом деле были всадники! Все, что есть у него, отдал бы за это Серёжа! Полжизни отдал бы за минутное чудо, за то, чтобы гневные всадники примчались сейчас для защиты и мести. Чтобы и Гутя, и Витька, и гнусный Пудра затряслись и побелели от ужаса перед непонят-

ной и неожиданной силой. Если бы!

И сильнее боли, сильнее обиды и злости жгучей волной поднялась в нем тоска по чуду, которого не может быть.

Ведь только совсем маленькие дети верят в сказки до конца…

Только очень маленькие дети верят в чудеса. Да еще старые, много пожившие люди утверждают, что чудеса все-таки бывают. Редко-редко, но случаются. Но Серёжа-то не был маленьким ребенком. И старым опытным человеком он тоже не был. Он был просто мальчик и твердо знал: на свете не бывает чудес.

И он изумился и вздрогнул почти так же, как его враги, когда в полыхании рыжих грив и с глухим громом подков пятеро кавалеристов вылетели на поляну и встали полукругом.

И самый главный всадник — смуглый, белозубый, в зеленой рубашке и парусиновой буденовке с суконной голубой звездой — негромко сказал:

— Не трро-огать…

И стало тихо-тихо. Только в сбруе у лошади звякнули медные колечки.

* * *

Катер рокотал мотором и разгонял по стеклянной воде длинные волны. Вода и небо были светлыми, несмотря на поздний час. А берега кутались в сумерки.

Мигая цветными огоньками, плавно прокатывались навстречу сухогрузы и буксиры. На них играло радио.

Впереди, там, где не гасли закатные облака, поднимался город: трубы, крыши, башни и узорчатые вышки. Там тоже мигали огоньки, и становилось их все больше.

— Через полчаса причалим, — сказал Алексей Борисович. — Если больше не будет приключений. Если не сядем на рифы, не нападут пираты и не налетит тайфун.

Они с Серёжей стояли на носу у поручней. Серёжа молчал. Он не откликнулся на шутку. Смотрел перед собой и молчал.

— Сергей, — сказал Алексей Борисович. — Ты меня пугаешь, честное слово. Ты целый час будто в рот воды набрал. Что с тобой?

Серёжа повернул к нему лицо. Оранжевыми веселыми огоньками блеснул в его глазах закат.

— Я вспоминаю, — сказал Серёжа. — Вы не

смейтесь, Алексей Борисович, ладно? Я вспоминаю. Как они примчались! А говорят, чудес не бывает.

Алексей Борисович взял его за плечо. На Серёжином плече, под ключицей, часто билась горячая жилка.

— Чудеса бывают, — осторожно сказал Алексей Борисович. — Собственно говоря, что такое чудо? Несколько редких случаев, совпавших друг с другом... Вот, допустим, открою я портфель и скажу: "Раз, два, три! Упади сюда метеорит!" Упадет?

— Нет, — уверенно сказал Серёжа.

— А вдруг? Ведь они все-таки падают на Землю. И если так совпадет, что катер окажется на месте этого падения? И мой портфель тоже?

Серёжа засмеялся.

Алексей Борисович сказал:

— Так получилось. Надо было, чтобы я взглянул на берег и увидел "газик", который вдруг остановился у моста и высадил ребят. Надо было, чтобы рядом оказался телефон. И надо было, чтобы в правление колхоза в тот момент зашел командир отряда Володя Малахов. Они как раз хотели ехать в Дмитровку, и лошади были оседланы... Вот и получилось чудо. Это, брат, такие ребята, что лишнее чудо сотворить не откажутся.

— А почему у них форма?

— Все студенческие отряды сейчас форму себе шьют. Каждый свою. Ты разве не видел? А эти ребята все время с конями, вот и завели буденовки, кто сумел. Красивая форма?

— Еще бы.

Серёжа закрыл глаза и снова, как в кино, увидел рванувшиеся кусты, вскинутые конские головы, вздыбленного гнедого жеребца на краю поляны, острые шлемы с голубыми кавалерийскими звездами…

"Не трро-огать!"

А потом крепкие руки, жесткое седло. Трава, летящая под копыта.

"Не трро-огать!"

Серёжа засмеялся, вцепившись в поручень.

— Как они… Будто атака! Даже я ничего не понял. А те, кто меня ловил! Они, наверно, и сейчас ходят обалделые… Нет, все равно это чудо, Алексей Борисович.

— Может быть… Но, видишь ли, Серёжа, такие чудеса случаются раз в жизни. Не чаще. И надеяться на них не надо.

— Я понимаю, — тихо сказал Серёжа. — Ну и что же? Мне и одного хватит на всю жизнь.

— Тебе… А другим?

— Другим?

— Да. А как же… Ты сейчас рад, спокоен даже. А кто-то в этот миг зовет на помощь. Ты думаешь, всадники спешат и туда?

— А что же мне делать?

— Будь всадником сам. Не обязательно на коне и в шапке со звездой, не в этом главное.

— Я понимаю, — опять сказал Серёжа.

По берегам начинался город: с цветными неоновыми вывесками на магазинах, с яркими вспышками электросварки, с желтыми квадратиками окон. С тихой музыкой репродукторов. Мотор заработал тише. Стало слышно, как по-ребячьи сопит на свернутом брезенте Нок, слопавший два корабельных ужина.

— Почти приехали, — заметил Алексей Борисович.

Серёжа сказал:

— Всадникам, наверно, тоже приходится нелегко.

— Конечно. А ты испугался?

— Нисколечко. Просто я вспомнил. В прошлом году один тип у нас во дворе хотел кошку повесить. Говорил, что бродячая. А она даже не бродячая была, а просто заблудилась. Мы с ребятами вырвали и убежали. А потом нас все соседи

ругали. Говорили: со взрослыми спорить не полагается.

— Ну что ж… Конечно, не полагается. Только разве всегда знаешь, что полагается, а что нет? Мне, наверно, по всем правилам полагалось отправить тебя в лагерь, а не подымать по тревоге кавалеристов. Но ты ждал всадников…

— Вы говорите, что другие ждут тоже.

— Да.

— А как узнать? Как всадник услышит, что его зовут?

— Учись, — откликнулся Алексей Борисович. — Слушай. Смотри.

Катер заглушил мотор и по инерции подходил к пирсу. Там, под яркой лампочкой, сидел маленький мальчик-рыболов.

— Эй, пацан, ноги береги! — закричал выскочивший на палубу Витя-моторист.

Мальчик вскочил, взметнул длинную удочку.

Стало совсем тихо, только журчала у борта вода.

В этой тишине Серёжа негромко сказал:

— Я постараюсь.

## *Часть вторая*
## *ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС СЕРЁЖИ КАХОВСКОГО*
### 1

От пристани до самого дома Нок вел себя как дрессированный. Ни разу даже не дернул поводок. Он шел рядом с Серёжей, и тот все время ощущал ногой его косматый теплый мех.

— Нок — лохматый бок, — шепотом сказал ему Серёжа.

Пес вопросительно повернул голову. Свет, падающий от близкого фонаря, желтыми точками блестел в его глазах.

— Скоро будем дома, — пообещал Серёжа.

Еще несколько шагов — и тогда сквозь черные тополиные ветки глянут на усталых путешественников светящиеся окошки второго этажа.

Вот они, окна.

Однако горели только два окошка — в Наташиной комнате. Стекла Серёжиных окон отражали синевато-серое небо июльской ночи.

"Может, смотрят телевизор? — подумал Серёжа. — Или спят уже? Папа так рано не ложится... А может быть, оставили Марину у Наташки и в

кино ушли на последний сеанс?"

Он слегка встревожился. Во-первых, чего же хорошего возвращаться в пустую квартиру? Во-вторых, не хотелось ему откладывать объяснение с отцом и тетей Галей.

Серёжа нисколько не боялся этого разговора. Но он хотел, чтобы поскорее остались позади все неприятности и все обсуждения этих неприятностей. Не надо о них вспоминать. Пускай только всадники на золотистых конях вспоминаются каждый день…

Серёжа и Нок вошли во двор. Серёжа толкнул нижнюю дверь, и они стали подниматься на второй этаж. Над лестницей горела неяркая лампочка. Потрескивали точеные старые перила. Когти Нока громко стучали по ступеням, и этот стук отдавался в железном корыте, которое висело у двери чулана. Пахло пересохшими досками, теплой пылью и древесным лаком. Это был запах пожилого доброго дома, в котором Серёжа провел все свои почти двенадцать лет… Верхняя дверь была облезшей клеенкой. Клеенка местами треснула, и в разрывах торчала пакля. На косяке весело белела кнопка. Это была обманная кнопка: звонок Серёжа и Наташка развинтили еще пять лет назад, когда строили из большой корзины и

картонного ящика ледокол. Блестящая чашечка звонка понадобилась им для корабельного сигнала. С тех пор кнопку нажимали только те, кто первый раз приходил в этот дом.

Серёжа несколько раз ударил кулаком по мягкой клеенке. Бух-бух-бух… — отдалось за дверью. Сначала была тишина, потом часто защелкали подошвы, и Наташкин голос капризно спросил:

— Кто?

— Я.

— Кто "я"?

— Ну я, Сергей! Ты спишь, что ли?

Лязгнул крючок, и дверь распахнулась так стремительно, что перепуганный Нок отскочил на всю длину поводка. Наташка перешагнула порог и схватила Серёжу за локти мокрыми пальцами.

— Серёжка! Как здорово! Какой ты молодец, что приехал!

Она лишь мельком глянула на пса и даже не удивилась.

— Ой, ну как здорово! Бывают же чудеса! — повторила она и, не отпуская, потянула Серёжу в коридор.

Он совсем не считал, что его приезд такое уж чудо. Пожал плечами, втащил в коридор очень оробевшего Нока и взглянул на свою дверь.

Обычно по вечерам в ней светилась тонкая щель. Сейчас ее не было.

— Где наши?

Глядя счастливыми глазами, Наташка сказала:

— Да! Ты ведь ничего не знаешь!

— Ничего не знаю. Скажешь ты наконец?

— Вы квартиру получили. Три комнаты. Уже неделю назад переехали.

Это была новость. Уж чего-чего, а такого дела он никак не ждал.

— Вот так финт… — медленно сказал Серёжа. — Это значит, я здесь уже не живу?

Она вздохнула:

— Значит… Ну и что? У тебя теперь будет своя комната. Ой, Серёжка, такая хорошая, просто прелесть! Окно на юг, реку видно. Обои на стенах такие веселые, голубенькие… Ты что, не рад?

— Да я не знаю даже…

Он и правда не знал. Он, видимо, просто устал сегодня от разных неожиданностей.

— А почему не написали, что новая квартира?

— Хотели тебе сюрприз сделать.

— Сюрприз… — усмехнулся Серёжа. Поглядел на притихшего Нока, потрепал ему загривок. — Я вот тоже сюрприз привез.

— Я уж смотрю… Это ты из лагеря такое стра-

шилище везешь? Да нет, он хороший, только… больно какой-то уж непричесанный.

Нок вопросительно посмотрел на незнакомую девочку, потом на хозяина и вдруг зевнул во весь размах розовой пасти.

— Ой, — сказала Наташка.

— Она пошутила, Нок, — сказал Серёжа. — Она больше не будет, не глотай ее.

Наташка засмеялась и вдруг сразу встревожилась:

— Серёжка… А почему ты… Ведь смена только через десять дней кончится. Ой, выгнали, да?

— Сам ушел, — хмуро сказал Серёжа. — С начальником лагеря поругался.

Наташка охнула:

— Мамочка моя… А тебя отпустили?

— А я спрашивал?

— Серёжка, сумасшедший! Тебя же искать будут.

Серёжа поморщился:

— Да не будут, там знают… Я все расскажу, только потом, ладно?

Наташка тряхнула своими светлыми, коротко подрезанными волосами.

— Ну ладно. Идите в комнату, я вас кормить буду… Слушай, а у него блох нет?

— Нет... Не знаю... Не надо нас кормить, мы на катере ели. Ты адрес скажи. Мне ведь надо... домой.

— Ой, ты не уходи! — испугалась она.

— Как это "не уходи"?

— Подожди. Переночуй здесь.

— Зачем?

— Ну, зачем... Скучно же. Думаешь, приятно полночи одной дома сидеть?

— А где тетя Маша и дядя Игорь?

— В театр пошли. Опера из Свердловска приехала. А потом еще в гости к папиному знакомому.

— А тебя не взяли?

— А я не пошла.

— Почему?

— Из вредности.

— А-а...

— Конечно... Отца всю неделю просила: "Почини, почини велосипед". Он все: "Починю, починю". А сам дотянул... Все ребята на озеро сегодня уехали, а я дома осталась... Ну вот и пусть сами ходят в свой театр.

— Ну, ты тоже хороша. Дядя Игорь с утра до вечера на работе, а ты с велосипедом...

Наташка виновато шмыгнула носом.

— Он говорил: "Подожди до субботы". А в суб-

боту его вызвали в порт. Что-то там срочное случилось. А он сейчас диспетчера порта замещает.

— Сейчас навигация в разгаре. Мы пока плыли, знаешь сколько всяких теплоходов навстречу попалось… Ну, ты все-таки давай адрес, я пойду.

— Останься, Серенький… — жалобно сказала Наташка.

Вот она всегда так, если хочет подмазаться: "Не уходи, Серенький. Сделай, Серенький". Только она Сереньким его и называет.

Раньше еще мама так называла, но это было давным-давно…

— Не уйдешь, да? Я пельменей сварю, у нас две пачки в холодильнике.

Пельмени — это, конечно, вещь, но…

— Куда ты пойдешь ночью… — уговаривала Наташка. — Это далеко, за семь кварталов, на углу Октябрьской и Челюскинцев. Уже полдвенадцатого. И холодно сейчас, вон у тебя руки в пупырышках.

Вечер и в самом деле был свежий. Серёжа, пока шел от пристани, слегка озяб. Но он сурово глянул на хитрую Наташку.

— Это от твоих рук. — Он потер ладонями голые локти. — Почему у тебя пальцы мокрые и холод-

ные? Стирала на ночь глядя?

— Это я ревела, — сердито призналась она.

— Тоже из вредности? — понимающе спросил Серёжа.

— Нет… Я боюсь одна.

Серёжа внимательно посмотрел ей в лицо. Только сейчас при свете слабой коридорной лампочки он разглядел, что глаза у Наташки красные и припухшие. Он не стал, конечно, смеяться. Никогда они не смеялись друг над другом, если одному из них было по-настоящему, до слез плохо. Если человеку одиноко и страшно, кто-то должен оказаться рядом (как сегодня на станции). Хотя, по правде говоря, Серёжа не понимал: как может быть страшно в своем доме, знакомом до последнего гвоздика?

— Ладно, вари пельмени, — сказал он.

Наташка расцвела, и они пошли в комнату.

Наташа сразу превратилась в хозяйку. Цыкнула на Нока, который хотел устроиться на пушистом половике у дивана, и показала ему место у двери. А Серёже велела умываться.

— Успеется, — лениво ответил он.

Скинул сандалии и забрался на диван. Наташа неодобрительно посмотрела на Серёжины колени, темные от земли и въевшегося травяного

сока, но ничего не сказала. Диван торжественно гудел всеми пружинами. Гудеть так он научился еще в те времена, когда Серёжа и Наташа устраивали на нем цирковые представления с борьбой и конными скачками.

Наташа ушла на кухню. Нок опять осторожно перебрался на половик и вопросительно посмотрел на хозяина.

— Ладно, лежи пока, — шепотом разрешил Серёжа.

Усталость мягко растекалась по телу. Но спать Серёжа не хотел. Привалившись к вышитой подушке, он оглядывал комнату. Комната была такой же привычной, своей, как и те, в которых он жил. Все знакомое-знакомое: телевизор "Старт", накрытый вязаной салфеткой, черный книжный шкаф с завитушками и треснувшим стеклом, большая фотография в рамке: Наташа и дядя Игорь делают зарядку. Наташка маленькая, шестилетняя, в мальчишечьем тренировочном костюме и с громадным обручем. Дядя Игорь — с двумя двухпудовыми гирями, поднятыми к плечам, весь переплетенный мускулами, как гладиатор. И громадный.

Серёжа вспомнил, как дядя Игорь еще недавно сажал их с Наташкой на вытянутые руки и вер-

тел, будто карусель. Только не в этой комнате, а у Серёжи, потому что у Каховских было попросторнее.

Серёже захотелось в свои комнаты. Он понимал, что пустая квартира — со следами унесенной мебели на полу, с темным квадратом на обоях, там, где висела мамина фотография, — невеселое зрелище. Но все-таки… Он встал и зашлепал босыми ногами в коридор, толкнул свою дверь.

Дверь была заперта.

— Нат, почему заперто? Открой.

— Это не мы, — откликнулась из кухни Наташа. — Домоуправление заперло. Скоро новые жильцы приедут. Какие-то Грачёвы.

— У-у… Я думал, что вы наши комнаты займете. Вам бы наконец свободнее стало.

— Да теперь уж все равно. Мы к весне тоже переедем… Твой людоед ест пельмени?

— Он все ест. Горячие только не давай, а то чутье пропадет.

Серёжа вернулся в Наташину комнату. Подошел к окну. Вид отсюда был такой же, как из его комнаты. Крыши, неяркие окна, силуэт водонапорной башни, похожий на старинный замок. Слева — темная груда тополей, внизу — кусты рябины. За кустами — мостовая.

Она была горбатая, эта мостовая, и зимой вдоль нее ветер наметал длинные сугробы. Такие непролазные, что отцу приходилось брать Серёжу на руки, когда шли в детский сад.

Потом они с папой оказывались на широкой, очищенной дворниками улице, но папа не опускал Серёжу. Так им удобнее было разговаривать.

— Пап, разве справедливо, когда двое на одного? — спросил один раз Серёжа.

— Конечно, нет.

— А что делать?

— Ну, что делать… Выбери время, поговори с ними по очереди, один на один.

— Правильно! — обрадованно сказал Серёжа. — Светку Лапину я подожду во дворе, а Танька сегодня дежурит в группе…

— Постой-постой! Ты что же, с девочками хочешь драться?

— Я не драться, а только раз… А чего! Они сами первые…

— Неважно, что первые, — серьезно сказал отец. — Ты будущий мужчина. Настоящий мужчина никогда не дерется с женщинами, это стыдно.

— Они же не взрослые тетеньки, а девки, — обиженно возразил Серёжа.

— Не девки, а девочки, во-первых. Ты ведь Наташу девкой не называешь. А во-вторых, девочки вырастают и становятся взрослыми женщинами. Мамами, бабушками. Твоя мама тоже была девочкой. Тебе понравилось бы, если бы какой-нибудь парнишка ее отлупил?

Мамы тогда уже не было, но они всегда говорили о ней, как о живой: "А что сказала бы мама? А маме бы понравилось?"

Мама уехала и не вернулась. Потом пришла та телеграмма от незнакомых людей… Иногда Серёжу будто с размаху ударяла мысль, что мама уже никогда, совсем никогда не вернется, и тоска скручивала его, и прорывались совершенно безудержные слезы. Но он не видел маму мертвую. А живая она улыбалась с большой фотографии и словно удивлялась: "В чем дело? Я же здесь".

Нет, Серёже ни капельки не понравилось бы, если бы какой-нибудь мальчишка задел маму хоть мизинчиком!

Но чтобы не сдаваться так легко, он проворчал:

— Мама, наверно, первая никого не стукала.

И папа согласился:

— Наверно…

Покачиваясь на папиных руках и почти касаясь

губами его колючей щеки, Серёжа спросил:

— А ты маму знал, когда она была маленькая?

Папа сказал:

— Нет, Серёженька, не знал.

…Когда мама была девочкой, с ней дружил не папа, а совсем другой мальчик. Андрей. Серёжа узнал про это позже, когда была уже тетя Галя и маленькая Маринка. Он увидел однажды, как папа сидит на поленьях у горящей печки-голландки и медленно бросает в открытую дверцу письма. Писем была целая пачка. Серёжу это заинтересовало, потому что на многих конвертах он заметил красивые марки.

— Папа, это что?

— Это мамины, — тихо объяснил папа.

— Мама писала?

— Нет. Когда мама училась в школе, у нее был друг Андрей Кожин. Когда они выросли, то разъехались в разные города, и он маме часто письма писал. Даже потом… два письма пришло.

— А зачем ты их в печку?

— Куда же их? Лежат, лежат… Андрею отослать? Я адреса не знаю, на конвертах он обратный адрес не указывал.

— А что в них написано?

— Не знаю, Серёженька. Мама не говорила, а я

не спрашивал.

— А сейчас почитай.

Отец покачал головой и отправил в желтый огонь еще один конверт.

— Нельзя. Чужие письма не читают без разрешения. Это нечестно.

Конверт свернулся в трубочку, и пламя взвилось над ним длинным языком.

— А марки? — шепотом спросил Серёжа.

— Марки?.. Марки можно взять.

Серёжа сел рядом с папой у гудящей и стреляющей печки. Он отрывал от писем разноцветные марки и под тонкой бумагой конвертов чувствовал сложенные вчетверо листки. Там были слова, которые больше никто никогда не прочитает. Потому что не у кого спросить разрешения, а лезть без спросу в чужое письмо — это очень скверное дело…

Заглянула Наташа, сказала, что пельмени готовы.

— Вставай руки мыть… Ой, да ты спишь уже!

— Я? Нисколечко. Даже не хочется.

Серёжа поднялся и нащупал ногами сандалии. Нок принюхался к кухонным запахам и деликатно замахал хвостом.

— Папа магнитофон купил, — сообщила Ната-

ша. — Хочешь, включу, чтобы не заснул? У нас одна такая запись есть! Мексиканский гитарист и певец...

— У нас в лагере вожатый был. Вот это гитарист! — сказал Серёжа. — От него все ребята ни на шаг не отходили. Он такую песню знал — лучше всех песен на свете! И вообще он был самый хороший вожатый.

— У нас тут недалеко тоже один человек появился. За ним тоже мальчишки табуном ходят. Он их на шпагах сражаться учит.

— Что это за человек? — встрепенулся Серёжа.

— Кажется, тренер. Или вожатый... В общем, на Красноармейской есть старый дом, вроде нашего. Его сносить хотели, а потом не стали. Там какой-то детский клуб сделался. Название "Эспада".

— "Эспада" — по-испански "шпага", — сказал Серёжа.

— Правда? В одной песенке у этого мексиканца тоже все время повторяется: "Эспада, эспада..."

— Включи, — попросил Серёжа.

Наташа вытащила из шкафа магнитофон — плоский чемоданчик, нашла на полке катушку.

— На транзисторах, — сказал Серёжа. — Какая марка?

— "Мрия". По-украински значит "Мечта".

— Слушай, Нат. Он был в пенопластовой коробке?

— Да, а что?

— Она где?

— Папа убрал куда-то.

— Можно, я ее заберу?

— Ну… ты спроси у папы. Можно, наверно. А зачем?

— Хочу одну штуку сделать… Давно хочу, да все пенопласта не могу достать. Большие плиты, которые на стройках, не годятся, они крошатся. Мне нужен плотный.

— Папа, наверно, отдаст… Серёжка, ну что все-таки в лагере случилось?

— "Что, что"!.. Написал домой письмо, что скучно. Начальник его прочитал. Начал меня на линейке ругать. Я ему говорю: "А зачем чужие письма читаете?" Он еще сильнее раскричался: "Убирайся, если тебе все не нравится!" Думал, я испугаюсь. А я убрался…

— Сумасшедший, — сказала Наташа тоном полного одобрения. — Ну, слушай запись.

Сначала защелкали кастаньеты, и это напоминало цокот копыт. Потом упруго и ритмично ударили струны. И, опять привалившись к подушке, Серёжа почти сразу увидел желтые травы и

низкое косматое солнце среди облаков, похожих на рваные красные ленты. И темные всадники, медленно выплывая на круглую вершину холма, разворачивались и пускали коней в галоп.

И была уже не музыка, а встречный ветер и летящая под копыта степь…

И вдруг сквозь шум ветра и топот донеслись голоса. Папин. Взволнованный тети Галин. Спокойный и чуть насмешливый бас дяди Игоря:

— Да вот он, "бедный странник". Спит без задних ног.

Серёжа это слышит, но пошевелиться и сказать что-нибудь не может, потому что по-прежнему видит степь и стремительных кавалеристов. И сам он — один из всадников.

Голос тети Гали:

— Я чуть с ума не сошла! Приезжает начальник лагеря, представляете — сам! Ночью. Привозит его куртку и брюки… Я думала — утонул. Оказывается, бросил вещи на станции и куда-то ускакал…

(Значит, вещи нашлись. Значит, мамина карточка, которая была в кармане, все-таки не пропала. Хорошо. А то, когда примчались всадники, он так и не успел схватить одежду со скамейки.)

Голос дяди Игоря:

— Наталья, знаешь, что этот герой отколол?

— Знаю.

— И конечно, одобряешь?

— И конечно…

Папин голос:

— Ну ладно, друзья, ничего не случилось. Галина, хватит слезы пускать. И ты, Маша, за сердце не хватайся. Одно слово — женщины.

Тетя Маша:

— Молчи уж, мужчина. Сам белее мела до сих пор.

Папа:

— Мы сами виноваты. Надо было сразу адрес ему дать.

Наташа:

— Папа, перетащи его на раскладушку. Есть он все равно уже не будет.

Дядя Игорь:

— Это можно… Граждане, а это что за чудовище? Эй, да он не подпускает! Зубы показывает!

Наташа.

— Это кто не подпускает? Я вот ему! Ну-ка брысь!

(А Наташку Нок слушается сразу. Молодец Наташка!)

Могучие руки поднимают Серёжу. (Вместе с

конем.) И желтое поле, качаясь, уходит вниз.

Совсем откуда-то издалека папа говорит:

— Все понимаю… Да не спорь, Галя, ты сама знаешь, что он прав. Не пойму только: что за лошади, на которых он умчался? Просто сказка какая-то…

## 2

Пенопластовой коробки от магнитофона, конечно, не хватило бы на макет. Но еще одну коробку Серёже отдал Генка Кузнечик.

Теперь фасад замка был почти готов: две квадратные башни, двойная зубчатая стена между ними, в стене глубокая арка решетчатых ворот. Но работы оставалось очень много, и Серёжа мысленно дорисовывал замок. Появятся еще пять башен — круглых и шестигранных, потом — внутреннее кольцо стен, дворики, галерея и замковая церковь, сама по себе похожая на крепость. Все сооружение будет стоять на крутом холме, сделанном из папье-маше и пластилина.

Холм — зеленый, а башни и стены — как из белого мрамора. Квадратные зубцы блестят на солнце, будто пиленый сахар.

Серёжа сидел у подоконника и на игрушечной наковаленке склепывал из тонкой алюминиевой

проволоки узорный флюгер для главной башни.

Сегодня был неожиданный выходной. В районо назначили какое-то срочное учительское собрание, и поэтому в трех школах отменили занятия. Объявили спортивный день. Но спортивные соревнования были не подготовлены, и участвовать в них смогли только немногие. Остальные гуляли, радуясь нежданному отдыху.

За окошком начинался хороший день.

Начало сентября было холодным и слякотным, но в середине месяца подули южные ветры и опять пришло лето. Перед Серёжиным домом цвел пустырь. На нем год назад разломали несколько ветхих домиков. От них остались только заросшие крапивой квадратные фундаменты, а вокруг фундаментов зеленели кусты сирени и дикие яблони. Из травы смотрели шарики красного клевера и белела россыпь диких ромашек.

Пустырь тянулся вдоль всего нового дома, а дом был длиной с океанский лайнер. Говорили, что скоро перед ним разобьют сквер. Но пока никаких работ никто не вел, пустырь зарастал буйными травами, и здесь было отличное место для игр. Правда, кое-где уже нахально торчали новенькие личные гаражи и пестрели в траве какие-то огороженные клумбочки и грядки.

Из окна своей комнаты, с третьего этажа, Серёжа видел, как на старых фундаментах мальчишки играют в индейцев. Где-то шумели и футболисты, но их не было видно за кустами, а "индейцы" расположились как на ладони. Один, в помятом школьном пиджачке и синих джинсах, маленький, с растрепанной светлой головой, суетливо перебегал среди кустов: искал хорошее место для засады. "Похож на Грачёва", — подумал Серёжа. И воспоминание о Стасике неприятно кольнуло его.

Эта история случилась вчера. Дурацкая какая-то история.

На перемене перед четвертым уроком Серёжа услыхал в коридоре шум, визги и рыдающий крик малыша. Недалеко от их класса находился второй "А", и там что-то случилось. Что?!

Серёжа выскочил за дверь. А за ним Генка Кузнечик и Мишка Маслюк. В коридоре голосила толпа второклассников. Впереди толпы двигалась дежурная девятиклассница Лилька Граевская, по прозвищу Мадам Жирафа, — могучая особа с тонкой шеей и маленькой головкой. Лилька тащила визжащего и ревущего малыша. Малыш извивался, пытался упасть, чтобы вырваться, скользил каблуками по паркету. И

взахлеб кричал:

— Пусти! Не буду! Пусти!..

Столько отчаяния было в этом крике, такой ужас был на маленьком, залитом слезами лице, что Серёжа и не помнил, как оказался на пути у дежурной.

— Не трогать!

У Лильки было очень глупое лицо. Она моргала слегка подкрашенными ресницами и все еще держала малыша за кисти рук, пытаясь приподнять его над полом.

Уже спокойнее и жестче Серёжа повторил:

— Не смей трогать.

Она могла бы одним движением локтя смести Серёжу с дороги. Но ей это, видимо, и в голову не пришло. Кроме того, рядом с ним были Кузнечик и Мишка. Она выпустила пленника, он шлепнулся на пол и, сидя, все еще повторял:

— Пусти! Пусти!

Второклассники притихли.

— Ты чего? Я дежурная, — сказала Мадам Жирафа.

— Дура ты, а не дежурная, — сказал Серёжа.

— Я дежурная, — повторила Лилька.

— Дежурная ты сегодня, а дура каждый день, — почти успокоившись, объяснил Серёжа.

— И это, к сожалению, неизлечимо, — вежливо добавил Кузнечик.

А невоспитанный Мишка Маслюк пообещал:

— Счас как дам тебе, дежурная, ниже позвоночника!..

Лилька опять заморгала.

— Хулиганы! Я к дежурной учительнице пойду.

— Иди, иди, — сказал Мишка.

Серёжа в это время наклонился над малышом, взял у Генки Кузнечика платок и начал вытирать второкласснику зареванное лицо. Это было не очень приятно, однако что делать.

— Ну, вставай, — сказал Серёжа. — Хватит реветь.

Малыш сидел, всхлипывая, и со страхом смотрел на Лильку.

— Не встану…

— Не бойся, — сказал Серёжа. — Она больше не тронет.

Он почти насильно поднял мальчишку, и тот сразу прижался к нему, вцепился в куртку. Серёжа чувствовал, как все щуплое тело малыша под форменным сукном вздрагивает от нервного озноба и всхлипов.

— За что она его? — спросил Серёжа у второ-

классников.

Крупный мальчик с красивыми карими глазами рассудительно сказал:

— Он сам виноват.

— "Сам виноват"! Эх вы… он же ваш товарищ.

— А Неля Ивановна говорит, что он нам не товарищ, раз так себя ведет, — все так же рассудительно сообщил кареглазый мальчик.

— Она сама велела Грачёва к директору отвести, — объяснила аккуратная кудрявая девочка. — Потому что у нее самой уже руки опускаются.

Маленький Грачёв вдруг дернулся и снова зарыдал, не отцепляясь от Серёжи. Мадам Жирафа неожиданно засопела, растолкала малышню и тяжело побежала вдоль коридора.

Резко ударил звонок. Ребятишки, нерешительно оглядываясь на Грачёва и его спасителей, потянулись в класс. Грачёв заплакал еще сильнее. Что с ним было делать, куда девать?

— Как бы не заболел, — опасливо сказал Мишка Маслюк. — Маленькие, они такие…

И Серёжа понял, как поступить.

— Вы идите, ребята, не надо всем опаздывать. Я сейчас…

Этажом ниже, у самой лестницы, был кабинет

врача. Уговаривая и подталкивая, Серёжа повел туда Грачёва.

— Можно, Марина Аркадьевна? Вот… Успокойте его как-нибудь. Просто беда…

— Ну-ка, ну-ка… — Доброе лицо Марины Аркадьевны стало озабоченным. — Батюшки, сколько слез! Двойку получил? Нет?.. Ну, тогда ничего страшного. Тебя как зовут?.. Стасик? Вот и отлично. Давай-ка, Стасик, перестанем плакать. Я тебе обещаю, что все будет хорошо.

Она вопросительно повернулась к Серёже, подошла. Он шепотом рассказал, что случилось. Марина Аркадьевна кивнула: все в порядке, можешь идти.

Серёжа вышел. И услышал из-за двери голос Марины Аркадьевны:

— Да что ты от меня шарахаешься, глупенький? Не будет никаких уколов. Честное слово. И лекарств не будет. Видишь, я даже халат снимаю. Никакой врач не делает уколы без халата, это не полагается… А чего же ты директора-то испугался? Разве он страшный? Ну, успокойся… Вот так, наконец-то. Смотри, что я тебе покажу…

Потом наступила тишина, а через полминуты послышался неуверенный, прерывистый смех Стасика Грачёва.

…Серёжа вошел в класс. Он чувствовал себя как после тяжелой работы или хорошей драки. Даже в голове гудело и ослабели руки.

Был урок географии. Классная руководительница Татьяна Михайловна спросила:

— Ты где это гулял, моя радость?

— У врача был.

Она встревожилась:

— А что с тобой?

— Да не со мной. Один второклассник расшибся, я его отводил, — соврал Серёжа.

— Серьезное что-нибудь?

— Кажется, нет.

Татьяна Михайловна пригляделась.

— Да ты и сам какой-то… Голова не болит? Ну садись. Я тебя спрашивать хотела, да уж ладно.

— Что вы, Татьяна Михайловна, спрашивайте, — забеспокоился Серёжа. — Я учил…

А теперь Серёжа со смутной досадой вспоминал этот случай. Кажется, он все сделал как надо. Откуда же непонятное беспокойство? Наверно, вот откуда: не мог Серёжа забыть, как маленький Стаська вздрагивал весь, трепетал просто, прижимаясь к нему. Он был какой-то совсем беспомощный, весь перекрученный страхом, и не осталось в нем ни гордости, ни капельки

мальчишечьего характера.

Ну разве можно так доводить человека?!

И еще Серёже казалось, будто он забыл что-то и вспомнить не может.

И наконец понял: фамилия-то у Стаськи — Грачёв! Наверно, это сын Грачёвых, которые поселились в старой Серёжиной квартире. Наташа говорила, что у них есть мальчишка-второклассник. Взрослого Грачёва Серёжа несколько раз видел, когда приходил к Наташе, а сына не встречал и не расспрашивал о нем. И Наташа, и он почти не говорили о новых жильцах. Неприятно было, что в квартире, где много лет две семьи жили как одна, появились незнакомые люди. Может быть, и хорошие, но чужие…

…Непонятно где — то ли в соседней квартире, то ли в репродукторе на пристани — пропищали радиосигналы: десять часов.

Серёжа отложил почти готовый флюгер и потянулся за рубашкой.

Рубашка была темно-стального цвета, с блестящими пуговками и погончиками. На левом рукаве, над локтем, голубел суконный шеврон: рыцарский щит с тремя золотистыми скрещенными шпагами. Над шпагами пламенела звездочка с оранжевыми языками костра. Над

звездочкой и витыми рукоятями шпаг полукругом шла желтая надпись:

ESPADA

Рубашку тетя Галя купила в "Детском мире". Шеврон вышивала Наташа, она же пришила его на рукав. Трудно было найти голубое сукно, однако Наташа перерыла все лоскутки в шкафу и отыскала обрезок от старого тети Машиного пальто. Обрезок был большой. Остаток Серёжа отдал Женьке Голованову. А Женька за это вытравил кислотой две шпаги на Серёжиной военной пряжке. Они как бы скрещивались позади звезды.

Серёжа заправил рубашку и стал протягивать в петли на брюках широкий форменный ремень (тетя Галя специально перешивала петли, чтобы ремень проходил в них). Пряжка звонко щелкнула, пояс плотно охватил талию, и Серёжа сразу почувствовал себя выше и стройнее. Он лихо повязал галстук, схватил со стола черный берет с блестящей "майорской" звездочкой и вышел в коридор к зеркалу. Глянул на себя придирчиво, как командир на новобранца. Еще летом ребята и Олег договорились не ходить в клуб обормотами, быть всегда в форме и "держать марку".

Все было в порядке. Серёжа показал язык своему

отражению (чтобы не зазнавалось) и крикнул:

— Тетя Галя, я пошел!

Он выскочил на улицу.

День был не такой теплый, как это казалось из окна. С реки тянул холодный ветерок. Серёжа поработал локтями, чтобы прогнать озноб, и зашагал вдоль дома.

Посреди пустыря шумели ребята. Но это был уже не шум игры. Сквозь возмущенные мальчишечьи голоса пробивался визгливый женский крик.

Мимо пробежал, как сумасшедший, второклассник Вовка Лебедев и крикнул Серёже:

— Дзыкина мяч отобрала!

В окружении ребят стояла круглая тетя в цветастом халате. Она прижимала к животу красный футбольный мяч и кричала. Кричала о том, какие все вокруг паразиты, особенно дети, и как они отравляют ее несчастную жизнь, и что она не отдаст мяч, пока не придут родители и не расплатятся за все причиненные ей убытки и унижения. Это и была Дзыкина.

Серёжа и раньше сталкивался с ней. Один раз. Две недели назад ребята играли с Ноком, и пес по инерции проскочил около дзыкинской грядки с георгинами и астрами. Грядка была огорожена

колышками с белой матерчатой лентой. Нок зацепил хвостом колышек, и лента затрепыхалась. Бдительная Дзыкина увидела это и подняла крик. Правда, тогда она кричала издалека: Нок не любит, когда ругают его хозяина.

Сейчас, видимо, мяч попал в цветы, а Дзыкина, к несчастью, оказалась рядом. Разговаривать с ней было бесполезно. А что делать?

Прежде чем решиться на стычку, Серёжа сделал отсчет. Этому его научил Олег. Он говорил: "Если приходится влезать в неприятное дело или в драку какую-нибудь, сосчитай, как перед стартом. Чем серьезнее дело, тем больше бери отсчет. Помогает справиться со страхом и успокаивает голову, чтобы не напороть горячку".

Сейчас никакого страха Серёжа не чувствовал, было просто противно. Однако не уходить же. Отберет мяч насовсем, испортит людям весь день и настроение. И ничего они с ней не сделают, тем более что народ собрался совсем молодой, не старше четвертого класса.

Серёжа начал с пяти: "Пять, четыре, три, два, один, ноль!"

— Отдайте мяч! — резко сказал он.

Дзыкина хлопнула губами и уставилась на Серёжу. В ее булавочных глазках появилось

злорадство. Не отрывая взгляда от Серёжи, она вобрала воздух и заголосила:

— Петя-а!..

От пронзительности и стараний у нее получилось: "Пиетя-а! Пиетя-а!"

Из открытого гаража появился Петя. Это был широкий, лысоватый мужчина с распаренным, как после бани, лицом. Жидкие прядки волос приклеились к его липкому лбу. Он вытирал о мешковатые штаны масленые ладони. Петя раздвинул примолкших мальчишек и встал рядом с Дзыкиной.

— Вот! — выдохнула она. — Опять в клумбу засобачили, шпана проклятая…

Петя осторожно взял мяч за тонкий ремешок шнуровки.

— Здесь общая земля, а не ваш участок, — сказал Серёжа. — Теперь из-за ваших цветов не играть здесь, что ли?

Петя не ответил, будто Серёжи и не было. Он обвел взглядом всех мальчишек и деловито спросил:

— Чей?

— Общий, — сказал Петька Лебедев. — Отдайте, мы же не нарочно. Мы по полтиннику собирали на этот мячик.

— По полтиннику, — почти ласково повторил Петя. — Свои полтиннички вы, значит, любите. А когда люди труд вкладывают, землю роют, вам, значит, наплевать…

Свободной рукой он вытащил из просторного кармана складной нож. Оскалившись, открыл зубами узкое лезвие. Потом прижал мяч к животу и нацелился ножом, как на арбуз.

Тут считать было уже некогда. Резким ударом кулака, снизу вверх, Серёжа выбил мяч, и он свечкой взмыл над головами. Ребята на секунду замерли. Затем разнесся ликующий крик, и все кинулись за мячом.

Потная Петина рожа стала сиреневой.

— Ах ты, шкура! — выдохнул он и схватил Серёжу за руку. У плеча, повыше нашивки.

Несколько ребят унесли на безопасное расстояние мяч, а остальные столпились за Серёжей.

— Петенька! — закудахтала Дзыкина. — Ножик убери, ножик! Скажут, что с ножиком на мальчишку. Потом не докажешь.

Петя протянул ей нож. Он, не отрываясь смотрел на Серёжу. Глаза у него были, как у Дзыкиной, — булавочные, лютые.

"Дверь не закрыта. Если ударит — свистну", — подумал Серёжа. И представил, как серым снаря-

дом вылетает из квартиры и несется по пустырю громадный косматый Нок.

В Петиных глазах мелькнула растерянность. Он, видимо, не мог понять, почему мальчишка не вырывается. Стоит спокойно и молчит.

Серёжа медленно посмотрел на грязные пальцы, вцепившиеся в его руку, и опять перевел глаза на Петино лицо.

— Ну-ка, отпустите, — брезгливо сказал он. — Вы мне рубашки не стираете.

Петя отпустил. Серёжа шевельнул плечом, словно отряхивая след от его пальцев, и пошел прочь.

— Шибко грамотные стали, — сказала за спиной Дзыкина.

— Все равно узнаю! — вдруг визгливо закричал Петя. — И фамилию узнаю, и где живет!

— Второй подъезд, квартира девятнадцать, — не оглядываясь, сказал Серёжа.

Старый каменный дом стоял в заросшем лопухами дворе. Его окружали новые здания: пятиэтажные и одно девятиэтажное. Сначала дом хотели снести, а потом почему-то раздумали. На верхнем этаже помещались какие-то кладовые и контора слесарей и техников местного домоуправления. Нижний этаж отдали для детского

клуба. Сейчас на двери была прибита вывеска: "Пионерский клуб "Эспада". А выше, над карнизом, приколочен был голубой фанерный щит со шпагами — в точности такой же, как нарукавная нашивка у Серёжи, только большой.

По средам, как и по воскресеньям, занятий в клубе не было, но ребята, кто хотел, собирались в выходные дни просто так. Иногда Олег устраивал дополнительные тренировки или короткие соревнования — пульки. Иногда ребята забирались на большущий старый диван, оставленный давними жильцами вместе с люстрой и телефоном, и читали что-нибудь вслух. Пока было тепло, ходили купаться за пристань, на плоты. А случалось, что Олег приносил старенький кинопроектор, и они, завесив окна, который раз подряд смотрели купленные в ЦУМе мультфильмы: "Корабль пиратов", "Шпионские страсти", "Чьи в лесу шишки"...

Но самое лучшее — это были, конечно, бои.

Серёжа любил приходить по выходным дням еще и потому, что можно было встретиться на фехтовальной дорожке с почти незнакомыми противниками. С теми ребятами, которые учились в первую смену и в клубе занимались после обеда, когда Серёжа был в школе.

Может, и сегодня встретятся?

В "Эспаде" было четыре десятка ребят. А в Серёжиной группе — восемь. По группам и занимались. Во-первых, учились в разных сменах, во-вторых, тренироваться сразу большому числу фехтовальщиков было негде. Самая большая комната — длиной в десять метров. Низкий потолок, скрипучий пол, небольшие окна в толстых старинных стенах. Все это никак не походило на спортзал.

Когда создавался детский клуб, думали, что девочки и мальчики будут сидеть за столами, клеить игрушки, рисовать, разучивать песни и выпускать стенгазеты. Но райком комсомола назначил руководителем клуба Олега Петровича Московкина — бывшего артековского вожатого, студента-заочника, фехтовальщика первого разряда. Олег принес в клуб сетчатые маски, четыре стеганых нагрудника, книгу "Три мушкетера" и букет новеньких рапир. Когда рапиру брали в руки, тонкая зеркальная сталь клинка чутко дрожала, словно в ожидании схватки.

Летом, когда клуб только открылся, в него записалось больше ста человек. Даже из Серёжиной школы, которая дальше всех отсюда, было полтора десятка ребят. Но, впрочем, и тогда из шестого

"А" только один Серёжа записался.

Потом народ схлынул. На некоторых "надавили" родители: лето, мол, кончилось, и надо думать не об игрушках, а об уроках. Кое-кому надоела дисциплина: Олег и совет капитанов групп "завинчивали гайки". Они требовали, чтобы никто не пропускал занятий, чтобы все приходили в форме, отутюженные и начищенные. Олег не терпел, если кто-то появлялся без пионерского галстука. "У нас на дверях написано "Пионерский клуб", — доказывал Олег. — Мы частичка пионерской организации. Если есть такие, кто забывает или стесняется надевать галстук, пусть лучше заявит, что выходит из организации. Это будет, по крайней мере, честно. Свинство, когда человек считается пионером, а галстук прячет в карман". Двух человек совет отчислил за то, что они самовольно взяли из пирамиды рапиры и начали бой, не надев к тому же маски и нагрудники. После этого Олег достал масляные белила и на стене, рядом с нарисованными во весь рост мушкетерами, выписал крупными буквами третий пункт устава "Эспады":

ВЗЯВ В РУКИ ОРУЖИЕ, Я БУДУ ПОМНИТЬ,
ЧТО В НЕМ ЗАКЛЮЧЕНА СМЕРТЬ.
ПОЭТОМУ Я НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЮ

ДАЖЕ НЕЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ НА ЧЕЛОВЕКА,
НЕ ОБНАЖУ КЛИНКА ПРОТИВ СОПЕРНИКА,
НЕ ЗАЩИЩЕННОГО МАСКОЙ,
ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТИ ЛЮДИ
НЕ БУДУТ НАСТОЯЩИМИ И ОПАСНЫМИ ВРАГАМИ.

Под "незаряженным оружием" имелась в виду расхлябанная пневматическая винтовка, которую Олег добыл в районном комитете ДОСААФ. Убить из нее, конечно, было нельзя, но выбить глаз или вогнать пулю под кожу — вполне возможно.

Из этой винтовки ребята стреляли по круглым мишенькам с черным "яблочком" размером с пятак: сдавали нормы на значок "Меткий стрелок".

Лучше всех стрелял Володя Огоньков — семиклассник из сорок шестой школы, капитан Серёжиной группы. Он то и дело выбивал сорок пять — сорок шесть очков из пятидесяти. И всегда будто удивлялся своему успеху, даже стеснялся немного. Володя был большой, спокойный, добрый. С круглой головой, покрытой, словно медной щеткой, коротенькими рыжими волосками. Долго никто не знал, что у него постоянно болеют мать и бабушка, а отца и вовсе нет, и что ему приходится тащить на себе все домашние

заботы. Это стало ясно после одного случая. Володя беспокойно поглядывал то на круглые часы у двери, то на хозяйственную сумку, которую притащил с собой, и Олег вдруг сказал:

— Ты не нервничай. Давай деньги, и пусть кто-нибудь сбегает за картошкой, пока ты ведешь бои...

За картошкой охотно побежал пятиклассник Андрюша Гарц. Он вообще все делал охотно, по крайней мере в клубе. Он торчал в "Эспаде" все свободное от школы время. И не потому, что надеялся выпросить лишний бой, а просто так. Он даже уроки готовил здесь же, приткнувшись в уголке дивана. Олег с трудом прогонял его обедать. Андрюшка возвращался через пятнадцать минут, дожевывая на ходу бутерброд и раскалывая крепкими зубами косточки от компота.

— Тебя родители скоро из дома выгонят, — говорил Олег.

Андрюшка морщил переносицу и весело соглашался:

— Ага. Мама говорит, чтобы я забирал подушку и шел жить в клуб.

— Бедная твоя мама... — вздыхал Олег.

Был в группе еще один Андрюшка — по фамилии Ткачук. С ним постоянно случались

неприятности. Он мог поскользнуться на ровном месте и вывихнуть ногу, мог ни с того ни с сего зацепить провод и грохнуть на пол телефонный аппарат (а телефон был великой ценностью; счастье, что его не сняли, когда уехали жильцы). Именно он, Андрюшка, во время купания застрял однажды на плоту между бревен и расцарапал спину и пузо. На его счету было больше, чем у всех, сломанных рапирных клинков. Однако больше всего неприятностей с ним случалось в школе. Один раз Серёжа слышал, как Олег объяснялся по телефону с Андрюшкиной учительницей английского языка:

— Что? Двойка? Очень прискорбно. Хорошо, учту… Что значит не допускать к занятиям? Вообще? Ах, пока не исправит двойку? И поведение… А когда он их исправит?.. Простите, почему мне виднее? Все-таки вы его учительница, а не я… Да, но здесь у него все в порядке… Господи, ну я прекрасно знаю, что школа важнее. Но в клубе-то он занимается не во время уроков, а в свободное от школы время. Что?.. Вы всерьез уверены, что если он не будет ходить в клуб, то станет больше времени сидеть над домашними заданиями? Ах, не уверены! Я тоже… Что значит наказать? Это я не столько его, сколько себя накажу: он пропустит

тренировку, а потом я должен буду с ним дополнительно заниматься. У меня тоже программа… Ну, это вы считаете, что неважно. А я считаю, что спорт важен не только для отличников, а для всех. И не только спорт, а вообще жизнь в товарищеском коллективе… Классный коллектив? Ничуть не отрицаю, просто это разные вещи… Да, но почему, когда его классный коллектив участвовал в "Зарнице", Андрея не взяли? Не знаете? А я знаю: из-за двойки по истории. А знаете, что он мне сказал? "Если будет настоящая война, разве на нее тоже не будут брать с двойками?" Глупо? А по-моему, он прав… Ну, педагогику я тоже учил, уверяю вас… Да жалуйтесь, пожалуйста… Хоть в Совет безопасности. Всего хорошего…

Он брякнул трубку на рычаг, обернулся, заметил Серёжу и сказал:

— Это не значит, конечно, что можно безнаказанно хватать двойки.

— А я и не хватаю, — слегка обиделся Серёжа.

Он и правда начал год вполне прилично, даже троек не получал.

Были в группе еще Валерик и Вовка Воронины. Вовка учился в пятом, Валерик — в седьмом, но оба казались одинаковыми: невысокие, худые, молчаливые и дружные. Это они вместе с Олегом

расписали стены мушкетерами, рыцарями, замками и крутобокими каравеллами.

На тренировки Воронины приходили с шестилетним братишкой Вадиком — тот не хотел оставаться дома один. Вадик был такой же спокойный и молчаливый, как братья. К оружию не лез, тренировкам не мешал. Помогал подметать полы и мыть окна. Наконец Вадику сказали, что он может считать себя членом "Эспады", и назначили запасным барабанщиком. Дали нашивку со шпагами и белый капроновый аксельбант.

Из всех ребят Серёже не нравился только Ленька Мосин — сердитый, черный, похожий на растрепанную ворону. Дрался на рапирах он зло, словно был не в спортзале, а шел на абордаж с борта пиратского судна. В первом же бою с Серёжей он, не взяв защиту, пошел во встречную атаку, сломал клинок и обломком расцарапал Серёжину руку у локтя. Олег бинтовал Серёже локоть и ругал Мосина. Тот развинчивал сломанную рапиру и хмуро огрызался. Серёжа на него тогда разозлился.

А потом, в коридоре, Ленька подошел к Серёже и, глядя в сторону, пробормотал:

— Ну че… Я же не хотел.

— Да ладно, — отмахнулся Серёжа.

Ленька постоял рядом, вздохнул и отошел.

Через десять минут он догнал Серёжу на улице:

— Ну, Серега... Ты не злись.

У него был виноватый вид. И не просто виноватый, а какой-то беспомощный.

— Да не злюсь я, — сказал Серёжа. — Что ты в самом деле... Зря ты только скачешь во время боя как бешеный.

Мосин облегченно улыбнулся.

— Понимаешь, я не могу, если кто-нибудь на меня обижается.

"А сам-то хорош, на всех рычишь", — чуть не брякнул Серёжа. Но поглядел на Мосина и промолчал. Ленька был сейчас совсем не злой. Он улыбался по-хорошему и вообще он как-то даже посветлел: стал не черный, а темно-русый и глаза у него были теплые, коричневые...

"Интересно, кто из них сегодня придет? — подумал Серёжа, шагая по заросшему двору. — Ну, Андрюшка Гарц, наверно, уже там. Огонькова не будет: у него бабушка болеет. Воронины появятся, конечно... А из других групп? Прежде всего примчится наверняка "барабанная команда" Данилки Вострецова".

Но самым первым, кого Серёжа увидел в клубе,

был совсем незнакомый мальчик.

## 3

Мальчик стоял в коридоре у окна. Тоненький, белобрысый, нерешительный. В нарядной клетчатой курточке с белым воротничком. Курточка была легкая, летняя, но под ней Серёжа заметил плотный голубой джемпер.

"Новичок, — безошибочно определил Серёжа. — С мамой пришёл".

Никакой мальчишка, если он сам идет записываться в клуб, не станет одеваться как в театр. А в костюме этого мальчика заметна была женская забота: и принарядить, и не простудить. Кроме того, человек посамостоятельнее обязательно уселся бы на удобный широкий подоконник. А мальчик стоял. Ленька Мосин, а пожалуй, и Андрюшка Гарц прошли бы мимо новичка, задрав нос и помахивая рукой с нашивкой над локтем. И мальчишка, разумеется, смутился бы и с робостью глядел бы на "ветеранов". Но Серёжа не любил, если при нем кому-нибудь было неловко или страшно. Ему становилось неудобно за этого человека, и он мучился вместе с ним.

И сейчас, чтобы новичок не застеснялся, Серё-

жа подошел и спокойно, будто между прочим, спросил:

— Записываться пришёл?

Мальчик на секунду вскинул синие глаза и выдохнул:

— Да…

— А почему не заходишь?

Новичок посмотрел на дверь спортзала.

— У меня там мама.

— А она согласна, чтобы ты записался?

Мальчик кивнул.

— Ну тогда все в порядке, — ободряюще сказал Серёжа и шагнул в зал.

Олег беседовал с женщиной. Он был, как всегда, ярок и великолепен: в малиновых спортивных брюках с белыми лампасами, в оранжевой футболке. Он словно светился на фоне темной стены. Женщина была невысокая, худая, с таким же острым носиком, как у мальчишки. Она беспокойно вертела в руках сумочку. В маленьком спортзале не было никакой мебели, кроме шкафа и узких низеньких скамеечек вдоль стен, поэтому Олег и мать новичка разговаривали стоя.

— Здрасте, — сказал Серёжа.

— Добрый день, — откликнулся Олег. — Сделай одолжение, размонтируй две рапиры, они слева в

пирамиде. Эти пираты-барабанщики вчера опять сломали два клинка.

— Сделать им деревянные, пусть машут сколько влезет. А то не напасешься клинков, — сказал Серёжа.

— Это мысль, — усмехнулся Олег. И повернулся к собеседнице: — Извините, я отвлекся… Значит, Мите одиннадцать лет?

— Да, двенадцатый. Он только выглядит помладше. Видите, и я маленькая, и отец был невысокий… Но дело не в том, что он маленький, а в том, что слишком уж тихий. Знаете, я сама была отчаянной девчонкой, честное слово. А на него смотрю и удивляюсь. Ведь мальчишка же он, а не девочка. Другие матери сладить не могут со своими сыновьями, а я вот, не поверите, мечтаю даже: ну хотя бы подрался с кем-нибудь!

— Обижают его? — негромко спросил Олег.

— Нет… не обижают. Но, знаете, как-то не принимают всерьез. Если на дворе футбольная игра, он в сторонке. Если крепость строят, он опять где-то сидит и смотрит…

Она улыбнулась, нерешительно посмотрела на Серёжу и вполголоса призналась:

— Мужского воспитания, конечно, не хватает.

"Чепуха, — думал Серёжа, развинчивая рукоять

рапиры. — У Володьки Огонькова тоже нет отца, а он сам кого хочешь воспитает по-мужски. Это уж от характера зависит".

— Меня тревожит одно обстоятельство, — сказал Олег. — Наши ребята занимаются с лета, они многому уже научились. Вашему сыну придется их догонять. Заниматься старательно, больше, чем другим...

— Он будет! Он так мечтает о клубе.

— Да, я понимаю, — осторожно продолжал Олег. — Хорошо, что мечтает. Но... вы знаете, когда мальчишка не ходит ни в кружок, ни в секцию, ни в клуб, а в школе учится так себе, это, в общем-то, дело привычное. Но стоит ему записаться и в эти же дни, упаси господи, получить двойку, как родители сразу делают вывод: клуб тебя отвлекает от школы.

— Да не будет его клуб отвлекать, — поспешно возразила Митина мама. — Он дома над уроками все равно больше часа не сидит. Или кораблики клеит, или книжки читает... Значит, запишете Митю?

Олег улыбнулся:

— Я сам не записываю, это совет капитанов решает. Но я думаю, совет не будет возражать. Что могут иметь капитаны "Эспады" против пя-

тиклассника Мити Кольцова?.. Но я должен одно сказать, Ольга Васильевна: у нас не спортивная секция, а простой дворовой клуб. Мы не готовим спортсменов разрядников, и вряд ли кто-нибудь из наших ребят станет участником Олимпийских игр или хотя бы чемпионом города. Мы занимаемся разными делами, и фехтование у нас просто для общего развития.

— Я понимаю. Не в чемпионстве дело…

— Ну и прекрасно… Сергей, позови, пожалуйста, из коридора человека Митю Кольцова, который, наверно, с трепетом ждет решения своей судьбы.

— Не ждет он с трепетом, — откликнулся Серёжа. — Я ему уже сказал, что примут.

Митина мама с благодарностью посмотрела на него. Серёжа приоткрыл дверь и кивнул Мите:

— Входи.

Митина мама ушла, и они остались втроем. Ребята еще не начали собираться. Митя стоял у дверей и, стесняясь, оглядывал разрисованные стены.

— Слушайте, поручик, у меня к вам просьба, — сказал Олег Серёже.

— Да, мой генерал, — в том же тоне откликнулся Серёжа.

— С меня райком спрашивает план работы.

Если завтра не сдам, повлекут в геенну огненную. Пока у нас тихо, я поработаю в кают-компании, а ты займись с новичком.

— Я? — растерялся Серёжа.

— Ну да. А что?

— Но я же… — начал Серёжа и наткнулся на требовательный взгляд Олега. Этот взгляд говорил: "Надеюсь, ты не будешь капризничать при новичке?" — Ну… хорошо, — сказал Серёжа. — Ладно. Я займусь.

Олег удалился в кают-компанию. Это была комнатка, где стоял знаменитый диван и хранилось в самодельном шкафу из оргстекла голубое с красными звездами и золотыми клинками знамя "Эспады".

— Начнем, — сказал Серёжа, старательно вспоминая, что говорил и как себя вел в таких случаях Олег.

Митя послушно кивнул.

Серёжа достал из пирамиды рапиру.

— Возьми… Нет, не так. Ты видел когда-нибудь старинный пистолет с прямой ручкой?

— На картинке, — шепотом сказал Митя.

— Ну вот. Рапиру держат примерно так же, как этот пистолет. Указательный палец здесь, у щитка. Этот щиток называется гарда. На этом пальце

вся тяжесть рукоятки. Ты его согни, будто он на спусковом крючке. А большой палец — сверху, как на курке, вот так. А остальными пальцами слегка придерживай… Нет, ты не стискивай. Пальцы должны играть на рукояти, как на флейте.

Митины пальцы, тонкие, холодные от волнения, послушно сгибались и разгибались. Серёжа, совсем как Олег, продолжал:

— Есть такой фильм — "Скарамуш". Из эпохи французской революции. Фильм так себе, но фехтование в нем поставлено отлично. Ну так вот, там учитель фехтования говорит главному герою: "Шпагу надо держать, как птицу. Если сильно сожмешь — задушишь, если слабо станешь держать — улетит". Понимаешь, противник выбьет…

Митя нерешительно сказал:

— Я слышал, что если на соревнованиях шпагу выбьют, то это не считается. Сразу бой останавливают.

— Вообще-то да… Но что хорошего, если у тебя оружие вышибли! И это ведь на соревнованиях. А если по правде, в бою? Там таких правил нет.

Митя взглянул ему в лицо. В синих глазах его было удивление.

— Разве бывают сейчас настоящие бои на шпагах?

— Всякое может быть, — солидно сказал Серёжа. — Нам Олег рассказывал про один случай в Ташкенте. Там несколько бандитов с ножами напали на спортсменов. А те с эспадронами шли, с тренировки. Эспадрон — это не рапира и не шпага, а спортивная сабля, тонкая такая. Эти ребята-фехтовальщики взяли эспадроны да как принялись за бандитов! Чуть в капусту не искрошили. Повыбивали ножи, притиснули к забору, потом позвали милицию… В общем, было дело.

— Вот это здорово! — сказал Митя. Он оживился и перестал смущаться. — А мы будем учиться на этих… на саблях?

— У нас их нет пока. У нас рапиры, это колющее оружие. Учти, что рапира — основа фехтования… Ну, давай я тебе покажу исходное положение и боевую стойку.

Исходное положение Митя усвоил сразу. А боевая стойка сперва не получалась. Клетчатая курточка, такая нарядная на первый взгляд, оказалась старенькой и тесноватой. Узкие рукава, аккуратно заштопанные на локтях, не давали рукам свободно сгибаться.

— Сними ты ее, — посоветовал Серёжа. — И

свитер скинь. И вообще полагается заниматься в спортивном костюме и кедах.

Митя виновато глянул на свои начищенные полуботинки.

— У меня есть. Я не знал… Ну, не думал, что надо будет так сразу.

— Пойдем. Я тебе отыщу кеды. На время.

В комнате рядом с кают-компанией была раздевалка. В несколько рядов стояли маленькие шкафчики для одежды. Олег раздобыл их в каком-то детском саду, старые, списанные. Мальчишки сначала хихикали над детсадовской мебелью, но оказалось, что шкафчики — вещь удобная. Можно оставлять обувь, тренировочные костюмы, всякую мелочь. Шкафчики были заново покрашены — в стальной цвет. Вместо малышовых картинок с морковками, флажками и котятами на дверцах пестрели рыцарские эмблемы: щиты со звездами, кораблями, лилиями, оружием и львами.

— Это у каждого свой знак? — спросил Митя.

— Да.

— И мне… тоже дадут?

— Ты сам должен придумать эмблему.

— Но мне так ни за что не нарисовать.

— Ты, главное, придумай. Валерик Воронин

нарисует… но эмблема — это не сразу. Это когда совет переведет тебя из кандидатов в члены клуба.

— А-а, — сказал Митя слегка разочарованно.

— Да ты не огорчайся. У нас в кандидатах долго не держат.

— А сколько?

— Ну, это как когда… В общем, соберется совет, все тебе объяснят. И про устав, и про наши правила. Ты пока главное правило запомни — про оружие. Оно там на стене написано.

— Я уже запомнил. Наизусть, — сказал Митя. Зажмурился и тихонько зашептал. Серёжа расслышал последние слова: — …если только они не будут настоящими и опасными врагами.

— Вот именно, — хмуро сказал Серёжа, потому что вспомнил вдруг потную физиономию и цепкие пальцы Пети Дзыкина.

Но Петя Дзыкин не был, наверно, настоящим врагом. Он был просто собственник и склочник.

Серёжа дал Мите кеды Андрюшки Гарца, и они вернулись в спортзал.

Через сорок минут к ним заглянул Олег.

— Ну как?

— Да ничего, — сказал Серёжа. — По-моему, даже хорошо. Для первого раза, по-моему, даже

здорово.

— Только не зазнавайтесь.

Митя улыбался смущенно и устало. Рубашка на спине у него взмокла.

— Отдохните, — сказал Олег.

В этот момент хлопнула дверь. Появились Воронины и Андрюшка Гарц. Через минуту за ними с хохотом ворвалась лихая компания четвероклассников Данилки Вострецова. Все, как один, в летней парадной форме: в рубашках салатного цвета, в белых ремнях на синих шортиках, с блестящими аксельбантами барабанщиков на плечах. Рубашки им сшила Данилкина мама, аксельбанты сплел из капронового шнура Олег.

"Барабанная команда" шумно дышала и поправляла ремни.

— Ишь какие красивые, — сказал Олег. — Закаляетесь, да? И чего это вы при полном параде?

— В школе на сборе были, — объяснил Данилка. — Нас попросили на линейке барабанить. Сегодня сбор про День танкистов. Говорят, у нас форма как у юнармейцев.

— А сюда чего прискакали? — хитро спросил Олег. — Просто так или по делу?

Данилка украдкой показал кулак своей команде, и пятеро барабанщиков мигом выстроились у

стены. Данилка, насадив на золотые вихры берет, вытянулся перед Олегом.

— Товарищ командир "Эспады"! Звено "Юные барабанщики" прибыло для дополнительной тренировки.

Это у него всегда ловко получалось.

Но Олег сказал:

— Шиш вам, а не тренировка. Кто вчера два клинка угробил?

— Мы не нарочно… — жалобным хором сказали барабанщики и дружно вздохнули, а Данилка молчал и вопросительно махал пшеничными ресницами.

— Чего это они без очереди! — возмутился Андрюшка Гарц. — Мы первые пришли.

— А мы младше, — донеслось от барабанщиков.

— Вот и уважайте старших, — отбрил Андрюшка.

— Нечего спорить. Первый бой у меня с Каховским, — решительно сказал Олег. — Он сегодня заработал. Переодевайся, Сергей.

Серёжа обрадованно бросился в раздевалку. Данилкина компания в знак протеста удалилась в кают-компанию. Сначала там было тихо, но когда Серёжа вернулся в зал, в кают-компании уже

стонал диван и раздавались победные крики.

Олег бросился туда и принес под мышкой главного нарушителя — Данилку. Данилка отбивался и дрыгал ногами. Олег посадил его на шкаф, где хранились маски и нагрудники.

— Сиди и не трепыхайся. А то в шкаф засуну.

— Справились с маленьким, да? — укоризненно произнес Данилка. Подумал и начал потихоньку барабанить каблуками по стенке шкафа.

— Данила! — грозно сказал Олег.

Барабанщики по одному просочились в спортзал.

Митя слегка ошарашенно смотрел на эту суету.

Серёжа взял маску и вышел на дорожку. Против Олега.

Они обменялись салютами.

Олег был широкоплечий, среднего роста, но когда он стоял перед противником с поднятой для салюта рапирой, то казался очень высоким, тонким, гибким. И крупное лицо его с большим носом и острыми скулами делалось красивым и строгим. Это был боец, мушкетер…

— Готовы?.. К бою! — скомандовал Валерик Воронин. — Начали!

Олег был почти неуязвим. Лишь изредка ребятам удавалось зацепить его клинком. И тогда

"автор" укола весь день ходил именинником.

Серёже повезло. Начиная осторожную разведку, он вспомнил слова Олега: "Фантазируйте. На одних классических приемах далеко не уедете. Бой — это творчество".

"Ладно, пофантазируем", — сказал себе Серёжа. Он сделал вид, будто идет в атаку снизу, но хочет закрутить перевод в верхний сектор. Однако делать перевод не стал, а упал на левую руку и направил клинок в нижний край Олегова нагрудника.

Конечно, этот трюк был сплошным пижонством. Но сейчас он удался: рапира упруго выгнулась — укол!

— Ловко, — сказал Олег. — Хотя, конечно, не ново. Эта штука описана еще Проспером Мериме в новелле "Дон Жуан".

— Я не читал, — сказал Серёжа.

— Весьма возможно... Продолжим?

Но тут раздался грохот. Это упал со шкафа Данилка. Олег охнул, подскочил, начал ощупывать пострадавшего. Впрочем, Данилка не был пострадавшим, потому что приземлился удачно.

Олег сел на скамейку и взялся за левый бок.

— Если я когда-нибудь получу инфаркт, — печально сказал он, — то исключительно из-за этих

юных головорезов. Будьте свидетелями.

Потирая синяк на лбу (налетел на дерево), появился Андрюшка Ткачук. Сообщил, что в "Космосе" новый фильм "Робинзон Крузо" и мультики. Удлиненная программа.

— Мамка спрашивает: надо билеты оставлять? Только они дорогие, по сорок копеек.

Андрюшкина мать работала в кино кассиром.

Олег обвел взглядом всю компанию.

— У кого деньги есть?

Подняли руки пять человек. Серёжа поднял. И Митя — у него был полтинник. Остальные жалобно сопели.

— Ладно, Андрей, — сказал Олег. — Мчись к маме, пусть оставит… раз, два, три… десять… четырнадцать билетов. Пропадай моя зарплата.

## 4

Домой Серёжа пришёл под вечер. В прихожей его встретила Маринка. Она прыгала и ликовала:

— Динь-динь! А у нас телефон!

— Правда? Тетя Галя, правда поставили?

— Наконец-то, — со вздохом сказала тетя Галя.

— Почему "наконец-то"? Люди иногда больше

года ждут.

— Это я про тебя: наконец-то явился, — объяснила тетя Галя. — Люди-то обедают когда полагается, а ты целый день скачешь голодный.

— Мы в кино пирожки покупали.

Подошел Нок, встал на задние лапы, а передние взгромоздил Серёже на плечи. Укоризненно посмотрел ему в лицо.

— Соскучился, крокодил? — сказал Серёжа. — Ну-ну, только не лизаться.

Он освободился от собачьих объятий, потрепал Нока по ушам и пошел к телефону.

Плоский светло-серый аппарат был похож на модель гоночной автомашины. Если только трубку убрать.

Серёжа поднес трубку к уху. В наушнике гудел настойчивый сигнал.

Маринка прыгала рядом. Она весело сообщила:

— А нам уже звонили!

— Кто?

— Папа звонил.

— А чего он звонил?

Тетя Галя сказала из кухни опять со вздохом:

— О чем он может звонить? Снова у Владимира Сергеевича задержится до ночи.

— Они же отчет об экспедиции готовят, — заступился Серёжа.

— Вот именно. Не могут ни днем ни ночью позабыть про свой отчет.

Серёжа осторожно положил трубку и пошел к себе в комнату. Нок, стуча когтями, двинулся следом.

За окнами синели сумерки. Недостроенный замок таинственно белел в полутьме, словно декорация приключенческой пьесы, когда спектакль уже кончился.

Серёжа погладил Нока и сел на кровать. Окончен хороший день, в котором были товарищи, удачный бой с Олегом, кинокартина с шипучими синими волнами, парусами и джунглями. Звон рапир и смех Данилки Вострецова. Горячие пирожки в буфете (три на двоих) и пока нерешительная, но добрая улыбка новичка Мити Кольцова… И теперь, в одиночестве, Серёже стало грустно.

"Может, позвонить кому-нибудь? — подумал он. — А кому?" И вспомнил: у Генки Кузнечика есть телефон. Только номер какой? Но тут же вспомнил и номер. Еще давно, весной, Генка объяснял ребятам: "Вот запомните. Тридцать два ноль два сорок четыре. Очень просто. Как два-

жды два — четыре. Только впереди троечка". Про что был разговор и при чем там Генкин телефон Серёжа забыл, а номер запомнился.

Кузнечик, наверно, удивится звонку. Они с Серёжей не дружили и даже приятелями не были. Правда, на той неделе Генка услыхал, что Серёже нужен пенопласт, и на другой день притащил коробку. Ну и что? Кузнечик любому человеку готов помочь, даже незнакомому.

А Серёже Генка нравился. Всегда. Но ведь не подойдешь к человеку и не скажешь: "Ты мне нравишься. Давай сделаемся друзьями". Серёжа, по-крайней мере, так не мог. И он лишь думал, давно, с третьего класса, что хорошо бы как-нибудь подружиться с Генкой Медведевым, которого тогда еще не звали Кузнечиком.

Прозвище Кузнечик появилось в прошлом году.

В самом конце августа, перед началом учебного года, в школах шли собрания. Было еще жаркое лето. Строгая деловитость учебной жизни не успела лечь на школу. Школа гудела, как большой рой. Никто не пришёл в форме, коридоры и классы расцвели от пестрых платьев, ярких рубашек и разноцветных испанок. Всем было весело, и даже строгая завуч Елизавета Максимовна

рассмеялась, когда увидела, что Генка Медведев тащит по коридору большущую, с себя ростом, гитару.

Он принес ее в класс.

Ребята перед этим хвастались загаром, но теперь стало ясно, что чемпион по загару — Генка. Он все лето прожил в Севастополе и сделался коричневым, как его блестящая гитара.

— Подумаешь. Медведь и должен быть коричневым, — завистливо сказала длинная Люська Колосницына, именуемая обычно Люстрой.

Люстру не поддержали. Уж на кого-кого, а на медведя Генка никак не был похож.

Его затормошили, закидали вопросами:

— Генка, а зачем гитара?

— Ты играть научился, да? Ай да Геночка!

— Ой, да он врет, братцы! Я целый год учился, и то…

— Потому что у тебя таланта, как у курицы… Гена, сыграй!

— Ген, ты правда умеешь? Ну давай…

Генка кивнул. Уселся на парте, сложив по-турецки ноги, словно покрытые коричневым лаком. Хитро и немножко смущенно посмотрел на ребят. У него были продолговатые большие глаза, почему-то похожие на глаза громадного

насекомого. И лихо торчал над лбом выгоревший хохол.

Генка постучал пальцами по гулкой гитаре: тра-та-та, та-та-та, тра-та…

Забренчал на струнах и запел:

*Там где у цветов головки*
*Лепестками ветру машут,*
*Маленький кузнечик Вовка*
*Жил да был среди ромашек…*

Играл он, конечно, не очень. Просто подыгрывал песне. Но песенка была интересная, целая сказка. Никому не знакомая. И пел он здорово. Негромко, но чисто и весело.

*Не был Вовка музыкантом,*
*Хоть трещал не умолкая,*
*Вовка был работник-плотник —*
*Строил дачи и сараи.*

*Он пилой работал ловко,*
*Молотком стучал о доски:*
*Строил он мосты и лодки,*
*И газетные киоски…*

Дальше рассказывалось, как в руки Вовке попа-

лась золотистая лучинка, и кузнечик выстругал из нее шпагу "просто так, на всякий случай". А однажды...

*Приземлился на поляне*
*Злой разбойник и обжора,*
*Очень страшный и нахальный*
*Воробей по кличке Жора.*

Всякие жучки и божьи коровки прыснули во все стороны. А кузнечик остался: неудобно прятаться, если у тебя шпага. Бессовестный великан Жора хотел тут же проглотить Вовку, но шпага воткнулась ему в язык. И Жора улетел, подвывая не по-воробьиному. А песенка кончалась такими словами:

Чтоб врагам
хвалиться
было нечем,
Не беги
назад от них
ни шага.
Даже если ты кузнечик,
У тебя
должна быть
шпага.

Никто на заметил, что в класс вошла Татьяна Михайловна.

— Ай да молодец, Медведев, — сказала она. — Ты, Гена, за лето просто артистом стал!

Генка засмущался и вскочил прямо на парту.

— Да нет… Это не я. Это брат сочинил в Севастополе для ребят. Мы там с ним ялик ремонтировали…

— Ну ладно. Пора нам о делах поговорить, — сказала Татьяна Михайловна. — А потом расскажешь про Севастополь и про ялик. Садись-ка на место, кузнечик.

И тут все заметили, что Генка и правда похож на кузнечика: в зеленой, как трава, рубашке, а руки-ноги у него — будто сломанные пополам лучинки; и гитара его тоже похожа на туловище насекомого с одиноко торчащей лапой.

— Точно! И правда кузнечик! — развеселились ребята.

— Ой, батюшки! Я, кажется, тебе прозвище придумала! — с шутливым испугом воскликнула Татьяна Михайловна. — Гена, я не хотела.

— Да ничего, — покладисто сказал Генка. — Это лучше, чем Медведь. А то Люстра меня Медведем обозвала.

— Отныне считать Медведя Кузнечиком, — за-

явил Павлик Великанов — очень авторитетный в классе человек.

Так и повелось…

Серёжа набрал номер. Он боялся, что трубку возьмут Генкины родители, будут спрашивать, кто и зачем. Но ответил сам Генка.

Серёжа сказал:

— Здравствуй. Не узнал?

Кузнечик помолчал. Потом ответил:

— Узнал… Это ты, Серёжа?

Он сказал не "Каховский" и даже не "Серега", а Серёжа, и это прозвучало как-то неожиданно, по-дружески. И Серёжа обрадовался. Он сам не ждал, что так сильно обрадуется. Но тут же встревожился: в классе было шесть Сергеев.

— Это я, Каховский, — объяснил он.

— Да. Я понял, — все так же негромко сказал Кузнечик. — Хорошо, что позвонил.

— Почему хорошо?

— Ну, так просто, — откликнулся Генка теперь оживленнее. — Понимаешь, я сижу один, скучаю. И вдруг ты…

— А я тоже так просто. Нам только что телефон поставили, и я вспомнил твой номер. Ты что делаешь?

— Я же говорю: скучаю. Гитару мучаю.

— Ты уж, наверно, здорово научился играть, да?

— Нет, что ты. Я понемножку.

— Слушай, сыграй что-нибудь, — попросил Серёжа. Его словно толкнуло. И он загадал: "Если Кузнечик согласится, все будет хорошо". А что "хорошо", и сам не понимал.

Генка согласился сразу.

— Ладно… Я и сам хотел. Ты только трубку не клади, я гитару возьму… Ну вот, все.

И Серёжа очень ясно представил, как Кузнечик, такой же, как тогда в классе, сидит с гитарой на столе у телефона, прижимает щекой к плечу трубку.

— Ты слушаешь? — спросил Генка.

— Конечно.

— Понимаешь, это песня… Ее брат придумал, когда в институте учился. Они пьесу ставили про наших летчиков, которые за Испанскую республику воевали. Вот про этих летчиков песня…

Серёжа услышал негромкие удары по струнам и затем, гораздо громче струн, очень чистый Генкин голос.

Кузнечик пел отрывисто и печально:

*Не трогай,*

*не трогай,*
*не трогай*
*Товарища моего.*
*Ему предстоит дорога*
*В высокий край огневой.*
*Туда,*
*где южные звезды*
*У снежных вершин горят,*
*Где ветер*
*в орлиные гнезда*
*Уносит все песни подряд.*

*Там в бухте*
*развернут парус*
*И парусник ждет гонца.*
*Покоя там не осталось,*
*Там нет тревогам конца.*
*Там путь по горам*
*не легок,*
*Там враг к прицелам приник,*
*Молчанье его пулеметов*
*Бьет в уши,*
*как детский крик...*

Теперь Серёже не казалось, что Кузнечик сидит на столе у телефона. Он закрыл глаза и ясно увидел костер на поляне и Костю у костра, и ребят с оранжевыми от огня лицами, и Генку рядом с Костей. Будто они пели вместе.

*…Не надо,*
*не надо,*
*не надо,*
*Не надо его будить,*
*Ему ни к чему теперь память*
*Мелких забот и обид.*
*Пускай*
*перед дальней дорогой*
*Он дома поспит,*
*как все,*
*Пока самолет не вздрогнул*
*На стартовой полосе…*

Песня затихла. Было слышно, как Генка прижал струны ладонью. Он помолчал и сказал:

— Вот все… Ты слышишь?

— Да, — сказал Серёжа, — это такая песня… Про нее лучше ничего не говорить. Просто слушать, и все.

— Брат ее, оказывается, давно написал… А мне спел только сегодня. Это он когда про Чили услышал.

— Про что?

— Про Чили. Ты что, радио не слушал?

— Нет, — смутился Серёжа. — Я тут сегодня закрутился с делами…

— Там фашистский переворот! — с неожиданной злостью сказал Генка. — Генералы толстопузые мятеж устроили… Зря он этим гадам доверял.

— Кто?

— Президент Альенде. Они убили его. Обстреливали президентский дворец из танков.

— А я ничего не слышал, — тихо сказал Серёжа.

— Брат в июле был в Чили со студенческой делегацией. У него там друзья остались. Он мне и привез адрес одного парнишки, помог письмо написать по-испански. Я все ответа ждал. Теперь уж, наверно, не будет ответа…

Что мог сказать Серёжа? Он знал про Чили не так уж много. Знал, что там столица Сантьяго. Что там правительство, которое стоит за рабочих. И что президент Сальвадор Альенде распорядился, чтобы всем-всем детям в этой большой стране

каждый день обязательно давали бесплатное молоко: и в городах, и в глухих горных деревушках… Видно, не всем нравится, когда у каждого из ребят, даже у самого бедняка, каждый день есть глоток молока.

— В общем, все, как тогда в Испании, — опять услышал Серёжа Генкин голос. — Ты читал книжку "Испанский дневник"?

— Не читал, — признался Серёжа.

— А у нас есть… — Ты бы пришёл ко мне, а? Мог бы взять ее. Если, конечно, хочешь. Ну, не обязательно за книжкой, а так… Ты ведь никогда у меня не был.

— Конечно, я приду, — обрадованно сказал Серёжа. — А ты? Ты тоже приходи. Ты ведь тоже у меня не был.

— Ладно! Я знаю, где ты живешь.

— Нет, у нас теперь новая квартира.

— Я знаю, — повторил Кузнечик.

— Откуда?

— Очень просто. Узнал, когда коробку тебе раздобыл. Хотел тебе домой ее принести. Пришёл, а у вас никого нет.

— Специально приходил?

— Ну да. С коробкой…

— А где ты ее раздобыл? Я думал, она твоя бы-

ла.

— У соседа выпросил.

— Нарочно для меня? — все еще не решаясь поверить, спросил Серёжа.

— Ага… Послушай, а зачем тебе пенопласт? Не секрет?

— Не секрет, конечно. Я завтра тебе расскажу. Хорошо?

— Хорошо. Тогда до завтра?

— До завтра… Гена… А можно еще раз ту песню?

— Ладно.

*…Но если в чужом конверте*
*Придет к вам черная весть,*
*Не верьте,*
*не верьте,*
*не верьте,*
*Что это и вправду есть.*
*Убитым быть —*
*это слишком.*
*Мой друг умереть не мог.*
*Вот так…*
*И пускай братишка*
*Ему напишет письмо…*

Этой песней Генки Кузнечика хорошо было бы кончить рассказ о длинном Серёжином дне.

Но не все кончается, как хотелось бы.

Тетя Галя заглянула в Серёжину комнату и сказала:

— Тут один жилец приходил, на тебя жаловался. Что такое ты утром натворил?

Серёжа сидел на кровати и не спеша расстегивал рубашку. Он хотел пораньше забраться в постель, включить настенную лампочку, взять книгу "Двадцать лет спустя" и еще раз перечитать историю о том, как герцог Бофор бежал из Венсенского замка. Разговаривать об утреннем случае вовсе не хотелось. Даже вспоминать этого наглого Петю Дзыкина и то не хотелось...

— Ничего я не натворил. Это он натворил, — хмуро сказал Серёжа. — Задумал у ребят мяч проткнуть. А я не дал.

— Ну, про мяч я не знаю. А грубить-то зачем? Зачем ты ему таких слов наговорил?

— Я? — изумился Серёжа. — Я ему только сказал, что здесь общий двор, а не его огород. А что, не правда?

— Такие слова взрослому человеку говоришь. Хоть бы подумал: он в три раза старше тебя.

— Если старше, пусть не хулиганит. Его, что

ли, мяч? Если нравится протыкать, пускай купит себе и протыкает...

— Вы же сами его из терпения вывели. Все цветы потоптали.

— Мы? Потоптали? — вскинулся Серёжа. — Во-первых, не "мы", потому что я там даже не играл. Во-вторых, ни один цветок не был сломан. Ведь ты же не была там, а говоришь!

— Ладно, ладно... Ты уже закипел, как чайник. Я в этом деле разбираться не стану. Отец придет, пусть разбирается.

— Ну да, будет он разбираться! Он бы сам вмешался, если бы видел, как этот Дзыкин к ребятам пристал.

— Ну и что же? Он — это другое дело. Он взрослый человек. И тот взрослый...

— Ты все одно: "Взрослый, взрослый"! — действительно закипел Серёжа. — Этот Петя не взрослый человек, а взрослый шкурник! Ну откуда они такие берутся? Сытые, нахальные, думают, что вся земля для них, весь мир! Для их грядок и гаражей! Все будто только для их пользы! Поэтому и наглые. Как тот шофер!

— Господи, какой еще шофер?

— Забыла? Ты меня все за рубашку дергала: сядь да сядь. В автобусе. А чего он к бабке при-

вязался? Я же видел, что она деньги опустила, а он орет: "Деньги не бросила, а билет отрываешь! На кладбище пора, а совести нет!" Она плачет, а он орет. Его бы самого на кладбище! А ты только одно: "Сядь, не груби".

— Ну и что? Я ему сама сказала, что так нехорошо.

— Как ты сказала? Он и не посмотрел на тебя. Хорошо, что летчики вмешались... А другие сидят и молчат, будто не их дело. Тоже взрослые...

Тетя Галя устало отмахнулась:

— Тебя послушать, так будто и хороших людей на свете не осталось.

— Что? — удивился Серёжа. И как-то сразу успокоился. Ему сделалось даже смешно. И не стал он больше ничего говорить. Он вспомнил хороших людей, которых знал или видел. Костю, журналиста Иванова, маленького Димку... Тех летчиков в автобусе. Кузнечика... Татьяну Михайловну... Наташку, дядю Игоря. Ребят в своем классе и в Наташкином... Врача Марину Аркадьевну. Капитана Володю и моториста Витю с катера "Азимут"...

Это были только те, кого он вспомнил за несколько секунд. Потом Серёжа подумал о хороших людях, которых встречал сегодня: Олег,

Андрюшка Гарц, Данилка и его барабанщики. Валерик, Вовка и Вадик Воронины. Андрюшка Ткачук. Андрюшкина мама в кинотеатре "Космос". Шофер какого-то служебного автобуса — он увидел ребят на троллейбусной остановке, открыл дверцу и сказал: "В кино небось собрались? Садитесь, а то опоздаете, там на линии провод оборвался".

И этот новичок, Митя Кольцов, кажется, тоже хороший парнишка.

А из плохих людей сегодня встретились только двое: горластая Дзыкина и ее ненаглядный Петя.

Кто же виноват, что среди людей попадаются такие дзыкины? Они вредят, гадят, хапают. И не всегда по злости, а потому просто, что им наплевать на всех, кроме себя. И кроме таких же, как они.

...И один такой может испортить жизнь многим хорошим людям.

...А всадники успевают не всегда...

Серёжа разделся и залез под одеяло. Открыл книгу. Стало тихо. Посапывал в своем углу Нок, и звонко тикал будильник.

"...Герцог Бофор приподнял верхнюю корку пирога и, к ужасу своего тюремщика, достал из-под нее веревочную лестницу..."

— Серёжа! — позвала из кухни тетя Галя. — Вынеси, пожалуйста, ведро. А то очистки уже на пол валятся.

Ну вот! Думаете, приятно вылезать из-под одеяла и тащиться к мусорному ящику?

— Тетя Галя, можно, я утром?

— Господи, неужели трудно спуститься по лестнице? Ящик в двух шагах.

Как можно убедительнее Серёжа сказал:

— Ну что с ним сделается, с этим ведром, до утра? Завтра встану и, честное слово, сразу унесу.

— Плесень-то разводить… — проворчала тетя Галя. Но больше ничего не сказала.

Серёжа снова уткнулся в книгу. Но все же его слегка точило беспокойство. Он невольно прислушался. В кухне звякнула дужка мусорного ведра. Серёжа вздохнул, откинул одеяло, сунул ноги в полуботинки и вышел в прихожую.

Тетя Галя стояла у двери с ведром в руке.

— Давай вытащу, — сказал Серёжа. — Раз так срочно это надо…

— Ладно уж… — Тетя Галя мельком взглянула на Серёжу. — Куда ты раздетый по холоду… Скажешь еще потом, что и я тоже никуда не годный человек.

В Серёже будто струна сорвалась. Он прикусил губу, постоял секунду и ушел к себе, стуча незашнурованными башмаками. Обида нарастала, как боль, когда прижигаешь йодом ссаженный локоть: первую секунду еще ничего, а потом жжет все сильней, сильней — прямо слезы из глаз.

И не из-за последних тети Галиных слов обида, а вообще. "Ну почему, почему так? Объясняешь, доказываешь, а тебя даже слушать не хотят?"

Мама смотрела с большой фотографии. Она сидела на корме вытащенной на берег лодки и немного удивленно улыбалась: "Кто тебя, Серенький?"

Серёжа лег лицом в подушку, стиснул зубы, но слезы все равно прорвались. Неожиданно горькие, неудержимые. Он сам даже не понимал, откуда это. Ничего такого-то уж не случилось. А остановиться не мог. И только одного хотел: чтобы тетя Галя и Маринка не услышали.

Прежде всех услышал Нок. Подошел, встревоженно ткнул его в локоть мокрым носом. Серёжа обхватил его за шею и заплакал сильнее. И стало уже все равно.

Поспешно вошла тетя Галя, села рядом.

— Да ты что, Серёженька? Ну зачем ты, в самом деле... Нельзя же так. Я же не знала, что ты уже

лег. Будь оно неладно, это ведро!

Как будто в ведре дело!

Тетя Галя осторожно положила ему на затылок ладонь.

— Ну хватит, хватит... Ты уж не заболел ли?

Он сердито мотнул головой, сбросил руку. И мстительно подумал: "Боится, что папа придет и увидит, как я реву от нее". Но тут же ему стало стыдно от этой мысли. Будто он за спиной у тети Гали сделал какую-то гадость. Сразу ушла обида, остановились слезы.

— Да ничего. Все уже, — пробормотал он и потерся мокрыми щеками о подушку.

— Может быть, у тебя голова болит?

— Да нет. Это так. Ну все уже, правда...

Он сердито придвинул к себе книгу и глазами, в которых не высохли слезы, уставился в лист. И ничего не видел.

— Что же ты лег, даже не поужинал, — нерешительно сказала тетя Галя. — Может быть, встанешь покушаешь?

— Нет, не хочу.

— Тогда хоть чаю попей.

— Я правда не хочу.

— Ой, характер, — вздохнула тетя Галя. Погладила его по затылку и вышла.

Это она права: характер никудышный. Девчоночий. Глаза на мокром месте. Тогда летом, в автобусе, тоже чуть не разревелся. В тот момент, когда летчик загородил его и сказал водителю: "Ну ты, копеечный рыцарь, не кидайся словами! Сопляк — это тот, кто позволяет себе такие гнусные выходки, как ты сейчас. А этот мальчик в тысячу раз больше мужчина, чем ты".

Мужчина! У него тогда в горле заскребло, как у дошкольника, потерявшегося в универмаге. И он всю дорогу не отрывался от окна, потому что щипало в глазах.

Читать уже не хотелось. Он дернул шнурок лампочки и в темноте повернулся к окну. Там было видно только темно-синее небо. В нем горел яркий, как фонарик, Юпитер. Иногда он почти угасал и тут же снова радостно вспыхивал: это пролетали тонкие, невидимые облака.

Серёжа уснул. Ему приснился чужой, горячий от солнца город. Старинные серые дома с разноцветными стеклами в полукруглых окнах, темные арки и галереи, вдоль которых стояли могучие колонны из ноздреватого камня. Из пожухлой травы подымался средневековый испанский бастион с чугунными орудиями. На горячих стволах были оспинки от ржавчины. За

старыми домами, как белые острые скалы, вставали небоскребы. Это был, наверно, Сантьяго.

В конце улицы синей стеной стоял тропический лес. Оттуда по середине мостовой шел навстречу Серёже мальчик в зеленой рубашке. В пустой улице, словно громкие часы в тишине, щелкали по плитам песчаника его подошвы. Мальчик был вроде бы Генка Кузнечик и в то же время Митя Кольцов и еще какой-то незнакомый мальчишка.

Город был враждебный, полный измены и злобы. За колоннами, за желтыми зубцами бастиона притаились пулеметы.

А мальчик шел.

"Что ты делаешь! Они же убьют! Ложись, прячься!" — закричал Серёжа. Но голос его погас в плотной знойной тишине и прозвучал только шепотом.

Серёжа хотел закричать снова, но тут включился пулемет. Он заработал беззвучно, и Серёжа лишь почувствовал круглые короткие толчки воздуха. На рубашке мальчика расползлись темные пятна, он постоял, опустился на колено, упал и раскинулся на плитах. Пуля ударила рядом и отбила от песчаника острый осколок.

Серёже захотелось лечь и вдавиться в камень.

Но он, чувствуя всем телом, как следят за ним пулеметы, подошел и наклонился над мальчиком. Он почему-то сразу понял, что это тот мальчик, от которого Кузнечик ждал письмо.

На рубашке у мальчика в середине темных пятен были маленькие черные отверстия.

Серёжа перестал бояться. Он повернулся лицом к желтому бастиону и подобрал с мостовой каменный осколок. Сжал, как гранату.

Над каменными стенами появились головы врагов. И каждый из них был Дзыкин. Серёжа чувствовал, как они беззвучно кричат друг другу: "Скорей, скорей!" Из черного глазка пулемета выскочил оранжевый огонек, и пули очень сильно стали толкать Серёжу в грудь, в плечи. Но он не падал. Он решил не падать.

Каменный обломок удобно и прочно лежал в ладони. И Серёжа увидел, что это уже не камень, а рукоять с глухой, как у эспадрона, гардой. Из рукояти очень быстро выползал узкий зеркальный клинок.

Серёжа выпрямился над убитым мальчиком. Сжал рукоять и пошел к бастиону.

*Не трогай!*

*Не трогай!*

*Не трогай!*
*Товарища моего...*

## 5

Ну и работка досталась Валерику и Вовке Ворониным! Нарисовать сорок два рыцарских герба! Красками. На ватмане. Каждый размером в развернутую тетрадку.

Потом гербы наклеили на разноцветные бумажные флаги, а флаги развесили под потолком спортзала на протянутых от стены к стене шпагатах.

Серёжин герб висел во втором ряду, третий слева. Это был ярко-оранжевый геральдический щит с белой окантовкой. По огненному, рассветному полю мчались два всадника. Сами всадники были темно-красные, а кони — светло-серый и черный. Всадник на сером коне был с шашкой в опущенной руке, всадник на черном — с поднятым копьем. Снизу, из левого угла щита, навстречу конникам било тонкими лучами яркое белое солнце.

Был теперь герб и у Мити Кольцова: темно-синий круг, перечеркнутый снизу цепочкой

кудрявых голубых волн, по которым плыл белый кораблик. Право на свою эмблему Митя заслужил через две недели после прихода в клуб. Голосовала сначала за это Митина группа с капитаном Алешей Смирняковым, а потом совет. Что говорили на совете капитаны групп, Серёжа не знал. Но раз перевели человека из кандидатов в полноправные члены "Эспады" — значит, человек того заслужил.

Встречался с Митей Серёжа редко: учились они в разные смены. Виделись иногда по воскресеньям, да еще раз в неделю на общих вечерних линейках клуба. Но все же один бой у них был.

Это случилось в первое воскресенье октября. Серёжа и Митя пришли раньше всех, и Олег предложил:

— Ну-ка, поручик, возьмите рапиру и посмотрите, каких успехов достиг ваш ученик.

— Как посмотреть? Защиты проверить?

— Нет, зачем же. Просто бой.

Митя порозовел от волнения. Он взглянул на Серёжу почти виновато, словно хотел сказать: "Я понимаю, что мне смешно тягаться с тобой. Но что поделаешь, раз вызывают".

На дорожке он старательно, по всем правилам, отдал салют на три стороны, хотя боковых судей

не было, за боем наблюдал только Олег. Серёжа снисходительно улыбнулся под маской.

И они сошлись.

Конечно, он был слабоват перед Серёжей. Ну что ж, ведь и месяца не прошло. Многому ли научишься за такой срок? Но кое-чему Митя научился. Защиты брал умело, не махал клинком, как новички, зря не отступал.

Серёжа нанес ему первые два укола и слегка расслабился: противник был неопасный. А зря. Зевнул и тут же сам заработал укол.

А второй укол Митя нанес ему хитро: после ложного выпада и двойного перевода с захватом.

— Елки-палки... — шепотом сказал Серёжа, а Олег, не скрывая удовольствия, произнес:

— Вот так, уважаемые сеньоры!

Серёжа решил, что надо кончать, и одну за другой провел две успешные атаки. Но во время третьей атаки промахнулся и заработал еще одну "дырку": отвечал Митя мгновенно.

Кончился бой со счетом пять — три в Серёжину пользу. Но когда пожимали руки, Митя улыбался счастливо, как победитель. Еще бы! Все-таки он нанес три укола одному из лучших фехтовальщиков клуба.

— Ну как? — спросил у Серёжи Олег.

— С ним зевать опасно, — шепотом сказал Серёжа. — Когда он успел? Наверно, каждый день занимается?

Олег кивнул:

— Почти…

Однажды при Серёже пришла Митина мама. Сказала, что хочет посоветоваться.

— Понимаете, Олег Петрович, вызывали меня в школу… Была у них недавно в классе репетиция — коллективное чтение стихов готовили к концерту. А Митя отказался, потому что тренировка в клубе. Вот учительница и рассердилась. Даже сумку у него отобрала. Сказала, что не отдаст, пока я не приду.

— Ну уж сумку-то отбирать — это совсем не дело, — решительно сказал Олег. — Разве так чему-нибудь хорошему научишь?

— Да бог с ней, с сумкой, — устало произнесла Митина мама. — Не это меня тревожит. Учительница, когда мы беседовали, сказала такие слова… правда, может быть, сгоряча… Говорит, зря он там только время тратит. Что, говорит, вы думаете, он у вас спортсменом станет? Занимался бы, мол, своими книжками да корабликами. Как говорится, каждому свое…

Олег потемнел лицом.

— Ну и что же? — сдержанно спросил он.

— Ну вот… Я уж боюсь. Может быть, она права? Как у Мити здесь успехи?

Олег усмехнулся:

— Успехи? По-моему, самый большой успех, что ему здесь нравится. В уголок не жмется больше, решительный стал. Друзья у него появились. Особенно один. Есть тут у нас такая личность — Данилка Вострецов. Их теперь лошадьми друг от друга не оттащишь.

Митина мама расцвела:

— Ой, знаю Данилку, он у нас был! Рыженький такой, симпатичный. Чудо-ребенок!

— Хм… — тихонько произнес Серёжа, вспомнив "чудо-ребенка", упавшего со шкафа.

Олег бросил на Серёжу быстрый взгляд и продолжал:

— Митя мне как-то признался, что раньше у него такого друга не было. Ну, такого крепкого, что ли… А спортивные успехи, что ж… Не хуже, чем у остальных. Пусть учительница придет, сама посмотрит.

— Едва ли она захочет. Она как-то звонила сюда по поводу одного мальчика из шестого класса. Насчет его двойки. И почему-то очень на клуб обижена.

Серёжа решил, что можно вмешаться.

— Ну и зря, если не придет, — сказал он. — Вот наша Татьяна Михайловна везде с нами ходит. У ребят в бассейне были соревнования, так она даже туда ходила, хоть ей и нельзя, где влага, потому что ревматизм. Она уже немолодая, скоро шестьдесят лет, а все равно…

Олег предложил:

— Если учительница не захочет, вы-то все равно приходите. Скоро у нас финальные соревнования на приз клуба. Праздник. Видите вот, флаги вешаем. В эти дни отборочные бои идут. Митя, кажется, имеет шансы попасть в финал. — Он перехватил удивленный взгляд Серёжи и подтвердил: — Да, представьте себе, поручик. Имеется возможность встретиться в честном поединке с вашим учеником… Кстати, познакомьтесь, Ольга Васильевна, — обратился он к Митиной маме. — Сергей Каховский, первый учитель вашего сына.

— Ну уж, учитель, — сказал Серёжа. — Полчаса позанимался в самом начале.

— Удачное было начало, — сказал Олег.

Финальные соревнования состоялись в конце октября.

Накануне, в субботу вечером, Серёжа зашел к

Кузнечику.

— Придешь? — спросил он.

Генка виновато покачал головой.

— Завтра внеочередная тренировка, первый выход на лед.

— Жалко, — сказал Серёжа.

— Я, может быть, позже приду. Если рано кончим, — пообещал Кузнечик. — Как раз к тому времени, когда тебе будут первый приз вручать.

— Иди ты! — отмахнулся Серёжа. И признался: — Знаешь, Кузнечик, я боюсь что-то... Первые соревнования. Да не думай, что мне приз очень нужен! Я боюсь, что размякну и начну по-глупому проигрывать... Хорошо, когда за тебя болеют. Сразу сил больше делается.

— За тебя и так весь клуб болеет.

— Ну уж, весь клуб! Каждая группа болеет за своих финалистов. И потом, одно дело, когда своя группа, а другое — когда кто-то еще, не из клуба.

— Ага! — хитро сказал Кузнечик. — "Когда кто-то еще, не из клуба..." А уговаривал меня записаться в "Эспаду".

— А ты решил? — быстро спросил Серёжа.

— Нет, не могу. Вот если выгонят из секции, тогда приду.

— За что тебя выгонят?

— Да пока не получается из меня хоккеист. Тренер ворчит.

— Вот и давай к нам. У нас никого не выгоняют, если не получается. И Олег из-за этого никогда не ворчит. Можно вообще не заниматься фехтованием.

— А как тогда?

— Ну мало ли в клубе дел! Олег кинокамеру достал, будем, наверно, фильм "Три мушкетера" снимать.

— Здорово, — искренне сказал Кузнечик. — Но я пока не могу. Вот добьюсь своего в хоккее, тогда посмотрим.

"Если добьешься, тогда совсем уж уходить не захочешь", — чуть не сказала Серёжа. Но промолчал.

Дружба их была в самом начале, а в эту пору люди боятся обидеть друг друга неделикатной настойчивостью или даже одним неосторожным словом.

Зато с Наташей Серёжа договорился легко. Правда, сперва она отругала его: почему редко к ним заходит. Но потом быстро сказала:

— Ладно, приду.

Подумала и спросила:

— А можно Стасика взять?

Серёжа слегка удивился:

— Ну возьми… Думаешь, ему интересно будет?

— Да это неважно. Просто хочу его увести куда-нибудь. В воскресенье у них отец дома весь день, а он такой… Стаське от него плохо.

— Приводи, — сказал Серёжа. — Только пусть он сидит поспокойнее. А то он всякое может.

Стасик Грачёв, которого Серёжа спас от Мадам Жирафы, действительно мог "всякое".

На первый взгляд это был тихий мальчик, славный такой, с русой челкой над глазами и смешным пучком волос на затылке. С честными серыми глазами, которые от одного ласкового слова наливались вдруг слезами, словно в них вставляли стеклышки. Но порой в Стасике что-то взрывалось. Он отчаянно хохотал, метался по классу и коридору, скакал по партам, лупил ребят книгами по макушкам. А когда его пытались унять, визжал и кусался. Дело кончалось опять слезами, но уже громкими и злыми.

А случалось, что Стасик подходил к кому-нибудь из старших, брал за локоть, прижимался щекой к рукаву и стоял так по нескольку минут. Подошел он так однажды и к Серёже. Потом Серёжа спросил у Наташи:

— Чего это он?

А она серьезно сказала:

— Маленький, а нервы никуда не годятся.

Наташа пришла без Стасика. Сказала, что его не отпустили. Она дала Серёже мятный леденец и забралась в угол, на стул. В другом углу, стесняясь шумной толпы мальчишек, уже сидела Митина мама. Она была единственным взрослым среди зрителей. Остальные были свои же ребята из "Эспады", которые не попали в финал и пришли болеть за друзей, или приятели и одноклассники финалистов.

Места для зрителей устроили у главной, длинной стены, против окон. Притащили из кают-компании все стулья и даже диван. Его, конечно, сразу оккупировала "барабанная команда", которую Данилка привел болеть за Митю.

Вошел Олег и попросил зрителей "не вопить как на стадионе в Рио-де-Жанейро". Потом скомандовал бойцам построение.

Финалистов было семь. Предстоял двадцать один бой. На черной доске темнели пустые квадраты расчерченной мелом таблицы. Скоро там появятся единицы и нули: кому-то радость победы, кому-то — наоборот.

На судейском столике лежали дипломы и стоял пузырек с тушью, чтобы вписать имена победи-

телей. А в прозрачной коробочке поблескивал жетон с красной ленточкой. На жетоне были скрещенные шпаги и надпись: "Чемпион "Эспады". 1973". Дипломы Олег взял в райкоме комсомола, а жетон по его просьбе сделал из латуни знакомый гравер.

Кончилась жеребьевка. Серёже выпало выступать в первой же паре. Он застегнул нагрудник, натянул перчатку… и понял, что уже не боится и не волнуется.

Первый бой был нелегкий. Большой, грузный Женька Голованов лишь на первый взгляд казался неповоротливым. Клинок его мелькал и свистел перед Серёжей, выписывая кольца и восьмерки. Голованов не тратил времени на долгую разведку, он шел напролом в атаку за атакой, давил корпусом, вертя двойные и тройные переводы.

Серёжа уходил в сторону и огрызался короткими контратаками.

У них было уже по три очка, когда Голованов налетел на Серёжу всем корпусом, проскочил вперед, извернулся и нанес удар со спины.

— Четыре — три.

Если мечтаешь о первом месте, проигрывать первый бой нельзя. Серёжа не выдержал, за-

был про осторожность и полез в отчаянное наступление. Голованов ринулся навстречу. Олег остановил бой.

— Обоюдная атака. Делаю предупреждение.

Женька тяжело дышал. Он был на шаг от победы. Он рвался к ней.

"Ладно, — сказал себе Серёжа. — Не будем больше прыгать. Пофантазируем, как говорил Олег".

Он быстро отступил и встал в третью позицию, когда кисть руки на уровне пояса отведена влево, а клинок смотрит вниз. Он открылся перед противником. С точки зрения фехтовальной науки это был бред. Голованов от неожиданности на миг остановил свой клинок. Тут же Серёжа снизу вверх нанес по нему скользящий удар. Женькина рапира взмыла под потолок, а Серёжа вошел в глубокий выпад. Есть!

Зрители взревели.

— Неправильно! — кричали болельщики Голованова. — Клинок выбит, нельзя колоть!

— Нет, правильно, — сказал Олег. — Клинок еще не упал, когда был сделан укол. Четыре — четыре.

После этого Голованов разозлился, полез в атаку слишком открыто и проиграл еще очко.

Серёжа снял маску, пожал противнику руку и,

вытирая рукавом лоб, стал пробираться в угол к Наташе. Трикотажная рубашка липла к спине.

— Ух, как я переживала! — шепотом сказала Наташа. — Просто даже страшно. Ты такой молодец, Серёжка. Держись дальше.

И он держался. Он выиграл еще два боя: у почти незнакомого семиклассника Павлика Сосновского из второй группы и у Леньки Мосина. Ленька дрался лихо, но не очень умело. Когда проиграл, то обиделся, надулся, но через пять минут уже спокойно болтал с приятелями.

Володьке Огонькову Серёжа проиграл. Проиграл глупо, досадно, так, что завыть хотелось от обиды. Конечно, Огоньков дрался не хуже Серёжи. Но если бы Серёжа в последний момент, при счете четыре — четыре, не промахнулся так по-дурацки, то обязательно победил бы.

А Митя у Огонькова выиграл. Этого никто не ждал. Может быть, Огоньков устал после встречи после с Серёжей, а может быть, недооценил противника: худенького, белобрысого пятиклассника, неизвестно как попавшего в финал. Если недооценил, то зря. Мог бы видеть, что с Кольцовым шутить не стоит: до этой встречи Митька вышел победителем из двух боев.

Болельщики, следившие за хитростями фи-

нальной таблицы, начинали гудеть сначала удивленно, потом одобрительно. Дело в том, что вслед за Огоньковым и Каховским Кольцов пробивался в лидеры.

Серёжа следил за Митей с радостным удивлением. И даже с легкой завистью. Кольцов дрался так, будто не думал о победе и поражении. Бой для него был как песня, как музыка, в которую человек вкладывает всю душу. Так, по крайней мере, казалось. В каждую схватку он шел, словно этот бой — самое главное и самое радостное дело в его жизни, а потом будь что будет.

Серёжа теперь уже не думал: "Когда он успел..." Если у человека талант, он может вспыхнуть моментально.

После каждого боя Митя сбрасывал маску и улыбался счастливо, открыто и в то же время так, словно говорил противнику: "Ты уж не обижайся, пожалуйста". Потом он пробирался к маме под шум и аплодисменты, под крики Данилкиных барабанщиков, которые вскакивали на диван и от восторга лупили друг друга по спине.

Мама, такая же, как и Митя, маленькая, светловолосая, остроносенькая, тихо смеялась, прижимала его к своей вязаной кофточке, скомканным платком вытирала с его лба мелкие горошины

пота. Что-то быстро-быстро шептала ему на ухо. Он улыбался и кивал.

Он совсем не стеснялся маминой ласки на глазах у ребят. Может быть, кто-то считал это глупым и усмехался про себя. Но только не Серёжа. Он сам, наверно, тоже не стеснялся бы. Он подумал: "А пришла бы сюда моя мама?" И решил, что пришла бы обязательно.

И отец мог бы прийти, но он опять был в командировке.

Хорошо, что хоть Наташка была рядом.

Она тоже следила за Митей.

— Вы очень похоже сражаетесь, — сказала она.

— Ну что ты! — искренне возразил Серёжа. — Он ведет бой совсем раскованно, будто танцует.

— А это хорошо или плохо?

— Это здорово, — ответил Серёжа. Но тут его кольнула тревога за Митю. Вернее, она появилась раньше, но он не понимал почему. А сейчас понял. И встревоженно сказал: — Но так нельзя, наверно. Он выматывается весь в каждом бою. Он устанет и не дотянет до конца.

— Ну так что же, — рассудительно заметила Наташа. — Это даже неплохо. У тебя с ним последний бой. Легче его победишь.

"И верно!" — спохватился Серёжа. До сих пор он

просто радовался за Митю и не думал о нем как о будущем противнике.

Митька между тем выиграл бой у Мосина.

Вызвали Серёжу и Алешу Смирнякова — капитана группы номер четыре. Это был веселый парнишка с горячими зелеными глазами.

Серёжа, насмотревшись на Митю, заразился его ритмом. Он мог бы, наверно, покончить с противником быстро, но теперь он думал не только о победе — его увлекла сама схватка.

Вот это был бой!

Смирняков хоть и был послабее, но совсем не собирался проигрывать. Он два раза принуждал Серёжу отступить до конца дорожки. Тот мог бы ответить прямой, короткой контратакой, потому что Алешка в азарте открывал грудь, но… пусть. Пусть звенят и посвистывают клинки: дзан, дзанн, дзиу-у!.. Пусть мышцы поют как струны! И вспыхивают в мыслях молниеносные головоломки приемов!

Удар, защита, выпад! Шаг назад (ну иди, иди поближе), атака, захват! Ах, черт, ушел… Ну, на это ты меня не поймаешь: приоткрыл левый бок и думаешь, я — на приманку, а ты — в сторону и в атаку справа? А я — удар по клинку и укол вверх, под маску. Ага!

И Серёжа, и Алеша с досадой опускали клинки и поднимали маски, когда Олег останавливал бой.

Олег переговаривался с боковыми судьями:

— Был укол?.. Был?.. Не был?.. Не действительный? Не считать!

Не считать так не считать! К бою!

И опять, уже без долгих разведок, без выжидания: дзан-дзах, дзиу!..

Вот она, мушкетерская песня огневой честной схватки!

Кто ты, Алешка Смирняков? Я тебя почти не знаю. Ты в другой группе, в другой школе. Но я вижу: ты благороден и смел. Мы сейчас сошлись друг против друга, но мы, если надо, станем плечом к плечу с клинками в руках… И где-то совсем недалеко вскидывают нетерпеливые головы и рвутся у коновязи наши золотистые кони…

Что же случилось? То ли Серёжа увлекся, то ли Алешка набрал силу в бою, но вдруг оказалось, что счет: четыре — четыре.

И теперь Серёжа не был уверен в победе. Проиграешь очко — проиграешь бой. Черные квадратики таблицы — как ступеньки, по которым покатишься вниз.

Но азарт боя продолжал звенеть в нем. И Серёжа сделал то, что никогда не позволил бы себе в пер-

вых встречах. Как в давней схватке с Олегом, он пошел на отчаянный риск: после ложной атаки в отчаянно длинном выпаде упал на левую руку!

Этот почти театральный прием опять удался ему…

Серёжа пожал Смирнякову руку, повернулся… и увидел у двери, на уголке чужого стула, Генку Кузнечика. Генка улыбался и показывал большой палец: молодец!

Серёжа подбежал и потащил его в угол к Наташе.

— Вот! Это Наташка… Это Генка. Ух, хорошо, что пришёл. Кончилась тренировка?

— Не-а… Мне здорово клюшкой врезали. Я захромал, и меня отпустили. А ты еще не чемпион?

— Что ты! Тут еще такая заваруха будет!

Наташа объяснила Кузнечику:

— Видишь вон того беленького в черном костюме? У них с Серёжкой главный бой, самый последний в таблице.

— Ага, — сказал Генка. Но смотрел не на "беленького в черном", а на Наташу. И рассеянно улыбался.

А Серёжа, по правде говоря, чувствовал себя почти чемпионом.

Он не боялся встречи с Митей. Он знал, что все-таки сильнее. Правда, когда он выиграет бой, то у него, и у Мити, и у Огонькова будет по пять побед и по одному поражению. И между тремя претендентами начнутся дополнительные бои. Но ни за что на свете Серёжа больше не проиграет Володе Огонькову! А Мите Кольцову — тем более. Митька — молодец, но он устал…

Митя и правда устал. Он сам еще, наверно, не замечал своей усталости. Но Серёжа заметил ее, как только начался бой. Он в первые же секунды нанес Кольцову прямой четкий укол, и тот не успел взять защиту. Вернее, даже не попытался.

Все притихли. И непонятно, кто за кого болел. Многие — за Митю: он до сих пор так стремительно и весело шел к победе. Многие — за Серёжу: уж он-то имел полное право на первое место.

Если Кольцов выиграет сейчас, он получит жетон чемпиона. А Серёжа займет лишь третье место, потому что на второе в любом случае выйдет Огоньков. По очкам.

Но Кольцов не выиграет.

Серёжа снова пошел в атаку. Митя четко взял защиту и сделал ответный выпад. И еще!

Нет, зевать, оказывается, нельзя!

Но все равно Митька уже не опасен. Он бережет

силы. Выжидает, атакует не часто. Можно передохнуть на миг, бросить взгляд на зрителей. Вон Генка и Наташа, устроившись на одном стуле, неотрывно следят за Серёжей. Вон Митина мама все комкает и комкает в кулаке платочек. Волнуется больше Мити. Еще бы! А его мама разве не волновалась бы? Наверно, тоже сидела бы неподвижно и повторяла бы про себя: "Ну, давай, Серенький. Ну, держись".

Я, видишь, держусь. Теперь уже нетрудно, все опасности позади. Впереди только победа. Ее несложно отвоевать у вымотанного Митьки...

Разве я виноват, что он так обессилел?

Ну да, я понимаю, что невелика честь — победить уставшего противника. Но что здесь нечестного? Ведь он сам устал в боях, а в спорте побеждает сильнейший... (Дзах, дзах, дзиу! Ух ты черт! Уже три — два. Он еще держится, он еще жмет из последних сил. Он даже не понимает, что все равно проиграл.) Нет, я не виноват. У каждого своя сила и свое умение. Ведь это спорт. Не только спорт?

Да, я помню, что говорил д'Артаньян. Не тот молодой и отчаянный, из "Трех мушкетеров", а старый, поседевший в боях д'Артаньян из длинного и печального романа "Виконт де Бражелон".

Он говорил, что не в умении владеть шпагой заключается доблесть и честь человека. Она в самом человеке… Но разве я дерусь против совести? Разве Мите Кольцову, который на два месяца позже меня пришёл в "Эспаду", мало третьего места? Это же все равно и слава, и почет, и диплом… Да, диплом, конечно, не понесешь в класс, не будешь хвалиться. Другое дело — маленький золотистый жетон на школьной курточке: "Чемпион "Эспады". Он сам говорит за себя. Говорит всем, кто не верил и раздражался, кто усмехался, глядя на тихого щуплого пацана.

Но разве это будет честно, если Митька не по правде выиграет последний бой?

Но почему не по правде? Ведь он бьется до конца, из последних сил. А перевес в одно очко разве не может быть просто случайностью?

(Ж-жах! Выпад, второй! Что он делает? Идет уже напролом! Ведь стоит Серёже ответить поточнее — и все.)

Но он еще держится, Митька Кольцов. Он все еще верит в себя. И тут даже не надо поддаваться. Просто немного расслабиться. Ведь и он, Серёжка Каховский, имеет право уставать…

Мама прижала Митю к себе, обхватив за плечи. И он полминуты стоял неподвижно, уткнувшись

ей в плечо. Только острые лопатки ходили от дыханья под промокшей футболкой. Данилкина компания прыгала вокруг и радостно хлопала по спине победителя, иногда попадая по руке матери…

Потом, уже переодевшись в форму, финалисты построились, и Олег вручил дипломы. А Мите приколол жетон.

Потом опять все смешалось.

Зрители и участники расходились: впереди была еще половина выходного дня. Солнечный, синий от безоблачности и осеннего холода, он бил в окна и звал на улицу.

Серёжа тряхнул плечами, прогоняя усталость, улыбнулся.

— Ты не расстроился? — участливо спросила Наташа.

— Третье место — это ведь тоже хорошо, — сказал Генка.

— Все хорошо, — сказал Серёжа. — Знаете что? Пойдем сейчас ко мне? Я вам покажу, какую башню отгрохал на своем замке. А потом что-нибудь придумаем.

Олег прошел мимо, на ходу попросил:

— Сергей, останься, если можешь. Надо порядок навести, оружие убрать.

Наташа и Генка сказали, что подождут.

Вокруг Мити и его мамы все еще толпились друзья.

— Олег Петрович! Серёжа! — позвала она. — Знаете что? Приходите сегодня к нам! Вот и Данилка, и все ребята придут. Сделаем маленький праздник. Будем чай пить, я пирожков нажарю. Придете?

— Вообще-то мне контрольную надо готовить, — сказал Олег. Посмотрел на Митю, который оглядывал всех со счастливым ожиданием, и вздохнул: — Но, с другой стороны, пирожки…

— А с чем пирожки? — поинтересовался Данилка, и Серёжа слегка щелкнул его по макушке.

— С вареньем… А ты, Серёжа, придешь? — Она улыбнулась. — Ты ведь первый учитель.

— Приходи, — негромко, одними губами попросил Митя.

"Если откажусь, получится, что обиделся за проигрыш", — подумал Серёжа. Но не это было главное. Главное, что ему самому хотелось пойти. Но как же Наташа и Кузнечик?

— Извините, я не могу, — сказал Серёжа. — Меня ребята ждут.

— А ты с ребятами приходи, — настаивала Митина мама.

Серёжа подошел к Наташе и Генке.

— Пойдем?

Наташка почему-то опустила ресницы и тихо сказала:

— Я бы пошла. Что такого…

— Я — как вы, — быстро сказал Кузнечик.

Митина мама заторопилась:

— Приходите в шесть часов… Митенька, ты иди домой, приготовь пока все для чая, а я зайду в магазин.

— Пусть он с нами в кино идет, — предложил Данилка. — У нас билеты есть на четыре часа. До шести успеем.

Но Митя молча покачал головой. Он не хотел в кино. Наверно, старался не расплескать до вечера свою радость.

Почти все ушли.

Кузнечик и Наташа бродили по залу, разглядывая флаги с гербами. Олег и Серёжа укладывали в шкаф маски.

— Зачем? — тихо спросил Олег.

— Что — зачем? — не понял Серёжа.

— Только не надо отпираться. Зачем проиграл?

Отпираться в самом деле было глупо. Серёжа пожал плечами.

— Пожалел его? — спросил Олег.

Серёжа удивленно вскинул глаза.

— Вот еще! Просто… ему нужнее.

Олег помолчал.

— Ну… пусть, — наконец проговорил он. — Я вот про что хочу сказать. Знаешь, что Огоньков от вас уходит? Будет командовать знаменной группой.

— Почему?

— Их класс перевели в первую смену… А тебе, наверно, быть капитаном.

— Почему мне? — искренне удивился Серёжа.

— Так ребята говорят. Я уже спрашивал.

— Что я, лучше всех?

— Да нет, все одинаковы, — серьезно сказал Олег.

— Валерик Воронин старше меня.

— Я знаю. Но он прежде всего художник, у него и так работы хватает. И он, кстати, тоже назвал тебя.

— Странно…

Серёжа никогда не стремился быть командиром. Конечно, капитан — это здорово. Это золотой угольник на рукаве под нашивкой, это право открывать стеклянный шкаф со знаменем, это участие в советах, где решаются важнейшие дела. Но ведь это еще и отвечать за всю группу. А как

это — отвечать? И как командовать? Мосиным, Андрюшкой Гарцем, Ворониными? Почему они должны видеть в нем командира?

— Это ведь не награда. Это — нужно, — сказал Олег.

— Ну, раз нужно… Только…

— Хочешь сказать: только получится ли?

— Нет… Только не говори никому про это… Ну, про последний бой.

Олег выпрямился.

— Никому? Нет, кое-кому я все-таки скажу… Ребята, идите сюда!

Генка и Наташа подошли.

— Я про вас кое-что знаю, — сказал Олег. — Сергей не очень разговорчив, но про вас он говорил. Вы его друзья. И хотя бы вы должны знать: последний бой он проиграл нарочно.

"Сейчас начнут спрашивать — зачем", — с досадой подумал Серёжа. Но Наташа промолчала и только слегка покраснела почему-то. А Кузнечик спокойно сказал:

— Ну, значит, так надо.

— Надо? — переспросил Олег. — Может быть, братцы, не знаю… Сергею видней. Только все-таки обидно, наверно, да, Серёжа? Первые соревнования. Сразу была надежда стать чемпионом. Не

всегда ведь так повезет...

— А, пускай, — задумчиво произнес Серёжа. Ему было сейчас хорошо. И он не боялся сказать о том, что снова вспомнилось: — Мне однажды так повезло, что, наверно, хватит на всю жизнь. Я про это никому не говорил. Только отцу да Наташке...

— Это про всадников? — шепотом спросила она.

— Да... Я, когда еще маленький был, придумал сказку о волшебных всадниках. Будто они приходят на помощь, когда позовешь. А потом, этим летом уже, меня на станции поймали четыре гада. Я из лагеря домой уходил, потому что не хотелось там быть, а они тащили обратно. Насильно. Издеваться начали: "Ну, зови своих всадников!" И они вдруг примчались! Понимаете, настоящие!

Он замолчал, потому что опять слишком уж зазвенел голос и опять, как наяву, он пережил то изумление и счастье, когда в нарастающем громе копыт загудела земля, вспыхнули рыжие гривы и упруго прозвучал голос командира...

— А что за всадники? — нетерпеливо спросил Кузнечик.

Но тут резко открылась дверь, и они увидели

Митю.

Он был в разорванной куртке, с кровью на щеке и на губах, а в глазах у него стояли злые слезы.

— Кто? — тихо и гневно спросил Олег.

## 6

— Не знаю, — сказал Митя. — Я их раньше не встречал… Их было четверо.

Тыльной стороной ладони он вытер припухшие губы. На руке осталась красная полоса. Митя удивленно посмотрел на нее и негромко, но со злостью продолжал:

— Одного зовут Лысый. Я запомнил.

— Лысый?! — вскинулся Кузнечик. — Он такой, с меня ростом, в вязаной шапке, да? И под глазом фингал?

Митя кивнул.

— Я же этого паразита знаю! — воскликнул Генка. — В нашем дворе живет. Синяк — это я ему вделал за голубя. Они его поймали на помойке, банку привязали к лапам и летать заставляли…

— Стойте. Всё потом, — сказал Олег. — Наташа, будь добра… В раздевалке у двери аптечка. Вата, бинт, йод, перекись водорода. Сергей, возьми в умывальнике стеклянную банку, налей теплой

воды…

Когда Серёжа вернулся с водой, Олег и Кузнечик стаскивали с Мити куртку. Митя осторожно вытягивал из нее руку и морщился.

— Что с рукой? — спросил Олег.

Митя улыбнулся, не разжимая зубов.

— Больно пальцы. Я этому Лысому все-таки один раз стукнул. Костяшками. По зубам… Это когда уже все разбежались и я пошел. А он за мной привязался, все в спину тыкает и шипит: "А ну беги. А ну беги, хуже будет". А потом забежал вперед, ладонь растопырил — и меня за лицо… — Митя брезгливо передернул плечами. — Я не выдержал и как дал!

— Иди-ка сюда, — сказал Олег. Сел на стул, поставил Митю между колен, обмакнул ватный тампон в теплую воду. — Поверни щеку. Вот так… Ну и что дальше было?

— А дальше они все меня окружили… Вот тогда и разбили губы. А тут взрослые подошли, закричали на них, они сразу кто куда… Вот и все. Я сюда пошел. Если я в таком виде домой приду, мама…

Он замолчал, потому что Олег стал обмывать ему губы.

— Гена! — позвал Олег. — Значит, Лысого ты знаешь?

— Еще бы! И он меня знает. Он меня еще лучше сегодня узнает, это уж точно.

— И меня, — сказал Серёжа, чувствуя холодок в груди. — Эх, жалко, никого из наших там рядом не было!

Митя удивленно глянул на Серёжу и дернул головой.

— Что, больно? — спросил Олег.

Митя отрицательно промычал.

— А что же ты… Сказать что-то хотел?

— Нет, — прошептал Митя и опустил глаза.

Олег бросил на пол розовую мокрую вату. Нахмурился.

— Постой… Ты сказал… Ты сказал: все разбежались, а я пошел… Ты что же, был не один? Митя!

Митя опустил голову, прикусил больную губу, и по отмытой щеке побежала злая слезинка.

— Кто еще был? — жестко спросил Олег.

Митя глянул исподлобья.

— А потом они скажут, что я предатель…

Олег горько усмехнулся:

— Ты — предатель?

— Ты или те, кто тебя бросили?! — яростно спросил Серёжа.

— Они, наверно, не бросили. Они, наверно, думали, что я тоже побежал, только в другую

сторону.

— Давай все по порядку, — сказал Мите Олег.

Митя глотнул, словно острый леденец проглотил.

— Я сперва шел один… Потом догнал Мосина, Голованова. И этого… Сенцова. Мы шли разговаривали. А там, у магазина, есть такой закоулок, ящики пустые лежат. Они из-за этих ящиков вышли.

— Эти четверо?

— Да… Я сначала думал, что это просто так, знакомые. Самый большой, вроде Голованова, подошел и говорит: "Денежки есть?"

Митя обвел всех влажными глазами и продолжал:

— Он так спросил, что я опять нисколько не догадался. Думал, что он, наверно, взаймы у наших ребят просит… А Голованов говорит: "Нет". Тогда другие два говорят Мосину: "А у тебя?" Мосин тоже сказал, что нет. Еще сказал: "Откуда? Я их сам не делаю". И Сенцов тоже сказал, что нет. А у меня почему-то не спросили. Я поэтому все и думал, что они между собой знакомые, а со мной и не разговаривают, потому что не знают. Вдруг этот, большой самый, Сенцову говорит: "А ну, расстегнись, покажи". И Мосину с Голованом:

"Врете, наверно. Покажите карманы!"

Митя поморщился и пожал плечами.

— Я смотрю, наши ребята куртки расстегнули. А Лысый меня за куртку взял: "Ты, что ли, глухой? Расстегивай!" Я вырвался и говорю: "Ты какое имеешь право меня обыскивать?" Лысый сразу будто удивился, такое лицо сделал глупое. Ну, притворяется, конечно. И говорит главному: "Саня, он трепыхается". Только он сказал не "Саня". Имя какое-то непонятное: Ксаня или Ксыня.

— Гусыня! — вмешался Генка. — Длинная дубина, нос картошкой, и волосы на глаза лезут. Да?

— Да... Только этот Гусыня на меня не посмотрел. Он у ребят ремни увидел. Обрадовался: "Раз денежек нет, возьмем за это ваши ремешочки. Давайте-ка снимайте".

— Они сняли? — спросил Серёжа и покраснел так, словно сам отдал ремень.

— Они не сняли. Те сами сняли с них.

— И они отдали? Не сопротивлялись? — тихо спросил Олег.

Митя покачал головой и опять отвернулся.

— Не сопротивлялись. Только Мосин сказал: "Чё хватаешь, не твой ведь". Его один раз хлопнули по носу ладошкой и... ну и все.

— А ты? — спросил Олег.

— Гусыня потом на меня посмотрел и спросил у Лысого: "Этот самый трепыхается?" И говорит: "Воспитайте". Лысый и еще один в меня вцепились, начали куртку расстегивать. Я стал вырываться… Но я за ремень не боялся. Он у меня в петлях туго сидит, не вытащить. Я боялся, что значок сорвут. — И Митя посмотрел на свой чемпионский жетон, приколотый к форменной рубашке.

— А диплом где? — спросил Олег.

— Диплом я в руках держал. Они сразу выбили и затоптали. Там грязно у ящиков.

Олег сидел, положив руки на колени. Прямо сидел и спокойно. Только суставы пальцев напряглись и побелели.

— Дальше, — сказал он.

— А дальше Гусыня оглянулся и говорит: "Ладно, некогда нам. Пусть чешут отсюда. А ну бегите! И не оглядывайтесь!" Те побежали, а я вырвался и пошел… Вот тогда Лысый и увязался.

Наташа до сих пор молчала. Вертела в руках Митину куртку. Наконец спросила:

— Олег Петрович, здесь иголка и нитки есть? Зашить надо.

Олег словно очнулся:

— Что?.. Да, есть, конечно. В аптечке посмотри.

Наташа принесла иглу и нитки, отошла с курткой к окну, ближе к свету, и оттуда вдруг спросила:

— Их ведь четверо было? И вас тоже. И они даже не больше вас. Как же так? Без драки…

— Я не знаю. Наши какие-то замороженные сделались. Будто кролики перед удавом… — И Митя вдруг заплакал.

Олег быстро встал и взял его за плечи.

— Да что ты, Митька! Ты ведь не был кроликом. Ты сделал все, как надо.

— Обидно, — прошептал Митя. — Даже никто не подумал, что можно драться.

— Но ведь ты-то дрался, — сказал Олег. И улыбнулся: — Признайся: первый раз в жизни, да?

Митя тоже улыбнулся разбитыми губами.

— Нет. Наверно, второй. Я еще в детском саду дрался с одним мальчиком из-за педальной машины. Но мы тогда подрались и помирились. А с этими… Это же враги…

"Враги? — подумал Серёжа. — Значит, враги".

Сам он с такими компаниями как-то не сталкивался. В том дворе, где он вырос, ребята были как ребята. Всякие. Сашка Кривицын и Мишка Маслюк иногда курили за сараем. Бывало, что все резались в "чику". В соседний сад лазили за

яблочками. Но никому в голову не пришло бы напасть на кого-то, избить, отобрать что-нибудь...

Видел, конечно, Серёжа и других. Тех, кто мелкими стайками вьется у гастронома и кино, с сигаретами, опасливо спрятанными в рукав. Постриженных не то чтобы "под битлов", а вроде. В резиновых сапогах с отогнутыми до пят голенищами, будто нет у них нормальной обуви. С ухмылками, то увертливыми, то наглыми. С припухшими от курева глазами.

Один такой, Санька Копылов, учился в Серёжином классе. Учился так, с двоечки на троечку. Зевал на уроках, уныло грубил учителям и на все вопросы отвечал одинаково: "А чо я сделал?" Разговаривать с ним было неинтересно, он даже "Тома Сойера" не читал, а любимый герой его, судя по всему, был волк из мультфильма "Ну, погоди!". После уроков этот парень спешил к каким-то дружкам. Ходили слухи, что дружки эти могут кого хочешь подкараулить и отлупить. Серёжа не верил.

Отец не терпел хулиганов. Он говорил: "Это же трусы. Они храбрые с теми, кто перед ними трясется. А как только получают по морде, сразу теряют все нахальство". И Серёжа верил ему.

Но сам он ни разу не встречался с ними лицом

к лицу. И, по правде говоря, не думал о них как о врагах.

Но вот пришёл Митька, и лицо у него в крови. Митька, который никого не трогал и дрался только один раз в детском саду, да и то неизвестно, первый ли начал. За что они его, гады!

Ну ладно, они — это они. Но наши…

Разве так бывает? Только что держали рапиры, был бой, и казалось, что хоть тысяча врагов налетай, никто не страшен! Женька Голованов… Большой такой, сильный, наверно. Где его сила и смелость? Ленька Мосин. Как он подошел тогда: "Не люблю, если кто-нибудь на меня обижается…" Что же он, обидеть боялся этих типов? Трус он, вот и все! И Сенцов… Новенький, еще кандидат, но ведь тоже рапиру держал. И перед знаменем стоял на линейке.

Ну есть же, черт возьми, такие слова: "Взяв оружие в руки, обещаю, что ни трусостью, ни подлостью, ни изменой не запятнаю свой клинок…" Даром, что ли, это обещание дают те, кто вступает в "Эспаду"?

И Олег, видимо, думал, о том же.

— Финалисты… — сказал он с едкой досадой. — Цвет и надежда клуба… Красивые слова говорим, песни поем о гордости и чести, а перед первой же

встречной шпаной готовы… Тьфу!.. Ну вот что: в шесть — совет.

Он повернулся к Мите:

— Извини уж, придется отложить наш праздник. Ты приди к шести. И вы, ребята, придите. Договорились?

— Мы же не члены клуба, — сказал Генка.

— Ничего. Вы как свидетели приходите. Ты ведь, кстати, знаешь этого Лысого.

— И Гусыню, — сердито сказал Кузнечик.

На улице заспорили. Митя доказывал, что не надо его провожать, ничего больше с ним не случится. А Серёжа утверждал, что надо — на всякий случай. Генка слушал, слушал и сказал Мите:

— Ну а если нам хочется? Жалко тебе разве?

И Митя сразу согласился.

Потом Серёжа с Генкой проводили Наташу. Тоже на всякий случай.

Когда шли к Серёжиному дому, Кузнечик сказал:

— А я сначала думал, что она твоя сестра.

— Наташка? Да что ты! — Я — Каховский, а она — Лесникова. Ты вообще… как с луны упал. Пять лет в соседних классах учились, а ты будто сегодня первый раз увидел ее.

— Ну и что? Я, может, до сегодняшнего дня на

девчонок вообще не смотрел… А у брата и сестры иногда бывают разные фамилии.

— Наташка и в самом деле как сестра, — объяснил Серёжа. — Мы всю жизнь вместе росли, в одной квартире. Только в разных детских садах были, и как-то получилось, что в разные классы нас записали. Зато дома все время вместе. Даже игрушки были общие.

Генка вздохнул:

— Тогда понятно, что ты ничего не замечаешь.

— Чего не замечаю?

— Какая она красивая, — отважно сказал Кузнечик.

— Да ну тебя! — отмахнулся Серёжа. — Ну, пусть красивая… Тут выть хочется, а ты чепуху говоришь. Такой день был сначала хороший, и вдруг все кувырком!

— Он и сейчас хороший, — возразил Генка. — Не может он плохим сделаться из-за того, что нашлись три труса.

— Целых три! Сразу! Как будто самое обычное дело.

— Зато Митька молодец, — сказал Генка

Это была правда. И этой правдой Серёжа слегка утешился.

Совет собрался ровно в шесть. К точности при-

выкли и ею гордились.

Мосин, Голованов и Сенцов сидели в уголке кают-компании. Молчаливые, с опаской в глазах. Они не сняли курток.

— Почему не в форме? — спросил капитан первой группы Владик Самойлов. — На совет пришли, а не на рынок.

Из-за совета у Самойлова пропал билет в кино, и он был настроен угрюмо.

— Не трогай их, — попросил Олег. — Формы у них нет. По крайней мере, полной… Все собрались?

Это был не просто вопрос. Это было начало совета.

— Командир барабанщиков здесь! — озорно выкрикнул самый младший — Данилка.

— Капитан первой здесь, — буркнул Владик Самойлов.

— Капитан второй группы здесь!

— Капитан третьей здесь!

— И четвертой тоже, — весело известил Алешка Смирняков.

— Капитан знаменной группы здесь, — сообщил Володя Огоньков. — Это, значит, я. А капитаном пятой будет, значит, он. Группа уже решила.

И Володя указал на Серёжу.

— А почему посторонние? — ревниво спросил Данилка, глядя на Кузнечика и Наташу.

— Это не посторонние, а мои друзья, — сказал Серёжа. — По делу пришли, а не к тебе, Даниле, в гости.

— У всех друзья. Ну и что? — придрался Данилка. — А ты и сам еще не член совета. Мы еще за тебя не голосовали.

— Данила! — сказал Олег. — Вот я терплю, терплю, а потом возьму и выдеру!

— Когда? — жизнерадостно поинтересовался Данилка.

— Боюсь, что скоро.

— Не-а…

Сели у круглого скрипучего стола.

Олег спросил, не возражает ли кто-нибудь против нового члена совета — Сергея Каховского. Никто не возражал. Серёжа украдкой показал Данилке язык.

Беда, случившаяся днем, словно отодвинулась. Все было просто и спокойно. Даже Митя, сидевший рядом с Данилкой, слегка улыбался.

Но вот поднялся Олег. Уперся ладонями в стол, и тот заскрипел, застонал.

— Внеочередной совет, — сказал Олег. — Я по-

нимаю: воскресенье, всем хочется отдохнуть. У Самойлова билет полетел. А что делать? Случилось такое, что ни ждать, ни молчать нельзя… Вот Кольцов мог бы лучше меня рассказать, но ему трудно: губа разбита. Они шли вчетвером: Кольцов, Голованов, Мосин, и Сенцов. Их остановили четыре хулигана. Не старше этих. Но нахальнее, это точно. Потребовали деньги, обыскали. Потом велели отдать ремни. Трое отдали: Голованов, Мосин, Сенцов.

Он повернулся к тем троим, сидевшим в углу.

— Это так?

Они медленно поднялись.

— Так? — повторил Олег.

Они молчали.

Серёже неловко было на них смотреть. Он стал смотреть на ребят за столом. Данилка тревожным шепотом допытывался у Мити:

— Почему ничего не сказал? Ну почему? Это хорошо, да?

Олег очень сдержанно спросил еще раз:

— Это так было?

Голованов хрипло сказал:

— Так…

— Вообще-то не совсем так, — вежливо сказал Сенцов. — Мы не отдавали ремни. Они их взяли

сами.

Серёжа пересилил себя и посмотрел на него. Сенцов был аккуратный, причесанный, спокойный.

— Они взяли, — повторил Олег. — А вы стояли опустив руки. Так?

— А что было делать? — спросил Сенцов. — Приятно, думаете, по морде получать? Из-за ремня, который стоит рубль пятьдесят в военторге. Если посчитать, то невыгодно.

— Рубль пятьдесят?! — крикнул Алешка Смирняков. — А сколько твоя совесть стоит?

— Я совесть не отдавал. Только ремень, — объяснил Сенцов.

— Гнать, — спокойно сказал капитан второй группы Гена Корнеев.

А его друг, маленький курчавый Валерка Давыдов, тоже спокойно подтвердил:

— Гнать. Чего тут разговаривать! Если бы даже простые ремни были, все равно гнать за трусость. А ремни форменные. Значит, они еще и форму опозорили.

Олег обратился к Голованову:

— Ты тоже так думаешь: рубль пятьдесят — и все? Ты ведь на пряжках у этих ремней сам шпаги выцарапывал…

— Я и на других сделаю, долго, что ли? — огрызнулся Женька.

— Лишь бы в морду не получить? — насмешливо спросил Смирняков. — Я тоже за то, чтобы выгнать. Только у меня еще вопрос: почему они думают, что обязательно заработали бы по морде? Там же их четверо на четверо было.

Женька Голованов сердито хмыкнул:

— Четверо… От Кольцова какой толк?

И тут вмешалась Наташа:

— Как это какой толк? Ведь он-то как раз и дрался!

Женька опять хмыкнул:

— Дрался… Он драться-то совсем не может.

— А ты можешь? — тихо сказал Митя.

— Когда надо, могу…

И тогда взлетел яростный голос Данилки:

— А ты, скотина, думаешь, что сегодня было не надо?!

— Тише, Вострецов, — сказал Олег. И повернулся к Мосину: — А ты, Леонид, что скажешь?

Он хмуро ответил:

— Чё я скажу? Ничего.

— От тебя я трусости никак не ожидал, — горько сказал Олег.

— А я их и не боюсь, этих-то…

За столом засмеялись.

Мосин кинул сердитый взгляд.

— Ну чё… Смеяться легко. А на них если будешь выступать, соберут шару, подкараулят потом десять на одного…

— Что соберут? — не понял Олег.

— Шару… Ну, компанию, значит.

Неожиданно вмешался Генка:

— Я этого Лысого лупил, лупил… Никто не собирает, никто меня не трогает.

Мосин усмехнулся одной стороной рта.

— Тебя — конечно. У тебя брат — боксер да самбист, все знают.

— Я за брата не прячусь, — сказал Генка.

— Ну, не за брата, так вон за его волкодава. — Ленька подбородком показал на Серёжу. — Про его пса тоже все знают. С ним свяжись…

Наташа шепнула Серёже:

— Какой у тебя Нок знаменитый!

Серёжа не ответил.

Он вдруг представил себя на месте Мосина. Или Голованова, или Сенцова. Будто он сам стоит перед советом и должен отвечать за свою трусость. Отвечать хрипло и мучительно, давясь от стыда.

Хотя Сенцову как будто и не стыдно даже. Он думает, наверно, что сделал все как надо.

Но Сергей-то не смог бы так думать!

А смог бы он, Серёжка, оказаться на их месте? Вдруг тоже смог бы? Он ведь никогда в жизни еще не стоял перед такими врагами, как Гусыня и его компания. Правда, на станции Роса его тоже схватили четверо, но там было другое. Они все равно не посмели бы его избить, только дурак Пудра махался крапивой. Гусыня, конечно, страшнее.

Но тогда Серёжа представил себе другое: как он под угрожающими взглядами хулиганов стоит, опустив руки, а они стягивают с него ремень. Лишь бы не били?..

Да нет, не могло быть такого. Даже если бы он оказался один против шайки. А ведь этих было четверо против четверых!

Да и что там говорить! Ведь самый маленький, Митька, выстоял!

Да, но самый большой, Голованов, струсил. Значит, не в росте и не в силе дело? Но тогда, значит, и он, Серёжка, мог бы струсить, хоть он и больше Кольцова?..

Эти мысли так закрутили ему голову, что он прослушал почти все слова Олега. Только самый конец услышал:

— …Конечно, четыре месяца не четыре года, но и за этот срок можно было чему-то научиться.

Научиться понимать, что такое товарищи по оружию, что такое честь, гордость за флаг, смелость… Черт возьми, да разве этому учатся специально? Всякий нормальный человек знает это всегда!.. Ну скажите, неужели вы до сих пор не понимаете, что поступили по-свински?

Наступила недолгая тишина, потом Голованов сумрачно сказал:

— Понимаем…

— Понимаем, — глядя в сторону, повторил Мосин.

— А ты, Сенцов?

Сенцов шевельнул бровями и неохотно произнес:

— Возможно…

— Возможно? — переспросил Олег. — Хорошо. У меня предложение совету. Не надо их отчислять. До среды, до линейки. Пусть вернут себе ремни. Как угодно! Слышите вы? Как угодно! Идите к этим гусыням домой или караульте на улице, требуйте или деритесь, дело ваше. Не хотите драться, идите к директору школы, пусть школа берет их за шиворот. Не из вашей школы? Идите в их школу. Или в милицию… Мне, конечно, ничего не стоит пойти сейчас к этим типам, взять их за жабры, вернуть ремни. Ничего не стоит сделать

так, чтобы завтра они сами притащили ремни в клуб и просили прощенья. Но не мое это дело и не дело совета. Вы отдали ремни, вы должны их вернуть. У вас три дня. Придете в среду на линейку в ремнях, будем считать, что делу конец. Но не советую являться без ремней. Ясно? Совет согласен? Все. Можете идти.

На линейку они пришли с ремнями.

До сигнала оставалось три минуты. Кузнечик пришёл с Серёжей. Сам попросился. Серёжа спросил у Олега:

— Можно, он посмотрит линейку?

— Угу, — рассеянно отозвался Олег. Он был озабочен.

Барабанщики, блестя аксельбантами, уже выстроились вдоль окон. Палочки, как кинжалы, торчали у них за белыми ремнями. Данилка был серьезен и строг.

Сейчас переливчато проиграет горнист, и барабанщики ударят сигнал "марш-атака": р-рах, р-рах, р-рах-рах-рах! Под этот сигнал вдоль разрисованных стен маленького спортзала встанут шеренги "Эспады". Потом дежурный барабанщик прошагает к двери, развернется и поведет за собой на правый фланг знаменную группу: знаменосца и двух ассистентов.

Капитан знаменной группы Володя Огоньков проверял, не помялись ли на ребятах красные с золотой каймой ленты, почищены ли ассистентские клинки. Олег подошел к Огонькову и что-то тихо сказал. Потом подозвал дежурного командира линейки Алешу Смирнякова.

Через полминуты Смирняков отдал команду:

— Построение по группам! Без знамени! Знаменосцы, горнист и барабанщики — в общий строй!

Сразу же стих шум, а потом ребята загудели негромко и удивленно: такого еще не бывало.

Группы встали вдоль стен буквой "П". Только Генка Кузнечик устроился в глубоком проеме окна.

Олег вышел на середину. Опять стало тихо.

— Первая группа готова, — сказал Владик Самойлов.

— Вторая готова!

— Третья…

Олег махнул рукой:

— Не надо… Голованов, Мосин, Сенцов, выйдите из строя.

Они сделали шаг вперед. И сразу опустили головы. При ярком свете ламп желтым огнем горели новые пряжки их ремней.

— Где взяли ремни? — спросил Олег.

Они молчали.

Серёжа увидел, как у Олега потемнело лицо, острыми стали широкие скулы и презрительно сощурились глаза. Казалось, что Олег крикнет сейчас что-то беспощадное. Но он сунул кулаки в карманы брюк и пошевелил плечами, словно стала тесной серая форменная рубашка. Потом повторил устало и медленно:

— Скажите все-таки, где вы взяли ремни?

Мосин тихо сказал:

— В военторге.

— По рубль пятьдесят, — сказал Олег. — Понятно. Хотели обмануть?

— Не хотели мы… — пробормотал Голованов.

Сенцов поднял голову и, глядя поверх строя, сказал:

— Мы не собирались обманывать. Просто купили. Не все ли равно, какие у нас ремни?

В строю зашумели.

— Историю с ремнями знают все? — спросил Олег.

Зашумели сильнее. Знали все.

— Давайте сядем, — вдруг предложил Олег. — Не до линейки сейчас. Усаживайтесь кто где может.

Строй рассыпался. Сели на длинную скамью у стены, на подоконники. Кое-кто прямо на пол.

Голованов, Мосин и Сенцов не садились. Только отошли к стене. Олег прислонился к простенку между окнами. Оглядел ребят. Опять стало тихо.

— Значит, вам все равно, какие ремни? Так, Сенцов? — спросил Олег. — Ну, допустим. А если Гусынина компания у вас и эти ремни потребует? Опять будете новые покупать?

Голованов сердито сказал:

— Не потребуют они, им больше не надо. Они сами говорили.

— Какое великодушие! — раздался звонкий издевательский голос. Это Генка крикнул с подоконника. — Вы им спасибо сказали?

По залу пробежал смешок.

Олег спросил:

— Вы пытались вернуть свои ремни?

Они молчали.

Тихо, но уже четко и с напряжением Олег повторил:

— Вы хоть что-нибудь сделали, чтобы вернуть свои ремни?

И они опять молчали, глядя в пол.

— Олег, да пусть идут, — в резкой тишине вдруг сказал Андрюшка Гарц. — Все равно только му-

чаются стоят.

Он, всегда готовый помочь кому угодно, решил, наверно, выручить и этих. Последний раз.

— Идите, — негромко сказал Олег. — Решение совета вы знаете… Одно мы можем для вас сделать: не снимать нашивки перед строем. В кают-компании есть ножницы. Срежьте нашивки и оставьте их на столе. А потом… можете быть свободны.

Они стояли неподвижно, и стало совсем тихо.

— Идите, — повторил Олег.

Мосин заплакал. Сенцов повернулся и, глядя поверх голов, пошел к двери. Голованов и Мосин пошли за ним. Барабанщики на полу у дверей раздвинулись, давая им дорогу.

— Все… — проговорил Олег. — Знаете что, ребята? Давайте не будем сегодня проводить линейку. Тошно что-то…

Группы разошлись. Только Серёжа и Кузнечик остались. Всегда Серёже нравилось оставаться в опустевшем клубе, не спеша заканчивать какие-нибудь дела, разговаривать с Олегом о прошедшем дне.

Но сегодня все было не так. Тишина в комнате была тяжелая, как память о недавнем случае.

Серёжа сказал Олегу:

— Все-таки зря не стали проводить линейку.

— Да, наверно, — согласился Олег. — Но понимаешь… я не могу. Это было бы как пляска на похоронах.

— А эти трое ушли и ничего не сказали, — печально произнес Генка.

Олег пожал плечами.

— Что они могли сказать? Попросить, чтобы не исключали? Тогда пришлось бы отвоевывать ремни. А они не могут, боятся. Понимаете, и сейчас боятся.

— Сенцов, по-моему, не так уж боится, — возразил Кузнечик. — Он просто думает, что невыгодно драться. Личико могут попортить.

— Это ж все равно из-за страха, — сказал Олег. — Гиблое дело такой страх. Тряпку делает из человека. И самое скверное, что не только эти трое боятся. Я сейчас за ребятами наблюдал. Кое-кто на них с сочувствием глядел… Ну нет, не с сочувствием, а с пониманием, что ли. Потому что знают про себя: тоже струсили бы.

— Да нет же, Олег! — почти с отчаянием заспорил Серёжа. — Таких больше нету!

— Есть, Серёженька, — грустно сказал Олег.

Он сел на диван и откинулся к спинке.

— Трудно, братцы… Хочется, чтобы все ребята

были во! — Олег сжал пальцы. — Как один кулак. Один коллектив. Чтобы каждый за всех болел… В Артеке мы за месяц такие отряды делали, что до сих пор, как вспомнишь, петь хочется. А здесь что… Клуб, а не отряд. Разные школы. Разные смены. Разные группы. Каждая группа сама по себе живет…

Серёжа сел рядом.

— Олег, — осторожно сказал он, — ну давайте делать отряд. Разве так уж страшно, что разные школы и смены?

Олег задумчиво посмотрел на Серёжу. Потом на Кузнечика, который сидел на подоконнике и рассеянно вертел рапиру. Вертел, а глядел не на нее, а на Олега.

Глаза у Олега повеселели.

— Хорошо, капитан Каховский, — сказал он. — Постараемся. Не все же только Артек вспоминать.

— А почему ты уехал из Артека? — спросил Серёжа. И сразу испугался: вдруг там случилось что-нибудь такое, о чем Олегу плохо вспоминать!

Но Олег ответил охотно:

— Трудно… Я не про работу. Трудно все время расставаться. Месяц или два пройдет — и нет

твоего отряда, разъехались пацаны. И главное, что знаешь: это навсегда. Несколько дней ходишь и света не видишь. Кажется, что никогда таких ребят уже не будет. В новой смене все какие-то чужие. И будто в тысячу раз хуже тех… А потом все снова… Ну, это едва ли можно понять, если сам не испытал.

— Нет, я могу, — серьезно сказал Серёжа. — Мне про это говорил уже один вожатый. Капитан катера "Азимут".

— Вот даже эти трое, — продолжал Олег. — Ушли, а на душе кошки скребут. Вспомнишь, как с Мосиным с плотов ныряли…

— Я помню, — согласился Серёжа. — Но я не понимаю… Ну почему они так?! Даже ни капельки не сопротивлялись. Ну, если бы одного четверо прижали, тогда еще понятно. Да и то…

— Да и то, — сказал Олег. И резко встал. — В конце концов, они же фехтовальщики. Там у ящиков рейки и палки валяются. Фехтовальщик с палкой в руке может целую шайку разогнать. Одному по зубам, другому по колену, третьему по руке! Может, зря я вам это не показывал.

— Что?

— А вот что…

Олег снял с полки пачку свечей, которые зажи-

гали иногда по вечерам на клубных "огоньках", чтобы рассказывать при мерцающем свете таинственные истории.

— Зажгите семь штук, — попросил Олег. — И поставьте в разных местах, где хотите. Только не вплотную к стенам.

Через минуту свечи горели на подоконнике, на полке, на столе, стульях и диване.

Олег взял у Кузнечика рапиру и дал Серёже секундомер.

— Отойдите к двери. Теперь слушай, Сергей. Нажмешь кнопку и скажешь: "Марш!" Потом я крикну: "Все!" — и ты останови секундомер.

— Ясно, — сказал Серёжа, хотя было не очень ясно… — Можно?

— Давай.

— Марш!

Короткий свистящий смерч прошел по комнате. Серёжа услышал команду "Всё!" и машинально нажал кнопку.

Четыре свечи стояли на местах, но погасли. Срезанные фитильки лежали, догорая, на столе и на полу. Один горел на кончике рапиры. Две свечи лежали, перебитые пополам. Одной не было совсем. Олег, недовольно пыхтя, полез под диван и выкатил ее оттуда.

— Сколько? — спросил он у Серёжи.

— Одна и восемь десятых.

— Так себе, — сказал Олег. — Не точно и не очень быстро. Но все-таки.

— Ничего себе "не очень быстро"! — искренне удивился Серёжа. — Как вихрь! Научишь?

Олег улыбнулся.

— Если будешь хорошо себя вести.

Подошел Кузнечик:

— Олег Петрович... А если я не уйду из хоккея, можно мне все равно к вам? Я смогу.

— Надумал? — обрадовался Олег. — Вот хорошо.

Потом он спросил у Серёжи:

— А Наташа?

Серёжа удивился:

— Наташа? Она и не собиралась. Да и как она здесь будет, одна девчонка на весь клуб?

— Она была бы просто первая. Пришли бы за ней и другие.

— Не знаю, — сказал Серёжа. — Вот если бы у нас были малыши... Она любит с маленькими возиться. С трех лет в учительницу играет.

Кузнечик со вздохом сказал:

— Жаль, что я уже не малыш.

И впервые за вечер все рассмеялись.

## 7

Приближался праздник Октября и осенние каникулы. В младших классах уже шли утренники и сборы. Все готовились к торжественной линейке. В пятницу школа расцвела, как летом. Это октябрята пришли в своей праздничной форме: светло-коричневой, зеленой, голубой и даже оранжевой. В серой толпе старшеклассников будто взорвались гроздья веселого салюта.

Больше всего октябрят было в голубом. Коридор на втором этаже каждую перемену словно заливала морская волна. После звонка голубые с белыми проблесками потоки выхлестывали из классов и шумным прибоем докатывались до дверей шестого "А".

Кончился четвертый урок — география. Татьяна Михайловна отпустила ребят пораньше, и звонок грянул, когда Серёжа был уже в коридоре. Первой распахнулась дверь третьего "Б". Очень загорелый, но светловолосый мальчишка выскочил из класса и помчался вдоль коридора. Набрав скорость, он проехал на подошвах по паркету, затормозил, нагнулся и стал подтягивать парадные белые гольфы.

В этот миг сзади налетела толпа одноклассников. Мальчишку сбили, и тут же на полу взгромоздилась куча мала. Радостно орущий голубой ком, из которого во все стороны торчали дрыгающиеся тощие ноги.

В конце коридора показался директор. Высокий, похожий на циркуль, он шагал широко и медленно. Резвая малышня притихла и почтительно расступалась. Только веселая куча самозабвенно вопила, не чуя опасности.

Директор подошел и остановился, возвышаясь над свалкой. Серёжа с любопытством ждал, что будет. Директор снял очки и почесал ими кончик носа. Потом близоруко взглянул на Серёжу. Глаза его без очков были непонятные.

— У меня к тебе большая просьба, — сказал он серьезно. — Постарайся, чтобы эти гвардейцы обошлись без синяков и вывихов.

Он чуть заметно усмехнулся, утвердил на носу очки и прошагал дальше.

— Хорошо, — сказал вслед ему Серёжа.

Он сдернул с чьей-то ноги мягкую спортивную тапочку и слегка хлопнул ею по чьей-то спине.

— Эй, вы, пираты! А ну кончайте!

Взъерошенный хозяин тапочки кормой вперед выбрался из схватки и дерзко уставился на

Серёжу:

— А ты кто? Дежурный?

— Хуже. Я уполномоченный директора, — сказал Серёжа.

Услышав о директоре, третьеклассники быстренько расцепились и стали подниматься с пола. Последним поднялся загорелый мальчишка. Он деловито одернул голубой жилетик, отряхнул белые рукава рубашки и весело сказал:

— Во психи! Чуть меня по паркету не размазали.

И поднял лицо.

— Димка! — изумленно сказал Серёжа.

— Ой… это ты, — медленно проговорил мальчишка, и его зеленые глаза стали лучистыми.

— Где ты пропадал? — спросил Серёжа. — Я думал, ты в другую школу перешел.

— Не-е-е… У мамы с папой отпуск был два месяца. Мы в Анапе жили, я там учился. Ух, там до сих пор лето!..

— Ты мое письмо получил тогда в лагере? — спросил Серёжа.

— Ага! А ты мое?

— Нет. Димка, а ты писал?

Он серьезно кивнул.

— Я писал. Я про все писал. Тебя там потом на

линейках ругали. Несколько раз. За то, что ушел из лагеря. А я наших ребят подговорил, и мы как закричим на линейке: "Неправда, неправда!" — Он улыбнулся и весело тряхнул разлохмаченной головой. — А нам за это все равно ничего не было!

— Спасибо, Димка, — задумчиво сказал Серёжа. — Обидно, что письмо не дошло…

— Ну ничего, — утешил Димка. — Вот…

Он полез в кармашек, что-то достал и сунул Серёже в ладонь, а ладонь закрыл. Оглядел столпившихся одноклассников и сказал:

— Все. Последний.

Потом объяснил:

— Я их десять штук привез из Анапы. Уже все раздарил, а они за мной гоняются и гоняются, выпрашивают… Ну, мы побежали, у нас репетиция сейчас.

Они ускакали. Серёжа, улыбаясь, разжал пальцы. На ладони лежал маленький синий краб из блестящей пластмассы. С красными капельками-глазами. С булавкой на обратной стороне, чтобы прикалывать к одежде. Славный такой крабий малыш.

Серёжа сразу понял, что с ним сделает. Он не будет его таскать на куртке. Он приклеит краба над

воротами своего пенопластового замка, который уже почти готов. Пусть хозяин замка называется Рыцарь Синего Краба. А что? Неплохо.

Здорово, что встретился хороший человек Димка!

Поднимаясь на третий этаж, Серёжа размышлял о Димке, о лагере. Вспомнил костры и песню про горниста. Про всадников. И вдруг подумал: почему ни разу не сказал про эту песню Кузнечику? Может быть, он ее знает? А если не знает, можно его научить. Ну, петь Серёжа толком не умеет, но слова-то он помнит и насвистеть мелодию сможет.

Генку ребята уговаривают выступить на вечере. У шестиклассников будет первый в жизни вечер, все готовятся. Генка пока отбрыкивается, но, наверно, согласится. Вот бы спел эту песню!

Серёжа вернулся в класс и узнал, что расписание "полетело кувырком". Из-за разных мероприятий уроков сегодня больше не будет. Ну и прекрасно!

— А где Кузнечик?

Оказалось, что Генка ушел к "вэшникам" — ребятам из шестого "В". Выступать на вечере он уже согласился, а теперь помогает готовить какой-то номер соседнему классу. В порядке обмена

опытом.

"Балда, нашел время влюбляться", — добродушно подумал Серёжа.

В шестом "В" училась Наташа.

То, что Наташа ему "нравится больше всех на свете", Кузнечик признался Серёже еще неделю назад, сразу и честно. При этом он краснел, кусал губу, но не опустил глаза.

— Ну... хорошо, — растерянно проговорил Серёжа. — Что же теперь делать... Я-то при чем?

— А ты... не обижаешься?

Серёжа великодушно улыбнулся:

— Да чего уж там...

Наташка была как сестра. А братья не обижаются на тех, кто влюбляется в сестер.

В самом хорошем настроении Серёжа пустился отыскивать классную комнату, где устроились "вэшники".

Но не всем было весело.

У дверей второго "А" стоял и плакал Стасик Грачёв.

Серёжка знал, что Стасик может плакать просто так, по пустякам. Или чтобы не попало. Или чтобы пожалели. Но так он плакал в окружении людей, громко, напоказ. А сейчас он был один в опустевшем коридоре. И Серёжу, который свер-

нул сюда от лестницы он не заметил. Стасик стоял, прижавшись плечом и головой к дверному косяку, молча вздрагивал и ронял крупные слезы. Он был совсем несчастный. И одет он был не в праздничную форму, а в обычный серый костюм.

Серёжа подошел.

— Ну что с тобой опять? Стаська!

Тот поднял мокрое лицо. Потом, не сказав ни слова, взял Серёжу за рукав и завел в класс. Указал на стену.

Там, против окон, блестели стеклами две витрины. Два небольших плоских шкафа, в которых выставляют спортивные трофеи, наглядные пособия, коллекции и книжные новинки. Эти витрины Серёжа и раньше видел в Стаськином классе. Там располагались разные коробочки, корзинки и пластилиновые фигурки, которые ребята мастерили на уроках труда.

Но сейчас все было убрано, а за стеклами стояли развернутые дневники. К левой витрине сверху была приколота полоса ватманской бумаги, и на ней красной тушью написаны слова:

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

Дневники за стеклами пестрели пятерками.

Но Стасик показывал на правую витрину. На

ней, на такой же бумажной ленте, были черные слова:

ОНИ НАС ТЯНУТ НАЗАД

Дневников там было всего четыре, не то что в левой.

— Ясно, — мрачно сказал Серёжа. — А который твой?

Стасик ткнул в левый верхний.

Страницы дневника были украшены тремя двойками и недельным "неудом" за поведение. Но прежде всего бросалась в глаза размашистая красная запись: "Из-за своей неорганизованности едва не сорвал выступление класса перед шефами!" Восклицательный знак был высотой со спичку. Стасик сел за парту, положил голову и заплакал уже в голос.

— Да уймись ты! — с досадой сказал Серёжа. — Ну плюнь ты на это дело. Пускай он здесь стоит, жалко, что ли?

Как ни странно, Стасик всхлипнул и почти перестал плакать. Поднял голову и с какой-то взрослой сумрачностью сказал:

— Хорошо говорить "пускай". Отец знаешь как налупит...

— Тебя?! — воскликнул Серёжа. И чуть не добавил: "Такого цыпленка!"

— Да. Ты не знаешь, — сказал Стасик и опять едва не разразился слезами.

Чтобы он не ревел, надо было с ним разговаривать.

— Ну за что налупит? Он же не знает.

— Узнает. Сегодня собрание для родителей. Это для них такую выставку сделали.

— А может, он не придет.

— Да, не придет! Он всегда ходит.

— И лупит? — с недоверием спросил Серёжа.

Стасик шумно шмыгнул носом.

— Ну, пойдем, — сказал Серёжа.

— Куда? — испугался Стасик.

— "Куда-куда"... Домой-то ты собираешься? Не ночевать же здесь.

Стасик вздохнул.

— Не пойду. Я ждать буду.

— Кого?

— Когда Неля Ивановна придет.

— А где она?

— А все уехали, и она тоже. На завод к шефам. Там наш класс на концерте выступает.

— А почему ты не поехал?

— Я же сорвал... — Он опять подозрительно завсхлипывал. — Чуть не сорвал. Мне стихи давали учить, а я сорвал.

— Не выучил?

— Да выучил! — с отчаянием сказал Стасик. — Только одет не по-праздничному.

— Из-за этого тебе и запись сделали?

— Ну да! — сказал он и опять заревел. Громко, ровно и безнадежно.

— Не гуди, — попросил Серёжа. — Я же так ничего не пойму. Зачем тебе Неля Ивановна? Попросить, чтобы дневник убрала?

— Ну-у-у...

— А ты ее раньше просил?

— Ага-а-а...

— А что она сказала?

Стасик перестал гудеть, отдышался немного и сообщил:

— Не хочет. Говорит, проси у всего класса, потому что они коллектив, а ты коллектив тащишь назад... А как у них просить? Они все не слушают, только орут. А Бычков говорит: "Ты, что ли, лучше других? У тех пусть стоят дневники, а у тебя убрать? Какой хитренький!" А у других уже давно решили поставить, а у меня только сегодня, из-за формы.

"Кому концерт, а кому слезы", — подумал Серёжа и взял Стасика за плечо.

— Пойдем разыщем Наташку. Что-нибудь при-

думаем.

Наташа и Кузнечик отыскались в пионерской комнате. Они разрисовывали гуашью объявление о вечере.

— Так я и знала. Снова несчастье? — сказала Наташа, едва увидев Стасика. — Что опять?

Серёжа рассказал. И шепотом спросил у Наташи:

— Он правду говорит, что отец дерется?

Она незаметно кивнула. Потом сказала:

— Гена, сходи умой его как следует, пожалуйста. Он вон какой зареванный.

Стасик уныло побрёл за Кузнечиком в туалет.

Наташа взяла щеки в ладони, словно у нее зубы болели, и печально посмотрела на Серёжу.

— Ты даже не представляешь. Он его за каждый пустяк ремнем бьет. Он такой… ну просто негодяй какой-то! Стаська домой приходить боится. И всегда при отце тихий, как мышонок. А тот все одно только повторяет: "Я сам как рос? С пятнадцати лет работать пошел! С пути не свихнулся, человеком стал. И из тебя человека сделаю!"

— Он кто? Дурак или пьяница? — спросил Серёжа. От злости и отвращения у него захолодело в груди.

— Да не пьяница он… Он ведь Стаську не сго-

ряча бьет, а наоборот... Ну, как будто по плану по какому-то. — Наташа поморщилась. — Не могу я про него говорить, у него глаза рыбьи... Ой, а Стаська всегда визжит так: "Папочка, папочка!" Наш папа один раз не выдержал... — Наташа слабо улыбнулась. — Не выдержал, вызвал этого Грачёва в коридор да как взял его за рубашку! Приподнял и к стенке прижал, висячего. И говорит: "Если еще раз ребенка тронешь..."

— Так и надо, — сказал Серёжа.

— Думаешь, очень помогло? — спросила Наташа. — Грачёв Стаське кричать запретил. Стаська теперь только мычит да ойкает, когда его лупят. Папа у нас по вечерам на работе, а меня и маму Грачёв не боится. Недавно опять Стаську так изукрасил, у него все ноги и плечи в полосах. Я видела, когда он утром умываться выбегал. Он, конечно, и парадную форму не надел, чтобы следы от ремня на ногах не увидели.

— Этого Грачёва... его же повесить мало! — сжимаясь от отвращения, тихо сказал Серёжа. — Если кто-нибудь котенка или голубя мучает, за это и то могут под суд отдать... Даже в газетах про это пишут. А тут...

Наташа что-то ответила, но он уже не слышал. Странное чувство он испытывал. Первый раз в

жизни. Какую-то смесь жгучей жалости и ярости. Но ярости не такой, когда хочется крушить, ломать, кидаться на врага очертя голову. Наоборот, голова сделалась ясная, и стало тихо и пусто вокруг.

…Никогда-никогда ни один взрослый человек не ударил Серёжу. И никогда Серёжа не знал, что такое страх перед возвращением домой. Всякое бывало: и двойки, и записи в дневнике, и порванные штаны, и утонувшие в реке ботинки, но дом всегда оставался добрым. Это был его дом — свой, надежный. И не могло там случится такого, чего надо бояться…

Но вот в комнатах, где он жил с отцом, с Маринкой, с тетей Галей, где когда-то ходила и пела мама, поселился этот хлипкий плешивый дядька с бесцветными глазами. Такой тихий и вежливый на вид. Он поселился там, и комнаты, где раньше дружно жили хорошие люди, стали местом страха и боли. Почему? Кто позволил? Откуда берутся эти люди вроде Грачёва?..

Вернулись Генка и Стасик.

Генка озабоченно взглянул на Серёжу.

— Что с тобой? Ты какой-то… натянутый.

— Думаю, — зло сказал Серёжа. — Про то, что зря дуэлей сейчас нет. Обидно: живет на свете

какой-нибудь скот и ничего с ним не сделаешь.

— На дуэлях иногда и скоты побеждали, — возразил Кузнечик.

— Не верю.

— А Дантес?

Их перебила Наташа. Сказала, что Стасику пора домой. Если он задержится, ему попадет не меньше, чем за дневник.

За окнами уже густели сумерки.

— Может, нам самим дождаться его Нелю Ивановну и поговорить с ней? — предложил Кузнечик.

— Да откуда вы взяли, что она сюда вернется? — спросила Наташа. — Наверняка она распустит ребят у завода, а сама уедет домой до собрания. Сейчас еще шести нет, а собрание в восемь… Да и не будет она никого слушать. Вы ее знаете?

Серёжа вспомнил Нелли Ивановну: молодую, с громким, раздраженным голосом, с желтым тюрбаном прически. Когда она шла по коридору, тюрбан колыхался, а каблучки стучали отчетливо, как дятел в утреннем лесу.

Стасик опять подозрительно притих и заморгал.

— Проводите его домой, — сказал Серёжа. — Я знаю, что делать.

— Не пойду я, — заупрямился Стасик.

Мучаясь от жалости и злости, Серёжа сказал как можно мягче:

— Ты иди. Я сделаю так, что все будет хорошо.

Стасик нерешительно моргал.

— Иди. Я тебе обещаю, — очень твердо сказал Серёжа.

— Ты что придумал? — шепотом спросил Генка.

Так же шепотом Серёжа ответил:

— Пока ничего. Главное, пусть он уйдет, иначе опять начнет реветь. Помоги Наташке его увести, а то он по дороге может ей концерт выдать. Потом вернетесь, и мы что-нибудь придумаем.

Серёжа правильно рассчитал: Генку не пришлось уговаривать идти с Наташей, это он всегда готов. И хорошо, что ушел. Не надо ему лезть в это дело. Завтра Кузнечику на вечере выступать, и неприятности ему ни к чему.

Серёжа знал, что идет на громкий скандал, но не колебался. В нем уже звенела "система отсчета": девять, восемь, семь…

Он вернулся в Стаськин класс. Пошатал дверцы витрин. Они были, конечно, заперты. Серёжа спустился на первый этаж и отыскал гардеробщицу тетю Лиду.

Тетя Лида владела богатейшей коллекцией ключей, про это знала вся школа. Когда терялись или портились ключи от классов, мастерских, от шкафов и ящиков, все сразу шли к тете Лиде. Иногда к ней прибегали несчастные люди, потерявшие ключ от квартиры.

— Тетя Лида, во втором классе шкаф заело, — сказал Серёжа. — Наверно, кто-то запер, а ключа нет.

Тетя Лида, притворно ворча, вытащила громадную звякающую связку.

— Какой шкаф-то?

— Давайте ключи, я сам подберу. И сразу принесу. Чего вам наверх ходить…

Нужный ключ нашелся быстро. Серёжа распахнул обе витрины. Из правой достал дневники с двойками. Потом "пятерочные" дневники равномерно расставил в обеих витринах. Стало редковато, но ничего. Серёжа отцепил бумажные ленты. Правую он отложил, а левую аккуратно, по сгибу, разорвал пополам. На одной половине осталось: "Мы ими", а на другой "гордимся". Эти половинки он опять приколол над витринами.

Дневники тех, кто "тянет назад" и ленту с черной надписью он положил в портфель. А куда их было девать?

После этого Серёжа запер дверцы и отнес ключи.

Больше в школе делать было нечего. Серёжа зашагал к Наташиному дому, чтобы встретить друзей.

Он повстречал их на углу Октябрьской и Пристанской. Генка и Наташа спешили назад, в школу.

— Ты куда? — удивился Кузнечик. — А дневник?

— Все в порядке. — Серёжа хлопнул по тугому портфелю.

Наташа удивилась:

— Она отдала?

— Я ее не видел. Поэтому не спрашивал.

Наташа опустила руки и широко открыла глаза.

— Ты сумасшедший, — сказала она печально. — Ты представляешь, какой крик поднимется?

— Приблизительно представляю, — сказал Серёжа.

— Мы скажем, что вместе это сделали, — решительно вмешался Кузнечик.

— Зачем? Не надо, — возразил Серёжа.

— Надо. Вдвоем легче отвечать.

— Да за что отвечать?! — вдруг разозлился Се-

рёжа. — За то, что пацаненка из беды выручили? А такие выставки устраивать, чтоб ребят лупили, это правильно?

— А ты думаешь, теперь его не тронут? — спросила Наташа. — Нелюшка увидит, что дневник пропал, еще больше разозлится. Такого отцу наговорит, что хуже будет.

— Не дневник, а дневники… И не наговорит она, — сказал Серёжа. — Я пока не могу понять, отчего это, но думаю, что не наговорит…

— А как тебе завтра влетит, понимаешь? — спросила Наташа.

— Ну… влетит. По крайней мере никто меня пальцем не тронет. Не то что Стаську.

## 8

На следующий день Серёжа пришёл в школу пораньше. У дверей учительской он дождался Татьяну Михайловну. Она сразу обеспокоилась:

— Ты меня ждешь, Серёжа? Что случилось?

— Я хочу вас попросить… Передайте, пожалуйста, вот эти дневники Нелли Ивановне, учительнице второго "А".

— Так… Значит, это ты?

— Я.

— Зачем ты это сделал?

Серёжа вздохнул и приготовился рассказывать.

Мимо них в учительскую прошагала завуч второй смены Елизавета Максимовна. Из-за двери донесся ее трубный голос:

— Татьяна Михайловна! Можно вас на пять минут?

Татьяна Михайловна досадливо оглянулась на дверь.

— Ты меня подожди, — попросила она. — Или нет, иди в класс. А на перемене все мне расскажешь. Хорошо?

Серёжа кивнул.

Но дожидаться перемены не пришлось.

Едва начался урок и Серёжа поднял руку, чтобы его вызвали, как в дверь заглянула тетя Лида.

— Кто тут Каховский? Ну вот, ты и есть… К директору.

— Иди, — с сожалением сказал Сергей Андреевич. — А я тебя спросить хотел. А то ведь троечка будет за четверть.

Как будто Серёжа сам напросился к директору.

Кузнечик рванулся было за Серёжей.

— А ты куда? — возмутился Сергей Андреевич.

— Я тоже должен…

— Если должен, позовут. Сиди.

Директор был новый, работал в этой школе первый год. Серёжа его не знал и никогда с ним не разговаривал, если не считать случая с Димкой. Директор преподавал у старшеклассников математику, и те прозвали его "А" в кубе". Имелась в виду буква "А" в третьей степени. Потому что имя, отчество и фамилия начинались у директора с буквы "А": Анатолий Афанасьевич Артемьев.

Что он за человек? Однажды Серёжа слышал, как десятиклассники говорили: "Во мужик! Все объясняет, как семечки щелкает!" Он-то объясняет. А ему самому что-нибудь можно будет объяснить?

Серёжа постучал в дверь директорского кабинета, услышал "войдите" и вошел.

Ну конечно! Желтый тюрбан Нелли Ивановны возвышался у директорского стола.

Татьяна Михайловна тоже была здесь.

"Сейчас начнется", — подумал Серёжа и почувствовал противную пустоту под сердцем.

Началось.

— Вот он! — произнесла Нелли Ивановна. Голос ее был твердо деревянный, как стук каблучков. — Полюбуйтесь, Анатолий Афанасьевич. Это и есть Каховский.

Директор несколько секунд смотрел на него молча. Он вертел в пальцах неочиненный карандаш и постукивал им по настольному стеклу. То одним концом, то другим.

Наконец сказал:

— Полюбовался. Проходи, Каховский, садись.

Он кивнул на свободный стул.

— Спасибо.

У Нелли Ивановны удивленно шевельнулись брови.

Татьяна Михайловна сидела подальше, у стены. Из-за плеча Нелли Ивановны она смотрела на Серёжу, как на маленького мальчика, разбившего банку с вареньем.

— Объясни нам, зачем ты устроил этот загадочный трюк с дневниками? — ровным голосом потребовал директор и положил карандаш.

— Из-за Грачёва, — сказал Серёжа.

— Вот-вот! Я так и знала! — взвилась Нелли Ивановна. — Он уже не первый раз выделывает такие фокусы из-за этого хулигана!

— А какой? — поинтересовался директор.

"Третий, — подумал Серёжа. — Первый раз — это с Мадам Жирафой. Второй — когда одноклассники лупили его у буфета, а мы с Наташкой их разогнали. Но про второй она не знает".

— В сентябре был такой возмутительный факт! — гневно продолжала Нелли Ивановна. — Я отправила этого Грачёва к вам, а он... — она ткнула острым ногтем в Серёжу, — он со своими дружками силой отбил его у дежурной...

Серёжа слегка разозлился и перестал бояться.

— Не силой, — возразил он. — Можно, Анатолий Афанасьевич, мне сказать?

— Ну?

— Это дежурная сама силой тащила Грачёва, а он так ревел, что все сбежались. Он от рева даже заикаться начал. Мы его потом к врачу отвели... Татьяна Михайловна, помните, я тогда еще опоздал?

— Да, действительно. — Татьяна Михайловна кивнула. — Я помню. Вообще-то Каховский никогда не опаздывает.

"Один — ноль" — подумал Серёжа. И стал ждать. В споре главное — не спешить. Пусть другой человек скажет все до конца. А потом надо отвечать — коротко и четко. Как защита клинком. Когда защита, а когда и контратака. А если возмущаться, перебивать, скажут, что грубишь, вот и все. И тогда, хоть лопни, не докажешь ничего.

Директор снял очки и так же, как карандашом,

стал постукивать по столу.

— А скажите, Нелли Ивановна, — спросил он, — зачем вы этого… Грачёва… направили ко мне с дежурной?

Глаза у Нелли Ивановны сделались круглыми и несчастными. Она поднесла к груди сжатые кулачки.

— Да потому что сил моих нет! Я с ним воюю второй год! Это не ученик! Это… какое-то чудовище! Он делает все, что вздумается! А тут находятся дружки, которые его покрывают.

— Какой он мне дружок, — снисходительно сказал Серёжа. — Он еще маленький.

— А ты помолчи! — отрезала она. — Будешь говорить, когда тебя спросят.

Возражать было нельзя. А промолчать — значит показать, что виноват. Серёжа секунду подумал и покладисто сказал:

— Хорошо.

Директор и Татьяна Михайловна переглянулись.

— Вернемся к нашему главному вопросу, — предложил Анатолий Афанасьевич. — Ты, Каховский, утверждаешь, что убрал дневники ради Грачёва? Зачем? Спасал его, так сказать, от позора и бесчестья?

— От битья, — сказал Серёжа, и все внутри у него натянулось. — Его отец излупил бы за эту выставку, как… ну, не знаю даже. Как зверь.

— Это неправда! — возмутилась Нелли Ивановна.

— Это правда! — со звоном сказал Серёжа. — Если не верите, спросите Наташу Лесникову. Они с Грачёвым в одной квартире живут. Отец его все время бьет!.. А потом все удивляются, почему он такой псих…

— Серёжа, Серёжа, — предупреждающим тоном сказала Татьяна Михайловна.

Нелли Ивановна слегка растерянно произнесла:

— Я этому не верю, Анатолий Афанасьевич. У Грачёва такой деликатный папа. Я, наоборот, хотела его в родительский комитет…

Чувствуя, как летят все тормоза, Серёжа наклонился на стуле и, глядя прямо в рассерженные очи Нелли Ивановны, отчетливо сказал:

— Этот деликатный папа недавно так отделал Стаську, что он в синяках от шеи до пяток. А вы пишете: сорвал выступление.

— Вы это знали, Нелли Ивановна? — спросил директор.

— Я ничего не знала! Я повторяю, что не верю

ни одному слову этого… этого…

— Серёжи Каховского, — сухо подсказала Татьяна Михайловна.

— Можно проверить, — сказал Серёжа. — Синяки не краска, за день не отмоются.

— А зачем ты убрал другие дневники? — спросил директор.

Он опять надел очки. Лицо у него было непонятное. То ли ему было все равно, то ли он сердился, но скрывал это. И если сердился, то на кого?

Серёжа не ответил на вопрос. Он сам точно объяснить не мог, зачем целиком опустошил "двоечную" витрину.

— Зачем же? — повторил директор.

— Как-то нехорошо было бы, — неуверенно сказал Серёжа. — У одного убрали, а у других стоят. А я ведь не знал, вдруг им тоже попадет…

— Вот как?.. — сказал директор. — А почему ты решил, что имеешь право вмешиваться в дела учительницы, изменять ее решение?

Серёжа даже удивился:

— Я и не думал, что имею право. Просто выхода не было.

— Не было? А разве ты не мог поговорить с Нелли Ивановной? Не мог объяснить ей?

— Нелли Ивановны в школе не было. Да и во-

обще...

— Что "да и вообще"?

Серёжа решительно сказал:

— Я думаю, она не стала бы меня слушать.

— Не "она", а Нелли Ивановна, — строго поправила Татьяна Михайловна.

Серёжа промолчал.

— Ладно, допустим, — сказал Анатолий Афанасьевич. — А про других учителей ты тоже так думаешь? Почему ты не посоветовался с Татьяной Михайловной? Мог бы и ко мне прийти. Ты решил, что и мы не будем тебя слушать?

— Нет... — растерянно откликнулся Серёжа.

— Так почему же? — с нажимом спросил Анатолий Афанасьевич.

— Я не догадался.

Директор откинулся на спинку стула и ладонями прихлопнул по столу.

— Вот видишь! Не догадался. И что же получается теперь? Ты хотел выглядеть борцом за справедливость, а стал нарушителем дисциплины. Причем грубым нарушителем.

Если он думал, что от этих слов Серёжа раскается и сникнет, то зря. Серёжа вскинул голову и посмотрел прямо в директорские очки.

— Я никак не хотел выглядеть! Я вообще про

это не думал. Я думал про Грачёва и больше ни про что… Ну можно, я сейчас спрошу?

— Ну давай, — сказал директор, и Серёже показалось, что за очками мелькнули веселые искры.

Серёжа хотел точно подобрать слова, но получилось сбивчиво:

— Вот если вы идете по улице… А там бьют вот такого, вроде Грачёва… Ну, маленького. Вы же все равно полезете заступаться, правда? Вы же не будете думать, как тут выглядишь? А вчера ведь так же было. Ну, почти так же…

Директор опять взял карандаш.

— Логично, — сказал он вполголоса.

Потом спросил у Серёжи:

— А чего ты добился своим поступком? Убрал дневники, ладно. Однако ты же не мог помешать Нелли Ивановне рассказать на родительском собрании о плохом поведении этих ребят. Нелли Ивановна, очевидно, так и поступила. — Он повернулся к ней: — Я прав?

Нелли Ивановна раздраженно ответила:

— Ничего я не стала говорить и собрание скомкала. Объявила итоги четверти, вот и все… Я просто не знала, что подумать! Четырех дневников нет, все переставлено, переделано… В конце концов, откуда я знала: может быть, это вы или

Елизавета Максимовна распорядились.

Она вдруг поняла, что сказала лишнее, и почти испуганно взглянула н Серёжу. И тут же рассердилась. И на себя за свой испуг, и опять на Серёжу.

— Ну что ж! Возможно выставка дневников — это была не лучшая выдумка. Но если все хулиганы из шестых классов будут лезть в учительские дела, как работать?

— Нелли Ивановна, — мягко сказала Татьяна Михайловна, — может быть, поступок Серёжи не следует называть хулиганством? Возможно, это горячность, ошибка, своеволие, но… Я учу его третий год и никогда не сказала бы, что Каховский хулиган.

— Нет, хулиган! — резко возразила Нелли Ивановна. — Если уж пошла об этом речь, я скажу. Бывают такие тихенькие до поры до времени, особенно в школе. А за стенами школы что они творят! Вы знаете, что выкинул Каховский летом? Со мной в институте учится Гортензия Павловна Кушкина, она старшая вожатая в девятнадцатой школе, а летом была вожатой в лагере "Смена". Она мне рассказала, как этот Каховский при всех, на линейке оскорбил начальника лагеря, а потом самовольно отправился домой. А когда за ним послали физрука, этот… "нехулиган" натравил на

него собаку!

Серёжа вцепился в сиденье стула. Он посчитал про себя до семи. Но полностью сдержаться не смог.

— Все очень похоже на правду, — сказал он тихо, но язвительно. — Все почти так и было. Только чуть-чуть не так.

— Нет, так! — Нелли Ивановна даже притопнула. — И я не понимаю, почему из лагеря не сообщили в школу.

— А я понимаю, — сказал Серёжа. — Стыдно было. Им пришлось бы объяснить, почему я ушел.

— А почему? Ну-ка, скажи!

— Не будем отвлекаться, — перебил их директор. — Насчет лагеря мне известно, это другой вопрос. А сейчас вот что. Я думаю, Каховский извинится перед Нелли Ивановной за свой поступок и отправится в класс. Он и так уже пропустил пол-урока.

— Я не извинюсь, — негромко, но решительно сказал Серёжа.

— Каховский! — воскликнула Татьяна Михайловна.

— Почему? — сухо спросил Анатолий Афанасьевич.

— Потому что извиняться надо, если виноват. А

если просто так, то зачем?

Директор поправил очки и спросил не сердито, а скорее с любопытством:

— Ты что же, считаешь, что ничуть не виноват?

— Может быть, виноват, — сказал Серёжа. — В том, что не догадался к вам пойти, чтобы сказать о дневниках… Но сейчас я извиняться не буду. Я не люблю, когда меня обзывают хулиганом и рассказывают про меня всякое… чего не было.

— Ты не любишь правду! — торжествующе заключила Нелли Ивановна. — Недаром ты и твои дружки в вашем клубе выгнали Сенцова. — Она повернулась к директору: — Это прекрасный ученик в седьмом "Б", вежливый, дисциплинированный. Его брат учится в моем классе. Я говорила с матерью, она места себе не находит от возмущения! Они выгнали его за то, что он отказался участвовать в уличной драке и честно сказал об этом.

— Его выгнали за трусость. И не я, а совет, — сказал Серёжа. — Они трое, такие здоровые, бросили в беде одного пятиклассника, самого слабого.

— Зато ты, я смотрю, ух какой смелый! Вроде тех смельчаков, которые гривенники у первоклассников отбирают по дороге в школу… И не

старайся, мне твои извиненья не нужны!

Серёжа сжал зубы.

Анатолий Афанасьевич взглянул на часы.

— Каховский, у вас какой сейчас урок?

— Физика.

— Как у тебя дела с физикой?

— Не очень. Надо сегодня тройку исправить.

— Ладно. Иди в класс.

Серёжа встал. "Выходит, все?"

— До свиданья, — сказал он.

Директор молча наклонил голову.

Серёжа пошел к двери.

— Анатолий Афанасьевич! Значит, вы ему больше ничего не скажете? — раздался за его спиной взвинченный голос Нелли Ивановны.

Серёжа остановился, думая, что его окликнут.

— Пока нет, — устало сказал директор. — Иди, Каховский, иди.

Серёжа закрыл за собой дверь. И тогда услышал, как там, в кабинете, неожиданно окрепшим голосом директор спросил:

— А что я должен ему сказать, уважаемая Нелли Ивановна?

На урок Серёжа сразу не попал. На лестнице его встретила Юля, старшая вожатая.

— Взгрели? — сочувственно спросила она.

"Все уже знают про эту историю", — подумал Серёжа. И сказал:

— Обошлось.

— Ну и хорошо. Слушай, Каховский, поддержи идею.

— Какую?

— Давай назначим тебя октябрятским вожатым к второклассникам.

— Юля, — с укором произнес он, — мне сейчас по физике отвечать, а ты страшные вещи говоришь.

— Да я серьезно!

— И я серьезно. Нельзя же так пугать человека.

— Серёженька, у тебя получится. Ты вон как за них заступаешься!

— Одно дело — заступаться, другое — командовать.

— Ну ты же командуешь в клубе "Эспада". Ты там, говорят, не то адмирал, не то капитан.

— Это же в "Эспаде". Там у меня в группе нормальные люди, а не малыши. Они сами знают, как что делать, даже и не надо командовать. А к маленьким подход нужен.

— Желание нужно, — грустно сказала Юля. — Никто из мальчишек не хочет работать. В совете дружины девчонки, в тимуровском штабе дев-

чонки… А мальчишки — кто в хоккейной секции пропадает, кто у вас в клубе, а про школьные дела и слышать не хотят.

— Ю-у-у-ля, — протянул Серёжа, — ты хороший человек, а говоришь… прямо не знаю что. Во-первых, у нас в "Эспаде" из нашей школы только несколько человек, все больше из сорок шестой и девятнадцатой. Даже обидно. Во-вторых, дружинную газету кто всегда делает? Воронины. В концерте сегодня у кого главный номер? У Кузнечика. То есть у Медведева. В барабанщики ты кого записала? Пашку Снегирева из четвертого класса. А где он барабанить научился? В "Эспаде" у Данилки Вострецова, есть у нас такой барабанщик. Жалко, ты его не знаешь, он в сорок шестой школе учится.

— Немножко знаю, — сказала Юля. — Это мой брат.

— Ух ты! — удивился Серёжа. — А я все не мог понять, на кого ты похожа. Знакомое что-то…

— Рыжие все похожи, — вздохнула Юля.

— Ты не рыжая, а золотистая. И Данилка тоже… Юль, позвони Данилке, пожалуйста, в клуб, он сейчас там. Пусть он мне свой белый ремень оставит. Я потом забегу, возьму. Мне для вечера надо.

— А пойдешь в вожатые?

— Ну, Юля…

— Не буду звонить.

— Слушай, Юля. Если тебе вожатый нужен, поговори с Наташкой Лесниковой. Она давно к малышам хочет, а все не решается.

— Она девочка. У меня и так все девчонки в активе.

— Она лучше всякого мальчишки, — сказал Серёжа. — Позвони Данилке, ладно? А то мне неудобно к телефону в учительской соваться. Ну, я побежал!

Когда Серёжа вошел в класс, все притихли и стали смотреть на него. Серёжа поймал встревоженный взгляд Кузнечика, улыбнулся и мигнул: "Все в порядке".

— Живой? — спросил Сергей Андреевич. — А мы уж тебя похоронили. Отвечать будешь? Ну, иди к доске, мятежная душа.

…Из школы Серёжа вернулся в шесть. А в половине седьмого позвонил Кузнечик:

— Серёжка, ты на вечер в форме идешь?

— Конечно!

— Я тоже хочу. А родители жмут. Говорят, зря, что ли, новый костюм покупали?

— Ну, не знаю… Я только в форме.

— Я тоже. Ну его, этот костюм, я в нем на жени-

ха похож. А ты парадный ремень достал?

— Ага. У Данилки. Только надо в клуб забежать.

— А мне Митька принес, ему барабанщики подарили.

— Волнуешься перед выступлением? — спросил Серёжа.

— Нет. Почему-то нисколько… Знаешь, я сегодня письмо получил от того парнишки, из Чили… Четвертого сентября отправлено, за неделю до мятежа.

— Вот это да… Долго оно шло.

— Знаешь, Серёжа, я даже боюсь. Я думаю: а вдруг его уже в живых нет? Он ведь сын коммуниста, а фашисты стреляют во всех без разбора: и в больших, и в пацанов.

— Может, в партизаны ушел с отцом, — сказал Серёжа.

— Может быть…

— А что пишет?

— Не знаю. Брата нет, а сам я не могу перевести. Коротенькое письмо. Несколько марок прислал и свою фотографию. Я думал, они там все черные, смуглые, а он совсем светлый. На Митьку немного похож. А имя такое длинное: Алехандро Альварес Риос…

Вечер состоял из двух отделений: концерт и танцы.

В ожидании концерта мальчишки и девчонки толклись в коридоре у дверей зала.

К Серёже и Наташе подошла Татьяна Михайловна.

— Как настроение? — поинтересовалась она.

— Бодрое, — сказала Наташа.

— Спасибо, — сказал Серёжа.

— Кстати, могу выдать небольшую тайну, — сообщила Татьяна Михайловна. — Ради праздника. Нелли Ивановна требовала для тебя, Серёжа, строгого выговора, но мы с Анатолием Афанасьевичем убедили ее, что не надо.

— И она согласилась? — с большим сомнением спросил Серёжа.

Ну… как видишь. Хотя поведение тебе, конечно, придется снизить. "Примерного" уже не будет, только "удовлетворительное".

Серёжа засмеялся.

Татьяна Михайловна удивилась:

— Разве я сказала что-нибудь смешное?

— Ну, Татьяна Михайловна, вспомните: когда у кого из нас было "примерное" поведение? Разве что у девчонок, да и то не у всех.

— Да… Народ вы очень уж беспокойный.

— Зато веселый, — заметила Наташа. — Иногда плакать надо, а мы смеемся.

— Ты о чем это, Лесникова?

— О Стасике Грачёве. Он такой счастливый сегодня. Отец не отлупил, вот он уже и скачет от радости.

Татьяне Михайловне, видимо, не хотелось говорить о грустных вещах, она изменила разговор. Поглядывая на левый Серёжин рукав с голубой нашивкой и золотым капитанским угольником, она спросила:

— Это у вас такая форма в клубе? Красиво. Только почему такое странное название?

— Это испанское слово, — объяснил Серёжа.

— Я понимаю. Но разве не нашлось русского?

— А что такого? Есть, например, студенческий строительный отряд "Гренада". Я с ним летом встречался. Тоже испанское название.

— "Гренада" — это другое дело, — возразила Татьяна Михайловна. — Про Гренаду песня есть.

— Про "Эспаду" тоже есть песня, — сказала Наташа.

Серёжа удивленно посмотрел на нее, но спрашивать не стал.

Они прошли в зал.

А через несколько минут на сцену вышел Куз-

нечик с гитарой. Шестиклассники зашумели, зааплодировали.

Павлик Великанов поправил перед Генкой микрофон.

Кузнечик, не дожидаясь тишины, ударил по струнам. И тишина пришла сама, сразу.

Не успел Серёжа научить Кузнечика песне про горниста и всадников. Генка пел ту, старую, про летчика.

Но сейчас в этой песне, кроме знакомых слов, Серёжа услышал новые:

*Прощаясь,*
*он шпагу, как надо,*
*Братишке сделать помог.*
*Испанское слово «эспада»*
*По-нашему значит «клинок»…*
*Пока рассветы багряны,*
*Пока покой не настал,*
*В ребячьих*
*клинках*
*деревянных*
*Пусть крепнет упругая сталь…*

## 9

После каникул стал падать замечательный пушистый снег, и за два дня пришла зима. Правда, потом наступила оттепель, но и это было здорово: снег набух, сделался липким. Каждую перемену в скверике перед школой реяли стаи тугих снежков. Снежки разбивались на стенах и дверях влажными серыми звездами.

Изредка звенели выбитые стекла.

С тех давних времен, как в школах вместо бычьих пузырей и слюды появились настоящие стекла, их время от времени разбивают. Иногда виновник признается сам и сразу. Иногда его просто не отыскать. А иногда известно, что виновник где-то рядом, но кто именно, угадать нельзя. Тогда на классном собрании начинается долгий и безнадежный разговор с призывами "найти мужество и признаться". Однако виноватый чаще всего считает это не мужеством, а глупостью и помалкивает. Помалкивает и класс, потому что с давних пор известно: выдавать товарища — свинство. Тогда остается один выход — взять класс измором.

Именно так и решила поступить Нелли Ива-

новна. Она заявила, что умрет на пороге класса, но не выпустит ни одного, пока не узнает, кто высадил стекло рядом с форточкой.

Класс молчал. Скорей всего, никто и в самом деле не знал виноватого. Стекло выбили снаружи, а снежки в ту перемену летали тучами, и попасть в открытую форточку старались не только второклассники.

Все это Нелли Ивановна слышала от ребят уже много раз. Но в ответ заявляла, что, поскольку стекло выбито, значит, виновник существует и должен понести наказание. Только трех заревевших девчонок она милостиво отпустила — они-то явно были ни при чем.

Остальные не ревели и не признавались. Класс сидел. Осенние сумерки за окном превратились в сплошную темноту. Снег растаял, и земля была черной, а небо — беспросветным.

В классе у Серёжи кончился шестой урок. Серёжа вышел в коридор и увидел Наташу.

— Просто безобразие, — сказала она. — Нелюшка ребят не отпускает. Стаська теперь ни за что один домой не пойдет, он же трусишка. А мне скорей домой надо, маме помогать. Скоро гости придут.

У дяди Игоря был сегодня день рождения. И

папа, и тетя Галя, и Маринка собирались в гости к Лесниковым. И Серёжа, конечно. Сразу после уроков. Только сначала он хотел забежать к Генке, который сидел дома с ангиной и даже петь не мог, бедняга.

— Ладно, Генке я позвоню, объясню, — сказал Серёжа. — Ты иди. Я Стаську дождусь, и мы пойдем. Не будет же она их до ночи держать.

— Надо бы мне зайти спросить, когда их отпустят, — нерешительно сказала Наташа. — Я ведь все-таки у них сейчас вожатая. Но бесполезно. Я с Нелюшкой за эти дни уже два раза поругалась.

— Ну и нечего третий раз ругаться. Иди домой.

Наташа ушла, а Серёжа устроился на подоконнике напротив второго "А". Вытащил из портфеля книгу "Архитектура средневековья". Книга была старая, тяжелая. Он сегодня увидел ее в шкафу, в кабинете истории, и под честное слово на два дня выпросил у доброй исторички Анны Валентиновны.

Серёжа разглядывал иллюстрации и все больше огорчался. По сравнению с прекрасными рыцарскими замками на книжных гравюрах его собственный пенопластовый макет казался примитивным и нелепым.

Проходил мимо директор. Серёжа вскочил с

подоконника.

— Что читаешь? — спросил Анатолий Афанасьевич и взял книгу. — Ого, серьезная вещь. Интересуешься или случайно?

— Интересуюсь. Немного.

— Молодец. А почему здесь сидишь в одиночестве?

— Жду, — сердито сказал Серёжа. — Все того же Грачёва. Учительница их не отпускает, а он сейчас один забоится домой идти.

В коридор доносился громкий голос Нелли Ивановны.

Директор осторожно приоткрыл дверь и шагнул в класс.

Через три минуты ребятишки, радуясь долгожданной свободе, вырвались из дверей. Стаська увидел Серёжу и заулыбался.

— Ну что, нашли преступника? — спросил Серёжа.

— Не-е… Сказали, что потом.

Серёжа и Стасик с ребятами вышли из школы. Пришлось делать крюк, чтобы хоть некоторых развести по домам. Сначала с ними шла большая компания, но один за другим второклассники уходили в подъезды и калитки. Наконец, кроме Стасика, остался только один мальчик. Это был

тот крупный кареглазый парнишка, который в сентябре сказал про Стасика, что он им не товарищ.

— Ты где живешь? — спросил Серёжа.

Ответил Стасик:

— Рядом с нашим домом, на углу. Он в большом доме живет.

— Вместе домой ходите?

— Вместе, — сказал мальчик. Его звали Валера.

— Ну вот, — усмехнулся Серёжа. — А говорил, что не товарищи.

— Мне сказали, чтобы я над Грачёвым шефство взял, — объяснил Валера.

— Кто сказал?

— Новая вожатая. Ее Наташа зовут.

Стасик свернул в Походный переулок. Валера за ним.

— Вы куда? — удивился Серёжа. — Вы разве здесь ходите? По Октябрьской же лучше: там сухо и фонари.

— Там канаву роют для труб, — объяснил Валера. — Все перекопали. Просто шею можно сломать.

Серёжа не любил Походный переулок.

Ничего особенного в этом переулке не было: домики с палисадниками, газетный киоск на углу.

Но когда Серёжа был в первом классе, он видел, как мотоциклист сбил здесь собаку. Большая рыжая собака лежала на краю дороги мертвая, вся в крови… И с тех пор Серёжа старался по этому переулку не ходить.

Но делать нечего, они пошли.

Фонарей не было, свет падал только из окошек. И лишь сейчас увидел Серёжа, что небо очистилось и сверкают, будто отмытые, звезды. Белые и голубые. Он шел позади ребят, запрокинув лицо, и видел все больше и больше звезд, целые миллионы. Они светлой пылью проступали в черноте.

Переулок уже кончался, впереди горели фонари. Серёжа опустил голову и тогда увидел троих ребят. А потом четвертого — он догонял остальных, спешил от закрытого киоска.

Они шли навстречу. В их ленивой и развинченной походке была скрытая угроза. Стасик остановился. И Валера.

— Это, кажется, Киса, — шепотом сказал Стасик. — Пойдемте назад.

Серёжа ощутил в груди неприятный холодок. Но он подтолкнул Стасика в спину.

— Идите, не бойтесь. Что за Киса?

— Он в новом доме живет, его раньше не было. Он в седьмом классе учится, только не в нашей

школе.

"Что раньше не было, я и сам знаю, — подумал Серёжа. — Развелись всякие Кисы..."

— Киса — не тигр. Чего вы дрожите? — сказал он как можно беззаботнее.

— Он у ребят деньги отбирает, — объяснил Валера. — Он хулиган. По нему плачет колония.

— Идите, — сказал Серёжа. И подумал: "Малышей не тронут. Не звери же".

Четверо неизвестных приближались. Самый высокий сказал тонким, но хрипловатым голосом:

— Остановитесь-ка. Дело есть.

— Ну? — сказал Серёжа, и ему стало по-настоящему страшно. Это был обыкновенный липкий подлый страх, от которого слабеют ноги.

— Скажи ему, Киса, — нетерпеливо прошептал самый маленький, чуть пониже Серёжи. — Скажи...

— Денежки есть? — поинтересовался длинный Киса. У него получилось мягко, почти ласково: "денюшки".

Серёжа не видел в темноте их лиц. Он различал только фигуры. Трое стояли тесной группой, четвертый чуть в стороне.

"Вот так, — подумал Серёжа. — Опять их чет-

веро. Это тебе не на совете других ругать за трусость".

Это не на совете... И не на фехтовальной дорожке, где противник — твой товарищ, а кругом строгие судьи... И не во сне, когда вражьи пули бьют в тебя безвредно, как дождевые капли...

"Эх, Нока бы сюда", — подумал он.

Страх не уходил. Но Серёжа знал, что пусть хоть до смерти изобьют, а карманы выворачивать он не даст и не побежит без боя. Да и как побежишь, когда Стаська с Валеркой здесь? Не бросишь.

Стараясь, чтобы не дрожал голос, он сказал:

— Валера, Стасик, идите домой. Я тут сам разберусь...

"Если они уйдут, можно пробиться, — думал Серёжа. — Дам Кисе головой в поддых, а пока они будут мигать, выскочу на светлую улицу. Там они побоятся лезть".

— Стоп, козявки. Ни с места, — угрожающим шепотом приказал Киса. — Гусыня, присмотри.

Ага, значит, этот тип в спортивной шапке с помпоном и есть Гусыня... Раньше встретиться не пришлось. После того случая с Митей Серёжа и Кузнечик, прихватив Нока, два вечера искали компанию Лысого и Гусыни, но те не появлялись на улице.

А теперь — вот он!

Гусыня взял Стасика и Валеру за воротники, подвел и прислонил к телеграфному столбу.

— Стойте и не дышите, головастики. Худо будет…

Он, видимо, был уверен, что страх совсем парализует малышей, и даже не оглянулся.

Стасик замер, и в полоске света, падавшей из окна прямо на столб, Серёжа видел его бледное, с полуоткрытым ртом личико. В глазах у Стаськи были ужас и покорность.

Валера тоже на секунду притих, но вдруг рванулся и бросился из переулка к свету.

— Кеша! — тонко заголосил Киса. — Верни гада!

Тот, кто стоял в стороне, кинулся было за Валерой, но не догнал и вернулся.

— Черт с ним, — решил Киса. — Мы тут быстро… — И обратился к Серёже: — Ну как насчет денежек?

— А ты что, взаймы их мне давал? — скручивая в себе страх, сказал Серёжа.

— А как же! — обрадовался Киса. — Давал, конечно. Вчера. Три рубля. Отдашь?

— Да ты не бойся, — успокоил Гусыня. — Бить не будем, если будешь хороший. Мы же вежливые.

Тот, кто бегал за Валеркой, по-прежнему стоял в стороне, а маленький был рядом, но молчал и опасливо вертел головой.

— Ну-ка, раздвиньтесь, мне идти надо, — сказал Серёжа. — У меня времени нет.

— У него времени нет! — подхватил Киса. — Вы слышите? Кеша, проверь у него карманчики, и отпустим человека, ему некогда.

Тот, кого называли Кешей, недовольно обернулся.

— Я же просил не втягивать меня в подобные истории…

И Серёжа узнал по голосу Сенцова!

— Сенцов! — сказал он, забывая на миг о страхе. — Надо же! Быстро отыскал новых друзей.

— Почему новых? — хладнокровно отозвался тот. Он, видимо, еще раньше узнал Серёжу. — Старых друзей у меня и не было. В вашем зачуханном клубе, что ли, друзья?

— На что надеешься? — спросил Серёжа. — Избить вы меня можете, а убить не убьете. Завтра все равно все узнают, какой ты подонок.

— А какие у тебя ко мне претензии? Я тебя, кажется, не трогаю. А кроме того…

— Никто ничего не докажет, — снисходительно объяснил Киса. — А поэтому стой и не возникай.

— Докажут, — сказал Серёжа.

— Кто? Может, этот ребеночек? — Киса кивнул на Стасика. — Он не будет на нас наговаривать, он хороший мальчик. Верно, Стасик? Мы с ним друзья. Хы-ы…

Серёжа увидел, как Стасик заморгал и зашевелил губами. Словно ответить хотел.

— А если и докажут, что будет? — насмешливо спросил Киса. — Сводят в учительскую, скажут, что нехорошо так делать. Вон Гусыню каждый день к директору таскают, а он веселый.

— Пусть карманы покажет, — мрачно потребовал Гусыня.

На что они надеялись? Ну да, они не понимали, что бывают вещи сильнее страха. Что можно бояться и все равно стоять прямо. Потому что есть эмблема с конниками и солнцем, есть друзья, рапиры, слова клятвы. Песни Кузнечика, всадники "Гренады". И где-то далеко — маленький Алехандро Альварес Риос, которому грозят пули. И красный галстук, который, выходя из школы, не прячешь в карман, как эти подонки. И золотой угольник капитана.

В двух шагах от светлых домов, от тысяч веселых и справедливых людей из случайной темноты выползли эти поганки и думают, что

они хозяева!

— Дураки вы, — сказал Серёжа. — Вы думаете, на вас управы не найдется?

— Милицией пугаешь, гад? — прошипел Гусыня. — Не пугай, мы там были — и ничего, так же дышим.

— Значит, никто вам не страшен? — с насмешкой спросил Серёжа. — Значит, вы сильней Советской власти?

Киса хихикнул:

— Это ты — власть?

— Я не власть. Но она за меня, а не за вас. А вы — плесень.

В ту же минуту в глазах у Серёжи вспыхнули желтые огни, и от удара в лицо он отлетел на палисадник. Острые концы реек больно уперлись ему в спину. Палисадник был шаткий, он прогнулся под Серёжей, и несколько реек отскочили от нижнего бруса. Чтобы не упасть, Серёжа схватился за одну из них…

Рейка подалась и осталась в руке.

И в ту минуту, когда Серёжины враги думали, что он сломлен, побежден, уничтожен, в нем вспыхнула мгновенная радость. Радость силы и уверенности.

До сих пор он не думал об оружии. Но сей-

час, ощутив под рукой деревянный брусок, он вспомнил все, что надо: Олега с рапирой, свечи, серебристый вихрь клинка. Вспомнил, как сам на пустыре длинной линейкой рубил колючие головки на высоких кустах репейника. Это было как вспышка. Он оттолкнулся левым локтем и кинулся к врагам…

Киса ойкнул и отскочил, ухватившись за кисть правой руки. Обратным движением Серёжа сбил Гусыню, который оказался справа: концом рейки, зажатой в ладони, как рукоять, Серёжа ударил его в подбородок. Тот схватился за лицо, заскулил, медленно сел на корточки и уткнулся в колени, но это Серёжа увидел уже после. А сначала он развернулся в сторону Сенцова. Осторожный Сенцов успел отскочить заранее, но при этом неудачно повернулся спиной. Серёжа прыжком догнал его и от души врезал по лопаткам.

— Я тебя трогал?! — заорал Сенцов, изгибаясь. Самый маленький из ребят прыгнул на дорогу и поднял что-то с земли. Наверное, камень. "А он не трус", — мельком подумал Серёжа и повернулся в сторону Кисы. Младшего противника он не боялся: знал, что подойти он не решиться, а камнем сгоряча попасть трудно. Другое дело Киса… Но Киса по-прежнему держался за руку. То ли удар

был силен, то ли Киса обалдел от стремительного отпора.

У Серёжиной головы прошелестел камень.

— Ты мне еще покидайся! — пригрозил Серёжа. Перехватил поудобнее рейку, поднял портфель и сказал Стасику: — Пошли.

Сердце у него бухало и колени вздрагивали, но это был уже не страх, а возбуждение боя. И тут он услышал взрослый голос:

— Это шо же такое?

"Сейчас побегут", — подумал Серёжа.

Но враги его не двинулись. Только Гусыня поднялся, все еще держась за подбородок.

Серёжа разглядел, что взрослый человек был невысокий, но широкоплечий. В короткой куртке, плоской фуражке и сапогах. И, судя по голосу, молодой.

— Так шо же случилось? За что ты побил этихь хорошихь мальчиков?

Он то ли старался говорить "по-одесски", то ли просто не очень владел языком. "Кажется, пьян", — понял Серёжа.

Но все-таки это был взрослый человек. Не будет же он заступаться за хулиганов.

— Они сами полезли, — возбужденно сказал Серёжа. — Понимаете, деньги им понадобились.

Четверо на одного. Рыцари…

— Ай-яй-яй, — насмешливо произнес человек.

Младший мальчишка прошептал с опаской и почтительным восторгом:

— Это Гаврик…

— Молчи, дубина! — злым шепотом оборвал его Киса. И жалобным голосом объяснил: — Мы его по-хорошему попросили, а он дерется.

— Ай-яй-яй… — снова сказал Гаврик, и Серёжа ясно услышал издевательскую нотку. — Тебя попросили, а ты дерешься… А ведь люди по-хорошему просят. И не один, а целый коллектив… Тебя в школе учили, что коллективное важней личного, а? Что же ты себя про-ти-во-по-став-ляешь? А? Нельзя. А еще, наверное, пионер… А?

И вдруг совсем другим голосом, резким и злым, он сказал:

— А ну брось палку и топай сюда, ты… — И он выругался.

И выдернул из кармана руку.

Может быть, случайно, а может быть, нарочно этот Гаврик протянул руку в полосу света, и Серёжа увидел на его полураскрытой ладони плоский широкий нож.

Стасик громко заплакал. Серёжа машинально закрыл грудь локтем.

В этот миг он понял, что если промедлит хоть полсекунды, то не справится с собой. Бросится бежать, изнемогая от страха за себя.

А Стаська?

Рейку Серёжа держал концом вниз. Рука фехтовальщика сработала молниеносно. Снизу вверх, из третьей позиции, он ударил по оружию противника. Вернее, по его руке. Нож серебряной рыбкой взлетел в полосе света и воткнулся в столб в метре над головой Стасика. Стасик шарахнулся вбок.

— Ай! — как-то по-детски сказал Гаврик.

Но он оставался здоровым, сильным, опасным. И, вливая всю свою силу, страх и ненависть, Серёжа врезал ему по коленям.

Гаврик упал на четвереньки, а Серёжа, не сдержав отвращения, замахнулся еще раз…

И тут его будто опять ударили в лицо. Он зажмурился и снова открыл глаза. С трех сторон широкими светлыми конусами били фонарики.

— Всем на месте! — прозвучал очень громкий голос.

А второй голос, тоже громко, спросил:

— Кто Каховский?

— Я, — сказал Серёжа.

Блеснуло золото на красных околышах.

Кто-то крикнул:

— Куда? Я сказал — быть на месте!

— Я же случайно здесь… — Это жалобно произнес Сенцов.

Тот же голос, уже мягче, сказал:

— Если случайно, зачем бежать? Свидетели будут нужны.

Гаврик медленно поднимался с земли. Лучи фонариков уперлись в него. Серёжа увидел бледное лицо с большим перекошенным ртом и темными впадинами глаз.

— Батюшки мои! Гаврилов! — совсем не по-военному воскликнул один из милиционеров. — Вот встреча!

— Это я, начальник, — слабо усмехнувшись, признался Гаврик.

И быстро опустил в карман ладонь.

— Тихо! — крикнул милиционер и рванул кобуру.

Впервые Серёжа увидел так близко от себя боевое оружие — тяжелый черный пистолет.

Но милиционер опоздал. Гаврик махнул рукой, и что-то тяжелое прошелестело в воздухе, упало за забором.

— Кастет выбросил! — крикнул милиционер с погонами младшего сержанта. — Ничего, най-

дем!

Гаврик поднял согнутые в локтях руки, помахал кистями, пьяно улыбнулся:

— Все, начальник. Берите птичку.

— Пошли, птичка… — Милиционер махнул пистолетом в сторону фонарей. — Там и клетка есть на колесах. Правда, не позолоченная… Пошли все.

Серёжа выпустил рейку, подошел к Стасику и взял его за плечо. Сбивчиво сказал:

— Ну, пойдем… Не бойся теперь.

На углу стояла милицейская машина — желтый фургон с темной полосой и синей лампой над кабиной.

Главный милиционер — старший лейтенант — сказал:

— Этих — в машину. А ты, Серёжа, двигай с ребятишками. Тут рядом.

— Куда? — удивился Серёжа. Но обращались, оказывается, не к нему.

— Хорошо, — откликнулся другой милиционер, тоже офицер, с двумя звездочками на погонах, только совсем молодой.

Гаврика посадили в машину. Туда же сели два милиционера, и старший лейтенант скомандовал Кисиной компании:

— Давайте и вы. Там разберемся.

Сенцов захныкал…

Через минуту машина уехала.

— Пойдем, — сказал Серёже лейтенант. — Здесь недалеко.

— А куда?

— В отделение. Надо же у вас показания взять. — Он улыбнулся совсем по-мальчишечьи. — Да не волнуйся, мы вас домой на машине доставим. Не на этой, а на "Волге". Всех троих.

Только сейчас понял Серёжа, что рядом с ними опять Валера.

— Откуда ты здесь?

— Да ведь это же он нас позвал, — объяснил лейтенант. — Мы с задания ехали, а он выскочил на дорогу и давай голосовать. Ты хоть спасибо скажи человеку за выручку.

Валера улыбался откровенно и счастливо, как человек, совершивший подвиг.

— Спасибо, — машинально пробормотал Серёжа.

— Ну, пошли, — повторил милиционер. — Да ты успокойся, браток. Все уже позади… А ты знаешь, кто этот Гаврилов?

Серёжа помотал головой.

Лейтенант сказал:

— Известная фигура… Как тебе удалось его свалить? Это же чудо какое-то.

— Он, по-моему, сильно пьяный, — сказал Серёжа. — А может быть… В общем, я и сам не пойму. — Он слабо улыбнулся. Он совсем не чувствовал себя героем. Его бил озноб.

— Ну и что же, что пьяный, — возразил лейтенант. — Головы-то он не терял. Догадался же кастет выбросить. Ну ничего, там сержант остался, найдет…

— А нож! — спохватился Серёжа. — Взяли?

— Какой нож?

— Но ведь он же с ножом был.

— Тебе не показалось? Темно было.

— Не показалось. Там свет из окна падал! Я по ножу ударил, а он в столб воткнулся. Вот над ним. — Серёжа указал на Стасика, и тот почему-то вздрогнул.

— Роман "Три мушкетера", да и только, — озабоченно произнес лейтенант. — А ну пойдем назад. Нож — штука серьезная.

Он решительно двинулся в переулок, и ребята потянулись за ним. Стасик прихрамывал.

— Можно, я домой пойду? — спросил он. — У меня нога болит.

Лейтенант обернулся.

— А не боишься?

— Дом-то уже рядом, — объяснил Серёжа. — Пусть идут оба, а то родители волнуются. Тут их никто не тронет. А я вам все расскажу и без них.

— Ну, бегите, — разрешил лейтенант.

— Стаська, не вздумай дома рассказывать про это дело, — предупредил Серёжа. — Там с ума сойдут. Скажи, что я к Генке зашел.

Стасик торопливо кивнул и, кажется, обрадовался.

Малыши ушли, а Серёжа и лейтенант снова окунулись в темноту переулка.

Нож они не отыскали. На столбе его не было, в сухой траве вокруг столба — тоже.

— Может быть, показалось все-таки? — спросил милиционер.

Серёжа упрямо помотал головой.

Лейтенант помолчал и спросил:

А ты не помнишь, как нож воткнулся? Вдоль древесины или поперек?

— Вот так, — Серёжа вытянул перед собой ладонь, — наискосок.

Посмотрим… — Лейтенант стал на цыпочки и долго водил светлым кружком фонарика по столбу.

— Точно. Есть такая зарубка, — сказал он.

Кто-то тяжело прыгнул с забора и подошел к ним. Это был сержант.

— Вот он, кастет. На грядках лежал.

Лейтенант сказал ему о ноже. Минут десять они обшаривали вокруг землю, но напрасно.

— Пойдем, — сказал лейтенант. — Нет ничего.

— Вы мне не верите? — спросил Серёжа.

— Верю. Тем более след на столбе… Но где же нож? Может, Гаврилов успел его выбросить?

— Да нет, он его больше не касался.

— Ладно, выясним… А как ты сумел выбить его у Гаврилова?

— Не знаю, — утомленно сказал Серёжа. — Наверно, с перепугу… — Его опять стал трясти крупный озноб, и захотелось поскорее оказаться дома у Наташки, среди своих, где спокойно, светло и весело. Казалось, что он уже много-много часов пробыл в этом переулке.

Сержант, который все молчал, вдруг спросил:

— С перепугу, говоришь? С перепугу люди драпают сломя голову, а ты дрался.

Серёжа не стал объяснять, что драпать нельзя было из-за Стаськи. Еще подумают, что хвастается: вот, мол, какой хороший, не бросил маленького…

В отделении милиции все произошло быстро.

Гаврилова увели. Кису, Гусыню, Сенцова и четвертого мальчишку отпустили домой, сказав, что вызовут в понедельник. Хмурый пожилой капитан, повернувшись к Серёже, слегка улыбнулся:

— Ну, мушкетер, давай по порядку. Как было дело? Да не волнуйся, все уже хорошо.

"Почему они все говорят "не волнуйся"? — подумал Серёжа. — Или заметно, как меня трясет? Но это же от холода".

Он рассказал обо всем. Получилось не много. Капитан записывал. Потом спросил:

— Значит, настаиваешь, что нож был?

— Да.

— Ну ладно… Прочитай и распишись.

Серёжа бегло прочитал разлинованный лист. Все было правильно, только очень уж коротко. Серёжа написал внизу: "Каховский". Буквы получились большие и корявые. Он услышал, как шепотом кто-то сказал:

— Натерпелся малец.

Капитан обратился к лейтенанту, которого тоже звали Серёжей.

— Увези парнишку домой.

— Я и так дойду, здесь недалеко, — сказал Серёжа.

Капитан опять сдержанно улыбнулся.

— Увези, увези… Героям должен быть почет. Он и сам еще не знает, как здорово нам помог…

У крыльца стояла милицейская "Волга". Лейтенант сел за руль, Серёжа — рядом. В зеркале над рулем он увидел на миг свое лицо. На левой скуле был могучий синяк. Это Серёжу почему-то развеселило.

Доехали они за минуту.

Дверь Серёже открыла Наташка.

— Ну, пропащая душа… Мы уж беспокоимся.

При неярком коридорном свете она не разглядела Серёжино лицо.

— Слушай, — шепотом сказал он, — есть у тебя пудра или крем какой-нибудь, которым лицо мажут?

— Ты рехнулся?

— Ни капельки. Надо навести маскировку.

## 10

Наташе Серёжа сказал про все, но велел, чтобы молчала как рыба: не портить же людям праздник. Весь вечер он держался в тени, а когда пришли домой, сразу лег спать. Ему не снились ни бандиты с ножами, ни другие кошмары. Вообще ничего не снилось.

Проснулся Серёжа поздно. Все тело болело, будто накануне он весь день тяжести таскал. Зато настроение было прекрасное. Он отлично помнил, что было вчера, и чувствовал спокойную гордость. А чего ж не гордиться? Он до конца держался в неравной схватке. Он был победитель.

Все было хорошо. Уютно пощелкивали батареи, смеялась за дверью Маринка, весело говорил с тетей Галей отец. А за окнами опять сыпал крупный снег.

Даже пенопластовый замок с узорным флюгером на главной башне и синим крабом над воротами опять показался Серёже красивым и почти настоящим.

Серёжа откинул одеяло, сделал десяток приседаний, чтобы прогнать боль из мускулов. Потом побежал в ванную. В прихожей он столкнулся с тетей Галей.

Она ахнула:

— Серёженька! Что с тобой?

— А что?

— Ты в зеркало посмотри!

Он посмотрел.

"Маскировка" слезла, и синяк цвел во всю щеку.

— Кто тебя? — все больше волновалась тетя Га-

ля. — Батюшки, да что же это? Володя, иди сюда!

Пришёл папа. Посмотрел, присвистнул. Сказал:

— Давай, дружище, выкладывай. Пойдем-ка в комнату.

И Серёжа "выложил". Да он и не собирался отмалчиваться. Одно дело вчера, другое — сегодня.

Он сидел на тахте, покрытой мохнатым, ласково щекочущим пледом, приткнулся к отцу и чувствовал себя, как котенок в добрых руках. Рассказывал спокойно и подробно. Не скрывал ни страха, ни мыслей, которые были в тот момент, ни злости, которую влил в удары своей деревянной шпаги. Папе можно было говорить все. Конечно, зря здесь была тетя Галя: не женское это дело слушать о таких вещах. Но разве ее уговоришь не слушать! И Маринку тоже.

Маринка сидела верхом на Ноке и держала его за уши, как за вожжи. Нок терпеливо улыбался розовой пастью.

Маринка слушала серьезно и молча. Только один раз она спросила:

— А они были кто? Шпионы?

Серёжа и папа рассмеялись. А тетя Галя несколько раз повторила: "Господи… Господи", хотя в бога верила, конечно, не больше Серёжи.

— Ну вот и все. Жалко только, что нож не нашли, — закончил Серёжа.

Отец коротко вздохнул, приподнял его и, как в давние времена, усадил на колени. Притиснул к груди:

— Маленький ты мой…

Серёжа не прочь был на несколько минут оказаться маленьким. Он притих и зажмурился. Почти замурлыкал.

Маринка ревниво следила за ним.

— А ты почему не в садике? — спросил Серёжа, выглядывая из-за папиного локтя.

— А я в субботу не хожу.

— В субботу мы вдвоем домашней работой занимаемся, — сказала тетя Галя и увела Маринку на кухню.

Вот как! Сегодня суббота! А он и забыл.

Продолжая играть маленького, Серёжа капризно сказал:

— У всех в субботу выходной, даже в детском садике. А мы учимся. Почему? Не хочу — и все…

— А не ходи сегодня в школу, — неожиданно сказал папа.

Серёжа вскинул голову.

— Да я же пошутил. Что ты, папа!

— А я не шучу. Давай хоть одну субботу побу-

дем вместе. Не останешься ведь ты из-за этого на второй год.

— Не останусь… Папа! А скажи по правде, ты боишься меня в школу отпускать, да? Думаешь, что опять что-нибудь случится?

— Ну, вот глупости. Просто надо тебе отдохнуть после встряски. Ты же вчера перед вражеским оружием стоял. Как на войне. Даже взрослым после такого дела передышка нужна.

Серёжа не чувствовал, что ему нужна передышка. Но неожиданный выходной — это было заманчиво. Можно не торопясь доделать крышу у замковой галереи и покрасить на ней мелкие картонные квадратики в оранжевый цвет — под черепицу. Можно срисовать из книги "Архитектура средневековья" несколько крепостей. Можно поваляться и почитать. А можно починить наконец маленькую кровать для Маринкиной куклы Тамары. А то он совсем забросил Марину: со Стаськой Грачёвым возится больше, чем с собственной сестрой.

Но эти мысли мелькнули между прочим, а главная мысль была все о том же — о вчерашнем.

— Папа, а тебе приходилось так?.. Ну, чтобы на тебя с оружием?

Отец улыбнулся:

— Было несколько случаев. Я же лесной человек… Один раз три мерзавца застрелили лосиху и — мало им еще! — хотели прирезать лосенка. Тут я на них и вышел. На моей стороне был закон, а на их стороне — сила. А что им закон, если у них шесть стволов, а у меня два? Долго мы стояли друг против друга, беседовали. Многими любезностями обменялись.

— Они отступили?

— Да, ушли в конце концов. Они меня знали. Понимали, что, если даже продырявят навылет, один ствол я успею разрядить и не промахнусь. А каждый из них считал, что его паршивая жизнь дороже лосенка, хотя, по-моему, ошибался.

— А их нашли потом?

— Нашли. Я же их знал. Трудно было доказать, что именно они стреляли в лосиху, но ничего, доказали… А потом я не выдержал и признался им, что у меня в стволах патронов не было. Вот они локти кусали!.. Давно это было, еще ты не родился… А сейчас ты вон какой длиннющий! Ну-ка беги умываться, герой!

Серёжа задумчиво сказал:

— И ни капельки я не герой. Вот ни настолько. — Он показал ноготь.

Отец взъерошил ему макушку.

— Помнишь, ты мне про случай с ремнями рассказывал? — спросил он. — Вы тогда трех человек исключили… Ты рассказываешь, а я все время чувствую: какая-то мысль тебя грызет.

— Какая?

— А такая: "А что я сам-то делал бы на их месте? Не струсил бы?" Так?

— Так… — признался Серёжа.

— Ну вот. А теперь ты, по крайней мере, знаешь: не струсил, В общем, это был твой звездный час.

— Что было?

— Звездный час. У каждого человека бывают в жизни звездные часы. Это когда у него большая победа, или большая радость, или успех в трудном деле. В общем, торжество.

— А-а… — сказал Серёжа.

Торжества он не чувствовал. Победа — это конечно. Гордость. Но не торжество. И радости особой не было. И не очень-то хотелось вспоминать, как Гусыня сидел на корточках, держась за разбитое лицо. И как бледно улыбался Гаврик, взмахивая поднятыми руками… Лучше бы совсем не было на свете этих кис, гусынь, гавриков. Ну что они за люди? Что им надо на свете? Почему они мешают жить другим? Ну что они, из племени людоедов или с другой планеты? Живут вместе

со всеми. Наверно, на первомайские парады, как нормальные люди, ходят и те же песни поют. Некоторые даже пионерские галстуки носят. И когда кино про войну смотрят, не за фашистов же они болеют!

Но спорить с отцом Серёжа не стал, только спросил:

— А у тебя были звездные часы?

— Конечно, были, — без улыбки сказал папа. — Когда мы добились, чтобы район Черного озера объявили заповедником. Не представляешь, какой был бой, четыре раза пришлось нам с дядей Володей в Москву вылетать… А еще когда взял первый приз за стрельбу на круглом стенде. Это в шестьдесят четвертом году… А еще… когда твоя мама согласилась выйти за меня замуж.

Они помолчали.

— Па… — сказал Серёжа. — А Кузнечик влюбился в Наташку.

— Надо же… Ну ты смотри над этим не смейся.

— Разве я смеюсь? Я сегодня к нему сбегаю, ладно?

Генка сидел с ногами в кресле, в обнимку с гитарой. Он опять был как настоящий кузнечик. Большой кузнечик с обмотанным горлом.

Ух как он обрадовался! Вскочил, сунул ноги в

тапочки, завернулся в длинный мохнатый халат и зашлепал к Серёже.

А подойдя вплотную, тихо сказал:

— А я все знаю.

— Откуда?

— Наташа утром приходила.

— Все девчонки одинаковы, — ворчливо заметил Серёжа. — Язык на привязи не держат.

Но в глубине души он был рад, что не надо от начала до конца рассказывать опять эту историю.

— Ты не обижайся на нее, — попросил Кузнечик. — Она знаешь как за тебя волнуется!

— Теперь-то уж чего волноваться?

— А все равно… И еще она за Стаську беспокоится. Он какой-то пришибленный.

— Перепугался. Я и то чуть не помер, когда этот тип с финкой появился.

Генка поежился:

— Я бы точно помер.

— Ты? Вот уж чушь-то, — искренне сказал Серёжа.

Генка сипло, словно вспомнив, что у него ангина, произнес:

— Если бы чушь… Это ведь не на гитаре тренькать.

— Да перестань ты! — прикрикнул Серёжа. —

На гитаре… Тот парень в Чили, Виктор Хара, тоже был с гитарой, а не с автоматом. А эти сволочи ему руки отрубили и голову размозжили прикладами. Сам, наверно, слышал…

— Сравнил… — вздохнул Кузнечик. Поддернул подол у халата и опять полез в кресло.

— Ну и сутана у тебя, — сказал Серёжа. — Как у кардинала Ришелье.

— Это Сашин халат, боксерский.

Саша, Генкин брат, был неуловимой личностью. Он окончил физико-математический факультет и работал в какой-то "очень интересной" лаборатории. Серёжа видел его лишь один раз, мельком, потому что дома Саша только ночевал. Да и то не всегда. Кроме того, он часто уезжал: то в Новосибирск, в Академгородок, то в Москву.

Но все дома у Генки было связано с братом Сашей: книги на самодельных стеллажах, боксерские перчатки на гвозде, индейская маска, привезенная из Чили, морские карты на стенах. На картах были налеплены почтовые марки с кораблями всех времен и стран. Это так необыкновенно Саша и Генка собирали коллекцию.

Раньше карт было четыре. А сейчас осталось три. На месте четвертой — английской карты с изображением порта Александрии — темнел

пустой квадрат.

— Куда Александрию девали? — поинтересовался Серёжа.

— Митьке отдали. Он вчера пришёл и как прилип к этим картам, так больше ни на что другое не смотрел. Поразговаривает, поразговаривает, а потом опять к ним… Вот так. Он, конечно, сперва отказывался изо всех сил…

— Там ведь кубинская серия с парусниками была, — вспомнил Серёжа.

— Была… Митька два апельсина притащил. Хочешь?

— Лопай сам. Ты больной.

— Никакой я не больной! Это врач выдумывает! Все равно завтра в клуб пойду!

Серёжа внимательно поглядел на него и понял: в самом деле пойдет. А может, это и лучше. А то от одиночества можно сильнее заболеть.

— Слушай, Кузнечик, — ласково сказал он, — я тебя очень прошу: не рассказывай завтра об этом деле в клубе. Хорошо?

— Ну… хорошо, — слегка растерянно отозвался Генка. — Только зря ты так. Это уж не скромность, а черт знает что.

— А я не из-за скромности. Просто хочется, чтобы завтра все было как всегда. А то начнутся

разговоры, расспросы… Если тридцать девять человек начнут расспрашивать, тут хоть кто завоет.

— Сорок, — сказал Кузнечик. — Мосин, видимо, вернется.

— Как так?

— Митька рассказал. Мосин поймал после уроков Лысого, прижал к стенке и говорит: "Гони обратно ремень". Лысый, конечно, запсиховал: "Я сейчас наших позову!" Мосин говорит: "Зови. Пока зовешь, я тебя в стенку вколочу, будут стамеской выковыривать". Тут прибежал приятель Лысого по кличке Бобочка. Начали они с Мосиным разговаривать нахально. И вдруг подходит Андрюшка Гарц… Они же все вместе в сорок шестой учатся… Подошел да без всяких слов ка-а-ак вделает Бобочке портфелем по хребту. Тот сразу в бега…

— Ай да Андрюшка! — со смехом сказал Серёжа. — А я ему, бедному, в среду наряд вне очереди вклепал, за то что нашивка еле-еле на рукаве держится.

— Ничего, он не обидится… Ну вот, Бобочка — драпать. А Мосин и Гарц стали беседовать с Лысым. Он начал врать, что нету ремня, сменял кому-то. Мосин тогда отобрал у него сумку и гово-

рит: "Принесешь ремень — отдам".

— Принес?

— Куда он денется? А вчера Мосин ремень нацепил и пришёл в клуб. Записываться опять.

— Надо взять, — сказал Серёжа. — Он все-таки парень хороший. Не то что Сенцов, шкура такая… Правильно я ему вчера врезал.

— Сенцову? За что?

— Разве Наташка не сказала?

— Нет. Да она вообще запутанно рассказывала. Больше охала, чем говорила. Ну-ка давай рассказывай подробно.

В воскресенье с утра Серёжа пришёл в клуб. Там было весело, спокойно и хорошо. Олег в спортзале проводил с Данилкиной группой внеплановые соревнования — на личное первенство среди барабанщиков. Впервые участвовал Вадик Воронин. Правда, вне конкурса. Его братья в кают-компании рисовали эскизы костюмов для фильма "Три мушкетера". Андрюшка Гарц приставал к ним:

— А почему д' Артаньян в валенках? Разве бывают валенки со шпорами? И штаны у него современные.

— Это чтоб смешнее, — терпеливо объяснял Валерик Воронин.

— А почему он верхом на палке, а не на лошади?

— Тебе же говорят: чтобы смешнее было. Это же фильм-шутка. Будто игра.

— С лошадью все равно лучше.

— А у тебя есть лошадь? — рассердился второй художник, Вовка. — Если есть, веди сюда. Если нет — отцепись.

Лошади у Андрюшки, видимо, не было, потому что он отцепился.

Кузнечик сидел в тепле, у батареи, тренькал на гитаре и заглядывал в бумажку со словами песни о горнисте и всадниках.

Пришёл Андрей Ткачук, сказал, что вчера гонял шайбу на застывшем пруду и, конечно, провалился. Хорошо, что неглубоко, по колено.

Володя Огоньков на подоконнике чинил заезженный кинопроектор. Оторвался на минуту и спросил у Серёжи:

— Ты, говорят, модель крепости строишь?

— Макет. Не крепости, а замка.

— А его можно будет в фильме снять?

— Он же маленький.

— А мы бы его близко сняли. На экране будет большой, как настоящий. Дашь?

— Ну и вопросы ты задаешь, — обиделся Серё-

жа. — Неужели не дам?

...Вечером он сел доделывать висячий мост. Цепи сделал из цепочки от старых часов с гирями, а поперечный настил — из крашенных в коричневый цвет спичек. Мост получился что надо. Снимай хоть на "Мосфильме"

Серёжа направил на замок свет настольной лампы и лег на кровать.

Белые башни, зубчатые стены с тонкими карнизами и выступами светились, как под южным солнцем. Оранжевые кусочки картона казались издалека настоящей черепицей. Синий краб таинственно поблескивал над полукруглой аркой ворот. Это было похоже на сказку.

В последнее время все чаще думал Серёжа о старых-старых городах, где под горбатыми мостовыми пролегли подземные ходы, а в сводчатых подвалах библиотек не до конца разобраны желтые свитки и хрустящие от древности книги. О заросших буграх со следами оборонительных стен, где еще можно отыскать ржавые клинки и ядра. Об остатках крепостей и о серой полыни, в корнях которой прячутся осколки византийских ваз и монеты с профилями забытых императоров. Об острове Пасхи, о ступенчатых пирамидах Южной Америки... Тайны, упрятанные в глубину

земли, в заросли и камни, казались ему живыми. Они ждали открытий, как пленники ждут освобождения…

Понедельник в школе прошел спокойно. После уроков Серёжа вышел на улицу и увидел тетю Галю. Она недалеко от школы гуляла с Ноком.

— Меня ждете? — с мягким упреком спросил Серёжа.

— Просто гуляем. Нок все принюхивается, не идешь ли ты. Вот и решили пойти навстречу.

— Не надо меня встречать. Ну честное слово, ничего со мной не случится.

Во вторник вечером "случайно" мимо школы проходил отец и тоже встретил Серёжу. Тот лишь вздохнул.

В среду Серёжу вызвали с третьего урока. В кабинете директора сидели двое мужчин. Один — в коричневом костюме, с узким, как топор, лицом и черными внимательными глазами. Второй — в мягкой куртке, невысокий, полный. Анатолия Афанасьевича не было, зато присутствовала завуч Елизавета Максимовна.

Мужчина в куртке попросил:

— Серёжа, будь ласков, расскажи, как было дело в тот вечер.

Серёжа вопросительно глянул на Елизавету

Максимовну. Она сухо сказала:

— Это из милиции.

— Я же рассказывал в милиции.

Человек в куртке терпеливо объяснил:

— Я понимаю. Но меня там не было, а следствие придется вести мне. Хочется самому послушать. А кроме того, ты сгоряча тогда мог что-нибудь забыть. Постарайся сейчас изложить подробненько, в деталях.

Серёжа начал рассказывать.

Елизавета Максимовна перебила:

— Извините, у меня урок. Мне прислать кого-нибудь вместо себя?

— Как хотите, — сказал полный мужчина.

— Я слышала, что при допросе обязан присутствовать кто-нибудь из старших.

Следователь поднял на нее светлые глаза.

— Какой же это допрос? Допрашивают обвиняемых, а здесь наоборот.

Завуч попрощалась и ушла.

Серёжа заговорил опять.

Человек с острым лицом молча и быстро писал в черном блокноте. Следователь делал пометки на листе бумаги.

— Спасибо, — сказал он в конце. — Извини уж, что оторвал от урока… Вот и учительница ваша

недовольна.

— Это завуч, — объяснил Серёжа. — Знаете что? Вы ей скажите, пожалуйста, в чем дело. А то она, кажется, думает, будто я в чем-то виноват.

Следователь засмеялся:

— Да что ты, она все знает. Но мы еще раз скажем, не волнуйся. Скажем как следует.

Вечером Серёжу никто уже не встречал. Прямо из школы он побежал в клуб, на линейку. На линейке приняли в кандидаты "Эспады" Леонида Мосина.

В четверг на первом уроке объявили, что в перемену состоится школьная линейка. Общая, всей второй смены. Это известие вызвало шум и удивление. Все понимали, что за десять минут линейку не проведешь. Значит, что-то важное случилось, если жертвуют уроками.

После звонка классы начали сходиться в зале. Шеренгами выстраивались вдоль стен. Гомон стоял, и колыхались на окнах шторы.

Потом все стихло. Притихли сразу и третьи, и четвертые классы, и шестые, и девятые. И малыши-второклассники. Вошла Елизавета Максимовна, а с ней — два милиционера.

Серёжа их сразу узнал. Один из милиционеров

был хмурый капитан, с которым они беседовали в отделении, второй — лейтенант Серёжа.

Завуч и милиционеры прошли на середину зала.

У Серёжи от волнения засосало под сердцем. Он понял, что без него здесь не обойдется. Но что же будет?

— Ребята! — громким голосом начала Елизавета Максимовна. — У нас гости. Представители нашей славной милиции…

— Про уличное движение будут говорить, — раздался громкий шепот.

— Краснов! — безошибочно определила Елизавета Максимовна. — Хотя бы здесь воздержись от своих реплик. — Она повернулась к хмурому капитану: — Извините…

— Ничего, — сказал капитан и улыбнулся так, что Серёжа сразу увидел: он совсем не хмурый. Ни капельки.

Капитан шагнул вперед.

— Хочу я вам рассказать про двух славных и храбрых людей, — сказал он. — Про двух ребят. Они среди вас. Один еще совсем небольшой, это Валера Шагаев. А второй постарше — Серёжа Каховский. В пятницу на прошлой неделе эти ребята оказали нам большую услугу, помогли

поймать преступника. Как это было, долго сейчас рассказывать. Вам потом на собраниях в классах расскажут. Я скажу только, что Валера проявил смекалку и быстроту: выскочил на дорогу и остановил машину с нашей оперативной группой. А Сергей, столкнувшись с преступником, вел себя как настоящий мужчина. В общем, храбрые люди… Вот Елизавета Максимовна говорила, что директор школы готовит им приказ с благодарностью…

— К сожалению, Анатолий Афанасьевич сейчас на совещании в облоно, — перебила завуч. — Он прочитает этот приказ по школьному радио. Мы готовим специальную передачу.

— Это хорошо, — сказал капитан. — А мы… Короче говоря, от милиции есть для этих ребят подарок. Раньше за храбрость награждали именным оружием. Ну, а для вас главный фронт — учеба. Вот мы и решили, что для учебы тоже хорошее оружие не помешает. Давайте-ка, лейтенант…

Лейтенант расстегнул портфель и достал две плоских черных коробки — большие готовальни.

— Валере-то еще, наверно, рановато ею пользоваться, но в будущем пригодится, — сказал капитан.

Серёжа стоял, как назло, в первой шеренге и видел сотни глаз, которые разглядывали его. С любопытством. С дружеским пониманием. С изумлением. С завистью. А сзади удивленно и обрадованно шептали что-то одноклассники. Кто-то разик уже весело трахнул его между лопаток.

От неловкости Серёже хотелось спрятаться за вторую шеренгу. Но чувствовал он и радость. Только в радости было беспокойство. Это сверлила его мысль, которая появилась еще вчера. Мысль о случайности.

А вот Валеру Шагаева ничто не беспокоило. Его красивое лицо сияло счастливой и гордой улыбкой.

"Стаське наверно обидно", — подумал Серёжа. Отыскал Стасика глазами. Тот стоял понурый и, кажется, очень бледный. Это сильно испортило Серёже радость.

— Валера Шагаев и Серёжа Каховский, подойдите, пожалуйста, — позвал капитан.

Они подошли. Капитан вручил им готовальни. И он, и лейтенант каждому пожали руки. Лейтенант незаметно подмигнул Серёже.

Валера громко сказал:

— Большое октябрятское спасибо!

В строю засмеялись.

Серёжа тоже сказал спасибо, но тихо и неуверенно. Когда он подошел к своей шеренге, его окликнула Татьяна Михайловна. Она стояла рядом с ребятами.

— Каховский! Что же ты не поблагодарил как следует?

Серёжа повернулся к середине зала.

— Спасибо, — произнес он теперь уже громко. И подумал: "Сказать или не сказать?" Сказать было нужно. Сейчас. Чтобы слышали все. Сказать о том, что беспокоило его. Но страшновато было.

"Три. Два. Один..." — отсчитал он. И повторил:

— Спасибо. — Затем твердо добавил: — Но это была случайность.

Прошелестел по шеренгам удивленный шумок. А Серёжа продолжал. Все громче и звонче:

— Случайность! Ведь провожать их должен был не я, а Наташа Лесникова. Она у них вожатая. И что было бы тогда?.. Или даже пускай я, но если бы мне рейка под руку не попала? Или если бы я не знал, как ею действовать? Тогда что?.. Я думаю, не надо малышей задерживать допоздна, вот и все.

Настала тишина. В ней были растерянность и удивление. И вдруг щелкнули одинокие аплодисменты. Они словно прорвали плотину. Сработала привычка: раз окончена речь, надо хлопать. Под

шум аплодисментов Серёжа встал в строй.

Елизавета Максимовна подняла руку и объявила, что линейка закончена.

Классы начали расходиться, и строй рассыпался. Серёжу догнала Татьяна Михайловна.

— Ты и здесь не мог обойтись без скандала, — сказала она не то что с упреком, а скорее удивленно.

— Вы не обижайтесь, Татьяна Михайловна. Я просто не удержался... Но я же правду сказал.

— Смешно даже, Серёжа. Ты думаешь, что один о маленьких беспокоишься? Мы об этом еще в субботу на педсовете говорили. Не надо считать, что ты умнее всех.

Серёжа так не считал и промолчал. Татьяна Михайловна отошла.

Его обгоняли ребята. Оглядывались. Одноклассники хлопали по спине и называли Гераклом.

Пробежала Наташа. Крикнула на ходу:

— Это я начала аплодировать! Цени.

Одна девчонка из девятого "Б" сказала другой громким шепотом:

— Симпатичный.

"Ну и жизнь, — подумал Серёжа. — Даже дурами не обзовешь, сразу скажут: воображает".

Кто-то взял его за плечо. Это был капитан.

— Ты уж извини, — сказал он. — Неудобно после торжества, а надо все равно один вопросик уточнить.

— К завучу пойдем? — спросил Серёжа. И подумал: "Неужели ругать будет за мое выступление?"

— Да нет, здесь поговорим. Только пусть народ схлынет… А завучей я до сих пор боюсь.

Он, как мальчишка, уселся на подоконник. Улыбнулся.

— Совсем будто в детстве. Выгонят, бывало, из класса, сидишь так в коридоре и гадаешь: "Потянут к завучу или обойдется?" А чего боялся? Завуч Вера Константиновна добрейшая женщина была… В блокаду погибла в Ленинграде…

Наконец коридор опустел. И в это время подошел лейтенант Серёжа.

— Ну что, Георгий Матвеевич?

— Не говорили еще, — сказал капитан. — Сейчас… Вот какое дело, Сергей… Может быть, и трудно вспомнить, но постарайся. Как выглядел нож? Говоришь, свет на него падал? Ты сразу не отвечай, подумай, если не помнишь.

— Да помню я! — воскликнул Серёжа. И, как на фотоснимке, увидел снова короткие пальцы Гаврика с выпуклыми грязными ногтями и бле-

стящий клинок. Рука и нож словно светились в темноте.

— Он такой… Короткий. Тяжелый… Ну, по виду тяжелый. По-моему, самодельный…

— Почему ты так думаешь?

— У него медная перекладинка, а на ней следы от напильника. Похоже, что вручную сделали.

— Ты все это заметил? — усомнился капитан Георгий Матвеевич.

Серёжа кивнул.

— Это бывает в такие моменты, — вмешался лейтенант. — В прошлом году, когда Пеликан мне в пузо "вальтер" навел, я тоже царапину на стволе заметил.

Георгий Матвеевич усмехнулся:

— Два Серёжи, две геройских… фигуры.

Лейтенант Серёжа, кажется, обиделся.

— Я же для пользы дела вспомнил.

— Для пользы дела продолжим разговор. Скажи-ка, Сергей, а какое было лезвие?

— Клинок? Он плоский. С двух сторон заточенный. А конец некрасивый какой-то. Как у тупого утюга.

— Клинок с желобком?

— Нет, — уверенно сказал Серёжа. — Без желобка.

Георгий Матвеевич и лейтенант переглянулись.

— А какая ручка? — спросил капитан.

— Ручку я плохо помню, ее пальцы закрывали. Почти… Но, по-моему, пластмассовая. Знаете, бывают такие, из разных кусочков…

— Все точно, — сказал лейтенант. — Ну и глаз у человека!

— Да, — подтвердил Георгий Матвеевич, но как-то невесело.

Серёжа удивленно посмотрел на одного, на другого и вдруг сообразил:

— Значит, нашли?

Капитан кивнул:

— Нашли. Только пока это, Сергей, между нами.

— Конечно! А где нашли?

— Целая история. Отец Касьянова сам к нам принес. Не хочет, чтоб сынок в колонию попал. А сынок уже с Гавриловым оказался связан.

— А что за Касьянов?

— Ну, этот… Киса.

— Непонятно, — удивился Серёжа. — Когда Киса успел нож схватить?

— А он и не хватал… — вмешался лейтенант.

Георгий Матвеевич остановил его взглядом.

— Не все сразу… Спасибо, Сергей. Тебе ведь на урок надо?

Серёжа сразу пригорюнился.

— Что? Не хочется? — спросил капитан. — Уроки — вещь необходимая.

— Да не в уроке дело… Сейчас войду в класс с этой коробкой, и все опять на меня уставятся. Шуточки начнутся: "Ура, герой пожаловал…"

— А, вот в чем дело. Ну ладно, возьму грех на себя. Сорок минут у нас есть. Может, нам в кафе "Пингвин" заглянуть? Там пломбир с земляникой, у меня к нему давняя слабость. Ты на это как смотришь?

Серёжа смотрел положительно и не сумел это скрыть.

— Вот и хорошо, — сказал капитан. — А лейтенант Ковалевский не пойдет в кафе "Пингвин". Лейтенанту Ковалевскому на дежурство пора. Грустно бедному, а делать нечего — служба.

— Где мне угнаться за капитанами, — сказал лейтенант Серёжа. И мстительно добавил:

*Как-то раз два капитана*
*Подались до ресторана.*
*Первый прогулял урок,*
*А второй со службы сбег…*

— Ты поговори, поговори с начальством! — пригрозил Георгий Матвеевич. — Я тебе покажу, как эпиграммы сочинять. Со мной шутки плохи, я тебе не Пеликан с "вальтером".

Кафе было недалеко, за углом, и Серёжа не хотел было одеваться.

— Простынешь, герой, — забеспокоился Георгий Матвеевич.

— Что вы! Я закаленный. А если одеваться да раздеваться, можно не успеть.

— Успеем. Учитывая сложности момента, я использую служебное положение и пролезу в кассу без очереди.

Но лезть без очереди не пришлось, в кафе было пусто.

Георгий Матвеевич взял два пломбира и скомандовал:

— Налегай.

Серёжа налег.

Когда он почти доел свою порцию, Георгий Матвеевич спросил:

— А тот парнишка, Стасик… Он товарищ твой?

Серёжа смутился.

— Ну… наверно. Раз уж так получается. Понимаете, он все время в разные истории влипает, а мне приходится его вытаскивать.

— Плохо. Я ведь сначала думал, что он так, случайный попутчик.

— А что случилось? — встревожился Серёжа.

— Что случилось… Не должен был я тебе это говорить, да все равно узнаешь. Касьянов, чтобы оправдаться, всем приятелям уже раззвонил. Да и на суде скажут… В общем, Стасик этот маленький, глупый… Когда нож упал рядом с ним, он его в сапожок сунул. Так и ушел. А утром Кисе его унес, вот какое дело.

— Зачем? — ошеломленно спросил Серёжа.

— Кто же его знает? Может быть, сначала себе взять хотел — вещь красивая, блестящая, — а потом испугался. А может быть, с Кисой подружиться пожелал. Не понять. Его ведь не допросишь как следует: чуть чего — и в слезы.

Серёжа молчал целую минуту. Потом стиснул кулаки и тихо сказал:

— Если бы я знал, что он такой…

— А что бы ты сделал? — перебил Георгий Матвеевич. — Какой бы он ни был, он еще клоп. Я вот чего боюсь: как бы не стали к нему лезть с разными дразнилками, если про эту историю в школе узнают. Потому тебе и сказал заранее. Уяснил?

Серёжа машинально кивнул.

Мороженое было безвкусным и скрипучим, как

замешанный на воде песок.

## 11

То, что случилось потом, Серёжа вспоминал со стыдом и омерзением.

В школе он пошел искать Стасика. Сначала Серёжа не испытывал ничего, кроме жгучей обиды. Он хотел только сказать Стаське: "Я же из-за тебя, может, жизнью рисковал, а ты… Эх, ты!" Но потом, когда он Стасика увидел, в нем колыхнулось озлобление. "Веселится, будто ничего не случилось. Предатель…"

Стасик и правда веселился. Вместе с одноклассниками играл в чехарду. Заметив Серёжу, Стасик сник.

— Иди сюда, — велел Серёжа.

Они отошли в угол. Серёжа прислонился к стенке и с минуту молча смотрел на Стасика. Тот шмыгал носом, глядел в сторону и моргал.

Серёжа сдержанно спросил:

— Зачем отдал Кисе нож?

Стасик заморгал сильнее, и глаза у него набухли.

— Нет, ты это брось, — жестко сказал Серёжа. — Знаем мы эти трюки: чуть чего — и сразу слезы

пускать. Зачем отдал нож?

Стасик проглотил слезы и хотел опустить голову. Серёжа уперся пальцем ему в лоб и не дал.

— Ну?

Стасик отвернулся и стал смотреть в окно. Шепотом, но с незнакомой нагловатой ноткой он сказал:

— А чо?

Мгновенная злость как бы встряхнула Серёжу, и он ладонью хлестнул малыша по щеке.

Голова у Стаськи мотнулась в сторону и поникла как на стебельке. Серёжа увидел тонкую шею с отросшей косичкой светлых волос. В тот же миг волна отчаянного отвращения к себе хлынула на него и смыла все: злость, обиду, мысли о Стаськиной подлости. И одна только мысль сразу и четко застучала в нем: "Чем же я лучше его отца? Чем же? Чем? Чем я теперь лучше его?"

У Стаськи закапали уже непритворные слезы.

С тихим отчаянием Серёжа сказал:

— Перестань. Мне в тысячу раз хуже, чем тебе.

На них уже оглядывались.

Стасик стал послушно вытирать щеки ладонями. Ладони были грязные, и на щеках оставались разводы.

— Опять разукрасился. Пошли умываться, —

морщась, проговорил Серёжа. Взял его за руку и повел в туалет.

Он говорил и вел себя со Стасиком как обычно. Однако делал все почти машинально. Не был он сейчас прежним Серёжей Каховским, который честен перед всеми и перед собой. "Чем я лучше его отца?"

Если бы Стаська обиделся на пощечину, крикнул бы что-то грубое, убежал бы — тогда другое дело. Было бы легче. Но у него лишь голова мотнулась (а щека была мягкая и теплая), и он стоял и думал, наверно, только об одном: ударят еще или не ударят?

"Чем же я лучше папаши Грачёва?"

Стасик умылся, и Серёжа дал ему свой платок, запыленный на сгибах от долгого и бесполезного лежания в кармане.

— Вытрись.

Стасик вытер лицо, руки и замер в ожидании.

Скверно было Серёже, и ни о чем говорить не хотелось. Но один вопрос он все-таки задал Стаське. Потому что необходимо было понять до конца.

— Слушай, мне от тебя ничего не надо, — сказал он почти жалобно. — Скажи только одно: зачем ты отдал Кисе нож? Я тебя очень прошу.

Стасик переступил с ноги на ногу, мельком глянул Серёже в лицо, отвернулся и прошептал:

— Чтобы он не бил.

— Тебя?

— Ну...

— Разве он бил?

— Нет. Он только обещался, если двадцать копеек не принесу.

— А ты принес?

— У меня нету.

— А если бы были?

Стасик вздохнул.

— Иди к себе, — велел Серёжа.

Потом он пришёл в свой класс, незаметно взял портфель, объяснил Павлику Великанову, что у него зверски разболелась голова. Пусть скажет Татьяне Михайловне. Павлик посочувствовал. Еще бы! Столько волнений вытерпел человек.

Серёжа спустился в гардероб и наврал тете Лиде, что его отпустили с уроков. Получил пальто и выскочил на улицу.

Домой он не пошел. Тошно было идти домой. Он побрёл к реке.

В газонах лежала скованная ноябрьским морозом земля, и среди застывших комьев белела снеговая пыль. Ветер шуршал по асфальту су-

хими тополиными листьями. Они были уже не рыжие, а серые.

Готовальня не влезла в набитый портфель, и Серёжа нес ее в правой руке. Готовальня была шероховатая и холодная. Но Серёжа продолжал ощущать пальцами тепло и мягкость Стаськиной щеки. И от этого ощущения было даже хуже, чем от мыслей, что он ударил маленького и слабого — того, кто и не думал о защите.

Серёжа вышел на старый деревянный мост недалеко от пристани. Река застыла. Лед вспыхивал, когда из бегущих облаков проглядывало низкое солнце. У дебаркадеров стояли впаянные в ледяную броню буксиры, катера и сухогруз "Тобольск".

Серёжа грудью лег на перила. Ветер обжигал щеки и голые костяшки пальцев. Серёжа взял портфель и готовальню под мышки, а руки сунул в карманы. Готовальня выскользнула и упала.

"Награда… — горько подумал Серёжа. — За что? За Стаську?" Он совсем уже собрался ударом ноги сбросить готовальню на лед: пусть она пропадет пропадом, эта награда! Но удержался. Слишком уж девчоночьим был бы этот поступок.

Двое мужчин прошли у Серёжи за спиной, и один сказал:

— Сковало накрепко. А ледокола-то нет. Будем от пристани до завода лед взрывать. Грому наделаем на весь город…

Серёжа продрог. Поднял готовальню и побрёл домой.

Отец был уже дома. Тетя Галя ушла за Маринкой. Нок вышел к двери, замахал хвостом и взвалил передние лапы Серёже на плечи. Серёжа щелкнул его по носу.

— Отвяжись.

Отец сразу увидел готовальню.

— Откуда это?

— От милиции, — невесело сказал Серёжа. — На линейке дали. Под бурные аплодисменты.

— Ну? Поздравляю!

— Спасибо, — ответил Серёжа совсем похоронным тоном.

Отец пригляделся к нему.

— По-моему, ты собрался реветь. Да?

— Нет. Не собрался. Но хочется… Папа! Это ведь Стаська, оказывается, нож подобрал. А потом он его Кисе отдал.

— Да ты что? Серьезно?

— Мне капитан сказал. Георгий Матвеевич.

Отец обнял себя за плечи, покачался с носков на пятки. Долго смотрел куда-то поверх Серёжи.

Будто задачу решал.

Потом спросил.

— Зачем же он так?

— Говорит, чтобы Кису задобрить. Чтобы он не бил его.

— А-а… — протянул отец словно с облегчением.

— Папа… Я его ударил.

Он ожидал самого худшего. Думал, что у отца сделается чужое лицо и тот скажет коротко и холодно: "Вот это подвиг. Ты действительно герой". Но отец выжидательно смотрел и молчал.

— Я сам не знаю, как это вышло, — пробормотал Серёжа. — Просто сорвалось что-то.

Взгляд у отца был не сердитый, даже сочувствующий. Но он продолжал молчать.

— Я его не сильно… пальцами, — тихо сказал Серёжа.

— По-моему, чем больше ты оправдываешься, тем тебе противнее, — заметил отец. — Так?

— Так…

— Ну, тогда помолчи.

Серёжа потупился и сел на табурет у двери.

— Скверное дело, конечно, — сказал отец. — Плохо ведь не только то, что ты ударил. Капитан тебе всю эту историю рассказал, потому что видел

в тебе Стаськиного заступника. Несмотря ни на что. А ты вон как…

— "Заступника", — горько сказал Серёжа. — За него заступаешься, а он с этим Кисой чуть не целуется… Ну сейчас-то почему он этого Кисы боится? Он же видел, как тому попало!

— Видел. Ну и что? А он, может, думает вот как: "Сегодня Кисе попало, а завтра Киса на мне отыграется…" Понимаешь, Сергей, этот малыш больше всего на свете боится боли. Он уже привык сгибаться перед каждым, кто может ударить. Тебе этого, наверно, не понять. Ты ведь не представляешь, что значит бояться каждый день. А он идет домой — боится ремня; идет в школу — боится двойки, потому что потом дома снова расправа будет. Сунется на улицу — а там всякие кисы и гусыни. И так все время. У него страх — главный руководитель в жизни…

— Да я это все знаю, — перебил Серёжа.

— А если знаешь, о чем тогда говорить?

— Я не знаю, что теперь делать.

— Что делать? Да и я не знаю, по правде говоря. Легче всех Стасику. Он и забыл уж, наверно, как ты его смазал. Для него одной оплеухой больше, одной меньше — не все ли равно? Он их столько получал…

Серёжа не заметил насмешки. Он с досадой сказал:

— Дело даже не в нем, а во мне.

— Вот как? — жестковато спросил отец. — Ты уверен? А может быть, все-таки в нем? Ты сейчас терзаешься: "Ах, какой я неблагородный!.." А может быть, лучше подумать, как Стаську избавить от страха?

"А ведь правда! Я из-за себя только и мучаюсь", — понял Серёжа. И вдруг ему ясно увиделось, что стоит он среди высокой травы, а пятеро всадников, которые были рядом, поворачивают коней и медленно уезжают с поляны.

— Нет, не надо! — крикнул им Серёжа и зажмурился.

— Что с тобой? — спросил отец.

— Папа! Я к Наташке сбегаю. Мне срочно…

— Да ты разденься, поешь сперва.

— Нет, я быстро.

Однако он тут же сообразил, что ни Наташи, ни Стаськи еще нет дома. Они появятся не раньше, чем через час, когда закончатся четыре урока. Пришлось раздеться, разогреть обед, поесть, а потом еще сидеть и ждать, когда часы покажут половину шестого. Наконец время подошло, и он побежал к Наташе.

Серёжа и сам точно не знал, зачем стремился туда. Но казалось, что если он встретит Стасика и увидит, что Стасик спокоен и глаза у него сухие, будет легче.

Но Стасик не был спокоен. Об этом сказала Наташа, которая попалась навстречу.

— Ты к нам? Вот хорошо! А то я одна. Грачёв опять Стаську пилит. Опять: "Я с пятнадцати лет работаю... и тебя человеком сделаю..." А кто его заставлял с таких лет работать? Сам восьмой класс не кончил, с жуликами связался, чуть под суд не попал, а потом с перепугу на завод учеником устроился. А в школу так и не захотел пойти. Мне папа говорил, он его, оказывается, с детства знает.

— Ты куда? — спросил Серёжа.

— За молоком. Возьми ключ, я сейчас вернусь.

Серёжа отпер дверь и остановился в коридоре. Здесь был слышен недобрый голос Грачёва.

— Ну-ка, подойди сюда. Кому я говорю? Подойди, говорю. Если нужно будет, все равно никуда не денешься. Это что у тебя в дневнике?

— Папа...

— Что "папа"? Я сколько раз говорил: веди дневник аккуратно? Сколько? за последнюю неделю только раз десять!

"Десять!" — машинально повторилось в голове у Серёжи. И это было как толчок. "Девять, восемь, семь, шесть…"

— Не верти носом, смотри прямо. И отвечай.

— Папочка…

Серёжа смотрел на дверь. Сдерживать себя он не собирался. Он просто сжимал в себе ненависть, как пружину.

"Четыре, три, два…"

— Ты мне ответишь? Будет это еще продолжаться или нет?

— Нет. Не будет. То есть буду… Не буду… Папа!

"…Один, ноль!"

Он рванул дверь.

И оказался на пороге комнаты, в которой не был с тех пор, как уехал в лагерь.

Сначала он увидел не Стасика и не старшего Грачёва. Он увидел Стаськину мать. Впервые.

Серёжа почему-то представлял ее бледной и вечно испуганной. А это была полная тетя с бигудями на крашеных волосах. Она сидела в кресле и бойко орудовала вязальными спицами. Лицо у нее было такое, словно ничего на свете ее не касалось.

Стасик, в майке и стареньких тренировочных брюках, стоял в углу между шкафом и теле-

визором. Он прижимался к стенке и неловко растопыривал острые локти.

Папаша сидел у стола с дневником в руке.

Все трое обернулись к Серёже. У Стасика распахнулись глаза. У матери приоткрылся рот. Старший Грачёв недовольно сказал:

— Стучать надо.

— Не всегда, — сказал Серёжа.

— Что?

— Не всегда надо стучать, — повторил Серёжа, глядя в бледные глаза Грачёва. — Иногда входят без стука. Я вот что хочу сказать: если еще раз… хоть пальцем… тронете Стаську… — от волнения и злости он стал сбиваться.

— То что будет? — со спокойной насмешкой спросил Грачёв.

Серёжа не знал, что будет. Но он сжал пальцы и отчетливо произнес:

— На хорошую жизнь тогда больше не надейтесь.

Грачёв развернулся в сторону Серёжи вместе со стулом и медленно проговорил:

— Молодой человек, притвори-ка дверь. С той стороны. Люблю героев, но только за порогом своей квартиры.

— Раньше это была моя квартира! — громко,

почти с криком, ответил Серёжа. — Если бы я знал, кто здесь будет жить... я бы... отравой все стены пропитал. Стаську только жалко.

Грачёв поднялся и подошел к Серёже. Тот следил без страха, даже с любопытством: что он может сделать?

Грачёв сделал очень простую вещь: ухватил Серёжу за плечи и выставил в коридор. Пальцы у него были крепкие, как железо.

Шепотом, в спину Серёже, Грачёв сказал:

— Гуляй, сосунок. Если еще раз сунешься... — И он добавил такую мерзость, что Серёжа машинально развернулся, но дверь уже захлопнулась.

Несколько секунд Серёжа смотрел на нее, борясь с могучим желанием врезать ботинком. Он кипел от бешенства. Но колотить ногами в дверь глупо. Это от бессилья только. А где сила?

"А что, нет на тебя силы? Подожди, ты еще узнаешь!" — подумал Серёжа. Хлопнул наружной дверью и выскочил на улицу.

Только бы застать на работе Георгия Матвеевича! Он-то скажет, что делать! Должна же быть управа на этого типа!

До отделения милиции Серёжа не дошел. В квартале от него он столкнулся с лейтенантом Серёжей Ковалевским. Вернее, врезался в него.

— Ну и скорость у вас, дорогой капитан, — сказал лейтенант, держась за ушибленный живот. — В какую новую битву стремитесь?

— К вам стремлюсь.

— А что случилось? — тут же насторожился Ковалевский.

— Да случилось… У Стаськи.

И он рассказал. Сбивчиво и сердито, но, в общем-то, понятно. По-крайней мере Ковалевский сказал:

— Понятненько.

— Ну, что делать?

— Есть два варианта, — как бы размышляя вслух, ответил Ковалевский. — Первый вариант — пойти посоветоваться с начальством. Второй — для начала посмотреть хотя бы, что это за фигура Грачёв. Первый — разумнее, второй — оперативнее.

— А разве вы сами не начальство? — спросил Серёжа

— Ну, в какой-то степени… Ладно, идем.

Когда они поднялись по лестнице, увидели Наташу. Она топталась перед закрытой дверью.

— Стучу, стучу, никто не открывает. Грачёв спросил, услышал что я, и замолк… Ты куда исчез?

— По делам службы, — ответил за Серёжу Ковалевский

Наташа взглянула на него со сдержанным любопытством

Серёжа торопливо отпер дверь.

В коридоре Ковалевский спросил:

— Где его комната? Эта? — И он постучал согнутым пальцем.

— В чем дело? — донесся голос Грачёва.

Лейтенант осторожно открыл дверь и встал на пороге.

— Гражданин Грачёв?

Из-за спины Ковалевского Серёже видно было, как Грачёв изменился в лице. Но ответил с вызовом:

— У меня дома все в порядке. Почему вы ко мне вторгаетесь?

Лейтенант сделал шаг назад.

— А вы, гражданин Грачёв, пройдите в коридор, чтобы не было речи о вторжении, здесь и побеседуем.

Стаськин отец нехотя вышел. Бросил нелюбезный взгляд на Серёжу и Наташу.

Ковалевский очень сдержанно сказал:

— Есть сведения, что вы плохо относитесь к сыну. Вы понимаете, о чем я говорю, не так ли?

Настолько плохо, что это серьезно вредит ему. Возможно, из-за этого он чуть-чуть не помог преступнику.

— Вы что, воспитывать меня пришли? — спросил Грачёв. Он, видимо, успокоился.

— Нет, не воспитывать, — сказал Ковалевский. — Я совершенно уверен, что это бесполезно. Я пришёл предупредить. Сейчас я исполняю обязанности участкового уполномоченного. Если мне поступит письменное заявление, что сын опять пострадал от вас, а кроме того, найдутся люди, которые подтвердят, что такие случаи бывали и раньше (а они, видимо, найдутся), я напишу рапорт о возбуждении уголовного дела. Надеюсь, вы меня поняли. До свиданья.

Серёжа и Наташа проводили Ковалевского до угла. Было уже совсем темно, и стало еще холоднее, чем днем. Серёжа дышал на руки.

— Сейчас Грачёв поутихнет, — уверенно сказала Наташа. — Он перепугался. Он ведь трус.

Ковалевский покачал головой.

— Эх, ребятки… Если бы все так просто было… Едва ли одним разговором здесь исправишь дело. Нам с такими Грачёвыми еще возиться и возиться. И воевать.

И Серёжа понимал, что лейтенант прав.

Ну что ж, теперь он опять был готов к бою. Всадники въехали на поляну и остановились полукругом. Они смотрели на Серёжу чуть насмешливо, но по-доброму.

Когда Серёжа вернулся домой, ему казалось, что все теперь позади: вся эта история с дракой в переулке, с ножом, со Стасиком. Словно перевернули страницу.

Но едва он вошел к себе в комнату, как зазвонил телефон.

— Серёжа! Тебя! — позвала тетя, Галя. И обеспокоенно добавила: — Какой-то мужчина. Неужели из милиции?

Голос был взрослый, глуховатый. Неизвестно чей, но очень знакомый.

— Сергей? Ну здравствуй. Не узнаешь?

— Нет, — сказал он. — Извините. По телефону трудно…

— Помнишь станцию Роса?

— Алексей Борисович!! — заорал Серёжа так, что в кухне у тети Гали что-то загремело, а в комнате басовито залаял Нок.

— Это я, — раздалось в трубке. — А там у вас кто лает? Неужели Нок?

— Ага!

— Значит, живой, бродяга!

— Конечно!

— Да-а... Ну, как живешь, всадник?

— Ох, живу, — отозвался Серёжа. — А вы?

— И я... А знаешь, почему я позвонил? Впрочем, конечно, не знаешь. Выдам одну тайну. Я сижу сейчас в редакции, у дежурного, и смотрю оттиски завтрашнего номера. У меня там репортаж с судоремонтного завода. И вдруг рядом с репортажем читаю... Ты слушаешь?

— Слушаю, — напряженно сказал Серёжа.

— Заголовок такой: "Есть мушкетеры!" А дальше вот что:

"Двадцатилетний Василий Гаврилов не любил трудиться. Школу он не закончил, ни на одной работе не задерживался. А деньги были нужны: на мотоцикл, на магнитофон, на выпивку. И Гаврилов стал преступником. Несмотря на молодость, у него немалый уголовный стаж: две судимости за хулиганство и ограбление.

Освободившись из колонии летом этого года, Гаврилов продолжал бездельничать. Жил за счет своей матери и вынашивал планы "крупного дела". Первого ноября он ограбил промтоварный магазин "Речник" в районе пристани. Пока шел розыск, преступник отсиживался на квартире у приятеля.

Любовь к спиртному ускорила разоблачение грабителя. Выпив полбутылки, Гаврилов решил "освежиться" и вышел на улицу.

В это время по переулку шел шестиклассник Сергей Каховский, он провожал домой после школьного собрания двух ребят-второклассников. К ребятам пристали четверо подростков, потребовали деньги, затеяли драку. Серёжа не подчинился хулиганам.

Гаврилов подошел на шум и решил помочь "юным коллегам". Но мальчик не отступил и здесь. Ударом рейки, оторванной от палисадника, он сбил с ног вооруженного бандита. В это время подоспела милиция, которую вызвал один из второклассников.

Выйти победителем из схватки смелому пионеру помогла "мушкетерская наука", которую он освоил в фехтовальном клубе "Эспада".

— Вот такие дела, брат... — Сказал Алексей Борисович, закончив чтение. — Что молчишь? Все правильно написано?

— Кажется... — неловко сказал Серёжа. — Алексей Борисович! А вы больше не встречали ребят из конного отряда "Гренада"?

— Нет, Серёжа. Жаль, но пока не встречал. А что? Вспоминаются?

— Конечно.

— И мне тоже. Ну и хорошо. По крайней мере я теперь знаю, что не зря их тогда поднял по тревоге.

Серёжа помолчал. Он тоже знал, что не зря.

— Ну, будь счастлив, — сказал Алексей Борисович. — Не забывал бы ты меня, а? Звони. Номер телефона в газете есть, там, где написано "секретариат".

— Обязательно позвоню! Спасибо!

Серёжа услышал короткие гудки и опустил трубку. Но едва она коснулась аппарата, как телефон опять взорвался трезвоном.

Звонил Кузнечик:

— Серёжка! Ты куда из школы пропал? Даже не сказал ничего... Ну ладно, я не об этом. В клубе срочный сбор! Не забудь надеть форму!

Было семь часов вечера.

## 12

Ветер, который гулял днем, расчистил небо от облаков и утих. В тишине и черноте сияли морозные звезды.

Серёжа отправился в клуб не в шапке, а в форменном берете, и холод хватал его за уши. Серёжа

закрывал их ладонями и поддавал ходу. Но он торопился не только из-за мороза. Срочный сбор — дело нешуточное. Значит, что-то случилось.

Он проскочил арку подъезда, оказался во дворе и встревожился: окна клуба ярко горели, но не было слышно обычного гомона. Подбегая к двери, Серёжа заглянул в окно и успел заметить, что ребята стоят в строю.

Неужели опоздал? Но всего пятнадцать минут прошло с той поры, как позвонил Кузнечик. Да и что значит "опоздал"? Срочный сбор — не линейка, которую начинают минута в минуту. Сбор открывается, когда сбегутся все, а на это уходит минут сорок.

А тут не дождались даже капитана!

...Но он не опоздал.

Его-то как раз и ждали.

Серёжа понял это, едва ступил на порог спортзала.

У каждого бывают в жизни звездные часы. Пришёл такой час и к Серёже Каховскому.

Как только Серёжа показался в дверях, коротко пропела труба, ряды колыхнулись и замерли. А барабанщики грянули какой-то длинный незнакомый сигнал.

Они стояли отдельной шеренгой, слева от зна-

менной группы, шестеро лихих, подтянутых и удивительно славных мальчишек. Они сверкали нашивками, аксельбантами и белыми ремнями. Палочки в их тонких руках, с которых еще не сошел до конца летний загар, мелькали так, что казались размазанными в воздухе. Отражения ламп горели на алых боках и металлических обручах барабанов.

Барабанщики смотрели на Серёжу и улыбались. Они были разные: темноволосые и светлые, веснушчатые и смуглые, а улыбки у них были похожие: веселые, белозубые, добрые.

И Серёжа улыбнулся им в ответ.

В дальнем углу, позади строя, стояла группа взрослых, и с ними был Олег. Серёжа увидел там Юлю-вожатую, Митину маму и… директора школы. И отца.

Не было времени, чтобы удивиться или растеряться. Барабанщики оборвали сигнал, но барабаны их не смолкли совсем, а продолжали приглушенно рокотать. (Как это у них получается? Палочки почти неподвижны, а от барабанов идет ровный гул, словно голос прибоя в радиопостановке "Тайна Марии Целесты".)

И на фоне этого глухого рокота прозвучала команда Володи Огонькова — дежурного коман-

дира:

— Капитан Каховский — на середину!

Серёжа сделал несколько шагов и остановился прямо на черте, которая делила пополам фехтовальную дорожку. Он стоял лицом к знаменной группе, слегка щурился от яркого света и ждал. Ему казалось, что от больших ламп струится тепло, какое бывает летом, когда стоишь на горячем песке у синей воды.

— Отряд, внимание! — скомандовал Володя Огоньков.

Барабанщики стихли совсем. Олег вышел на дорожку и встал в трех шагах от Серёжи. Лицо у него было торжественное, почти строгое, но в глазах играли хорошие искорки.

Олег быстро улыбнулся Серёже. Затем стал строгим, вытянулся, развернул длинный лист ватманской бумаги, похожий на старинный пергаментный свиток. И прочитал:

*За мужество при встрече с врагом*

*пионерский отряд фехтовальщиков «Эспада»*

*капитану группы Сергею Каховскому*

*вручает именную шпагу.*

Вот этого Серёжа не ждал!

Он думал: может быть, благодарность, диплом, разрисованный братьями Ворониными, или даже похожий на орден значок — вроде Митиного чемпионского жетона.

Но шпага! Он никогда не посмел бы и мечтать о ней.

Барабанщики грянули марш-атаку. Строй раздвинулся, и со шпагой в руках сквозь шеренги вышел на середину Митька. Он встал перед Олегом. Олег свернул свиток, заправил его в кольцо из красной ленты и надел на клинок.

Митька встал к Серёже лицом и двумя руками протянул шпагу.

Да, это была не рапира, а тяжелая трехгранная спортивная шпага. С черной отшлифованной рукояткой, с большой сверкающей гардой, на ободке у которой Серёжа наполовину прочитал, наполовину угадал надпись: "Сергею Каховскому — отряд "Эспада". Смелость и честь".

"Стой! — вдруг словно кто-то неслышно крикнул ему. — Подожди. Можно не брать. Можно сказать, что еще не надо пока. Лучше потом. Будет небольшая заминка, но, наверно, все поймут".

"Зачем?"

"Но если ты возьмешь — это на всю жизнь. Ты никогда уже не сможешь отступить. Ни перед

каким врагом. Ни разу в жизни..."

Серёжа прикусил нижнюю губу, глянул Митьке в глаза и вытянул навстречу ему руки. Он взял шпагу в раскрытые ладони. Потом сжал клинок, медленно согнул локти и прижал шпагу к груди.

Он обводил взглядом товарищей и встречался с ними глазами.

Володя Огоньков, Андрюшка Гарц, Алешка Смирняков... Валерик и Вовка Воронины... Ленька Мосин! Он стоит еще без нашивки, но смотрит честно и не отводит глаз... И Генка — самый хороший друг, самый лучший на свете Кузнечик (вот балда, не догадался позвать Наташку... Ой, нет, вон она, рядом с отцом!).

Барабанщики закончили марш.

Снова раздалась команда:

— Внимание, "Эспада"!

Капитаны и ассистенты у знамени в приветствии вскинули рапиры.

Тогда Серёжа перехватил шпагу за рукоять, вытянул клинок из ватманской трубки, как из ножен, и тоже поднял его перед собой.

В этот миг от тяжелого удара колыхнулся пол и дрогнули стекла. Казалось, за окнами сама темнота встряхнулась и по ней разбежались трещины. Это на реке от пристани до завода пробивали

канал.

И маленький Вадик Воронин громким шепотом сказал:

— Как салют.

## *Часть третья*
## *ФЛАГ-КАПИТАНЫ*
## 1

Серёжа проснулся со смутной тревогой. Словно грозили какие-то неприятности. Какие? Он постарался сообразить.

Кажется, все в порядке. Вчера проявили пленку, на которую снимали драку в таверне "Жареный петух" — мушкетеры против гвардейцев. Получилось так, что даже сдержанный Олег улыбался весь вечер.

Может быть, что-то со Стаськой? Но отец у него уехал куда-то, а сам Стасик, скорее всего, ночует у Лесниковых: ему нравится, а мать не запрещает, ей все равно.

С оценками тоже все нормально, даже за контрольную по физике четверка.

Что еще?

Татьяна Михайловна звонила отцу, чтобы зашел в школу. Татьяне Михайловне кажется, что он, Серёжа, слишком часто лезет на рожон. Где надо и где не надо. Это уже не первый разговор. Но сам-то Серёжа знает, что не часто. Лишь там,

где надо. И с отцом они понимают друг друга.

Серёжа спустил с постели ноги и громко сказал:

— Нок!

Застучали по паркету когти, и косматая голова сунулась в дверь.

— Здрасте, ваше лохматое высочество, — сказал Серёжа. — Гуляли?

Нок всем видом показал, что и рад бы, да не пускают.

Серёжа глянул на будильник.

— Я отпущу. Только на десять минут, а то обоим попадет. Понял?

Нок изобразил удовольствие и послушание.

Отпускать Нока одного не полагалось: мало ли что может случиться. Но у Серёжи для прогулки не было времени.

Он выпустил пса, рванул со стены шпагу, тремя свистящими взмахами посшибал на пол спичечные коробки, которые еще вечером расставил на столе и спинках стульев. Потом сделал несколько торопливых отжиманий и приседаний.

Отдышался, прикинул в уме: много ли уроков? Кроме алгебры, все сделаны. С алгеброй можно управиться на вахте. Сегодня занятий в отряде нет, работы у вахтенного командира немного.

Серёжа крикнул в открытую форточку:

— Нок, домой! — и стал натягивать форменную рубашку.

Тревога слегка улеглась. Но совсем не исчезла.

Неприятности пошли с самого начала вахты. Прежде всего он целых пять минут искал под порогом ключ. Безголовый Андрюшка Гарц запихал его вчера в самый угол тайника и присыпал мусором.

Потом Серёжа обломал ногти, пытаясь открыть окно. Рама разбухла и не поддавалась. Серёжа чертыхнулся и стал искать глазами подходящую железяку. В углу кают-компании на полу стоял Серёжин рыцарский замок из пенопласта. Его принесли сюда для съемок. Холм, на котором возвышались башни и стены, был сделан из папье-маше. Для прочности внутрь этого холма ребята вставили упругий обломок рапирного клинка.

Серёжа приподнял макет, вынул обломок и снова подступил к оконной створке.

Домоуправление никак не хотело отключить лишние батареи, и в комнатах "Эспады" всегда стояла влажная жара. В самые лютые зимние дни ребята здесь занимались в летней форме. Но и это не спасало, приходилось постоянно распахивать

окна. Проветрить помещение — это была первая обязанность каждой вахты.

Наконец створка поддалась, и морозными глыбами ввалился в окно февральский воздух.

Серёжа передохнул и посмотрел на часы.

Вот тут-то и начались главные неприятности. Оказалось, что старые отрядные ходики, которые притащили в "Эспаду" братья Воронины, показывают уже четверть десятого. А Димки нет. Помощник вахтенного командира, барабанщик "Эспады" Дмитрий Соломин, не изволил явиться на дежурство.

"Ну, подожди же..." — сердито и беспомощно подумал Серёжа.

Сердито — потому что опоздание на вахту штука серьезная, а ненаглядный Димочка выкидывал этот фокус уже третий раз. А беспомощно — потому что устроить помощнику заслуженную нахлобучку Серёжа никак не решался. Все-таки это же Димка...

Появился Димка только в половине десятого. Грохнула наружная дверь, потом в раздевалке послышалась торопливая возня: Димка освобождался от зимней амуниции. Наконец он появился в кают-компании, слегка взлохмаченный, розовый от мороза. На ходу протянул в петли белый

ремень, щелкнул пряжкой и встал перед Серёжей, виновато махая желтыми ресницами.

— Ну? — сказал Серёжа.

Димка опустил нос, пальцами провел по стрелкам на шортиках, словно проверял их остроту, и честно ответил:

— Проспал.

— Очень уважительная причина, — язвительно заметил Серёжа.

Димка вздохнул:

— Я и не говорю, что уважительная…

— Третий раз опаздываешь… Может, объяснишь хотя бы, почему проспал? Мне про это в вахтенный журнал записывать.

Димка беззащитно поднял ясные глаза. Не хотел он ни оправдываться, ни молчать упрямо.

— Ну, я читал… Данилка книжку дал "Двадцать лет спустя". Она такая толстая, а дней мало, потому что очередь. Я вчера читал, читал, пока мама фонарик не отобрала. И говорит: "Если проспишь, будешь сам виноват". И не разбудила.

— Значит, мама виновата, — сказал Серёжа.

— Нет, конечно, — возразил Димка почти испуганно. — Это я виноват.

Он опять вздохнул и стал теребить аксельбант на рубашке. Серёжа начал злиться. И на Димку, и,

главное, на себя — за нерешительность. Он был капитан и командир вахты — значит, следовало принимать меры.

— Оставь в покое шнур, — досадливо сказал он.

Димка послушно опустил руку.

Бессознательно отдаляя неприятный миг, Серёжа спросил:

— Может быть, у тебя есть еще какая-нибудь причина? Серьезная?

Не опуская глаз, Димка помотал головой: не было у него серьезной причины. Глядя мимо Димки, Серёжа деревянным голосом сказал:

— Два часа ареста.

Димка моргнул. Один раз. Потом заморгал часто. Потом в упор глянул на Серёжу: "Ты не пошутил?"

— Вот так, — мрачно сказал Серёжа, ощущая моментальное раскаяние.

Димкины глаза стали слегка влажными. Серёжа почти обрадовался: если Димка пустит хоть слезинку, можно будет сразу отменить наказание. Есть неписаное правило в "Эспаде": если человек начинает плакать, никаких взысканий ему не дают. Слезы — и так дорогая расплата за вину. Если, конечно, человек этот не очень боль-

шой, а вина не очень страшная.

Но Димка не поддался слезам. Только голос его стал сипловатым. Он посмотрел на Серёжины ботинки и тихо спросил:

— А когда?

— Сейчас, — все так же хмуро сказал Серёжа. Отступать было некуда.

— Я же на вахте.

— Не нужен мне такой помощник. Обойдусь.

— А... где сидеть? — спросил Димка и слегка покраснел.

Конечно, специального помещения для "арестантов" не было. Если кто-то зарабатывал столь суровое взыскание, то отбыв свой час или два где-нибудь в уголке кают-компании или отправлялся в фотолабораторию.

— Иди в лабораторию, — сказал Серёжа. — Мне здесь надо пол мыть.

— Я могу сам вымыть. А потом отсижу, — почти шепотом сказал Димка.

— Ага. И опоздаешь в школу. Давай отправляйся.

Димка сделал шаг к двери и оглянулся. Он словно говорил глазами: "Может быть, ты все же пошутил? Ведь это же я — Димка. Тот, который с тобой в лагере был. Тот, который подарил тебе

маленького синего краба..."

— Сними ремень, — сказал Серёжа, терзаясь все пуще.

Димка медленно потянул из петель пояс. Потом свернул его в тугое кольцо, сжал это кольцо в ладонях, понурил голову и шагнул в коридор.

— Куда ты с ним? Оставь ремень на столе, — сказал ему в спину Серёжа.

— Зачем? — откликнулся Димка слегка вызывающе.

Серёжа почувствовал, что Димка пытается отстоять свое достоинство и остаток свободы. Он будто говорил: "Арестовал ты меня? Ладно. Заставил снять ремень? Пусть. Но нигде не сказано, что нельзя снятый ремень брать с собой. Вот и беру".

— Ну и шут с тобой, — буркнул Серёжа.

В лаборатории Димка сел на табурет перед увеличителем, поставил пятки на сиденье, обнял колени и замер.

— Зажги свет, — сказал Серёжа.

— И так хорошо, — хмуро отозвался Димка.

Лаборатория была в крошечной комнатушке с окном, закрытым фанерой. Ветхая фанера сквозь щели и дырки пропускала солнце, и полумрак был пробит узкими лучами.

Серёжа постоял в дверях, потом снова на себя

рассердился и ушел.

— Запирай, — сказал Димка вслед.

— Зачем? Сбежишь, что ли? — досадливо откликнулся Серёжа.

Дверь осталась полуоткрытой.

Надо было делать уборку, а потом браться за алгебру. А на душе кошки скребли. Конечно, Димка получил свои два часа за дело. Но Серёжа боялся. Просто-напросто боялся, что Димка обидится. Крепко обидится и, может быть, навсегда.

Ну что ему до Димки? И не такие уж друзья вроде бы. И встречались-то не чаще раза в месяц, пока не пришёл Димка в отряд. Да и в отряде виделись не часто. Главным образом на вахте. А вот надо же: грызет и грызет беспокойство.

"Сам притащил его в отряд. Вот и радуйся", — мстительно сказал себе Серёжа.

Действительно, сам привел Димку в "Эспаду"...

А что было делать?

Только раз в жизни видел Серёжа Димку грустного, с мокрыми глазами. Это случилось перед зимними каникулами. Димка сидел в опустевшей школьной раздевалке. Хотел, видно, одеться, да так и не собрался: бросил на колени пальтишко, уперся в него локтями, уткнулся в кулаки подбородком и, обиженно моргая, смотрел куда-то

сквозь стену.

— Дим! — встревоженно сказал Серёжа. — Ты что?

Димка сердито дернул плечом: не приставай, мол, и так тошно. Но Серёжа не ушел, конечно.

— Что случилось?

— Ничего, — сипло сказал Димка.

Серёжа немного обиделся.

— Слушай-ка, — сказал он в упор. — Когда мне было плохо и ты мне помогал, я ведь не рычал на тебя, а наоборот… Что же ты? Я ведь тоже помочь хочу.

Димка глянул на него быстро и чуть виновато.

— Как ты поможешь? Никто уже ничего не сделает… Да и не надо.

— А вдруг? — упрямо сказал Серёжа. — Ты расскажи.

Димка сердито поморгал, стряхивая капли с ресниц.

Недоверчиво поднял глаза.

— А смеяться не будешь?

— Ты спятил!

Димка отвернулся и шепотом сказал:

— Я хотел быть барабанщиком…

Вот такая случилась история. Простая и невеселая. Всю жизнь мечтал Димка стать барабан-

щиком. Даже по ночам снился ему краснобокий барабан с тугой белой кожей. К такому барабану приблизишь ухо и сразу услышишь тихий-тихий, но неумолкающий гул. То ли топот далекой конницы, то ли голос океанских штормов.

Ни дошкольников, ни октябрят не берут в барабанщики. Димка рос, надеялся и ждал своего часа. И даже когда Клавдия Семеновна велела всем третьеклассникам написать в стенгазету, кто кем хочет быть, Димка решился и написал, что барабанщиком. И больше никем.

Когда третьеклассников стали готовить к приему в пионеры и пришла пора делать у них свой отряд, кое-кто из ребят вспомнил про заметку и сказал, что надо бы выбрать в барабанщики Димку Соломина. Однако Клавдия Семеновна обратила внимание класса на то, что у Соломина во второй четверти снизилась успеваемость: тройка по русскому грозит. А барабанщик всегда идет впереди отряда, с него все должны брать пример. Какой же здесь пример?

Будто у него на пузе эта тройка написана!

В общем, выбрали в барабанщики Вовку Быкова. У него тоже тройка, но не по русскому, а по физкультуре…

— Елки-палки, — сказал Серёжа, услыхав про

такое дело, и повел Димку к старшей вожатой.

Юля была заморочена подготовкой к новогоднему вечеру. Димкину историю она выслушала без особого интереса.

— Ну и что? — сказала она. — Ты, Соломин, тройку постарайся исправить, а потом что-нибудь придумаем. На будущий год…

— Юля! — перебил Серёжа. — Человек столько лет ждал, а теперь еще целый год ждать! Разве в барабанщики за оценки берут?

Юля оглянулась на горестно отошедшего Димку и сказала полушепотом:

— Ну подумай: что я сделаю? Клавдия Семеновна меня еще в первом классе учила. Что я, пойду к ней и скажу: "Вы не правы"?

— Скажи что хочешь. Лишь бы Димке дали барабан.

— Но ведь ребята же голосовали, все решили… А куда этого Быкова девать?

— Быкову барабан нужен как ежу моторная лодка. Он и не хотел даже. Это во-первых. Во-вторых, можно дать им еще один барабан. Вон их сколько у тебя в хозяйстве. Пусть будет два барабанщика в отряде… Или запиши его в сводный отряд при знаменной группе.

— В сводный можно только с пятого класса…

И если я Соломина возьму в барабанщики, Клавдия Семеновна сразу решит, что я подрываю ее авторитет.

— Все правильно! — накаленно сказал Серёжа. — Все точно ты рассудила… Прямо как электронная машина. Разложила по полочкам. Только на фига твоя правильность, если от нее у Димки слезы!

Юля озадаченно помолчала.

— Слушай… — начала она растерянно. — Ты все-таки думай… Я все-таки старшая вожатая…

— Ну конечно, — откликнулся Серёжа. — Извини, пожалуйста. Но ты еще и сестра барабанщика. Надо бы понимать…

Юля хотела ответить. Но Серёжа ухватил Димку за руку и вытащил из пионерской комнаты.

— Потерпи до завтра, — попросил он.

А утром встретился в отряде с Данилкой.

— Можешь взять в команду хорошего человека?

Данилка глянул подозрительно. Он ревниво оберегал свою группу от всякого вмешательства.

— Зачем еще? — спросил он.

— В барабанщики хочет. Давно уже.

— Мало ли кто хочет в барабанщики, — уклончиво заметил Данилка. — Барабанов-то лишних

нет. Вон Митьку и то не можем в группу взять. И Вадька Воронин ходит в запасных

— Митька уже большой. А Вадька еще маленький. А этот в самый раз… Я твою сестру просил, чтобы в сводный отряд взяла, а она уперлась. Как стенка.

Данилка, однако, разгадал этот хитрый прием.

— Думаешь, если мы с Юлькой спорим, значит, я ей назло должен делать?

— Ничего я не думаю, — сердито сказал Серёжа. — Ты торгуешься, а там человеку плохо до слез.

Когда человеку очень плохо, спорить, конечно, нелегко.

— Где барабаны-то брать? — ворчливо произнес Данилка.

— Олег же обещал достать.

— Он сколько уж обещает…

— Данила… — укоризненно сказал Серёжа.

Данилка со вздохом спросил

— Что хоть за человек-то?

— Знаешь какой парень! Он никогда не подведет!

…Через десять дней Серёжа поинтересовался у Данилки:

— Ну как мой Димка?

Данилка дерзко хмыкнул и ответил коротко:

— Не твой, а наш.

В общем, все было бы хорошо, если бы не эти дурацкие опоздания на вахту.

Серёжа вымыл пол в кают-компании и стал подметать в коридоре. В полуоткрытую дверь лаборатории он видел Димку.

Димка на дверь не смотрел и Серёжу не замечал. Он развлекался с ремнем. Пряжкой отпечатал на ладони звезду. Ладошку, словно зеркальце, подставил под солнечный луч и полюбовался на отпечаток. Потом зачем-то лизнул его. Подумал, оттиснул звезду на коленке, но лизать не стал, а запрокинул лицо и вытянул губы трубочкой, словно засвистел тихонько. Затем повесил ремень на увеличитель, обнял себя за плечи и задумался.

"Наверно, ему кажется, что уже целый час прошел", — подумал Серёжа. А прошло восемь минут.

Можно было бы и отпустить "арестанта", но Серёжа чувствовал, что Димка такую милость не примет.

И тут появился Данилка.

— Вот, полюбуйся на своего Соломина, — сказал Серёжа, чтобы хоть как-нибудь облегчить

душу. — Сперва опаздывает, потом сидит за это, а я должен вкалывать.

— А может, он не виноват, что опоздал, — вредным голосом откликнулся Вострецов. Он своих людей в обиду не давал.

— А кто виноват? Я? Потому что книжку вам, обормотам, дал почитать, да? Для того, что ли, дал, чтоб читали до ночи, а потом дрыхли до обеда?

Данилка сразу потерял задор.

— Значит, из-за книжки, — сокрушенно произнес он. — Тогда, значит, из-за меня. Это я всех торопил, чтобы скорее тебе ее вернуть.

— А я и не просил, чтобы скорее! Выходит, я виноват? Может, мне вместо Димки сесть?

— Нет, что ты, — рассеянно отозвался Данилка. Он смотрел мимо Серёжи и теребил тесемки на шапке. — Это не ты. Это я…

— Спасибо, — с усмешкой сказал Серёжа.

— Нет, правда, — настойчиво повторил Данилка. — Я тоже виноват… Можно, я с Димкой сяду?

— На здоровье, — сказал Серёжа. И обрадовался: Димке будет веселее. — Снимай ремень и садись.

Но Данилка не спешил. Он что-то решал в уме.

— Случай-то один, — сказал он будто между прочим, — а виноватых-то двое. Значит, надо время пополам разделить.

— Ну и пожалуйста, — отозвался Серёжа с равнодушным видом, хотя обрадовался еще больше. — Сидите каждый по часу. Даже по пятьдесят пять минут. Потому что десять он уже отсидел.

Данилка начал было расстегивать пальто, но опять остановился.

— Вообще-то вся группа виновата. Все из-за этой книжки будто перебесились. Кричат: "Скорее, скорее!"

— Ты что, хочешь всю группу засадить? — удивился Серёжа.

— Ну ведь надо, чтобы справедливо... А можно? — ласковым голосом спросил хитрый Данилка.

— Вы не влезете в лабораторию.

— Обязательно влезем! Можно?

— Да мне-то что... — произнес Серёжа, едва сдерживая смех.

Данилка бросился к телефону.

— Я их сейчас по цепочке соберу!

— Не работает телефон, — сказал Серёжа. — Со вчерашнего дня еще. Звони с автомата.

Данилка выскочил на улицу.

Группа собралась за четырнадцать минут — все, кроме запасного барабанщика Вадика Воронина, который был в детском саду. Еще две минуты

они под тихие понукания Данилки приводили в порядок форму.

Потом выстроились перед Серёжей.

Немножко похожие друг на друга и очень разные. Деловитый маленький Павлик Снегирев, темноглазый и всегда спокойный Коля Копыркин, похожий на каплю черной ртути Рафик Сараев, тоненький и лохматый Серёжа Лавренюк и светлоголовый, но загорелый даже зимой Василек Рыбалкин. Лихая Данилкина гвардия, первая шеренга "Эспады".

— Мы готовы, — сказал Данилка.

— Только не вздумайте там цирк устраивать — предупредил Серёжа.

Данилка отозвался очень серьезно:

— Что ты! Мы же понимаем.

— Двадцать шесть минут прошло, — сказал Серёжа. — Осталось девяносто четыре. Вас семеро. Примерно по тринадцать минут на каждого. Вот и давайте…

Они по очереди подошли к командиру вахты, отдали ремни и послушно отправились в "темницу". Только в глазах у каждого все же были чертики.

Данилка не обманул. Сидели они очень спокойно. Молча и почти неподвижно. Кто на полу,

кто на столике, кто на верхней полке стеллажа. Лица были почти неразличимы в сумраке. Только блестящие носы и коленки барабанщиков светились, когда на них падали тонкие лучи. Словно кто-то рассыпал в полутемной столярной мастерской свежие деревянные кубики.

Серёжа усмехнулся и, почти успокоившись, отправился в спортзал, где после недавних киносъемок стоял кавардак.

Едва он взялся за швабру, как пришёл Олег.

Олег был чем-то озабочен.

— Случилось что-нибудь? — спросил Серёжа.

— Так… Мелкая суета и трепыханье, — сказал Олег. — Ты один?

— Хочешь, развеселю? — спросил Серёжа. — Увидишь редкое зрелище. Небывалое.

— Какое?

Серёжа помолчал и значительно произнес:

— Группа барабанщиков, которая не бузит, не пищит, не устраивает борьбу дзюдо, а сидит совсем спокойно и тихо.

Олег недоверчиво уставился на Серёжу. Тот поманил его к двери.

Олег с полминуты изумленно наблюдал замершую компанию барабанщиков, а потом даже испугался:

— Что случилось-то?

Серёжа рассказал. Олег действительно развеселился. Потом спросил:

— А долго им еще сидеть?

— Десять минут.

— Времени нет. Придется объявить амнистию. Дел много.

Он распахнул дверь лаборатории и сообщил:

— Ввиду срочных дел — всем полное прощение.

Услыхав такую новость, верхние барабанщики с радостным воплем упали со стеллажа. Образовалась куча, которая с грохотом и визгом выкатилась в коридор.

Олег вынул из этой кучи командира Вострецова.

— Тихо вы! Слушайте… Сергей и все барабанщики сейчас пойдут со мной в школу, будем грузить фанеру для декораций. Директор обещал.

— Есть! Ура! — ответил Данилка.

— Все, кроме Данилки и Димы, — сказал Олег. — Они останутся на вахте. Вострецов — командиром. Сергей мне нужен, потому что он посильнее. И школа как раз его.

Данилка озадаченно замигал.

— Как это командиром? Я же не капитан…

— Привыкай, — сказал Олег.

## 2

По дороге Олег объяснил, что Анатолий Афанасьевич, директор Серёжиной школы, обещал дать "Эспаде" пятнадцать листов фанеры. Из нее можно сделать отличные декорации дворцового зала, а после съемок пустить ее на постройку лодки.

— Я вот только боюсь, что директора в школе нет, а учитель по труду фанеру не выдаст. Он, говорят, суровый дядя, — с сомнением произнес Олег.

— Кто? — удивился Серёжа. — Игорь Васильевич суровый? Его даже первоклассники не боятся. Он у нас на елке каждый раз Деда Мороза играет. У него только голос такой — свирепый.

Голос у Игоря Васильевича действительно был как у старого боцмана.

— Пришли? — не то прогудел, не то прохрипел он. — Пятнадцать листов! Из родной-то школы! Ну, эти молодцы — народ не здешний, а ты, Каховский, что творишь? Грабишь!

— Для общей пользы, Игорь Васильевич, — объяснил Серёжа. — Для искусства. — И он мигнул барабанщикам.

Те лихо принялись за работу. Четверо хватали за углы фанерный лист, пятый бежал впереди и открывал двери.

— Здорово работают, пираты, — заметил Игорь Васильевич. — Жаль, что не из нашей школы.

— У нас все "наши", — улыбнулся Олег.

Они с Серёжей тоже вынесли на крыльцо несколько листов. У крыльца уже стоял грузовик.

— Что мне нравится у вашего директора, так это точность, — сказал Олег. — Пообещал — сделал. И машину достал. Минута в минуту.

Водитель, молодой парень в солдатской ушанке, помог погрузить фанеру в кузов. Серёжа и Олег вернулись в мастерскую.

— Ну что, артисты, — опять загудел Игорь Васильевич, — может, еще чего дать?

— Мы люди небогатые, — сказал Олег. — Если дают, не отказываемся.

— Рейка нужна? Так и быть, уделю… В кино-то позовете?

— Конечно, Игорь Васильевич! — обрадовался Серёжа. — Мы всей школе будем показывать. Не для себя же снимаем.

Рейки для декораций нужны были до зарезу.

— Берите вон те, за верстаком, — разрешил

Игорь Васильевич.

Барабанщики полезли за верстак.

В дальнем углу мастерской два семиклассника опиливали ножовками деревянные бруски для планшетов.

Белые кубики-обрезки падали на темные половицы и ярко загорались под солнечным лучом. Серёжа вспомнил барабанщиков в лаборатории и усмехнулся. И тут же встревожился: "А Димка?" Димка так и не подошел, когда кончились у барабанщиков "арестантские" минуты.

Значит, правда, обиделся.

И словно в ответ на беспокойную мысль, услышал он Димкин голос:

— Олег! Сергей! Тревога!

Димка стоял на пороге мастерской — в берете, в сандалиях, в летней форме и в незастегнутом, наброшенном на плечи пальтишке. Разгоряченный, с отчаянными глазами.

— Там в отряде какие-то… Данилка один!

Олег молча рванул с себя пальто, закутал им Димку с ногами, взял в охапку и выскочил на крыльцо. Встревоженным барабанщикам приказал:

— Бегом в отряд!

Серёже велел:

— Давай в кузов. Держись там.

Вместе с Димкой втиснулся в кабину и сказал водителю:

— Жми.

Машина взвыла и рванулась.

От школы до отряда три с половиной квартала. Они пролетели их за минуту. Серёжа прыгнул из кузова и вслед за Олегом кинулся в дом.

Прежде всего Серёжа увидел Данилку. Тот стоял у знаменного шкафа, прижимался к его прозрачной стенке локтями и лопатками. Перед собой на уровне груди он держал рапиру — одна ладонь на рукоятке, другая на клинке. Рапира была полусогнута в стиснутых руках.

Данилка плакал. Может, он и сам не замечал, что плачет. Он смотрел зло и напряженно, а мелкие слезинки ползли по щекам.

Кроме Данилки, в комнате находилось еще три человека. Незнакомые и взрослые. У окна стоял мужчина в меховой шапке пирожком. У него были круглые очки и маленький, нерешительный подбородок. И на худом щетинистом лице проступала растерянность. Он словно хотел сказать: "Ну зачем уж так-то?.."

У пирамиды с барабанами сидела дама в меховом пальто. Стул терялся под ней. Дама

была необъятных размеров, а ее ноги — каждая толщиной с Данилку. Лицо дамы своей выразительностью напоминало новую сковородку.

Третий, в распахнутом полушубке, стоял к двери спиной, прижимал к уху телефонную трубку и, высоко поднимая голову, говорил с расстановкой:

— Алло! Я просил дежурного по райотделу милиции! Запишите вызов! Нападение несовершеннолетнего хулигана на работников домоуправления! С оружием! В детском клубе по улице Красноармейской, дом пять. Приезжайте... Я? Я новый домоуправляющий этого микрорайона. Сыронисский Леонид Васильевич. Сыро-нис-ский. Два "эс"...

— Не ломайте комедию, гражданин Сыронисский, — пренебрежительно сказал Олег розовой лысине, которая виднелась из-за лохматого воротника. — Телефон не работает вторые сутки.

Домоуправляющий аккуратно опустил трубку и развернулся в сторону Олега. Дама тоже развернулась, стул под ней запищал. У человека в очках приоткрылся рот.

Сыронисский обрадованно сказал:

— А! Наконец-то.

— Что "наконец-то"? — холодно спросил Олег.

— Наконец-то вы появились! Кто вам позволил оставлять без присмотра клуб?

— Как это "без присмотра"?

— Вот так! Без взрослых!

— Что дальше? — спросил Олег.

— Не "что дальше", а я спрашиваю…

— Вы странно спрашиваете, — перебил Олег. — Вы всерьез считаете, что я буду вам отвечать?

— Считаю, что будешь! Иначе мы…

— Тихо, тихо, — сказал Олег. — Здесь дети. И не забывайте, что обращаться надо на "вы". Вас учили, не правда ли?

Гражданин у окна взволнованно поправил очки и воркующе заговорил:

— Ну, молодой человек… Дети здесь были одни, и если что-нибудь случилось бы…

— Как видите, если что-нибудь случается, я появляюсь быстро, — сказал Олег. И обратился к Данилке: — Что произошло, Вострецов?

Данилка глотнул, опустил рапиру, оттолкнулся спиной от шкафа и отрывисто заговорил:

— Олег, они пришли… Я говорю: "Здравствуйте, вы к кому?" А она… — Данилка подбородком указал на даму. — Она говорит: "Ну-ка, где тут ваш руководитель?" А потом даже слушать не стали. Везде ходят, все трогают. Декорации уронили.

Потом давай говорить, что мы пожар наделаем. Димка им сказал, что здесь нельзя посторонним, когда тебя нет, а они его взяли за руку — и в сторону… Да еще кричат: "Ты как со старшими разговариваешь!"

— Так… — жестко сказал Олег и взглянул на Серёжу.

Серёжа сунул в карманы кулаки. В нем начинала звенеть напряженная злость. Как всегда, когда он встречался с людьми нахальными и сильными от этого нахальства.

За спиной взволнованно и сердито сопели барабанщики.

Серёжа нащупал в кармане двухкопеечную монетку, повернулся к ребятам. Ближнему из них, Рафику Сараеву, быстрым шепотом сказал:

— Телефон Генки Кузнечика помнишь? Позвони ему, скажи: капитанов сюда.

Димка, уже сбросивший оба пальто — Олега и свое, сунулся вперед.

— Данилка, ты скажи, как они… Чтоб выгнать нас…

— Ага… — Данилка снова сердито переглотнул. — Они еще ходят и разговаривают: "Пора их выселять отсюда…" Я тогда сказал Димке, чтоб за вами бежал… А они зашли сюда, в кают-ком-

панию, и тоже все стали трогать. Я подумал, что они и знамя щупать начнут, и встал к шкафу. А они мне говорят: "Иди за вашим руководителем". Я сказал что не могу, потому что на вахте. А они: "Ничего с твоей вахтой не сделается..." Я, конечно, не пошел никуда. А они опять говорят: "Уходи тогда отсюда, нам совещаться надо". Я опять не пошел...

— Вот-вот! — неожиданно визгливым голосом перебил Сыронисский. — Три взрослых человека его просят уйти, а он, сосунок, характер демонстрирует!

— Потрудитесь не перебивать, когда говорит командир вахты, — сказал Олег. — У нас это не принято.

— Плевать мне на то, что у вас не принято или принято! — взвился Сыронисский.

Серёжа не выдержал:

— Плюйте у себя в кабинете. Я здесь сегодня пол мыл. И так следов нашлепали...

И тут зашевелилась молчаливая дама. Капризным басом она сказала:

— Вот если собрать ихних родителей да спросить, как он ихних детей воспитывает... — Она повернулась к Олегу и ткнула в его сторону варежкой. Стул под ней заверещал, как живой.

— Может быть, вам пересесть на диван? — вежливо спросил Олег. — Стулья у нас в основном на ребят рассчитаны.

— А ничего твоим стульям не сделается! — отрезала дама. — Ты лучше скажи: правильно ты их воспитываешь?

— Правильно я их воспитываю, — сказал Олег.

— Значит, пускай они как хочут себя ведут? На взрослых людей пускай с саблей кидаются? — жалобным баритоном вопросила дама.

— Между прочим, — опять воркующе вмешался человек в очках, — Антонина Михайловна — председатель уличного комитета. Она при исполнении, так сказать, общественных служебных обязанностей.

— Я тоже при исполнении, — огрызнулся Данилка почти весело. Он уже пришёл в себя. — Я не кидался на них, Олег, честное пионерское! Только схватил клинок из пирамиды и встал к флагу. Потому что они знаешь что? Вот он… — Данилка рапирой махнул в сторону Сыронисского, — как схватит меня за плечо да как толкнет к двери! Я и полетел. Только не в дверь, а в угол, потому что ногой зацепился… Вот тогда я и взял рапиру… Олег, пускай они теперь сами крепость чинят. Я не виноват. Он толкнул, я и полетел…

Серёжа и Олег разом взглянули на макет замка в углу у двери. Краем глаза Серёжа заметил, как Олег побелел. А самого Серёжу от пяток до затылка словно прошило иглой: это был мгновенный удар страха. И такая же мгновенная радость: как хорошо, что утром заело раму!

Передняя стена замка с воротами и угол башни были сильно промяты внутрь. Но самая большая вмятина — по форме Данилкиной спины — оказалась на холме, усаженном деревцами из зеленой резиновой губки. Вдребезги разрушен был подвесной мост.

Олег, словно не веря чуду, стремительно глянул на Данилку, потом подскочил к макету, приподнял его и начал шарить под холмом. Серёжа быстро подошел.

— Олег, да все в порядке, — торопливым шепотом сказал он. — Ну не бойся, Данилка-то живой. Я стержень утром вытащил, чтобы окно открыть.

Олег выпрямился, передохнул. Рукавом вытер лоб. Повернулся к Сыронисскому. Сказал сквозь зубы:

— Слушайте, вы… Никто не заставит вас ремонтировать эту вещь. Для такого ремонта нужны руки и головы…

— Вы хотите сказать, что у нас нет голов? —

оскорбленно осведомился гражданин в очках.

— Именно! — отчетливо сказал Олег. — Иначе вы сообразили бы, что поднимать руку на ребенка — преступление… Вот здесь, — Олег щелкнул по папье-маше, — под макетом стальной каркас. Только случайно сегодня утром вынули осевой прут. Иначе бы он проткнул мальчика навылет!

— Я никого протыкать не собирался, — заявил Сыронисский. — Вы не приклеивайте мне чего не надо. Я вашего часового только за руку взял…

— "Взял"! — повторил Олег. — Так, что он с ног полетел!

— Но позвольте, — вмешался гражданин в круглых очках, — ведь никто же не предполагал…

— Надо предполагать! — перебил Олег. — А если бы он виском о косяк? Или затылком об пол? Здесь дети! Понимаете вы? Живые дети! А не рулоны с обоями и не унитазы, с которыми вы, очевидно, привыкли иметь дело!

— Унитазы тоже толкать нельзя, — наставительно сказал Данилка. — Они расколоться могут.

— А ты помолчи! — крикнул Сыронисский. — Туда же еще суется, сопля голоногая! Надень сперва штаны подлиннее! Взять бы ремень да как врезать…

— Слушайте, вы Сыронис-с-ский или как вас там, — спокойно, почти устало сказал Олег. — Никогда человеческая доблесть не измерялась длиной штанов. Этот мальчик во всех отношениях даст вам сто очков вперед. И руку на слабого он никогда не поднимет. Кстати, в древности жил такой человек — Юлий Цезарь. Может, слышали? К вашему сведению, он вообще не носил штанов, а до сих пор считается великим человеком. А на вас хоть пять пар брюк с лампасами натяни, в генералы не запишут. И просто в порядочные люди — тоже.

— Насчет порядочности мы побеседуем в другом месте, — сообщил Сыронисский.

— Разумеется, — поддержал Олег. — А здесь вам не место. Поэтому покиньте помещение отряда и прекратите ваше нашествие, о причинах которого я узнаю в исполкоме.

— Это не нашествие, а технический осмотр, молодой человек, — обиженным тоном ответил очкастый. — Я, кстати, главный бухгалтер домоуправления. Мы смотрим, какой здесь нужен ремонт.

— Никакой ремонт не нужен, — сказал Олег. — Здесь идут занятия, и до лета помещение трогать нельзя.

— Кто вас будет спрашивать? — величественно отозвался Сыронисский. — У нас план. А кроме того, ваш детский сад вообще из другого ведомства. Райком комсомола вас организовал, пускай он и место дает. А нам нужно место для бухгалтерии.

— Мало ли что вам нужно, — сказал Олег. — Таким людям, как вы, нужно вообще, чтобы дети сидели, как мыши в норах, и под ногами не путались, а то жить мешают.

— Шибко образованные все стали, — произнесла дама с лицом-сковородкой и поднялась со стула.

Олег повернулся к Серёже:

— Дежурный! Гости уходят. Проводите.

Серёжа и барабанщики отошли, освобождая выход.

Дама величественно, как айсберг, двинулась к порогу. "Пролезет?" — с интересом подумал Серёжа. Она, видимо, пролезла бы. Но тут даму, словно потоком, отнесло в сторону. С мороза ворвались Генка Кузнечик, Алеша Смирняков, Сеня Гуревич, Митя Кольцов и Наташка.

— Остальные в школе или в кино! — с налета выпалил Генка. — Митьку и Наташку я на всякий случай прихватил. А что случилось?

— Все уже в порядке, — сказал Серёжа. — Гости

уходят. А вы как сумели так быстро примчаться?

— Мы с Наташкой на велосипедах, прямо по снегу! Митьку — на багажник. А остальные — бегом!

"Гости" во время этого разговора удалились.

— Ну, история, — выдохнул Олег. — Данила, да отойди ты от флага и положи рапиру. Все уже... Сергей, ты зачем вызвал ребят?

— Сам не знаю, — сказал Серёжа. — Так, на всякий случай. Мало ли что...

— Ну и хорошо... Тогда сразу и решим один вопрос, раз капитаны здесь. Давайте раздевайтесь.

Через минуту все расселись в кают-компании — кто на стульях, кто на диване. Олег быстро и коротко рассказал, что случилось. Потом спросил у Данилки:

— Так?

— Так, — ответил Данилка. И нерешительно оглядел ребят. — А что мне было делать? Здесь же флаг.

— Пусть капитаны пройдут в спортзал, — попросил Олег. — На пару слов.

В зале они стали тесным кружком.

— Вот что, братцы... — начал Олег. — Надо об этом сказать. До сих пор мы жили спокойно... если не считать стычек с Лысым, Гусыней и другими

мелкими типами. Взрослые люди нам, по крайней мере, не мешали. Помогали даже. Да только не всем "Эспада" нравится. Местные пенсионеры решили, что наши барабанщики слишком громко барабанят, хотя на улице их даже не слыхать... Просто этим людям понадобилось помещение для кружка вязания и для собраний жильцов. А новому домоуправу показалось, что их бухгалтерии тесно живется. Вот и началось. Тактика у этих людей простая: чтобы нас выселить, будут говорить, что все у нас плохо, все неправильно... Сами видите, Данилка на посту у флага встал, а они в крик: нападение с оружием!

— А что? — запальчиво начал Сеня Гуревич. — Вострецов сделал все, как надо. Я бы тоже... Уходить, что ли, надо было?

— Уходить? — переспросил Олег. — От флага? С поста?

— Кто бы ушел? — сказал Алешка Смирняков.

Олег медленно проговорил:

— Я спросить хотел... Он, конечно, маленький... Но может быть, пора ему дать звание?

— Капитана? — подпрыгнул Генка, который сам две недели назад стал капитаном. — Давно пора!

Серёжа вспомнил утренний случай с барабан-

щиками.

— Данилка, если по правде, давно уже капитан, — сказал он. — Не хуже других. Даже несправедливо как-то: и в совете, и группой командует, а нашивки нет.

— Только вот не все капитаны здесь, — нерешительно произнес Олег. — Как голосовать?

— Ну и что? Все равно большинство. Да и никто не станет спорить, — уверенно сказал Алешка.

Они вернулись в кают-компанию. Барабанщики уже начинали на диване легкую тренировку по самбо.

— Капитан Вострецов! — сурово сказал Олег.

Данилка сперва привычно подскочил, ожидая нахлобучки за возню. Потом понял — "капитан". Порозовел, испуганно глянул на ребят: "Не шутите?" Олег подошел к нему, тихонько взял за плечи. Улыбнулся.

— Капитан Вострецов... Сдавайте вахту.

— А зачем... сдавать? — шепотом спросил Данилка.

— Ну как зачем? Каховский вернулся. Он же сегодня командир.

Олег притянул к себе Данилку, прижал к пиджаку рыжую лохматую голову и тихонько сказал:

— Ты хорошо стоял вахту. Спасибо, малыш.

Барабанщики на диване притихли.

Олег отыскал глазами Димку.

— Димка сегодня тоже герой. Четыре квартала летел по морозу почти раздетый. Только не заболей, пожалуйста, очень прошу.

— Не-а, не заболею, — охотно пообещал Димка.

— Надо его горячим чаем напоить, — решительно сказала Наташа. — Где у нас чайник и плитка? Всегда дежурные засунут куда-то.

В дверь постучали, и на пороге возник парень в солдатской ушанке.

— Я фанеру выгрузил и у крыльца поставил, — сказал он. — А то вы тут, видно, задержались, а мне ехать пора.

— Мамочки мои! — всполошился Олег. — Извините ради бога! Мы закрутились совсем. Наташа, отогревай Димку, остальные — таскать фанеру!

## 3

После школы Серёжа снова пришёл в отряд.

Он любил вечера в отряде. Приходили те, кому хотелось. Не на занятия, а просто так: посидеть вместе, поговорить. Одно слово — кают-компания. Булькал на плитке чайник, вкусно пахли разогретые пирожки, за которыми бегали в ма-

газин на углу, собрав копейки и пятаки... Потом начинал трезвонить телефон: то одни, то другие родители справлялись, где их дорогое чадо и скоро ли оно явится домой. Чадо отвечало "щас" и тут же забывало об этом обещании. Олег спохватывался и начинал всех разгонять по домам. Но за разговорами и он иногда забывал о позднем часе. Приходилось потом компанией ходить от дома к дому и провожать друг друга.

Серёжу, Кузнечика, Митю Кольцова, Наташу, Андрюшку Гарца и еще нескольких "постоянных жильцов" кают-компании звонками не тревожили. Привыкли. А ребята эти привыкли к спокойным хорошим вечерам, привыкли быть вместе.

Для долгих разговоров нашлась одна бесконечная тема: море, корабли, Севастополь. Так уж получилось...

Олег часто рассказывал об Артеке. О своих отрядах. О вечерах на берегу. О том, как шумит на галечных пляжах, приходя из темноты, ночной прибой, как светятся огоньки на проходящих вдали теплоходах. О том, как ребята-артековцы выходят на катерах в нейтральные воды и бросают в море бутылки с письмами к мальчишкам и девчонкам разных стран. А еще о поездках в Се-

вастополь — удивительный город, где почти про каждый камень можно написать книгу: столько здесь было подвигов. Белый город, в который море врезается длинными синими бухтами и плещется у окон домов. Про эсминцы и крейсеры, про старые бастионы, про старинные пушки, врытые на пирсах вместо причальных тумб. Про запутанные каменные лестницы и про улицы, где, кажется, смешались дома и корабли…

Генка Кузнечик в прошлом году был в Севастополе. Он подхватывал рассказы Олега и говорил, как мальчишки ловят крабов среди прибрежных камней, как гремит и сверкает над бухтами салют в День Военно-Морского Флота, как покачиваются рыбачьи ялики на синей волне. И как ребята нашли однажды в песке очень ржавый пулемет с плоским диском над стволом и Генкин брат Саша сказал, что это пулемет системы Дегтярева.

Генкины рассказы всегда кончались тем, что сказал или сделал Саша. И песни, которые иногда пел Кузнечик, были Сашины.

Больше всех песен подходила для таких вечеров песенка о синем крабе. Простая такая, забавная и немного грустная.

Первые слова Кузнечик даже не пел, а произносил чуть задумчиво:

*Синий краб, синий краб*
*Среди черных скал в тени…*
*Синий краб, он приснился мне во сне…*

А потом уже дергал струны, и начиналась мелодия.

*…У него восемь лап,*
*Две огромные клешни*
*И серебряные звезды на спине.*

*Рыбаки ловят рыб,*
*Китобои бьют китов —*
*Делом заняты с утра и до утра.*
*Только я с той поры*
*Позабыть про все готов:*
*Все залив ищу, где водится мой краб.*

Мотив был простой, как перезвон капель, падающих на палубу. И Серёже представлялся мальчуган в тельняшке, похожий на Димку. Будто он сидит на носу парусной шлюпки и печально думает о загадочном крабе: где его найти?

А когда мальчишка возвращается на берег, рассудительные люди спрашивают:

*Да зачем он тебе.*

*Этот страшный зверь морской?*
*С ним в беду очень просто угодить!*
*У него ужасный вид,*
*Он, наверно, ядовит —*
*Ни сварить его, ни в банку посадить.*
*Мальчишка даже и не спорит с ними. А только отвечает тихо и упрямо:*

*Сто ночей не усну,*
*Буду думать все о нем,*
*Буду думать, буду плавать и грустить.*
*Мне бы только взглянуть*
*На него одним глазком,*
*Просто так — посмотреть и отпустить…*

Пока Генка пел, Серёжа и Димка посматривали друг на друга и улыбались глазами. У Серёжи на рубашке был прицеплен маленький синий краб, которого подарил ему осенью Димка. Сначала Серёжа укрепил краба над воротами маленького замка, но потом стал носить на отрядной форме…

Димка тоже иногда рассказывал про море. Он был с родителями в Анапе. Чаще всего он вспо-

минал большого черного кота, приходившего на пирс к рыбакам. Кот молча сидел и ждал, когда рыбаки поделятся добычей.

Димке очень нравилось, какой он был спокойный и полный достоинства. Рыбаки его вроде бы даже побаивались: никто не решался оставить кота без угощения. А кот съедал очередную рыбу и продолжал смотреть в море, будто ждал кого-то.

А Данилка вспоминал не Черное море, а Белое. Он в дошкольные годы жил в Архангельске и хорошо помнил, как отец водил его на пароход, в гости к знакомому капитану. Он говорил, что Белое море даже лучше, чем Черное, потому что там бывают приливы и отливы.

Наташа на Черном море тоже не была. Но она бывала в Ленинграде и в Петродворце — на Финском заливе. Ребята иногда спорили: можно ли Финский залив считать морем? Мелкий он, и вода там пресная. Наташа доказывала, что можно. В учебнике географии так и написано: "Заливом называется часть моря, вдающаяся в сушу". "Часть моря, понятно вам?"

Генка всегда заступался за Наташу. А однажды он привел доказательство совершенно неопровержимое:

— Если не море, то почему для этого залива

морские карты напечатаны? С маяками, с глубинами, с компасным кругом! Даже номер по каталогу морских карт указан! У Саши есть такие карты. Не верите?

Ему поверили. А Олег спросил:

— В конце концов, кто твой Саша? Моряк? Поэт? Музыкант? Физик? Или все вместе?

— Инженер-физик, — сказал Генка. — Он электроникой занимается. Электроника ведь и на кораблях используется. Я только не знаю точно, что он там делает. Думаете, он все мне рассказывает? Один раз я к нему пристал, а он знаете какую чушь рассказал? Говорит, горючее для судов дорого стоит, и есть мысль у инженеров, чтоб вернуться к парусным кораблям, пускай ветер вместо бензина работает. А чтобы матросов по мачтам не гонять, паруса будут управляться электронными машинами…

— Это вовсе не чушь, — вмешался Митя Кольцов. — Такие корабли кое-где уже строят. В Японии шестимачтовую шхуну заложили, а на Гамбургской верфи четырехмачтовые фрегаты типа "Динашиф". Пассажирские и грузовые.

— А зачем? — спросила Наташа. — Ведь не средние века. Может, еще кареты изобретут, а вместо кучера — электронную машину?

Митька медленно поднял глаза на неразумную Наташку. Он если и обижался, то не подавал вида. Он только сказал:

— Знаешь, сколько нефти жрет большой теплоход? Тебе и не снилось. А Земля ведь не бездонная, горючее экономить надо. А новые парусники будут ходить быстрее, чем клипера.

— Но все равно тише пароходов, — не сдавалась Наташа.

— Лучшие клипера давали по двадцать узлов. Даже двадцать один. Думаете, грузовые суда сейчас ходят быстрее? — спросил Митя.

Спорить было бесполезно. О клиперах Митя знал все. Он никогда не был у моря, но любил корабли преданно и бескорыстно, как самых лучших друзей. Он про них мог рассказывать, будто на каждом плавал по десять лет. Особенно про парусники. Правда, сам он редко начинал такие разговоры, будто стеснялся своей любви. Лишь однажды победил смущение и предложил:

— А давайте построим корабль.

— Настоящий? — спросил Генка.

— Да. Двухмачтовый.

— Ну, Митя, это нам не потянуть, — сказал Олег. — Мы же не судоверфь.

Митька не стал спорить, но на следующий день

принес журнал с чертежами бригантины-малютки, которую можно построить из обычной шлюпки.

— А шлюпку где взять? — спросил Олег.

— А если найдем… — тихо сказал Митя.

— Елки-палки… Надо подумать, — откликнулся Олег. — Лето не за горами…

И Генка Кузнечик поддержал Митю. Сказал, что свой корабль — вещь нужная. Он вообще всегда поддерживал Митю.

Но в тот вечер, когда говорили о Сашиной работе, Генка возразил.

— Нет, Саша все-таки не парусами занят. По-моему, он там на других кораблях. Севастополь — город военный.

И все опять заговорили о Севастополе. Только Серёжа слушал молча.

А что ему было говорить? У моря он не бывал, а разные теплоходы и пароходы видел только на реке. Он очень любил вечера в "Эспаде" и разговоры о Севастополе слушал с интересом, но самому ему сказать было нечего. И порой Серёжа начинал тихонько ревновать ребят друг к другу: у всех у них что-то общее, а он будто в стороне.

Так было, пока Генка не упомянул о Херсонесе.

— Разве Херсонес в Севастополе? — удивился

Серёжа.

— Конечно. Между Карантинной и Песочной бухтами.

— Я думал, это отдельное место, вроде какого-то поселка, — сказал Серёжа. — Там раскопки греческого города, правильно?

— Да. Там развалины всякие. Башни, стены. И колонны из мрамора.

— У меня дядя есть. Ну, брат тети Гали. Он археолог, с московскими студентами в Херсонесе на раскопках работает, — со сдержанным торжеством сказал Серёжа. — Он все не писал, не писал, а недавно письмо прислал, обещает весной в гости приехать. Уж я из него тогда все выспрошу про эти раскопки…

— Хочешь, я тебе книгу про Шлимана принесу? — спросил Олег. — Про того, кто древнюю Трою открыл.

Олег ухитрялся все понимать. Про каждого. Серёжа никогда ему не говорил, что все больше и больше тянут его к себе тайны старых городов, заросших, засыпанных, утонувших. Но Олег, видно, знал и это.

Хорошо приходить туда, где тебе рады, где тебя всегда понимают, где друзья. Вот поэтому Серёжа, когда мог, спешил в "Эспаду".

Но сегодняшний вечер в кают-компании был непохож на прежние. Вспоминался утренний случай.

— Да ничего, — сказал Серёжа, чтобы успокоить себя и других. — Они же сами виноваты. Ворвались, как в свой собственный сарай, и давай командовать…

— Все правильно, — согласился Олег. — Только зря я, пожалуй, с ними такую перепалку затеял. Нервы, что ли, стали сдавать?

— Нервы у кого хочешь сдадут, — сказал Серёжа. — После такого случая с Данилкой… Я как вспомню про этот стержень, зубы стучат.

— Это верно. Только я вообще легко заводиться стал, — вздохнул Олег.

Вмешался Генка:

— Ну уж, легко! С теми двумя тетушками ты очень вежливо разговаривал. Помнишь?

— А что за тетушки еще? — встревожился Данилка.

— Да были тут, — сказал Олег. — Давно еще, две недели назад. Я разве не рассказывал? Кузнечик наш как раз первое занятие с новичками начинал… Вошли в зал, будто в магазин, остановились посередине и тогда говорят: "Можно к вам?" Мы даже остолбенели сперва. Мальчишки как раз

переодеваются для разминки. Гена стоит бледный от ответственности и ужаса и лихорадочно вспоминает комплекс упражнений…

— Упражнения-то я помнил, — сказал Генка

— Ничего ты не помнил… Ну вот. Я говорю: "Простите, но никак нельзя. Видите, ребята раздеваются, инструктор первый раз на занятиях, стесняться будет. А вы что хотели?" — "Мы хотели посмотреть, чем вы тут занимаетесь". — "Простите, — снова говорю, — а вы кто?" — "Мы — общественность". — "Очень приятно, — говорю. — А поточнее?" — "Вот она из уличного комитета, а я вместе с ней…" Ну пригласил я их в кают-компанию, объяснил, что гости к нам если приходят на занятия, то сначала предупреждают. Родители — другое дело, у них тут ребята. Очень вежливо объяснил. А они рассердились. Говорят: "Что это вы отгораживаетесь от людей?" Обещали пожаловаться… Может, зря мы их на занятия не пустили, а, Гена?

— Мне их тогда только и не хватало, — сказал Генка. — Я даже Сергея прогнал. Трепетал с непривычки как осиновый лист.

— А учительницу пускаешь и не боишься, — напомнил Серёжа.

— Первый раз ее тоже не было…

— А что за учительница? — дурашливо-капризным голосом спросила Наташа. — Все про все знают, а мне никогда не говорят.

— Учительница та самая, которая Генкиных третьеклассников учит, — объяснил Олег. — Ведь наш Кузнечик попал в капитаны почему? Из-за нее. Она в нем души не чает.

— Может, хватит? — жалобно спросил Генка.

Но у Олега запрыгали в глазах веселые точки. Он продолжал:

— С чего началось? Приходит однажды из тридцать седьмой школы учительница. Пожилая, представительная. Очень-очень вежливая. Говорит, что интересуется нашей работой. Мы как раз были с Геной и с Ворониными. Стали показывать ей все и рассказывать, а она вдруг спрашивает: "Нельзя ли моих мальчиков записать к вам в отряд?" Имейте в виду, сразу сказала — не в "клуб", а в "отряд". Я спрашиваю: "Сколько?" — "Ну, хотя бы человек семь". Посмотрели мы с ребятами друг на друга: что делать? Главное, малышня совсем. А как откажешь хорошему человеку? "Ладно, — говорю, — если семь, то попробуем". Она обрадовалась. А потом стала интересоваться: "Вы с ними со всеми один занимаетесь?" — "Нет, — говорю, — сам я не управился бы. Ребята

помогают, кто постарше". Она тогда отвела меня в сторонку и шепчет: "А нельзя ли, чтобы с моими занимался вон тот симпатичный мальчик?" И на Геночку показывает. Как тут быть? Пришлось принять солидный вид и сказать: "Принимайте, товарищ Медведев, группу".

— Я чуть в гитару не улез, — мрачно признался Генка.

Олег сказал:

— А раз группа есть, пришлось звание давать. Для авторитета перед новичками.

— И перед Надеждой Анатольевной, — вставил Серёжа.

— Подать, что ли, в отставку? — задумчиво произнес Генка.

— Я вот тебе подам! — пригрозил Олег. — А дальше знаете что? Бедная Надежда Анатольевна ходит к нему на все занятия. Ее пиратики как начнут махать клинками, как начнут вопить от восторга, так она бледнеет и глаза закрывает. Но в капитана Медведева верит, как в каменную стену.

— Она в него просто влюбленная ходит, — сказал Серёжа. — Позавчера шоколадкой угощала.

— Да бросьте вы! — отмахнулся Генка. — Она в своих пацанят влюбленная. Не надышится на

них. И они от нее ни шагу. Если бы я в третьем классе учился, обязательно бы к ней сбежал.

— От Татьяны Михайловны? — укоризненно спросила Наташа.

— Ну... Татьяна Михайловна третьи-то классы не учит, — вывернулся Генка. И, чтобы отвести разговор от себя, добавил: — А Серёжка, если бы мог, давно бы уж от нее сбежал. Это точно. Она его совсем завоспитывала.

— Да ну... — отмахнулся Серёжа. — Просто ей кажется, что я слишком часто в разные истории встреваю.

— Не в разные, а в одинаковые. В скандальные, — уточнила Наташа.

— И про меня это тоже говорят, — печально признался Данилка. — А мы при чем? Это истории виноваты, раз случаются. Да, Серёжа?

— Вот именно, — сказал Серёжа, благодарный Данилке за такую здравую и четкую мысль.

Генка хихикнул.

— Самое смешное знаете что? Татьяна Михайловна боится, что Серёжка из-за той драки с Гавриком начнет зазнаваться. Я, мол, герой, бандита задержал, в газете писали...

— Зазнаешься тут при такой жизни, — мрачно сказал Серёжа. — Чуть что, сразу: "Про тебя в га-

зете написали, а ты тройки получаешь! Про тебя вся школа знает, а ты по коридору носишься!" Или еще так: "Каховский, ты опять споришь со старшими! Ты, наверно, думаешь, что вокруг тебя одни бандиты и хулиганы! Ты еще палку возьми!"

— Это кто же тебя так? — поинтересовался Олег.

Ответила Наташа:

— Все она же, Нелюшка. Недавно решила Стаське Грачёву двойку по поведению поставить за то, что он не захотел после уроков с классом в кино идти. Мы с Серёжей заступились. А она и на нас и на него разозлилась, говорит, что он ябедничает на учительницу.

— Стаська и не ябедничал, мы случайно узнали, — сказал Серёжа. — Он теперь вообще ни на кого не жалуется. Если обижают, молчит или сам отбивается. И отца почти не боится.

— Только слишком злой стал, — вздохнула Наташа. — И с Нелюшкой его никак мир не берет.

— С учителями кому как повезет, — рассудительно заметил Данилка.

— У меня классная руководительница была отличная, мы все ей до сих пор письма пишем, — задумчиво сказал Олег. — Лидия Григорьевна,

физик… Один только был у нее недостаток: считала, что я обязательно должен стать инженером. Даже заболела, когда я не поступил в политехнический институт, срезался по математике.

Наташа посмотрела на Олега почти обиженно:

— Ты разве не сразу пошел в педагогический?

Олег усмехнулся, оглядел собравшихся в кружок ребят.

— Братцы, да я же почти старик. Я в жизни многое успел.

— Очень ты похож на старика, — язвительно заметила Наташа.

Олег сказал:

— Не попал я в инженеры. Пошел работать на электростанцию, а осенью взяли в армию. Стал проситься на флот. Умолял, чуть не плакал. Майор даже разозлился и говорит: "Дурак, в армии два года служат, а на флоте — три". А я в ответ: "Может, я на всю жизнь там останусь, что мне три года!" Уговорил. Приехали мы на Север, а там еще одна медкомиссия. Мне — по шапке: нельзя на корабль, здоровье не то. Я опять чуть не в голос: "Оставьте хоть на берегу, только у моря!.."

— Оставили? — напряженным шепотом спросил Митя. Он будто приключенческий роман слушал: ведь море же!

— Оставили… Форма морская, а служба почти штатская. В команде при местном Доме офицеров. Увидели, что рисую прилично, сделали художником-оформителем… Работы, конечно, хватало, но все же не то, что на кораблях. Свободного времени порядочно оставалось, особенно когда втянулся… При Доме офицеров кое-какие кружки и секции работали, была и секция фехтования. Капитан-лейтенант Гранитин тренировал, по прозвищу Капитан Грант. Сердитый на вид мужчина, крикливый, но учил здорово. Увидел, что я приглядываюсь к их занятиям, и забрал к себе. "Я, — говорит, — из тебя сделаю мастера". Ну, мастера не сделал, а второй разряд я получил. Поехал потом в Севастополь на спартакиаду флотов. Там дотянул до первого разряда… А когда вернулся, увидел двух хороших людей — Федю и Ромку…

— Что за люди? — ревниво спросил Данилка.

— Очень замечательные люди. Тому и другому было тогда по одиннадцати лет. Начали они заглядывать к нам в Дом офицеров каждый день, смотрят на рапиры и вздыхают. Ну, стал я их учить потихоньку, пока нашего Капитана Гранта нет поблизости. Он посторонних не терпел. Узнал про это начальник Дома офицеров, приказал

явиться и давай делать накачку: не положено, мол. "Безобразие!" — говорит. Я не выдержал и начал с начальством пререкаться: "Даже для офицерских жен кружки есть, а ребятам куда деваться?" Начальник был умный мужчина. Поглядел на меня другими глазами и повторяет: "Я и говорю — безобразие! В поселке вон сколько ребятишек, а вы только с двумя занимаетесь. Набирайте команду, а я доложу начальству..."

Олег вдруг замолчал и стал смотреть в темное окно. А там ничего не было видно, только лампочка отражалась да огненные Данилкины вихры.

— Набрал команду? — спросил Серёжа.

— Набрал... Когда демобилизовался, они — в слезы. А я... В общем, тоже не сладко. А не уезжать нельзя — учиться надо. Хорошо хоть, что замена для меня нашлась, девятиклассник из местной школы. И Гранитин обещал помочь... Ну вот. А как приехал домой, пошел в интернат работать. Это в Красном Береге, у меня там родители живут. Старшим вожатым стал. Это мне ребята из горкома комсомола посоветовали... А потом в институт поступил, на заочное...

— Когда ты все успел? — спросила Наташа. — На флоте, в интернате, в Артеке, у нас...

— Успел. Служил два года, потому что на бе-

регу. В интернате тоже два года… Это, братцы, самое лучшее, что у меня в жизни было, честное слово…

— Лучше, чем в Артеке? — недоверчиво спросил Митя. Он, конечно, не верил, что где-то может быть лучше, чем у моря.

— Угу, — ласково сказал Олег и даже зажмурился. — Такие ребята… Мы с ними театр устроили. В походы по реке ходили… Я бы в Артек и не уехал…

— А почему уехал? — не утерпела, полюбопытствовала Наташа.

Олег раскрыл глаза и по очереди посмотрел на каждого.

— Так… Так получилось, братцы. Не поладил с начальством. Был сначала отличный директор, да ушел на пенсию. Пришла на его место одна тетя. Вроде той, что сегодня у нас была. Не по внешности, а по сути своей такая. Непрошибаемая. Театр заставила прикрыть: от учебы отвлекает. Походы запретила. "Вам, — говорит, — игрушки, а мне отвечать. Главная задача школы, — говорит, — хорошая учеба и отличное поведение". Я ей пытался вдолбить, что хорошие оценки и поведение могут быть у людей, когда у них жизнь интересная… Я молод был и… в общем, прямоли-

неен. А она — как скала. Вот и не договорились... А как раз вожатых в Артек приглашали...

— Грустные какие-то истории, — настороженно сказал Кузнечик. — Все прощаешься и прощаешься. Ты, Олег, только не вздумай с нами прощаться.

— А то ты интернат уже не первый раз вспоминаешь, — подозрительно сказала Наташа.

Олег улыбнулся:

— "Сто ночей не усну, буду думать все о нем..."

— А о нас? — обиженно спросил Данилка.

Олег встряхнулся, встал и весело ответил:

— Это само собой.

Он схватил капитана Вострецова под мышки и на весу повернул его носом к часам.

— Ну-ка, Осенняя Сказка, посмотри, сколько времени. Брысь домой, а то опять от сестрицы попадет!

— Пфы! — сказал Данилка, демонстрируя полное бесстрашие.

— А почему "Осенняя Сказка"? — спросила Наташа.

Данилка гордо объяснил:

— Потому что у меня на носу целый листопад из веснушек. Не видишь разве? Тебе таких сроду не иметь.

— Где уж мне…

Данилка сказал деловито:

— Пойду. Мне завтра просыпаться первому: я по квартире главный дежурный. У нас с Юлькой очередь.

— Ты всегда раньше всех должен просыпаться. Ты же барабанщик. Привыкай, — сказал Олег.

Данилка сказал, что он и так привыкший, и ушел. С ним ушел и Митя.

Генка забрался с ногами на диван и прикрыл глаза.

— Ты что? — спросил Серёжа.

— Да я про Данилку думаю. Про все, что было утром. И про это… Вдруг бы ты не убрал ту железяку?

Серёжа поежился.

## 4

До угла все шагали вместе. Было морозно. Олег потер перчатками уши и жалобно сказал:

*Ранние весенние рассветы.*

*Теплый вечер марта, где ты, где ты?* —

И объяснил:

— Это я в юности сочинял. В Лермонтовы ме-

тил. Увы.

На углу они разошлись. Наташа и Олег направились прямо, Серёжа и Генка помахали им вслед и свернули на Октябрьскую.

Почти сразу же, у яркой витрины магазина "Одежда", Генка остановился.

— Как-то все вместе сложилось, — немного растерянно проговорил он. — И тревога утром, и разговоры, и Данилка… И вот еще. Смотри.

Он долго шарил за пазухой и вытащил помятую бумагу. Это был сложенный в несколько раз листок из иностранного журнала.

— Вот… — повторил Генка. Расправил в ладонях лист и поднес ближе к свету.

На листе напечатан был крупный снимок.

На брусчатую мостовую ничком упал мальчик. Он лежал головой к зрителю, одна рука согнута, другая брошена вперед. Волосы, просвеченные солнцем, разметались по камням. Фото было отчетливым. Каждый волосок был виден, и казалось, что ветер их шевелит. Но особенно четко выделялась на камнях цепочка выбоин, протянувшихся у головы мальчишки. Видно, только что хлестнули по брусчатке пули.

С отчаянной ясностью вспомнил Серёжа свой давний сон — про знойный враждебный город,

про пулеметы на бастионах и убитого мальчишку. И сам будто ощутил сквозь рубашку твердость горячих камней на мостовой.

— Чили? — спросил он.

— Конечно, — откликнулся Генка. — Журнал из Перу, Саше прислали. А снимок перуанский журналист в Сантьяго сделал… Вот я все и думаю: он или не он?

— Кто?

— Ты не помнишь?

Генка прикусил губу, расстегнул пальто, полез в карман куртки. Достал маленькую фотографию.

И Серёжа сразу вспомнил. С фотоснимка весело смотрел маленький светлоголовый, похожий на Митьку Кольцова, чилиец — Алехандро Альварес Риос.

Генка положил фотографию на журнальный лист. Сказал тоскливо:

— Все думаю: он или не он?

— Ну почему же он? — беспомощно сказал Серёжа.

Было что-то щемящее, до дикости несправедливое в этом сочетании: живое лицо мальчика — и рядом брошенное на камни, пришитое к ним пулями маленькое тело.

Словно защищая Генку от беды, Серёжа по-

вторил:

— Почему обязательно он? Лица-то не видно. Только волосы похожи.

— И рубашки, — прошептал Генка. — И еще… Смотри.

Он коснулся ногтем воротника у Алехандро. Там в уголке белела капелька непонятного значка. А на большом снимке… Там тоже. Угол воротника выбился из-под щеки, и на нем виднелся белый кружок.

— Ну и что? Просто совпадение. Разве не может быть совпадения? — спросил Серёжа.

— Может, — сказал Генка. — Все может… Только от этого не легче.

— А почему ребятам не показал?

Генка шевельнул плечом.

— Ну… как-то жалко стало. Его жалко. Он лежит убитый, а все смотреть будут. Сравнивать: он или не он… Будто если не он, то можно и не очень жалеть… Нельзя так.

Серёжа молча кивнул.

Мелкие-мелкие снежинки падали на журнальный лист, на фотографию чилийского мальчишки. Падали и не таяли. Из-за стекла витрины глупо таращилось на ребят семейство дурацки красивых манекенов: папа, мама и дочка. Все в

разноцветных спортивных костюмах. Серёжа сердито встал к ним спиной.

Кузнечик все еще держал перед собой снимки. Будто не решался оторваться от них. Сказал тихо-тихо:

— Когда смотрю, отомстить хочется. Будто кого-то из наших убили. Митьку или Данилку. Или еще кого-то…

— Да, — сказал Серёжа.

Генка помолчал, сдул с листа снежинки и медленно проговорил:

— Смотри, он упал, как барабанщик. Только барабан вперед укатился, и его не видно.

…Барабан сорвался с ремня, упал набок и, глухо гремя на камнях, покатился навстречу солдатским сапогам. Очередь из пулемета ударила в него, вспорола и отшвырнула на край мостовой. Мелко брызнули осколки камней и запутались в волосах упавшего Данилки…

Генка опять сдунул снежинки и проговорил:

— Данилка сказал: "Мне просыпаться первому…" Мне эти слова, как строчка из песни, запомнились… Я, наверно, песню сочиню про барабанщиков. Она из сегодняшнего дня сама получается.

И, глядя на журнальный снимок, словно чи-

тая подпись под ним, Генка хрипловато стал говорить:

*Как бы крепко ни спали мы,*
*Нам подниматься первыми,*
*Лишь только рассвет забрезжит*
*В серой весенней дали…*

Он переглотнул, помолчал и, будто рассердясь на себя за смущение, за хриплость, сказал негромко, но ясно:

*Это неправда, что маленьких*
*Смерть настигнет реже —*
*Ведь пулеметы режут*
*Часто у самой земли.*

В Серёже словно музыка откликнулась: суровый твердый марш, когда все барабанщики медленно поднимают и разом опускают палочки.

Он ничего не сказал. Он вдруг сообразил, что Кузнечик держит лист голыми руками, без варежек. Пальцы у Генки стали белые, как деревяшки. Серёжа скинул перчатки, осторожно взял бумагу, свернул ее и сунул Генке в наружный карман. Сложил вместе Генкины застывшие ладошки,

зажал их в своих горячих ладонях.

— Пошли.

И повел Кузнечика, согревая его пальцы.

Генка послушно, как маленький, шел рядом.

Серёжа сказал:

— А ты говоришь: "Саша, Саша..." Значит, ты сам песни придумываешь?

Генка покачал головой.

— Нет, это Саша. А я сегодня первый раз... Если у меня не получится, Саша поможет. Чтобы до конца... Он мне в любом деле помогает.

— Мне бы такого брата, — сказал Серёжа.

Генка улыбнулся и доверчиво проговорил:

— Я его как тысячу братьев люблю... Один раз я даже подумал знаешь что? Если бы с Олегом что-нибудь случилось, Саша мог бы стать у нас командиром.

Серёжа даже выпустил Генкины ладони.

— С Олегом? А что с ним может случиться?

— Да нет, я же просто так. У Саши и времени нет никогда. Просто они с Олегом чуть-чуть похожи.

— Возьми мои перчатки, они нагретые, — сказал Серёжа. — А с Олегом... Ничего с ним случиться не должно.

И он вдруг понял, почему сегодня утром проснулся с тревогой. Из-за Олега. У того слишком

часто теперь бывало хмурое и озабоченное лицо.

## 5

Несколько дней в отряде ждали неприятностей со стороны домоуправа Сыронисского и его союзников. Но прошла неделя, а все было спокойно. И ребята решили, что "противник" не захотел больше связываться с "Эспадой".

Жизнь потекла, как прежде. По вторникам и пятницам — тренировки, по средам — линейки, по выходным — съемки фильма. А в другие дни, и утром и вечером, "Эспада" жила "просто так": прибегали те, кто был свободен, а дело всегда находилось.

Все было бы хорошо у Серёжи, если бы не этот чертов Димка. Видно, осталась у него обида. Нельзя сказать, чтобы он открыто злился на Серёжу или не замечал его. Но лишний раз тоже не взглянет и хорошего слова не скажет. Не то что раньше.

А может быть, Серёже просто казалось?

Дело решил сам Димка (молодец он все-таки!). Он встретил Серёжу после занятий в раздевалке, когда рядом никого не было. Встал Димка перед Серёжей, как тогда, при первой встрече в лагере,

заложил пальцы за белый ремень, слегка наклонил голову к плечу и спросил, то ли с досадой, то ли с сочувствием:

— Что ты все время такими глазами смотришь?

Серёжа смутился и потому огрызнулся:

— Какими?

— Вот такими. — Димка сложил пальцы колечками — показал, что глаза у Серёжи большие и круглые. Затем добавил, не отводя взгляда: — Я же виноват, а не ты.

— Что-то я тебя не понимаю, — сказал Серёжа.

В Димкиных глазах мелькнуло возмущение. Серёжа почувствовал: хитрить стыдно и бесполезно.

— Если виноват, зачем дуешься? — спросил он.

Димка стал смотреть в сторону:

— Я не дуюсь.

— Ну, злишься... Получается, что мы с тобой поссорились.

— Я не злюсь.

— Ну, обижаешься.

— Не обижаюсь я, — сказал он с упрямой ноткой.

— Не ври. Я же знаю, что ты тогда обиделся.

Димка крутнул головой и, все так же глядя в

сторону, проговорил:

— Это тогда. Сначала…

— Сначала… А потом тоже.

Димка глянул исподлобья, быстро и серьезно.

— Не-а…

— Нисколько? — осторожно спросил Серёжа.

— Ну… маленько. А сейчас уже нисколько.

— Правда?

Димка кивнул. Теперь он опять не отводил глаз.

— Ну, тогда… что? — спросил Серёжа.

— Что? — спросил и Димка. И во взгляде его мелькнула веселая искорка.

— Тогда… значит, мир?

— Ага, — сказал Димка и улыбнулся.

— Ну? — произнес Серёжа и протянул руку.

Димка далеко отвел свою ладошку и с размаха уложил ее в Серёжину ладонь. Он теперь смотрел совсем открыто и улыбался как всегда, как раньше. Это был наконец обычный Димка.

И Серёжа ощутил горячий прилив благодарности к нему. Он был готов теперь для Димки сделать все, что угодно: с третьего этажа прыгнуть, в бой кинуться… Хотя виноват-то был все-таки этот обормот Димка, а не он, Серёжа. И если Димку угораздит опять опоздать на вахту,

не миновать ему новой нахлобучки.

…Вместе с Димкой и Кузнечиком они отремонтировали пенопластовый замок. Его нужно было снять на кинопленку в лучах сильных фотоламп на фоне косматых снежных облаков. Почти в сумерках. На экране зрители увидят красивую белую крепость, в которой укрылся от врагов и ночной непогоды хитроумный кардинал Ришелье. Там он строит козни против трех мушкетеров и маленького их товарища — д'Артаньяна.

…В небольшом французском городке, на берегу реки, по которой ходили дымные пароходы, жил-был веснушчатый и лохматый мальчик Андрэ. А попросту говоря, восьмилетний Андрюшка. И жилось ему не очень-то весело. Мальчишки дразнились, потому что рыжий, тетушка за каждый пустяк ставила в угол и не давала компота, а школьный учитель месье де Раздолбон придирался и делал в дневнике дурацкие записи.

И однажды Андрюшка обиделся. Не так, как раньше, не на минутку, а крепко — навсегда. Он решил бросить дом и уйти в мушкетеры.

Андрюшку долго уговаривали не делать глупостей. И тетка, и учитель, и даже мальчишки, которые осознали свое неправильное поведение, обещали больше не дразниться, а месье де

Раздолбону посадить в портфель живую крысу, чтобы он тоже перевоспитался.

Андрюшка не отменил решения. Напрасно ему говорили, что мушкетеров сейчас и на свете нет, что водились они раньше, в другую эпоху, и даже в других местах. Андрюшка знал, что мушкетеры есть, потому что недавно видел их сам, когда стоял в углу и украдкой поглядывал на экран телевизора. Все, что показывают по телевизору, есть на самом деле: не будут же взрослые люди дурака валять.

Андрюшка готовился к походу всерьез. Воткнул в берет большое куриное перо, приделал к старым валенкам отвороты и жестяные шпоры, из толстой проволоки и консервной банки смастерил длинную шпагу. Лошади у Андрюшки не было, и он взял березовую палку, а к ней приделал конскую голову из картона.

— Ну, скачи, скачи, — сказали ему. — Далеко не уедешь, к ужину все равно вернешься. Только людей насмешишь.

И Андрюшка правда смешил. Когда проявили первую пленку и запустили кинопроектор, все просто лежали от хохота.

Маленького Андрюшку д'Артаньяна играл настоящий Андрюшка — Гарц. Он был на три года

старше своего героя, но это ничуть не мешало. Невысокий, щуплый, в своем дошкольном костюме, из которого не очень даже и вырос, Андрюшка вполне сходил за восьмилетнего. А играл он как артист. Это все сказали, когда выбирали человека для главной роли. Даже Данилка уступил, хотя сам сначала метил в д'Артаньяны (говорил, что пускай фильм не цветной, но рыжего должен играть самый рыжий).

На длинной бумажной ленте нарисовали дорогу — с деревьями, каменными горбатыми мостиками, мельницами и старинными островерхими домиками. Эту ленту засняли на кинопленку. А потом на фоне белой стены сняли на ту же пленку скачущего Андрюшку. Это называлось "комбинированная съемка". Получилось, что Андрюшка скачет по дороге. Ну совершенно невозможно было без смеха смотреть, как лихо несется он на березовой палке-лошади, как взбрыкивает по-жеребячьи худыми ногами, на которых болтаются валенки со шпорами, как уговаривает своего "коня" перепрыгнуть через канаву, а когда "конь" отказывается наотрез, закидывает палку на плечо и пешком бредет в обход...

Кто хочет, тот добьется: скакал, скакал Андрюшка и все же добрался до старой Франции, а

там в таверне "Жареный петух" повстречал Атоса, Портоса и Арамиса.

Сначала доблестные мушкетеры не приняли всерьез храброго малыша. Они долго хохотали, когда Андрюшка попросился к ним в товарищи. И было очень смешно, как Андрюшка пытался доказать, что он уже большой, показывал шпагу и шпоры. А потом стало не только смешно. Андрюшка сделался похожим на растрепанного, но боевого петушка. Олег снял крупным планом его лицо, и на экране все увидели Андрюшкины глаза. Это были глаза обиженного мальчишки, над которым хватит смеяться. Лучше не надо смеяться. Себе дороже.

Андрюшка с размаху рубанул шпагой по столу и швырнул под ноги мушкетерам берет.

Через полминуты господа мушкетеры убедились, что проволочная шпага — совсем не шуточное оружие. От полного конфуза их спасло только нашествие кардинальского патруля. Вот тут-то мушкетеры и Андрюшка объединились и всыпали гвардейцам перца и соли!

И все сразу забыли о нелепых Андрюшкиных валенках, о плаще из теткиной косынки, о детском бантике у воротника, когда мушкетеры вручили ему боевую шпагу. Было совсем не смеш-

но, было здорово, как он взял и стиснул клинок…

Но это — лишь начало фильма. А впереди еще съемки. Длинный рассказ о приключениях мушкетеров, Андрюшки и короля.

У семилетнего короля жизнь тоже была не сахар. Кардинал, очень похожий на месье де Раздолбона, каждый день изводил его длинными лекциями о хорошем поведении, а мамаша-королева (весьма напоминающая Андрюшкину тетку), чуть что, лупила его величество длинным веером и ставила в угол. Там, среди сырости и паутины, висела специальная доска с надписью: "Угол для Его Королевского Величества".

Долго терпел маленький король эти безобразия. Но когда подлый кардинал украл любимую королевскую игрушку — заводной паровоз, терпение Людовика лопнуло. Он тайно позвал мушкетеров и запросил о помощи. Вот тогда-то все и началось!

Короля поручили играть маленькому Вадику Воронину, у него это получалось. Генка Кузнечик взял роль Арамиса, Алеша Смирняков — Атоса, а Володя Огоньков — Портоса. Учителя де Раздолбона и коварного кардинала играл один человек — Валерик Воронин. А роль королевы и Андрюшкиной тетки пригласили исполнять

Наташу. Кого же еще?

Наташа сначала согласилась. Но тетка и королева получались у нее слишком добрыми. Сразу было видно, что она обижает ребят не по правде. Серёжа сказал Наташе:

— Меня все время воспитываешь, а тут не можешь.

— Тебя — за дело, — огрызнулась Наташа. — А Вадика и Андрюшку жалко.

И вдруг предложил свои услуги вечный неудачник Андрей Ткачук. Тут ему повезло. Едва он напялил длинное платье с оборками, надел жестяную корону и заговорил голосом старой дамы, все поняли: это то, что надо.

— Ваше величество, — поджав губы, произнес Ткачук. — У вас опять порваны штаны! Фи… Пусть ваше величество изволит стать в угол и не выходит, пока мое величество не изволит разрешить… а то как врежу веером, будешь знать, обормот!

Наташа уступила корону и осталась заведовать костюмами.

Серёжа тоже не снимался. Ему нравилось возиться с пленками, устанавливать декорации, проводить репетиции схваток между гвардейцами и мушкетерами. А играть кого-нибудь он, по правде говоря, и не решился бы. Стеснялся

как-то…

Снимали "Трех мушкетеров" только по воскресеньям. В другие дни было нельзя: ребята учились в разные смены, всех не соберешь.

Ждали весенних каникул. А еще больше ждали лета, потому что многие сцены снимать надо было "на натуре" — в саду, который изображал дворцовый парк, и на берегу пруда (будто на берегу моря).

Была у Олега мысль: договориться, чтобы на втором этаже освободили кладовые, а помещение отдали ребятам. Там вполне можно было устроить библиотеку, а главное — кинозал.

— Мы бы всех окрестных ребятишек на премьеру "Мушкетеров" собрали, — говорил он. — А потом регулярные киносеансы устроили бы. Мультфильмы у нас есть, могли бы и сами еще что-нибудь снять. И библиотеку для всех открыть можно…

Скоро известие о ребячьем кинотеатре разлетелось по ближним дворам и школам.

Ленька Мосин сообщил:

— Лысый говорит, что его парни будут всех караулить и лупить, кто к нам станет ходить.

— А вы что? — с интересом спросил Олег.

— Мы с Гарцем его три квартала гнали, — объ-

яснил Мосин. — До самого дома. А там его мамаша выскочила. У нее голос, как у динамика на вокзале...

После стычки с домоуправом о верхнем этаже перестали мечтать. Но кино можно показывать и в спортзале, а книги держать в кают-компании.

...Однажды, уже в марте, после удачной съемки Серёжа, Генка и Митя остались, чтобы убрать декорации и рефлекторы с фотолампами.

— Если так дело пойдет, в июне кончим, да, Олег? — сказал Серёжа.

— Может быть, — откликнулся Олег рассеянно.

— Почему "может быть"? Летних съемок всего на неделю, если каждый день снимать.

— Не наделали бы нам к июню пакостей, — хмуро сказал Олег. — Мысль, что бухгалтерия важнее "Эспады", до сих пор сидит в голове гражданина Сыронисского. Вчера опять звонил и грозил устроить здесь ремонт... Знаю я этот ремонт! Для нас он и полкило краски не дал бы. Втащат свои столы и устроят контору.

— А мы их не пустим! — сказал Митя. В гвардейском плаще и шляпе с перьями он выглядел очень по-боевому.

— Маляров сюда ни за что нельзя пускать, — поддержал Кузнечик. — Лучше сами все покра-

сим. А то они стены замажут, а здесь вон сколько нарисовано… А этот Сыронисский — самый главный начальник, что ли?

— Да нет, конечно, — устало сказал Олег. — Но вредный до чертиков. Особенно если кто-то слово ему поперек скажет… А тут еще союзнички у него объявились…

— Кто? — встревожился Серёжа.

— Ну, те две дамы, которых я на занятия не пустил. Ходят и везде капают: "Ах, чем они там занимаются, если даже посмотреть нельзя? Ах, чему их там учат! Ах, мы тогда к окнам пошли, а окна все одеялами завешены, ни одной дырки. Скрываются они от людей…" Это когда мы с утра пленку просматривали.

— Так они просто дуры, — сказал Кузнечик.

— Это ты понимаешь, что дуры. А они про себя говорят, что очень полезные люди. О воспитании заботятся.

— А чего им от нас надо? — спросил Митя. — Даже непонятно.

— А холера их знает! — в сердцах сказал Олег. — Есть такой тип людей — склочники. Понять склочника невозможно. Пишет жалобы, шепчет, гадости говорит. Вроде бы и себе никакой пользы, и людям жизнь портит… Ну, мадам Сенцова — та

хоть понятно, почему жалуется...

— А что Сенцова? — спросил Серёжа.

Олег досадливо поморщился:

— Не хотел я рассказывать... Ну ладно. В конце концов, это всех нас касается. Дело в том, что эта мама Сенцова никак не успокоится. Сначала она своего сына в поликлинику потащила: дайте, мол, справку, что мальчика избили. Это когда ты, Сергей, палкой врезал ему в темном переулке... Ну, в больнице никаких следов избиения не нашли. Тогда она кинулась в милицию. Начала рассказывать, что в "Эспаде" учат запрещенным приемам драки. "Иначе, — говорит, — как мог этот хулиган Каховский отмахаться от троих подростков и свалить взрослого человека..." Имейте в виду: не "взрослого бандита", а "взрослого человека"...

— Ай-яй-яй, Серёжа, — сказал Генка. — Как же это ты? Нехорошо так со взрослыми...

Олег усмехнулся и продолжал:

— В милиции ей говорят: "Правильным там приемам учат. А ваш сын пусть не знакомится с жуликами..." Она и завелась. Еще одну жалобу, более высокому начальству. Дошла до какого-то майора, тот слегка испугался: а вдруг в "Эспаде" и правда что-то запрещенное? Пришлось мне объ-

яснения давать. Целый протокол. Разобрались... А она дальше. Пошла в районо. Там ей повезло.

— Как? — хором спросили Серёжа, Генка и Митя.

— Есть там инспектор по внешкольным учреждениям. Фамилия у него Стихотворов. Отнесся он к мадам Сенцовой с большим сочувствием... А дело в том, что я в январе на учительской районной конференции выступал и проехался по его работе. Ну в самом деле, с одной стороны, требует: работайте с трудными подростками, с другой — заявляет: двоечников к занятиям в клубах и секциях не допускать. Если хотят заниматься, пусть исправят оценки! А где ему руководители клубов найдут трудных подростков с пятерками в дневниках? Об этом я его и спросил...

— А кто такие "трудные подростки"? — спросил Генка. — Мы трудные?

— Труднее некуда, — сказал Олег. — Особенно Каховский. Драку затеял в переулке с целой компанией. А ведь знает, что драться нехорошо.

— Больше не буду, — сказал Серёжа. — Ты расскажи дальше про инспектора.

— Вызвал он меня и давай беседовать: "Вот видите, вы других критикуете, а на вас тоже жалуются". Объяснил я ему, кто жалуется и почему.

А он опять: "Да, конечно. Однако общественность вами недовольна". Снова объясняю, что за общественность и почему недовольна. Выслушал он и говорит: "Я понимаю, но..." И после этого "но" опять повторяет все то, про что я ему два раза объяснял. Хоть лоб расшиби о стенку! А потом вспомнил Сыронисского: "Вот и домоуправляющий говорит, что ваши мальчики ведут себя вызывающе..." Я ему говорю: "Ведь один из этих мальчиков из-за Сыронисского пострадать мог, даже погибнуть! Что же им, расшаркиваться надо было? Мальчик на посту стоял, флаг охранял, а эти люди буквально ворвались в отряд!" А он знаете что: "Кто там врывался, кому нужен ваш флаг? Для вас важней всего игрушки, а люди взрослым делом заняты".

Олег улыбнулся, щелкнул пальцами. Потом сказал:

— Дотянулся я тут до телефона и позвонил в райком комсомола. Попал прямо на первого секретаря Володю Самсонова. И говорю: "Объясните товарищу инспектору по внешкольным учреждениям, можно ли считать игрушкой флаг пионерского отряда? И можно ли хватать и выкидывать за дверь пионера, который стоит на посту у флага?"

— Он объяснил? — с радостным нетерпением спросил Митя.

— Объяснил. Володя такие вещи объяснять умеет, он сам вожатым был… Но нельзя сказать, что с товарищем Стихотворовым расстались мы друзьями.

— А что он может сделать? — спросил Серёжа.

— Кто его знает… Боюсь, что он, и Сыронисский, и Сенцова, и эти дамы из уличного комитета — одна компания.

— У нас ведь тоже компания ничего, не слабенькая, — сказал Кузнечик. — Без боя не сдадимся.

— А чего нам сдаваться? Мы же правы, — сказал Митя.

## 6

Случилось чудо: Серёжа получил пятерку по алгебре. Весь класс ломал голову над хитрой задачкой, а Серёжа присмотрелся и увидел, что задачка совсем простая. Только решать ее надо не так, как прежние, а другим способом. Он так отчаянно запросился к доске, так затряс рукой, что Антонина Егоровна взвела брови и почти простонала:

— Каховский! Что с тобой?

— Но ведь совсем просто! Как дважды два!

На доске он писал быстро и с таким треском, что осколки мела сыпались, как скорлупа ореха. А орехом была задачка, которую Серёжа расщелкал.

Антонина Егоровна торжественно внесла пятерку в клетку классного журнала. Эта пятерка придавила и заслонила чахлые тройки и подлую двойку, полученную две недели назад. Серёжа вернулся на место, как после трудной и блестящей победы на фехтовальной дорожке. Кузнечик обернулся, мигнул ему и показал большой палец. Мишка Маслюк, недавно перебравшийся на парту к Серёже, грустно сообщил:

— А я все равно ничего не понял.

Антонина Егоровна вдохновенно заговорила о том, как много значит в математике интерес и старание. Вот Каховский всегда утверждал, что у него нет математических способностей, а сегодня заинтересовался необычной задачей, сделал усилие и…

— Каховский, ты меня слушаешь?

Серёжа не слушал. Дверь класса была приоткрыта, и в ней стоял Василек Рыбалкин, по прозвищу Негативчик, сокращенно — Нега. Данилкин барабанщик. Удивительное боль-

шеглазое создание со светлой пушистой головой и постоянно загорелым лицом — как портрет на негативной пленке.

Что он здесь делает? Во-первых, он учится в ту же смену, что и Серёжа, значит, должен быть на уроках. Во-вторых, он из другой школы. В-третьих, он вообще не должен быть ни в какой школе, а обязан сидеть дома, потому что у него ангина.

Василек встретился глазами с Серёжей, поманил его ладонью и отступил за дверь.

— Антонина Егоровна, разрешите выйти!

— Что с тобой?

— Ну, очень надо!

— Ты что, переволновался у доски? Ну... иди, пожалуйста.

Встревоженный взгляд Кузнечика: "Что?"

Ответный взгляд: "Не знаю. Кажется, тревога".

Нега ждал у двери. Сиплым от простуды голосом сказал:

— Мой велосипед внизу, в коридоре. Отряд громят. Жми. Там Митька.

Данилка научил своих барабанщиков говорить коротко и четко. Олег научил фехтовальщиков "Эспады" действовать быстро.

Уже на Октябрьской улице, на спуске, с зами-

рающим от тревоги и скорости сердцем Серёжа сообразил: правую штанину он ничем не защемил. Если попадет в цепь, будет много грохота. Но скорость не снизил. Все обошлось.

Один из слесарей отдирал от стены доски стеллажей. Другой срывал дополнительную электропроводку, которую ребята протянули для освещения во время киносъемок. Еще двое рабочих вытаскивали декорации и вносили столы и шкафы. Они подошли к двери кают-компании и хотели взять фанерную спинку королевского трона, стоявшую у косяка.

— Назад! — сказал Митя Кольцов.

Он стоял на пороге кают-компании, загораживая дверь. Кулаками упирался в косяки. В левом кулаке была зажата рапира — Митя держал ее за клинок под рукояткой, концом вниз.

— Ну-ка ты, подвинься, — хмуро сказал небритый дядька и потянулся к декорации.

Митя не подвинулся. И вообще не двинулся с места.

— Назад! — четко повторил он.

— Отойди, отойди, — поспешно сказал дядьке домоуправ Сыронисский. — Не трогай, это потом. Опять скажут, что мы на детишек бросаемся.

Слесари ухватили фанерную колонну дворцо-

вого зала и поволокли к выходу.

— Назад! — сказал Серёжа, появляясь на пороге.

Слесари нерешительно остановились. Один все-таки сказал:

— Отойди с дороги, малявка…

Серёжа только что прошел мимо сваленных в грязь у крыльца декораций, над которыми ребята трудились больше месяца. Увидел грязные следы сапог на полу в коридоре. Заметил царапины на разрисованных стенах спортзала — от острых углов домоуправленческой мебели. Вырванные с гвоздями полки, сорванные провода. И тут еще "малявка"! Он ощутил такую злость, какой не чувствовал никогда в жизни. Он даже испугался. Испугался, что забудет обо всем на свете и сделает что-то страшное.

Стоп. Стоп, так нельзя. Нельзя забывать одного: что ты капитан "Эспады". Надо отдышаться. Надо сосчитать хотя бы до десяти. И обратно: пять… четыре… три…

Слегка сбивчиво, но уже почти спокойно он сказал:

— Кто вас сюда пустил? Вы находитесь на территории пионерского отряда "Эспада". Прекратите погром!

Сыронисский повернулся к человеку с приветливо-скучным лицом и большой нижней губой.

— Видите, товарищ Стихотворов? Так они все и воспитаны.

Тот сокрушенно покачал головой. Видимо, соглашался, что воспитаны кошмарно.

— Между прочим, — сказал Сыронисский Серёже, — ты бы постеснялся. Это товарищ из районо.

— Между прочим, догадываюсь, — резко ответил Серёжа. — Странно, что он разрешает вам громить пионерский отряд.

— Это не погром, а подготовка к ремонту. В ваших же интересах, — сладко сказал инспектор Стихотворов.

— Я вижу, — сказал Серёжа.

Он повернулся к Мите:

— Ключ от кают-компании у тебя?

— В кармане, — откликнулся Митя, продолжая загораживать дверь.

— А где Олег?

— В институте задержался. Я уже позвонил.

Серёжа ушел из прохода. Пусть уносят колонну, не в ней дело.

Он подошел к Мите и загородил его.

— Запрись изнутри, — велел он. — Набери по

телефону ноль-два, вызови милицию. Скажи: взрослые люди громят пионерский клуб.

— Я уже вызвал, — сказал Олег. Он встал в дверях спортзала, запыхавшийся, в расстегнутом пальто.

За ним стояли Василек Рыбалкин, Рафик Сараев, Данилка и Генка с двумя портфелями — своим и Серёжиным. Видно, понял Кузнечик, что сегодня уже не быть им с Сергеем на уроках.

— Я вызвал милицию, — повторил Олег. — Сейчас приедут.

Потом он обратился к Сыронисскому:

— Конечно, я знал, что вы способны на всякое хамство. Но не думал, что осмелитесь на такую открытую наглость.

— Я не понимаю… — начал Сыронисский.

— Я тоже не понимаю, — поддержал инспектор Стихотворов. — Вы заняли странную позицию, Олег Петрович. Все происходит совершенно законно.

— Подлость по отношению к детям не может быть законной, — сказал Олег.

Стихотворов оскорбился:

— Вы все-таки выбирайте выражения.

— А что? Я неточно выразился?

— Воспитатель! — сказал Сыронисский.

Олег спросил у Серёжи:

— Никого из вас не задели?

— Никого, никого! — уверил Сыронисский. — Это они успели всем нагрубить. А мы к вашим воспитанничкам даже не подходили. Упаси господи! Себе дороже…

Олег усмехнулся:

— Вот именно.

Постукивая каблуками, вошел смуглый, похожий на кавказца, лейтенант и два милиционера. Не обращаясь ни к кому в отдельности, лейтенант спросил:

— Что случилось?

Сыронисский подкатился к нему колобком.

— Домоуправление намерено проводить в помещении ремонт в соответствии с утвержденным графиком. А руководитель детского клуба всячески препятствует, настраивает ребят. Дело доходит до вооруженного сопротивления.

Насчет вооруженного сопротивления лейтенант пропустил мимо ушей. Слегка поморщился и спросил у Олега:

— Вы руководитель клуба?

— Да.

— Разве вопрос о ремонте с вами не согласован?

— Конечно, нет! Какой может быть ремонт в разгар занятий с ребятами! Речь идет не о ремонте. Они просто хотят вытряхнуть нас и устроить здесь бухгалтерию.

Лейтенант вопросительно повернулся к Сыронисскому. Тот поспешно сказал:

— Мы дали это помещение для клуба временно. По просьбе райкома комсомола. Но вопрос о бухгалтерии еще не решен окончательно. Пока мы собираемся просто ремонтировать.

Лейтенант окинул взглядом помещение.

— Если вопрос не решен, почему сюда вносят столы и шкафы?

Сыронисский слегка обиделся:

— Простите, это уж наше дело. Шкафы — для хранения кистей и красок. Столы — вместо стремянок для штукатуров.

— Чушь какая, — сказал Олег.

Ребята подошли к нему и встали сзади полукругом.

Только Митя остался на посту у дверей.

К лейтенанту подошел Стихотворов. Он заговорил негромко и доверительно:

— Видите ли, товарищ милиционер, у районного отдела народного образования к товарищу Московкину есть ряд вопросов. Мы полагали,

что пусть домоуправление делает ремонт, а специальная комиссия в этих вопросах за данный отрезок времени разберется. Есть мнение, что товарищ Московкин…

Олег перебил:

— Это ваше личное мнение. А мнение комсомольских органов вы спрашивали?

— Но позвольте…

Лейтенант перебил Стихотворова:

— Простите, это не мое дело. Я хотел бы выяснить: согласован ли вопрос о ремонте с руководителем клуба?

Сыронисский внушительно сказал:

— Этот вопрос согласован с райисполкомом.

Лейтенант повернулся к Олегу:

— У вас есть телефон?

— Да.

— Позвоним председателю, выясним.

— Председатель в отпуске, — поспешно известил Сыронисский. — А заместитель на совещании. А этот вопрос я согласовывал с товарищем Подолякиным.

— Я не знаю никакого Подолякина, — сказал Олег.

— А я знаю, — со скрытым торжеством сказал Сыронисский. — И звонить ему незачем. Во-пер-

вых, он тоже на совещании, во-вторых, у меня есть график, им подписанный. С печатью. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил мятую бумагу с лиловым, отпечатанным на машинке текстом.

— Пожалуйста. Детский клуб, улица Красноармейская. Срок ремонта — март — апрель.

— Этот товарищ Подолякин и не подозревает, что нас хотят отсюда выставить. Подмахнул подпись — вот и все, — сказал Олег.

Лейтенант взял бумагу и очень внимательно просмотрел ее. Отдал Сыронисскому и повернулся к Олегу. Сказал чуть виновато:

— Я вас понимаю. Но это документ, и этот человек — должностное лицо. Не могу ему препятствовать.

— Но это должностное лицо ведет себя как погромщик, — возразил Олег. — Посмотрите, что они натворили.

Лейтенант посмотрел.

— Действительно, — сказал он Сыронисскому. — График графиком, но что за разгром? Имущество клуба, декорации в грязь свалили. Это что, тоже необходимость?

— Ошибочка, — поспешно объяснил Сыронисский. — Результат спешки и недосмотра. Сейчас исправим. Толя, Саша! Все барах… все имущество

поставить аккуратно. Потом уберем в сарай… Учтем, товарищ лейтенант… А товарищ Московкин пусть отопрет вон ту комнату.

— Не отопру, — сказал Олег.

— То есть это как? На каком основании?

— На таком основании, что у нас там вещи, принадлежащие отряду, а не вам. Спортивное оружие, барабаны, документы. Флаг отряда.

— Так забирайте их!

— Куда? Предоставьте помещение.

— У меня нет для вас помещения.

— У меня тоже нет, — сказал Олег.

Домоуправляющий помолчал и ледяным тоном потребовал:

— Отоприте замок.

— Не отопру, — хладнокровно откликнулся Олег.

— Не имеете права. Я на службе.

— Имею, — язвительно сказал Олег. — Этот замок — моя собственность. Я купил его на свои деньги и врезал своими руками.

Данилка неожиданно фыркнул. Серёжа почувствовал, что и ему смешно. Дело получается грустное, а все равно смешно. Только смех этот — злой. Сыронисский позеленел.

— Но дверь не ваша собственность! Она — иму-

щество домоуправления. Я имею право открыть ее, когда считаю нужным!

— Открывайте, — сказал Олег. — Но учтите, что перед дверью, охраняя отряд, стоит мальчик со шпагой. А он не является вашим имуществом.

— Так уберите этого мальчика!

— Зачем? Он на своем посту.

— Товарищ Московкин, — негромко начал Стихотворов, — согласитесь, что это...

— Это хулиганство! — взвился Сыронисский. — Товарищ лейтенант, я требую! Пусть мальчишка уберется и отдаст ключ.

Лейтенант пожал плечами.

— Скажите это руководителю клуба.

— Но вы обязаны наводить порядок!

Серёже показалось, что лейтенант заговорил со скрытым удовольствием:

— Видите ли, если бы здесь было нарушение законов, пьянство, драка, дебош, я бы вмешался. Но здесь два руководителя разных организаций не могут прийти к одной точке зрения. Это ведомственный спор. Я тут ни при чем.

Он кивнул милиционерам:

— Пошли.

Сыронисский сказал вслед:

— Тогда мы уберем мальчишку сами!

Лейтенант оглянулся.

— Не советую, — веско произнес он. — Очень не советую. Вы можете нечаянно толкнуть или поцарапать мальчика.

— Тогда что же мне делать?

— Договаривайтесь, — обронил лейтенант и вышел.

Сыронисский опустился на стул.

— Хорошо, — покладисто сказал он. — Мы будем ждать, пока вашему часовому не надоест.

Митя впервые вмешался в разговор.

— Нас сорок восемь человек, — вежливо сказал он. — Мы можем меняться через полчаса. Круглые сутки.

Минуты три все молчали.

— Ладно, ребята, — сказал наконец Олег. — Выйдите во двор, подойдите к окну кают-компании.

Ребята послушались. Серёжа задержался. Олег подошел к Мите:

— Дай ключ.

Он открыл дверь, подтолкнул Митю в кают-компанию, зашел сам. Замок щелкнул изнутри. Серёжа выскочил во двор.

Олег распахнул окно.

— Принимайте вещи, — хмуро сказал он. — Не можем мы, в самом деле, дежурить день и ночь.

Пока заберем, что нужно, а потом пойду к начальству.

Он стал подавать барабаны. Данилка, Рафик, Нега повесили их на себя. По две, по три штуки. Но скоро подоспели остальные барабанщики, разобрали свои инструменты.

Олег стал подавать рапиры.

Сыронисский и Стихотворов вышли на крыльцо.

— Между прочим, ваше оружие куплено на деньги домоуправления, — заметил Сыронисский.

— Не все, — сказал Олег. — Восемь рапир — мои.

— Странно вы себя ведете, Олег Петрович, — мягко заговорил Стихотворов. — Только усугубляете дело. Комиссия все это будет учитывать.

— Представляю, что это за комиссия, — усмехнулся Олег.

— Обычная. Товарищи из уличного комитета, методисты, представители…

— И ни одного комсомольского работника. Ни одного человека из родителей наших ребят!

— Вы что же, не доверяете нашей общественности?

— Я не доверяю Сенцовой и ее приятелям. Вам,

кстати, тоже.

— И это вы говорите при детях!

Олег подал Мите кинопроектор. Затем протянул Генке зачехленный флаг. Генка взял его на плечо. Митя и Серёжа встали по сторонам от Кузнечика. Олег оперся ладонями о подоконник и легко выпрыгнул на улицу. Сыронисский подошел и протянул растопыренную ладонь.

— Все? Теперь прошу ключ.

Олег молча поднял на шнурке плоский ключик. Он качался над ладонью Сыронисского, и пальцы у того выжидательно шевелились.

Олег зашвырнул ключ далеко-далеко. За тополя, за забор.

— Мальчишка! — крикнул Сыронисский.

— Ломайте дверь, — сказал Олег. — Вам не привыкать.

Они шли к дому Олега. Их группа напоминала остатки разгромленной армии. Олег молчал. Ребята тоже молчали. "Как во сне, — подумал Серёжа. — Идем, смотрим, а все будто ненастоящее". Действительно, то, что случилось, даже в голове не укладывалось. Жили, работали, смеялись, сражались, радовались. Никто не верил, что может так: трах — и кончиться.

Димка подошел к Серёже и шепотом спросил:

— Как мы теперь?

Олег услышал.

— Барабаны возьмете себе домой, — сказал он. — Рапиры потом возьмут капитаны. Ну… и все остальное распределим. А там посмотрим.

Их догнала желтая милицейская машина. Выскочил на тротуар смуглый лейтенант.

— Олег Петрович, подождите… Вы не помните меня? Мы встречались.

— Да? — сухо сказал Олег.

— Вы, наверно, забыли. Я к вам в интернат, в Красный Берег, двух пацанов привозил.

— А, помню, — сказал Олег. — Было дело.

Все медленно двинулись дальше, и лейтенант пошел рядом с Олегом.

— Я все понимаю, — сказал он. — Только ничего нельзя было сделать… Я, когда мальчишкой был, у нас такие деятели во дворе волейбольную площадку загубили. Куры, говорят, пугаются и белье сушить негде. Мы — знаете что? — в газету тогда пошли. Почему бы вам не пойти в газету?

Серёжу словно толкнуло! Как он мог забыть! Газета! Алексей Борисович!

Всадники…

— Олег! Я знаю, что делать! Я завтра же…

## 7

Утро было ветреное, влажное, с проблесками солнца, которое то и дело выскакивало из-за быстрых клочковатых облаков. На газонах, среди рыжей травы, дотаивал ноздреватый снег.

Асфальт был мокрый. Двухэтажный особняк, в котором помещалась редакция, отражался в нем, как белый пароход в темной реке. А несколько разнокалиберных автобусов, стоявших у редакции, были похожи на катера.

Серёжа перешел дорогу и толкнул тяжелую дверь.

"Лишь бы Алексей Борисович никуда не уехал", — подумал он.

В бледно освещенном вестибюле было много людей. Одни стояли группами, другие суетливо проходили в разные концы. И Серёжу кольнула тревога. Было что-то непонятное в поведении людей. И только через несколько секунд Серёжа понял: они все молчат или говорят очень тихо. Столько людей — и такая приглушенность. Словно все боятся чего-то.

"А может быть, так полагается, — подумал Серёжа. — Может быть, нужно для работы, чтобы

всегда в редакции стояла тишина?" Но как-то не вязалось это с Алексеем Борисовичем, с его веселым характером, с его улыбкой.

Серёжа оглянулся. Никто не обращал на него внимания. Он подошел к высокой худой женщине, которая одиноко стояла у колонны и курила.

— Простите… Алексей Борисович, товарищ Иванов… он сейчас здесь?

Женщина слегка вздрогнула, приподняла подкрашенные брови и напряженно посмотрела на Серёжу. Словно не поняла его, но очень старалась понять. Наконец она кивнула, странно моргнув при этом, и медленно показала на лестницу.

"Что с ними со всеми?" — еще раз подумал Серёжа. Но главное, что Алексей Борисович был в редакции. Серёжа двинулся к лестнице.

— В третьей комнате, — хрипловато сказала ему вслед женщина и закашлялась.

В коридоре второго этажа, как и внизу, стояла напряженная тишина.

Дверь в третью комнату была открыта, но вход загораживали спины неподвижно стоявших людей. Так бывает, когда идет большое собрание и не всем участникам хватило места. Серёже показалось, что сейчас из-за спин донесется голос

выступающего. Но в комнате было тихо.

Он подошел, не очень надеясь что-нибудь рассмотреть и понять. Но кто-то оглянулся на него, кто-то вполголоса сказал:

— Пропустите мальчика…

И спины раздвинулись перед ним.

С дико нарастающей тревогой, ощущением непонятной, но большой беды Серёжа пошел вперед среди молча расступившихся людей…

Он сразу узнал Алексея Борисовича, хотя сейчас лицо у него было очень худым. Голова тяжело вдавилась затылком в подушку, а большой подбородок приподнялся и от этого казался еще более острым.

Боковая стенка гроба почти сплошь была закрыта цветами и зеленью. И сверху тоже были цветы. И если бы не белая, нелепая какая-то подушка, могло показаться, что Иванов упал навзничь в траву от выстрела в упор…

Когда случается неожиданная и большая беда, человек падает в нее, как в пропасть. Все, что есть вокруг, становится расплывчатым, неважным, ненужным и пролетает мимо, не оставляя следа.

В Серёже словно отключился механизм, отсчитывающий время. Совершенно не знал он, прошла минута, или час, или три. Серёжа порой

встряхивался и замечал тогда кое-что вокруг. Один раз он обратил внимание, что полной тишины все-таки нет: шепотом переговаривались люди, где-то очень глухо играла хмурая тягучая музыка. Потом он увидел, как у гроба меняется почетный караул — четыре человека с черно-красными повязками на рукавах. Вот встали трое мужчин и девушка с повязкой на рукаве пушистого синего свитера. Девушка вдруг закрыла руками лицо и пошатнулась. Ее быстро подхватили под локти. Но она тряхнула головой, опустила от щек ладони и осталась стоять с мокрым затвердевшим лицом…

Вот такие отдельные вещи иногда замечал Серёжа. А потом опять словно тонул в ощущении полного и непоправимого несчастья.

В этом несчастье была не только смерть одного человека. В нем крылась гибель отряда, потому что человек, на которого была главная надежда, лежал мертвый. Будто убитый из предательской засады.

Время от времени Серёжа спохватывался: как можно думать о своих делах, когда здесь такое горе? Но скоро мысли возвращались к "Эспаде". Смерть Иванова и судьба отряда сплетались в один клубок. И возникало чувство окончательно-

го поражения. Такую безнадежность испытывает, наверно, командир, который, отступая, надеется на последний резерв и вдруг узнает, что резерв разгромлен: лагерь сожжен и солдаты мертвы. Наступать не с кем и отступать некуда…

Кто-то взял Серёжу за плечо. То ли просто так, то ли чтобы опереться. Он оглянулся. Это была женщина, с которой Серёжа разговаривал внизу. Она смотрела на Серёжу темными, очень глубокими глазами. Потом спросила медленным шепотом:

— Ты… его знал?

— Да, — прошептал Серёжа. И тут ему стало очень обидно, что обещал он Алексею Борисовичу зайти или позвонить, да так и не собрался. А теперь уж ничего не поделаешь.

— Я ведь не знал… — с раскаянием прошептал Серёжа. — Я к нему по делу пришёл, к живому…

Женщина не удивилась. Она тихо покашляла и сказала:

— Многие не знали… Он работал до последнего дня, а лечиться все было некогда. Торопился книжку закончить. А что болеет, почти не говорил.

— Почему он умер?

— Сердце…

Люди задвигались, стали выходить, и Серёжа

понял, что ему тоже надо идти. В дверях он оглянулся. И только сейчас увидел на стене большой фотопортрет Иванова. Алексей Борисович улыбался знакомой-знакомой улыбкой, как тогда, на станции. Серёжа вдруг подумал, что, может быть, последний раз видит живое лицо Алексея Борисовича. Он остановился, но его мягко подтолкнули, и пришлось выйти в коридор.

Женщина вышла вместе с ним.

— Ты поедешь на кладбище? — спросила она.

Серёжа не знал, надо ли ехать. Но сейчас ему показалось, что если не поедет, то опять обманет Алексея Борисовича. Как тогда: обещал навестить и забыл.

— А можно? — спросил он.

— Да.

— А как ехать?

— Садись в автобус. В любой.

Серёжа вышел на улицу. Автобусы стояли вереницей. Серёжа забрался в самый дальний. Он приткнулся на заднем сиденье и стал смотреть в окно. Из дверей редакции выходила молчаливая толпа. Стали выносить венки, потом вынесли крышку гроба. Ухнул и тягуче заиграл оркестр. Серёжа отшатнулся от окна и не стал смотреть и слушать. Однажды тетя Галя рассказывала,

как хоронили ее подругу, и говорила о небритых подвыпивших музыкантах, которые торговались из-за лишней десятки. Серёжа не хотел видеть такой оркестр. Зачем он здесь?

В автобус начали садиться люди. Послышался обычный громкий разговор, кто-то даже рассмеялся. Это было дико. Серёжа приткнулся в угол и молча ехал до самого кладбища.

Автобус шел долго. Потом вереница машин остановилась, и люди пошли в распахнутые высокие ворота, мимо церкви, у которой был какой-то очень праздничный купол: синий с золотыми звездами. На высоком церковном крыльце сидели старухи в черных платках. Время от времени они крестились. На нижней ступеньке крыльца примостилась серая кошка. Она умывалась и равнодушно глядела на проходивших.

Серёжа впервые оказался на кладбище. Вслед за незнакомыми людьми он шел по раскисшей дороге, потом пробирался среди могильных оградок, решетчатых обелисков со звездами и крестов. Почти всюду лежал еще серый снег. А там, где он сошел, виднелись прошлогодние листья и поблекшие стружки искусственных цветов.

Наконец подошли к могиле. Она Серёже показалась похожей на окоп с двумя глинистыми

брустверами по краям.

На краю могилы поставили гроб. Серёжа не решился подойти близко.

Стали говорить разные люди. И говорили, в общем-то, одно и то же: о том, какой хороший человек был Иванов и как много он работал. И что его не забудут. Это была правда. По крайней мере, Серёжа никогда не забудет, хотя видел Алексея Борисовича один раз в жизни. Ну и что же, что один раз? Иных видишь каждый день, а лучше бы не видеть совсем…

Серёжа тоже мог бы сказать, что за человек был журналист Иванов…

Опять заиграл оркестр. И Серёжа наконец заметил музыкантов. Это были совсем не те музыканты, каких он боялся. Серёжа увидел серые шинели, шапки со звездами и голубые погоны. И марш был не обычный похоронный марш, изматывающий душу. Это была сдержанная, суховатая какая-то музыка. Сквозь негромкие голоса труб иногда пробивалась четкая, почти маршевая дробь барабана.

Рядом с Серёжей стоял грузный мужчина в плаще и помятой шляпе. Он посмотрел по сторонам, словно искал кого-то, заметил Серёжу, отрывисто сказал:

— Теперь что? Играй не играй... Теперь все равно...

— А почему такой оркестр? — спросил Серёжа. — Разве Алексей Борисович был военный?

— Нет, — откликнулся мужчина. — Но он писал о них много. Особенно о летчиках. Они его помнят.

Снова коротко простучал барабан, и Серёжа вспомнил о барабанщиках "Эспады". И опять ему стало неловко перед собой, что думает он об отряде, а не об Алексее Борисовиче. Но ничего он не мог поделать.

Через спины тех, кто стоял впереди, Серёжа увидел, как замелькали лопаты. Кое-кто стал расходиться. Пошел и Серёжа. Ему навстречу дул мягкий ветер. В этом ветре медленно качались вверху темные, почти черные сосны. А небо над ними было серое.

Серёжа вышел с кладбища. Сесть в автобус он не решился: мало ли куда они поедут. Он подумал, что отыщет остановку любого троллейбуса и доберется куда-нибудь ближе к центру. А там до дома недалеко.

Он пошел по краю асфальтовой дороги. Шел и смотрел на свои ботинки. К левому ботинку прилип коричневый листик с тремя отростками.

Похожий на отпечаток птичьей лапы. Это был мертвый листок. Серёжа тряхнул ногой, но листок держался крепко. Пожухлый, прошлогодний…

Неужели когда-нибудь снова будет летнее небо с желтыми облаками, живая трава, лиловые метелки иван-чая, пунцовые лампочки клевера и звон шмелей?

А если и будет, никогда не пойдут по этой траве загорелые барабанщики "Эспады"…

Серёжа отчетливо вспомнил вечер на реке, огоньки по берегам, стук мотора и густой запах трав, пришедший с лугов. Будто вот сию минуту стоял Серёжа на палубе, прижимался коленями к металлическим прутьям поручней, а рядом был Алексей Борисович и держал на Серёжином плече крепкую узкую ладонь.

И как ответ на это воспоминание, легла ему на плечо тяжелая рука. Серёжа вздрогнул и обернулся.

Он увидел узкое, похожее на топор лицо и печальные, не подходящие для такого жесткого лица глаза.

— Узнал? — спросил мужчина.

— Да, — сказал Серёжа. — Вы тогда приходили в школу.

— Верно. Это я писал о тебе заметку.

— А… — откликнулся Серёжа. Но что еще сказать, не знал. Не говорить же "спасибо".

— Я думал тогда, вы из милиции, — сказал он наконец.

— Нет, я работал с Алексеем, — проговорил мужчина, медленно шагая рядом. — А теперь… Вот ведь какая беда у нас… Ему бы жить да жить. Сколько еще мог написать…

— Он успел закончить книгу? — спросил Серёжа.

— Успел… Печатается уже. Не пропусти смотри. В магазинах она не залежится, это я точно говорю.

— А как называется?

— Как называется? "Верьте всадникам". Разве ты не знал?

— Нет.

— Там про разных людей рассказы. Про разные встречи. И про тебя.

— Про меня?

— Ну да. Про тот случай на станции. Ты помнишь?

— Еще бы, — сказал Серёжа. — Но… чего же там про меня-то писать?

— Да уж Алексей знал чего… Разве он тебе не говорил?

С тихим отчаянием Серёжа сказал:

— Я его не видел с тех пор. Если бы я знал! Я ведь и сегодня пришёл, потому что беда случилась.

Товарищ Алексея Борисовича помолчал. Потом проговорил, словно успокаивая Серёжу:

— Бывает и так. Суетишься, бегаешь, некогда с хорошим человеком увидеться. И приходишь только тогда, когда узнаешь, что с ним несчастье.

— Да не так, — все с той же горечью сказал Серёжа. — Я же не знал про Алексея Борисовича ничего. Я к нему к живому шел, со своей бедой. Вернее, с нашей…

Ничего не изменилось на первый взгляд. Но сразу будто тверже стала рука мужчины на Серёжином плече.

— А что произошло? — спросил он уже по-иному, быстро и четко.

— Да не все ли равно? — откликнулся Серёжа. — Теперь-то уж…

Мужчина придержал его за плечо, зашел вперед и глянул в лицо. Глаза у него были теперь точными, как у снайпера.

— Да ты что, мальчик… У Алексея же остались друзья!.. Ведь есть же газета!..

## 8

Когда умерла мама, Серёжа много ночей подряд видел один сон. Не страшный, но какой-то безнадежный. Будто они с папой идут по унылому пустырю, где торчат кусты высохшего бурьяна. И тянется вдоль пустыря неровный серый забор из щербатых досок. А папа молчит, молчит… И все это — очень долго. Серёжа зачем-то держит на тонком ремешке пустой большой термос, и он при каждом шаге стукает Серёжу по ноге… Потом, когда уже совсем темно, приходят они домой. Дом заброшен и пуст. Мебели нет, мусор на полу, клочьями висят на стенах отставшие обои. От одинокой лампочки — жидкий желтый свет.

С минуту Серёжа и папа стоят на пороге пустой комнаты. Потом папа берет его за руку. Молча. Опять надо идти. И теперь уже неизвестно, куда и зачем. Куда-то сквозь пустые черные улицы с редкими огоньками, через рельсовые пути, по ночному полю. Серёжа знает, что шагать придется всегда и, кроме этой дороги, ничего уже не будет. И ему не страшно, не горько даже, а просто очень темно и пусто на душе. А термос по ноге — стук, стук…

С такой же пустотой и безнадежностью возвращался Серёжа с кладбища. До той минуты, пока журналист Владимир Матвеевич Ларцев не догнал его на обочине.

"Да ты что, мальчик…"

У него ладонь была узкая и крепкая, как у Иванова.

"У Алексея же остались друзья!"

Как он сам не подумал об этом? Дурак, честное слово.

"Ведь есть же газета!"

Серёжа улыбнулся. Даже в очень тяжелые минуты человек может улыбнуться, если к нему возвращается надежда. Пусть вместе с болью, с горем, с тревогой — но все равно надежда. Значит, что-то есть впереди. Значит, можно держаться прямо.

— Будут поминки, — сказал Владимир Матвеевич. — Я не пойду. Алексей не простил бы такой траты времени. Мы поедем в редакцию, и ты расскажешь все.

Домой Серёжа вернулся в сумерках.

— Сергей, в чем дело? — жестко спросил отец. — Вчера ты убежал с уроков. Сегодня прогулял весь день. Из школы звонят! Хоть в милицию заявляй!.. Что случилось? Что было вчера и сегодня?

Серёжа стащил куртку, медленно повесил на крючок. Голова кружилась от голода и усталости.

— Вчера, — сказал он, — разгромили у нас отряд…

— Это я знаю. Но при чем здесь школа? Ты пропустил два дня.

— Я с утра в редакцию пошел, к Алексею Борисовичу… А он умер. Сегодня хоронили, — сказал Серёжа и понял, что сейчас заплачет. Переглотнул, замолчал.

— Сергей, ты это что… Это правда?

— Да… Потом я познакомился с Ларцевым. Это друг Алексея Борисовича. Я ему про отряд рассказал. А потом мы с ним поехали к Олегу. Надо было скорее. Надо же спасать "Эспаду"…

Серёжа сел на табуретку, и наступило молчание, которое они с отцом лишь изредка разбивали короткими вопросами и ответами: "На кладбище ездил?" — "Да". — "А что с Алексеем Борисовичем?" — "Сердце". — "Ты не знал?" — "Нет".

Наконец папа сказал:

— Я понимаю. Но позвонить домой, чтобы люди с ума не сходили от беспокойства, ты, наверно, мог…

— Не догадался. В голове такой звон… Ты не

ругайся, папа.

— Да я не ругаюсь. Ваша завуч ругается, звонила мне… Ужинай и ложись, ты прямо черный от усталости… Постой, позвони сначала Генке, а то он извелся из-за тебя.

Завуч Елизавета Максимовна грохнула указкой по столу

— Пусть там, на задних партах, помолчат, пока я говорю! Иначе будем говорить по-другому! Я спрашиваю не вас, а Каховского. Как он посмел самовольно посреди урока уйти из класса? Как он посмел прогулять два дня? Без всякой причины!

На задних партах не хотели молчать.

— Ничего себе: без причины! — громко сказал Павлик Великанов. — У людей клуб громят, а они сиди и задачки разбирай!

— Великанов! Помолчи, будь любезен! Никто ничего не громил, к вашему сведению. Их клуб закрыли по решению руководства. И раз его закрыли, значит, надо!

— Кому надо? — спросил Серёжа. — Сенцовым надо? Тетушкам разным, которые жалобы пишут? Они хотят, чтобы мы цветочки поливали, а вместо клинков чтоб вязальными спицами работали!

Елизавета Максимовна помолчала и сказала

негромко, даже печально:

— Каховский, Каховский… Что с тобой случилось? Ты мог стать гордостью школы. А ты…

— А что он? — вежливо спросила Люся Колосницына.

— Что он? — доброжелательно переспросила Елизавета Максимовна. — А вы сами не знаете? Его постоянные выходки! В течение всего учебного года. История с дежурной, история с дневниками, его постоянное вмешательство в дела второго класса… Его грубость с учителями, опоздания, прогулы…

Вмешался Кузнечик. Отчетливо и громко он сказал:

— У него друг умер.

— Перестань! И будь добр не перебивать! Друг… Я понимаю. Но он сам сказал, что это случайный знакомый. Они виделись один раз в жизни. Таких "друзей" у каждого тысячи.

"Ей ничего нельзя объяснить, — подумал Серёжа. — Она и слушать не хочет. Она все знает заранее".

— Это не случайный знакомый, — сказал кто-то с третьего ряда. — Он про Серёжку в газету писал.

Елизавета Максимовна будто даже обрадова-

лась:

— Вот-вот! В газету писал! Потому и друг? Лучше бы он написал о его выходках, хороший получился бы фельетон. И пользы больше было бы. Кстати, Каховскому не следует слишком часто напоминать о газете и об этом случае. Один смелый поступок не оправдывает множества других — безобразных!

— А когда я напоминал? — удивленно спросил Серёжа.

Но Елизавета Максимовна его не слышала. Она продолжала:

— В этой газете к тому же написано, как наш герой, воспользовавшись своими приемами, избил палкой товарища по школе…

— Товарища? — громко спросил Кузнечик. — Подонок он, а не товарищ.

— Медведев! — Елизавета Максимовна снова грохнула указкой. — Будь любезен запомнить: в нашей школе нет подонков! Здесь все — наши учащиеся ! А Сенцов — гордость своего класса. Учится без троек, выпускает стенгазету… Пусть Гармашева подтвердит, если не верите.

Председатель совета дружины Вика Гармашева присутствовала на собрании. Ее пригласили, чтобы знала, какие дела творятся у шестиклассников.

Она слегка пожала плечами, словно хотела сказать: тут и подтверждать нечего, всем известно.

— Подумаешь, "гордость", — сказал Генка. — Трус он, к шпане подлизывается. Чтоб такой гордостью стать, надо свою гордость подальше спрятать.

Невоспитанный Мишка Маслюк шмыгнул носом и добавил:

— Если так, то у нас всяких гордостев в классе больше половины. Без троек учатся и стенгазету делают по очереди.

— Вашему классу гордиться нечем! — отрезала Елизавета Максимовна. — Разболтались — дальше некуда. Пользуетесь, что Татьяна Михайловна гриппом болеет. А тебе, Маслюк, вообще… С двойки на тройку перекатываешься… Я поражаюсь настроению, которое царит в классе. Вместо того чтобы принципиально обсудить Каховского, вы его покрываете.

— И меня, — сказал Кузнечик. — Я вчера тоже три урока пропустил. По этой же причине.

— И тебя, — согласилась Елизавета Максимовна. — Но Каховский — прежде всего. Он инициатор… Анатолий Афанасьевич по мягкости характера прощал ему многие фокусы. Надеялся, что Каховский образумится. Напрасная была

надежда… Ладно! Пока Анатолий Афанасьевич в больнице, его замещаю я. И решать буду по-своему. Легко вы не отделаетесь.

— Нам легко и не надо, — сказал Генка. — Надо, чтобы справедливо.

— Будет справедливо, не волнуйся.

— А я волнуюсь, — возразил Генка и встал. — Где же эта справедливость? Сенцов — гордость школы, а Каховский — хулиган и прогульщик! Сергей, отдай Сенцову готовальню, которую тебе милиция подарила!

— Медведев! — Голос у Елизаветы Максимовны стал металлическим. — Еще слово, и ты отправишься за дверь.

— Не отправлюсь, — просто, даже скучновато сказал Кузнечик.

Глаза у Елизаветы Максимовны стали круглыми.

— Ты соображаешь, что говоришь?

— Соображаю. Не отправлюсь! — вдруг взвинтился Генка. — Не отправлюсь, и все! — Он даже в парту вцепился, словно его хотели силой из класса вытащить. — Это мой класс! Каждый день говорят: вы хозяева в классе, вы хозяева в школе! А как слово скажешь — марш за дверь! Что за собрание, когда сказать ничего нельзя!

Елизавета Максимовна овладела собой.

— Сядь, пожалуйста. Вы все уже сказали достаточно, и собрание закончено. Каховского и Медведева прошу иметь в виду, что за третью четверть у них неудовлетворительные оценки по поведению.

— Разве это не педсовет решает? — спросил Павлик Великанов.

Елизавета Максимовна не сочла нужным откликнуться на эти слова.

— А совету дружины следует с этими пионерами заняться особо, — добавила она.

Вика Гармашева встала:

— Мы их вызовем, Елизавета Максимовна. В ближайшие дни соберем совет.

...В ближайшие дни собрать совет не удалось: начались каникулы.

А тридцать первого марта вышла газета со статьей Ларцева.

Статья называлась "Удар из-за угла". Там было написано все. Крепко и беспощадно. О вмятине на макете замка, которая осталась от Данилкиной спины. О жалобах, которые строчили обиженные дамы из уличного комитета. О маме Сенцова, которая бегала по всем учреждениям и даже нашла себе союзника в районо. И о самом союз-

нике — инспекторе Стихотворове. И о майоре милиции, который чуть не усмотрел в занятиях мальчишек-фехтовальщиков "опасные приемы".

Там были и хорошие слова — об отряде. О вечерах, когда собирались в кают-компании все, кто хотел. О звонких боях на дорожке. О маленьком д'Артаньяне — Андрюшке Гарце и о лихих барабанщиках. И об Олеге Петровиче Московкине, который дни и ночи тратил на то, чтобы мальчишечья компания, обосновавшаяся в старом кособоком доме, превратилась в отряд "Эспада".

А потом статья снова как бы взрывалась. Строчки раскалялись от негодования. Там были мысли, которые бились в Серёже, но для которых он не мог найти четких слов. Ларцев эти слова нашел. Они били как удары клинка.

Статья кончалась так:

"Все жалобы и упреки, все злые слова и ядовитый шепот о ребятах и вожатом — ложь. Ложь расчетливая и злобная. Они жили радостно и открыто, они хотели только хорошего. Почему же кому-то помешала "Эспада"?

Люди, живущие скучно, тупые и недобрые, не терпят иной жизни — светлой и честной. Не терпят людей с прямыми мыслями и открытым взглядом. Даже взрослых не терпят, а уж детей

тем более. Когда они встречают мальчишку, у которого чувство собственного достоинства сильнее слепого послушания, сильнее страха перед их окриками, они решают, что пришёл конец света. Их мысль работает трусливо и примитивно: "Эти люди не похожи на нас. Значит, они плохие! Запретить! Убрать! Искоренить!"

И надо признать: иногда это им удается. Запрещают.

Люди, тупые и злобные, бывают хитры. Они умеют добро показывать как зло. И человек, живший для других, работающий честно и бескорыстно, в их речах становится опасным, а дела его — вредными. И может быть, в эти минуты, когда я кончаю статью, Олег Московкин и его капитаны доказывают двадцатый раз, что они ни в чем не виноваты".

## 9

А ржавый замок по-прежнему висел на дверях "Эспады". И на третий день после статьи, и на четвертый, и на пятый.

Серёжа и Генка пришли к Олегу. Уже не первый раз.

Олег лежал. Кашлял. На кашель тихим гудени-

ем отзывалась гитара — она висела над кроватью. Та гитара, которую Кузнечик выволок однажды в кают-компании из-под дивана.

— Не садитесь близко, вирусов нахватаете. У меня, кажется, грипп, — сказал Олег.

Но ни Серёжа, ни Кузнечик не боялись гриппа. Они боялись неизвестности и тоскливого ожидания. Радость после статьи уже улеглась, и теперь опять пришло беспокойство: когда откроют "Эспаду"?

— Вы же понимаете, сразу ничего не делается, — объяснил Олег. — Сыронисский и его компания напишут еще пачку опровержений в газету. Потом будут всякие комиссии, расследования, решения...

— Пусть вернут нам помещение, а потом расследуют, — сказал Серёжа.

— Вот и я об этом говорил, когда собрались в редакции. Сыронисский заявил, что у него там столы, шкафы, краска и прочее барахло. А машина сейчас, разумеется, на ремонте и вывозить, сами понимаете, не на чем.

— Да мы на руках все его хозяйство утащим в домоуправление! — нетерпеливо подскочил Генка.

— Конечно, — согласился Олег. — Утащили бы,

если бы Сыронисский согласился. Но он не согласится. Да и вообще ему наплевать на все теперь. Из-за статьи он в ближайшее время с должности полетит все равно. И этот… инспектор Стихотворов тоже. Только нам от этого пока не легче.

— Как же быть? — спросил Серёжа.

— Завтра позвоню еще раз Ларцеву.

За окнами темнело. Олег приподнялся, дотянулся до выключателя. Зажглась у потолка неяркая лампа в пластмассовом плафоне.

— Черт… — раздраженно сказал Олег. Откинулся на подушку и громко позвал: — Валентина!

В дверь заглянула старшая сестра Олега. Увидела мальчишек, запахнула халат на груди, поправила косынку. Под косынкой, в крашеных волосах — специальные штучки, чтобы кудри завивались.

— Валентина, сколько раз просил не вывинчивать у меня яркую лампу, — разозленно сказал Олег.

— Это не я, это Вася. Он говорит, что плафон расплавится.

Олег отчетливо произнес:

— Скажи своему Васе, что он у меня сам расплавится, если еще раз сунется в мою комнату. Я его в окно выставлю!

Сестра заговорила на одну ноту выше:

— Тебе яркий свет зачем? Все равно вместо того чтобы заниматься курсовой работой, валяешься на кровати.

— Закрой дверь! — рявкнул Олег.

Ребята притихли. Олег отдышался и жалобно объяснил:

— Я больше не могу. Всю жизнь, с самого детства, она донимает меня этой фразой: "Вместо того чтобы..." Видите ли, вместо того чтобы купить костюм, я покупаю телескоп... Вместо того чтобы смотреть хоккей вместе с милым Васей, я включаю симфоническую программу... Вместо лекций я иду на свидание... Вместо того чтобы жить "как все люди", я живу как... Тьфу!

Олег приподнялся на локтях и крикнул в закрытую дверь:

— Я живу не "вместо", а так, как хочу! Лучше вас! Ясно тебе?

— Чудовищный псих, — донеслось из-за двери. — Постыдилс я бы ребят. Как тебя только к детям подпускают?

Олег опять лег и утомленно улыбнулся.

— А в самом деле, как? — спросил он и опять закашлял.

Серёже стало в этот миг очень жаль Олега. И

чтобы не показать эту жалость, он отвел глаза и стал оглядывать комнату.

Комната была небольшая. Стол, кровать, четыре совершенно разных стула. Два книжных шкафа стоят рядом. Книги — не только внутри, на полках, но и сверху, на шкафах. Лежат покосившейся грудой, могут посыпаться. Скрещенные рапира и шпага висят на стене у двери. На сизых обоях рисунки братьев Ворониных и фотографии — двое незнакомых мальчишек с клинками: один маленький и лопоухий, другой — высокий и смуглый. Наверно, Ромка и Федя. Еще незнакомые ребята в костюмах и масках зверей — видимо, театр в интернате. И веселая компания барабанщиков с Данилкой на правом фланге.

Олег тоже посмотрел на фотографию.

— Соскучился я по этой барабанной команде…

— Я Данилке позвоню, они сразу прискачут, все вместе, — предложил Серёжа. — Они просто стесняются появляться, пока не позвали.

Олег усмехнулся:

— Эти-то пираты стесняются?

— Да брось ты, — сказал Серёжа. — Сам знаешь. Они только в отряде на головах ходят, а вообще они вполне спокойный народ… Ты скажи Данилке "Осенняя Сказка", и он опять будет весь день

жмуриться и мурлыкать.

Олег подумал.

— Не надо их сюда. Наглотаются микробов, опять слягут. Павлик Снегирев и Рафик только-только от гриппа избавились… И сестрица свирепствует хуже вируса. Напугает ребятишек… Может, скоро все наладится, и тогда все опять: "Барабанщики, марш!.."

— Ты прямо стихами говоришь, — сказал Генка.

— А это и есть стихи. Только ужасно нескладные. Когда я в интернате работал, занимался рифмотворчеством. О вожатской жизни писал.

— Почитай, а? — жалобно сказал Кузнечик.

— Да вы что, люди! Я вам кто? Евгений Евтушенко?

— Почитай, — уже строго сказал Генка.

Олег вздохнул.

— Вон там, на шкафу, коричневая тетрадка торчит среди книжек. Достань.

Генка вскочил на стул и вытянул тетрадь. Книги, конечно, посыпались на пол.

— Ладно, оставь, — сказал Олег. — Потом соберем. Давай сюда.

Он, лежа на спине, открыл тетрадь, полистал, хмыкнул и мотнул головой. Потом сразу стал

серьезный.

— Вот. Эти строчки.

*День летит сквозь часы, как живой метеор,*

*И сгорает в сигнале «отбой».*

*Мне опять не закончить с тобой разговор*

*И не встретиться нынче с тобой.*

*Ночь пришла. Я взбегаю на третий этаж*

*Посмотреть: все ли спят в тишине?*

*...А потом все опять:*

*«Барабанщики, марш!» —*

*Новый день разгорелся в окне.*

Новый день пришёл, а замок по-прежнему "украшал" дверь "Эспады". Серёжа не выдержал и позвонил в редакцию. Неловко было звонить, страшновато даже, но ждать он больше не мог.

Ларцев не удивился звонку. Даже будто ждал его.

— Ты, Сергей, зашел бы ко мне, — предложил он. — По телефону трудно объясняться. Если можешь, прямо сейчас приходи.

Серёжа встревожился и помчался в редакцию. У Владимира Матвеевича было недовольное лицо. И озабоченное.

— Раздевайся, садись. Вон вешалка, вот стул… Я только что беседовал с вашим Олегом, все ему рассказал. А он просил, чтобы я и тебе все объяснил…

— Почему?

— Почему просил? Не знаю. Наверно, потому, что ты один из командиров в вашем отряде… Знаешь, осложняется дело.

— Я уж чувствую, — с досадой сказал Серёжа.

Затарахтел телефон. Владимир Матвеевич приподнял и положил трубку.

— Что касается вашего домоуправа, то его песенка спета, — сообщил он. — С работы его уберут. И еще кое-кому придется несладко. На Олега ваши недруги целую кипу заявлений написали: и работник он никудышный, и характер у него собачий, и ребят он не тому учит… Всю эту чушь мы зачеркнули. Крест поставили. А вот с помещением сложнее.

— Но если крест, то… — начал Серёжа.

Опять взревел телефон. И опять Ларцев приподнял и хлопнул трубку.

— С помещением сложнее, — повторил он. —

Была специальная комиссия. Она признала, что дом совершенно негоден для детского клуба. Духота, теснота, сырость. И вообще он аварийный, на снос его назначили. Говорят, опасно в нем находиться.

— Сколько времени жили, никакой опасности не было, — сказал Серёжа.

Ларцев кивнул.

— Я понимаю. Но этот Сыронисский напоследок успел сделать еще одну гадость. На втором этаже, где у них кладовые, протекала батарея. Надо было перекрыть воду, а слесарь "забыл". Батарею прорвало, вода пошла вниз. Теперь там полный разгром: штукатурка обвалилась, двери разбухли, полы перекосило… Комиссию можно понять: она о детях заботится.

Серёжа сказал чуть не со слезами:

— Значит, нам теперь деваться некуда?

— Нам из райсовета письмо прислали, ответ на статью. Обещают, что при первой возможности дадут клубу новое помещение. Скорее всего, в новом доме, который строится на Октябрьской.

— "Строится"! Там еще первый этаж не готов!

— Да, я знаю. А пока, говорят, ребят можно распределить по другим клубам, по разным кружкам и секциям. В Дом пионеров, в спортшколу…

Серёжа хмыкнул.

— В том-то и дело, — понимающе откликнулся Владимир Матвеевич. — Вариантов много, и все неплохие. Но ни один из них не спасение для вашего отряда… Есть, правда, еще один способ.

— Какой?

— Добиваться своего. Упрямо ждать. Не распускать "Эспаду". Никому не давать покоя. Требовать, требовать. А мы поможем. Но времени уйдет немало.

— Ну и пусть! Лишь бы добиться!

— Но в этом деле тоже есть большая сложность…

— Какая?

— С вашим командиром, с Олегом, это связано. Он сам объяснит, наверно.

Приоткрылась дверь, и в комнату заглянула женщина. Серёжа ее узнал: это с ней он разговаривал, когда хоронили Алексея Борисовича.

Женщина раздраженно сказала:

— Владимир Матвеевич! Я звоню, звоню! Мне нужны гранки вашего материала.

— У меня посетитель, — сказал Ларцев.

Женщина взглянула на Серёжу. Тоже узнала.

— Ах вот что… Тогда через полчаса.

Она коротко кивнула им и прикрыла дверь.

Ларцев мельком посмотрел на часы, и Серёжа сообразил, что у Владимира Матвеевича еще десятки дел — не менее важных, чем "Эспада".

— Я пойду, — сказал он.

Ларцев протянул узкую сухую руку.

— Видишь, Серёжа, не все на свете решается просто. Но мы постараемся помочь. Если вы будете держаться.

— Будем, — сказал Серёжа.

В тот же день перед школой Серёжа зашел к Олегу.

— Неважные у нас дела, — сказал Олег. — Да, капитан?

— Ларцев говорит: надо ждать.

Олег тихо сказал:

— Не могу я ждать, Серёжа. Я работать должен. Не сидеть же у сестры на шее. А должность мою сократили, раз клуба нет. Она и так была какая-то… сверхплановая, что ли.

— Мы тебя прокормим, всем отрядом! — горячо сказал Серёжа. Но тут же понял, что брякнул несуразицу.

Олег улыбнулся ему, как маленькому.

— Мне на пенсию нельзя. С заочного отделения попрут, если не буду работать по специальности, как педагог.

— Что же делать?

— Вот именно: что делать? Старшим вожатым в школу или методистом в Дом пионеров меня райком, допустим, определит. А я же не смогу там работать, Сергей, раз вы рядом… Это не жизнь будет — на части рваться. И пользы никакой… Уеду я, Серёжа.

Торопливым шепотом Серёжа сказал:

— Олег, не надо. Что ты…

— В том-то и дело, что надо. Сейчас — надо. Здесь я без дела, а там…

— Где "там"?! — громко спросил Серёжа и встал со стула.

— Не кричи, — попросил Олег. — Я не виноват.

Он взял со стола распечатанное письмо. Вытряхнул из конверта листки.

— Посмотри.

Это было странное письмо. На листках — одни фамилии. Разными почерками. "Кузнецов… Ленский… Павлов… Савчук… Пальчиков…" Много-много фамилий. Вразброс. Некоторые — неразборчиво.

— Это что?

— Подписи, — сказал Олег и отвернулся к окну. — Ты посмотри первый лист.

Серёжа отыскал начальную страницу.

"Здравствуйте, Олег Петрович! Я с Вами незнаком, но пишу Вам от имени тех, кто Вас знает и помнит. И в подтверждение этого — в конце письма их подписи. Я пошел на этот шаг, чтобы письмо прозвучало как можно убедительнее. Меня зовут Игорь Васильевич Сухов. Я новый директор интерната № 1 в Красном Береге. Работаю всего месяц. И каждый день в тех или иных обстоятельствах я сталкиваюсь с Вашим именем, с воспоминаниями о Вас.

Многие ребята ушли, много пришло новых. Но по меньшей мере триста человек — те, кого Вы знаете. Они говорят о Вас, как о человеке, который им очень нужен. Старшего вожатого у нас нет. И если у Вас есть хоть маленькая возможность..."

Серёжа бросил разлетевшиеся листки. Тихо и отчаянно сказал в лицо Олегу:

— У тебя нет возможности. Понял? Ты не имеешь права.

Олег не отвел взгляда. Ответил:

— Я знал, что ты это скажешь. Я себе сам эти слова говорил тысячу раз, вашими голосами. Но там триста человек, а здесь отряда уже нет.

— Есть отряд. Ты сам говорил: пока есть флаг, есть отряд.

— Да... Но это уже не тот отряд. Это, скорее,

память об отряде. А там… Если бы ты знал! Думаешь, им всегда хорошо? Многие в интернат не от радостной жизни попали. У кого-то родителей нет, или в семье неладно, или еще что. Беда какая-то…

— У нас тоже беда, — упрямо сказал Серёжа.

— Если отряд кончает жизнь — это всегда беда, — негромко ответил Олег. — Но что делать-то?.. Помещения нет. Должности руководителя для меня теперь тоже нет. А главное — нет времени. А там… В конце концов, почти год мы прожили, Сергей. И не зря. Все на свете когда-то кончается.

— Рано кончается. Мы ничего не успели. Даже "Мушкетеров" не досняли.

— Тут уж никто из нас не виноват, — сказал Олег.

— Но… — хотел возразить Серёжа и замолчал.

Он вдруг почувствовал бесполезность слов. Олег все равно уедет. Для Серёжки "Эспада" — единственная тревога и боль, а у Олега — еще триста человек, и они ждут.

— Когда уезжаешь? — спросил Серёжа. Получилось хмуро, даже грубовато. Но не от злости, а потому что в горле заскребло.

— Пока не решил. А что?

— Ну… хотя бы проводить придем.

— Я позвоню, — сказал Олег. Тоже коротко и хмуро.

Серёжа понял: и у взрослых людей иногда скребет в горле.

Он не позвонил. Через два дня Серёжа нашел в почтовом ящике письмо. Олег писал:

*"Ребята, не сердитесь на меня. Мы целый год жили вместе, и это была хорошая жизнь. Многое мы не успели, но кое-чему научились. Плохо, что все так кончилось, но мы не виноваты. Только я виноват перед вами: в том, что не попрощался. Я не мог. Я уже не раз прощался с отрядами, и всегда после этого болит сердце. Если бы я еще раз увидел вас, то не смог бы уехать. А ехать надо. Не забывайте «Эспаду». Не теряйте друг друга. И все-таки… Все-таки! Берегите флаг.*

*Олег".*

Вот и все. До сих пор Серёжа надеялся на чудо. Вроде того, как на станции Роса — неожиданного и справедливого. Но правильно сказал Алексей Борисович: такие чудеса бывают раз в жизни.

Серёжа бросил письмо. И даже удивился: так все плохо, так тяжело, а надо жить как обычно.

Собирать портфель, идти в школу, отвечать на уроках.

Он открыл шкаф, где висел школьный пиджак и брюки. Рядом с костюмом висела стального цвета рубашка — форма "Эспады". Уголок суконного шеврона слегка оторвался. Словно подбивал Серёжу на отчаянный шаг. Ну и правильно! Серёжа взял одной рукой за обшлаг, другой за нашивку. Рвануть как следует — вот и все…

Он сделал не то, что хотел сначала. Медленно, будто против желания, натянул рубашку с капитанским шевроном. В петли на брюках пропустил широкий пояс — на пряжке звезда и шпаги. Взял с крючка берет.

На улице был солнечный апрельский день. Серёжа пошел в школу в одной рубашке. На него оглядывались. Пусть!

Зачем надел он форму? Серёжа и сам точно не знал. Может быть, так надевают моряки-капитаны свои выгоревшие куртки в память о погибшем судне?

В школьном коридоре его остановила завуч Елизавета Максимовна.

— Каховский, что за дикий вид?

— Дикий? — негромко переспросил Серёжа.

— Ты сейчас не у себя в клубе, где можешь поз-

волять все, что угодно. Ты в школе! Существует общепринятая школьная форма!

Тихо и устало Серёжа попросил:

— Пожалуйста, хоть сегодня оставьте меня в покое…

Елизавета Максимовна несколько секунд молчала, приходя в себя от негодования. Затем отчетливо сообщила:

— Я вызываю твоего отца в школу. Сегодня же! Будь любезен передать ему это.

— Передам, — со скрытым удовольствием сказал Серёжа. — Но сегодня не получится. Он в командировке до пятнадцатого числа.

## 10

Саша отложил гитару и сказал:

— Он все равно уехал бы. Только позже. Закончил бы с вами "Мушкетеров", нашел бы себе замену… Ну, сходил бы с вами летом в поход. А к сентябрю все равно уехал бы в Красный Берег.

— Интересно, где бы он замену отыскал? — язвительно спросила Наташа. — Будто такие вожатые, как Олег, в магазинах продаются…

— А такого и не надо, — возразил Саша. — Годился бы и другой. Умный, конечно. Лишь бы не

ломал ваших законов и привычек. А командовать, держать отряд вы могли бы и сами. Олег вас, по-моему, научил.

— Не доучил немного, — хмуро сказал Серёжа.

— Зря ты так, Сергей… Он сделал, что успел. Интернат в Красном Береге для него — как родина… И не надо считать Олега дезертиром.

— А кто считает его дезертиром? — неожиданно вскинулся Митя. Тихий такой, спокойный всегда, он сейчас как взорвался. — У Олега выхода не было! А эти… Смирняков и Гуревич — они точно уж дезертиры! Скорей побежали в "Спартак", возьмите в фехтовальную школу! Будто мы уж совсем погибли.

— Никакие они не дезертиры, — сказал Серёжа. — Они же не изменяли отряду. Просто им всерьез хочется заниматься фехтованием.

— А нам не хочется? — не уступал Митя.

Серёжа не ответил. Не знал, как ответить. Конечно, очень хочется взять рапиру, выйти на дорожку… В бой! Но… все это будет не так, если без отряда. Надо, чтобы рядом были свои ребята, надо, чтобы на рукаве блестел знак "Эспады".

Нет, нельзя считать изменниками тех, кто после "Эспады" разошелся по разным секциям и кружкам, это Серёжа знал точно. Это же с ума

сойти — назвать Сеньку Гуревича или Алешку Смирнякова дезертирами! Да и других тоже... Ведь если что случится — позови любого, сразу кинутся на помощь.

Но в чем-то Митька прав. Хоть самую чуточку, а прав.

И, не зная, что ответить, Серёжа сказал:

— Все равно их в "Спартак" не взяли.

— А почему не взяли? — спросил Саша.

— Говорят, что техника не та. Один тренер даже сказал, что Олег нас как фехтовальщиков испортил совсем и переучивать поздно. А чего же он испортил? Просто система другая. Он учил, как его на флоте учили... Нижние защиты, например, у нас гораздо лучше, чем у спартаковцев.

— Они испугались, — негромко, но твердо сказал Митя. — Наши в бою сильнее, чем у них.

— Ну уж... — с сомнением проговорил Саша.

— Нет, правда, — поддержал Митю Генка. — Может, они и не испугались, но наши сильнее. Алешка с тремя подряд сражался и всех загонял. А они: "Техника..." У многих мастеров, например, техника совсем своя, ни на что не похожая. Значит, их гнать из фехтовальщиков?

Другой взрослый наверняка усмехнулся бы или сказал наставительно: "Вам еще рано себя

мастерами считать". И получилось бы, что они хвастаются. Но Саша понимал. Он поскреб небритый подбородок и грустно заметил:

— Ваша техника, может, и не хуже, да необычная. Где найдешь для вас тренера? Вот и остались вы сами по себе…

Он опять потянулся за гитарой и покосился на Данилку. Тот молча приткнулся в углу громадного старинного кресла. Все поняли, что сейчас будут "Барабанщики".

*Как бы крепко ни спали мы,*

*Нам подниматься первыми…*

Данилка, когда слушал эту песню, замирал и прикусывал губы. В нем будто все струнки натягивались. Серёжа раньше даже боялся, что Данилка может расплакаться. Но Данилка иногда сам просил шепотом: "Еще".

Над Генкиным столом, рядом с морской картой Канарских островов, рядом со снимком клипера "Флайинг Клауд" — Митиным подарком — кнопками были приколоты фотографии: мальчик, упавший на мостовую в Сантьяго, и хохочущая Данилкина компания с барабанами.

*…Сколько легло нас, мальчики,*

*В травах и узких улицах —*

*Маленьких барабанщиков,*
*Рыцарей ярых атак.*
*Но не могли мы кланяться,*
*Жмуриться и сутулиться. —*
*Падали, а товарищи*
*Шли, отбивая такт…*

Эту песню Генка и Саша сложили вместе. Сам Генка сочинил только первый куплет, а дальше без Сашиной помощи он бы не справился. И музыку придумал Саша. Но без Генки песни бы не было — он дал ей начало…

Серёжа всегда с нетерпением ждал, когда Саша начнет петь последний куплет:

*Может быть, все исполнится:*
*Травы не вытопчет конница*
*И от ударов пушечных*
*Больше земля не сгорит.*
*Но про тревогу помни ты,*
*Помни про нашу бессонницу,*
*Когда барабан игрушечный*
*Сыну решишь подарить…*

После этих слов Серёже казалось, что отряд еще жив и ждут его впереди хорошие дни.

И Данилка оживал. Выпрыгивал из кресла и начинал рассказывать что-нибудь о своих барабанщиках. Его-то компания держалась прочно и даже не очень скучала. Все они жалели только, что барабаны пылятся по углам и негде выступить единым плотным строем под размеренный и четкий марш-атаку.

Вот и сейчас, как закончилась песня, Данилка прыгнул на пол и потребовал взаймы восемьдесят копеек.

— Мы потом соберем и отдадим. В "Космосе" идет "Юнга Северного флота".

— Не достанете билеты. Сегодня же выходной, все в кино рвутся, — сказал Серёжа.

Данилка деловито объяснил:

— Мы же не просто так. Мы наденем форму, пойдем к администратору, скажем: "Тетенька, мы из отряда "Эспада", у нас коллективная заявка на восемь билетов".

— А "тетенька" вам — большую дулю с повидлом, — сказал Генка.

— Не дулю, а билеты. Мы уже делали так.

— А потом каждому по ангине или по гриппу, — сказала Наташа. — Сейчас все-таки не лето, чтобы в одной вашей форме по улице скакать.

— Как это не лето? Смотрите сами, — заспорил

Данилка и подскочил к окну.

Была еще середина апреля, но после долгих холодов юго-западные ветры принесли солнечное тепло. У заборов, на газонах, в щелях на асфальте буйно рванулись вверх травы. Почки высунули зеленые клювы. У прохожих была полная неразбериха в одежде. Одни по привычке шли еще в зимних шапках и пальто с меховыми воротниками, а другие — в рубашках и платьях. Данилка и его друзья гулять в пальто, конечно, не собирались.

Получив у Саши восемь гривенников, Данилка ускакал собирать барабанщиков. И тут же, на смену ему, возник Андрюшка Гарц. Он сказал фразу, которую говорил всегда:

— Можно, я у вас посижу немножко?

— Посиди, моя радость, — разрешил Саша. — А поскольку твое "немножко" — понятие относительное, запомни: молоко в холодильнике, булка в шкафу на кухне.

Стоя у окна, Серёжа подумал: "Если бы ничего не случилось, можно было бы уже снимать "Мушкетеров" на улице".

Человек привыкает ко многому... За месяц они привыкли, что не надо спешить на вахты и

линейки, привыкли жить без боев на дорожке и шумных киносъемок. Но к одному привыкнуть не могли: быть друг без друга.

Они собирались у Кузнечика. Конечно, не все. Но та компания, которая проводила в отряде зимние вечера, осталась неразлучной. Все так же говорили о Севастополе. Иногда резались в шахматы. Иногда на стареньком кинопроекторе крутили отснятые сцены "Трех мушкетеров". Павильонные эпизоды были закончены, и не хватало в фильме совсем немногих кадров. Но Олег сдал казенную кинокамеру, и снимать было нечем.

Восемь рапир — свое собственное имущество — Олег оставил капитанам. Но защитных масок не было, и рапиры без дела висели на стенах.

Лежал у Кузнечика в книжном шкафу снятый с древка и свернутый флаг "Эспады". Дремали на гвоздях в квартирах барабанщиков краснобокие барабаны.

Остались только песни, которые принес в отряд Генка Кузнечик — отрядные песни. Когда Генка или Саша брали гитару, словно оживала "Эспада"...

Саша вошел в жизнь ребячьей компании незаметно и прочно. Невысокий, худой, остроносый,

даже нескладный какой-то, он совсем не походил на самбиста, боксера и инженера-физика. Он похож был на стеснительного десятиклассника, особенно если не забывал брить щетинистый подбородок. Впрочем, забывал он часто.

И совсем не похож он был на Олега, напрасно Генка их сравнивал. И не мог он стать в "Эспаде" командиром, потому что своей работой был занят выше головы.

Но несколько раз Серёжа замечал, как то Митя, то Данилка обращались к Саше: "Олег, скажи...", "Олег, можно...".

Генка уговаривал Сашу летом пойти с ребятами в поход. Саша не отвечал ни да ни нет.

— Работа же... — говорил он.

— Не каждый день работа, — спорил Генка. — Бывают же выходные.

— На Север придется ехать, командировка будет...

— Не на все же лето.

— Кто его знает...

— Мы бы сами пошли, да без взрослых никого не пустят, — говорил Генка. — Ты какой-то несознательный, честное слово.

— Я очень сознательный. Только обещать боюсь. Вдруг не окажется времени.

— А если окажется, обещаешь?

Саша брал гитару, смущенно улыбался и запевал:

*Долой, долой, туристов —*

*Бродяг, авантюристов…*

— Да ну тебя, — говорил Генка. — Все равно пойдешь. Не имеешь права не пойти.

В этот день они засиделись у Кузнечика до сумерек. Данилка со своими барабанщиками посмотрел "Юнгу Северного флота", потом они всей компанией прикатились к Генке, перепугали родителей, слопали весь хлеб и конфеты и умчались играть в футбол.

Андрюшка Гарц взял с полки "Пятнадцатилетнего капитана", полистал и неосторожно спросил, что такое шхуна-бриг. Митя тут же утащил его к себе домой рассказывать о парусниках.

Наташа, как всегда, спохватилась, что уже вечер, а у нее уйма домашних дел. И только она собралась идти, как в комнату ворвался Нок, а за ним — Стасик Грачёв.

Нок хромал, и ухо у него было в крови. У Стаськи припухла расцарапанная щека и рукав трикотажной рубашки прилип к разбитому локтю. И Стаська, и пес шумно дышали. Нок запрыгал

вокруг Серёжи. Стасик молча встал у дверей и начал осторожно поднимать рукав.

— Горе мое… — начала Наташа.

— Лежи, — сказал Серёжа Ноку. И спросил у Стасика: — Что опять?

— Был бой, — сказал Саша.

— Ага, — сообщил Стаська и попытался лизнуть разбитый локоть.

Генка открыл тумбочку и деловито зазвенел аптечными склянками.

— Рассказывай, — велел Серёжа.

— Ну, чего рассказывать, — довольно хладнокровно отозвался Стасик. — Ну, иду я по улице, а навстречу идет ваша Маринка с Ноком. Я попросил, чтобы она дала нам с ним побегать, вот она и дала. Она не виновата… И ушла домой. Сказала, чтобы я сам привел. Мы стали бегать, а Нок застрял.

— Горюшко мое, где застрял? — не выдержала Наташа. — Говори толком.

Стаська безбоязненно подставил Генке локоть под тампон с йодом и объяснил:

— Под забором застрял, где еще… Мы в догонялки играли, он от меня побежал, полез под забор и засел. Там дырка только для мелких собак и для кошек, а он во какой! Застрял — ни туда ни сюда.

Я через забор перелез, чтобы доску отодвинуть, а там два пьяных на лавочке сидят. Увидели Нока и давай бутылками в него кидать. А он же не может вылезти, только рычит… Ну, потише ты, щиплется ведь…

— Это что же за бандиты! — сказал Саша и торопливо встал. — Они там еще?

— Да нет… Они кидаться стали, а я как заору им: "Что делаете, гады!" И упал на Нока, чтоб ему не попало. В меня-то они кидать не будут, за это посадить могут. А один все равно кинул. Осколки как от гранаты.

— Где они? — повторил Саша.

— А какие-то дядьки подскочили, наругали их, со скамейки вытолкнули. А я доску отодвинул.

— Ну? — нетерпеливо спросил Серёжа.

Стасик глянул на него виновато.

— Я же разозлился. А Нок — тоже. Я говорю. "Взять!"

— Зря, — заметил Саша. — Еще неприятности получатся. Но с другой стороны…

— Может, не получатся, — неуверенно сказал Стасик. — Они же первые полезли… А он их даже затронуть не успел, они на тополь запрыгнули. Может, все еще там сидят… А я сюда пошел, а то тетя Галя заругается, когда увидит, что Нока

поцарапали… А чего смеетесь?

— Дурень, — сказал сквозь смех Серёжа. — Хулиганов пьяных не испугался, а тетю Галю боится. Она тебя хоть раз в жизни ругала?

Стасик слегка огрызнулся на Генку:

— Хватит меня мазать! Лучше Ноку лапу забинтуй.

— За своего милого Нока он в пекло полезет, — сказала Наташа почти ревниво. — Вот послушайте. Отпросится дома, чтобы у нас ночевать, и первым делом бежит к телефону — Нока у Сергея выпрашивать. Тоже на ночевку. Представляете компанию? Вечером всегда такая картина: Стаськина раскладушка пустая, подстилка у Нока тоже пустая. Оба дрыхнут на ковре, рядышком. Возьму я тапку, разгоню обоих по местам, а через полчаса опять. Как вам это нравится?

— А тебе жалко? — сказал Стасик.

Шепотом Саша спросил у Серёжи:

— Это тот самый Стаська Грачёв, который боится всего на свете?

— Вроде уже и не тот. Что-то с ним стало, — отозвался Серёжа.

А Стасик покосился на Серёжу и сказал:

— Шел бы домой. Марина говорила, что к вам какой-то дядюшка приехал.

## 11

Тетя Галя сказала немного виновато:

— Я Виталия пока на твою постель положила, он устал с дороги. Ты уж не обижайся, пусть он там переночует, а завтра я у соседей кресло-кровать попрошу.

— Я ужасно обижаюсь, — отозвался Серёжа. — Я просто не в себе от обиды… Ну, честное слово, ты такие вещи говоришь! Что я, не могу на раскладушке поспать?

В доме чувствовалась радостная суета, какая бывает при неожиданном приезде хорошего человека. Папа, сам только накануне вернувшийся из командировки, надел галстук. Маринка нянчилась с новым плюшевым котом — дядюшкиным подарком. Тетя Галя стучала на кухне ножом — готовила к ужину праздничный салат. Нок обнюхивал у дверей необъятный желтый чемодан и одобрительно фыркал.

Только виновник радости негромко посапывал на Серёжином диване. Серёжа на цыпочках вошел в комнату и при свете, падавшем из двери, увидел торчавшую из-под клетчатого пледа лысину. Лысина была симпатичная — коричневая,

как печеное яблоко.

Серёжа стал осторожно развертывать дребезжащую раскладушку. Виталий Александрович не пошевелился. Он не встал к ужину, добросовестно проспал до утра.

Когда Серёжа проснулся, Виталий Александрович делал зарядку. Серёжа из-под прикрытых век наблюдал за ним. Смотреть на дядюшку было приятно и весело. Он был невысокий, но крепкий. Коричневый. Плечи и грудь поросли курчавым черным волосом. А лицо — круглое, добродушное и в то же время энергичное. Виталий Александрович напоминал заряженный до отказа аккумулятор.

На нем были роскошные трусы — желтые, с рисунком из разноцветных иностранных марок. Словно дядюшку отправляли бандеролью вокруг света. На любом пляже все пижоны утопились бы от нестерпимой зависти при виде таких трусов.

Дядюшка сдержанно мурлыкал нехитрую песенку, ритмично приседал и посматривал по сторонам. Серёжа не выдержал, открыл глаза и встретился с дядюшкой взглядом. Не переставая приседать, Виталий Александрович улыбнулся и произнес:

— Приветствую вас, сэр. Ты не в обиде, что я

оккупировал твое лежбище?

— Не в обиде, — отозвался Серёжа. — Спите здесь всегда. А мне на раскладушке даже больше нравится.

— Крайне признателен, — сказал Виталий Александрович. — Мы этот вопрос потом рассмотрим фундаментально. Я намерен вам надоедать не меньше месяца. — И он перешел от приседаний к наклонам туловища вперед.

— Виталий Александрович… — начал Серёжа.

Дядюшка перебил:

— Меня можно называть просто дядя Витя. Мы как-никак родственники, хотя и дальние… Кроме того, у нас, кажется, общие интересы. Мне Галина писала, что ты увлекаешься археологией. Так?

— Ну… кажется, так, — смущенно сказал Серёжа. — Только я мало знаю…

— Все мы мало знаем, — самокритично заметил дядюшка. — Я тут кое-что привез тебе.

Он упруго выскочил за дверь и приволок чемодан, похожий на детеныша гиппопотама. У чемодана распахнулась пасть, дядя Витя вынул толстую блестящую книгу.

— Вот, держи.

Книга весила килограмма три. Называлась она "Путешествие по древним городам Греции и Ри-

ма". На черной глянцевой супер-обложке — белый разрушенный храм, а сверху и снизу — каемки из квадратных завитков древнегреческого узора.

— Ух ты!.. Спасибо, дядя Витя! Вот это да… — сказал Серёжа.

Тут же он перевернулся на живот и открыл книгу на середине.

— Нет, дружище! — запротестовал дядя Витя. — Людям науки несвойственна суета и беспорядочность. Все должно идти своим чередом. Сначала вставай… Ты, кстати, зарядку делаешь?

Серёжа поднялся.

— Вообще-то делаю. Но сегодня не надо. Я с клинком занимаюсь, вас могу зацепить.

— Чепуха! Я засяду в угол.

Серёжа сделал на полу несколько отжиманий. Расставил по комнате спичечные коробки. Взял со стены шпагу. Дяди Вити он уже не стеснялся.

Когда хорошее настроение, все получается ловко. Он не промахнулся ни разу. От свистящих ударов коробки разлетались по комнате как бабочки. Один ударился о стену над головой дяди Вити и разбился в щепки.

Дядя Витя присел.

— Извините. Я же говорил… — сказал Серёжа.

Дядя Витя заулыбался.

— Рука мастера! Честное слово, впервые вижу такое.

— Да ну… — смутился Серёжа. — Дядя Витя, а вы давно в последний раз были в Херсонесе?

Дядя Витя не торопясь облачился в брюки.

— Недавно… О Херсонесе, дорогой коллега, мы поговорим особо и подробно. Время у нас будет.

Они и в самом деле говорили много и подробно. О Херсонесе и о других старинных городах, которые время и войны почти сровняли с землей. Дядя Витя руководил группами московских студентов, которые ездили на раскопки каждое лето. В Херсонесе он работал пять лет подряд.

— Херсонес неиссякаем. Каждый год такие открытия, что на пять докторских диссертаций потянет, — говорил дядя Витя. — Не исследована еще колоссальная территория. На твой век, Сергей, хватит.

Потом дядя Витя начал рассказывать, как жили в древнем Херсонесе люди: гончары и виноделы, моряки и торговцы, воины и художники. И Серёжа представлял уже не серые, заросшие развалины, а белый город, мраморные колоннады на площадях, толчею пестрых кораблей в Карантинной гавани. Солдат в шлемах с гребнями, хмурых рабов с тайными мыслями о восстании

и веселых смуглых мальчишек, пускающих с прибрежных камней игрушечные лодки. И все это — в окаймлении синих шипучих волн, под блеском безоблачного неба…

Однажды Серёжа услышал обрывок разговора дяди Вити и тети Гали. Они беседовали в кухне, а Серёжа вошел в коридор с улицы. Дверь была бесшумная, и на него не обратили внимания.

Тетя Галя говорила:

— …Он ведь и добрый ко мне, и любит, наверно, а за мать все равно не считает. А с отцом они редко видятся. Тот все ездит и ездит. Мальчишке-то кто-то ласковый нужен, лет-то ему всего двенадцать. Много ли? Вот он и пригрелся рядом с тобой…

Дядя Витя возразил:

— Дело не в ласке. У нас нашлись общие интересы.

— Интересы интересами, а…

Серёжа не стал дальше слушать. Подслушивать разговоры — все равно что читать чужие письма. Он грохнул дверью и уронил портфель.

Вечером, перед сном, они с дядей Витей лежали в Серёжиной комнате. Дядя Витя на диване, Серёжа на раскладушке.

Дядя Витя спросил:

— А все-таки почему тебя так тянет история? И не просто история, а раскопки? Потому что загадки, клады и приключения?

— Конечно. А что плохого? — отозвался Серёжа.

— Ничего плохого. Но этого мало для научного интереса. Археология, друг мой, — не только путешествия и открытия. Это еще и ежедневная работа. Иногда очень кропотливая, скучная. А чтобы скучной она не была, надо ее очень любить.

— Я… наверно, полюблю, — сказал Серёжа. — Знаете, дядя Витя… Дело не в приключениях. Мне трудно объяснить. Вот мы живем на свете… Сегодня живем. Ну, вчера, завтра. А когда я думаю, как люди раньше жили, когда я это будто вижу, мне кажется, что я тысячи лет живу. Ну, вместе с теми, про кого узнал. Будто все это со мной случилось. Будто все на свете, что было, — это мое… Ну я не знаю, как сказать…

— Я тебя понял. Правда, в этом больше от поэзии, чем от науки. Но определенный смысл есть в твоих словах, — сказал дядя Витя.

А еще через день случилось то, о чем Серёжа тайно и трепетно мечтал с самого начала. Так мечтал, что даже слегка забыл об "Эспаде".

Дядя Витя оценивающе посмотрел на Серёжу и раздумчиво произнес:

— Я думаю, тебе полезно было бы этим летом поработать на раскопках. Ты не против путешествия в Севастополь?

"Эспада" напомнила о себе тревожным известием. Утром, когда Серёжа сидел за уроками, прибежал Стасик Грачёв.

— Тебе Нока надо? — спросил Серёжа. — Забирай, он дрыхнет в той комнате.

— Мне тебя, а не Нока... Наташка послала. Велела сказать, что ваши ребята дерутся на шпагах. Говорит, что это нельзя.

— Кто? Где? — Серёжа встал.

— Не знаю кто. За Димкиным домом у забора.

— А где Наташа?

— Побежала к Генке.

...Серёжа, Генка и Наташа примчались к Димкиному дому в одно время.

У забора, на полоске земли с молодой травкой, шел бой. Сражались Митя и Андрюшка Гарц. Отлично дрались! Красиво, энергично. Свист и звон разлетались от клинков.

Но они были без масок! И даже без курток. Андрюшка — в тонком тренировочном костюме, а Митька (вот балда!) вообще — в шортах и без-

рукавке: наверно, начиная бой, он не верил, что Андрюшка может зацепить его. Но недаром Андрюшка был в фильме д'Артаньяном. Тренировки не прошли зря. У Митьки на руках и на ногах краснели длинные царапины. Видно, бой был, как на шпагах, дуэльный, и кололи куда попало.

— Стоп! Вы что, рехнулись?! — крикнул Серёжа.

Они остановились. Опустили клинки. Повернулись к Серёже. Андрюшка рукавом вытер лоб. Митя резко побледнел, начал медленно краснеть, бросил рапиру и опустил голову. Потом нагнулся и начал растирать ладонью ссадину на ноге.

— Не смей. Заражение получишь, — сказала Наташа. — У тебя руки в земле.

— Ябеда, — тихонько сказал Андрюшка. Грустно и без злости.

— Дурак, — сказала Наташа. — Я вам говорила — кончайте.

Генка тихо проговорил:

— Вот обормоты…

Здесь была вся их компания: Митька, Данилка, Андрюшка, Димка. Были еще Андрей Ткачук, Валерик и Вовка Воронины.

— Ребята, вы что… — сказал Серёжа.

— А что? — спросил Андрей Ткачук. Потом

махнул рукой: — Не везет как всегда. Хотел душу отвести — не успел.

— "Душу"! — сказал Генка. — Без масок, без защиты! Твоя душа так на небо может вознестись! Дубина.

— Да брось, — откликнулся Андрюшка Гарц. Ему, видимо, было очень неловко, и он поэтому старался держаться храбро: — Раньше-то мы дрались без масок, когда репетировали для фильма.

— Не надо, Гарц, — сказал Валерик Воронин.

И все поняли, что именно "не надо". Для фильма бои разыгрывали по нотам, каждое движение отбирали заранее и отрабатывали с массой предосторожностей. Глупо сравнивать со спортивным боем.

— И Данила тут... Капитан! — сказал Серёжа. — Я с тобой еще поговорю. И Димку притащил.

— Я сам пришёл, — со вздохом сказал Димка.

— Олег нам разве для этого клинки оставил? Он же доверял всем... И тебе, Митька. Тоже оправдываться будешь?

Митя шепотом сказал:

— Не буду.

— А перед кем оправдываться? — вдруг спросил Вовка Воронин и поднял на Серёжу честные серые глаза. — Отряда нет. Значит, закона тоже нет.

— Внимание! — вдруг неожиданно сказал Серёжа.

Это была не просьба. Это слово заменяло в "Эспаде" команду "смирно". Как оно вырвалось у Серёжи, он сам не мог понять. То ли от обиды за отряд, то ли от отчаяния, что гибнут остатки "Эспады". И почти со слезами он крикнул опять:

— Группа, внимание!

Он понимал, что не имеет права. Могли не послушаться. Могли пожать плечами, подобрать рапиры и уйти. Могли просто сказать: "А иди ты..."

Нет, не могли. В каждом еще жила "Эспада". Они выпрямились и опустили руки.

Генка стал напротив Серёжи и шепотом сказал:

— Становись.

Не поднимая головы, рядом стал Митя. Где Митя, там и Данилка. И Димка. Вздохнул и встал рядом с Димкой Андрей Ткачук. Не по росту, но сейчас было не до этого. Андрюшка Гарц и Воронины встали в шеренгу привычно, как на линейке.

Кузнечик сказал Наташе:

— Стань в строй.

— Я же...

— Стань в строй.

Стасик Грачёв обнял за шею Нока и молча следил за ребятами.

В строю стояли девять человек. И выжидающе смотрели на Серёжу: "Что дальше?" А он не знал, что дальше.

Он был такой же, как они. Даже младше Валерика Воронина. В нем жила боль и гордость за отряд, и он сделал бы для отряда все, что возможно. Все, что скажут. Но что сказать самому, он не знал.

— Нельзя так... — сказал он, и это прозвучало слабо, жалобно даже. — Ну, нельзя так, ребята...

Они стояли неподвижно и слушали молча.

Тогда, по очереди глядя в их глаза (а это было почему-то трудно), он произнес:

— Нас осталось так мало... Но мы же все равно есть. Нельзя же плевать на самих себя. Мы сами придумали наши законы, а теперь... ну, подождите, достанем маски, будем еще драться. Может быть, все еще будет.

Он понял, что говорит не то. И опять сказал:

— Нас всего десять человек. Мы теперь все отвечаем за отряд одинаково. Мы все капитаны. Понимаете?

— Как это — все капитаны? — спросил Вовка Воронин.

— А вот так! Все! Потому что все отвечаем. Но пусть с отрядом плохо, но мы же не умерли!

Андрюшка Ткачук вдруг усмехнулся и заговорил:

— Наконец-то повезло. В капитаны попал.

— Я ведь серьезно, — сказал Серёжа.

Ткачук не отвел глаз и перестал смеяться.

— Я тоже серьезно.

И Серёже стало спокойнее.

— Нам нельзя ни ссориться, ни расставаться, — сказал он. — У нас еще будут хорошие дни.

Митя Кольцов теперь не опускал голову. Он встретился глазами с Серёжей и прошептал:

— Флаг-капитаны.

— Что? — спросил его стоявший рядом Данилка.

— Бывает такое звание на флоте, — тихо объявил Митя. — Флаг-капитаны. Я читал… Я не знаю, что оно значит. Но мы отвечаем за флаг — значит, флаг-капитаны… Я… ребята, честное слово… об этом не забуду. И вы… Ладно?

Вечером у Серёжи разболелась голова. И вместе с болью пришла тоска по отряду. По Олегу, по ребятам, по долгим вечерам в кают-компании. И по боям, которых не было больше месяца.

Он лежал и молчал.

— Что с тобой? — спросил дядя Витя. — Что за хандра?

И Серёжа стал рассказывать. Он впервые говорил с дядей Витей об отряде. Он рассказывал долго и подробно. Словно снова уходил в жизнь "Эспады". Голова перестала болеть, сделалось спокойнее.

Когда он замолчал, дядя Витя сказал:

— Слышал я и раньше о твоих делах. Галина кое-что рассказывала. Нахлебался ты горя с вашей "Эспадой". Суета сует…

— Что? — не понял Серёжа.

— Я говорю, что много в жизни суеты, — объяснил дядя Витя.

## 12

На дружинном сборе третьеклассников принимали в пионеры. Большим четырехугольником выстроились в зале отряды. Белые рубашки, огненные галстуки, золото пуговиц и пряжек. Голубая форма октябрят. Вспышки солнца на венчиках горнов, на острой верхушке знамени…

— Дружина, смирно! Равнение на знамя…

Солнце захлестывает зал. Запуталось в Димкиных пшеничных волосах — они выбились из-под

красной испанки.

Серёжа краем глаза видит голубой огонек. Это у него на уголке воротника, в маленьком и прозрачном голубом крабе, искра солнца повисла, словно в капельке голубой воды.

...Перед сбором была у Серёжи стычка с Викой Гармашевой. Из-за этого краба — Димкиного подарка.

— Каховский, это что за брошка! — голосом рассерженного завуча сказала Гармашева.

— Это значок, — сказал Серёжа.

— Кажется, таких значков в пионерской форме нет.

— Отвяжись, — попросил Серёжа.

— Не груби, пожалуйста. Я с тобой как председатель совета дружины разговариваю.

— Все равно отвяжись, — повторил Серёжа. И чтобы она в самом деле отстала, добавил: — Это знак "Эспады".

— Здесь тебе не "Эспада", а нормальная школа...

— "Эспада" везде, где я... — в упор сказал Серёжа. Специально, чтобы разозлить Гармашеву. И конечно, разозлил.

— Подумаешь, какой Людовик Четырнадцатый! "Государство — это я!" Вы там, в своей "Эспаде",

все такие. Правильно вас разогнали!

Серёжа хрустнул пальцами и сдержанно сказал:

— Была бы ты парнем, я бы с тобой поговорил… не так…

— А ты давай, кидайся, — предложила Вика. — Палку возьми. Как на Сенцова. Опять в герои попадешь. В "Эспаде" орден дадут.

— Вам наша "Эспада" поперек глотки, — откликнулся Серёжа. — Таким, как ты да Сенцов.

— Каким "таким"?

— Шкурникам!

Вика побледнела и шепотом пообещала:

— Ответишь… На совете.

— Иди, иди, — устало сказал Серёжа. — В совете не все такие дуры, как ты.

Девчонки — они и есть девчонки. Вика забыла, что она председатель. Она готова была разреветься. Заморгала набухшими глазами и крикнула:

— Директорский любимчик! Только он за тебя и заступается, а то давно бы из школы вышибли!

Это было что-то новое. Неожиданное. Серёжа даже слов не нашел. А пока думал, заиграли горнисты, и стало не до спора.

…Солнце, солнце! Горячее, веселое. За окнами деревья как в зеленом тумане. Двадцать второе

апреля. У ленинского портрета замер почетный караул.

На улице прошуршал троллейбус да шумели среди веток воробьи. А в зале тихо-тихо. Тишина эта — как поднятые палочки барабанщиков.

И вот:

— Я, Олег Щербинин…

— Я, Владик Семенов…

— Я, Игорь Скляренко…

— Я, Сергей Лютиков…

— Я, Дмитрий Соломин…

И дальше — слегка вразнобой, взволнованным хором:

— "Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина…"

Димка говорит и смотрит на Серёжу. Димка, Димка, светлая твоя голова. Маленький барабанщик, крепкий товарищ…

Вышла из рядов шеренга ребят, которые должны были повязывать бывшим октябрятам галстуки. Шеренга третьеклассников двинулась им навстречу.

Случилась небольшая путаница. Кто-то из девчонок сбил строй. Не сразу разобрались, кто к кому должен подойти. И в этой секундной неразберихе Димка сделал удивительную вещь. Он

обошел Галку Гуляеву — симпатичную отличницу из шестого "Б", — отпечатал по солнечному паркету несколько лишних шагов и встал перед Серёжей. Одними губами попросил:

— Завяжи.

У Серёжи комок поднялся к горлу. И все затихло, отодвинулось далеко-далеко. Он взял у Димки с локтя невесомый шелковистый галстук. Отогнул на тоненькой Димкиной шее воротничок… Галстук лег на грудь двумя разлетевшимися всплесками огня. Алое на голубом.

— Молодец, Дим. Спасибо, — не то прошептал, не то просто подумал Серёжа.

И Димка понял. Он просиял в ответ зелеными своими глазами, повернулся и шагнул к своей шеренге. Его ждали. Остальные третьеклассники были уже в общем строю. Но Димка вдруг остановился. Опять повернулся и шагнул назад — к Серёже. С октябрятского жилетика отцепил звездочку, вложил Серёже в ладонь и молча сжал его пальцы. Потом побежал к своим. Прощелкали в тишине подошвы его новеньких блестящих полуботинок.

И никто не сказал ни слова ни ему, ни Серёже. В такие минуты нельзя говорить. Может быть, потом Вика Гармашева прицепится: нарушили

запланированный ритуал. А сейчас — тихо: Димка Соломин становится в строй пионеров.

Серёжа все смотрел на Димку, а зажатая в руке звездочка покалывала ладонь. Так, со звездочкой, он и поднял руку для салюта…

Ударили барабаны. И вдруг нерешительно сбавили громкость, умолкли один за другим. Шумок пробежал по рядам.

В зал вошел директор. Попросил раздвинуться шеренгу семиклассников, прошел вперед и остановился рядом с Юлей, слева от группы горнистов.

— А говорили — в больнице, — шепотом сказали позади Серёжи.

Анатолий Афанасьевич обвел глазами притихшие отряды. Улыбнулся так, будто он не директор, а школьник, которому надо впервы е выступать перед целой дружиной. Сказал негромко и с хрипотцой:

— Дорогие мои… Извините, я был болен, не пускали меня. А я очень хотел поздравить вас с Ленинским праздником. Особенно наших самых младших пионеров. Тех, кто сегодня надел красные галстуки. Все-таки я успел… Нашим третьеклассникам я хочу сказать сейчас несколько слов… Вы дали сегодня торжественное обеща-

ние. Вы знаете пионерские законы. Надо хорошо учиться, работать, крепко дружить, бороться с ложью и злом. Вы пока еще маленькие. Не обижайтесь, пожалуйста. Вы стали сегодня гораздо взрослее, но вы еще не очень большие. А в жизни случается всякое: иногда жизнь с маленького человека спрашивает, как со взрослого. И бывает, что от десятилетнего мальчика, от десятилетней девочки требуется взрослая смелость, взрослое упорство и честность. И если когда-нибудь вам придется очень трудно, вспомните этот день. Вспомните, как повязывали вам галстуки. Не забывайте, что вы — ленинцы…

Дядя Витя одобрительно посмотрел на Серёжу.

— Ты мне сегодня нравишься. Весь какой-то… светящийся. А то ходил носом вниз.

— День хороший, — сказал Серёжа.

— День отличный, — согласился дядя Витя и посмотрел за окно. Там был уже не день, а вечер… Оранжевое солнце догорало на крышах. — Удивительная погода. Как летом.

— Я не про погоду, — объяснил Серёжа. — Я вообще. Про Димку…

— Про что?

Дяде Вите можно было рассказать. Конечно, лучше бы рассказать папе, но он еще не пришёл.

Ну что ж, дядя Витя тоже все понимает.

— Есть такой человек — Димка, — проговорил Серёжа. — Его сегодня в пионеры принимали…

И он рассказал про все. Даже про тишину в зале и про то, как щелкали в этой тишине Димкины подошвы. А потом еще про Димкин синий краб и про то, как поругались с Гармашевой…

Он говорил, говорил, а дядя Витя молчал и молчал. И Серёжа наконец почувствовал: что-то не так получается. И вдруг заметил, что смотрит дядя Витя уже не как раньше. Серёжа замолчал.

Дядя Витя вздохнул:

— Странный ты человек, Сергей…

— Почему? — Серёжина радость стала тускнеть, как пятна вечернего солнца на крышах.

— Вот и я сам думаю — почему? Может быть, наследственность, может быть, воспитание…

— Что во мне странного? — спросил Серёжа и внутренне ощетинился. Не понравился ему такой поворот.

— Странно, что в свои двенадцать лет ты очень конфликтный человек. Ты жить не можешь без разных стычек, споров и ссор. Они для тебя — как горючее для мотора. Вот сегодня поругался со своим пионерским начальством и весь уже светишься от радости.

Серёжа сначала удивился. Потом обиделся.

— Разве у меня из-за ссоры радость? Я же эту Гармашеву не трогал, сама прицепилась. Она мне, наоборот, настроение чуть не испортила, директорским любимчиком обозвала… Я из-за Димки радовался!

— А что хорошего сделал твой Димка? Ничего. Нарушил план сбора. Так же, как ты, показал, что ему плевать на общий порядок. На мнение других. Вы оба противопоставили себя дружине.

— Да почему?! — крикнул Серёжа. — Ну что плохого мы сделали? Нам даже после сбора никто ни слова не сказал! Димка просто хотел, чтобы я ему галстук повязал, вот и все. Ну что ему Галка Гуляева? Он ее и не знает даже. А галстук-то один раз в жизни повязывают. Димка же мой друг. Я его барабанщиком сделал.

Дядя Витя слегка развел руками:

— Ну и доказательство! Барабанщиком ты его сделал тоже вопреки мнению школы. Еще раз показал, что тебе плевать на всех.

Лицо у дяди Вити было такое, как всегда. Энергичное и добродушное. Но теперь оно стало неприятно Серёже.

— Я не плюю на всех… — жестко сказал Серёжа. — Я вообще ни на кого не плюю. И на Димку

я тоже плюнуть не мог. Он всю жизнь мечтал о барабане, а ему не дали из-за случайной тройки. Он плакал.

Дядя Витя покивал.

— Все верно. Я же не говорю, что ты действовал из плохих побуждений. Твои поступки всегда имеют благородные мотивы. Но ты ошибаешься в самом главном.

— Что вы знаете о моих поступках… и мотивах? — не очень вежливо отозвался Серёжа.

— Кое-что знаю. Открою секрет. Недавно звонила твоя классная руководительница, спрашивала отца. Его не было, а я поговорил. Надеюсь, я имел на это право? Она, кстати, очень хорошо к тебе относится. Но она боится за тебя. Дня не проходит, чтобы ты не влип в какую-нибудь историю. В конце концов ты заработаешь такую характеристику, с которой даже в ПТУ не попадешь, не то что в университет.

— Вот это да, — сказал Серёжа. — Теперь из-за характеристики я должен сидеть как мышь.

— Ну ладно. Из-за характеристики ты ничего не должен. Но есть другая опасность. Ты так привыкнешь влезать в любые конфликты, что станешь обыкновенным склочником.

— Ага, — откликнулся Серёжа. — А если прохо-

дить мимо всякой несправедливости, то станешь хорошим человеком. Легко и просто.

— Ты, пожалуйста, не преувеличивай! Я тебе не предлагаю быть подлецом. Но ты ведешь себя так, будто кругом сплошное зло, а ты один — борец за справедливость.

— Вот уж чушь-то, — искренне сказал Серёжа. — Какое зло кругом? Да у меня друзей — целая тысяча!

— Эти друзья — такие же, как ты, донкихоты. Дон Кихот — прекрасная фигура, но он никогда не мог переделать <M%-мир. А ты думаешь: вскочил на коня, копье наперевес, ура<D% — и все в порядке. Нет, брат, конная атака — не метод.

Зеленая поляна и вылетевшие из-за кустов кавалеристы вспомнились Серёже. Он даже улыбнулся: "Не метод?" Но сказал он о другом:

— Мой дед был красным конником. Он переделывал мир.

Дядя Витя наклонил голову.

— Знаю. Прекрасно знаю. Ты можешь им гордиться... Но, извини меня за откровенность, если рассматривать его как отдельную личность, он тоже был донкихотом. Вечно чего-то добивался, вечно спорил с начальством. Как шашкой рубил. Мог бы генералом стать, а столько лет просидел

в командирах эскадрона…

Дядя Витя вдруг замолчал. Испугался, кажется, что увлекся спором и сказал лишнее.

— Ты извини. Ты, может быть, этого не знал. Не надо было говорить. Но, в конце концов, ты не маленький.

Очень спокойно Серёжа сказал:

— Генералов тогда не было, были комбриги. Он бы, может, и стал им, если б не умер так рано… А командир эскадрона — это разве плохо? Главное, он был красным конником.

— Конечно. Только если бы он не горячился, он мог бы принести гораздо больше пользы.

— Он горячился потому, что был против несправедливости, — упрямо сказал Серёжа.

Дядя Витя помолчал, прошелся по комнате, бухнулся на диван, потянулся. И, будто начиная новый разговор, обратился к Серёже:

— Послушай. Абсолютно хорошей жизни не было и никогда не будет. Всегда останутся дураки, карьеристы, себялюбцы. Может быть, потом их станет меньше, но совсем они не исчезнут. В мире всегда есть добро и зло. И все на свете зло не уничтожить. Поэтому надо рассчитывать силы, жить как все, а не воевать с целым светом.

— Я и не воюю со светом…

— Воюешь. А зря… Кстати, что за сцену ты устроил в кинотеатре "Спутник"? Татьяна Михайловна упоминала.

— Никакой сцены не было. Просто контролерша одного мальчика не пускала, маленького. У них там целая группа пришла и девчонка-восьмиклассница, вожатая. Контролерша стала считать, а со стороны тоже лезут. Кто-то из безбилетников проскочил, а на того мальчишку билета не хватило. Он заревел, а она все равно не пускает. Я говорю: "Он же вместе со всеми, он не может быть безбилетником", а контролерша давай кричать…

— А зачем тебе нужно было вникать в это дело? У мальчика была вожатая.

— Да ну… вожатая. Сама чуть не ревет… Я тогда пошел к администратору.

— И добился чего-нибудь?

— Добился… Жуликом обозвала и обещала в школу позвонить. Я говорю: "На здоровье". Пошел и отдал тому парнишке свой билет. При чем же здесь сцена?

— Очень благородно, — сказал, дядя Витя. — Но что от этого изменилось в мире?

— В мире? Я не знаю… Он обрадовался.

— Мир обрадовался твоему благородному поступку?

— Мальчик обрадовался. Побежал в кино.

— А ты остался без билета, — усмехнулся дядя Витя. — Нет, я понимаю, билет — не потеря. Но ведь каждый раз так поступать не будешь.

— Это было всего один раз, — раздраженно сказал Серёжа. Ему стал надоедать разговор. Пустой какой-то.

Дядя Витя, кажется, решил переменить тему.

— Пока тебя не было, приходил один мальчик, твой товарищ. Митя, кажется... Мы с ним посидели, побеседовали. Он рассказывал о клиперах. Прекрасный знаток. И очень интересные вещи говорил. Оказывается, клиперы не спорили с морем, не вспарывали волны. Они вписывались в морскую стихию — как бы сами делались частью океана. И летели вместе с волнами и ветром. И это было прекрасно, гармонично... Вот и человек должен так же вписываться в общую жизнь, не вспарывать ее своим характером, как форштевнем. Должен поверить жизни, как парусник волнам и ветру. Тогда ему бури не страшны. И гордости и красоты он тоже не потеряет.

Серёжа вспомнил большую фотографию в Митиной комнате: английский клипер "Катти Сарк", летящий среди белых гребней и облаков. Это было здорово!

И все-таки... "Одно дело корабли, другое — люди, — подумал Серёжа. — И кроме того, Митька сам говорил, что попутный ветер — не всегда самый лучший".

— Неправда, — сказал он. — Корабли ходили и против ветра.

Дядя Витя победно улыбнулся.

— Ходили. Но не в лоб, дорогой мой. А вот так! — Он ладонью выписал в воздухе змейку. — В лавировочку, в лавировочку.

Серёже стало обидно за Митины корабли.

— Они не виноваты, — сердито сказал он. — У них были только паруса. А человек скорее уж похож на корабль с турбиной. Он может идти как хочет.

Дядя Витя присвистнул:

— Ну, брат, да ты прирожденный оратор. И спорить с тобой, конечно, трудно. У тебя целая философия.

Серёжа пожал плечами.

— Я не знаю, что такое философия. Мы еще не проходили.

— Еще придется пройти, — пообещал дядя Витя. — В вузе без этого не проживешь.

— В вуз я могу и не попасть. Из-за характеристики, — поддел Серёжа. — Вы уж скажите мне

сейчас, что это такое.

Дядя Витя, видимо, решил, что спор надо кончать. Он даже обрадовался вопросу: можно поговорить о другом.

— Видишь ли… Философия — это наука…

"Знаю, что не птица", — мысленно вставил Серёжа.

— Самая общая наука. У нее много определений. Но если говорить попроще, это общие законы развития природы, общества. Особенно это важно для жизни людей. Для всех и для каждого…

"А в жизни случается всякое", — вспомнил Серёжа. Вспомнил солнечный зал, Димкины сияющие глаза, хрипловатый голос директора…

Он перебил дядю Витю:

— Скажите, а у Ленина тоже была философия?

Дядя Витя умолк на секунду и тут же вдохновился, как оратор, услышавший из зала интересный вопрос:

— А как же! Это главные законы нашей жизни! Вот ты станешь постарше…

И опять Серёжа перебил его:

— Постарше — это потом. А я сейчас хочу знать: по этой философии разрешается, чтобы вот так, — он помотал в воздухе ладонью, — в лавировочку?

Дядя Витя молчал довольно долго. Он смотрел на Серёжу сначала растерянно, а потом с интересом.

— Ну, дорогой мой… — начал он в конце концов. — Надо бы тебе стать немного поскромнее. Должен заметить, что сравнивать себя с Лениным…

— Я не сравниваю, — тихо сказал Серёжа. — Только вот видите… У меня значок. А на нем Ленин. Есть такая организация — юных ленинцев. Сегодня в нее Димку принимали. И меня когда-то приняли. Мы обещание давали. Понимаете?

И он ушел из комнаты.

…Поздно вечером, за ужином, дядя Витя, поглядывая на Серёжу, сказал:

— Сергей сегодня разгромил меня в философском споре. Блестяще. Если он сражается на рапирах так же, как спорит, его ждет олимпийское будущее.

— Будущее — это ладно, — откликнулся папа. — А как дела в настоящем? В частности — с алгеброй? По-моему, давняя и единственная пятерка не внесла существенных изменений?

— Не внесла, — признался Серёжа. — Я учу, учу, говорю — спросите, а меня не спрашивают.

— "Не спрашивают", — хмыкнул отец. — Раньше бы учил. Голова твоя два уха… В философских спорах побеждаешь, а в простых уравнениях — как корова в болоте… Вот не пущу в Севастополь, будешь знать.

Это он, конечно, просто так сказал, но Серёжа все-таки слегка испугался.

— Что ты, папа! Я же зубрю изо всех сил.

— Мы вместе позанимаемся, — пообещал дядя Витя. — А что касается спора… Кое в чем, Сергей, ты все-таки неправ. Нельзя высокие принципы применять к жизненным мелочам. А ты, дорогой мой, в каждую стычку рвешься, как на штурм Зимнего.

Серёжа не ответил. Он вспомнил, что алгебра в самом деле еще не готова, а завтра Антонина Егоровна может спросить.

А кроме того, надо еще просто посидеть и подумать. Вспомнить весь день. Есть в этом дне случай, который как заноза. Скандальный разговор с Гармашевой. Зря он с ней связался. Глупостей наговорил всяких, с Сенцовым сравнил. Она же девчонка… Конечно, сама виновата, но в прежние дни Серёжа даже не стал бы с ней спорить. Просто обошел бы молча. А сейчас что-то не так.

## 13

После майских праздников зацвела черемуха. Взрослые говорили, что, когда она цветет, приходят холода. Но на этот раз черемуховый цвет кипел среди буйного лета.

Серёжа и Генка давно забросили школьные пиджаки и ходили на уроки в форме "Эспады". Никто им больше не говорил ни слова. Но когда в форме барабанщиков появился Димка, снова грянул скандал. Дежурная учительница сгребла Димку в коридоре и доставила к директору.

— Полюбуйтесь, Анатолий Афанасьевич! Ведь есть же общешкольная форма, а они ходят бог знает в чем! Как в пионерском лагере!

Анатолий Афанасьевич глянул на Димку — маленького, взъерошенного и непокорного. И кончил спор одной фразой:

— Да пусть ходят, жалко, что ли.

А потом добавил, пожав плечами:

— Зачем им жариться в такую погоду в сукне? Есть же пионерская форма, никто ее в школе не запрещал.

То ли после этих слов, которые разнес Димка, то ли потому, что приближался пионерский

праздник, школа расцвела белыми и синими рубашками, голубыми октябрятскими жилетиками, разноцветными испанками.

Дня за четыре до праздника Серёжу остановил в коридоре Димка.

— На парад пойдешь? — ревниво спросил он.

— Едва ли, Дим. От дружины сводную колонну собирают шестьдесят четыре человека. Восемь на восемь, коробка. Да еще знаменная группа. От нашего класса всего пять человек идут.

— У нас вообще никого не берут, — огорченно сказал Димка. — На смотре строя и песни мы лучше всех ходили, а все равно не берут.

Серёжа спешил домой: с дядей Витей они договорились посидеть над переводом американской статьи о раскопках в Боливии. Как утешить Димку, Серёжа не знал. Хлопнул его по плечу, сказал торопливо:

— Да ладно, не горюй. У тебя все впереди.

И пошел было к лестнице.

— Серёжа!.. — окликнул Димка. Окликнул так, что стало ясно: скажет что-то серьезное.

Серёжа вернулся. Димка в упор смотрел распахнутыми глазами.

— Давай соберем наших, — попросил он. Негромко так, серьезно и с напором.

У Серёжи даже холодок по спине прошел.

— Зачем? — так же негромко спросил он.

— Ну мы же все равно отряд. Соберемся и пойдем на парад сами. Со знаменем. Юнармейцы собираются, секция картингов тоже, а нам разве нельзя?

Словно эхо марш-атаки отозвалось в Серёже. Он даже зажмурился на миг. В блеске клинков и горнов представился ему строй "Эспады"… Но разве это возможно?

— Разве всех созовешь? — сказал он.

— Барабанщики — все.

— Барабанщики само собой. А другие?

— Генкина группа всегда наготове.

— А остальные? Одного в школе не пустят, другой сам не захочет. Или еще что-нибудь… И кто нам разрешит?

— А кто запретит? — упрямо сказал Димка. — Можно всех созвать. Цепочка-то еще действует.

— Сходим на парад, а потом что? — спросил Серёжа.

— Потом… потом что-нибудь.

Димка, конечно, и сам не знал, что будет потом. Но, кажется, был уверен, что обязательно будет. И обязательно хорошее. Словно стоит выйти на площадь отряду с шеренгой барабанщиков впе-

реди, и отряд после этого останется навсегда.

В Димкиных словах, в Димкиной уверенности было что-то от старой "Эспады", от прежней жизни — веселой, боевой, несдающейся.

"А вдруг..." — подумал Серёжа. Эхо барабанного марша гудело в нем ровно и неутомимо.

— Я подумаю, — сказал он. — Я узнаю... Это, наверно, в райкоме комсомола надо спросить. Где собираться, во сколько начало и вообще... всякие подробности... А соберем?

— Конечно! — весело откликнулся Димка. — Ты узнай, только сегодня же.

"Опять получается, что я главный командир", — подумал Серёжа. Но не было времени для колебаний. Главное — делать дело. Он помчался домой с мыслями про общий сбор и был уверен, что все пойдет хорошо. Тревожили только мелочи: у всех ли в порядке форма, хватит ли клинков хотя бы для командирской группы и где взять новое древко для флага.

На полпути Серёжа сообразил: не надо терять время и лучше сразу же зайти в райком. Это недалеко, он был там один раз с Олегом.

В райкоме кипела предпраздничная жизнь. Бегали по коридору члены пионерского штаба в голубой форме с белыми портупеями. Высокий

худой парень кнопками прикалывал к стене объявление о генеральной репетиции парада. Кнопки не лезли в штукатурку, и парень чертыхался. Серёжа не решился спросить у него, кто занимается парадом. Он спросил об этом у веселой девушки в пионерском галстуке, которая тащила по коридору охапку золотистых фанфар. Они были похожи на громадный солнечный букет.

Девушка толково ответила, что парадом занимаются абсолютно все, но вопросы решает один человек — секретарь по школам Лена Ковалева. Она сейчас в горкоме и придет к четырем часам.

К четырем так четырем! Серёжа теперь уже совсем поверил, что все будет замечательно. Здесь свои люди, они и поймут и помогут. Конечно, помогут!

Он поспешил домой. До четырех оставалось еще полтора часа. Дядя Витя сидел с журналом на диване и прихлебывал чай. Он укоризненно глянул поверх журнала на Серёжу.

— Дорогой коллега, вы заставляете себя ждать. Точность — не только вежливость королей. Это еще и свойство людей науки. Рассеянные профессора существуют лишь в юмористических романах.

— Я знаю, дядя Витя, — торопливо сказал Серёжа. — Но я в райком забегал. Надо один вопрос решить.

Глаза у дядя Вити стали слегка настороженными. Он мягко поставил на подоконник стакан.

— А что у тебя за дела в райкоме?

— Да насчет пионерского парада. Мы хотим, чтобы "Эспада" на парад вышла. Все равно со школьными колоннами не все идут.

Дядя Витя шевельнул бровями и быстро спросил:

— А зачем? Это что, ваше школьное начальство решило?

— Ну почему начальство? Мы сами хотим.

Дядя Витя отложил журнал. Поднялся. Глядя мимо Серёжи, прошелся из угла в угол.

— А я думал, ты успокоился. Последние три недели все было так хорошо… Не понимаю, зачем тебе это нужно? — сухо спросил он.

— А что? — растерянно отозвался Серёжа. — Разве нельзя? Что плохого?

— А что хорошего? — с неожиданным раздражением сказал Дядя Витя. — Пойми наконец, я же за тебя боюсь. Все опять начнется сначала.

— Что начнется?

— Нервы! Скандалы! Су-е-та!

Серёжа поймал себя на том, что моргает, как обиженный первоклассник.

— Какие скандалы? — тихо спросил он. — Отчего? Оттого, что мы пойдем на праздник?

— От всего! — отчеканил дядя Витя. — У тебя опять начнется война. Ты опять противопоставишь себя всем.

— Кому?

— Школе. Соседям. Ребятам. Всем на свете. И вообще… Я понимаю, если бы отряд ваш существовал, тогда еще другое дело: ты капитан, ты был бы обязан. Долг, флаг, честь и так далее. Но сейчас-то зачем? Ведь это же гальванизация трупа!

— Что? — не понял Серёжа.

— Гальванизация трупа. Иногда к трупу подключают электроток, с целью научного эксперимента. Некоторые мышцы начинают дергаться. Но это на несколько минут. Никаким током труп не оживить. И как он ни дергайся — все равно мертв. Вот так же и ваш отряд…

— Не надо так об отряде… — хмуро сказал Серёжа. — Вы ничего о нем не знаете.

Дядя Витя на секунду зажмурился, потер пальцами лоб.

— Извини… Ради бога, извини. Я понимаю, как

тебе все это дорого. Я не должен был говорить так резко… Но понимаешь… Это хотя и резко, но справедливо. От истины никуда не уйдешь.

Он опять сел на диван и утомленно откинулся на спинку.

— Пора нам поговорить откровенно, Сергей… Ты мне понравился с первого дня. Умный ты человек и упорный. Но свой характер ты растрачиваешь попусту. На мелкую монету разменываешь, не обижайся, пожалуйста… Я археолог, человек науки, ты тоже этим увлечен. Я увидел в тебе единомышленника. Но теперь я вижу: из тебя не получится ученого, если ты не начнешь жить иначе.

— Почему? — взвинченно спросил Серёжа.

— Потому что величие мировых культур, которые мы изучаем, несовместимо с дрязгами повседневной жизни… Я ведь не уговариваю и, упаси бог, не воспитываю. В конце концов, каждый имеет право жить по-своему. Я даже готов уважать твои принципы. Но у меня тоже есть принципы. Я работаю для науки, а наука не терпит суеты. Не терпит она мелких споров, ссор, дерганья нервов. Если ты будешь жить, как живешь, археологом не станешь, имей в виду. И тогда нам не по пути.

Он посмотрел Серёже в глаза и подчеркнуто повторил:

— Понимаешь? Тогда — не по пути.

Серёжа молчал. Он понимал. Он сразу все понял. Если бы просто "не по пути", тогда еще ладно. Только путь-то лежал через Севастополь.

Эхо барабанов утихло в нем. После вспышки радости пришла усталость. "Действительно, разве всех соберешь? — сказал себе Серёжа. — А если и соберутся, что делать потом, после парада? Или вдруг случится наоборот: договоришься в райкоме, а ребят не окажется. Получится один смех".

И чтобы не вспоминать Димкины глядящие в упор глаза, он стал думать о поросших кустарником руинах Херсонеса, о коричневых узкогорлых амфорах, о медной тяжести старинных монет, о набеге синих волн к подножию разрушенных стен.

На следующий день он решительно сказал Димке:

— Ничего не получается. Был я в райкоме, но поздно уже. Все там отрепетировано и рассчитано, мы опоздали.

— Так я и знал… — шепотом сказал Димка.

— Не везет нам, Дим, — вздохнул Серёжа. Было ему не по себе. Точнее говоря, совсем скверно. И он

стал убеждать себя: "Ведь и в самом деле поздно. Ведь и в самом деле там все заранее рассчитано. Никто не разрешил бы нам идти на парад".

И поскольку так действительно могло быть, Серёжа Каховский почти поверил себе.

Вечером он, неловко усмехнувшись, заговорил с дядей Витей:

— Я даже не понимаю, чего вы вчера так на меня рассердились. Подумаешь, хотели по старой памяти собраться всем отрядом... Только все равно ничего у нас не получается, никого не собрать.

Дядя Витя обрадовался. Он даже не стал это скрывать.

— Вот и хорошо! Приятно, когда здравая мысль побеждает сумбурное трепыхание чувств... Кстати, Сергей, нам пора думать о билетах. Меня торопят.

— Я же до первого июня в школе занят, — испуганно сказал Серёжа. — До двадцать пятого мая уроки, а потом еще практика.

Дядя Витя покровительственно улыбнулся:

— Насчет практики я договорюсь с директором. Не все ли равно, где получать трудовые навыки? Выпишу тебе справку, что ты работал на раскопках.

— Ура! — громким шепотом крикнул Серёжа. И кинулся в другую комнату. — Папа, ты мне дашь свой рюкзак? Мы через неделю — в Севастополь!

Потом он пошел к себе и, не зажигая света, бухнулся на диван. Радость разливалась в нем, как тепло. Путешествие, которое еще недавно было таким далеким, почти сказкой, придвинулось вплотную. Оно уже почти началось. Ведь неделя — это пустяки. Едва хватит времени, чтобы собраться! В полумраке поблескивала над Серёжей трехгранная шпага. Желтой точкой горел на гарде отблеск уличного фонаря. Серёжа не мог разглядеть надпись, но словно видел ее:

Сергею Каховскому — отряд "Эспада".

СМЕЛОСТЬ И ЧЕСТЬ.

"Я ни в чем не виноват, — сказал Серёжа шпаге. — Я никогда не изменял отряду. Я не трусил и не обманывал. Мы все, флаг-капитаны, держались до конца. А сейчас об измене и говорить нельзя, потому что отряда нет".

И тут он вспомнил Димку в школьном коридоре. Его лицо. Его шепот: "Я так и знал..."

Но отряда же и правда нет! Можно собрать группу, можно назвать себя флаг-капитанами, а что дальше?

Ведь он, Серёжа, в самом деле держался до кон-

ца. Даже Олег сказал: "Бесполезно" — и уехал. А он еще держался. А разве мало пришлось хлебнуть? Гибель "Эспады", отъезд Олега, смерть Иванова. А потом еще в школе… Эта дурацкая двойка за четверть по поведению. Главное, ни за что.

У него оставалась одна радость — белый город у моря. И если бы у Серёжи эту радость отобрали, он не смог бы жить от тоски.

Кузнечик, завистливо вздыхая, дал адреса знакомых мальчишек. Митя очень просил узнать, стоит ли в Севастополе трехмачтовая баркентина "Кропоткин" и не собираются ли ее пустить под ресторан , как многие другие парусники.

Отец готовился к очередной командировке и однажды, оставшись с Серёжей наедине, вдруг прижал его к себе и глуховато сказал:

— Опять мы врозь. Хотя бы раз вместе куда-нибудь съездить… Жизнь бестолковая.

— Ну что ты, папа! На будущий год вместе в тайгу поедем. Я подрасту.

— Ты с Виталием особенно не спорь, — предупредил отец. — Я смотрю, у вас кое в чем взгляды на жизнь очень уж разные. Ты его не перевоспитаешь. Он тебя — тоже. Да не провались там в какой-нибудь подземный ход. А сделаешь научное открытие — пиши.

— Я и так буду писать, — пообещал Серёжа. — Ты, главное, не скучай…

Дядя Витя принес из магазина черный скрипучий чемодан с медными пряжками.

— Тебе, Сергей.

— У меня же рюкзак!

— Рюкзак — это чушь, — наставительно сказал дядя Витя. — Мы не в джунгли едем. Истинная романтика не в рюкзаках, штормовках и патронташах, а в поисках и творческой работе мысли.

Серёжа обиделся за отца. За его штормовку, болотные сапоги и рюкзак. Дядя Витя понял.

— Я не говорю об охотниках, геологах и прочих лесных людях. Там рюкзаки — не атрибутика, а необходимость.

"То-то же", — подумал Серёжа.

Ожидание путешествия — это уже радость. Сборы — тем более.

Серёжа взялся укладывать в чемодан дорожное имущество.

Конверты и бумага — всем надо будет написать. Общая тетрадь для дневника. Фонарик: ночи на юге темные даже летом. Нож — папа отдал свой, заслуженный. Шорты, рубашки, новенькие кеды — пружинистые и легкие. Джинсовый костюм — тетя Галя вчера подарила, специально

для путешествия. Отличный костюм с "молниями", кожаными нашивками и петлями для широкого ремня. Может, прямо сейчас и надеть? Нет, жара на улице.

Серёжа подошел к окну. Май едва перевалил за середину, а солнце — как в июле. Успевшие загореть малыши гоняют на зеленом пустыре мяч. Горластая Дзыкина орет на них, оберегая свою клумбу. Вырвала из земли стебель прошлогоднего репейника, кинулась за ребятишками.

"А холера с тобой, — подумал Серёжа. — Все равно не перевоспитаешь".

Как подумаешь о Севастополе, так от радостного нетерпения начинает прыгать сердце.

Дядя Витя заглянул в комнату:

— Нам пора, коллега.

И они отправились за билетами, в кассу предварительной продажи.

Был воскресный день, да еще такое тепло. Улицы напоминали праздник. А может быть, просто настроение было праздничное у Серёжи. Он готов был шагать до касс пешком, через весь город. Идти по нагретому асфальту, нырять в тень тополей, улыбаться навстречу веселым людям, останавливаться у автоматов с шипучей газировкой, разглядывать в зеркальных витринах магазин-

ные товары, а заодно — и свое отражение.

Но прошли всего два квартала. Дядя Витя сказал, что время дороже денег, и пришлось дождаться троллейбуса.

В троллейбусе было просторно: видно, не многим хотелось в такой день трястись на колесах. Дядя Витя устроился у открытого окна и развернул польский журнал. Там была статья о кладах, найденных на юге Франции.

— Какая досада, — сказал он. — С польским языком у меня не очень. А пока у нас эту статью опубликуют, три года пройдет.

Серёжа вежливо помолчал в ответ.

Он сидел рядом с дядей. Витей и представлял, что троллейбус — это самолет на взлетной дорожке. Сейчас он наберет скорость, и у него вырастут крылья. Троллейбус по наклонной линии взмоет в воздух и, накренившись, пойдет описывать круг над городом.

Вот удивятся люди! Вон те две тетки с большими сумками, наверно, перепугаются и закричат, что это хулиганство. А ребята обрадуются. Вон тот маленький мальчишка (наверно, третьеклассник) с глазами, похожими на черные большие ягоды, обязательно обрадуется. И его белобрысая сестренка тоже. Но троллейбус не взлетал, пасса-

жиры не удивлялись и не радовались, вели себя спокойно. Только светлоголовой девчонке не сиделось. Она локтем толкнула брата. Громким шепотом спросила:

— Саша, ты билеты купил?

— Конечно. Ты же видела.

— Ты один купил.

— А сколько надо?

— Мне тоже надо…

— Тебе же шесть лет.

— Ну и что? Мне послезавтра семь будет.

— Послезавтра и куплю.

— Ну, Сашка… Жалко?

— Вот не хватит денег на кино, будешь знать…

— А у меня пять копеек есть.

Она разжала пальцы и показала пятак.

— До чего упрямая, — сказал Сашка и взял деньги.

Троллейбус покачивало, и мальчик пошел к передней кассе, хватаясь за спинки сидений. У самой кассы грузно сидели на скамье для инвалидов и детей две женщины. У одной из них сумка стояла в проходе. Мальчик зацепил брюками большой блестящий замок на сумке.

— Ходют тут! — довольно громко заявила тетя. — Не сидится им… Сперва билеты брать

неохота, а как увидют контролера, поскорее бегут...

Мальчик ничего не сказал. Оторвал билет и шагнул обратно. Сумка металлическим языком опять зацепилась за его штанину.

— Ты что, ослеп совсем! — заголосила тетя.

Серёжа видел только ее затылок, укрытый косынкой, и мясистую белую щеку. Но уже знал точно, что она похожа на Дзыкину. Такие все чем-то похожи друг на друга. Мальчик дернул ногой, сумка отцепилась и закачалась.

— Не ставили бы в проходе, — спокойно сказал мальчик и пошел к сестренке.

— Ишшо учить будет! "Не ставили б"! На башку тебе ставить? Ишшо в школе учиться, пионер, наверно! Билет-то оторвал без денег!

Глаза-ягоды у мальчишки сделались большими, а худенькое треугольное лицо побледнело. Он остановился и сказал все еще спокойно:

— Как это без денег? Не слышали, что ли, как звякнуло?

— Звякнуло! Всякая железяка звякать может! Где твои деньги? Ну, где?

— В кассе, — сказал мальчик.

— В кассе? — Она вытянула шею, заглянула под прозрачную крышку кассового ящика и обрадо-

ванно подскочила: — Где? Смотрите, где?

— Все они такие, — включилась соседка. — Их воспитывают, а им хоть бы что…

Тетушка вдруг ловко извернулась и ухватила мальчика за локоть.

— А ну иди сюда! Где твои деньги? Пустая касса-то! В милицию тебя, там разберутся.

"Вот скотина", — болезненно подумал Серёжа.

Дядя Витя мельком глянул на зашумевших пассажиров и опять погрузился в статью. Что значила троллейбусная стычка по сравнению с величием мировых культур!

Тетка тащила мальчика к кассе. Тот пытался вырвать локоть и не смог.

— Да ладно, чего привязались к мальцу, — раздались голоса. Но никто не встал.

"Почему не встанут? Почему не заступятся?" — отчаянно думал Серёжа.

— Они и вправду так, — сказал кто-то. — Денег не бросят, а билет рвут. Вот у меня теща водителем работала…

— Да бросьте вы, не все же такие. Мальчик-то симпатичный, он не будет…

Уже со слезами мальчик сказал всем людям:

— Я же не виноват, что деньги сразу в кассу ускочили!

И сестренка его, поднявшись с сиденья, крикнула:

— Он даже не четыре копейки бросил, а пять!

Этот крик словно сорвал предохранители. "Пять!" — отдалось в Серёже. Так же, как раньше. Как в те дни, когда, готовясь к боевому броску, давал он себе стартовый отсчет.

А Севастополь?

Тетка не пускала мальчишку. Она упивалась злобой своей и мясистой силой.

— Пусть докажет! Я видела, что не бросал!

"Четыре!"

Девочка заплакала и побежала к брату. Пассажиры зашумели сильнее, но Серёжа теперь не слышал шума. Все еще надеясь на что-то, он глянул на дядю Витю. Но тот был закрыт журналом, как стеной.

"Три!"

Девочка попыталась оторвать толстые теткины пальцы от брата, но та оттолкнула ее плечом. Кто-то поднимался с сидений. Но проход к передней кассе был еще свободен.

"Два! Один..."

И будто со стороны он услышал свой голос:

— Не трогать!

## *Эпилог*
## *БАРАБАНЩИКИ, МАРШ!*

Мраморные колонны разрушенной базилики — древнего храма в Херсонесе — кажутся с моря белыми свечками. Словно кто-то расставил их среди желтых камней. А море — синее-синее, и лишь у самого борта лодки оно как бутылочное стекло. В этом зеленом стекле висят медузы, похожие на большие прозрачные пуговицы. А ближе к берегу просвечивают бурые и косматые, как шкура мамонта, водоросли. Они качаются туда-сюда вслед за волной.

Ялик, стуча мотором, шел вдоль берега и постепенно подбирался все ближе к скалам. Наконец человек, сидевший на корме, сказал:

— Хватит. А то тюкнемся килем о камни.

Другой человек, молодой и веселый, поддержал его:

— Точно. А ну десантируйтесь на берег! Тут глубина по колено… Эй, лодку перевернете!

Два мальчика охотно гаркнули "ура" и с борта прыгнули в море.

Глубина оказалась не по колено, а выше пояса.

— Ой-ей-ей! — завопил темноволосый мальчишка с острыми лопатками под белой сетчатой майкой. И обернулся к шлюпке. — Ладно, Сашенька, припомним! А еще брат… Я вчера весь вечер штаны гладил!

Старший брат с шутливым раскаянием сложил на груди ладони:

— Ей-богу, не виноват. Здесь рефракция, преломление света в воде, а я не учел. Казалось, что совсем мелко.

— Рефракция… — проговорил братишка. — Знаю я вас, физиков…

Другой мальчик сказал:

— Саш, это он не из-за штанов. Это он боится, что письмо для Наташки в кармане размокнет.

Он тут же заработал полновесную порцию соленых брызг и, хохоча, кинулся к берегу, чтобы спастись от более страшной мести.

— Генка, Сергей! К обеду будьте дома, а то тетя Лиза вам покажет! И не лазьте на глубину! — крикнул Саша мальчикам.

И ялик стал уходить.

По камням они выбрались на узкий галечный пляж в тени желтого ноздреватого обрыва. Отыскали местечко, куда из-за каменистой кромки берега падало солнце. Скинули шорты и разло-

жили на солнышке. Генка вынул из кармана мокрый, сложенный вчетверо листок, выразительно глянул на Серёжу, развернул бумагу и расстелил на камне, придавив уголки голышами. Сквозь изнанку листа проступали чернильные буквы.

Было еще раннее утро, и на пляже стояла влажная прохлада. Зябко передернув плечами, Серёжа стал выжимать на себе подол рубашки.

Генка сказал:

— Жди теперь, когда все высохнет…

— Можно выжать и надеть, — предложил Серёжа.

— Ага! И ходи потом в жеваном.

— Все равно к концу дня и штаны и рубаха всегда мятые, — рассудительно заметил Серёжа.

— Это у тебя. Потому что карманы набиваешь.

Серёжа промолчал. Встал на колени и запустил руки в мелкие камушки.

Это лишь на первый взгляд казалось, что на берегу простая галька. На самом деле прибой перемешал с обломками камней обточенное бутылочное стекло, кусочки мрамора от херсонесских дворцов, сухие крабьи клешни, позеленевшие пуговицы с якорями, мелкие ракушки, автоматные гильзы, человеческие кости и осколки древних

амфор. Куда ни шагни — находка.

Правда, сейчас Серёжа не подбирал все подряд. А в первые дни карманы у него просто трещали. Саша даже посоветовал ему надевать длинные штаны, подвязывать у щиколоток веревочками и полностью загружать трофеями штанины.

Смех смехом, а вот и сейчас попался осколок горлышка от кувшина. Сверху выпуклый ободок, а под ним волнистый узор.

— Ген, смотри…

Генка с вежливым интересом посмотрел и признал, что находка стоящая. Потом со вздохом сказал:

— Давай уж выжмем да оденемся. Не сидеть же до обеда.

Минуты через три по лестнице, вырубленной среди желтого ракушечника, они выбрались наверх. Здесь уже начинался зной. Нагревались глыбы развалин. В сероватой, с мелкой россыпью желтых цветов траве заводили песню кузнечики. Пахло сразу водорослями, теплой травой и сухой пылью древних камней.

Ребята поднялись на холм к сигнальному колоколу, висевшему на квадратных каменных столбах.

— Ого… — сказал Серёжа.

На зеленой от старости кромке колокола кто-то белой краской написал:

НАТАША

Вчера еще надписи не было.

Можно было бы спросить Кузнечика: "Не твоя работа?" Но нет уж, хватит дурацкой шутки насчет письма.

Генка тоже увидел надпись. Глянул на Серёжу и промолчал.

Они сели на фундамент дома, в котором две тысячи лет назад жил не то винодел, не то гончар.

Распахнулась перед ними громадная синева. На краю этой синевы маячил одинокий сторожевик — он казался крошечным и прозрачным.

Донеслась еле слышная перекличка горнистов: в Северной бухте на боевых кораблях поднимали флаги.

А впереди был бесконечный день, полный веселого солнца, плеска воды, неожиданных событий и удивительных находок…

Генка неловко завозился на камне, вытащил из кармана мокрый помятый листок. Развернул на колене и прикрыл его ладонями.

— Письмо я вчера еще отправил, — сказал он тихо. — А это… Это я сочинил так… Про нас…

Серёжа чуть встревоженно молчал и ждал. Генка был какой-то очень уж серьезный.

— Это песня? — спросил наконец Серёжа.

— Нет… Это просто стихи, наверно. Ну, не совсем стихи. Я не знаю, что получилось.

— А можно? — Серёжа нерешительно потянулся к листку.

Генка вскинул обеспокоенные, почти жалобные глаза.

— Смеяться не будешь?

— Я? — искренне удивился Серёжа. — Когда я смеялся?

— Да… А над письмом…

— Ген, — испуганно сказал Серёжа, — я же так, по глупости. Ну, язык подвернулся… Ну, я же не знал, что ты обидишься…

Генка молчал, покусывая губы.

Серёжа зажмурился и сказал:

— Кузнечик, прости…

Генка словно встряхнулся.

— Да ты что! Я же не поэтому. Боюсь я… Ты уже спал, а я писал, писал. Коряво получилось. Хотел, чтобы хорошо, а… Ну, бери.

Он сам положил Серёже на колени обмякший прохладный листок. Серёжа увидел лиловые расплывшиеся строчки:

*Над крепостью старой качнулась звезда,*

*Хотя была тишина.*

*И все еще людям грозила беда,*

*Всеобщая, как война...*

Тревога мягко накрыла Серёжу, словно холодная тень. Генка писал о сказке — немного запутанной и странной. Она придумалась, когда ехали в Севастополь. Но это была не совсем сказка, потому что речь шла о Генке и Серёже. Будто они вдвоем попали в старинный город у моря — знакомый и в то же время фантастический. И вдруг Серёжка исчез. Словно обиделся на Генку непонятно за что. Он ушел, не оглянувшись, вдоль бесконечного пляжа, затерялся среди людей. А люди были встревожены, и предчувствие близкой беды проносилось по улицам, как порывы предгрозового ветра. Это предчувствие задело и Генку, но больше всех тревог мучило его одно: где Серёжка? Куда он ушел? Почему ушел?

Опустевшими пляжами, заросшими улицами, по каменным плитам и лестницам, на которых шуршали сухие листья, Генка шел, шел и добрался к вечеру до старой крепости. И там на каменном козырьке стены он увидел Серёжку.

Забрался к нему, встал сзади и чуть сбоку. Спросил тихо:

— Зачем ты ушел?

Серёжка обернулся. Сначала вздрогнул, а потом узнал Генку и улыбнулся. И сказал:

— Вот хорошо. А я шел, шел, потом оглянулся, а тебя нет. Думал, ты тоже идешь, а тебя нет. Забрался сюда и стал ждать. Я знал, что придешь.

И вечер сделался обычным вечером, за которым приходит спокойная ночь, а потом хорошее солнечное утро. И стало ясно, что предчувствие беды — пустой страх из-за глупых выдумок и нелепых слухов. Потому что когда встречаются друзья, несчастья отступают и прячутся с глаз… Вот об этом были Генкины стихи.

Серёжа не знал, как они написаны: коряво или наоборот — звонко и отточенно. Он просто увидел странный город, ощутил Генкину тревогу и тоску. И обрадовался встрече. И даже в горле заскребло, когда прочитал:

*…Теперь, когда мы снова вдвоем,*
*Закрыты пути беде.*
*И мы с Серёжкой вдоль моря бредем*
*По щиколотку в воде.*

— Ты это так написал… Лучше, наверно, нель-

зя... Или, наверно, можно, но для меня лучше не надо... Генка...

— Что?

— Не знаю... Просто Ген-ка...

И они засмеялись.

Это было настоящее счастье: сидеть рядом с лучшим другом Кузнечиком, впитывать плечами горячее солнце, видеть море и знать, что в любую минуту можешь с разбега кинуться в волны, уйти, как в сказку, в голубую глубину. Но счастье не бывает полным. И через пять минут Серёжа сказал:

— Митьку бы еще сюда. И Димку...

— И Данилку. И всех наших, — поддержал Генка.

"И Наташу", — мысленно улыбнулся Серёжа.

— Может, когда-нибудь повезет чтобы все вместе... — добавил Кузнечик.

"Может, и правда повезет", — подумал Серёжа. Ведь и ему повезло. Прямо как в сказке.

...В тот день, после шумного случая в троллейбусе, он проводил мальчишку и его сестренку до самого кинотеатра. За билетом с дядей Витей он, конечно, не поехал. Потом он ушел к Генке и пробыл там до ужина.

Виталий Александрович Вяткин — бывший

дядя Витя — уехал в тот же вечер. Он взял в кассе только один билет, себе.

Серёжа не стал с ним прощаться. Из своей комнаты он слышал, как тетя Галя сказала брату:

— Изверг ты. Ведь он же еще ребенок…

— Не ребенок, — сказал дядя Витя. — Он сумел выбрать себе путь. Пускай и отвечает.

"Только не перед тобой", — подумал Серёжа.

Папы дома не было. Он вернулся поздно, после дядюшкиного отъезда. И тогда все узнал.

Он молча притянул к себе Серёжку, положил ему на голову большую ладонь, слегка взъерошил волосы. Они стояли так в полутемной прихожей, и Серёжа думал, что с отцом ему в жизни очень повезло. А отец, видимо, решал, как же теперь быть.

И в этот момент случилось то, что можно считать чудом, а можно — самым обыкновенным делом. У двери позвонили, и оказалось, что пришёл Саша.

Никогда раньше он не приходил к Серёже.

Конечно, в первый миг Серёжа удивился и встревожился: что-нибудь с Генкой?

— Да все в порядке, — сказал Саша, поймав Серёжин взгляд. И обратился к отцу: — Вы уж извините за поздний визит. Хотел сначала по

телефону, да так, думаю, лучше.

— Это Саша, Генкин брат, — объяснил Серёжа.

— Ну так проводи гостя в комнату, — сказал отец. — Очень рад.

— Я, собственно, не к Сергею, а, скорее, к вам, — нерешительно проговорил Саша, когда его усадили на стул. — Есть один вопрос… Говорят, Серёжа с дядюшкой собирался в Севастополь.

— Сорвалось, — сказал отец.

— Да, знаю… Пока не сорвалось, хотел я им с Генкой, с братцем моим, сделать нечаянную радость. У меня там работа, в командировку собираюсь. Думал, возьму брата, а в Севастополе они встретятся. А теперь что?.. Может, мне их двоих забрать? Сам-то я буду занят, но у меня товарищ там есть, а у него мама. Она бы присмотрела.

Вот тогда, честно говоря, Серёжа не выдержал. Он торопливо ушел в свою комнату, вцепился в клинок на стене и прижался лбом к тонкому холодному железу. Еще не хватало разреветься при Саше…

— Пойдем на раскопки. Может, уже начали работу, — сказал Серёжа.

И они пошли в западную часть Херсонеса, где ленинградские студенты раскапывали храм десятого века. Но студентов еще не было. Серёжа

и Генка не торопясь побрёли среди травы, среди зарослей дрока, в которых лежали каменные плиты и обломки колонн. Вышли на площадь у разбитого бомбами Владимирского собора.

В этот ранний час в Херсонесе было пусто. Лишь у крытой галереи, где выставлены для зрителей необъятные глиняные вазы — пифосы, мальчишки встретили человека. Крепкий невысокий человек в зеленых шортах бодро шагал, будто катился, им навстречу. У него была коричневая лысина, круглый загорелый живот и курчавые плечи.

Вздрогнув, человек остановился, изумленно посмотрел на ребят. Даже рот приоткрыл: собрался, наверно, о чем-то спросить. Но они обошли его с двух сторон, будто стоявший на дороге пифос. А потом засмеялись и мимо белого домика с антенной, по каменной лестнице, побежали к морю.

Они схитрили в этот день: позвонили тете Лизе и сказали, что обедать не придут, поедят в столовой. Потом позвонили в лабораторию Саше и его другу Алику, чтобы те не беспокоились. А потом, не тратя времени на столовую, купили по три пирожка и махнули на катере в Инкерман. Там у самого берега стоял полуразобранный старый тральщик. Они вплавь добрались до него и

полдня играли там с мальчишками, с которыми Генка был знаком еще в прошлом году.

В сумерках они добрёли до Симферопольской улицы, до двухэтажного дома, где жил с матерью Алик.

Гудели ноги, сосало в желудке, горели от солнца плечи. Но сильней усталости была радость. Потому что все еще только начиналось. Они прожили у моря всего шесть дней, и впереди был почти месяц.

— Полуночники, — сказала тетя Лиза. — Вот я вас…

— Бродяги, — сказал Саша, который играл с Аликом в шахматы. — Засажу под арест на трое суток.

— Но мы же звонили, что не потонули, не потерялись и вообще никуда не пропали, — жалобно сказал Генка.

— Сейчас будут врать, что обедали и ничуточки не хотят есть, — проницательно заметил Алик.

Серёжа хотел возразить, что на такое нахальное вранье они с Генкой не пойдут. Но тут в коридоре длинно и беспорядочно затрезвонил телефон.

— Междугородная! — воскликнул Саша и бросился к двери.

Серёжа слышал, как он торопливо сказал в

трубку:

— Слушаю… Да. Что? Да, правильно. Кто? Да, здесь… — И вдруг крикнул в открытую дверь: — Сергей! Это тебя!

— Папа? — тревожно спросил Серёжа.

— Да нет, не папа. Говори…

Серёжа взял трубку и услышал непонятно чей, но знакомый-знакомый голос:

— Ты слушаешь? Это я. Я по порядку, чтобы скорее, а то разговор дорого стоит. Мама с папой уехали, а нам жить целый месяц, а денег мало. Во-первых, у меня есть камера, значит, можно снимать дальше…

— Стоп, — сказал Серёжа. — Это кто?

— Это я, Данилка. Ну, флаг-капитан Вострецов… Ты слушай скорей, а то Юлька ругается, что долго говорю… Во-первых, она подарила мне камеру "Спорт". Хорошо работает, только надо часто батарейки менять. Значит, можно доснимать "Мушкетеров". Андрей Гарц в лагерь не поехал специально, чтоб сниматься.

Серёжа увидел будто наяву растрепанную Данилкину голову, веснушчатый нос и неунывающие глаза. Он замахал в открытую дверь, подзывая Генку. Тонкий Данилкин голосок звенел отчетливо и громко. Сдвинув головы, Серёжа

и Генка слушали вдвоем.

— ...Во-вторых, Стаська заболел и его привезли из лагеря. Он теперь поправляется, но отец к нему опять прискребается. А Натка в деревне, а какой адрес, я не знаю. Стаська и Нок ночуют у меня. Что делать?

— Елки зеленые! Я откуда знаю? — сказал Серёжа. — Что еще?

— В-третьих, Митька нашел на берегу старую шлюпку. Можно сделать корабль, только надо ее вывезти. Она, конечно, гнилая, но Митька говорит, что можно... Лена сказала, что достанет машину. А пока помещения нет, можно у них во дворе чинить...

— В каком дворе? Какая Лена? — почти взмолился Серёжа.

— Лена из райкома. Она приходила, нас искала... Ей Олег про нас написал. Шлюпка, конечно, старая, но Митька говорит...

В трубке раздался треск, писк, хрипы, короткие гудки.

— Алло! — заорал Серёжа. — Алло, Данилка! Где ты?

И снова прорезался Данилкин голос, еще громче и отчетливей:

— В-четвертых, появился клуб "Легенда". У них

тоже фехтование. Звали к себе Митьку и Димку, но они сказали, что фиг. Тогда эта "Легенда" вызвала нас на соревнование. По стрельбе и по рапире...

— Кого нас?

— Ну, нас, "Эспаду"! Что им сказать? Когда вы приедете?

— Когда? — переспросил Серёжа. Не мог же он сказать, что через месяц.

Данилкин голос зазвучал удивительно серьезно. Даже печально:

— Ну, ребят я соберу. А капитаны? Я, Митька да еще Димка. Ты же видишь, сколько всяких дел... Когда вы приедете? Можно завтра?

— Данилка, ты здоров? — спросил Серёжа. — Завтра! За три тысячи километров!

— Самолетом же...

— А знаешь, какие очереди за билетами? Здесь ведь юг!

— Ну, постарайтесь! Ладно? Вы постараетесь? Алло! Ты слышишь?

Серёжа еще слышал Данилку. А тот его — уже нет. Потом Данилкин голос угас, и короткие гудки зазвучали громко и непреклонно.

Очень близко Серёжа увидел Генкино лицо. Кузнечика можно было не спрашивать: в глазах

у него была уже дорога. Саша стоял рядом.

— Что? — сказал он. — Заиграли трубачи тревогу?

— Не трубачи, а барабанщики, — отозвался Генка. — Саша… Тут ничего не поделаешь. Только вот как быть с билетами? В кассу не пробьешься… Ну чего ты так смотришь? Да не бойся, мы не выпадем из самолета!

— Не выйдет, друзья, — сказал Саша. — Никуда вы завтра не поедете…

— Саша! — сказал Генка.

Саша серьезно продолжал:

— Билеты не проблема. Говоря по секрету, я могу их забронировать через заводоуправление. Но есть один очень важный вопрос.

— Что? — откликнулся Генка.

— Какой вопрос? — настороженно спросил Серёжа.

— Это не секундная вспышка? Не каприз? Вам очень надо туда? Очень-очень?

— Да, командир. Очень, — ответил Серёжа.

— Очень, — сказал Генка. — И мы будем ждать тебя там. Через месяц. А нам надо завтра.

— Послезавтра, капитаны, — решил Саша. — Я своей командирской властью дарю вам еще один морской день.

…Они прожили у моря целых шесть дней, а завтра их ждал еще один. Длинный день, полный солнца, синих волн и радостных находок. День в удивительном городе, где смешались дома и корабли. А потом…

А потом все опять: "Барабанщики, марш!"

# БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК

## *Часть первая*
## *ТЕНЬ ФРЕГАТА «РАФАИЛ»*
## КОЕ-ЧТО ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ

В комнате деда висела над письменным столом карта полушарий. Небольшая, чуть шире развернутой газеты. Желтовато-серая, с мелкой россыпью названий и бледными очертаниями материков. Очень потрепанная — с протертыми до холщовой подкладки сгибами, с неровными, как осколочные пробоины, дырами на пересечении этих сгибов. Вверху было написано: «Изображеніе Земнаго Шара совключеніемъ новЪйших открытій. Ст-Петербургъ 1814».

Дед однажды объяснил Кинтелю, что карта осталась от важного чиновника, который жил в этом кирпичном двухэтажном доме в давнее-давнее время. Напечатали карту в том году, когда Александр Сергеевич Пушкин учился в школе, которая называлась лицеем, а русская армия разгромила Наполеона и вошла в Париж.

— И было еще много неоткрытых островов и земель. Видишь, даже Антарктиды тут нет, пустое море…

Пятилетний Кинтель уже знаком был с Пушкиным — по сказкам. Слышал кое-что и про войну с Наполеоном. Знал и об Антарктиде: это большая ледяная страна, где поселок Мирный и пингвины (а белых медведей там нету). На нынешних картах Антарктиду рисуют внизу, в отличие от похожей по названию Арктики, которая наверху…

Когда дед ушел, Кинтель решил исправить географическое упущение. Взял синий карандаш, помусолил его и собрался изобразить шестую часть света, как подсказывала фантазия. Однако нижний край карты висел у самой кромки стола, рисовать неудобно. И Кинтель, сидя на столе как в песочнице, отвлекся, начал разбирать мелкие буковки названий.

В верхней части Африки с частыми веснушками клопиных и мушиных следов он прочитал: «Сахара или Песчан. степь». Кинтель знал, что Сахара — громадная. Надпись же была до обидного маленькая, не соответствовала масштабу великой пустыни. И Кинтель (помусолив карандаш заново) вывел жирными печатными буквами: САХАРА.

Он заканчивал последнюю "А", когда вошла бабушка. Кинтель был снят со стола за штаны и воротник, награжден шлепком и отправлен в

угол с приказом стоять и размышлять о своем пакостном поведении. Кинтель был человек спокойный и разумный. Он понимал, что в этом случае бесполезно сопротивляться и хныкать. Такое на бабушку не действовало. Действовало когда-то на маму, но мама полгода назад уехала в очень долгую командировку и неизвестно когда вернется. Поэтому Кинтель стал стоять и размышлять. Но не о поведении, которое считал не пакостным, а разумным (только бабушке это не объяснишь). Он размышлял о названии «Сахара», похожем на «сахар». Нетрудно было предположить, что пустыня (или «песчан. степь») покрыта сыпучим сахаром, который тоже называется «песок» (бабушка часто досадовала: «В гастрономе с утра песок давали, а я опять прозевала»). От этого пустыня — белая и слепящая, как снежное поле, только там не мороз, а, наоборот, страшная жара. От жары и липкой сладости хочется пить… Кинтель стоял, облизывался и вздыхал.

Конечно, Кинтель был не так глуп, чтобы всерьез поверить, будто песок в пустыне — сахарный. Просто придумалось такое. И он не стал делиться этой придумкой ни дома, ни в детском саду. Ни с кем — ни с Алкой Барановой, ни даже с лучшим приятелем Рафиком. Потому что мало ли кто как

отнесется, вдруг начнут хи-хикать и дразнить. Кинтель этого не терпел, хотя обиду показывал редко. Он был сдержанный и деловитый.

Дед так и сказал отцу, когда тот забирал Кинтеля к себе:

— Он человек рассудительный и ответственный, у вас хлопот с ним не будет.

Бабушка умерла летом, когда Кинтель был на детсадовской даче. Его привезли утром в день похорон, и неживая бабушка показалась ему чужой, неприступно-строгой. Она словно обиделась на всех в этом мире и лежала теперь как бы отгороженная невидимым, но непрошибаемым стеклом. И подходить к ней было не то чтобы страшно, а просто бесполезно…

Среди общих вздохов, сдержанных слез, приглушенных голосов и сладкого запаха цветов и хвои Кинтель ощутил себя потерянным и никому не нужным. Он не испытывал большого горя, потому что (если уж до конца честно говорить) бабушку любил не очень сильно, побаивался. Но его давила горькая досада и угнетало первое понимание, что бывают в жизни события, перед которыми бессильно даже множество взрослых людей. События, которые переворачивают жизнь, никого не спросив об этом.

Дед с отцом говорили, что Кинтелю нужен женский глаз, тем более что мальчику скоро в школу.

— Ты теперь человек семейный, Лиза у тебя женщина разумная, а из меня какой воспитатель… — доказывал дед.

— Ладно, — вздохнул отец. — Укладывай чемодан, Данила.

Данила, Даниил, Даня — это было настоящее имя Кинтеля.

Отец жил на другом конце города, в поселке под названием Сортировка. В этом районе как раз построили новую школу и объявили, что это будет не простая школа, а гимназия, и станут в ней учиться всяким искусствам и нескольким иностранным языкам. Для такой школы и ученики требовались особые. Брали не всякого, а по конкурсу. Тетя Лиза обрядила Даню в костюмчик ярко-желтого цвета, и отец повел свое чадо на экзамен, который назывался «со-бе-се-до-ва-ние».

Долго ждали в коридоре, потому что ребят и родителей собралось много. Очень многие мамы и папы хотели, чтобы их дети стали гимназистами. Наконец строгая учительница позвала из-за двери: «Даня Рафалов!» Отец остался, Даня вошел. Спросили о том о сём: где живет, любит ли

рисовать, нравится ли ему в детском саду и где работают мама и папа. Даня неторопливо объяснил, что папа работает инженером в строительно-монтажном управлении номер одиннадцать, а мама не вернулась из командировки и «видимо, у нее теперь другая семья». Дяденька и две тетеньки за столом переглянулись. Дали книжку «Рассказы о животных», попросили почитать вслух. Даня слегка удивился, стал читать про попугая ару, который живет в тропических джунглях.

— Хватит, — сказала пожилая тетя. — Молодец. — И обратилась к другим: — Это явно не детсадовский уровень.

— Кто тебя научил так читать? — спросил дядя в очках.

Кинтель слегка растерялся:

— Я… не знаю. Никто…

— Как — никто? — недовольно сказала полная тетя с красивым, только чересчур гладким и розовым ли-цом. — Кто-то же занимался с тобой? Папа, бабушка?..

Кинтель пожал плечами и уставился в пол. Не знал, как сказать. Ему всегда казалось, что умение читать — это с рождения. Ну или с самого раннего возраста, как умение ходить и говорить. Само собой прививается. Правда, бабушка и де-

душка в давние времена показывали Кинтелю на карте разные буквы и слова. Но насколько он помнил, это было лишь для того, чтобы объяснить: старинная «ять» произносится так же, как "е", а на твердый знак в конце слова вообще не надо обращать внимания. В общем, было что-то вроде игры, а читать он и тогда вроде бы умел так же, как сейчас…

И вот он стоял и смотрел себе под ноги. И наверное, выглядел туповато. Потому что розовая тетя вполголоса сказала:

— Типичное дитя из неполной семьи… Ну и что же, что техника чтения хорошая? А в остальном явный дебил.

К несчастью, Кинтель знал, что такое дебил. Эльза Аркадьевна в детском саду это слово говорила часто. И сейчас Кинтель не то чтобы обиделся, но решил уточнить. Все расставить по местам. Маленький, аккуратно причесанный, в своем канареечном костюмчике и белых гольфах, он переступил на ковре новыми лаковыми башмачками и сообщил со вздохом:

— По-моему, вы не правы. По-моему, вы сами дебилка.

Ну и пошел мальчик Даня из школы-гимназии. Вернее, вприпрыжку двинулся за отцом, который

молча и размашисто шагал к дому, ухватив сына за кисть руки.

У себя в комнате отец достал из ящика стола длинную блестящую линейку и подбородком указал на диван:

— Ну-ка, укладывайся…

Кинтель посопел, почесал о плечо щеку. Снял и аккуратно поставил рядышком лаковые башмачки. Ладонью смел с диванного пледа крошки и деловито улегся на живот, стараясь не помять парадную одежду. По опыту он знал, что спорить с жизненными обстоятельствами, когда они явно сильнее, не имеет смысла. А пускать слезы и просить прощения он считал унизительным. К тому же, спеша по тротуару за отцом, он успел поразмыслить и пришел к выводу, что назвал розовую тетю дебилкой зря, это был явный промах. А за промахи приходится расплачиваться.

Улегшись, Кинтель сбоку поглядывал на отца и старался угадать: как тот поступит? Станет хлопать линейкой по штанишкам или по голым ногам? В последнем случае боль будет липкая и горячая, придется мычать и дергаться, чтобы не зареветь во весь голос. Эльза Аркадьевна в детском саду тоже воспитывала провинившихся линейкой, такой же, и всегда старалась впечатать

по голому. Правда, Кинтелю при его спокойном характере доставалось не так уж часто, а вот приятель Рафик то и дело зарабатывал «блинчики»…

Отец подышал на линейку, потер ее рукавом рубашки, и Кинтель зажмурился, приготовившись к худшему. Но тут в комнате появилась тетя Лиза. И закричала на отца. Как, мол, не стыдно поднимать руку на маленького! Да почти что на сироту к тому же!.. Где это он грубил, что такое сказал?.. Ну и правильно сказал, если эта дура с первой минуты накидывается на незнакомого ребенка!.. Ну и проживет он без этой гимназии, свет на ней клином не сошелся!..

Она подняла Кинтеля, вынесла его из комнаты, а сама осталась доругиваться с отцом.

Кинтель был, конечно, рад такому повороту. Но особой благодарности к тете Лизе не ощутил. Потому что кричала она слишком громко и усердно. Словно старалась показать: вот я хотя и мачеха, а жалею мальчика, даже отцу не дала в обиду.

Кстати, никакой обиды на отца Кинтель и не чувствовал. Отец в ту пору казался ему (видимо, с непривычки) существом верховным, выше критики и сомнений. Со временем это ощущение, конечно, рассеялось, но было уже поздно: привязаться к вечно занятому и раздражительному

папе Кинтель так и не сумел.

Тетя Лиза была добрая. Иногда покрикивала, но не обижала и заботилась. Лишнюю домашнюю работу не навьючивала, а от нелишней Кинтель сам не прятался. На рынок бегал, ковры пылесосил и даже кашу варил маленькой тети Лизиной дочке.

Девочку звали увесистым взрослым именем Регина. Когда тетя Лиза вышла за отца, Регишке было два года. Она стала теперь для Данькиного отца как бы дочерью — значит, сестренкой Кинтеля. И он это принял как должное. Нельзя сказать, чтобы очень полюбил ее, но возиться с ней не отказывался, играл, в детский сад водил. И не прогонял Регишку от себя, если даже та надоедала. Потому что чего с нее возьмешь, с несмышленой… И пожалуй, о ней-то, о Регишке-мартышке, он только и грустил, когда ушел из отцовского дома.

Но случилось это лишь через четыре года, когда Кинтель закончил начальную школу.

А в том году, после «со-бе-се-до-ва-ния», в школу он так и не пошел. Вернулся в детский сад, только уже не в старшую группу, а подготовительную. И оказалось, что ничего не потерял, по крайней мере во времени. Учили здесь тому же, чему в

первом классе, и сказали, что потом ребята пойдут в начальную «трехлетку», а после нее — сразу в пятый класс и там догонят тех, кто сейчас, в свои шесть лет, сделался первоклассником (так потом и получилось). Эльзы Аркадьевны в детском саду уже не было, ее уволили, всезнающая Алка Баранова сообщила, что это — за линейку. Потому что в том году началась перестройка, при которой лупить детей в садиках не полагается (разве что слегка хлопнуть ладонью).

Жаль только, что Рафика уже не было: он поступил в английскую спецшколу и пути их с Данькой разо-шлись…

После детсада в школу-гимназию Кинтель, конечно, не пошел, пошел в «обычную». И слава Богу, хлопот меньше. Ребята в классе были, правда, чересчур бестолковые и гвалтливые, не такие, как в садике. Но Кинтель пообжился, привык. Тем более, что учительница Вера Дмитриевна была спокойная, кричала редко и совсем не дралась.

Кстати, именно в школе Кинтель получил свое прозвище. До этого он дома был Даней и Данилой, а в садике или на улице — Рафиком. Из-за фамилии. Их с приятелем так и звали: Рафик Черный и Рафик Белый (хотя, по правде говоря, Данька был не белый, а светло-русый).

В школе же получилось так. В начале первого класса было собрание, на котором полагалось рассказывать о своих мамах-папах и прочих родственниках. У кого из них какие профессии. Даня про отцовскую работу в СМУ почти ничего не знал, а что касается мамы, то незадолго до того, в августе, пришло сообщение о катастрофе. К тому, что мамы с ним нет, Кинтель давно привык и при том известии даже не заплакал, только полдня молча просидел в уголке… А сейчас, на собрании, он стал рассказывать о деде:

— Мой дедушка был моряком…

— Врешь ты! — заявила вредная Нинка Сараева. — Моя мама знает твоего дедушку. Он работает в больнице и заведывает кадрами…

— Ну и что! Это сейчас в больнице, а раньше плавал на теплоходе «Донецк» по океану. Он был корабельный врач. У него карточка есть, он на ней в капитанской фуражке и в белом кинтеле…

Ух как все возвеселились!.. Вот так и бывает — ошибешься по малолетству в одном слове и ошибка остается с тобой на всю жизнь…

Даня уже знал, что, если тебе всей толпой приклеивают прозвище, спорить не имеет смысла. Это как раз то жизненное обстоятельство, с которым не повоюешь, надо принимать его как есть. И

первоклассник Даня Рафалов принял. Тем более, что причина скоро забылась, а само по себе новое имя было совсем не плохим. В нем чудилось даже что-то морское: шкентель, вентиль, бензель, трюмсель… Данька за три года настолько привык быть Кинтелем, что ничуть не удивился, когда прозвище перекочевало за ним в новую школу. Вышло это вот почему: в классе, куда Кинтель попал после переезда, училась Алка Баранова, хорошая знакомая по детсаду. Она знала всё про всех. И тут же сообщила пятиклассникам, как зовут новичка…

В этой школе Кинтель оказался «по семейным обстоятельствам» (так дед написал в заявлении). Случилось вот что. Был уже конец августа, Кинтель помаленьку готовил учебники и тетради, а тетя Лиза все охала, что никак не может купить школьную форму. Кинтель успокаивал: форма нынче в школах не обязательна. Это услыхал отец. Он и вообще-то никогда не был особенно ласковым, а в те дни ходил особенно раздражительный: то ли на работе не ладилось, то ли с тетей Лизой чего-то не поделил. Придирался и к ней, к тете Лизе, и к пятилетней Регишке, и, само собой, к Даньке. И тут он тоже ввязался:

— Посмотрите-ка, форма ему не нужна! Охота

быть разгильдяем снаружи и внутри! Нагляделся на всяких хиппи, да? Сам такой же!..

Кинтель ровно, без всякой скандальности поправил отца:

— С чего это я такой же? Ничуть не похож.

— Не похож? Погляди на себя! Зарос, как леший в чертовом урочище! Парикмахерская в двух шагах, а тебе все лето лень туда сходить!

Выгоревшие волосы у Кинтеля и правда отросли, за-крывали уши и шею, но ведь у всех так в конце лета. Он объяснил, что перед первым сентября сходит и подстрижется. О чем тут шуметь?

— Не к первому сентября, а немедленно! Лиза, дай ему рубль! И марш!..

Те времена, когда Кинтель подчинялся безропотно, миновали. Он и в нынешнюю пору старался зря не спорить, но все же умел возражать, если сталкивался с чем-то совсем неразумным.

— Всего же неделя осталась. Тридцать первого схожу. А сейчас у меня и без того куча дел…

— Ты еще разговаривать будешь?! Дискуссию, как в парламенте, устраивать? Не-ет, я тебе отец, а не девочка-вожатая в лагере…

Он рывком вывел Кинтеля в прихожую, локтем прижал к себе его голову, схватил с подставки у зеркала ножницы и лязгающими взмахами

выстриг в отросших волосах борозду!

— Вот так! Теперь пойдешь, никуда не денешься!

Тетя Лиза, конечно, запричитала. Кинтель вырвался, ушел в ванную. Плакал он редко, но тут, глядя на себя в зеркало, пролил тихие злые слезы. Потом умылся. Поддернул пыльные, переделанные из старых школьных штанов шорты, заправил под ремешок майку. В коридоре нахлобучил кепку с длинным козырьком и надписью «CAPITAN». Побренчал в кармане мелочью и ушел.

Парикмахерская была окраинная, народу — никого. Кинтель молча забрался на высокий стул перед зеркалом и лишь тогда стянул с головы кепку. Сказал молоденькой, славной на вид мастерице:

— Вот. Что тут можно сделать?

Та не удивилась. Тихонько спросила:

— Кто тебя так?

У Кинтеля опять скребнуло в горле. Но ведь положенную норму слез он израсходовал еще в ванной. И сейчас вздохнул только:

— Папаша психанул… Теперь под машинку, да?

— Ну нет. Попробуем что-нибудь, постараем-

ся…

И постаралась. Получился светлый симпатичный ежик. Правда, лицо сделалось непривычно круглым и сильно торчали уши, но все-таки было гораздо лучше, чем лысая башка.

— Спасибо большое… — Кинтель полез в карман за деньгами.

— Не надо. Купи себе лучше мороженое. — И девушка добавила полушепотом: — Когда в горле щекочет, мороженое полезно…

Кинтель так и сделал: постоял в очереди за мороженым (шестьдесят копеек стаканчик), неторопливо слизал всю порцию. Он был спокоен, потому что принял решение.

Отца дома не оказалось. Тети Лизы тоже — ушла к соседке. На глазах у притихшей Регишки собрал Кинтель свою нехитрую одежонку, уложил в чемоданчик, с которым в июле ездил в лагерь. Затолкал в ранец учебники и тетрадки. Сказал Регине:

— Ну, пошел я. Не скучай…

И через час приехал к деду, шагнул в комнату, снял кепку:

— Толич, я пришел к тебе…

Имя деда было Виктор Анатольевич, а Кинтель по младенческой привычке звал его Толич.

Дед — высокий, худой, но с круглым животиком — встал над Кинтелем, глянул сверху вниз:

— Вижу… А ты чего… такой? Будто из зоны выпущенный.

— Обожди, расскажу по порядку.

— Ну, садись, рассказывай… Ты, видать, с ночевкой прибыл? Время позднее…

— Ты не понял, Толич. Я к тебе насовсем.

Виктор Анатольевич склонил голову набок:

— Д-да… Это как у Ильфа и Петрова: «Я к вам пришел навеки поселиться…» Читал? Впрочем, едва ли…

— Читал. «Золотой теленок»… Только не по порядку, там скучные места есть… Этотдядька стихами разговаривал и свет не гасил в туалете, его за это выпороли… А почему считается, что это смешная книжка?

— А разве нет? — сдержанно спросил дед.

— По-моему, жалко его…

— Ну ладно. Рассказывай.

Кинтель насупленно поведал, что случилось. И сообщил, что жить у отца больше не собирается.

— Сам видишь, мне теперь или к тебе, или в подвалы…

— В какие такие подвалы?

— Не знаешь, что ли?

Кинтель объяснил, что есть места, где зарастают сорняками фундаменты недостроенных домов. Дома эти начали было возводить, но то ли кирпича, то ли чего другого не хватило, стройки обнесли забором и оставили. Под фундаментами — обширные подвалы. Там обитают ребята, сбежавшие из интернатов и детских домов. А сбежали они, потому что детдомовская жизнь совсем невтерпеж. Сбились в компании, оборудовали в подвалах общежития… Всякие там есть пацаны, но в общем-то ничего, нормальные. Главное, живут дружно, маленьких не обижают. Правда, воровать приходится, чтобы прокормиться…

— Да кто сейчас не ворует, — закончил рассказ умудренный жизнью Кинтель. И добавил, что с некоторыми из тех пацанов знаком, сам бывал в подвалах, носил их обитателям кой-какую еду. Потому что надо же помочь людям, там среди них совсем малолетки есть…

— Знаю я про это, — нахмурился дед. — В исполкоме обсуждали не раз… Какая там жизнь! Придет милиция — и крышка!

— Ну Толич… Ну какая милиция! Подвалов знаешь сколько! А милиции даже на преступников не хватает.

— Всю жизнь в подвале не протянешь, — за-

метил дед. — Когда-нибудь придется выходить, думать, что дальше…

— Вот и я про то же… Толич, я буду спать где раньше, на маленьком диване. А в школу ты меня запишешь, в ту, что на улице Мичурина. Самая близкая, по месту жительства…

— Все разом решил, — хмыкнул дед. — А тебе не жаль со старой-то школой расставаться?

— Не-а… Ее все равно расселяют по разным, кого куда. Потому что на верхнем этаже потолок обвалился после ремонта. Хорошо, что летом, никого не пристукнуло…

Дед, конечно, еще возражал, пробовал уговаривать Кинтеля. Объяснял, что у него, у деда, жизнь вдовья, одинокая, воспитывать мальчишку, хлопотать о нем ему не с руки.

Кинтель сказал, что воспитывать его ни к чему. А хлопотать о себе он будет сам. И о Толиче заодно. И вообще наведет порядок в доме.

— А то у тебя вон мусор по углам и посуда немытая…

— Отец все равно не позволит, — заметил Виктор Анатольевич. — У него на тебя родительские права.

— А у тебя родительские права на него. Скажи, что не отдашь меня, он послушается.

Отец позвонил около десяти вечера. Видимо, порядком встревоженный и разозленный. Кажется, разговор он начал «не с того оборота», потому что Толич тут же вскипел и заорал в трубку, что «если у тебя что-то задницу скребет, нечего на мальчишке злость срывать! И никуда он не поедет! И не отец ты, а сукин сын! Поразговаривай еще!..».

На следующий день отец явился за Кинтелем лично. Тот, однако, уперся, Толич тоже. Был у отца с дедом крупный разговор, а в конце концов Виктор Анатольевич показал Валерию Викторовичу аккуратно сложенную фигу… Потом, правда, приутихли, договорились уже по-хорошему.

Дому, в котором жил дед, было лет двести. Двух-этажный, с высокими окнами, с лепными львиными мордами под крышей (которые большей частью отвалились). Раньше, говорят, были даже колонны перед фасадом, но после революции зачем-то их сломали. Другие дома по улице Достоевского (бывшей Купеческой) тоже были старые, но не такие большие, деревянные. Впрочем, к тому времени, когда Кинтель вернулся к деду, на месте многих домов зарастали репейниками пустыри, среди которых местами торчали круглые голландские печки. Потому что года три

назад городское начальство распорядилось эти ветхие строения снести и построить здесь новый микрорайон — вроде тех желтых, причудливо изогнутых и ребристых корпусов, которые, как горный хребет, поднимались неподалеку. Но сломать сломали, а строить… К тому же и времена изменились, и начальство было уже другое… И старый каменный дом с облезлой штукатуркой по-прежнему возвышался над низкими крышами, пустырями и косыми заборами… Несмотря на обшарпанный вид, он хранил остатки былой красоты и достоинства…

После смерти бабушки дед обитал в двухкомнатной квартире один. Имелась даже отдельная кухонька. Только ванная была общая, на все три квартиры второго этажа.

В первый же день, когда Виктор Анатольевич отправился на работу, Кинтель навел в холостяцком жилище порядок. Пропылесосил истертый палас, перемыл тарелки и стаканы, расставил как надо на полках книги (многие он помнил и любил еще с прежней поры). Начистил кухонной пастой древний бабушкин самовар и старинный канделябр на столе у деда. Прибил оторвавшийся угол карты с синей надписью «Сахара». И пыль везде вытер, даже в завитках резной рамы, в

которую был вставлен тоже старый, маслом писанный портрет.

На портрете была красивая дама — бабушка Толича. То есть прапрабабушка Кинтеля Текла Войцеховна Винцуковская. Строгая, с гладкой прической, в коричневом платье с высоким кружевным воротничком, она выпрямилась на стуле и держала на колене толстую небольшую книгу с застежками. Наверно, старинную.

Дед говорил про портрет, что он «так себе с точки зрения живописи». Кинтель в живописи не разбирался, портрет ему нравился, несмотря на строгий вид. Потому что Кинтель к нему привык за годы детства. И однажды (давно еще) Кинтель обиженно спросил Толича, почему «так себе».

— Оттого, наверно, что художник такой. Прямо скажем, не Рембрандт. И не с натуры писал, а с фотографии, в двадцатых годах. Бабушка заказывала в какой-то артели. Говорила: «Вот умру скоро, будет вам память...» Ну, теперь уже дело не в качестве, все равно семейная реликвия.

Фотографию, с которой была написана реликвия, Кинтель тоже видел. Она хранилась в старых бумагах у отца. На снимке прапрабабушка была не одна, справа от нее стояла курносая девочка лет двенадцати, в длинном платье с оборками

и высоких ботинках. Слева — тонколицый темноволосый мальчик в гимназической форме, с твердой фуражкой в руке. Девочка была мама Толича, прабабушка Кинтеля, мальчик — ее друг детства. Никита, кажется. Он рано умер или погиб. На фотографии рядом с мальчиком (под книгой, которую держала, заложив страницу пальцем, прапрабабушка) было выцара-пано: «УМ. 1920 г.». Дед как-то обмолвился: «Мама моя грустила по Никите всю жизнь…»

Художник, может, и не очень талантливый, но старательный. Портрет получился похожий на фотографию. И аккуратный такой, с мелкими деталями. Тщательно прописаны были волосы прически, кружева и даже медные пряжки на книжных ремешках. В глазах блестели желтые точки, отчего взгляд казался живым…

Кинтель почтительно протер холст портрета, изничтожил под ним карбофосом клопиное гнездо, открыл окна и решил пройтись. Надо было восстановить контакты с местным населением. За последние три года Кинтель бывал здесь нечасто, и его наверняка поза-были.

Оказалось, что на улице Достоевского и в окрестных переулках самый главный среди пацанов некий Джула, Кинтелю вовсе даже не

знакомый. Этот Джула с тройкой друзей-приятелей повстречался Кинтелю сразу, как тот побрел вдоль пустырей.

— Ты откель такой?

— Жить здесь буду. Во-он там… — Кинтель с деланной беззаботностью мотнул головой в сторону дедова дома.

— Ну-у? — удивился тощий чернявый Джула. — А прописка есть?

— А как же, — спокойно сказал Кинтель, оценивая обстановку.

— Молодец, — похвалил Джула, — куревом балуешься?

— Не-а. Здоровье берегу. У меня хронический оцепилобруцелез.

— Чего? — удивился один из Джулиных спутников, круглый, как картошка (звали его, как потом выяснилось, Кнопа). Джула тихо цыкнул на него и отозвался с пониманием:

— Дело ясное… А полтинничек найдется? За прописку-то платить надо, за нашу, местную.

«Начинается», — сообразил Кинтель. И сказал:

— Повтори, не слышу.

— Я говорю, полтинничек… — повысил тон Джула.

— Все равно не понял.

— Уй ты какая… — начал заводиться Джула. — Такой обабок, а…

Кинтель знал, что врубаться в такую компанию надо сразу. Не боясь никакого урона, без оглядки. Иначе потом будет не жизнь… Он произнес негромко, но отчетливо:

— Щас как впечатаю по… третий глаз в пупу выскочит. И побежишь пятый угол искать в… — И добавил еще несколько слов, от которых у всей компании появилось на лицах озадаченно-почтительное выражение.

— Во дает… — уважительно заметил Джула. — Ты с какой летающей тарелки сюда хлопнулся?

— Да это Данька Рафалов! — сунулся в разговор бледно-рыжий Витька Зырянов, ровесник Кинтеля. — Он здешний, он раньше в нашем доме у деда с бабкой жил…

— И сейчас опять буду тут. Навсегда, — решительно объяснил Данька. — И зовут меня теперь Кинтель. Кин-тель. Такое морское слово…

Твердость позиции оценили. Джула снисходительно сказал:

— Так бы и говорил сразу. А то мы думали «дворянчик», оттуда… — Он косматой головой мотнул в сто-рону, где желтыми утесами громоздился новый микрорайон. Назывался он у местных

жителей «Дворянское гнездо», потому что, по слухам, жили там всякие высокие чины.

— В натуре, что ли, похож? — усмехнулся Кинтель. Знал, что не похож на «дворянчика» в своих мягких штанах, стоптанных полукедах, в серой от пыли майке. Да еще со стрижкой «как у амнистированного».

— Ладно, сойдешь за «достоевского», — признал Джула. Так называли себя пацаны этой улицы и ближних окрестностей…

Словом, все кончилось нормально. Хотя не совсем. Во время этого разговора неподалеку вертелась восьмилетняя сестра Витьки Зырянова. Она скоро наябедничала матери, что соседов внук «во как выражался на улице». А Зырянова накапала, конечно, Виктору Анатольевичу.

Перед ужином дед сдержанно сказал:

— Поступили агентурные данные, что ты сегодня на улице поливал местных мальчишек такими словами… что деревья желтели раньше срока. Было?

— Толич, — со вздохом отозвался Кинтель, — а как разговаривать, если сразу карманы трясти начинают? По-французски, что ли? Как виконт де Бражелон с графиней Монсоро?

— Ты — начитанное дитя и, видимо, тертое

жизнью. Только не чересчур ли?

Кинтель отозвался философски:

— Жизнь, она ведь не спрашивает, когда трет: чересчур или нет… А про Монсоро я не читал, скучная книжка. Кино видел…

— Ты не увиливай от темы…

— Я не увиливаю. Ты, Толич, наверно, боишься, что я этим самым сделаюсь… трудным подростком и всяким там наркоманом, да? Не бойся, хлопот у тебя со мной не будет.

Виктор Анатольевич, смущенный тем, что внук прочитал его мысли, пробубнил:

— Ну да, «не будет». Сам-то я кефиром и батоном поужинал бы, а теперь вот надо готовить… А вермишель почему-то вся слиплась…

— А ты ее промыл, когда сварилась?

— А разве надо?

— Горе мое, — сказал Кинтель. — Пошли…

На кухне, поливая из чайника дуршлаг с вермишелью, Кинтель напомнил:

— Завтра, как пойдешь на работу, сахарные талоны оставь мне, а то конец месяца, пропадут…

…Все это случилось два года назад, в августе восемьдесят девятого. Потом Кинтель очутился в пятом классе, в который благодаря новой программе попал сразу после третьего. Затем

в шестом. Все это время жил он у деда. С отцом вроде бы помирился, но заходил к нему не часто. Лишь для того, чтобы навестить Регишку. И вот наступил еще один учебный год.

## НАД ВСЕЙ РОССИЕЮ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

В субботу седьмого сентября, в середине дня (потому что учились во вторую смену) семиклассник Данька Рафалов отправился на уроки. Настроение было по погоде. А погода была — лучше некуда. Кое-где по-осеннему желтели клены, но тепло стояло совершенно летнее. Градусов двадцать пять. И небо — без единого облачка.

Такая погода устанавливалась еще в августе, в те дни, когда шумели на площадях митинги, пестрели над головами разноцветные флаги и плакаты, студенты и «афганцы» строили на улице Ленина баррикаду и в воздухе висели слова «переворот», «хунта», «Белый дом». Белый дом, в котором президент России держал осаду, был далеко, в столице, но и здесь, в Краснодзержинске, ощутимо запахло порохом (к счастью, в переносном смысле). Девятнадцатого числа, когда только все началось, дед утром позвонил Кинтелю с

работы и велел никуда не соваться из дому.

— Даже за хлебом не ходить?

— Сходишь — и сразу домой!

Кинтель, конечно, поступил по-своему. Полдня шастал по центру, слушал кричащих в мегафон ораторов, помог толпе энергичных мужиков завалить поперек мостовой троллейбус, взял у волосатого парня десяток листовок и деловито раздал прохожим. Политикой Кинтель не интересовался, но физиономию премьера, часто виденную по телевизору, терпеть не мог. Этот премьер так взвинтил цены на все товары, что соседка тетя Клава Зырянова часа два орала в коридоре и отлупила ни в чем не повинного Витьку. Кроме того, Кинтеля оскорбляла прическа премьера. После истории с отцом и ножницами Кинтель никогда уже не отращивал длинные волосы, прическа сделалась для него привычной. И вот этот премьер, который устраивал людям всякие пакости то с обменом денег, то с ценами, имел наглость делать себе такую же стрижку, как у Кинтеля. Правда, кинтельский ежик был не в пример симпатичнее премьерского, не такой маленький и торчащий. Но даже малейший намек на схожесть казался Кинтелю возмутительным… И когда люди поднялись против этого типа и всей

генеральской компании, захотевшей устроить всеобщее чрезвычайное положение, Кинтель сразу понял, на чьей стороне надо быть…

Дед в тот вечер пришел поздно. Сразу сел настраивать старенькую «Спидолу», поймал радио «Свобода». Потом по шестому каналу ТВ пробилась в эфир ленинградская передача с Собчаком и указами российского президента. Дед сказал:

— Ну слава Богу, блицкриг не получился. Будем надеяться, что ни черта у генеральской сволочи не выйдет… — Потом глянул в черное, с откинутой шторой окно, грустно усмехнулся: — А погода-то сегодня днем была… Над всей Россиею безоблачное небо.

«В Москве-то, говорят, дождь», — подумал Кинтель. Но ничего не сказал. Он знал, что со слов о безоблачном небе, прозвучавших по радио (только не в России, а в Испании), начался в Мадриде фашистский мятеж. Давным-давно, когда еще даже деда на свете не было, в тридцать шестом году…

А в Краснодзержинске небо в эти дни и в самом деле было чудесное. Особенно с двадцать первого числа. Двадцатого, в полночь, прогудели, как при учебной тревоге, и дружно остановили работу главные заводы. И на следующее утро небесную

синеву не портил ни один дымок…

Правда, через сутки заводы заработали снова, потому что была уже победа. Но небо (видимо, в честь этой победы) оставалось все следующие дни чистым, как синее стекло. И новенький бело-сине-красный флаг в этом небе казался особенно праздничным. Он хлопал на теплом ветру над башней горсовета, над главной площадью города, которому в эти дни срочно вернули старинное имя — Преображенск.

…И сейчас небо над Преображенском было такое же ясное. И ясно было на душе. И Кинтель, посвистывая, свернул в Камышловский переулок. По нему до школы самый короткий путь. Самый короткий — не самый быстрый. Пришлось остановиться. Четверо местных (и Зырянов тут же, и Кнопа — везде их просят!) взяли в полукольцо незнакомого мальчишку. Видать, разбор устраивали: «Кто такой, чё тут ходишь по нашей улице? Гони полтину за проход…»

Кинтель с ходу определил, что пацаненок из «Дворянского гнезда». Аккуратненький такой, не чета «достоевским» охломонам. Видать, недавно приехал в эти места, записался в здешнюю школу и не знает еще, что ходить туда надо по людной улице Челюскинцев. По переулкам и улице До-

стоевского для «дворянчиков» путь не безопасен.

Мальчишка был небольшой, судя по всему, пятиклассник. Потому что более младшие классы учились с утра. А шестиклассники и семиклассники, хотя форму и отменили, соблюдают солидность, в шортах в школу не ходят. Кроме нескольких пацанов из скаутского отряда «Былина». Но те всегда при своих нашивках, витых синих галстуках и аксельбантах. А этот в неформенной клетчатой рубашке — яркой, желто-сине-зеленой.

Был у мальчишки и галстук. Пионерский. Дополнительный повод, чтобы не дать человеку мирно добраться до школы. В здешних местах только Кинтелю позволялось спокойно ходить в красном галстуке. Все знали, что Кинтель делает это из принципа. Точнее, из упрямства. Первого сентября их новая классная, Диана Осиповна, сообщила, что «вопрос о пионерской организации пока неясен, она в состоянии кризиса, особенно сейчас, при нынешнем отношении к партии». Поэтому лучше, мол, галстуки не носить, чтобы школу не обвинили в «излишней идеологизации учащихся».

— Впрочем, это личное дело каждого, — добавила она и поджала губы. В прошлом году учителя

еще писали замечания в дневник, если кто был без галстука, а тут — надо же! — перестроились. И Кинтелю стало противно, и с того дня он ни разу не забыл надеть галстук. Даже гладил его каждое утро. Кроме него, в седьмом "А" галстуки носили только несколько девчонок да маленький и всегда вроде бы послушный Ленчик Петраков. Когда к нему пристали было: «У, юный пионер, пережиток коммунизма», он ощетинился, как дикобраз: «Идите на фиг, я клятву давал!» Отступились. А Кинтель зауважал Ленчика. Самого Кинтеля, кстати, не трогали, будто галстука на нем не замечали, только Алка Баранова хмыкнула пару раз…

Может, этот пацан, прижатый к забору, такой же принципиальный, как Ленчик? К галстуку потянулись, мальчишка молча отмахнулся. Он прикусил нижнюю губу и переводил с одного врага на другого зеленые, широко посаженные глаза…

Среди всяких недостатков у Кинтеля был один очень досадный: слабая память на лица. Вот и сейчас показалось, что вроде бы встречал этого мальчишку. Но где, когда? Может, нынешним летом, когда был в лагере «Голубая стрела»? Там десять отрядов, каждого не упомнишь. Впрочем, не важно…

Кинтель подошел, плечом отодвинул бестолкового Витьку Зырянова:

— Ша, братва. О чем базар?

Джулы не было, самый большой тут — Эдик Дыханов, чуть постарше Кинтеля. Дых сказал с ухмылкой:

— Сидим на лавочке, никого не трогаем. И вдруг этот, из Дворянского… Идет в своих белых носочках, как по ковру, не здоровается с местным населением. Мы говорим: "Скажи, мальчик, «здрасьте». А он…

— Обойдешься, Дых, без «здрасьте», — сказал Кинтель.

А прижатый мальчишка глянул на него удивленно и, кажется, с радостью. И знакомо так… Почуял избавление?

— Кинтель, ты чё, — обиделся Дых. — Из-за такого фраера на своих скребешь?

— Сам ты фраер, — лениво разъяснил Кинтель. — Что за привычка врагов искать? Идет человек, вас не задевает… Между прочим, ко мне идет, не к вам… Айда, Саня… — Кинтель взял мальчика за руку. Он, конечно, рисковал: Дых мог сообразить, что мальчишка шел не к дому Кинтеля, а в другую сторону. Однако Эдька только захлопал глазами.

Имя Кинтель сказал наугад. А точнее, что-то припомнилось. И кажется, угадал: мальчик улыбнулся, открыв крупные редкие зубы, поддернул ремень спортивной сумки.

— Да, пошли, конечно.

— Чё, в натуре, что ли, кореш твой? — сказал им вслед Эдька Дых досадно и ревниво. Кинтель не оглянулся.

Когда свернули на улицу Мичурина, Кинтель выпустил руку мальчишки. Тот смотрел со смесью смущения и доверчивой радости.

— Здравствуй! А я и не знал, что ты здесь живешь. Ты ведь тогда не успел оставить свой адрес…

Кинтель, размышляя, сделал несколько шагов. Потом, глядя под ноги, проговорил насупленно и решительно:

— Ты хоть обижайся, хоть что… но я не помню, где мы встречались.

— Да? — Мальчик вежливо постарался сдержать нотку разочарования. — А откуда знаешь, как меня зовут?

— Ну… так, от фонаря.

Мальчик на ходу чуть отодвинулся от Кинтеля. Коричневой ногой в белом носочке и новенькой сине-желтой кроссовке пнул на асфальте пивную

пробку-звездочку, та запрыгала, заискрилась. Потом он спросил слегка отчужденно:

— А если не помнишь, зачем же стал заступаться… за незнакомого?

— Ну а что? За незнакомого нельзя? Если четверо на одного…

Мальчик Саня сказал непонятно:

— Тогда… тем лучше… — И добавил уже иначе, беззаботно: — А встречались мы прошлым летом на теплоходе. На «Михаиле Кутузове». Помнишь?

— Ой… Салазкин!

## ПЕСНЯ О ТРУБАЧЕ

Судно было новое, громадное, длиной сто тридцать метров. Четырехпалубное. Когда оно подходило к дебаркадеру какой-нибудь прибрежной деревеньки на «зеленую стоянку», казалось, домики прижимаются к земле, как стайка маслят в траве. Будто надвигается на них бе-лый многоэтажный город и вот-вот подомнет под себя…

Впрочем, «зеленые стоянки» не вызывали у пассажиров энтузиазма. Мокрая трава, серое небо… Все было хорошо в этом плавании, кроме погоды. Дули зябкие ветры, иногда швыряли в

«Кутузова» горстями колючие дожди. Погудев и включив марш «Прощание славянки», теплоход, как айсберг, отваливал от берега и уходил на пасмурный простор реки. Туристы сидели в каютах и салонах. Торчали у окон или смотрели в кинозале видяшки.

Но Кинтель много времени проводил на палубе. Точнее, на палубах. Чтобы не озябнуть без движения, он поднимался и опускался по трапам, обходил от кормы до носа и обратно одну палубу за другой. Смотрел на подернутые моросью берега, где медленно плыли назад высокие леса, села с колокольнями, похожие на сказочные городки монастыри и просторные, как тысячи стадионов, луга… И уравняв свою скорость со скоростью теплохода, реяли над кормой чайки. Крупные — совсем белые, а поменьше — с черными головами. Ровно бурлила у бортов вода…

Когда Кинтель оказывался на носу, он часто видел там этого мальчишку. Тот кутался от ветра в большую (наверно, у матери взял) поролоновую куртку и стоял всегда у поручней, отгораживающих бак — носовую площадку с запасными якорями и с брашпилями, на которую вход пассажирам был запрещен. Ветер вскидывал у него, будто крылья, коричневые волосы, а мальчишка

не отворачивался, смотрел вперед.

Иногда появлялась молодая красивая женщина, говорила негромко, но отчетливо и звонко — так, что было слышно далеко:

— Салазкин, опять ты здесь. Пойдем, а то совсем продрог.

Мальчик не спорил, уходил с мамой. Но скоро вновь оказывался у поручней бака.

Встречал Кинтель Салазкина и в других местах. Тот обитал с матерью и отцом (худым дядькой в больших очках и с профессорской бородкой) через три каюты от Кинтеля. И в ресторане их столики были недалеко друг от друга. И Кинтель скоро поймал себя на том, что приглядывается к этому мальчишке больше, чем к другим ребятам. Сперва он посматривал на Салазкина со спрятанной в себе снисходительной усмешкой. Мальчик был ужасно благополучный, выросший в семейном тепле, при неустанных маминых заботах. Забота эта сказывалась в мелочах, которые украдкой подмечал Кинтель. В том, как мать во время обеда незаметным шепотом учит сына держать нож и вилку, как поправляет на нем воротничок и как из каюты окликает его в коридоре: «Салазкин, ты куда? Пожалуйста, не убегай надолго!»

«Небось на скрипке играть учится, — думал Кинтель. — Или на фигурное катание ходит… А в классе, наверно, на нем воду возят, кому не лень… Хотя, скорее всего, он из спецшколы — из музыкальной или английской, там все такие…»

Салазкин не стеснялся приласкаться к родителям на глазах у посторонних. Подойдет, потрется о локоть матери щекой, как котенок, или подкрадется сзади к отцу, прыгнет на спину и повиснет, болтая худыми ногами в черных колготках. Мама одевала свое дитя, как детсадовского мальчика. «В третьем классе, наверно, а все еще как дошкольник — внутри и снаружи», — думал Кинтель.

Впрочем, в размышлениях Кинтеля не было никакого недоброго чувства. Был стыдливый интерес, которого Кинтель стеснялся даже перед собой. Потому что получалось, что он вроде бы заглядывает в чужое окно. В чужую жизнь, где рядом с мальчиком есть мама и папа, где можно позволить себе быть маленьким — доверчиво, без оглядки, без страха.

Если представить человеческую душу в виде пчелиных сот и если предположить, что душа тем счастливее, чем больше ячеек заполнено радостью и любовью, то полного счастья Кинтель не смог бы достигнуть никогда. В самые блиста-

тельные моменты жизни одна ячейка все равно чернела бы сиротской пустотой… Нет, Кинтель не жаловался. С Толичем жилось неплохо. Без сомнения, дед его любил. Но так же несомненно, что между любовью деда и маминой любовью — большая разница… А отец жил своей жизнью и Кинтеля вспоминал от случая к случаю…

Завидовал ли Кинтель Салазкину и другим ребятам, которые плыли на теплоходе с родителями? Пожалуй, нет. Какой смысл завидовать той жизни, которая несбыточна? Он только ощущал себя как бы отгороженным, не совсем таким, как остальные, — те, что всегда с отцами и матерями. И видимо, потому не сошелся ни с кем из мальчишек и девчонок на «Кутузове». Только издалека он смотрел на чужую семейную жизнь, ревниво подмечал у ребят и взрослых неповторимые черточки этой жизни: неприметную ласку или нарочитую ворчливость родителей в отношении к своим чадам, умение понимать друг друга без слов, какие-то забавные привычки — вроде той, когда мать зовет сына по фамилии: Салазкин…

Однако скоро Кинтель понял, что Салазкин — не фамилия, а домашнее прозвище мальчишки. Потому что отец иногда окликал его «Саня», мать порой ласково звала «Санки». Ну и ясно: Сани-

Санки-Салазкин. А фамилия у него была Денисов. Кинтель это узнал, когда шли по Рыбинскому водохранилищу.

Плавание только начиналось, но Кирилл Георгиевич — специальный человек, отвечающий за развлечение пассажиров — к тому времени уже устал унимать ребят всех возрастов, которые носились там и тут по теплоходу, лезли куда не надо. С утра до вечера он уговаривал по радио родителей следить за сыновьями и дочками. И наконец решил взяться за воспитательную работу. Попросил всех ребят собраться в музыкальном салоне и объявил, что в конце путешествия будет большой концерт детской самодеятельности (с призами!), а пока надо выявить таланты. Кто что может. Петь, читать стихи, танцевать, играть на пианино…

Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. И этот «детский праздник на лужайке» его мало интересовал. Но хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора и смотреть, как серый простор катит навстречу пенные валы. Рыбинское море разгулялось. Громаду «Кутузова» даже покачивало — палуба иногда мягко уходила вниз, и это вызывало легкое, приятное замирание.

Неподалеку шел параллельным курсом длинный низкий сухогруз, и видно было, как белыми взрывами — выше рубки — встает у него перед носом штормовая вода. Над баком «Кутузова» тоже взлетали гребни. Ветер подхватывал брызги и клочья пены, швырял их на стекла, хотя салон был аж на третьей палубе. И не разглядеть было берегов. В общем, как в настоящем море (которого Кинтель еще ни разу не видел)…

А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихотворения, кто-то бацал на клавишах нехитрые мелодии, семилетние близнецы Вера и Вовчик, несмотря на покачивание, умело станцевали ламбаду. Толстая девочка Рита спела «Эскадрон моих мыслей шальных», и ей очень хлопали… Надо сказать, что всё музыкальное сопровождение песен и танцев взяла на себя мама Салазкина. И вот он сам вышел к пианино.

Кирилл Георгиевич объявил:

— А теперь Саня Денисов из города Краснодзержинска споет…

Кинтель не расслышал названия песни. Его удивление было похоже на мягкий толчок. Значит, они из одного города! (А собственно говоря, чему радоваться? Не все ли равно? Зачем ему этот мамин Салазкин?..)

А Саня Денисов о чем-то шепотом препирался с матерью. Кинтель разобрал его тихо шелестящие, но упрямые слова: «А другую я не буду… Тогда никакую не буду…» Надо же, мальчик умеет спорить с мамой…

Мать Салазкина слегка пожала плечами, улыбкой прикрыла от собравшихся минутный конфликт и заиграла. И Саня Денисов запел.

Голос у него был совсем не сильный. Голосок. Но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу проникающим в сознание тоненьким звоном. И песня была… не о кузнечике, не о солнышке и улыбке, не о теплом дождике и прочих детсадовских радостях. Мелодия показалась Кинтелю знакомой, чем-то похожей на тот же «Эскадрон», хотя и не такая залихватская. А слова… Никогда раньше Кинтель их не слышал.

*Над волнами нам плыть,*
*По дорогам шагать,*
*Штормовые рассветы встречать.*
*Нам коней горячить,*
*Догоняя врага,*
*Карабины срывая с плеча…*

В каждом куплете две последние строчки

Салазкин повторял дважды. Песня звенела, и многочисленные звуки "ч" («горяЧить», «с плеЧа») энергично врубались в мелодию, словно подчеркивая кавалерийский ритм.

*И быть может, в траву*
*Упадем мы с тобой,*
*И рассвет не пробьется в ночи.*
*Но трубач ни за что*
*Не сыграет отбой -*
*Не смогли мы его научить…*
*Мы учили его:*
*Если грянет беда,*
*Звать в атаку друзей за собой.*
*Наш трубач никогда,*
*Никогда-никогда*
*Не слыхал о сигнале «отбой»…*

Кинтель задержал дыхание… Казалось бы, песня как песня, что такого. Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка. Потому что пел Салазкин вроде бы и не на маленьком концерте в салоне, а на крепостной стене, среди побитых ядрами каменных зубцов. Словно сам он был маленький трубач осажденного войска и бросал врагам по-

следний вызов.

*Скоро день расцветет,*
*Словно огненный клен,*
*Голос горна тревожно-певуч.*
*Поднимайся, мой мальчик,*
*Рассвет раскален,*
*Бьется пламя под крыльями туч…*

Помолчали сперва, потом захлопали — сильнее, сильнее. Салазкин стоял, потупившись, перебирая на подоле синего свитера шерстинки… А Кинтель встал и осторожно, за спинками кресел, выбрался к выходу. Потому что никаких других песен, а тем более стишков и «легкой музыки» ему было не надо.

Кинтель был неравнодушен к трубачам. Такой уж, наверно, он уродился несовременный. Старинные печальные марши духового оркестра волновали его гораздо больше, чем хитрые ритмы синтезаторов и электронных гитар. От посторонних Кинтель это свое увлечение, конечно, скрывал: обсмеют с головы до ног. И только с дедом они иногда по вечерам ставили на проигрыватель пластинку, с которой неслись трубные голоса двенадцатого года и Севастопольской

обороны. А еще — мелодии вальсов, которые в давние-давние времена (когда была молодой прапрабабушка Текла Войцеховна) играли в садах и на бульварах военные оркестры.

А один раз Кинтель чуть сам не сделался музыкантом в оркестре. Это еще когда он жил с отцом. В двух кварталах был детский клуб «Орбита», и в нем занимался ребячий духовой оркестр. Упругие звуки волторн и геликонов слышны были даже сквозь двойные стекла.

Как-то раз, весной третьеклассник Кинтель прижался носом к окну и увидел оркестр при полном параде. Наверно, шла генеральная репетиция. Все ребята (даже девчонки) были в алой гусарской форме и черных лаковых киверах с золотыми кистями. А трубы сияли так заманчиво, марш звучал так призывно, что Кинтель не выдержал — через несколько дверей и коридор проник в зал.

В перерыве его заметили, но не прогнали. Высокий дядька с черными глазами и с бородой, как у Емельяна Пугачева на портрете, поставил Кинтеля перед собой и спросил:

— Что, явился на звуки труб?

— Ага… — выдохнул Кинтель. — А мне можно… у вас?

— В принципе можно. Только подрасти сперва.

— А… сейчас?

— У нас с двенадцати лет занимаются. Понимаешь, надо, чтобы легкие были покрепче, зубы попрочнее…

Кинтель набрался смелости и сказал, что он и сейчас вполне прочный. Весь, от макушки до пяток.

— Можно я только попробую…

— Ну попробуй, — усмехнулся чернобородый.

Кинтелю дали серебристую трубу. Вроде пионерского горна, только длиннее. Называется «фанфара». Кинтель дунул, получилось шипение. Все засмеялись, но не обидно. Потом объяснили, как прижимать к губам мундштук и как толкать сквозь них воздух. Называется «атака языка». Кинтель попробовал разок, другой. Выдал хриплые звуки. Потом зажмурился, настраивая себя на серьезное дело. Сильно напряг губы. И у него получилось четыре разных звука, четыре чистые ноты. При этом кончик языка задрожал, и музыка вышла трепещущая, переливчатая.

— Ух ты, какое тремоло! — удивилась девочка с флейтой.

А бородатый руководитель сказал, что «мелодия почти как у Чайковского».

— Будто начало «Итальянского каприччио». Ну-ка, еще раз.

Кинтель попробовал снова. Получилось уже не так удачно, однако все зааплодировали.

И все же в трубачи Кинтеля не взяли. Сказали, что директорша клуба все равно не позволит. Но разрешили Кинтелю приходить на занятия и считаться запасным. И обещали, что, может быть, научат играть на барабане. Барабан, конечно, не сверкающая труба с живым голосом, но Кинтель был рад и этому. Тем более, что бородатый Вадим Петрович обещал подобрать для Кинтеля мундир и кивер.

Но скоро все рухнуло. Вадима Петровича прогнали из клуба и грозили ему всякими неприятностями. Говорили, что он занимается с ребятами нехорошими делами. Кинтель не понимал, что это такое. А когда ему объяснили, содрогнулся от отвращения и не поверил. И ребята говорили, что все это брехня, просто директорша невзлюбила Вадима за строптивый нрав и решила таким образом выжить его из «Орбиты». Впоследствии выяснилось, что так и было. Но в клуб Вадим Петрович не вернулся, стал играть в джазе какого-то ресторана. А оркестр без него распался…

# РОДОСЛОВНАЯ

Поздно вечером Кинтель в своей каюте лежал, смотрел сквозь стекло на звезды в разрывах облаков и вспоминал песню о трубаче. Слова наполовину позабылись, но мелодия в голове повторялась ясно. И уже не пианинная, а будто целый оркестр. Вплеталось в журчание забортной воды.

Теплоход больше не качало. Ветер стих, да и водохранилище кончилось, вошли в Шексну. Дед посапывал на соседней койке. Ему, как и Кинтелю, нравилось плавание, хотя сперва он был расстроен.

Случилось вот что. Была у Толича давняя знакомая, тетя Варя (Кинтель ее тоже хорошо знал). Она часто приходила к деду, помогала по хозяйству, порой по-свойски ругала Кинтеля за школьные неуспехи. Иногда они с дедушкой ходили в театр или на выставки. В общем, близкие друзья. И эта тетя Варя в мае добыла в профкоме две путевки для такого вот плавания. От Москвы до Ленинграда, по Волго-Балту, по Ладоге, потом обратно по Волге, до Казани, и снова в Москву. На целых три недели путешествие. И собирались они вдвоем:

тетя Варя и Толич. А для Кинтеля отец купил путевку в лагерь «Голубая стрела» (бывший пионерский, а сейчас оздоровительный). Что ж, каждому своё. Кинтель и не помышлял о дальнем плавании. В лагерь не очень хотелось, но куда деваться?

А за несколько дней до их общего отъезда у тети Вари заболел отец в Омске. Серьезно. Тут уж не до туризма, тетя Варя срочно укатила в Омск, а теплоходная путевка досталась Кинтелю (лагерную же быстренько сдали).

Конечно, нехорошо радоваться удаче, которая случилась из-за чужой беды. И все же Кинтель был счастлив. До той поры он, кроме как на детсадовскую дачу да в пионерские лагеря, никуда из своего Краснодзержинска не ездил. А тут: поездка в Москву, а потом по рекам и озерам, через десятки разных городов аж до самого моря. Потому что известно: Ленинград стоит у начала Финского залива, а это уже часть Балтики…

Дед на радостного Кинтеля поглядывал как-то настороженно, потом с непонятной опаской заметил:

— Ну и ладно. А то я боялся, что ты не захочешь…

— Почему?

— Ну… на теплоходе все-таки. Вдруг у тебя предубеждение…

Кинтель сперва не понял, потом спросил прямо:

— Это из-за мамы, что ли? Потому что она погибла на пароходе?

Толич неловко вздохнул.

Кинтель хмуро пожал плечами. Разве море виновато, что в нем гибнут люди? Виноваты были неумелые капитаны, из-за которых два судна врезались друг в друга… А на суше сталкиваются поезда и автомобили, так что теперь? Не ездить, не ходить по земле? И не любить ее?.. Нет, Кинтель не боялся плыть, а увидеть море мечтал давным-давно.

Теперь уже скоро… «Скоро, скоро, скоро», — еле слышно дышали в глубине плавучего города машины. И опять в этот ритм вплеталась, начинала звенеть в мозгу песня о трубаче, который стоит между крепостных зубцов… Или на брустверe окопа…

Кинтель по дыханию деда чувствовал, что тот не спит. Может, думает опять: как там тетя Варя и ее отец? (Толич звонил в Омск с каждой пристани, где были междугородные автоматы.)

— Толич?

— Ну, чего тебе?

— Ты не переживай, все у них будет нормально.

— Я и не переживаю. Вчера Варя сказала, что дело на поправку пошло…

— Ну вот. А ты вздыхаешь. А я буду виноватый, что вместо тети Вари с тобой поехал…

— Не выдумывай. Дурень…

— Ага… Толич, а помнишь такое старое кино про гражданскую войну: там белые наступают на красных, а у тех все меньше и меньше людей. И оркестр играет марш, но в нем люди тоже гибнут один за другим. И вот уже только один трубач. И все равно играет, назло врагу…

— Да, это впечатляло… — сказал Толич. — Это «Мы из Кронштадта»…

— Хорошее кино, верно?

Рассказать напрямую про песню о трубаче Кинтель стеснялся. А дед ее не слышал, в салоне тогда его не было.

Виктор Анатольевич отозвался со скрытым несогласием в голосе:

— Ничего картина, в свое время пользовалась успехом… Но есть и другие фильмы о трубачах. Не хуже…

— Какие?

— Например, «Бег». По пьесе Булгакова. Читал у него что-нибудь?

— Знаешь ведь, что читал. «Мастера и Маргариту».

— А еще есть у него роман «Белая гвардия», и пьеса «Дни Турбиных», и пьеса «Бег». Там не раз повторяется эпизод, как русский полковник приказывает юнкерам разойтись по домам, не вступать в бой с петлюровцами, чтобы не гибнуть напрасно. А несколько офицеров решают застрелиться, и с ними юнкер-трубач, совсем мальчишка.

— Зачем застрелиться?!

— Ну… кодекс офицерской чести.

— А если они белые, то почему воевали с петлюровцами? Те ведь тоже… против красных.

— Ты, Данила, все еще мыслишь, как в школьном учебнике. На два цвета. А все было гораздо сложнее. И смелых людей хватало под всякими флагами…

— Да знаю я…

— И всем бы надо поставить памятники.

«Трубачу-то уж точно…» — подумал Кинтель. А дед гнул свою, видимо, давнюю мысль:

— Иначе что получается? Сегодня одним ставим памятники, другие сбрасываем… Завтра

— наоборот…

— Как Павлика Морозова, — вспомнил Кинтель бронзового мальчика в одном из городских скверов. Тот с головы до ног был обляпан мутно-серой краской, а постамент измазан грязью.

— Вот именно! — повысил голос дед. — Задурили деревенскому мальчугану голову, поманили светом, которого он до той поры не видел, сами толкнули на смерть. А теперь кричат: «Предатель!» И забыли уже, как ему и братишке кухонным ножом распороли животы…

Кинтеля передернуло.

— А кино… — продолжал дед, — оно, конечно, всегда за душу берет, если режиссура сильная. И если не знаешь всего…

— Чего «всего»? — настороженно спросил Кинтель. Мелодия в голове угасла, спать не хотелось, тревожно почему-то стало.

— Ну, те же «Мы из Кронштадта». Помнишь, как белые пленных матросов с обрыва сбрасывали? И мальчишку, юнгу… Я в детстве когда смотрел, хотелось прямо на экран броситься, голыми руками давить гадов… А потом узнал…

— Что?

— Сцену эту снимали под Севастополем, на черноморских обрывах. Сколько там красных

матросов погибло, не знаю, а вот белых офицеров… Когда красные брали Крым, Фрунзе обещал, что никого из пленных не тронут. Многие поверили, сдались. Кто-то не сумел уйти на кораблях союзников, кто-то не захотел: родная земля все-таки… Их потом выводили на обрывы, шеренгу за шеренгой, и косили из пулеметов. Беззащитных, десятки тысяч… — Дед вдруг закашлялся, как старый курильщик, хотя на самом деле уже не курил… — Представляешь, не десятки человек, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч. Можно сравнить с населением небольшого города… А за что? Россию они любили не меньше, чем Фрунзе или Тухачевский и другие знаменитые большевики…

«Дед, а ты ведь тоже коммунист», — чуть не выдал мысль Кинтель. Но прикусил язык. Некоторое время лежал молча. Но дед, видимо, почуял вопрос. Он покашлял и вдруг сказал тихо и медленно:

— В институте, на старшем курсе… наш парторг провозгласил: молодые специалисты должны пополнять ряды КПСС. Видать, в райкомовских планах случился недобор по части молодежи… Ну и подкатил этот деятель ко мне. Давай, мол, ты у нас по всем статьям подходящий, на крас-

ный диплом тянешь… Нельзя сказать, чтобы я рвался вступать, но, с другой стороны, все-таки «передовой отряд». Кроме того, многого мы тогда просто не знали в нашей истории. Хотя многое и знали… но думали — дело прошлое. А к тому же у меня распределение готовилось в Морфлот, а кто бы мне открыл визу для загранплавания, если бы узнали, что я отказался писать заявление о приеме… Вот так и получилось. Теперь уж почти три десятка лет стаж. Трижды пытались выгнать, не получилось…

— А за что выгнать-то?

— За всякое. Тогда ведь как было? Что-то не так сказал или на работе недосмотрел, сразу: «Партбилет положишь на стол!» Последний раз я не выдержал, заорал: «Ну и подавитесь вы им!» Это было вскоре, как бабушка твоя умерла… Уж что поднялось в парткоме! Крик, экстренное собрание… Ну, не выгнали, учли «состояние, вызванное личными мотивами», дали строгача…

— С занесением? — понимающе спросил Кинтель.

— Естественно… Теперь думаю: может, стоило тогда хлопнуть дверью. Ну поперли бы с должности, ушел бы участковым терапевтом в районную поликлинику. Кое-что помню еще…

— Это никогда не поздно, — философски заметил Кинтель.

— Да теперь и хлопать-то… никакой доблести в этом. Сейчас толпами из партии бегут. Немудрено. Как послушаешь нынешних партбоссов… Нынче вот тоже по радио выступал один. Генерал, фамилию не помню. Такой комиссар-сталинец, аж волосы дыбом. Ты не слыхал?

— Не-а…

В те дни шел съезд Российской компартии, взрослые слушали передачи, обсуждали, спорили. Кинтелю было это «до фени». Но он все же вспомнил:

— Мужики сегодня ругались, вспоминали речь какого-то генерала. Одни говорят: совсем обалдел, мало ему тридцать седьмого года. А другие: правильно, только такие и могут навести порядок…

— Они наведут, дай им только власть. В Тбилиси вон уже репетировали… Не постоят и за тем, чтобы как тогда, в Крыму: по шеренгам из пулеметов… Кстати, мама моя, твоя прабабушка, Ольга Антоновна, проговорилась мне как-то, что именно там погиб ее хороший друг, с которым они в детстве играли…

— Это, что ли, тот, с которым они на фотографии?

— На какой?

— Ну, на той, с которой портрет срисован. На портрете твоя бабушка одна, а на фото — с девочкой и с пацаном-гимназистом. Девочка — это, значит, твоя… мама.

— А где ты видел эту карточку? — очень оживился дед. Шумно завозился в сумраке.

— У отца в ящике. Старинная, твердая такая, на обороте всякие завитушки и надпись: «Фотография А.Ф. Молохова». По-старинному написано, буква "и" как латинская, а «эф» будто "о" с перекладинкой. «Фита»…

— Вот оно что… Слушай, а ты не помнишь, там нет всяких мелких цифр? Они острым карандашом были написаны, не очень заметно…

— Есть, по-моему. Только полустертые, я не приглядывался.

— Значит, вот он где, этот фотоснимок. А я все думал: куда девался? Выходит, Валерий прихватил, когда разъезжались, и ничего не сказал.

— Толич, а что там за цифры?

— Мама говорила, Никита ей на этой карточке письмо написал. Шифром. Это перед отъездом на фронт, когда он в четырнадцатом году уходил добровольцем на Первую мировую. А потом он оказался в армии Врангеля, там и погиб… А фо-

тографию мама берегла как память о нем. Ну и вообще о детстве…

— А письмо расшифровала?

— Говорила, что нет… Он ей будто бы сказал на прощанье: «Ключ у твоей мамы в руках…» А в руках у нее книга. Помнишь?.. Думаю, что книга потерялась к тому времени… А может, мама тогда и не приняла это всерьез. Он же, Никита-то, еще совсем был мальчишка, когда на войну ушел. Наверно, решил поиграть на прощанье. Или сочинил очередное признание в любви…

— А что за книга?

— Не знаю, Даня, я не спрашивал. Мама вообще про всякие прошлые дела говорила неохотно. Друг детства — белый офицер, такими деталями биографии раньше хвастаться было не принято. Тем более, что и других тревог хватало…

— Похоже, что это Евангелие, — сказал Кинтель, вспомнив пухлый томик с застежками. — Я такие в музее видел.

— Возможно, и скорее всего, на польском языке. Бабушка Текла Войцеховна была очень набожная католичка.

— Толич, а она самая настоящая полячка была?

— Да, полька… Родом из Вильно. В Литве всегда

было много поляков… Кстати, бабушка утверждала, что она из семейства каких-то польских графов — обедневших, но известных. Будто предок ее был сподвижником Стефана Батория. Жаль, не помню ее девичью фамилию… Но так или иначе, в тебе, Данила, есть капля голубой шляхетской крови… — Дед усмехнулся в темноте.

— Значит, я не совсем русский, а маленько поляк?

— На одну восьмую… А я — наполовину. Мама-то моя тоже исконно польских кровей. Ее отец, мой дед, Антон Винцуковский, был из семьи польских ссыльных, что жили в Преображенске. А с бабушкой познакомился в Вильно и после венчания привез ее в наш город. В тот самый дом, где мы и сейчас живем.

— Небось это был его собственный дом?

— Нет. Управления горных заводов. Здесь жил отец Антона, мой прадед, он был в Управлении каким-то важным чиновником и занимал казенную квартиру. Не ту, что мы с тобой, конечно, а весь этаж… Там и мама моя родилась и была тоже Винцуковская, пока не вышла замуж за Анатолия Рафалова. Твоего, значит, прадедушку…

— «Тени забытых предков», — сказал Кинтель в темноту, — кино такое есть. В мае показывали

по телику.

— Знаю. Ну и как тебе кино-то? Понравилось?

— А я не смотрел, некогда было. Просто название вспомнилось…

— Ну, наши-то предки не такие уж забытые. Просто у нас с тобой до сей поры не было разговора об этом…

— А Рафалов… Толич, это ведь тоже не совсем русская фамилия. Какая-то… вроде как с татарским оттенком. Про нас с Рафиком Галиевым в детском саду думали, что оба татары. И мы говорили «ага», потому что всегда вместе…

— Н-нет… это русская фамилия. Тут целая история по отцовской линии…

— Расскажи.

— Тут такое дело… Раньше фамилия писалась «Рафаиловы». Был в русском флоте фрегат «Рафаил». Служил на нем квартирмейстером (это вроде старшины) некто Иван Гаврилов. А когда вернулся к себе на село, недалеко от Преображенска, стали соседи звать его Рафаиловым — по названию корабля, с которого пришел. Потому что много Иван Гаврилов про свой фрегат говорил, отстаивал, так сказать, его доброе имя… У Ивана Рафаилова были дети, один из них, Петр Иванович, преуспел в делах, сделался лавочником в

Полевской слободе под Преображенском. И стал писать на вывесках не «Рафаилов», а «Рафайлов». Говорят, книгочей был, много денег на книги тратил, сына своего, тоже Петра, отдал в гимназию. Тот выучился, пошел, как тогда говорили, по железнодорожной части. Был начальником станции недалеко от Глазова. И погиб в колчаковской контрразведке.

— Почему?

— Когда белые подходили, они передали телеграмму: не выпускать со станции красный санитарный поезд. А Петр Петрович Рафайлов выпустил. Потому что знал: постреляют, порубят красных. Тогда лютовали одинаково — что красные, что белые… Ну и взяли его, Петра Петровича. Допрашивали, били. Особенно когда узнали, что сын его Анатолий ушел с красными…

— Твой отец?

— Будущий отец… Петр Петрович пытался бежать, часовой его застрелил… Анатолий, когда вернулся из Красной Армии, приехал в Преображенск, надеялся застать там своего престарелого и разоренного новой властью деда. Но тот уже умер. И тут Анатолий познакомился с Ольгой Антоновной, моей будущей мамой, и увез ее в Вятскую губернию…

— Зачем?

— Видишь ли… Ну, наверно, теперь это можно рассказывать без опаски. Дело в том, что Анатолий Петрович вернулся с гражданской войны вовсе даже не коммунистом. До войны он учился в семинарии и вот после всех военных передряг решил стать священником. Не знаю, учился ли он для этого еще где-то. Может, были в ту пору какие-то ускоренные курсы священнослужителей. Так или иначе, скоро получил он сан и приход в небольшом селе, в сотне верст от Вятки. А мама моя стала, как говорится, попадьей…

— Странно как-то. Был красным и вдруг… Красные ведь были против Бога и попов…

— Ну, значит, насмотрелся на кровь, решил, что без Бога нельзя на Земле… Сейчас вот опять к тому же приходят… Видать, он крепко был убежден в своей вере, иначе бы не пошел на такое дело. В ту пору сделаться священником было уже небезопасно… До тридцатого года, однако, жили они с мамой без особых бед: отец в церкви служил, мама хозяйствовала. Родился у них сын Володя, мой старший брат. Я его помню, он с фронта приезжал, когда мне было пять лет, в сорок четвертом. А в сорок пятом погиб…

— А в тридцатом-то что случилось?

— Обычное дело. Церковь закрыли, отца посадили. Правда, через полгода выпустили, повальной охоты за «врагами народа» тогда еще не было. Но от сана священника ему пришлось отказаться, стал работать десятником на лесоповале. Однако недолго. Однажды пришел к нему украдкой начальник местного НКВД и говорит: «Отец Анатолий (это он по привычке так), вы человек добрый, хотя и церковный деятель были, и никто от вас ничего, кроме хорошего, не видел, а я, хоть и большевик, не хочу грех на душу брать. Поэтому прямо сейчас уезжайте вы, ради вашего Иисуса Христа, куда-нибудь отсюда подальше. Потому что есть бумага на вас, и сегодня ночью я должен за вами прийти с понятыми…» Ну, отец, и мама, и Володя семилетний тогда подхватились — в Преображенск. Потому что куда еще-то? А там родные. Мамины родители были живы еще и старший брат… У отца был какой-то документ, что, мол, предъявитель сего имеет право быть учителем в начальной школе. Еще с царским орлом бумага, но ничего, сгодилась. Мамин брат помог устроиться на работу… А потом отец окончил учительский институт и до самой войны преподавал в семилетке русский язык и литературу…

— А потом на фронт, да?

— На фронт не взяли, здоровье у него было слабое, язва желудка и еще что-то. Но забрали в трудармию. Были такие подразделения, в тылу работали, но по военному призыву… Я их помню, бредут по улице худые, форма — сплошной утиль, обмотки разлохмаченные… Ну, отец заболел, когда они работали на лесозаготовке, и умер в начале сорок второго. Причем похоронили там же, где-то на деревенском погосте, могила потом затерялась. Было мне тогда три года с половиной. И фамилия моя тогда была уже Рафалов. Потому-то отцу удалось каким-то образом изменить ее, когда подавал в школу документ, а потом новый паспорт выписывал. Рисковал, конечно…

— А зачем?

— Ты не понимаешь, как тогда было. Над ним же все годы опасность висела. Если бы узнали, что бывший священник, тут бы он и суток на свободе не прожил. Тогда что творилось-то! Совсем невиноватых брали пачками, по первому доносу, а то и просто так, по разнарядке… Это вообще чудо, что он уцелел… А то, что он был священником, я узнал уже взрослым, после института. Мама рассказала незадолго до смерти…

— Значит, по правде я Рафаилов? — сказал

Кинтель. Задумчиво и слегка тревожно. Потому что «тени забытых предков» словно толпились в сумраке и чего-то ждали.

— Нет, брат, ты все-таки Рафалов. Как и я. Так уж нам с тобой предписала судьба… Да, по правде говоря, и не стоило держаться за «Рафаилова». Недаром еще мой дед букву изменил.

— А почему?!

— А ты никогда не слышал о фрегате «Рафаил»?

— Не-а…

— История эта совсем не героическая и для русского флота печальная… А о бриге «Меркурий» слышал?

— Конечно! Ты же сам в том году мне книжку подарил, «Корабли-герои»…

— Ну вот… Бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями, славный и победный, был четырнадцатого мая 1829 года, про него много написано. А двумя днями раньше случилось дело совсем иного рода: турецкому флоту без боя сдался наш фрегат «Рафаил»… Про это написано гораздо меньше, хотя есть какой-то материал…

— Как это… сдался? — со стыдливым чувством спросил Кинтель. И с обидой. Словно его самого кто-то обвинил в малодушии.

— Ну, как… Был этот «Рафаил» в одиночном плавании, догонял несколько наших малых судов, чтобы по приказу адмирала Грейга взять над ними командование. Только своих не догнал, а однажды утром увидел на горизонте турецкие суда. Полтора десятка. В том числе шесть линейных кораблей. Это было неожиданно, русские думали, что неприятельский флот отстаивается в Босфоре… Командовал «Рафаилом» Семен Михайлович Стройников, капитан второго ранга. Он, конечно, принял решение уходить от противника. И ушел бы при хорошем ветре, потому что фрегат был новый, быстроходный, только год назад его спустили с верфи в Севастополе. Правда, успел он побывать в боевых переделках и в ремонте, но и после того ход сохранил быстрый. Но на беду, ветер стал стихать. Тяжелые турецкие корабли на попутной зыби получили преимущество хода и к середине дня взяли «Рафаил» в кольцо. С военной точки зрения дело для русских было совершенно безнадежное. Стройников приказал спустить флаг. На фрегат высадился десант, офицеры отдали сабли…

— Значит, Стройников струсил? — сказал Кинтель, преодолевая вязкую неловкость.

— Непонятная это история, — вздохнул дед. —

Стройников был, безусловно, смелым офицером. Кавалер нескольких орденов, в том числе и Георгия четвертой степени, который давался за мужество в бою… Кстати, таким же орденом потом был награжден ка-питан-лейтенант Казарский за свой знаменитый бой «Меркурия» с «Реал-беем» и «Селемие»… И вот еще совпадение: совсем недавно Стройников командовал тем самым «Меркурием», на нем-то и орден заслужил, и чин капитана второго ранга, после чего пошел, как говорится, на повышение, стал командиром фрегата… Видишь, он был далеко не трус, в сражениях участвовал не раз и, конечно, как любой бывалый офицер, готов был к тому, что жизнь свою закончит от пули или ядра…

— Тогда почему же…

— Вот именно — почему?.. Может, надлом души случился, когда увидел, как со всех сторон придвинулись эти громады. Некоторые размером аж с нашего «Кутузова», орудийные люки в два-три этажа, мачты до небес… Может, показалось: сама судьба так велит, не противься, мол, воле Божьей… А может, просто поразила вся бессмысленность такой гибели…

— А в самом деле, — стыдливо заступился за капитана Стройникова Кинтель. — Что он мог

сделать?

Дед снова то ли вздохнул, то ли усмехнулся:

— Ну… то, что Морской устав требовал. Тот, который еще Петр Великий сочинил. Флаг не спускать, биться до последнего и погибнуть с честью… Потому что честь флота и флага Российского жизни дороже… Кстати, в рапорте царю, посланном из плена, Стройников писал, что сперва офицерами так и было решено: сражаться до последней крайности, а потом сцепиться с каким-нибудь вражеским кораблем и взорваться вместе с ним. Но матросы вроде бы заявили, что не пойдут на это…

— Правда заявили так?

— Кто знает… А Иван Гаврилов, предок наш, прозванный Рафаиловым, утверждал потом, что Стройников пожалел людей, поступил по-божески, не дав погибнуть в огне матросам, коих было на «Рафаиле» более двухсот… Однако сын его Петр, который стал торговцем, с этим был, видать, не согласен. Потому и фамилию поменял: не хотел сомнительной славы. Так мне кажется…

Кинтелю было жаль Стройникова. И в то же время ощущал он какую-то сдавленность, будто есть в бесславии «Рафаила» и его, Даньки Рафалова, частичка вины. Хорошо, что в каюте было

темно. В этой темноте Кинтель хмуро спросил:

— А что это за плен такой, из которого можно своему царю рапорты посылать?

— Обычное дело. Война ведь была не та, что в наши времена, выполнялись международные правила. Даже турки, несмотря на свой янычарский нрав, были вынуждены соблюдать воинский этикет в обращении с пленными. По крайней мере, с офицерами. Дали им возможность отправить письма через нейтральное посольство…

— А потом что с ними было? С пленными…

— Война кончилась, вернулись в Россию. С матросов какой спрос, а офицеров отдали под суд. И суд этот, во главе с адмиралом Грейгом, всех приговорил к смертной казни. Ну, тогда это в обычае было: сперва смертный приговор, а потом император милосердно смягчает его. И Николай Первый приказал разжаловать осужденных в матросы. Говорят, дворянства их лишил. По крайней мере, Стройникова. А в одной старой книге я читал даже, что царь запретил Стройникову до конца дней жениться. Это для того, мол, чтобы «не плодить потомство трусов»… Его величество весьма щепетилен был в вопросах воинской чести. Он даже такой приказ отдал: если в каком-нибудь сражении русские отобьют

«Рафаил» обратно, фрегат этот в наш флот больше не зачислять, а сжечь, потому что он опозорил андреев-ский флаг… Его и правда сожгли, через двадцать с лишним лет, в Синопской бухте. Нахимов тогда уничтожил там всю турецкую эскадру. А «Рафаил» в ту пору назывался «Фазли-Аллах», то есть «Подарок Аллаха», и был обветшалый уже…

— Толич, а из матросов можно было выслужиться обратно в офицеры? — Кинтель будто искал спасительную лазейку для Стройникова. Потому что страшно же так: умереть с несмытым пятном.

— Выслужиться? Это когда как… Стройникова, по-моему, разжаловали без выслуги. Тянул он матросскую лямку на Белом море, а что с ним потом стало, не знаю… А до своей службы в нижних чинах Стройников еще провел три года арестантом в Бобруйской крепости. В той же крепости побывал и кое-кто из декабристов, я читал их воспоминания, что условия там были каторжные…

Кинтель подумал, что каторжные условия были, наверно, не самым страшным наказанием для капитана Стройникова. Страшнее было все годы чувствовать себя изменником и знать, что никак это теперь не исправить.

Он попытался представить себя на месте Строй-

никова. Приказал бы он спустить флаг?.. Конечно, это жутко — знать, что вот-вот тебя искрошат залпами из орудий, сожгут, разнесут на клочки. Но если ты боевой офицер… и если всю жизнь знал, что возможен такой конец… К тому же смерть — это лишь один миг… А кроме того, был капитан второго ранга Стройников наверняка православным христианином. А верующие люди знают, что душа не умирает, ее ожидает жизнь вечная.

Кинтель тоже считал, что душа бессмертна. Только было тут много неясностей. Или она после смерти тела навсегда поселяется где-то в космосе, или переходит в другого человека? Скорее всего, переходит. Иначе отчего снятся иногда сны, будто ты вовсе не Данька Рафалов, а кто-то совсем другой, в незнакомом городе, в старинные времена? Это, наверно, память о прошлой жизни.

Теплоход шел ровно, лишь иногда чуть подрагивал корпусом. Кинтель попытался представить, что над «Кутузовым» громадные мачты и темные паруса, которые неспешно двигает ровный ветер. Но тогда получилось, что это уже не «Кутузов», а фрегат «Рафаил» в ночь перед сдачей в плен. Кинтель не хотел такого. И стал думать о другом. О трубаче, который стоит на каменной стене и готовится заиграть сигнал. Но песня про трубача

вспомнилась словами, в которых был упрек:

*Наш трубач ни за что*
*Не сыграет отбой…*

А фрегат «Рафаил» с предком Кинтеля сыграл отбой…

Дед уже посапывал — явно во сне. Кинтель повернулся на бок, прогнал все мысли и после этого стал сердито засыпать без всяких сновидений…

## СОСТЯЗАНИЕ

Завтрак дед и Кинтель проспали. Наскоро перекусили в буфете и еле успели на автобус, который от маленькой пристани повез туристическую группу в Кирилло-Белозерский монастырь.

День был теплее прежних, проблескивало солнце. Дед подремывал, Кинтель глазел на окрестности. О ночной беседе они с дедом не вспоминали. У них и раньше так бывало: вечером разговорятся о всяких «философских» вопросах, а утром Толич — серьезный, деловитый, молчаливый. Мне, мол, не до болтовни, масса важных дел. Но Кинтель понимал, что дед просто стесняется откровенности, которая случилась накануне. Может быть, даже ругает себя за излишнее многословие. Ну и ладно, Кинтель в такие минуты к

нему не приставал.

Порой Кинтель ощущал себя взрослее деда. По крайней мере, в кое-каких житейских вопросах. Конечно, Виктор Анатольевич занимался ответственной работой: ведал кадрами в главной областной больнице и ее отделениях. Его хорошо знали в облисполкоме, иногда он печатал в «Краснодзержинском знамени» свои статьи про безобразия, которые случаются в областном здравоохранении по вине местных чиновников. Те делали ему в отместку всякие гадости, но всерьез уязвить не могли, был у деда орден «Знак Почета», две медали, благородная седоватая прическа, довольно стройная (несмотря на животик) осанка и строгое интеллигентное лицо. Особенно когда Виктор Анатольевич водружал на переносицу больше блестящие очки. Но Кинтеля-то эти внешние признаки солидности обмануть не могли.

Дед, как мальчишка, обожал фильмы про пиратов и мушкетеров, любил бродить по городу, по самым закоулкам, открывая для себя всякие любопытные мелочи. Мог несколько дней подряд (особенно когда стал вдовцом) питаться всухомятку, потому что лень готовить. Мог истратить последние деньги на альбом художника Сальвадора Дали, на редкие значки для своей

коллекции, про которую вспоминал время от времени.

Собирал дед значки с гербами городов. Кинтель этого увлечения не понимал. Страсть к коллекционерству была ему чужда. Редкой вещицей можно, конечно, полюбоваться, но обмирать о ней, желать, чтобы она была обязательно твоя, — какой смысл? Впрочем, это не помешало Кинтелю выпросить у деда значок со старинным гербом Преображенска. На гербе три золотые рыбы в голубых струях реки, а сверху одномачтовый кораблик с длинным вымпелом — «в знак рыбного изобилия, а также того, что с пристани на реке Сож начинается плавание по рекам всего края». Но значок нужен был не ради собирательства, а чтобы малость похвалиться перед Алкой Барановой…

Не одобрял Кинтель и чрезмерной дедовой страсти к хоккею. Взрослый человек, а подскакивает на стуле перед экраном и вопит, как пацан, когда «Спартак» вляпывает противнику шайбу… Впрочем, на этом деле многие мужики слегка сдвинуты по фазе…

Было, однако, у деда с Кинтелем и много общего. И прежде всего — отвращение ко всякой зависимости, принуждению и унижению. Кин-

тель и уроки-то старался учить аккуратно не из-за какой-то там любви к знаниям, а чтобы не топтаться у доски и не мямлить под ехидным учительским взглядом. А дед, например, не желал покупать машину, хотя денег мог бы наскрести. Говорил: «Это чтобы любой взяточник в погонах и с полосатой палкой мог меня останавливать на улице и всячески надо мной измываться? Дудки!» По той же причине он отказывался ездить за границу. «Пока оформишь все документы и визы, пока настоишься в очереди, чтобы обменять валюту, инфаркт заработаешь. Всякий проходимец на конторской должности смотрит на тебя, как на вошь в томатном соусе, хмыкает и размышляет: поставить печать или помурыжить еще? В молодости я за кордоном кой-чего повидал, а теперь не соскучусь и в своей провинции…»

Почему «вошь в томатном соусе», было непонятно, однако общую позицию деда Кинтель одобрял. «Проходимцев», которые засели среди всякого начальства, он тоже не жаловал…

Кирилло-Белозерский монастырь поразил Кинтеля. Гораздо больше, чем Кремль в Москве. Башни и зубчатые стены Кремля были знакомы по картинкам, по ежедневной передаче «Время», в них чудилось что-то официальное, связанное с

неласковой государственной властью. А здесь стояла первозданная былинная крепость без всякой парадности, с замшелостью камней, с кустиками в бойницах. С нерастраченной мощью веков.

Внутри крепости оказалась целая страна. Как в «Сказке о царе Салтане». Всюду поднимались купола, колокольни, башенки с маковками, манили к себе какие-то арки, переходы, запутанные дорожки. И лежала на всем этом тихая солнечная ласковость.

Они с дедом отстали от группы, ходили сами по себе. Толич то подолгу молчал, то шумным шепотом начинал восхищаться и приглашал Кинтеля разделить этот восторг. Кинтель кивал молча. К чему тут слова?

В широком арочном проходе, где на облупившейся штукатурке виднелись вверху неясные фрески, дед задержался. Постоял, подняв голову. Сквозь пятна, блеклость и паутинную серость проступал на своде образ Божьей Матери с маленьким Иисусом на руках. Были у Богородицы большие печальные глаза. Мальчик, подняв серьезное лицо, прижимался к матери щекой и словно хотел прошептать ей что-то очень-очень важное…

Дед постоял с поднятой головой и перекрестил-

ся двумя легкими взмахами. Потом быстро и виновато оглянулся на Кинтеля. Тот сделал вид, что ничего не за-метил.

Он знал, что дед верующий, тот и не скрывал этого от внука. Пару раз они даже рассуждали о религии, о Боге и о бессмертии. Кинтель, наверно, тоже был верующий. По крайней мере, он считал, что Создатель, который сотворил Вселенную, где-то есть. Какая-то огромная энергетическая сила, наделенная всеобщим сверхразумом. Кинтель уважал этого Создателя, но думал, что молиться ему бесполезно. Разум, управляющий бесконечным Космосом, разве мог отрешиться от своих вселенских дел, чтобы заняться крошечным человечком на какой-то окраинной планетке?

Кинтель как-то в минуту вечерней откровенности поделился этими соображениями с дедом. Толич сказал, что такая «философская концепция» не нова и достаточно примитивна. «Ты, Даниил, еще просто не дорос до истины, что Бог настолько велик, что он в каждом человеке и что человек, если он хочет познать Бога, должен стремиться к нему душой…»

— Чего же к нему стремиться, если он и так в каждом человеке? — поддел Толича Кинтель, хотя главную мысль деда, кажется, уловил.

— Тьфу на тебя, — сказал дед. — Рассуждения твои плоские, как противень… Ты бы хоть Евангелие почитал, вон в журнале «Литературная учеба» новый перевод.

— А я читал… Только я все равно ведь некрещеный…

— Разве дело в обряде? — вздохнул дед.

При внуке Толич никогда не молился, в церковь он тоже не ходил. Может, боялся, что ему, члену партии, за это попадет, а может, и правда считал, что дело не в обрядах… А тут, в монастыре, что-то, видать, шевельнулось у него в душе…

Кинтель еще раз посмотрел на фреску. И вдруг вспомнил, как мама Сани Денисова поправляет на сыне воротничок и ласково лохматит ему волосы. Взлохматит и тут же пригладит…

И вот ведь правду говорят: легок на помине. Буквально через полминуты Кинтель увидел Салазкина.

Арочный проход вывел их на широкий двор, опоясанный крепостной стеной с галереей. Поле это, густо усыпанное звездами одуванчиков, было почти пустое. Только в центре его поднималась ветряная мельница. Видать, ее привезли сюда из какой-то деревни — как экспонат. Кучки туристов затерялись в этом травянистом просторе. Недале-

ко от мельницы лежал штабель бревен: наверно, для ремонта. Одно тонкое и длинное бревно нижним концом уходило в траву, а верхним лежало на краю штабеля. И вот по этому-то наклонному бревну шел, балансируя, Саня Денисов. Салазкин. Он был похож на циркового гимнаста.

Штабель высотой был метра два. Салазкин уже почти достиг верха. А у бревна — вполне объяснимо, хотя и смешно — как взволнованная курица, беспокоилась мама:

— Ты куда? Шею свернешь! Спускайся немедленно!.. Ай, осторожно!.. Вниз, кому я сказала!.. Ну подожди, спустись только!

Несколько дам из той же группы квохтали и качали головами. Отца не было видно. Салазкин достиг верха и остановился там — маленький, гибкий, с упертой в бок рукой и вскинутой головой. Будто нарисованный чернилами на фоне освещенной солнцем стены.

— Ух, отсюда как здорово видно!

— Ай, не качайся! Спускайся, тебе говорят!..

Кинтель сыграл в мгновенную игру: присел, будто поправляет шнурок на кроссовке — так, что на линии взгляда верхний край штабеля совпал с гребнем крепостной стены и Салазкин оказался как бы на этой стене. Маленький трубач над

крепостью. Правда, не было трубы, но Кинтель представил ее зримо со вспышкой солнца на серебряном ободке…

— Александр! Ты смерти моей хочешь?

Салазкин сел на корточки, помедлил секунду и скакнул с высоты в траву. Ай да мамин ребенок!

Мать ухватила его за свитер, убедилась, что чадо невредимо, дала ему шлепка.

— Изверг! Отцу скажу… Колготки порвал на колене, чучело… Куда ты опять?!

Салазкин взбрыкнул тонкими черными ногами, ускакал в сторону. Закрутился, обирая с темно-синего свитера травяной мусор.

Далеко, за воротами монастыря засигналил автобус: пора…

В середине дня, когда вошли в Белое озеро, по радио было объявлено, что организуется экскурсия в ходовую рубку. Записывайтесь в группы, товарищи… Дед сказал:

— Не бывал я в этих рубках, что ли?.. Я буду письмо писать. А ты иди.

Кинтель оказался в одной группе с Денисовыми. Его и Салазкина взрослые пропустили вперед — детям заботу и внимание (всегда бы так!).

Квадратные, с закругленными углами окна образовывали в рубке сплошную прозрачную стену.

Под ними тянулся широкий пульт — кнопки, телефоны, дисплеи, циферблаты, карты — в глазах замельтешило. Увидел Кинтель и знакомую по снимкам и кино стойку магнитного компаса — нактоуз. Почти такую, как на старых кораблях… Молодой, но уже с залысинами, полноватый штурман — один из помощников капитана — давал объяснения. Вежливо, но с ленцой (видать, надоело). Говорил, что теплоход — один из самых крупных среди речных судов мира. Что может ходить и по морю, если высота волны не больше четырех метров. Что навигационное оборудование — самое современное.

— Для поворота вправо-влево стоит лишь нажать нужную кнопку. Видите, у нас нет здесь даже намека на привычное рулевое колесо, именуемое в просторечии штурвалом…

«Жаль, что нет», — подумал Кинтель.

— Скорость — до двадцати узлов… — с той же ленцой продолжал штурман. Массовик Кирилл Георгиевич, не забывавший занимать подопечных пассажиров, интригующим голосом задал вопрос:

— Кстати, кто скажет, что означает эта скорость — узел?

Кинтель хмыкнул про себя. Высовываться не

хотелось. Какой-то дядька у него за спиной басовито провозгласил:

— Это, как я понимаю, одна морская миля в час…

— Абсолютно верно! — обрадовался Кирилл Георгиевич. — А кто скажет, велика ли она, эта миля?

— Что-то около двух километров, — отозвался дядька.

Кинтель не выдержал, сказал насупленно:

— Тысяча восемьсот пятьдесят два метра…

Тут оживился штурман:

— Точно! А откуда взялась эта некруглая величина?

Кинтель размышлял: говорить дальше или не стоит? Чего хорошего, когда все на тебя глазеют?.. И в этот момент раздался голосок Салазкина:

— Минута географического меридиана…

С ума сойти! Откуда он знает про меридианы-то? Кинтель скосил взгляд. Папа Денисов что-то тихо говорил сыну. Подсказывал? Мама поправляла у сына широкий воротник свитера.

Тогда Кинтель сообщил, глядя сквозь стекла на открытый горизонт Белого озера (синий, в солнечных облаках):

— Деления минут откладываются на боковых

краях штурманских карт. Чтобы легче было измерить расстояния… — Все-таки он был внук деда, который в молодости плавал на океанских судах. Да и читал про флотскую жизнь Данька Рафалов немало…

Штурман оживился еще больше:

— Тут, я смотрю, знатоки…

— Это меркаторские карты, — сообщил Салазкин. Такой вот восьмиили девятилетний пацаненок, где-то нахватавшийся морских познаний.

Кинтель не ощутил ни зависти, ни досады, но появился хмурый азарт. Кинтель выговорил:

— На этих картах прямоугольная сетка координат. Вот как тут, на пульте… — И не удержался, опять бросил взгляд на Салазкина.

Тот смотрел своими широкими глазами с веселым интересом. И словно бы с желанием познакомиться. Но Кинтель отвернулся.

— Прекрасно! — радовался Кирилл Георгиевич. — Сейчас не будем тратить порох, а скоро устроим конкурс морских знатоков. Я думаю, такие найдутся и в других группах. Победителю — приз…

Состязание устроили через два дня, накануне прихода в Ленинград. Опять было зябко и пас-

мурно. Ладога катила под низким небом плоские зеленоватые валы. Слева тянулся еле заметный низкий берег, справа и впереди был открытый горизонт. Чуть покачивало. В салоне уютно светились лампы.

Дед был почему-то не в духе и в салон не пошел. А Кинтель пошел. Народу оказалось немного, хотя трижды объявляли по радио. Человек десять взрослых и столько же ребят.

Кирилл Георгиевич вышел к пианино, словно к трибуне. И бодрым голосом выразил надежду, что здесь собрались знатоки морской истории и флотских премудростей. Сказал еще раз о призе, ожидающем победителя. Спросил, есть ли желающие позаседать в жюри. Нашлось двое: чья-то мама (судя по всему, активистка родительских собраний) и подвижный старичок с богатейшим набором орденских ленточек на пиджаке (может, бывший моряк?).

— Ну а третьим буду я! — весело решил Кирилл Георгиевич. И для начала задал вопрос: кто из русских моряков первым обошел вокруг света?

Сразу вскинули руки трое: полная девушка с желтыми волосами, худой парнишка с прыщиками на носу (кажется, Костя) и Салазкин. Кинтель задавил в себе стеснительное сопротивление и

тоже поднял ладонь.

Первой Кирилл Георгиевич вызвал девицу. Та уверенно сообщила, что упомянутых выше мореплавателей звали Лазарев и Беллинсгаузен. Салазкин выдал короткий звонкий смешок. Мама, сидевшая рядом, дернула его за свитер. Кирилл Георгиевич с вежливой улыбкой развел руками: неверно, мол.

— Теперь ты, мальчик…

Кинтель неловко встал. Сказал, глядя на горизонт:

— Крузенштерн и Лисянский…

— Совершенно верно! Кто-нибудь хочет что-то добавить?

Салазкин вскочил:

— На шлюпах «Надежда» и «Нева»!

— Чудесно!.. А у тебя тоже дополнение?

Костя с прыщиками снисходительно объяснил, что экспедиция началась в 1803 году и закончилась в 1806-м. Считать же первым русским кругосветным мореплавателем справедливо будет Лисянского, поскольку он опередил Крузенштерна на две недели.

«Образованный», — сердито подумал Кинтель и добавил:

— После того как они расстались на траверзе

мыса Доброй Надежды… — Он нарочно ввернул это «на траверзе».

— Там был туман, и они потеряли друг друга, — сказал Салазкин.

Все зааплодировали. А Кирилл Георгиевич, пошептавшись с мамой-активисткой и ветераном, объявил, что Саня Денисов, Костя Бельский и («Мальчик, как тебя зовут?..») Даня Рафалов получают по пять очков.

— А Лазарев и Беллинсгаузен открыли Антарктиду, — неожиданно для себя сказал Кинтель.

— Браво! — обрадовался Кирилл Георгиевич.

— На шлюпах «Восток» и «Мирный», — ввинтился звонким голосом Салазкин.

— Это было в 1820 году, — спокойно, почти с зевком уточнил Костя. — Впрочем, за рубежом не все ученые признают приоритет Беллинсгаузена и Лазарева в открытии шестой части света.

— Великолепно! У вас еще по два очка! — радовался Кирилл Георгиевич. А оскандалившаяся девица розовела и хихикала в ладошки. — Итак, три человека проявили недюжинные познания в истории морских путешествий! А сейчас задачка из другой области. Кто скажет, что такое «рангоут»?

— Это… насколько я понимаю, нечто связанное

с теорией судна, — без прежней уверенности проговорил Костя Бельский.

«Нечто», — хмыкнул про себя Кинтель. И почти перестал стесняться:

— Это все мачты, реи. На чем ставят паруса… Да, еще бушприт…

— У бушприта есть два продолжения: утлегарь и бом-утлегарь, — прозвенел Салазкин.

Кинтель глянул на него искоса. И вспомнил:

— Рангоут поддерживает и управляется такелажем. Стоячим и бегучим. Это всякие тросы и канаты…

— Рангоут бывает подвижным и неподвижным, — уверенно сообщил Салазкин. — Подвижный — тот, что ходит вместе с парусами. Реи, гафели, гики…

Что-то запрыгало в памяти у Кинтеля: кажется, из словаря в конце книжки «Жизнь моряка».

— Они крепятся к мачтам на бейфутах. На таких специальных шарнирах…

Все неожиданно притихли при этом словесном турнире. Салазкин отодвинул от мамы локоть, за который она машинально его теребила. Сказал на весь салон:

— Ну не дергай, пожалуйста. Подумают, что ты подсказываешь… — Никто не успел засмеяться.

Потому что сразу Салазкин сообщил: — Сейчас рангоут делают металлический, из труб. А раньше делали из деревьев, из прямых стволов. Потому он так и называется — «круглое дерево» в переводе на русский.

— Это с голландского, — быстро подключился Кинтель. Он теперь все больше ощущал волнующую дрожь состязания. — Потому что Петр Первый учился строить корабли в Голландии. Он там многое перенял…

— Уникальные дети! — восхитился Кирилл Георгиевич. И глянул на Костю.

Тот развел руками:

— Я — пас… Здесь специалисты.

Кирилл Георгиевич обрадованно заметил, что, судя по всему, никто больше не решается вступать в этот поединок морских эрудитов. Таким образом, выявились два лидера.

— Попросим вас вот сюда, рядом со мной, чтобы вы могли демонстрировать свои знания перед лицом всей аудитории.

Кинтелю не хотелось «перед лицом аудитории». Но делать нечего, тем более что Салазкин уже уверенно покачивался на своих тонких ножках рядом с пианино. Словно опять собрался петь. Кинтель стал у другого края инструмента,

прислонился локтем. Опять стал смотреть над головами сквозь стекла. Ну прямо правдашнее море…

— Итак, два претендента на приз! Саня Денисов из Краснодзержинска и Даня Рафалов… откуда?

— Тоже… — буркнул Кинтель. И поймал взгляд Салазкина. Удивленно-обрадованный.

— Тоже из Краснодзержинска?! — возликовал Кирилл Георгиевич. — Изумительно! Однако у вас, кажется, совсем не морской город?

— У нас озеро есть большое. Называется Орловское, — разъяснил Салазкин. — И на нем яхты…

— И на гербе кораблик, — нахмуренно добавил Кинтель, словно заступаясь за свой город. — Раньше по реке Сож корабли до самого моря ходили…

— Тогда ясно!.. Значит, продолжаем? А все остальные будут болеть…

Кинтель понимал, что болеть будут за Салазкина: он младше, симпатичнее, держится раскованно. Такие всегда нравятся. Будь Кинтель среди зрителей, он тоже сочувствовал бы этому пацаненку с зелеными глазами и доверчивой улыбкой, а не стриженному ежиком, набыченному мальчишке, который смотрит мимо людей… Ну и пусть. Ни зависти, ни обиды у Кинтеля не было. Досадовать он мог бы на равного по силам

и возрасту или на того, кто больше. А тут чего ж… Впрочем, уступать Кинтель не собирался.

И не уступал. Очки они с Салазкиным набирали поровну.

Вопросы были всякие. То с пустяковой хитростью: «Что такое бухта?» Кинтель и Салазкин разом ответили, что, во-первых, — небольшой залив, а во-вторых, — моток троса. То посложнее: «Откуда взялось в обозначении скорости судна понятие „узел“?» Кинтель вспомнил, что раньше узлами разбивали шнур на приборе для измерения скорости, на лаге. Салазкин рассказал в дополнение к этому, как устроен старинный лаг. Кинтель добавил, что сейчас лаги другие: механические, электронные…

Ну и так далее. Слушатели в салоне то затихали, то аплодировали. Надо сказать, что не только Сане Денисову… Очков набралось уже по полсотни на каждого.

— Ну и наконец, последний вопрос! На знание типов парусных кораблей… Чем бриг отличается от фрегата?

Это был пустяковый вопрос для всякого, кто внимательно читал книжки про моряков.

— У брига две мачты, — быстро сказал Кинтель. — А у фрегата три или даже больше. У того

и у другого прямые паруса на всех мачтах. На реях…

Салазкин, конечно, не отстал. Смело поправил Кирилла Георгиевича: бриг, мол, неправильно называть кораблем, надо говорить «судно». Кораблями в парусном флоте называются только суда с оснасткой фрегатов, то есть с полным корабельным парусным вооружением.

И вдруг добавил:

— А среди бригов самый знаменитый «Меркурий». Он дрался с двумя турецкими линейными кораблями и вышел победителем…

— Чудесно! — даже подскочил Кирилл Георгиевич. — Прекрасное дополнение. Действительно, бриг «Меркурий» совершил подвиг, доказав, что русские моряки ни при каких обстоятельствах не сдаются врагу!..

Кинтель даже качнулся вперед. Потому что вот тут-то можно было выложить факт о «Рафаиле». Как козырную карту! Нет, мол, товарищи, бывало, что сдавались. Не все такие герои, как на «Меркурии». Есть грустное отличие фрегата «Рафаил» от брига «Меркурий». Но… открыл Кинтель рот и захлопнул. Покачал головой. Словно встретился с живым взглядом измученного худого офицера в старинном мундире — капитана Стройникова:

не надо, мне и так хватило позора… И предок Иван Гаврилов будто издалека глянул укоризненно. Знание о чьем-то стыде и несчастье — разве козырь?

Впрочем, обдумал это Кинтель уже потом, а пока его просто задержало внутреннее «нельзя». И еще — снова такое чувство, словно он тоже виноват в сдаче «Рафаила».

— У тебя, Даня, нет добавлений?.. Ну что же, тогда жюри посовещается и вынесет решение.

Кирилл Георгиевич нагнулся над сидящими рядом старичком с орденскими планками и мамой-активисткой. Какое будет решение, не стоило и гадать. В шаге от пианино висела широкая портьера. Пока все смотрели на жюри и на Салазкина — явно как на победителя, Кинтель придвинулся к портьере спиной, скользнул за нее, а там — к двери. И оказался в коридоре, у ведущего на верхнюю палубу трапа.

## ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА

Наверху было ветрено, зябко, особенно после уютного салона. Ветер, однако, дул теперь с востока, с кормы, и Кинтель укрылся от него за трубой. Труба эта — громадная, скошенная назад,

с голубой полосой, медным серпом и молотом и черными крыльями — поднималась над палубой, как дом. Впереди была привинчена скамейка, и Кинтель съеженно сел, подняв до ушей воротник школьной курточки.

Большого огорчения Кинтель не чувствовал. Если бы кто другой, не Саня Денисов, выиграл приз, тогда обидно. А Салазкин пусть порадуется вместе с мамой… Но была у Кинтеля печаль. Не из-за проигрыша даже, а так, без всякой причины. Однако горечи в печали не ощущалось. Даже наоборот — приятное что-то. Как при музыке, которую играла однажды на улице Первомайской девочка-скрипачка.

Когда Кинтелю было грустно без причины, он всегда вспоминал эту музыку. И девочку, которая от музыки была неотделима.

…Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день прошлогоднего августа, когда шагал на рынок за картошкой. Сперва он услышал музыку. У забора за-брошенной стройки полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. А на фоне темных и рваных афиш играла на скрипке девочка. Одного с Кинтелем возраста.

Она была тоненькая, курносая, с короткими и

растрепанными, как у мальчишки, волосами. И с искорками-сережками в маленьких коричневых ушах. И очень загорелая. На ней была желтая майка и белые шортики. От этого девчонкины ноги казались еще больше загорелыми. Они были того же цвета, как скрипка, которую девочка прижимала к подбородку. Она покачивалась на ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила смычком.

У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой крышке его белел бумажный лист. На нем крупно было написано: «Зарабатываю на скрипку».

Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. Или не очень хорошая. Но даже на ней девочка играла восхитительно. По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же. И сама девочка — тоже. Кинтель смотрел на юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. Было что-то удивительно милое и знакомое, только полузабытое, в этой скрипичной мелодии и в том, кто ее играл, — в быстрых тонких пальцах, в дрожании волос и сережек, в задумчивых глазах и строгих бровях над облупленной переносицей, в подсохших корочках ссадин на коленках (в точности как у

Кинтеля). И еще была в ней доверчивая беззащитность и одиночество, несмотря на окружавших людей.

Люди слушали внимательно, лишь изредка что-то шептали друг другу. В скрипичном футляре лежало уже немало мятых рублей и трешек.

У Кинтеля в кармане была лишь пятирублевка, которую дал дед и которую можно было тратить только на картошку. А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. Хотя… посмел бы он? Все сразу начали бы глядеть на него. И она посмотрела бы — на неловкого, стриженного арестантским ежиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке… Он и так уже стоит здесь, наверно, полчаса, и все, конечно, догадались о его завороженности…

Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щеки. И пошел, пошел, не решаясь оглянуться. И долго еще слышал скрипку…

Обратно он шагал по другой стороне улицы. Девочка все еще играла. И снова ту мелодию, которую Кинтель услышал вначале. Страдая от стыдливой боязливости, Кинтель все же подошел опять, постоял за спинами, страшась, что девочка увидит его… Потом побрел домой, унося в душе

что-то теплое, щемящее, доселе неизвестное…

Днем Кинтель, не в силах носить в себе переживания, поделился на улице с компанией. Сказал небрежным тоном:

— Утром за картошкой поперся, гляжу: у забора пацанка со скрипкой. Так клево пилит по струнам. Все стоят, рты поразевали, тугрики ей бросают… И главное, одна, не боится…

— Ха, одна, — отозвался опытный Джула. — Ты ее попробуй задень, сразу со всех сторон амбалы выскочат! У них небось артель: она деньгу на всю кодлу зашибает, а они ей это… режим наибольшего благоприятства… Знаем мы таких девочек со скрипками…

Тут бы и врезать этому длинному трепачу по слюнявым губам. И Кинтель врезал бы, не думая, что будет после! Но только… Да нет, не за себя он испугался! Но ведь когда начнут издеваться, ехидничать про его любовь, эти поганые насмешки будут и про девочку! Конечно, она не узнает, но все равно получится, будто он подставил ее под помои. Это как предательство.

Ненавидя себя, Кинтель сплюнул и лениво сказал:

— Тебе, Джула, везде амбалы мерещатся. Только и знаешь про мафию чесать языком.

Все заспорили про мафию и о девочке забыли.

В следующие дни Кинтель не раз ходил на то самое место, к забору у стройки. Но девочки там не было. Оно и понятно: время-то началось школьное. А может быть, она уже насобирала на скрипку? Нет, наверняка она появится в воскресенье!

Подлое, непрошеное подозрение о том, что Джула насчет этой девчонки, возможно, прав, Кинтель буквально выжег в себе, без остатка. И решил ждать. Но воскресенье оказалось промозглым, пришла настоящая осень. Ясно, что при такой погоде размокла бы любая скрипка. Что было делать? Где искать маленькую скрипачку? Да и… зачем? Найдешь, увидишь, а что дальше?

И девочка со скрипкой осталась в памяти как что-то волшебное, полусон какой-то или сказка о Дюймовочке. И музыка осталась, запомнилась. Иногда Кинтель насвистывал или мурлыкал ее, и однажды это услыхал дед.

— О, да у тебя слух как у музыканта!

— Почему? — застеснялся Кинтель.

— Такую мелодию ведешь без всякой фальши.

— А что за мелодия? — У Кинтеля, как тогда, при девочке, затеплели уши. — Я не знаю даже. Случайно вспомнилась…

— Это скрипичный романс Шостаковича из фильма «Овод».

…В минуты, когда подкрадывалось задумчивое настроение, печаль какая-нибудь, «Овод» начинал звучать в Кинтеле тихо, ненавязчиво, в лад со струнами души.

Вот и сейчас мелодия накатывала, как бегущие по Ладоге пологие волны, которые не спеша догонял и подминал под себя «Михаил Кутузов».

Но вскоре в эту музыку скрипки толкнулся другой мотив — тревожной непрошеной ноткой: «Над волнами нам плыть, по дорогам шагать… Штормовые рассветы встречать…» Это было связано с Салазкиным! И Кинтель интуитивно угадал, что Салазкин неподалеку. И лишь потом услыхал шаги.

Салазкин встал рядом со скамейкой. Кинтель покосился. В руках Салазкина была плоская коробка с парусным кораблем на крышке.

До той минуты они друг с другом не разговаривали, но тут Салазкин сказал, будто давнему знакомому:

— Даня, ты почему ушел раньше срока?

Кинтель ответил ровно, даже с зевком, чтобы Салазкину не пришло в голову, будто он обижается или переживает:

— Почему раньше срока? Все ведь кончилось…

— А приз…

Кинтель снисходительно улыбнулся:

— Но не я же победил.

Салазкин сказал убедительно:

— По-моему, мы оба одинаково победили. Надо, чтобы справедливо… Давай делить. — Он сел на краю скамейки, положил коробку между собой и Кинтелем, поднял крышку. В коробке лежали фигурные шоколадные конфеты. — Тебе и мне пополам.

— Да ну… — смутился Кинтель.

— Нет уж, ты бери, пожалуйста! — Салазкин смотрел решительно.

«Хороший он человек», — подумал Кинтель. Взял конфету, сунул в рот.

— Нужно вот так! — Салазкин принялся перегружать половину шоколадного запаса в крышку.

— Постой! Мне не надо! — почти испугался Кинтель. — Я много шоколада никогда не ем… То есть не ел. Даже когда он в магазинах был. У меня от него… это, аллергия.

Аллергии у Кинтеля не бывало, но шоколад он правда не очень любил и не жалел, что теперь его не бывает в продаже. Потому что как можно

помногу есть такую вяжущую рот и горло горьковатую сладость! Это ведь не мороженое…

— Ну правда тебе говорю! — добавил он, глядя в недоверчивые глаза Салазкина. — Забирай обратно. — Пересыпал конфеты опять в коробку. И вдруг пришло в голову: — А крышку я возьму… если можно. Ладно?

— Конечно! — обрадовался Салазкин. Разумеется, не вернувшимся конфетам, а тому, что Даня Рафалов хоть что-то берет.

Кинтель сказал:

— Хороший корабль. Я его в рамку вставлю — и на стену…

— Это «Паллада». Видишь, здесь написано…

Внизу были буковки: "Шоколадное ассорти "Фрегат «Паллада».

«Фрегат», — опять царапнуло Кинтеля. Но он подавил в себе неприятные мысли.

Салазкин сел попрочнее: привалился к спинке, пятки поставил на скамью. Тоже сунул в рот конфету. Сказал доверчиво:

— А славно получилось, что мы из одного города, правда ведь?

Кинтель кивнул, облизываясь.

— Ты там где живешь?

Саня Денисов тоже облизал губы.

— На окраине, в Старосадском поселке. Но папе обещают скоро дать новую квартиру… Мама уже вещи понемногу упаковывает, она очень предусмотрительная…

Кинтеля вдруг дернуло за язык:

— Это мама посоветовала тебе поделиться конфетами?

И сразу испугался: обидится Салазкин!

Тот не обиделся, но удивленно раскрыл глаза:

— Нет, с чего ты взял? Я сам… Мама даже не знает, куда я пошел.

— Значит, будет искать и волноваться, — выкрутился Кинтель из неловкого положения. — Родители, они все такие.

— И у тебя? — с пониманием спросил Салазкин.

Кинтель вздохнул:

— Я, к счастью, с дедом…

Салазкин отвел глаза. Взял еще конфету. Стал ковырять на обтянутой черным трикотажем коленке аккуратную штопку. «Мама зашила», — подумал Кинтель. И усмехнулся:

— Но если бы я, как ты недавно, на бревна полез, он бы тоже бегал внизу и… — Кинтель чуть не сказал «кудахтал», — и нервничал.

Салазкин кивнул, все ковыряя штопку:

— Мама ужасно беспокойная. Стоит мне задержаться на улице, как дома паника… Но сейчас, пока она не хватилась, можно еще посидеть! — И повозился, устраиваясь поудобнее.

Посидели, помолчали. Пасмурная Ладога все катила, катила валы, реяли чайки. Нельзя сказать, что покачивало, но иногда все же возникало ощущение непрочности. Этакий намек на невесомость.

— Ну, право, совсем как на море, — вдруг сказал Салазкин.

Он все-таки расковырял штопку, и светилась круглая, словно двугривенный, дырка. Из нее выглядывала похожая на бородавку выпуклая родинка. Салазкин тер ее мизинцем, предварительно облизав его. «Опять заработаешь от матери шлепка», — подумал Кинтель. А вслух сказал:

— Я на море еще не бывал.

— А я был два раза. И могу авторитетно утверждать, что очень похоже… — Он, видимо, сам почуял, с какой забавной солидностью у него это прозвучало, и хихикнул.

Кинтель сказал:

— В морских делах ты прямо академик. Занимался в каком-то кружке, да?

— Видишь ли… это не совсем кружок… Это…

— Санки! Салазкин! Вот ты где… Ну что за мода исчезать бесследно, как привидение… — Мама Сани Денисова появилась из-за трубы. — Идем, скоро ужин!.. И какой здесь холод…

Салазкин встал. Сказал Кинтелю вполголоса:

— Мы ведь еще непременно увидимся.

— Разумеется. У нас две недели впереди, — в тон ему ответил Кинтель и опять улыбнулся про себя, но без насмешки, по-хорошему.

Мама Салазкина тревожилась:

— Вы оба, наверно, простудились. Мальчик, тебе не холодно?

— Это Даня Рафалов, с которым мы там, вместе… — ревниво сказал Салазкин.

— Да-да, я вижу. Даня, вы оба продрогли.

— Я сию минуту тоже иду в каюту, — отозвался Кинтель, как покладистый скромный мальчик.

Так и пошли: впереди мама, за ней Салазкин с открытой коробкой, как с подносом, сзади Кинтель, он шагал и хлопал себя «Палладой» по джинсовым штанинам.

В каюте дед сказал:

— Тут тебе приз принесли. Говорят, ты второе место занял в этом «Клубе знаменитых капитанов».

Приз оказался набором вымпелов с гербами городов, где побывали и еще должны были побывать пассажиры «Кутузова». Что ж, совсем не плохо! Даже лучше конфет…

— А чемпион мне вот что подарил, — похвастался Кинтель крышкой. — От своего ассорти.

— Красивая штука, — одобрил дед. — А про «Палладу» ты что-нибудь слышал?

— Книжка такая есть. Только скучная очень. Я начинал…

— Эх ты, «скучная»… «Паллада» — корабль знаменитый. Кстати, в молодости им одно время Нахимов командовал, будущий адмирал… — И Толич вдруг осекся. Сообразил, что не надо бы лишний раз о Нахимове.

Кинтель, однако, сделал вид, что ничего не заметил. Стал рассматривать разложенные на постели вымпелы. Потом глянул в окно. У горизонта облака разошлись, в щель пробился солнечный огонь. Похоже на закат, хотя по времени до заката было далеко: лето, север, белые ночи…

«Бьется пламя под крыльями туч…»

Когда они познакомятся поближе, надо будет спросить у Салазкина, откуда эта песня… Как не вовремя появилась его мамаша: даже не успел он объяснить, где набрался морских знаний. Ну

ничего, все впереди. Конечно, Салазкин — еще малец, и при нем чувствуешь себя как рядом с чем-то хрупким. Но есть в нем и… такое, совсем не детское. По крайней мере, ясно, поговорить с ним можно о вещах, которые с «достоевской» компанией обсуждать бесполезно…

Дед озабоченно глянул на часы:

— На ужин пора. И надо лечь пораньше, завтра в пять утра будем входить в Неву. Не проспать бы Шлиссельбург…

Шлиссельбург они проспали. Впрочем, не беда, увидят на обратном пути. В полдень подошли к речному вокзалу Ленинграда. От экскурсий с группами Толич и Кинтель отказались, решили гулять сами. И за два дня стоянки повидали столько, что ни с какими экскурсоводами такого не успели бы. Прежде всего поехали к морскому вокзалу. Туда, где швартуются приходящие со всех морей и океанов теплоходы и где виден открытый горизонт залива. Потом отправились на пассажирском катере в Петергоф — еще ближе к морю. Правда, залив (именуемый, как известно, Маркизовой лужей) был более серым и спокойным, чем Ладога. Но само сознание, что это Балтика, волновало душу Кинтеля.

А потом были, конечно, музеи. Петропавлов-

ская крепость, долгое хождение по многим улицам, площадям, набережным. Но Кинтель нет-нет да и вспоминал Салазкина. Однако в эти дни он его не видел — ни на улицах, ни вечером на теплоходе. Впрочем, это Кинтеля мало тревожило. Но зато он забеспокоился всерьез, когда отошли от ленинградского причала, а Денисовых по-прежнему нигде не было видно. Ни в ресторане, за ужином, ни в коридоре, ни на палубах…

И утром — то же самое. После завтрака Кинтель не выдержал, набрался смелости и постучал в дверь денисовской каюты. Никто не отозвался. Кинтель наконец поделился тревогой с дедом: куда, мол, девался мой соперник по морскому турниру? Виктор Анатольевич навел справки. Обещали догнать «Кутузова» в Петрозаводске. Кинтель слегка успокоился.

Но в Петрозаводске Денисовы не появились. То ли что-то случилось, то ли решили путешествовать другим путем. Тем более, что чемоданы они предусмотрительно прихватили с собой.

Кинтель запечалился, но путешествие было такое, что для долгой грусти не оставалось времени. Столько всего каждый день: Валаам, Кижи, потом всякие города… Дома Кинтелю долго еще снились высокие берега, медленные великанские

ворота и осклизлый бетон шлюзов, монастыри и крепости, не отстающие от теплохода чайки и стоящие над широкой водой печальные колокольни затопленных церквей…

Кинтель даже стал думать, что неплохо бы так жить всегда. Вроде бы в доме, под крышей и в то же время — в постоянном путешествии. Только надо, чтобы судно было не таким громадным. Пускай вроде того древнего колесного парохода, который Кинтель видел у какого-то заброшенного причала. Был бы неторопливый, но уютный, добрый такой кораблик. И чтобы подобрались на нем хорошие люди — и взрослые, и ребята. Разные, но все такие, кто никогда не обижает друг друга и от кого не слышишь: «Ну чё, блин, пасть разинул, будто форточку, шевели ходулями» (это если, например, зазевался в проходе у школьной раздевалки) — и при которых не надо все время держать себя готовым к отпору.

Взять бы на пароход ту девочку со скрипкой. Салазкина. Деда. Регишку… Набрать бы дружный экипаж — и в путь. Пусть шлепает колесами по всем рекам и озерам пароход под названием «Трубач». И не обязательно просто так плавать, можно делом заняться, грузы возить!

Этот пароход тоже иногда снился Кинтелю.

Салазкина Кинтель вспоминал, но ни разу не встретил. Город-то вон какой громадный. Старосадский поселок у черта на рогах… Сделать рамку для «Паллады» Кинтель так и не собрался. Сунул карточку на полку, между книг.

## РАРИТЕТ

Саня Денисов не очень испугался, когда четверо прижали его к забору. Правда, ощутилось в коленках мелкое дрожание, но не от боязни, а так, «нервное», как говорит мама, когда у нее дрожит в пальцах кисточка. Приходилось попадать в такие переплеты и раньше: и у себя в Старосадском, и в других местах. Порой крепко доставалось, но случалось и отмахаться, уйти «не посрамивши флага» (как бриг «Меркурий»).

Можно было это и сейчас. Вон того, небольшого, кинуть через бедро налево, толстому стукнуть головой под дых — и давай Бог ноги! Но потом уже — ясное дело — по этой улице не пройдешь в одиночку. Конечно, если сказать про такое на Калужской, Корнеич тут же наладит «комиссию для разбора». И комиссия разберется, будьте уверены. Только надолго ли? Эти ведь, очухавшись, захотят реванша. И пойдет — око за око. Как в

Южной Осетии…

Вот такие мысли и прыгали в Саниной голове, когда судьба послала ему спасителя. Именно судьба! Счастливая! Почти что чудо! Потому что ведь не просто хороший человек появился в решительный миг, а Даня Рафалов! Тот самый! О котором Саня так много вспоминал после прошлогоднего плавания…

Правда, вот огорчение: Даня Рафалов не помнил его!

Но, с другой стороны, если заступился за незнакомого, значит, и правда человек замечательный! И к тому же почти сразу Даня вспомнил. Заулыбался:

— Салазкин!

— Да! — радостно сказал Саня. Но тут же счел нужным объяснить: — Это в том году мама придумала… временное такое прозвище. Теперь уже забылось… Но ты зови Салазкиным, если хочешь! Раз тебе так запомнилось…

Даня Рафалов сказал с веселой сердитостью на себя:

— У меня дурацкая такая память. Бывает, что вижу — человек знакомый, а где встречались, вспомнить не могу. И вот с тобой тоже… Да ты и вырос с той поры…

— Да, изрядно, — охотно согласился Саня. — Там, на «Кутузове», я был тебе до плеча, а сейчас до уха. А ты ведь тоже рос все это время, правильно?

— Наверно… — вздохнул Даня Рафалов. Словно вспомнил что-то не очень веселое. Но тут же оживился: — Слушай! А куда вы тогда подевались с теплохода?

— Ой, это такая история… — Саня засмеялся от удовольствия, что сейчас эту историю можно рассказать Дане Рафалову. Так же весело и с «деталями», как любил ее рассказывать папа, когда приходили гости. И Дане, наверно, будет интересно. Вот он и шаги замедлил… — Это такая история!.. У меня родители не могут равнодушно пройти мимо магазинов. Мама — мимо промтоварных (несмотря на то, что в них сейчас шаром покати), а папа — мимо книжных… В Ленинграде мы, конечно, отстали от группы…

— Как и мы, — вставил Даня Рафалов.

— Да? Ну вот видишь, похоже… И началось «посещение торговых точек». То «маминых», то «папиных». У мамы — полная сумка кисточек и красок для своей работы, у папы — книжки под мышками, только я один — без всякого интереса от такой жизни. Наконец я сажусь на асфальт (ну

не совсем на асфальт, а на ступеньку какого-то крыльца) и говорю: «Все! Или мы немедленно идем в Морской музей, или я на три дня объявляю голодовку». Три дня я выдерживаю. А мама — когда смотрит на меня голодного — только день. Так что этот прием безотказный… Ну вот и пошли. Знаешь, Морской музей — это бывшая биржа. На стрелке Васильевского острова.

— Мы с дедом были.

— Ну тогда ты, наверно, помнишь: там в большом зале, слева от входа витрина с вещами Петра Первого…

— Нет, я не помню. Я как вошел — сразу к моделям! Ну, к тем громадным, что посреди зала.

— А-а… Мы не так. Папа любит, чтобы все по порядку, он же историк… Ну и вот, он вдруг замер у этой витрины. Где царский камзол, ботфорты и всякое другое, что Петру принадлежало… Но он не из-за этих вещей, а из-за книг… Вообще-то папа специалист по древней истории и по средневековью, но редкие книги собирает про все эпохи, это у него страсть… И вот он тут дышать перестал. Мама говорит: «У тебя что, столбняк?» А он шепотом, прямо как в приключенческом фильме: «Это она…» — «Что она?» — «Он…» — «Что он?» — «Мор-ской устав» Петра Великого…" Мама уже

нервничать стала. «Ты что, — говорит, — хочешь разбить витрину и похитить книгу?» А папа: «Нет. Но я только что ви-дел такую же… Только я не знал, что это „Устав“. Я никогда не думал, что он выглядит так. Мне представлялось, что первое издание — это внушительный том…» — «Господи, — говорит мама, — где ты его видел? Это бред…» — Саня засмеялся на ходу, поглядывая на Даню. У того лицо было внимательное. — А папа опять шепотом: «В букинистическом магазине. В бывшей лавке книгопродавца Смирдина…» Знаешь, Даня, это в начале Невского проспекта, рядом со старым кафе. С тем самым, откуда Пушкин уехал на дуэль…

— Знаю, мы заходили туда. Не в кафе, а в лавку. В ней при Пушкине его новые книжки продавались, дед рассказывал…

— Правильно!.. Вот папа и говорит: «Бежим!» И по-мчался, не слушая маму… По набережной, по мосту, мимо Адмиралтейства. Плащ трепыхается, очки один раз уронил, мы еле поспеваем… Мама говорила потом, что мы были похожи на семейство, которое забыло выключить дома утюг и вспомнило об этом на полпути… Ворвались в магазин, папа сразу к шкафу: «Девушка, вот эту книжку, пожалуйста, покажите!» А де-вушка:

«Да это ничего интересного. Старый морской устав…» — «Вот-вот! Именно…» И скорей за книжку ухватился. А мама, конечно: «Сколько стоит?» Потом бледная сделалась и села. Хорошо, стул рядом… Но разве папу остановишь, когда у него в руках такая редкость!.. Короче говоря, после этой покупки осталось у нас три рубля с копейками. Только-только, чтобы бабушке позвонить: «Спасите наши души, сидим на мели, шлите деньги телеграфом до востребования…» Но чтобы денег дождаться, надо остаться в Ленинграде! Вот, мы вещи забрали с теплохода, напросились в квартиранты на три дня к одному папиному знакомому. Решили: получим деньги, догоним теплоход в Петрозаводске…

— И не догнали, — вздохнул Даня Рафалов.

— Потому что перевод задержался. Хотя и телеграф, а такая волокита… Но мы все-таки еще попутешествовали потом. На поезде и на местных теплоходах. Побывали и на Валааме, и в Петрозаводске, и на острове Кижи. А оттуда домой, о Волге пришлось забыть…

— Ох и досталось, наверно, бедному папе от мамы, — сказал Даня Рафалов.

— Ты знаешь, нет! Не очень… Во-первых, это бесполезно. Папа все дни ходил в обнимку с этой

книжкой и… ну, весь в себя ушел, будто в другое пространство. Так что ругать его не имело смысла. Да и за что? Волга никуда не денется, а тут такая удача — это же раз в жизни… Папа говорит: «Я и не предполагал, что такой раритет может быть в свободной продаже. Говорят, в семьсот двадцатом году этот „Устав“ был напечатан всего в количестве пятисот экземпляров. А сколько их погибло во время морских сражений, войны, блокады, сколько потерялось! Остались наверняка единицы. Это же пер-во-из-дание!» Согласись, Даня, что удивительная история!

— Прямо роман, — отозвался Даня. — Ты, Салазкин, будто писатель: все прочитал, как по собственной книге.

— Потому что папа столько раз эту историю всем знакомым рассказывал. Я наизусть запомнил. Только теперь переделал, чтобы от своего лица, а не от папиного…

Даня Рафалов сказал:

— А мы с дедом в Ленинграде тоже одну старую книгу купили. В магазине на Литейном проспекте. Толстенный такой том Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Дед в него тоже вцепился, говорит: «У меня такая в детстве была, бабушкин подарок». Она в девятьсот

одиннадцатом году напечатана. Куча картинок и крупные буквы… Я потом каждый вечер читал в кающе до ночи…

— Ты тоже любишь читать в постели?!

— Естественно… Дед ворчал сперва: глаза, мол, портишь. Я говорю: «А сам-то разве не читаешь по ночам?» Он рукой махнул…

«Все про деда и про деда, — с легкой тревогой подумал Саня. — Они что, вдвоем живут? Не спросить бы лишнего…» Страшновато ведь: вдруг нетактичным вопросом разрушишь вновь начавшееся знакомство.

— Ну вот, пришли уже… — осторожно сказал Саня. — Но теперь-то уж мы точно еще увидимся, да?

— Конечно!

— У вас сколько сегодня уроков?

— Пять.

— А у нас четыре. Ну ничего…

Первым был английский. Кабинет оказался еще за-крыт, у дверей гомонили одноклассники. Кинтель увидел Алку Баранову.

— Мисс Рэм, дай скатать перевод, я дома совсем забыл, что надо делать письменный…

— Лодырь, — сказала Алка.

Они с Кинтелем еще с детсадовских времен

были врагами-приятелями. Вечно спорили, и Алка всегда его подъедала и критиковала. Но выручать не отказывалась. Она сунула Кинтелю тетрадку, он устроился у подоконника. Тут же примостился сбоку Ленька Брянцев, обычно именуемый коротко — Бряк. Один из «достоевской» компании. Тоже начал писать и посапывать. Потом спросил:

— Чё, в натуре, что ли, закорешил с каким-то «дворянчиком»? Пацаны говорят…

Кинтель не стал его обзывать, разъяснил сдержанно:

— Никакой не «дворянчик», нормальный парень. Мы с ним в прошлом году на теплоходе вместе пла-вали… Что теперь было делать: пройти и не засту-питься?

— А чё в «Гнезде» живет? Там одни сыночки начальников.

— Бредятину какую-то несешь. У него отец учитель истории. Где квартиру получили, там и живут. Отказываться было, что ли? — И не выдержал: — Что у вас за привычка всегда врагов выдумывать! Лишь бы охотиться за кем-то. Как стая…

— У кого это «у вас»? — оскорбился Бряк. — А ты не такой, что ли?

— Я на людей не кидаюсь… И так по всей Земле грызня идет, а тут еще на своей улице гражданскую войну разводить…

— Ну да, ты у нас юный пионер. И тот такой же. Вот и сошлись два сознательных…

— Ну и не?фига у сознательного задание списывать, отвали на полдистанции. Алка не тебе тетрадку дала, а мне…

— Потому что она всю жизнь в тебя влюбленная…

— Вот именно! А ты ищи свою влюбленную… Иди-иди…

— Ну чё-о-о! Мне «англичанка» вторую пару вкатит!

— Тогда не возникай… И не вздумай к Саньке Денисову, к парнишке этому, прискребаться. И другим скажи… Что за люди!

«В самом деле, что за люди», — думал Кинтель о своих приятелях с улицы Достоевского.

Вроде бы, когда разговариваешь с ними, или игру затеваешь, или дело какое-то, нормальные ребята. Не дураки. Джула вон одной фантастики тыщу книг прочитал… Не жадные, заступаются друг за друга. Или когда вечером разведут костерок на пустыре, Вовка Ласкутин принесет гитару — так хорошо всем вместе делается, го-

товы друг за друга хоть куда… И такую дружную бригаду прошлым летом склепали! Джула добыл где-то длинный садовый шланг, разыскал среди развалин действующий водопроводный кран, провели кишку к обочине на Первомайской, там часто ходят машины. Поставили плакат: «Артель „Веселые брызги“, мойка автомобилей. 1 машина — 10 руб.». Желающих полно оказалось, даже в очередь вставали. А лихая артель как навалится на машину! Кто со шлангом, кто с ведром и мочалкой! Через пять минут автомобиль — словно сию минуту с завода!.. И деньги делили без всякой ругачки, поровну, только Джула за свой шланг брал из общей выручки лишний рубль… Кинтель тогда за неделю заработал сорок пять «деревянных». Жаль, что артель не протянула долго: кто-то украл у Джулы шланг…

Впрочем, спор с Ленькой не испортил Кинтелю настроения. Он спокойно радовался хорошей погоде, когда вышел из дому, та же бесхитростная радость усилилась от встречи с Салазкиным. И теперь не исчезла. На коротких шумных переменах Кинтель Салазкина не встречал, но радость не проходила. Лишь на пятом уроке ее подпортила «литераторша» Диана Осиповна.

Кинтелю казалось, что Диана — она самая. Та

учительница, из-за которой он в шестилетнем возрасте едва не схлопотал отцовских «блинов». Память на лица, как известно, была у Кинтеля скверная, но на девяносто процентов он был уверен. Диана появилась в этой школе в прошлом году. Скорее всего, она, как и Кинтель, переехала с Сортировки. Порой Кинтелю казалось, что Диана его тоже помнит, хотя и не уверена. По крайней мере, она часто поглядывала на Рафалова как-то по-особому и придиралась больше, чем к остальным. В прошлом году она преподавала у шестиклассников русский и литературу, а в этом — вот сюрпризик! — стала в седьмом "А" еще и классной руководительницей. Впрочем, Кинтель не очень расстраивался. Русский язык для него не был трудной наукой, литература — тем более. Поведения он был спокойного и к мелким Дианиным пакостям относился философски.

Нынче, однако, Кинтеля взяла досада. Это когда в конце урока Диана заявила:

— Летом вы все обязаны были прочитать «Тараса Бульбу». Кто поленился, читайте безотлагательно. Скоро мы начнем изучать это лучшее произведение Николая Васильевича…

«Обязаны были прочитать»! Кинтеля толкнула неожиданная злость. В последнее время он стал

замечать в себе такие вот вроде бы беспричинные вспышки раздражения. И не всегда сдерживал их: надо клапаны-то открывать, чтобы «выпустить пар». Сейчас, правда, сдержался. Но не совсем. Сказал вполголоса:

— Ох уж, «лучшее»…

«Вечера на хуторе…» — это да! Кинтель очень любил их, читал не раз еще и до прошлогодней поездки. А «Тараса Бульбу» впервые прочел на «Кутузове», и повесть эта его… ну как ржавой теркой по душе. Был это какой-то совсем другой Гоголь, хотя вроде бы там тоже Украина, казаки…

— Чем недоволен Рафалов? — поинтересовалась Диана Осиповна.

— Всем доволен. Только «Вечера…» лучше.

— Ты уж поднимись, будь любезен, когда беседуешь с преподавателем… Оценка произведений — дело, как говорится, вкуса. Но есть школьная программа. И кроме того, «Тарас Бульба» — это самая героическая книга Гоголя. Сгусток патриотизма…

Ох, не надо было связываться! Но, глядя в окно, Кинтель тихо спросил:

— Это, что ли, когда в Днепр евреев кидают? Или польских грудных младенцев на копья?

Класс притих. Особенно Бориска Левин, скромненький такой очкастый шахматист, с которым Кинтель сидел на одной парте.

— Ты… — выдохнула Диана. — Ты, Рафалов… поступаешь, извини меня, просто подло. Ты выдергиваешь от-дельные эпизоды… которые обусловлены определенной эпохой… не давая себе труда выявить общую тенденцию…

— Эпоха получается похожая, — все так же негромко выговорил Кинтель. — Как послушаешь радио…

— В том, что говорится по радио, Николай Васильевич не виноват! А ты… ты просто оскорбляешь! Нет, не меня! Мне обидно за великого писателя!

— Мне тоже… — вздохнул Кинтель.

— Всё! Можете быть свободны!

В коридоре Алка Баранова сказала:

— Скребешь на свою голову, Данечка. Диана Осиповна — человек памятливый.

— У нас плюрализм, — буркнул Кинтель.

— Вот-вот. Она тебе и покажет «плю»…

— Скажет «подбери соплю», — вставил оказавшийся рядом Ленька Бряк.

— Сам подбери.

На крыльце настроение опять улучшилось.

Школа выходила фасадом в сквер со старыми кри-выми кленами. Было много ярко-желтых листьев, но летнее тихое тепло еще по-прежнему согревало окружающий мир. На кленах, будто елочные игрушки, болталась там и тут малышня с пестрыми ранцами — отпущенные с продленки первоклассники и второклассники. На вытоптанной площадке был вкопан турник. На турнике, уцепившись ногами, висел вниз головой Салазкин. В таком положении он ловил красный мяч, который с хохотом пинали в его сторону два продленочных пацана.

Салазкин увидел Кинтеля. Пропустил мяч, упал с турника на руки, вскочил. Нерешительно заулыбался. Кинтель сразу понял: Салазкин ждал его. Целый час! Хотя и делал вид, что он здесь просто так, забавляется с малышами.

— Привет, — небрежно сказал Кинтель. — Домой пойдешь?

— Да, разумеется! — Салазкин подхватил с земли сумку.

И они пошли. Салазкин смущенно поддавал ногой сухие листья. При этом слегка косолапил.

— Чего хромаешь?

— Ерунда! На физкультуре ступню подвернул… А ты…

— Что?

— Какой-то немножко хмурый.

Кинтель был не хмурый, он улыбался внутри. А что насупленное лицо, так это не стерлась еще память о стычке с Дианой.

— С классной поругался. На почве расхождения литературных взглядов… — Он дурашливо вздохнул. — Не надо было, да прорвалось. Наверно, зловещий переходный возраст наступил.

Салазкин весело оживился:

— Ой, у меня мама этого возраста как чумы боится! Если что не так, сразу: «Ну вот, он уже наступает!» Я говорю: «В десять лет еще рано». А она: «Но все равно это случится! И мне заранее жутко…»

«Наверно, единственное дитя у мамы», — со скрытой усмешкой подумал Кинтель. И Салазкин, кажется, угадал эту мысль:

— У меня две сестры: Зоя и Соня, близнецы. Они уже студентки, в Москве. Мама говорит, что с ними не было никаких забот и тревог. А со мной…

— Господи, а с тобой-то что? — вырвалось у Кинтеля.

— Ну-у… — Салазкин смешно помотал головой (коричневые волосы разлетелись). — Я не укладываюсь в параметры… Сейчас ведь как? Чтобы

семья считалась «на уровне», нужен минимальный набор: импортная стенка в гостиной — раз, цветной телевизор — два, машина «Жигули» — три, породистый пес — четыре и ребенок, который занимается музыкой, или английским, или фигурным катанием, или еще чем-нибудь таким…

— Значит, все в тебя уперлось?

— Представь себе! Стенку добыли, в давние времена еще. Телевизор имеется. Пес, он хоть и без родо-словной, но вполне приличный терьер. Машины нет, но тут уважительная причина — мама страшно боится, что папа, если будет водить автомобиль, врежется в первый же столб. А больше некому… А со мной — просто беда. Никаких ярких данных.

— Ну уж… — вежливо сказал Кинтель.

— Даю слово!.. В английскую школу не взяли, потому что картавил в детстве. К спорту — ни малейшего призвания. К музыке — тоже…

— Ты ведь здорово пел тогда на «Кутузове»…

— Ох уж «здорово»! Просто вспомнилась эта песня… Кстати, музыкальный слух — это еще не талант. Голоса-то никакого. А если бы и был, у мальчиков он в четырнадцать лет все равно пропадает…

«А откуда эта песня?» — хотел спросить Кинтель. И не решился почему-то. Словно почуял границу, за которую при непрочном знакомстве заходить не стоит, хотя Салазкин и был вроде бы бесхитростно откровенен. Кинтель сказал о другом:

— А бывает наоборот: в детстве никакого голоса, а потом вдруг бас, как у Шаляпина…

— Кстати, папа обожает Шаляпина! У него старинные пластинки есть. И книга — шаляпинские мемуары…

Так вот, болтая, прошли они по улице Мичурина, по Камышловскому переулку, вышли на улицу Достоевского. Кинтель не подал виду, что заметил, как в Камышловском переулке напрягся и стрельнул глазами Салазкин, ожидая встретить недавних врагов. Никого не встретили. Миновали дом Кинтеля, но Кинтель промолчал об этом. Уже когда желтые утесы «Гнезда» на-двинулись вплотную, Салазкин спохватился:

— Ой, а ты где живешь?

— Прошли уже.

— Ой… а почему ты… Меня, что ли, провожаешь, да?

— Ну… шагаем и шагаем. Заговорились.

— А то я подумал: может быть, ты решил, что я

боюсь один идти… — Салазкин бросил зеленый взгляд.

— Ничего я не решил… Да и не тронет никто тебя теперь, я ведь предупредил. Они нормальные ребята, только иногда находит на них такое… «Классовая вражда» какая-то…

— Я понимаю, — покладисто сказал Салазкин.

— А еще мне охота было посмотреть, где ты живешь, — выкрутился Кинтель.

Салазкин обрадовался:

— Да? В таком случае идем до конца! Ко мне домой!

— Да ну, зачем это?.. — Кинтель вспомнил Денисовых — маму и папу.

— Пойдем, пойдем!.. Я понимаю, ты стесняешься. Напрасно, потому что дома никого нет. Кроме Ричарда… Мама приходит позже, папа со студентами на картошке…

Они вошли в крайний подъезд шестнадцатиэтажной громады. Поехали в лифте. Кинтель — с удовольствием: не часто случалось такое. Специально кататься на здешних лифтах он с «достоевскими» ребятами не ходил. Чудилось в этом что-то унизительное: быть чужим, ждать, что закричат и прогонят…

Салазкин уже в кабине деловито вытянул из-

под галстука ключ на шнурке. В коридоре на девятом этаже, когда Салазкин подступил к двери, бухающим эхом отдался собачий голос.

Дверь открылась, сунулся из нее большущий, с жесткой бараньей шерстью пес. Но Салазкин запихал его обратно.

— Даня, входи… Ричард, это Даня, свой! Ты должен его уважать.

Пес помахал хвостом-обрубком в знак того, что согласен уважать Даню. Доброжелательно обнюхал его брюки. И Кинтель бесстрашно потрепал Ричарда по за-гривку.

Салазкин сказал:

— Дома он со всеми добродушный. А вот на улице постороннего не подпустит. Если бы я сегодня шел не один, а с ним, никто бы не пристал…

— Теперь и так никто не пристанет, — снова успокоил Кинтель. И стал расшнуровывать кеды.

— Да не надо! У нас дома нет такого японского обычая, чтобы обувь снимали… Пошли!

Квартира была трехкомнатная. С хорошей мебелью, но без лоска, который ожидал увидеть Кинтель. С азметным беспорядком, какой бывает, если в доме все заняты и нет времени для постоянной приборки. На стенах — желтоватые

гравюры со всякими античными персонажами, в рамках и под стеклом. И всюду книги, книги, книги… Кинтель ревниво подумал, что у них с дедом и десятой части не наберется, хотя Виктор Анатольевич был тоже библиофил… А еще тут и там пестрели на полках глиняные расписные игрушки: красавицы в пышных юбках, лихие гармонисты, индюки с радужными хвостами, разноцветные кони с выгнутыми шеями. Салазкин заметил, что Кинтель смотрит на них:

— Это мамины. Она специалист по народным промыслам. Раньше работала в Управлении культуры, а теперь ушла в малое предприятие, расписывает дымковских кукол. Их знаешь как ценят! Иностранцы приезжают — и весь товар нарасхват! Потому что это ведь искусство…

— Сань, а книжку можно посмотреть? — вспомнил Кинтель. — Ну, ту самую…

— Конечно! Она у папы в кабинете, там у него все раритеты.

В кабинет Денисова-старшего Кинтель ступил с робостью. Знал уже, что отец Салазкина не просто преподаватель, а профессор Преображенского университета, доктор наук, автор нескольких исторических книг и ездил недавно в научную командировку в Голландию («Вот эти часы при-

вез, с корабликом…» Белые фаянсовые часы с голубым парусником и ветряной мельницей на берегу тикали бодро, как у себя в Голландии, привыкли).

Салазкин с некоторой торжественностью открыл дверь тяжелого шкафа. Медленно взял с полки книгу. И на ладонях поднес ее Кинтелю.

Книга была маленькая, но очень толстая. В плотных корках, обтянутых чем-то вроде пергамента, с пересохшими от старости ремешками и медными пряжками. Салазкин глянул ревниво: «Ты понимаешь, какая это удивительная вещь?»

— Можно я подержу? — шепотом попросил Кинтель.

— Возьми…

Кинтель принял в ладони увесистый томик. Покачал. Салазкин сказал:

— Даже не похожа на Устав, не правда ли? Скорее как церковная книжка…

— А можно открыть? — опять шепотом спросил Кинтель.

Салазкин снял с медных шпеньков колечки пряжек, отогнул верхнюю крышку, корешок тихо заскрипел.

— Переплет из телячьей кожи, — объяснил Кинтель. — Пересох уже, надо осторожно, чтобы

не потрескался…

На левой странице была картинка: парусная лодка в окружении всяких завитков и оружия. Справа — титульный лист. Старинные буквы всякого размера: кніга

**УСТАВЪ**

морской о всемъ что касается доброму управленію въ бытности флота на морЪ

А ниже, под чертой:

Напечатася повелЪніемъ

ЦАРСКАГО велічества въ санктъпітербургскои тіпографіи
ЛЪта Господня 1720
АпрЪля въ 19 день.

— Двести семьдесят один год назад, — выдохнул Салазкин. — С ума сойти, верно, Даня? Может быть, ее сам Петр Первый в руках держал.

— Может, — согласился Кинтель. Но почти машинально. Думал о другом. И неровно, в какой-то странной пустоте перестукивало сердце. Как при чтении книжки, в которой вдруг нащупывается приключенческая нить. Или как в игре, когда вечером крадешься в репейных джунглях на

пустыре и слышишь шорох того, кого ищешь. С тем же замиранием, только сильнее.

— Смотри, Даня, он на двух языках. Слева русский текст, а справа голландский. Петр, он же много взял из Голландии для флота…

— Потому и толстая такая, — рассеянно отозвался Кинтель.

— Жаль, что нескольких листков и таблиц не хватает… Зато смотри, какая надпись… вот там, сзади…

Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. На чистом обороте заднего листа выделялась хитрая вязь рыжих от старости чернил. Кинтель с трудом разобрал только верхнюю строку. Опять же: «Кніга Морской Уставъ…»

— Непонятно…

— Папа прочитал: «Книга Морской Устав корабельного мастера Василія Алексеева, сына Селянинова, дворянина города Зупцова…» «Зупцов» — через "п", но, наверно, на самом деле «Зубцов». Есть такой городок на Волге, выше Калинина. То есть Твери…

— Там корабельная верфь была?

— Не знаю… Может быть, этот Василий Селянинов там просто свой век доживал. Ну, как на пенсии…

— Странно, что дворянин. Мастера, они же были из простого народа.

— Не исключено, что император пожаловал ему дворянство за хорошую работу…

«Не исключено», — согласился про себя Кинтель. Но опять отрешенно. Главная мысль была о другом.

— Сань, я хочу поглядеть на нее на закрытую.

Салазкин поспешно захлопнул «Устав».

— Смотри, Даня, здесь на пряжках маленькие портреты, голова в парике. Папа говорит, что это, возможно, изображение императора…

В самом деле, в центре медных узорчатых застежек были крошечные лица в обрамлении буклей. Но теперь уже не разобрать, чей портрет. Да и не важно. Вернее, не это важно.

— Салазкин, сядь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло. И книгу возьми, вот так. Скорее.

Салазкин слегка испуганно послушался. Кинтель положил ему «Устав» корешком на коленку с коричневой родинкой-бородавкой, приоткрыл.

— Палец вот сюда, между листами… — И отошел, приглядываясь, как фотограф в ателье.

Салазкин смотрел с радостным непониманием: что, мол, за игра такая? Кинтель — руки в боки, прищурился. В нем разгорался азарт поиска и

близкого открытия. И стало весело (хотя дело-то в общем серьезное).

— Наклони книжку чуть-чуть ко мне… Ага… И сядь строго, как… старая дама.

— Так? — Салазкин сделался словно деревянный.

— Вот-вот… Жалко только, что не похож ты на мою прапрабабушку.

— Пра… на кого?

— На мою прапрабабушку Теклу Войцеховну Винцуковскую… Между прочим, ее предки были графы в свите польского короля Стефана Батория… Можно я возьму это покрывало? — Кинтель кивнул на диван.

— Конечно.

Кинтель сдернул с дивана рыжий мохнатый плед, поднял Салазкина на ноги, двумя взмахами соорудил на нем длинную юбку. Снова опустил изумленного Салазкина в кресло:

— Сядь по-прежнему… Ага! Ну точно как на фото…

— Может быть, ты все-таки объяснишь… — робко начал Салазкин.

— Ага… Если все сойдется, дед будет потрясен…

— А… он кто, твой дедушка? — вежливо поинтересовался Салазкин. Спрашивать о сути дела

он уже не решался. — Тоже потомок графов?

— Он медик… Сиди, сиди, я приглядываюсь… Раньше он был судовой врач, а сейчас заведует врачебными кадрами. А насчет графства… С одной стороны, выходит, — да. Со стороны матери. А по отцовской линии дальний предок был матросом… — Кинтель слегка потускнел, вспомнив о «Рафаиле». Но не надолго. Главное — книга!

Салазкин смотрел молча и вопросительно. Он мог, в конце концов, обидеться, раз Кинтель ничего не объясняет!

— Сань, я все расскажу!.. Чуть позже, ладно? Завтра же. А сейчас… понимаешь, я суеверный, сглазить боюсь. — Это он вроде бы и с шуткой объяснил, но на девяносто процентов всерьез.

— Ну хорошо… Можно я уже сниму эту юбку?

— Конечно! Спасибо, Сань… Я пойду, надо теперь срочно…

Салазкин встрепенулся:

— Я тебя провожу! С Ричардом. Ему все равно надо гулять.

— Но я не домой, а к… родственникам, на Сортировку. Тут рядом как раз остановка тридцать пятого…

— Ну, тогда до остановки… Можно?

— Ну конечно же! Идем!

## ЦИФИРЬ

В квартире на Сортировке не оказалось ни отца, ни тети Лизы. Дверь открыла Регишка, поглядев предварительно в глазок и пискнув: «Это ты, Даня?»

— Привет, мартышка. А где предки?

— Папа — не знаю. Мама ушла к тете Рае. Сказала, что скоро вернется, а целый час нету…

— Придет, никуда не денется. А ты сиди учи уроки, большая уже.

— Нам еще не задают… У нас учительница вос-хи-ти-тельная.

— В первые дни все учительницы восхитительные, — вздохнул Кинтель. — Знание суровой жизни приходит позже… — Регишка в этом году пошла в первый класс.

Кинтель прошел к письменному столу отца. Ящики там не запирались. Кинтель знал, что в левом — всякие старые документы, почетные грамоты, квитанции и фотографии. Выдвинул, пошарил. Нашел…

Вот она, прапрабабушка, вот они, девочка Оля и мальчик Никита, из давних, почти легендарных времен. Текла Войцеховна — прямая, строгая,

уверенная в правильности всех своих мыслей и поступков. Сидит, заложив палец в книгу, которую держит на колене. Книжка — ну в точности как та, у Салазкина!..

Девочка Оля (неужели это прабабушка Кинтеля?!) тоже смотрит строго. Наверно, нарочно, чтобы мама не обвиняла в несерьезности. А Никита… У него грустная полуулыбка и взгляд чуть в сторону. Словно этот гимназист ведает какую-то тайну. Может, знает заранее, что случится с ним в Крыму в двадцатом году? «УМ 1920 г.» — написано (вернее, нацарапано — тонко, как иглой) рядом с ним. Вернее, между ним и книгой… А может, Никита уже придумал письмо, которое после напишет на обороте снимка своим шифром?

Кинтель перевернул фотографию. Густая россыпь чисел — они тоже не то написаны острым бесцветным грифелем, не то выдавлены им. Разобрать, однако, можно, если постараться…

«Цифирь», — пришло в голову старинное слово. Это было подходящее название для числовой путаницы и загадки.

Числа были сложные. Сначала крупные — из двух или трех цифр, а рядом — дробь. Например: 843 4/22. И так сверху донизу, по всему обороту снимка. Поди разберись…

«Но, может, и разберусь! Если книга эта и правда „Устав“ Петра…» Опять зазвенели струнки азарта. Кинтель, не долго думая, сунул фотографию в портфель.

— Папа станет ругаться, — заметила Регишка. Она вертелась рядом.

— Пусть ругается. Это общая фотография, семейная, значит, я тоже имею право… Да он и не узнает, я через несколько дней принесу.

— Ты так редко приходишь, — грустно сказала Регишка. И тронула щекой рукав Кинтеля.

— Дела всякие…

— У тебя всегда дела. А летом говорил, что вместе пойдем гулять.

— Ну… еще все равно почти лето. Вот выберу время — и пойдем…

— Когда выберешь? А то я совсем…

Кинтеля нехорошо царапнуло.

— Что «совсем»?

— Ну, скучно…

— Ты же в первом классе! Сколько дел!

— Это с утра в классе. А потом…

— А мама с папой никуда, что ли, с тобой не ходят?

— Мама с папой только ругаются все время друг с другом, — с тяжелой, как ртуть, грустью

сообщила Регишка. — Им некогда.

Кинтель взял ее за подбородок. Печальная обезьянья мордашка. И под глазами темновато…

— Ладно, мартышка, завтра приду. В парк пойдем на аттракционы. Только после обеда.

— Опять сочиняешь небось…

— Честное пионерское, — усмехнулся Кинтель.

— Сейчас пионеров не бывает, — серьезно сообщила Регишка. — Маргарита Сергеевна говорит, что и октябрят, наверно, не будет.

— Как это не бывает, если вот он, галстук! — шумно возмутился Кинтель. — Ну ладно. Бывают или нет пионеры, а я приду. Ровно в два часа выходи из подъезда и жди.

— Ладно! Я желтое платье надену!

— Да, будь покрасивее. Умыться не забудь.

Несмотря на субботу, деда все еще не было дома. Кинтель поставил на плиту сковородку с макаронами, вытащил из дедова ящика с коллекциями лупу, через которую Виктор Анатольевич разглядывал значки и прочие свои редкости. Достал снимок.

…Дед появился после десяти вечера. Принюхался:

— По-моему, что-то у нас горело.

— Макароны! Ты бы еще дольше ходил где-то!

Ночь на дворе, сколько можно ужин подогревать? Вот и подпалил…

— Дела, брат Данила…

— А макароны я новые приготовил, с колбасой. На сковородке под зеленой крышкой… Сам я уже поел.

— Тронут заботой, — рассеянно отозвался дед.

— Толич… Скажи, у твоей бабушки, у Теклы Войцеховны, мог быть старинный «Морской устав»? Петра Великого…

— М-м… С какой стати?

— Ну, вообще в доме. Среди других книг…

— «Морской устав»… Кто его знает? Не исключено. Это ведь правовой документ, он действовал почти без изменений до самой русско-японской войны. А дед-то был адвокат, у него, конечно, хватало всяких сводов законов… Откуда вдруг такой интерес?

— Потому что вот… Иди сюда к лампе… — Кинтель взял со стола снимок и линзу. — Твоя бабушка держит в руке вовсе не Евангелие, а «Устав» Петра Великого! Я такой же в точности видел сегодня!

Дед никогда не показывал большого удивления. И сейчас только спросил:

— Ты уверен?

— Да! Я в лупу разглядывал, в нее даже узор на застежках виден, такая четкость! Смотри сам! Тот же узор, с маленькими головами. Это, говорят, портрет царя…

— Дай-ка… — Толич порассматривал снимок сквозь стекло. Почесал оправой лупы подбородок. — Ну, если даже и так.. что из этого следует?

— А письмо, а шифр-то! Ты же сам рассказывал, что этот Никита говорил: «Ключ в руках твоей мамы!» Оле говорил, то есть твоей маме… Значит, можно расшифровать!

— А ведь в самом деле, — отозвался дед. Без особого, впрочем, восторга. — А книга-то где?

— Ты иди ужинай, я расскажу.

И рассказал про встречу с Салазкиным, про «Устав», пока Толич на кухне прямо со сковороды цеплял вилкой макароны.

— Занятно, — сказал дед, рассеянно жуя. — Но можно ли все-таки по фотографии судить, что это такая же книга? Скорее просто похожая… С чего бы это бабушка увлекалась морскими делами?

— Может, увлекались Никита и Оля. А книгу дали Текле Войцеховне просто так, подержать, когда снимались… Тут есть еще одно доказательство! Глянь сам, найдешь или нет? — Он сунул деду под нос фотокарточку и стекло.

— М-м… Ничего я не вижу, дай поесть спокойно… Какое еще доказательство?

— Тут написано: «Ум тысяча девятьсот двадцатый гэ»… Вроде, значит, умер в тыща девятьсот двадцатом. А приглядись, у девятки колечка-то вроде нету. Это скорее семерка, только тут еще пятнышко случайное, вот и выходит будто девятка!

— Ну и…

— А «Устав»-то напечатан когда! «Лета Господня тыща семьсот двадцатого, апреля девятнадцатого дня»! Я запомнил! И «у эм» значит «Устав морской»! Видишь, рядом с книжкой написано! Специально!

— Дай-ка гляну… Что ж, можно предположить… Слушай, попить бы чего-нибудь…

— Тебе чаю или компота?

— Лучше бы кофе. У нас, кажется, оставался растворимый…

Кинтель разболтал в кипятке остатки порошка. Но сказал:

— На ночь вредно, господин доктор.

— Когда как… Дай-ка фотографию, еще посмотрю… А красивая у меня была бабушка!

— Ты лучше на цифры посмотри! Книга-то есть, а как ею пользоваться? Сразу не поймешь, зачем

эта арифметика…

— Ну-у, дружище! Я думал, ты сообразительнее. Ясно же, что большое число — номер страницы, числитель — строка, знаменатель — буква в строке. Старый способ…

— Толич, ты гений!

— Да? — грустно усомнился дед. — А кое-кто утверждает, что полный болван.

— С тетей Варей, что ли, поспорили? — догадливо спросил Кинтель. — Не переживай. Милые бранятся — только тешатся…

— Нахал ты, — устало сообщил Виктор Анатольевич. — И не был я нынче у Варвары. А торчал допоздна, да будет тебе известно, на внеплановом заседании Областного детского фонда с участием исполкомовских и медицинских деятелей. И узнал о себе много интересного…

— А именно? — оживился Кинтель. До сих пор его скребло: почему дед отнесся к открытию без должного энтузиазма? Казалось бы, Толич должен был загореться не меньше внука, а он какой-то вареный. Теперь же все понятно — когда служебные неприятности, не до тайн и приключений! Но это пройдет…

— Кучу вопросов пытались решить без всякого успеха… Конфисковали у райкомов пять отлич-

ных зданий, детская больница обрадовалась: ну, теперь получим корпус для ожогового отделения! А то малышей, которые на грани жизни, буквально в развалинах лечат… И исполкомовские чины говорят: шиш вам, есть заявки поважнее… Сволочи! Поважнее, чем умирающие дети!..

— Дед, ты поспокойнее, — озабоченно сказал Кинтель. — Опять будешь нитроглицерин глотать… Кофе еще тут зачем-то…

— Ничего… Я им, конечно, врезал с трибуны. «Подняли, — говорю, — над крышей трехцветный флаг вместо красного и думаете, что в этом вся революция?» А один проходимец (у деда это было самое привычное ругательство — «проходимец»), он мне, понимаете ли, заявляет: «А вы не думайте, что если вовремя из партии сбежали, то уже и демократ! Еще неизвестно, где вы были девятнадцатого августа!» Я говорю: «Не сбежал, а заявление хлопнул на стол перед вашими персонами! А где был девятнадцатого, вам известно! Койки готовил в больнице, когда дело пошло на накал!» А он: «Интересно, для кого койки? Может, для омоновцев, которые собирались митинг разогнать?» Тут я как заору: «Для всех, черт возьми! Для раненых! Мне плевать, кто кого разгонял, если ранен. Я врач, а не чиновная крыса!..» Еле

нас растащили…

— Кофе больше не пей…

— Ладно… А потом новое дело. Дама из детского фонда встает и читает заявление: у мальчика лейкемия, у нас вылечить не могут, спасти можно только за границей. Родители умоляют: нужна валюта для поездки. Кто даст? В детском фонде у них, видите ли, нет… Я говорю: «Как же нет? Вам завод „Кабель“ передал на баланс, нарочно для больных!» А они: «У нас плановое распределение. Таких детей знаете сколько? И если выделять каждому…» А сами толпу бюрократов возили недавно в Австрию. Делегация, мол, для обмена опытом. Проходимцы… Главное, так ничего и не решили насчет мальчика… Конечно, таких детей много, особенно после Чернобыля. Да ведь для отца-то с матерью каждый — единственный… — Дед вдруг неловко замолчал, покосился на Кинтеля. Тяжело повозился на стуле и задумался.

Кинтель сел напротив. Положил кулаки на клеенку, подбородок на кулаки. Вдруг непрошено пришла в сознание скрипичная музыка. Та самая…

— Толич, а твоя мама… — Кинтель с особой осторожностью говорил слово «мама». — Она… и этот мальчик, Никита… Они что, правда очень

дружили?

Дед поскрипел стулом.

— Я ведь не так уж много знаю… Ну да, дружили. Играли вместе. Она в этом доме жила, а он по соседству. Сын врача, между прочим… Их дом лет десять назад разломали, а до той поры на двери так и оставалась табличка: «Доктор Таиров Матвей Сергеевич». С твердыми знаками… А еще дачи у них были рядом — моих бабушки и дедушки и доктора Таирова. На берегу Орловского озера. Два сада сливались в один. Мама говорила, они с Никитой там то в прятки, то в индейцев играли… Между прочим, помню еще один снимок, как раз дачный. Они вдвоем на качелях. Мама в белом платьице. Никита в шляпе с лентой и в матроске… А еще они придумывали морские путешествия. По той карте, что над столом… Кстати, и «Морским уставом» тогда, наверно, тоже пользовались… Никите, кажется, семнадцать лет было, когда началась Первая мировая. Кинулся на фронт, вольноопределяющимся. А перед отъездом написал то самое цифровое послание, на память о детстве… Такая вот грустно-романтическая история. Давняя… — Глаза у деда заблестели, он отвернулся. — Слушай, Данила, глотну-ка я ма-аленькую рюмочку коньяка. У ме-ня есть в

аптечке. Для снятия давления и стресса…

— Только одну!

— Одну, одну… А с шифром надо разобраться. Любопытно…

— Не только любопытно. Может, и польза будет.

— Да какая же польза-то?

— А вдруг… клад?

— Тю-у… Ну какой клад мог быть у гимназиста?

— А может, нашел старинный… И перепрятал…

— Ох, Данила Валерьевич. Вроде ты уже не дитя, двенадцать лет…

— Ну и что? Самый тот возраст, когда всякими тайнами увлекаются, — рассудил Кинтель. — Тому Сойеру было столько же, когдаон клад искал. И нашел, между прочим.

— Надежды юношей питают… А если найдешь драгоценности, что будешь делать? Подашься в бизнесмены, в духе времени?

Кинтель вжал подбородок в кулаки. Прикрыл глаза.

— Не-а… Может, отдам… чтобы того пацана отправили на лечение. И еще кого-нибудь. На сколько хватит…

Дед смущенно крякнул:

— Ну… дай тебе Бог, как говорится… — И встал.

— Не трогай посуду-то, — велел Кинтель. — Сам вымою. Иди уж… к аптечке.

— Ты, Данила, хороший человек, но… циник, — сказал дед с ненастоящим упреком.

— Я современный подросток.

Утром дед крепко спал. (Ох, одну ли только рюмочку он пропустил на сон грядущий?) Кинтель разогрел вчерашние макароны, пожевал, взял полинялый рюкзачок и двинул на рынок за картошкой. Хозяйственные дела проворачивать лучше с утра, пока свежие силы. Он шагал по ранней, рыже-пятнистой от солнца улице и размышлял, что надо убедить деда, чтобы сговорился насчет машины, и купить картошку сразу, несколько мешков, засыпать в сарае в подпол. И дешевле обойдется, и не нужно будет каждую неделю топать на базар по слякоти или по снегу.

Но пока слякоти не было. Безоблачная синь и обещание летнего дня…

Когда Кинтель вернулся, дед мурлыкал и жужжал электробритвой. Бодро поинтересовался:

— Какие планы на выходной?

— К Салазкину пойду. Ну, насчет «Устава»… А потом обещал Регишку в парк сводить.

— Благородные помыслы… А я потружусь на литературной почве… — Дед выволок из шкафа разболтанную машинку «Эрика», выложил на стол пачку бумаги. — Статью буду сочинять для нашего славного «Вечернего Преображенска».

— Про вчерашних бюрократов?

— Про них родимых…

— Толич, ты и про того мальчишку напиши. Которому валюта нужна, чтобы вылечили. Может, поймут…

— Будем надеяться…

Кинтель взял из пачки чистый лист, завернул фотографию, затолкал ее во внутренний карман джинсовки.

— Толич, я пошел!

Вчера на остановке, ожидая автобуса, Кинтель все-таки проговорился Салазкину: мол, кажется мне, что прапрабабушка на фотографии держит «Морской устав». И Салазкин взял с него обещание «непременно появиться завтра утром!». И еще сказал: «Ты видишь, мы не зря встретились! Это просто судьба!» Сам Кинтель постеснялся бы столь откровенно и радостно выразить эту догадку. Но подумал, что, возможно, Салазкин прав…

Договорились на одиннадцать. Кинтель вышел без пяти минут. День уже разгорался, как в июле.

Кинтель стянул курточку и, помахивая ею, зашагал к желтым корпусам «Дворянского гнезда».

Открыла Санина мама.

Сейчас Кинтель разглядел, что она не такая молодая, как казалась на теплоходе. Постарела за год? Едва ли. Просто Кинтель впервые видел ее так близко, без косметики, в надетом поверх пестрого платья синем халатике — как у школьной технички.

— Здрасьте… я к Сане. Он дома?

— Проходи, мальчик… Повесь курточку на крючок.

Кинтель шагнул. Повесил. Нагнулся, чтобы расшнуровать кеды. Санина мама не остановила его, как вчера Салазкин, и Кинтель мельком порадовался, что носки чистые и без дырок.

— Саню я заставила заняться уборкой в своей комнате, там чудовищный кавардак… Санки, к тебе мальчик!.. А я пошла докрашивать свою композицию.

Салазкин — встрепанный, в старом тренировочном костюме — появился в дверях. Просиял:

— Здравствуй! Какой ты молодец, что пришел!.. А меня тут взяли в ежовые рукавицы, в пе-да-гогические. Исправляют трудовым воспитанием.

— Давай помогу.

— Нет, что ты! Я уже всё… Пойдем, только тахту придвинем к стенке.

Они придвинули. Салазкин утащил в коридор совок и веник, стремительно вернулся. Плюхнулся на тахту, вскочил:

— Садись, Даня… А я заранее «Устав» приготовил, вот…

Знакомая книга лежала на столе. Кинтель потянулся к ней…

— Санки!.. — Это голос матери долетел из другой комнаты. — На минутку, пожалуйста!..

— Даня, извини, я сейчас… — И Саня ускакал.

Кинтель взял книгу — сгусток старины и тайн. Надо теперь сравнить поточнее: такая же, как на снимке?

Он вспомнил, что фотография в кармане курточки.

Вышел в прихожую. Мягко ступая по ковровой дорожке, дошагал до вешалки. Из-за приоткрытой двери слышны были голоса. Салазкин говорил жалобно и капризно, мама негромко и увещевательно:

— Я просто советую тебе быть внимательнее. И разве тебе недостаточно друзей на Калужской?

— Ну, ты ничего не понимаешь! Ты даже не запомнила его! А там, на «Кутузове»…

— Я прекрасно запомнила. Я еще тогда обратила внимание на какую-то его… угрюмость. Если хочешь знать, это неистребимая печать улицы…

Слабея от стыда, Кинтель задержал дыхание. Увидел себя как бы со стороны. Ведь и правда, ежа не причешешь, как ухоженную кошку. И отпечаток уличной вольницы въедается в человека, словно угольная пыль. Тем более, что и старые брюки не глажены, и майка со штопкой на боку. И как он вошел — угловатый, нескладный…

— Кстати, почему он был с дедушкой? Кто его родители?

— Ну откуда я знаю? Допрашивать, что ли?

— Не допрашивать, а деликатно поинтересоваться…

— Дедушка у него очень интеллигентный человек. Такой же книголюб, как папа…

Мама ответила что-то неразборчиво.

— Ну и что же? — тонко возмутился Салазкин. — Я же не могу, как Ричард на поводке! На фига было тогда переезжать сюда?

— Вот-вот! Этому ты, видимо, научился у него…

— Ничего не у него! Он… наоборот… Если хочешь знать, его прапрабабушка была польская графиня в свите Стефана Батория…

Возникший в прихожей Ричард вопросительно помахивал хвостом-обрубком и смотрел, как вчерашний знакомый осторожно снимает с крючка куртку, сует ноги в кеды. Может, гавкнуть? Кинтель, глядя в собачьи глаза, прижал палец к губам, бесшумно отодвинул язычок замка… Прикрыл за собой дверь. И в незашнурованных кедах кинулся по лестнице через все этажи: с девятого до входа в подъезд.

## УЛИЦА П. МОРОЗОВА

Обиды на Салазкина не было. Никакой. Мало того, не было обиды и на его мать. Была досада на себя и ощущение постыдного провала. Словно, не умея танцевать, сунулся вальсировать посреди большого зала и оскандалился под неловкое молчание всех, кто это видел.

…Была еще злость. Но опять же не на маму и сына Денисовых, а на весь белый свет.

Кеды он зашнуровал только у своего дома. Деду пришлось соврать: уехал, мол, новый приятель на дачу, неожиданно. Врать придется и после: что книжка на снимке все же не «Устав» и прочитать цифирь не удалось… Обидно. Теперь до «Устава» не добраться. Разве что когда-нибудь

потом, в какой-нибудь столичной библиотеке с редкими книгами Кинтель разыщет этот раритет и разгадает тайну.

Впрочем, сейчас тайна уже не казалась такой важной. И горечи оттого, что на неведомые сроки отодвинулась разгадка, почти не было. Была печаль, что не получится теперь ни дружбы, ни даже простого знакомства с Саней Денисовым, который год назад так хорошо пел песню о трубаче… Но и эту печаль Кинтель принимал с хмурой покорностью судьбе. Он привычный. Случалось переживать и не такое… Да и зачем ему этот мамин Салазкин? Ну славный, доверчивый, хорошо с ним, не надо быть вечно ощетиненным, пренебрежительно-насмешливым, как с «достоевскими» и одноклассниками. Однако что поделаешь? Мало ли неплохих людей в жизни встречается и уходит… А пока надо думать о том человеке, которому он, Кинтель, действительно нужен. Такой, как есть, без придирок. Регишка-то ждет!

Кинтель почистил и поставил вариться картошку. Деду (который все стучал на машинке) велел следить, чтобы «не сплавить на плиту варево». Потом соврал еще разок: сказал, что пообедает у отца.

Когда Кинтель прикатил на Сортировку, было как раз два часа и Регишка нетерпеливо пританцовывала у подъезда. Вся ну будто подсолнух: в желтом платье, в желтых колготках, с бантами солнечного цвета.

— Ты прямо как прожектор. Издалека видать.

— Это чтобы я от тебя не потерялась… Мама, мы пошли!

— Долго не гуляйте! — крикнула из окна первого этажа тетя Лиза.

Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде-драконе, который бодро бегал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз — пластмассового зайчонка (когда-то такого же подарила Кинтелю в детском саду Алка Баранова). Высадили груду мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кинтеля была десятка — запас еще от прошлогоднего летнего заработка, — а через два часа осталось меньше рубля.

Регишка вела себя очень пристойно. В меру радовалась аттракционам и мороженому, в меру смеялась, но чаще была серьезной. А Кинтеля, несмотря на всю парковую пестроту и суету, не оставляли мысли о Салазкине. И наконец он с облегчением побренчал в кармане мелочью:

— Всё. Финансов только на автобус. Топаем домой.

— Хорошо.

В автобусе и по дороге к дому Регишка была задумчивая. Держала Кинтеля за руку и молча смотрела под ноги.

— Ты чего приуныла? Устала?

Она почесала пластмассовым зайчонком нижнюю губу. Подняла мордашку — глаза непривычно темные. Сказала по-взрослому:

— Даня, мне кажется, мы оба сегодня притворялись…

— Как это?

— Ты веселился не по правде, у тебя какие-то заботы.

Кинтель вздохнул:

— А у тебя?

— У меня… потому что папа и мама по-настоящему собрались разводиться…

— Да ты что!

— Да. Раньше они просто ругались, и это было еще ничего. А сейчас папа говорит: «Будем разменивать квартиру…»

Кинтель молчал. Регишка хотя была и не родная отцу, но любила его: все-таки пять лет вместе, с младенчества.

— Может, еще раздумают…

— Нет уж. — Регишка помотала бантами. — Даня… а ты будешь приходить ко мне, когда папа уйдет?

Тут у него непрошено щекотнуло в гортани. Он кашлянул, сказал тихо, но со всей твердостью:

— Буду. Пусть разводятся, это их дело, а мы с тобой… все равно… Не бойся…

— Тогда хорошо… — Она покрепче ухватила его ладонь. — Я хочу сказать, что тогда это не так страшно…

Тетя Лиза крикнула из окна:

— Появились! Наконец-то! Идите быстро, я вас покормлю!

— Нет, я не хочу! — отозвался Кинтель. На самом деле есть хотелось ужасно, хотя, кроме мороженого, они в парке еще сжевали по пирожку с повидлом.

— Даня, зайди хоть на минуту! Папа хочет с тобой поговорить!

— Ох, — прошептала Регишка. — Я тебя, кажется, выдала.

— Как?

— Вчера папа в ящике какие-то облигации искал, а потом спрашивает: «Ты не знаешь, кто ко мне в ящик лазил?» А я говорю: «Даня фотокар-

точку взял…» Не надо было, да?

— Почему не надо? Все нормально…

— Даня, ну зайди! — Это опять тетя Лиза. — Папа просит!

— Мне домой пора, дедушка ждет!

— Постой тогда, папа сам выйдет!

— Беги домой, — сказал Кинтель Регишке.

Та ушла, и тут же появился отец.

— Привет, наследник. Я тебя провожу, не возражаешь?

Кинтель не возражал. Но когда пошли, сказал сразу:

— Уж не думаешь ли ты, что я твои облигации стащил?

— Не думаю… Я их в бумажнике обнаружил… А фотография-то тебе зачем?

— Предками интересуюсь. Голос крови проснулся…

— Дед небось рассказами своими тебе мозги пудрит? — хмыкнул Валерий Викторович.

— Ну и… а тебе-то что?

— Да ничего… А он как сейчас? В каком настроении? Побеседовать мне с ним надо.

— О будущем, что ли? — напрямик спросил Кинтель.

— В курсе уже?

Кинтель заверил с тайной ноткой злорадства:

— Дед не одобрит.

— Ты, я смотрю, тоже не одобряешь?

— Дело ваше. Только Регишку жалко…

Отец помолчал на ходу. Потом бросил в сторону:

— Меня вот только никому не жалко…

— Сравнил, — сказал Кинтель. Подумал и добавил: — Непонятно, почему вы такие…

— Кто «вы»?

— Взрослые… Все время предаете детей.

— Ты это… поконкретнее.

— Ну, например, ты. Сперва меня, сейчас Регишку…

Отец тяжело проговорил:

— Насчет себя ты матери скажи спасибо.

— Легко теперь на мертвых валить.

— А она живая была, когда бросила! И тебя, и меня!.. Ты знаешь, как она пила? Вроде бы культурный человек, высшее образование, а… Ты деда спроси! Сама ушла, я не прогонял… Может, и лучше, что этот случай с «Нахимовым». Для нее лучше…

— Еще что скажешь… — тихо отозвался Кинтель.

— Ты ведь многого не знаешь, не помнишь…

Такая приходила, что страшно было к тебе подпускать. И сама захотела, чтобы ты у деда с бабкой…

— Ну и ты не возражал…

— Господи, а что тебе известно про мою тогдашнюю жизнь?

«А тебе про мою?» — подумал Кинтель. Но промолчал. Тошно было от голода и печали. Подошли к остановке.

— Вон тридцать пятый стоит, я пойду…

— Ну, топай… Не суди строго-то…

— Да мне-то что, — сказал уже издалека Кинтель. Стало вроде бы жаль отца. Но что тут поделать, он не знал.

Глядя, как внук уминает жареную картошку, дед сообщил:

— Тут появлялся один мальчуган, тебя спрашивал.

— Какой? — подскочил Кинтель.

— Судя по всему, твой новый приятель. Небольшой такой, в ковбойке, в коротких штанишках. Весьма вежливый… Его наш сосед Витя Зырянов привел. «Вот, — говорит, — Кинтеля ищет».

«Не побоялся! Сам сунулся к местным, чтобы показали!»

— Ну и что ты ему сказал?

— Ну, что… Ушел, говорю, с сестренкой в парк,

придет, наверно, поздно… Он, судя по всему, опечалился.

Только сейчас Кинтель полностью понял, что Салазкину тоже несладко. Скорее всего, тот догадался, что Кинтель услышал разговор и потому исчез. И теперь Салазкин, конечно, мается. Тонкая ранимая душа! И Кинтель хмыкнул. Вдруг поднялась на Салазкина такая досада! Кинтель постарался эту досаду подогреть и сказал себе, что Салазкин так храбро сунулся на улицу Достоевского, потому что не один, а с Ричардом.

— Он с собакой был?

— Нет, без всякого четвероногого. Только с Витькой…

Надо же! Впрочем, Кинтель ведь обещал Салазкину, что никто его не тронет…

Потом Кинтель подумал: а завтра-то что? Наверняка Салазкин отыщет его в школе. И будет небось жалобно смотреть и ненатурально спрашивать: что случилось?

А ничего не случилось. Просто незачем тебе, Саня Денисов, липнуть к Кинтелю, мама права. И годы у вас разные, и это… уровень культуры. И дружить без маминого позволения воспитанный мальчик ни с кем не должен. Еще курить научится и слова говорить всякие…

Растравив себя таким образом, Кинтель улегся на свой старенький диван и открыл наугад Гоголя. Но попался «Тарас Бульба» — то место, где он убивает Андрия. Кинтель плюнул, уронил книгу на пол и отвернулся к спинке…

Утром в сводке погоды радио сообщило, что еще два дня будет сухо и тепло, а потом придет резкое похолодание с дождями. Скорее бы! Потому что сырая унылость подходила состоянию души Кинтеля гораздо больше нынешних абсолютно летних дней.

В школу Кинтель подгадал нарочно к самому звонку — так, чтобы не столкнуться с Салазкиным, если тот ищет встречи. На переменах старался поменьше крутиться в коридоре. Раза два он замечал Салазкина в толпе, и однажды показалось даже, что Салазкин поспешил навстречу. Кинтель укрылся за дверью кабинета истории. Туда, к семиклассникам, Салазкин сунуться, видимо, не решился.

На последней перемене они все-таки столкнулись у туалета. Кинтель растерянно замигал, у Салазкина расширились зеленые глаза — в них и надежда, и во-прос, и виноватость. Но в этот миг загремел звонок, толпа ринулась из дверей, оттеснила Салазкина, и Кинтель вбежал в кабинет

русского языка, в «Дианово царство».

Весь день Кинтель был в сумрачно-рассеянном настроении, а сейчас появилась злость. Из-за того, что так по-дурацки растерялся (струсил даже!) при встрече. И вообще это глупо! Все равно ведь никуда не спрячешься, раз в одной школе. Не сегодня так завтра Салазкин подойдет. И что тогда?.. Может, послать его подальше теми словами, которые в ходу на улице Достоевского и в школьном туалете? Чтобы сразу все оборвать… Но Кинтель представил, как беззащитно замигает Салазкин, виновато затопчется на тонких ножках… А в чем он виноват-то? Мама виновата, оберегает сыночка…

Точила еще и мысль, что виноват сам он, Кинтель. На кой черт надо было боязливо линять из денисов-ской квартиры? Ну покосилась бы Санина мать на подозрительного гостя, а потом, глядишь, и привыкла бы. Увидела бы, что не юный рэкетир, не наркоман и не шпана, и все наладилось бы. И «Морской устав» оказался бы под рукой!.. А теперь под откос! Дерну-ла нелегкая чужой разговор подслушивать. Мало ли про что мать и сын говорят наедине. Самолюбие заело идиота…

«Ну и заело! — огрызнулся на себя Кинтель. —

Приятно, что ли, когда смотрят, как… на вражеского агента. Ах, завербует милого мальчика в хулиганы…»

«А жил бы ты сам с матерью, и было бы тебе не двенадцать, а десять лет, и привел бы ты в дом неизвестно кого… Думаешь, она не затревожилась бы?»

И тут Кинтель наконец перестал скрывать от себя, что дело не только в самолюбии, в стыде за свою неотесанность. Дело все в той же давней зависти, в сладковато-ревнивом чувстве, с которым он смотрел на Салазкина и его мать еще на теплоходе. Как она поправляет ему воротник и прическу, как волнуется, когда он акробатничает на бревнах. И как другие матери тоже «пасут» своих пацанов. Это был счастливый, недоступный мир. И вчера этот мир по закону своей природы оттолкнул Кинтеля, угадал в нем чужака…

Это понимание стало наконец таким ясным, что у Кинтеля зачесалось в уголках глаз — где рождаются жидкие соленые горошины. Кинтель часто замигал, глядя за окно — там солнце насквозь просвечивало желтые клены.

— …Все смотрим на доску! Кто скажет, какой в этом слове суффикс? Не вижу рук… Рафалов, ты смотришь на доску или витаешь в облаках?

— Витаю, — тихо сказал Кинтель.

— А если это обернется двойкой?

— Дать дневник? — спросил Кинтель. Все так же негромко, но уже напружинив нервы. Загоревшаяся искорка конфликта спасительно уводила мысли от горькой темы.

— Охамели вы все, — сообщила Диана Осиповна. — Что за время… Когда я училась, невозможно было представить, что школьники могут так разговаривать с педагогами.

— Это было во времена Иосифа Виссарионовича? — осведомился Глеб Ярцев — интеллигент, язва и любитель эпиграмм.

— Нет, Ярцев, я не столь древняя мумия и родилась уже после кончины «отца народов». Но должна сказать, что мы напрасно отказались от всех без разбора завоеваний той эпохи. Строгая дисциплина и порядок в делах ох как были бы полезны в наше время…

— Это точно, — подал голос Артем Решетило, сын директора местной телестудии. — Раньше в каждом бараке каждый знал свои нары… И опять кой-кому порядка захотелось, в августе.

— Ой, только не надо, не надо о политике! Теперь каждый готов речи говорить, лишь бы делом не заниматься. А между прочим, старые

методы кое-где возвращаются. И приносят весьма ощутимые плоды. Как, например, в Ставропольском крае…

— А что в Ставропольскм крае? — слегка кокетливо спросила Алка Баранова. И стрельнула в Кинтеля глазами.

— Не читали в газетах? Жаль. Там казачий круг постановил воспитывать разболтанных подростков дедовским способом. Приводят в исполком и в присутствии родителей и комиссии по делам несовершеннолетних велят снять штаны. И нагайкой… Говорят, в окрестных школах очень укрепилась дисциплина.

— Тут ведь навык нужен, — заявил Артем. — У них, у казаков-то, традиции, а у нас в школе кто пороть будет? Лично вы?

— Тебя, Решетило, с а-агромнейшим удовольствием…

*Чтоб закрутить режима гайки,*
*Лишат тебя штанов, Артем,*
*И всыплют двадцать две нагайки*
*Демократическим путем! -*

стремительно сочинил Глеб Ярцев.

Девчонки зааплодировали. А когда утихли, Кинтель проговорил, ощущая нервный холодок:

— Это полумеры. Лучше уж вывести полтыщи виноватых на майдан и очередями из «максимов». Как большевики пленных офицеров Врангеля в Крыму…

— И Крым стал с той поры солнечным, — заметил Ярцев уже прозой.

— Да, — сказал Кинтель. — И сейчас тоже сразу будет дисциплина. Как на братском кладбище.

Диана Осиповна скрестила руки на бюсте. Покивала:

— Да-да. Вы готовы до бесконечности развивать любую тему, лишь бы не заниматься учебной программой… — В это время затарахтел звонок. — Всё! Идите на перемену. Задание запишете на классном часе. В этом же кабинете…

Негодование овладело демократически настроенным обществом.

— Какой классный час?! В расписании нету!

— Сейчас последний урок!

— У меня дома пес целый день не гулял! Он знаете что наделает?

— Заранее надо предупреждать!

— Чуть поспоришь на уроке — сразу классный час!

— Ти-хо! — Диана Осиповна тренированным голосом покрыла всплески неорганизованного

протеста. — Никто не собирается обсуждать ваши споры, есть оргвопрос, это распоряжение директора! А кто сбежит…

— Пусть без родителей не является!

— Или нагайки…

— Дети, без шума! «Вы в школе или кто?! Вы ученики или где?!»

— Гусары, ма-алчать! Поручик Ржевский, как не стыдно при дамах!

*Темою данного классного часа*
*Будет, ребята, устройство фугаса…*
*Рады теперь тишине педагоги:*
*Всюду развешаны руки и ноги…*

Но это уже так, в пространство. И в дверь, которая закрылась за Дианой Осиповной.

Кинтель не пошел из кабинета. Так за партой и до-ждался звонка с перемены.

Тема классного часа оказалась вовсе не «фугасная». Просто идиотская: судьба пионерской организации. Той, которой на самом деле уже не было (даже вожатая уволилась). Но Диана сказала, что необходимо «расставить все точки». Ученики сами («Понимаете, сами!») должны решить, нужна ли в школе общественная работа и в каких формах она будет развиваться. Директор

Таисия Дмитриевна считает, например, что пионерскую дружину следует сохранить. Только…

— Я не понимаю, почему морщится Рафалов! Один из немногих, кто еще носит красный галстук и должен, казалось бы…

Кинтель морщился своим горьким мыслям о Салазкине. И с облегчением отвлекся от них. Сказал, что галстук носит как память о светлом пионерском детстве.

— Неуместная ирония… Таисия Дмитриевна считает, что дружину надо сохранить, но прежние формы деятельности и, конечно, имя Павлика Морозова сейчас оставлять неуместно.

— А за что его так, Павлика-то? — вдруг спросил сосед Кинтеля, безобидный Бориска Левин.

— Неужели надо объяснять?! Он стал символом доносительства, которое в прежние годы было государственной политикой! А теперь, когда восстанавливают извечные моральные принципы…

— С нагайками, — сказал Кинтель, удивляясь тому, как тянет его на скандал.

— Помолчи, Рафалов! При чем тут нагайки? Я говорю про общечеловеческие нормы. Никогда нельзя предавать отцов!

— А детей?! Их можно, да?! — взвинтился Кинтель. Словно сорвалась пружина. — Отцам детей

предавать можно?! — Теперь он помнил, как беспомощно и тоскливо смотрела вчера Регишка.

— При чем тут это?..

— А при том! — Кинтель подался за партой вперед. — Только и делают, что предают…

Артем Решетило (он, видать, часто слышал отцов-ские разговоры на такие темы) сказал обстоятельно:

— Сперва задурили парнишке голову светлым будущим… Это я о Морозове. Потом зарезали. Родственнички, за папу заступились. Потом сделали героем. А теперь поливают дерьмом каждый день. Великая страна сводит счеты с одним своим пацаненком…

«Дед так же говорил», — вспомнил Кинтель. Все почему-то притихли. Диана Осиповна кашлянула:

— Никто не спорит, гибель мальчика… и его братишки — это трагедия. Но нельзя же по-прежнему оправдывать неправое дело, за которое он погиб.

— Он погиб, потому что его предали, — сказал Кинтель.

И тут подал свой негромкий голос Бориска Левин.

— Афган — это тоже неправое. А солдаты, кото-

рых туда послали, разве виноваты?

— Может, их тоже как Павлика Морозова? — спросил кто-то с задней парты. — Всех подряд…

— Ты не сравнивай! — возмутилась Светка Левицкая, главная красавица класса.

И пошло:

— А почему не сравнивать?

— А в Южной Осетии по ребятишкам стреляют! Они-то при чем?

— А по телику казали, как в интернате воспитатели…

— А когда в дневник про всякое пишут, это доносительство или как?

— Нет, если взрослые про ребят, это пе-да-го-ги-ка…

— Тихо! Да тихо же, я вам говорю! — надорвалась Диана.

И стало наконец тихо. Но в этой тишине Алка Баранова задумчиво вспомнила:

— А в прошлом году физрук Ленчику Петракову ка-ак даст пинка. Тот заплакал и пошел к завучу. А физрук вслед кричит: «Иди, иди, доносчик! Павлик Морозов нашелся!» — И она опять быстро глянула на Кинтеля.

Тогда Кинтель сказал:

— Понятно, почему «Тараса Бульбу» изучают…

— Почему же, Рафалов? Изложи. — Диана Осиповна поджала губы и разомкнула опять. — Можешь не вставать…

Но Кинтель поднялся. Зашевелилось в нем что-то похожее на песенку о трубаче. Плюс все горечи прошедших дней. Плюс щекочущая глаза обида. И он выдал — спокойно так и убежденно:

— Потому что написано, как можно убивать сыновей. Не моргнув глазом. «Я тебя породил, я тебя и убью…» Шарах из берданки, и никаких вопросов…

— Ты что? Оправдываешь преступление Андрия?

— А убийство без суда — это тоже преступление, — сказал Бориска Левин.

— Левин, я знаю, что твой папа адвокат и ты подкован… Однако тогда были другие условия и права. Другая эпоха…

— Чего в ней другого-то? Сейчас тоже о нагайках тоскуем, — сказал Артем Решетило.

Кинтель, глядя через стекло на листья клена, выговорил раздельно:

— Этот Бульба просто трус.

— Ты, Рафалов, соображаешь, что говоришь? — Это она даже не с возмущением, а с жалобным страхом.

— Конечно, соображаю… Испугался, что казаки его к ответу потянут за сына: «Как ты допустил, что он к полякам переметнулся?» Вот и решил, чтобы концы в воду: «Я его своей рукой! Видите, какой я сознательный!»

— Ты… У меня даже слов нет!

Красивое лицо Дианы заполыхало. Да такое ли уж красивое оно, если злое? «Некрасивая красота, — мелькнуло у Кинтеля. — Как у матери Салазкина». И он добавил с ощущением сладкой мести:

— А старшего сына он тоже предал.

— Как предал?! Он, рискуя жизнью, пробрался в Варшаву! Чтобы поддержать его в последний миг!

Кинтель пренебрежительно шевельнул губой:

— Ничего себе поддержал. «Слышу тебя, сынку!» — и скорее ноги уносить… Уж выхватил бы тогда саблю — да на выручку. Бесполезно, конечно, да все же легче, чем слышать, как сыну кости ломают…

Диана Осиповна потерла щеки. Вроде успокоилась.

— Ты легко рассуждаешь о вопросах жизни и смерти. В твоем возрасте это вроде игры…

— Ну а если мы такие глупые, зачем это изу-

чать… в таком возрасте.

— Не «мы», а ты… Я понимаю, каждый может иметь свою точку зрения на классиков, но должен же быть предел… Уважение какое-то!..

— Дать дневник? — сказал Кинтель.

— Нет… Но я очень хотела бы встретиться в ближайшие дни с твоей матерью.

Кинтель молчал, ощущая тишину. Опять посмотрел на листья. Потом объяснил — миролюбиво так, даже устало:

— Я думал, что в учительской всем известно, что моя мама утонула на пароходе «Адмирал Нахимов». Помните, была катастрофа в восемьдесят шестом году…

«А теперь держись. Чтобы ни один волосок не намок на ресницах…»

— Ну… извини, — с придыханием попросила Диана. — Ты… сам довел меня почти до стресса… Извини.

Кинтель смотрел в окно. Красиво там было. Золотисто.

— Рафалов, ты вот что… иди-ка домой. Это не в порядке возмездия, а… просто так. Ты какой-то не такой сегодня, тебе надо успокоиться.

— Да, наверно… — И Кинтель потянул из парты портфель.

Почему она его отпустила? Устыдилась нелепых своих слов о матери? Увидела, что Кинтель весь на нервах? Или испугалась дальнейшего спора о Гоголе?.. Ну и фиг с ней. Кинтелю не хотелось больше думать ни о чем. Пришло к нему ленивое успокоение. Потому что не может человек все время быть натянут, как тетива у лука. И в этом успокоении ни школьным делам, ни даже мыслям о Салазкине уже не было места. Зато, когда Кинтель побрел к дому, шевельнулась в нем и повела мелодию музыка — тот самый скрипичный романс.

И Кинтель понял: чтобы окончательно успокоить душу, надо поехать туда.

Кинтель не стал сопротивляться этому зову. Свернул на Красноармейскую, к трамвайной линии, сел на «четверку» и через двадцать минут сошел на остановке «Детский парк».

По правде это был не парк, а сквер, где гуляли с внучатами бабушки да устраивались на скамейках дядьки с добытым в боевой очереди пивом. Но такое случалось днем, а теперь на главной аллее были тишина и пустота. Верхушки тополей были оранжевыми от уходящего солнца, стало прохладно. Бронзовый Павлик Морозов — маленький, ростом с обыкновенного мальчишку

— стоял на гранитном пьедестале. Прямой, тощенький, со сжатыми кулаками опущенных рук и вскинутой головой. Голова, плечи, распущенная рубашка были облиты грязно-серой краской. А на постаменте кто-то нарисовал суриком фашистский знак. В позе Павлика, в повороте его головы было отчаяние и упрямство…

Кинтель глянул на памятник и отвел глаза. Словно в чем-то виноват.

Аллея, что тянулась от главного входа, через сотню метров упиралась в забор из решетчатого бетона. В нем была калитка, она вела на улицу имени того, кому стоял в сквере памятник, — П. Морозова. Но Кинтель не пошел туда. Метрах в десяти от выхода, у пыльных кустов желтой акации стояла скамейка. И Кинтель привычно сел на нее.

Над решетчатым бетоном и кустами виднелся верх пятиэтажной панельной хрущобы. Она стояла на другой стороне улицы П. Морозова. Солнце пряталось как раз за этим домом, и он казался на фоне светлого неба почти черным.

Кинтель отыскал глазами второе с краю окно на верхнем этаже. Окно было открыто. Значит, она там…

«Та-а… та-та, та-та-та…» — прошелся по невиди-

мым струнам ласковый смычок. Повел мелодию плавно, с хорошей такой грустью. Кинтель отдался этой грусти без сопротивления, поплыл как в прогретой летним солнцем воде… Вот шевельнулась штора, зажегся за окном неяркий свет… А может быть, она сама покажется в окне? Пускай темным, плохо различимым силуэтом, все равно… Да нет, вечером ей не до того, чтобы стоять у окна. Небось дел по хозяйству выше головы… Ну ладно, все равно она там, в этой комнате с желтым светом. И ниточка от Кинтеля тянется туда. Вернее, такой тонкий невидимый луч. И может, однажды она ощутит этот луч, почует что-то…

Зашуршал под осторожными шагами сухой лист. Не шевельнувшись, Кинтель досадливо скосил в сторону глаза. У края скамьи стоял виноватый, с опущенной головой Салазкин…

Трудно сказать, чего больше испытал Кинтель — досады или радости. Только одного не было совсем — удивления.

— Следил, что ли? — спросил Кинтель устало.

Салазкин переступил на шелестящих листьях. Головы не поднял, объяснил шепотом:

— Да… я шел следом. И ехал… Извини…

— Ладно, извиняю… — хмыкнул Кинтель, хотя насмешничать не хотелось. — Садись, раз…

догнал.

Салазкин быстро глянул из-под волос, присел на край скамейки. Бросил к ногам сумку. Потрогал на коленке похожую на горошину бородавку.

— Понимаешь… я был там, у школы. За деревьями. А ты вышел… такой… ну, будто у тебя что-то случилось. И пошел не домой, а к трамваю… Я и подумал: когда человек в таком состоянии, он… мало ли что…

— Решил, что я голову положу под колеса? — Кинтель не сдержал язвительной нотки.

— Ну… я понимаю, что это глупо. Только я… ужасно мнительный. Это все говорят.

— Салазкин, не валяй дурака, — прямо сказал Кинтель. — Тебе просто надо выяснить со мной отношения.

— Ну… и это тоже…

Кинтель покорно вздохнул:

— Давай.

— Что?

— Спрашивай: «Почему ты ушел ни с того ни с сего…»

Салазкин понажимал бородавку, словно кнопку.

— Я знаю. Ты слышал наш с мамой разговор и обиделся…

— Да не обиделся я. Не в этом дело.

— Нет, ты обиделся. И совершенно справедливо… Даня, ну что я могу сделать, если она такая?!

— Ты на мать бочку не кати, — сурово сказал Кинтель. — Она хорошая.

— Да! Я знаю, конечно! Только… у нее ряд предрассудков… Вот и ты ушел из-за этого…

— А ты представь себя на моем месте.

— Я представил… — Салазкин опять поник головой. — Я понимаю… Но мне-то что делать теперь? На моем месте…

Это он совсем тихонько сказал. И Кинтель опять ощутил притяжение к доверчивому и отважно-беззащитному Салазкину. То самое, которое испытал впервые, услышав песню о трубаче. Тут была и готовность защитить его от врагов, и желание узнать у него какую-то тайну…

— А ничего не надо делать, — буркнул он. — Обойдется…

— Я уверен, что мама все поймет.

— Вот и хорошо… — Это получилось у Кинтеля совсем неласково, с недоверием, но Салазкину оказалось достаточным и того. Он засмеялся. Потом нервно подышал на ладони, потер ноги и локти. Вместе с сумерками подкралась неуютная зябкость. — Продрог небось, — ворчливо заметил

Кинтель. — Не лето уже.

— Чепуха… А у тебя руки тоже голые.

— Я привычный.

— А я, думаешь, нет?! Приходится закаляться с весны.

Кинтель хотел спросить, почему это такой домашний Салазкин должен закаляться? Неужели мама велит? Но не решился, сказал о другом:

— Тебя небось уже ищут. С фонарями по всем улицам…

— Я позвонил маме на работу, что задержусь… с одним товарищем. И что он меня проводит.

— Нехорошо обманывать маму, — не удержавшись, поддел Кинтель.

— Я… собственно говоря, я не обманывал, просто не уточнил. Я ведь не сказал, «с лучшим другом». А товарищем назвать… можно и того, с кем плавал однажды на теплоходе.

В этом было что-то вроде жалобного, неумелого отпора. И Кинтель слегка устыдился. Встал:

— Пойдем.

— Куда? — почему-то испугался Салазкин.

— Домой. Ты же обещал, что товарищ проводит. Надо выполнять.

— Но… ты, наверно, здесь чем-то занят. Мне показалось…

— Чем занят, то уже… всё. — Кинтель попрощался с окном глазами. — Пошли.

Они двинулись по аллее. Неторопливо. Салазкин слегка отставал. И вдруг сокрушенно проговорил из-за плеча Кинтеля:

— Я ужасно навязчивый, да?

— Нет… — Кинтель ощутил нарастающую бодрость. — Не ужасно. В самый раз! — Это он выдал уже с дурашливо-радостным оттенком. И Салазкин догнал, пошел рядом. — Только смотри, чтобы дома не узнали, с каким товарищем ты болтался, — весело предупредил Кинтель.

Салазкин сердито прыснул:

— Я не собираюсь скрывать… если мама спросит. Я имею право выбирать… друзей.

— Она решит, что я водил тебя в дурную компанию. И приучал к выпивке и сигаретам.

Салазкин с готовностью посмеялся и вдруг спро-сил:

— Даня, а ты уже пробовал курить?

— Естественно! У нас в округе все пацаны смолят… Только сейчас трудно с сигаретами, они же в сто раз подорожали. А бычки сшибать противно… Да для меня это уже пройденный этап. Мы с дедом завязали в один день.

Салазкин вопросительно молчал.

— Это весной было. Дед унюхал и говорил: «Выдеру по всем правилам». А я говорю: «Это не выход. Давай лучше вместе бросим — ты и я. Ты давно собирался…» Он подумал и говорит: «Видать, судьба. Давай. Все равно когда-то надо…»

— Я тоже один раз попробовал. Тоже прошлой весной, с ребятами за гаражом. Конечно, про это узнали, и папа не только пообещал, а по правде взялся за ремень. Единственный раз в жизни. Было совсем не больно, но ужасно в моральном отношении…

Кинтель вспомнил Диану с ее рассказами о казачьих обычаях. И сказал искренне:

— Свинство такое, нас готовы лупить все, кому не лень. И вообще изводить всячески… Даже мертвых в покое не оставляют. — Он кивнул на бронзового Павлика, они как раз проходили мимо.

— По-моему, это чудовищная непорядочность, — согласился Салазкин. И спросил: — А твой дедушка потом ни разу слово не нарушил? Насчет курева? — «И ты?» — прозвучало в его вопросе.

— Ни я, ни он… Дед у меня насчет обещаний твердый.

— Он у вас, наверно, главный в доме, да? Ты

часто о нем говоришь.

— Он… просто единственный. — И, понимая осторожное любопытство Салазкина, Кинтель объяснил, чтобы уж сразу обо всем: — Мы с ним вдвоем живем. Потому что мать погибла в катастрофе, давно еще, а у отца другая семья… Ну, живем, ничего.

Салазкин дышал виновато, но и благодарно — за откровенность.

На остановке они долго ждали трамвая. Кроме Кинтеля и Салазкина, под навесом сидела парочка: длинноволосый парень и тощая девица в мини. Поглядели на мальчишек, будто на пустое место, и начали целоваться.

— Идиоты, — шепотом сказал Кинтель. — Обязательно надо свою любовь напоказ выставлять.

Скамейка была высокая. Салазкин качал ногами. Покачал и признался:

— А я уже влюблялся… один раз. Только это была безнадежная любовь.

Кинтель кивнул: понимаю, мол. Салазкин шептал:

— Потому что она была взрослая. Мамина знакомая. Изумительно красивая, но… я-то ей был ни за чем не нужен. Даже не смотрела… Я был счастлив, когда она перестала к нам ходить.

Кинтель сказал неожиданно для себя:

— Мама у тебя тоже красивая…

Салазкин не удивился:

— Да, это многие говорят… Даня, а ты… влюблялся когда-нибудь?

Был теперь тот настрой доверия, когда два человека будто на одной радиоволне. И Кинтель сказал Салазкину то, в чем не сознался бы ни «достоевским» пацанам, ни Алке Барановой, ни деду и никому на свете:

— Как-то раз, когда я такой был, как ты… по возрасту… я увидел девчонку… девочку. Она играла на скрипке, на улице. Ей деньги на новую скрипку нужны были… И вот с той поры… Только я больше никогда ее не встречал.

— Я понимаю. Она в том доме живет, на который ты смотрел там в саду… Да?

— Что?! — изумился Кинтель. Помигал, соображая. Потом грустно посмеялся. — Нет, Сань, тут совсем другое дело… Когда нибудь расскажу… может быть.

Салазкин сказал покладисто:

— Хорошо. Конечно… про тут тайну с «Морским уставом» ты тоже обещал рассказать и в самом деле скоро все объяснил… ну а когда ты ко мне придешь?

— Я?! Зачем?

— А как же? Разве тебе не нужен ключ к шифру?

Кинтель только сейчас вернулся мыслями к цифири. До этой минуты и не вспоминал… Да, разгадать хорошо бы. Но…

— Ты сам-то подумай! Как я к вам теперь…

— Но можно когда мама на работе. Раз уж ты не хочешь ее видеть…

— Тайком, что ли? Сидеть и на дверь оглядываться?

— Ну ладно! — Салазкин встал с неожиданной решительностью. А может, просто услыхал дребезжащий вдали трамвай? Нет, сказал твердо: — Что-нибудь придумаем.

## КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУНТ

«Что-нибудь придумаем», — сказал накануне Салазкин. И придумал. Перед первым уроком он разыскал в школьном коридоре Кинтеля. Таинственно отвел в уголок:

— Я принес тебе «Морской устав»… На… — И вытащил из сумки знакомую толстую книжку с ремешками и пряжками.

У Кинтеля аж мороз по коже.

— Ты чокнулся?! А если дома узнают?

— Папа в командировке. А мама к нему в шкаф не заглядывает. Ей и в голову не придет…

Кинтель поежился от смеси благодарности и страха:

— Слушай, Салазкин, зря ты… Как-то это… не то…

— Но должен же ты расшифровать надпись!

«Должен. Конечно, должен!» Желание разгадать письмо разгорелось в Кинтеле с новым жаром. Но он сказал сумрачно:

— Вот и получается, что ты из-за меня… лезешь в нехорошую историю. Мать правильно боялась.

Зеленые глаза брызнули сердитой обидой.

— При чем здесь ты? Это моя проблема — книгу тебе дать. К тому же папа никогда не запрещал мне трогать свои книги. Так что формально я ничего не нарушил…

— Он приедет и покажет тебе «формально»… Второй раз в жизни…

На сей раз Салазкин не обиделся:

— Он приедет лишь послезавтра. А ты сегодня и завтра посидишь над расшифровкой, а потом книгу я поставлю на место. Конечно, здесь есть элемент риска, но…

— Вот именно! «Элемент»… А если у меня порт-

фель уведут или еще что-то случится?

— Ты уж будь осторожен, — слегка испуганно попросил Салазкин. — Теперь все равно никуда не денешься.

— Балда ты, — сказал Кинтель жалобно. — Спасибо, конечно, только все равно балда. Принес бы уж лучше ко мне домой, зачем в школу-то было переть?

— Я сначала и принес домой! Не такой уж я балда. Но ты уже ушел…

Кинтель виновато посопел:

— Да. У нас нулевой урок нынче был, биологичка назначила. Расписание кувырком… Ладно, я весь день буду портфель прижимать к пузу. А из школы пойдем вместе.

К пузу он портфель не прижимал, но на переменах не выпускал из рук. Обычно-то как: бросишь где-нибудь в угол или на подоконник и гуляй, пока не пришла пора идти в кабинет. Но сейчас Кинтель был словно дипкурьер со сверхважными документами. Впору приковать ручку портфеля к запястью.

Чувства у Кинтеля были разные. Прежде всего — радость, что ради него Салазкин пошел на такое дело. И что опять появилась надежда на разгадку письма. Но радость была перемеша-

на с острым опасением. Не дай Бог, если дома у Салазкина узнают про это. И влетит ему, конечно, по первое число, и (что самое плохое) не подпустят его после этого к Кинтелю и на милю. Мама небось на всех переменах будет дежурить в школе. Или, чего доброго, переведут Саньку в другую… И зрело в Кинтеле предчувствие, что добром вся эта история не кончится.

Была даже мысль отыскать на перемене Салазкина и сказать: «Забирай-ка ты этот раритет, Саня, от греха подальше». Но ведь у Сани Денисова книга тоже не будет в безопасности. Наоборот, чего доброго, ухватят у растяпистого новичка-пятиклассника сумку, начнут футболить по коридору или по двору. Или сопрут — бывает и такое…

А Салазкин — то ли боялся быть навязчивым, то ли просто показывал Кинтелю, что полностью доверяет, — ни разу не подошел на переменах. Только в окно с третьего этажа Кинтель видел, как Денисов и его одноклассники по-обезьяньи качаются на кленах и турнике, гоняются друг за другом и сражаются рейками, балансируя на буме…

Ох, скорее бы кончились пять уроков…

Четвертым и пятым часами стоял в расписа-

нии труд. Преподавал его молодой и энергичный Геннадий Романович. В нем не было ничего от привычного образа трудовика, похожего на завхоза или фабричного бригадира. Геночка был строен, интеллигентен и вежлив даже с разгильдяями и балдежниками. «Сударь, ваше разухабистое обращение с таким тонким инструментом, как стамеска, может иметь непредсказуемые последствия… Весьма сожалею, но, если вы не перестанете ковырять вашего соседа напильником, я предоставлю вам свободу действий за пределами этого помещения…»

Девчонки болтали, что Геночка пишет стихи и готовит к печати книжку. Диана Осиповна однажды высказалась: «Представитель нового поколения. Весь из себя демократ…»

Он и правда был демократ. И сейчас, в коридоре перед мастерской, не стал орать и грозить «неудами», увидев на полу свалку семиклассников, решивших малость поразмяться. Он встал над ними и раздумчиво проговорил:

*О поле, поле, кто тебя*
*Усеял мертвыми костями…*

«Кости» поднимались, отряхивались, говорили «здрасьте» и шли в мастерскую, которую Генна-

дий Романович отпер для мальчишек (девчонки ушли на домоводство).

Сумки и портфели полагалось оставлять в тесной комнатке, где хранились краски, лаки и запасные инструменты. Называлась она почему-то по-военному — каптерка. Кинтель оставил там портфель с большой неохотой, а потом занял место у крайнего верстака, поближе к полуоткрытой двери каптерки.

Задание оказалось простым: зачищать шкуркой ручки для напильников. Ручки эти наточили на токарных станках старшеклассники.

Поднялся ропот:

— Фига ли вручную-то! Можно было сразу на станке зачистить…

— Это специально, чтобы мы, как бабуины, чухались…

— Восьмые-то классы на станках, а мы — доски от забора к забору таскать или колупаться без пользы…

Геночка, поглаживая модную шевелюру, кивал и разъяснял доброжелательно:

— На станках начнете работать во второй четверти. Есть учебный план, утвержденный нашей уважаемой Зинаидой Тихоновной. Ваше стремление к социальной справедливости похвально,

однако система требует разумного программирования... А что касается ручного труда, то именно он облагораживает личность, воспитывает в ней гармонию между интеллектом и физическим совершенством... Кто зачистит не меньше десяти штук, имеет пятерку в журнале...

— А сколько надо на четверку?.. А на трояк?..

— Четверок и трояков не будет. Или пять, или ничего... Левин, почему вы раскручиваете тиски с такой осторожностью, словно они из динамита?

Последнее выражение дало толчок новому трепу. Нечто вроде конкурса черного юмора. Шурик Хлызов, хихикнув, вспомнил:

*Говорила бабка внучку Мите:*

*"Не копайся, Митя, в динамите!*

*Не копайся, я кому сказа..."*

*К потолку приклеились глаза.*

Геночка азартно насторожился. Он собирал школьный фольклор.

Юрка Бражников, который всегда спорил, сказал:

— Это старо. Сейчас в таких стихах должна быть связь с современностью. Вот, например:

*Дедушка кашлял, окурки кидал.*

*Дяденька внуку «калашников» дал.*
*Рады родители: "Тихо и чисто.*
*Мальчик у нас записался в путчисты".*

Кинтель не болтал и почти не слушал. Зажал в руках деревянную ручку и швыркал по ней шкуркой. Не ради пятерки, а просто когда работаешь, время бежит быстрее.

А народ резвился:

*Дедушка в свете земельной реформы*
*Грядку копал у вокзальной платформы.*
*Чавкнул колесами быстрый экспресс.*
*«Зря ты в политику, дедка, полез...»*

Геннадий Романович громко заспорил:

— Нет, друзья, это уже не то! Политическая тема не спасает жанр от вырождения. Когда я учился в институте, перца в таких стихах было больше. Вот, послушайте... — Он встал в позу декламатора, но прочесть не успел.

— Ка-ак тут у вас весело... — Это возникла в дверях Диана. Кокетливо поинтересовалась: — Можно к вам на минуту?

Геночка рассыпался в словесных реверансах, из которых следовало, что присутствие многоуважаемой Дианы Осиповны послужит стимулятором

дальнейшего совершенствования этих отроков в ручном труде, который всегда граничит с подлинным творчеством.

— Я как раз насчет ручного труда. Завтрашнего… Всех прошу слушать меня внимательно! Завтра приходим в школу к восьми утра без портфелей. Одеться потеплее и по-рабочему, желательно взять старые перчатки. Поедем на автобусе… Совхоз Кадниково очень просит нас помочь им на картофельных грядках.

— У-у-у!! — такова была первая реакция. Еще не оформленная в организованный протест.

— Что значит «у-у»?! Думаете, учителям больше, чем вам, хочется туда ехать? Срывать программу, комкать занятия?.. Но когда от нас зависит судьба урожая…

— Почему от нас-то? — сказал Шурик Хлызов и дерзко замахал белесыми ресницами.

— От нас — в том числе! Так же, как от всех горожан! Вы что, с Луны свалились?

— Да уж конечно! На Луне школьников на картошку не гоняют, — сказал Артем Решетило. — Потому что там социализм не строили…

— Вот и отправляйся учиться на Луну! А пока ты в нашей школе…

— А в нашей школе учителей не хватает! — за-

явил Юрка Бражников. — Но никто ведь не зовет колхозников английский преподавать!

— Оставь, Бражников, свою демагогию! В колхозах и совхозах не хватает рук! И едут все: инженеры, артисты, ученые, доктора, хирурги…

Тут Кинтеля потянуло на язык. Что с ним такое в эти дни? Как увидит Диану, так хочется все поперек…

— Ага, они, хирурги-то, сперва в земле копаются, а потом этими пальцами в потрохах больных. Аппендиксы ищут…

— А с Рафаловым я вообще дискутировать не намерена! Итак, повторяю: завтра в восемь…

— У меня завтра тренировка в бассейне, — сказал Дима Ивощенко — пловец и призер областного уровня.

— Потерпит твой бассейн!

— Он-то потерпит, а я…

— А картошку ты любишь?

Димка меланхолично разъяснил, что картошку он любит, особенно с укропом и постным маслом. И потому:

— Мы свои шесть соток на участке давно выкопали…

— Ка-ак замечательно! А о других думать не надо? О государстве!

— А государство о нас много думает? — нахально спросил Ленька Бряк. — В кабинетах потолки текут и штукатурка на башку валится…

— Вот именно! А совхоз обещал в обмен на помощь дать школе стройматериалы!

— Бартерная сделка, — сказал Решетило. — Живых школьников — на известку и цемент. Это, дети мои, рынок… Лучше бы дали каждому горожанину по участку, чтобы картошка была у всех. А то только обещают…

— Как ты лихо решаешь экономические проблемы!

— А это не я, это академик Тихонов недавно по первой программе выступал.

— Ну вот когда ты будешь академиком…

— Тогда уже картошки не будет. При таком хозяйствовании…

— Я понимаю, что твой папа — человек политически подкованный и тебя воспитывает соответственно, однако, пока ты в школе…

— Я должен учиться, а не на грядках вкалывать вместо картофелекопалки…

— Нет, это надо же!.. Чтобы мы в свое время… Ну хватит! Это не я придумала! Это распоряжение исполкома!

— А они не имеют права, — подал голос Глеб

Ярцев. — Школьников посылать нельзя. И вообще принудительный труд запрещен. Только что Декларация прав гражданина в «Молодой смене» напечатана. Там сказано…

— Статья двадцать третья, последний абзац, — ввернул политически подкованный Решетило.

— Ну какая, какая может быть Декларация, когда стране грозит голод? Го-лод! Вы это понимаете? Критическое положение!.. Да, в стране много беспорядка, но сперва надо спасти урожай, а потом уже думать, как быть дальше…

Кинтель снова не выдержал:

— Это каждый год говорят, с давних пор. И никакого толку. Дед с молодых лет на картошку ездил, сейчас тоже всех гоняют…

— Но ты пока еще ни одного клубня не убрал!.. Впрочем, Рафалову я персонально разрешаю в совхоз не ехать! Раз он такой утомленный. Есть еще… саботажники?

Наступило нехорошее молчание. В этой тишине Бориска Левин осторожно спросил:

— А тем, кто не поедет, завтра приходить на уроки?

— Это… как понимать? Ты тоже отказываешься?

Бориска объяснил негромко, но безбоязненно:

— Меня просто не отпустят. Сестра недавно из колхоза вернулась, она в отряде пединститута. И сейчас в больнице. Их там двенадцать человек на поле отравились. То ли пестицидами, то ли еще чем-то. Это те, которые сильно. А кто не очень — тех еще больше… Между прочим, недалеко от Кадникова.

— Про это в газете было! — вмешался Ленчик Петраков. — В той самой, где Декларация!

Кинтель тоже вспомнили: дед рассказывал про отравления студентов на полях. Причем не первый год такое. Медики ломают головы: что за болезнь, откуда свалилась? Всякие комиссии шлют. А студенческие отряды с полей благоразумно сматываются.

— Теперь, значит, нас на место студентов, да? — Кинтель аккуратно отложил зачищенную ручку. — А потом еще говорят, что детей у нас не предают…

Гвалт поднялся:

— Ничего, ребята, будет отбор на выживаемость!

— Да фиг им, меня тоже не отпустят!

— А противогазы в совхозе дадут?

— Это как в Иране! Там пацанов на минные поля впереди солдат пускали!..

— Как в анекдоте: а дустом не пробовали?

— Борька, а с сестрой что?

Бориска сказал:

— Ноги отнимаются. И слабость…

Диана Осиповна возвысила голос до предела:

— Ти-ше! Вы что, с ума сошли?! На те поля, куда вы поедете, выдан санитарный паспорт!

Бориска вдруг крикнул:

— Где сестра была, там тоже такой паспорт был!

— Как вам не стыдно! — Диана полыхала щеками. — Геннадий Романович, хоть вы на них подействуйте! Ведь будущие мужчины!.. Когда я девочкам сообщила, ни одного голоса против!

— Потому как дуры, — разъяснил Решетило. — Или не знают… От таких отравлений могут себе заработать бесплодие…

— Что?! Что-о?! — тонко завопила Диана. — Да ты хоть соображаешь?.. Ты что понимаешь в таких делах?!

— А это не я. Это в «Тревожной студии» профессор мединститута рассказывал…

— Но вам-то, я полагаю, такая опасность не гро-зит, — ехидно заметила Диана. — Думаю, причина вашего спора гораздо проще, без медицины и политики. Обычная лень… И хотя бы подумали:

как вы подведете совхоз. А они там… всегда так замечательно встречают ребят. Говорят, в прошлом году несколько фляг молока прямо в поле привезли — пейте на здоровье!

Глеб Ярцев сказал:

*В совхозе городских ребят*
*Зовут желанными гостями.*
*О поле, поле, кто тебя*
*Усеял…*

— Хватит! — Диана даже взвизгнула. — Не хотите — не надо! Но каждый… я подчеркиваю — каждый — пусть заявит об этом персонально!.. Геннадий Романович, портфели у них в той комнате? Отлично! По крайней мере, никто не сбежит! Я сяду там, и пусть заходят по одному. В зависимости от решения делаю запись в дневник… Вы позволите?

Геннадий Романович развел руками: не смею, мол, препятствовать. А на мальчишек посмотрел сочувственно. Кое-кто струхнул. Одно дело — галдеть в толпе, другое — подвергаться индивидуальной обработке. Да и дома, прочитавши Дианину запись, могут врезать… Но Артем Решетило поднял над головой ладони, сцепил указательные пальцы: «Держись, парни…»

Диана Осиповна решительными шагами удалилась в каптерку. Через пару минут послышалось:

— Афанасьев!

Гошка Афанасьев сделал скорбную мину, помахал рукой: прощайте, товарищи. И пошел… С минуту из-за двери слышались неразборчивые голоса. Потом Гошка появился с дневником и скорбно прочел:

— «Злостно нарушал дисциплину, отказался ехать в подшефный совхоз. Родителям явиться в школу!..» — И сообщил: — Вытащила у всех дневники, сложила стопкой и спрашивает: «Поедешь?! Нет?» И катает ручкой на полстраницы…

Кинтель не боялся неприятностей из-за отказа от поездки. Дед поймет. Но сердце нехорошо застукало, когда услышал, что Диана шарила в портфелях… А та вы-кликала: «Корабельников!.. Бражников!.. Левин!» И все шли в каптерку и выходили с одинаковым выражением лица. Пускай, мол, пишет, не пропадем…

Кинтель с тревогой и нетерпением ждал, когда и его позовут пред разгневанные очи. Чтобы получить запись и поскорее убедиться, что книжка на месте. Ждал и… не дождался…

Диана возникла в дверях:

— Всё! С теми, кто и на самом деле не поедет, разговор будет на родительском собрании. С директором и завучем!.. — И стук-стук каблуками к выходу.

— А я?! — сказал Кинтель. — Меня-то не вызывали!

Диана Осиповна с удовольствием сообщила:

— А ты, голубчик, после урока явишься в кабинет Зинаиды Тихоновны. И никуда не денешься. Потому что портфель твой уже там. У нас будет до-олгий разговор…

И как скверно стало Кинтелю. Сразу понял: это все-таки случилось.

## СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

Уже после, много времени спустя, Кинтель сообразил, как портфель попал в кабинет к завучу. Судя по всему, Диана открыла в каптерке тесное оконце и кого-то окликнула в школьном дворе: «Отнесите, пожалуйста, это к Зинаиде Тихоновне…»

А пока не кончился второй час труда, Кинтель маялся. Внешне он был спокоен, зачищал рукоятки и даже мурлыкал под нос. А внутри его поедом ела тревога. И полчаса показались ему тягучими,

как жвачка.

Едва грянул звонок, он бросился на второй этаж, к двери с табличкой «Завуч».

Завучей в школе было несколько, но Зинаида Тихоновна — главная над ними. И даже над директоршей Таисией Дмитриевной — в тех вопросах, которые касались учебы. Потому что Таисия Дмитриевна по уши была занята хозяйственными делами, а школьные программы, уроки, дисциплина — все это на выносливых плечах Зинаиды Тихоновны. И тем не менее она была доброй теткой — это все признавали. Высокая, худая, с длинным складчатым лицом, в очках-колесах и с девчоночьим хвостиком на темени, она и на завуча-то не была похожа. А походила на моложавую бабушку из какого-то детского фильма — притворно-сердитую, но хорошую в душе. И если бы по какому-то другому вопросу, Кинтель шел бы к ней без всякой робости. Но сейчас понимал — книга…

Он стукнул в дверь, услышал «заходи», вошел. Встал у косяка.

— Здрасьте… — И глаза в окно. Однако успел разглядеть, что в комнате трое. Кроме Зинаиды Тихоновны и Дианы, еще незнакомый дядька — лысый, с кустиками рыжеватых волос над вис-

ками, но молодой. В модной куртке, в маленьких блестящих очках.

— Здравствуй, здравствуй, Рафалов… — Зинаида Тихоновна добродушно и в то же время сокрушенно закивала. — Ну, выкладывай, что натворил?

— А что? — сказал Кинтель. — Я и сам не понимаю! Всем прямо там, в мастерской, записи вляпали, а меня сюда…

— Не прикидывайся! Дело не в записи! — Диана водрузила на стол портфель и — конечно же! — достала из него «Морской устав». — Откуда у тебя это?

«Ох и дурак же ты, Салазкин! Догадался, притащил… Как теперь спасти тебя от беды?»

Кинтель понимал, что дело безнадежное, но все же произнес в пространство:

— Как откуда? Из портфеля. Сами вытащили…

— Рафалов, Рафалов… — укоризненно сказала Зинаида Тихоновна.

А Диана часто задышала:

— Не придуривайся! Ты прекрасно понимаешь мой вопрос!

— Я другого не понимаю. Почему вы по чужим портфелям лазите? У вас что, ордер на обыск есть?

— Рафалов! — Волосяной хвостик на темени завуча встал торчком, очки перекосились.

— А что «Рафалов»? — со звоном сказал Кинтель. — Во всех газетах и передачах о правах человека трубят, а на самом деле… беспредел какой-то! Мой портфель — моя собственность! А вы…

— А книга — тоже твоя собственность? — ехидно перебила Диана.

— А это не ваше дело!

— Рафалов! — С Зинаиды Тихоновны слетело добродушие. — Ты хочешь загреметь из школы?

— Во-во! — сказал Кинтель, ощущая, как наполняет его спасительная злость. — Я и говорю: права и демократия.

Диана воззрилась на лысого. Тот проговорил с ленцой:

— Никакие права не нарушены. Это был не обыск, а предварительный досмотр. Подтверждаю как юрист. И во избежание дальнейших недоразумений — вот, прошу…

Он вытащил из-за пазухи коричневые корочки, развернул перед Кинтелем. Тот увидел очкасто-лысую фотографию, лиловую печать, тушью написанное имя: «Глебов Андрей Андреевич». И мелкие слова: «Следователь… районного…»

Корочки захлопнулись.

— Ну и что? — сказал Кинтель. А по жилкам растеклась противная слабость. Неужели это по правде? Успели вызвать из милиции? Ради такого дела?

— Как «ну и что»? — возмутилась Диана. — Ты не собираешься отвечать даже следователю?

— А чего отвечать-то?

Бесполезно все это было, но выдать Салазкина Кинтель не мог. Пусть хоть в тюрьму везут!

— Даня Рафалов! Тебя спрашивают: откуда у тебя эта книга? — с расстановкой произнесла Зинаида Тихоновна.

— Да мало ли откуда! — Злые слезы закипели в Кинтеле. Но пока глубоко внутри. Он ощетинен-но глянул в блестящие стекляшки следователя («Как у Берии!»). — Что вы меня допрашиваете?! Краденая она, что ли?! Вы меня вором считаете?! Сами залезли в чужой портфель, а теперь…

— Каждый учитель вправе посмотреть, нет ли в портфеле ученика посторонних предметов, — на-зидательно сообщила Зинаида Тихоновна. — Вон, в четырнадцатую школу недавно взрывпакет принесли…

— Это не взрывпакет! Что, нельзя в школу с книгой прийти?

— Это посторонняя книга, — сказала Диана. — Посторонние книги приносить незачем.

— Я и не приносил. Это мне принесли почитать…

— Кто? — увесисто сказал следователь Глебов.

— Не все ли равно… Почему я обязан говорить?!

— Потому что тебя спрашивает представитель следствия! — взвилась Диана.

— И все по закону, — ровным голосом разъяснил Глебов. — Тебя допрашивают в присутствии педагогов как несовершеннолетнего. Задают четкие, конкретные вопросы. А ты юлишь…

— Сначала скажите, в чем я виноват… — Слезы подло подошли к верхней черте.

— Книга очень ценная! — спокойно (видимо, подражая следователю) разъяснила Диана. — Раритет. То есть музейная редкость. И мы вправе знать, как она оказалась в школе…

— Мы отвечаем за все, что происходит в стенах школы, — вмешалась Зинаида Тихоновна. — Поэтому и хотим выяснить: кто тебе эту книгу дал? Неужели так трудно ответить?

Кинтель хрипло сказал:

— Чья книга, тот и дал…

— Не ври! — Диана хлопнула по столу. — На

книге печать: «Библиотека профессора А.ЭМ. Денисова»! Профессор тебе ее дал? Денисов А.ЭМ.?

«Ну вот и все», — понял Кинтель. Но огрызнулся — из-за одного уже упрямства:

— Там еще написано: «Книга корабельного мастера Василія Алексеева… сына Селянинова…»

— Видите, как он крутит нам мозги! — торжествующе заявила Диана. — Корабельный мастер тут, голубчик, ни при чем, царство ему небесное. Книга эта — профессора. И я уже звонила в университет, чтобы выяснить, откуда она у тебя. К сожалению, на кафедре сказали, что Александр Михайлович ушел и будет лишь через час.

— Неправда! Он в колхозе! — вырвалось у Кинтеля.

— Нет, правда! А вот ты лжешь и крутишься!

«Врет? Или в самом деле звонила? Значит, Салазкин придумал, что отец на картошке? Или…»

— Постойте, постойте, Диана Осиповна! — Зинаида Тихоновна, кажется, обрадовалась. — Ведь у нас учится сын профессора Денисова, я вспомнила! В этом году поступил, в пятый "Б"!.. Даня, это он дал тебе книгу?

Это была уже развязка, никуда не денешься. Но Кинтель молчал. Во-первых, в горле застряла шероховатая пробка, а во-вторых… нет, не будет

такого, чтобы он, Кинтель, выдал Салазкина своим собственным языком.

— Это он тебе дал? — повторила Зинаида Тихоновна.

Кинтель сжал губы. Диана подошла к нему вплотную:

— Ну?

Следователь Глебов сидел на стуле у стены, положив ногу на ногу. С любопытством поглядывал на всех и словно ждал чего-то. И вот наконец он снисходительно проговорил:

— Я уже беседовал с сыном профессора Денисова. Тот утверждает, что никогда не давал никаких книг этому… Рафалову.

Пол буквально поехал из-под ног Кинтеля! Как во сне! Правда, на один миг… Кинтель затылком прижался к дверному косяку. «Салазкин… неужели он мог такое?»

Как живого увидел Кинтель Саньку Денисова перед собой. Беззащитного и отважного, с зеленью честных глаз… Кинтель откашлялся и с великим облегчением сказал Глебову:

— Я думал, вы по правде следователь. А вы проходимец…

— Негодяй!

Диана взвизгнула и дала Кинтелю оплеуху.

Вернее, хотела дать. Кинтель откачнулся, и она врезала пальцами по косяку. Тонко заскулила, прижала к губам мизинец. Кинтель отскочил. Глебов подбежал:

— Дианочка, что с тобой?.. Кожа содрана! Зинаида Тихоновна, у вас есть йод?

Та засуетилась, запричитала что-то, полезла в ящик стола.

Кинтель отошел на два шага. Сказал оттуда, ощущая удивительную смелость:

— Если вы следователь, что же вы закон не защищаете? Когда ученика в школе бьют!

Завуч с коричневым пузырьком выбралась из-за стола.

— Ты, Рафалов, сам спровоцировал… И никто тебя не задел, Диана Осиповна сама пострадала… Ничего страшного, ссадинка…

— А если бы я не уклонился? — непримиримо сказал Кинтель.

Глебов дул на пальцы «Дианочки». Та глянула на него из-за плеча — глаза мокрые, щеки пятнисто-розовые.

— Как ты, мерзавец, смеешь оскорблять взрослого человека? Сопляк!.. Зинаида Тихоновна, этого… уголовника у меня в классе не будет! Я его давно знаю! Помню! Он еще в шестилетнем

возрасте… позволял себе поливать взрослых… отборными словами!.. Или я сама… откажусь от классного руководства!..

— Ладно, ладно… — Зинаида Тихоновна обрела спокойствие. — Нам всем следует остыть. И разобраться, наконец, с этим делом. — Она мимо Дианы и Глебова высунулась в дверь: — Кто-нибудь… О, Геннадий Романович, помогите нам, пожалуйста! Попросите кого-нибудь узнать в пятом "Б", нет ли там Саши Денисова. Если еще не разошлись… Это новичок.

— Да знаю я! — послышался веселый голос Геночки. — Он пасется рядышком. Пытал меня, куда девался после уроков Рафалов, а я говорю: повлекли в геенну… Кстати, не понимаю, чего Диана взъелась на него… Ох, пардон, Диана Осиповна, я вас не заметил. Мое почтение, Андрей Андреевич… Эй, Денисов! Давай сюда, тут тобой тоже интересуются…

Салазкин шагнул в кабинет (Геннадий Романович — за ним, встал у двери). Глебов быстро сел на прежнее место. Завуч и Диана отошли к окну, Диана все еще дула на мизинец.

Салазкин интеллигентно сказал «здравствуйте» и теперь слегка испуганно смотрел на Кинтеля.

Зинаида Тихоновна ровностью тона попы-

талась показать, что ничего особенного не произошло:

— Саша, будь добр, подойди к столу, надо решить один вопрос. Пожалуйста.

Салазкин поправил косое крыло прически и сделал несколько широких шагов. Увидел книгу, замер…

— Саша, скажи, ты давал эту книгу Дане Рафалову?

Салазкин шевельнул головой, словно хотел оглянуться на Кинтеля. Не оглянулся. Сказал, глядя на завуча:

— Естественно… А что здесь плохого?

— Видишь ли… Книга крайне редкая, мы встревожились. Мало ли что…

— Извините, я не понимаю, — тихо, но отчетливо сказал Салазкин. — Что вас встревожило?

— Я же объясняю. Приносить такие ценности в школу не следует.

Кинтель увидел, как под клетчатой рубашкой шевельнулись и затвердели Санькины колючие лопатки.

— Извините, я не так спросил. Как вы узнали, что эта книга у Дани? — И он в конце концов оглянулся на Кинтеля.

Кинтель сказал ему:

— Шмон устроили по портфелям. Такие у нас в школе порядки… Да еще по уху попробовали врезать.

— Рафалов! — Это завуч.

— Если тебе порядки не нравятся, можешь выметаться! — вмиг завелась опять Диана.

А Глебов сообщил опять от стенки:

— С такими задатками спецшкола для трудных была бы, конечно, уместнее.

И тогда вдруг выступил Геночка:

— А что, Диана Осиповна, ваш жених приходит в школу не просто навещать вас? Осуществляет еще и правовое воспитание? На общественных началах?

Вот оно в чем дело!

Кинтель и Салазкин смотрели друг на друга, и стремительно разматывался между ними молчаливый разговор-объяснение:

«Видишь, как получилось! Я же не зря боялся… Я не виноват…»

«Мы оба не виноваты!»

«А что тебе теперь будет?»

«Не бойся…»

«Я не говорил, что это ты дал книгу!»

«Я понимаю».

Диана Осиповна между тем вознегодовала на

Геночку:

— А вас, Геннадий Романович, я просила бы не вмешиваться!

— Отчего же, уважаемая Диана Осиповна? Рафалов, он ведь и мой ученик тоже. Когда вы сегодня пришли в мастерскую и устроили… гм… воспитательную беседу, я ведь не протестовал… Впрочем, «шмон» в портфелях я не санкционировал. Зинаида Тихоновна, заявляю это официально.

— Товарищи, товарищи… Оставим наши педагогические проблемы на потом, здесь дети…

— С которыми Геннадий Романович всегда запани-брата! И распустил! — не унималась Диана.

— Наверно, потому, что по уху никого не бью…

— То-ва-ри-щи! — возвысила командирский голос завуч.

Все примолкли на миг. И в этой тишине Салазкин звонко спросил:

— Можно я теперь возьму книгу и мы пойдем?

— Нет! — Диана метнулась к столу. Видимо, терпеть поражение по всем статьям ей не хотелось. — Книгу получит отец! Когда придет!.. Зинаида Тихоновна, разве можно доверять детям такую… реликвию?

— Но папа в отъезде!

— Вот поэтому ты и взял книгу без спросу… — с

упреком заметила Зинаида Тихоновна.

Салазкин сказал медленно и очень вежливо:

— Простите, но мы с папой сами решим этот вопрос. Вдвоем.

— Вы решите его здесь! При нас! — объявила Диана. — Тем более, что ты лжешь! Отец вовсе не в отъезде! Я звонила на кафедру, и мне сказали, что он на работе! Только вышел куда-то!

Салазкин опять оглянулся на Кинтеля. Тот пожал плечами. Диана торжествующе сказала:

— Ты можешь сам позвонить и убедиться. Тем более, что отец уже, наверно, вернулся.

— Правда, можно позвонить? — Салазкин посмотрел на завуча.

Та, кажется, обрадовалась:

— Да! И… попроси папу прийти сюда. — Она повернула к Салазкину красный блестящий телефон.

Салазкин снял трубку. Потянулся к диску пальцем, замер на миг, будто вспоминая номер. Быстро завертел. И…

— Это Саня. Добрый день… Да, я так сказал… В своей школе, в кабинете завуча. Знаешь адрес? Хорошо… Я дал Дане Рафалову, я тебе говорил о нем, книгу «Морской устав». Ту самую… Надо было, об этом после!.. Его портфель обыскала

учительница, книгу отняла. Теперь нас в чем-то обвиняют… Чуть ли не в краже! Даню ударили… Да! — И положил трубку.

— Что такое?! — Зинаида Тихоновна затрясла волосяным хвостиком. — Зачем ты так?! Ты… это папе звонил?

С незнакомым тяжелым спокойствием Саня Денисов сказал:

— Я звонил кому следует… Можно я пока сяду? У меня болит нога… Придется подождать… — он глянул на круглые настенные часы, — шесть минут. Нет, теперь уже пять…

— Ты папе звонил?

— Сейчас приедет, — уклончиво ответил Салазкин. Прихрамывая, отошел от стола. Спиной вперед. Опять посмотрел на Кинтеля. Решительно так, незнакомо.

— Сядь… — Зинаида Тихоновна забеспокоилась. — Что у тебя с ногой?

— Пустяки. С дерева прыгнул, чуть подвернул… — Салазкин отступил к стене, где стояли четыре стула. На ближнем к столу сидел Глебов. Салазкин сел на самый дальний. Потрогал на коленке бородавку. Опять стрельнул глазами в Кинтеля — уже с веселыми искорками. Вскинул глаза на часы. Он явно не боялся.

А Кинтель боялся. Вновь. Вот появится отец, будет Саньке на орехи! Если не здесь, то дома. И конечно: «Не смей связываться с этим...» Как Диана сказала? «С уголовником».

А завуч все тревожилась:

— Может быть, показать ногу медсестре?

Салазкин сказал беззаботно:

— Не стоит, у меня ступня то и дело подворачивается, слабые связки. С возрастом пройдет... — Он согнулся, потер щиколотку. Волосы упали на лицо. Сквозь них он опять посмотрел на Кинтеля.

— Здесь калечат, здесь и лечат, — сказал Геночка. — Целых две травмы, не считая моральных.

— Геннадий Романович...

Зинаида Тихоновна не договорила. С вежливым «Разрешите?» шагнул в открытую дверь, мимо Геночки, человек в черной болоньевой куртке, с красным мотошлемом в руке. Молодой, с тускло-медным ежиком волос и пыльно-коричневым лицом. Сквозь этот налет или загар проступали темные веснушки. И глаза на таком лице казались пронзительно синими, с очень яркими белками.

Человек прошелся этими глазами по всем, кто был в кабинете. Сказал ровно и уверенно:

— Здравствуйте… Я не спрашиваю, сюда ли я попал, поскольку вижу Саню Денисова. Позвольте представиться. Вострецов Даниил Корнеевич, представитель конфликтной комиссии при областном Детском фонде. Так сказать, группа быстрого реагирования… Могу я поинтересоваться, что произошло?

С четверть минуты продолжалось общее удивление, обалделость даже. У всех, кроме Салазкина. Он поднялся со стула и не то чтобы заулыбался, а засветился весь. И Кинтель, глядя на него, тоже ощутил радость. Ничего еще он не понимал, но почуял, что дело, кажется, может обойтись без отца.

Первой пришла в себя Зинаида Тихоновна. Оно и понятно: будучи завучем, нервы натренировала она, как летчик-испытатель.

— Насколько могу судить, у нас ничего не произо-шло. По крайней мере, такого, что требовало бы присутствия… столь ответственных представителей.

— Боюсь, что здесь мы разойдемся во мнениях, — учтиво сообщил Даниил Корнеевич Вострецов. — Саня…

— Да! — звонко откликнулся Салазкин. — Почему нас допрашивают, как воров? И книгу

отобрали! И… Даня говорит, что его ударили!.. Я принес ему из дому папину книжку почитать, а они… — У Салазкина со слезным дрожанием сорвался голос.

В наступившей тишине Вострецов раздельно про-изнес:

— Прошу прощения, но мне хотелось бы задать несколько вопросов.

— По какому праву?! — вскинулась Диана. — Кто вы такой?!

— Я ведь уже объяснил, кто я такой. Если угодно, вот удостоверения… члена комиссии Детфонда, нештатного корреспондента «Молодежной смены»…

— А вы нас не пугайте, молодой человек, — величественно произнесла завуч.

— О Господи!.. Ну почему, как начинаешь разговаривать с педагогами, сразу «не пугайте»? — В голосе Вострецова еле заметно заискрилась насмешка. — Я не пугаю, а выполняю свои обязанности, уважаемая Зинаида Тихоновна… Я ведь правильно назвал ваше имя? Я помню вас по выступлению на президиуме, вы очень убедительно говорили, что необходимо всегда соблюдать интересы детей…

— Вот об этом бы и написали в своей газете!

— Со временем, если пожелаете. Но сейчас я вызван по конкретному поводу.

— Да кто вас звал?! — взвилась опять Диана.

— Как кто? — удивился Вострецов.

— Я звал! — вмешался Салазкин. — Вы же слышали!

— Лихо… — сказал у двери Геннадий Романович.

— Значит, ты звонил не папе! — возмутилась завуч, и у нее перекосились очки. — Я так и знала! Какое ты имел право?

— А разве не имел? — удивился Вострецов. — Каждый ребенок вправе просить о защите, если…

— О защите от кого? — Зинаида Тихоновна пальцем укрепила на переносице очки. Успокоилась, глянула с укоризной и незыблемой правотой. — От своих учителей?

— Увы… — сказал Вострецов.

— Чем же мы обидели Сашу Денисова? — Она устремила очки на Салазкина.

— Не меня, а Даню!.. И почему не отдаете книгу?

Вострецов посмотрел на него, на Кинтеля, на учителей. Покачал снятым шлемом. Вздохнул:

— Насколько я понимаю, имело место следую-

щее: несанкционированный обыск, изъятие не принадлежащей вам ценности и применение физических мер воздействия при допросе… Ибо иначе как допросом такую беседу не назовешь.

— Ну что вы такое говорите! — Зинаида Тихоновна от старательного пренебрежения сморщила лицо. — Диана Осиповна хотела выйти, попыталась отодвинуть мальчика с дороги, у нее сорвалась рука… Видите, она даже палец поранила о косяк…

— Гм… — Вострецов неуловимо повеселел. — А разве нельзя было попросить мальчика посторониться?

— Я спешила! — взорвалась Диана. — Я не могла оставаться тут, когда… этот… оскорбляет взрослых людей!

— Взрослых людей оскорблять, естественно, не следует, — согласился Вострецов. — А кого именно и как оскорбил этот ученик?

Возникло секундное замешательство. Но тут же насмешливо внес ясность Геночка:

— Ученик Рафалов назвал проходимцем Андрея Андреевича, будущего супруга Дианы Осиповны… вот его-с… Андрей Андреевич зашел навестить Диану Осиповну и, будучи работником следственного аппарата, принял посильное уча-

стие в разборе дела…

— Геннадий Романович! Это переходит всякие границы! Вы же педагог, а не… Вам совсем безразличны интересы школы! — Зинаида Тихоновна гневно уперлась в стол кулаками.

— Совсем не безразличны. Иначе кто бы мне мешал уйти в кооператив «Орбита», где зарплата в пять раз выше здешней? Пацанов только жаль…

Вострецов смотрел на Андрея Андреевича Глебова.

— Прошу прощения. Вы в самом деле следователь?

— Да. И я не видел причины, почему бы не помочь педагогам.

— Но такие процедуры, очевидно, должны оформляться юридически. Протокол и так далее…

Глебов хмыкнул и отвернулся: мелете, мол, че-пуху.

В Кинтеле кипятком взбурлила обида.

— Скажите, а следователь имеет право врать?

— В смысле?.. — спросил Вострецов.

— А вот он… сказал, что допрашивал Салазкина… то есть Саню, еще раньше. И будто Саня говорил, что не давал мне никакой книги! И выходит, что я украл… — (Ох, не разреветься бы! Вот

будет скандал!)

Вострецов медленно, словно заболела шея, повернул голову к Андрею Андреевичу:

— Вы в самом деле так сказали мальчику?

Тот покачал ногой в замшевой туфле. Пожал плечами. Разъяснил снисходительно:

— Это был маленький психологический эксперимент. Что такого?

Вострецов мизинцем поскреб веснушчатый подбородок. Проговорил, тщательно подбирая слова:

— Я выполняю сейчас официальные обязанности, и только это обстоятельство не дает мне возможности присоединиться к энергичной и емкой характеристике, которую дал вам мой тезка Даня Рафалов…

Диана пискнула и кинулась из кабинета — Геночка еле успел отскочить. Глебов поднялся:

— Я полагаю, мы еще встретимся, гражданин… Вострецов, кажется?

— Полагаю, что встретимся, гражданин… Андрей Андреевич… — Вострецов посторонился, пропуская Глебова, который спешил за невестой. И сказал Зинаиде Тихоновне: — Думаю, что конфликт можно свести к минимуму, если мальчикам вернут книгу и портфель и если Дане

Рафалову принесут извинения за… гм… попытку излишне резко отодвинуть его от двери… Впрочем, извиняться уже некому.

— Не нужны мне ее извинения, — сипловато сказал Кинтель.

— Даня, что у вас происходит с Дианой Осипов-ной? — произнесла Зинаида Тихоновна очень педагогическим тоном. — Может быть, есть смысл собраться и вместе выяснить раз и навсегда? А то она ужасно недовольна тобой.

Кинтель сумел усмехнуться:

— Мы по-разному относимся к «Тарасу Бульбе». И к казацким обычаям… А еще поспорили сегодня насчет картошки. В газетах пишут, что ребят запрещено посылать, а…

— А вас что, посылают? — быстро спросил Вострецов.

— Ага! Завтра. А ребята, конечно, зашумели. Потому что студенты недавно поотравлялись на полях, теперь, значит, нас…

— Какая чушь! — всполошилась Зинаида Тихоновна. — Это всего лишь на один день! На полдня! Шефы просили! На совершенно безопасное поле!.. Мы же не враги своим детям!

Вострецов медленно и веско проговорил:

— Существует указ Госкомитета по образова-

нию, за-прещающий привлекать школьников к сельским работам в учебное время.

— Но как быть, если урожай…

— Пора уже понять, что спасать урожай и латать экономику страны детскими руками бессмысленно… Есть, кстати, и письмо Детского фонда на этот счет. Я не говорю уже о Декларации прав ребенка, ратифицированной Верховным Советом. Она тоже запрещает детский труд…

— Господи, да это же в плане трудовой практики! Для зачета… Да и ничего еще не решено. Скорее всего, никто никуда не поедет, погода портится… — И Зинаида Тихоновна устремила взгляд за окно, где светился безоблачный теплый вечер. Геннадий Романович тихо хмыкнул и ушел за дверь.

Зинаида Тихоновна обернулась к Салазкину с доброй укоризной:

— Ох, Денисов, Денисов… Неужели мы сами не сумели бы во всем разобраться? Устроил панику, сорвал с места человека…

— Ничего, работа такая… — сказал Вострецов. — Если позволите, ребята возьмут книгу и мы пойдем…

Из школы вышли втроем. У крыльца стоял мотоцикл — пыльная вишневая «Ява». «Могли

угнать», — отметил про себя Кинтель. Вострецов словно услыхал эту мысль. Весело объяснил:

— Я попросил добровольцев покараулить… Спасибо, ребята! — Он помахал рукой. Из кленовой чащи (из засады) выбрались трое «продленочных» второклассников. Гордые такие…

Вострецов выкатил мотоцикл на обочину. Протянул Салазкину ладонь. Тот с размаху, весело вложил в нее свою ладошку:

— До встречи! — Сразу видно: хорошие знакомые.

Вострецов протянул руку и Кинтелю:

— Ну, будь здоров, тезка. Еще увидимся… — Он вскочил в седло и газанул с места. Умчался.

— Кто он такой? — спросил Кинтель напряженно. Потому что чувствовал себя виноватым. Портфель с «Уставом» оттягивал руку. (Сейчас проводить Салазкина до дому, отдать ему книгу — и с плеч долой.)

— Это… — начал Салазкин весело и вдруг притих. — Ой… папа…

От перекрестка шагал к школе профессор Денисов. Кинтель узнал его сразу. Салазкин шепотом сказал:

— Значит, правда приехал… Наверно, ему сообщили на кафедре, что кто-то звонил из школы,

вот он и торопится…

— Хана, — выдохнул Кинтель.

Салазкин тряхнул волосами:

— Какая чушь! Папа, он все понимает… Даня, а можно будет сказать ему про фотографию и про шифр? Чтобы все объяснить…

— Говори, — печально разрешил Кинтель. И подумал: «Если поможет».

Тогда Салазкин закричал:

— Папа, мы здесь! — И, прихрамывая, побежал навстречу отцу.

## МЫС СВЯТОГО ИЛЬИ

В старинный подсвечник на столе деда Кинтель вставил новую свечу. Зажег. Выключил во всей квартире свет. Настроился на таинственность… В дверь застучали. Кинтель чертыхнулся, пошел открывать. Это явился сосед Витька Зырянов.

— Айда на пустырь! Там наши парни костер жгут, картошку испечем. Вовчик Ласкутин гитару принесет…

— Некогда мне.

Витька глянул через плечо Кинтеля в комнату:

— У вас чё, свет вырубили? Почему свечка?

— Колдую, — сумрачно сказал Кинтель. — Дух

пра-прабабушки вызываю. Спиритизм называется. Слыхал?

— Не-а…

— Ну ладно, гуляй…

Витька, однако, не уходил.

— А корешок твой новый, он ничего… крутой пацан. Мы в субботу с Бусей подходим на перемене, спрашиваем: «Ну чё, труханул тогда?» А он: глупый, говорит, тебя-то, говорит, я мог носом в траву положить за секунду… А Буся, зараза, ржет. Я говорю: «Ты, пионер, наверно, малость того, да?» А Буся: «Спорим на рупь, что Витьку не положишь?» Он и говорит: «Ну спорим. Только ты, Витя, не обижайся, пожалуйста». Культурно так… Я ему: «Ты сам потом не обижайся…» А дальше ничего понять не смог: ка-ак меня крутануло! И лежу — рожей в лопухах…

«Ай да Салазкин!» — весело подумал Кинтель.

— Рубль-то Буся отдал?

— Да он не взял! Засмеялся, а тут как раз звонок…

— Ладно, гуляй, — опять сказал Кинтель. И вернулся в полумрак. «Ай да Салазкин…» Однако даже такой приятной мыслью не хотелось разбивать прежнее настроение. То самое, со свечой…

Кинтель, конечно, играл. Потому что, если здра-

во рассуждать, заниматься расшифровкой было гораздо удобнее при электричестве. Но хотелось загадочности. Того состояния души, когда она откликается на зов приключений.

Хорошо, что деда не было дома, он позвонил, что вернется поздно. Никто не мешал. Текла Войцеховна из полутьмы смотрела с портрета на праправнука строго и выжидательно. Стало даже немного… ну не то чтобы страшновато, а слегка «замирательно». И хорошо.

Кинтель подтянул к столу дедово скрипучее кресло, забрался в него с ногами. Положил на сукно снимок вверх оборотной стороной. И медленно, в соответствии с важностью момента, снял со шпеньков узорчатые пряжки «Устава».

Да, книга была у него. Потому что там, на улице, отец Салазкина сказал мягко, но решительно:

— А «Устав» ты, Даня, возьми себе домой. На несколько вечеров… Возьми, возьми, не спорь. Тайны надо разгадывать обязательно… Признаться, мне и самому любопытно. Поделишься, когда расшифруешь? Если, конечно, там нет семейного секрета, который нельзя разглашать…

— Поделюсь, — буркнул Кинтель. Он был тяжело смущен всем случившимся. А Салазкин, тот, наобо-рот, — чуть не пританцовывал от радости,

что так хо-рошо закончился разговор с отцом.

Разговора этого Кинтель не слышал. Потому что Салазкин убежал навстречу отцу, встал перед ним, взял его за бока, запрокинул голову и заговорил негромко и быстро. Один раз оглянулся на Кинтеля. Профессор Денисов тоже на него посмотрел. А потом всё смотрел на сына, не перебивал его долгую и, кажется, сбивчивую речь… Дальше случилось неожиданное: отец взял Салаз-кина пятерней за макушку, мотнул его голову, взлохматил сыну волосы. Кинтель стоял поодаль, но видел это отлично.

Салазкин весело затряс головой, ухватил отца за рукав пиджака, повел к Кинтелю. Тот — глаза в асфальт. Потом поднял.

Профессор Денисов сказал дружелюбным басом:

— А я вас помню, молодой человек. На теплоходе встречались. Ну здравствуй…

— Здрасьте…

— Александр мой изложил все события…

— Вы его не ругайте, пожалуйста, — давясь от неловкости, попросил Кинтель.

Александр Михайлович жизнерадостно сообщил:

— А я уже отругал! За то, что вокруг простой си-

туации нагородил столько сложностей… Ладно, пошли, добры молодцы… — Одной рукой ухватил он за плечо сына, другой — Кинтеля. Пришлось шагать.

Кинтель сбивчиво проговорил:

— Сань, ты книгу возьми, положи в сумку…

Здесь-то Санькин отец и сказал, что не надо.

…Конечно, профессор Денисов понимал, что Даня Рафалов чувствует себя неуютно. И потому бодро заговорил с сыном:

— Ты почему косолапишь, друг любезный?

— Он в эти дни второй раз ногу подворачивает, — излишне ворчливо объяснил Кинтель. — Врачу надо показать.

— Не надо, уже все в порядке! — Салазкин запрыгал на одной ноге, а другой, подвернутой, весело заболтал. — Пап, ты почему так неожиданно приехал? Я даже не поверил…

— Что поделаешь? В соседней усадьбе трое студентов слегли, какая-то непонятная болезнь… «картофельный синдром». Мои подопечные заропта́ли. А я что должен? Позвонил начальству: говорю, что за каждого отвечаю. Картошка — дело важное, а люди до-роже…

— У нас из-за этого сегодня тоже шум в школе был, — поделился Кинтель. — Хотели семикласс-

ников послать. А ребята уперлись…

— Туда специальную комиссию посылать надо, а не ребят, — сказал Александр Михайлович.

Так подошли они к дому Кинтеля. Профессор предупредил:

— Только из квартиры книгу не выноси. Договорились? А то сам видишь, какие нынче времена и нравы… А потом принесете ее вдвоем с Саней. Двое — это гарантия.

Кинтель неловко кивнул. И глянул исподлобья на Салазкина: «Ты сказал отцу, почему я не хочу к вам заходить?» И Салазкин так же — взглядом — ответил: «Да. Я все сказал. А как иначе-то? Не обижайся…»

Кинтель не обижался. Он радовался, несмотря на все, что случилось в школе… А может, и хорошо, что случилось? Теперь больше ясности, больше прочности. И отец Салазкина вроде бы даже как союзник…

Первое число на обороте снимка было 18 18/15. Кинтель нашел восемнадцатую страницу, отсчитал сверху восемнадцатую строку. Начал считать буквы… Выпало на большую букву "К". Речь в строке шла про «велікого Князя Іоанна Васільевіча». При чем он тут, в «Морском уставе»? Ладно, потом разберемся… 23 10/18… Двадцать

третья страница была с голландским текстом. Счет попал на "W". У Кинтеля стукнуло сердце. "W" — значит «вест». Намек на какие-то координаты!.. 35 4/10… Опять большое "W"!..

Но так не бывает! В обозначениях компасных румбов «вест» и «вест» не могут стоять рядом! Если «норд» с «нордом» или «зюйд» с «зюйдом» — это бывает: например, NNO или SSW. А два «веста» или «оста» всегда разделены другими буквами… С первой минуты — путаница…

«А ты не ударяйся в панику с самого-то начала! Выпиши сперва все буквы, потом будешь разбираться!»

Снимок был размером с открытку. Числа покрывали всю обратную сторону. В строчке их было шесть или семь, а всех строк полтора десятка. Значит, около сотни букв…

А запятые и точки, если на них выпадает счет в книге, надо учитывать? Нет, конечно! Вот они, сами по себе, готовенькие, стоят между цифрами!..

Потом под счет попали на голландской странице две скобки. Их, наверно, надо. Тем более, что сперва левая скобка, потом правая — что-то заключают в себе… Пока не понятно, что именно… На клетчатом листке, куда Кинтель выписывает букву за буквой, получается сплошная абрака-

дабра…

Может, вообще все это ерунда? Может, нет никакого шифра? Или разгадка совсем не в «Морском уставе»?

Кинтель жалобно и с досадой оглянулся на прапрабабушку. Резная рама чуть мерцала остатками позолоты. Текла Войцеховна смотрела из полутьмы слегка насмешливо. «Что-то вы, сударь мой, слишком рано отступаете…»

Ладно, поедем дальше… Выпала старинная буква «ять». И снова никакого смысла… Хорошо хоть, что все числа различимые. Острый грифель оставил на гладком картоне четкие следы, и даже там, где стерся графит и где запись попадает на буквы и виньетки с рекламой фотомастерской А.О. Молохова, все равно можно разобрать число. Поднесешь снимок ближе к свечке, повернешь так, чтобы свет падал сбоку, и вся цифирь выступает, будто смазали специальным проявителем… А свечка слабо потрескивает, и в окне черно, и тишина в доме, только что-то шуршит по углам и словно кто-то тихонько дышит за спиной. Уж не прапрабабушка ли?..

Если тряхнуть головой, мигом исчезнет вся таинственность. Услышишь, как за окном, на недалеком пустыре, бренчит гитара или как

мурлыкает на кухне динамик. Или как во дворе соседка Клава Зырянова, Витькина мать, ругает мужа… Но нет, не надо ничего прогонять. Может, в этом сумраке, при одиночной свечке как раз и придет разгадка?

Вот и последнее число: 710 2/1. Получилось "и". А потом еще стоит восклицательный знак… Но что он означает? Словно вскрик на непонятном языке. На совершенно неизвестном! Потому что на листке оказалось вот что:

К W W т м с
ъ N о ъ ы а
о Иі О (-Н)
в. л и с. Ш ъ
S о ъ а у к
О т М к ш и
в л н с
а у ъ ъ
Б л с Л о ъ
п ю ъ п д
в ьtl н й ы м
н ш е в е
к й о а ь
tl о к п т
с р г в и ъ

т о о н з
д а у а
в ф т
Н й и п м и
а д и о н!

Кинтель охватил ладонями колючий затылок. Буквы словно танцевали в желтом свете неяркого огонька. Насмешливо так... И сквозь бессмыслицу сквозил какой-то намек. Неуловимый. Буквы дразнили: а вот догадайся, тряхни нас как надо, и мы встанем по порядку... Это, наверно, только казалось. Как ни крути — сплошная чепуха... Просто зло берет на Никиту Таирова!

А может, и правда «Морской устав» ни при чем?.. Но не зря же выпали два "W" и одно "N". «Вест» и «норд». Осколки каких-то координат или направлений! А если...

Но короткую, чуть живую ниточку догадки оборвал телефонный звон. Резкий, оглушительный в этой тишине!

Кинтель дернулся, схватил трубку старого черного аппарата, который стоял за подсвечником.

Звонила Алка Баранова.

— Кинтель! Привет! Диана велела всех, у кого телефоны, обзвонить, что в совхоз не поедем. Чтобы завтра зря не тащились спозаранку.

Кинтель плюнул в сердцах. Про совхоз он уже и забыл. Сказал разозленно:

— Я и так не собирался! Ишак я, что ли?.. Трезвонишь среди ночи!

— Ты что! Какая ночь, девять часов! Или ты спать ложишься, как в детсадике?

Кинтель взглянул на часы. Фарфоровый старинный циферблат смутно светился слева от портрета. В самом деле: пять минут десятого! А казалось, полночи прошло!..

Он шумно вздохнул в трубку. Алка сказала:

— Ты в эти дни какой-то… как мешком ушибленный. То смотришь в пустоту, то с Дианой лаешься…

— Возраст такой, созревание начинается, — огрызнулся Кинтель. С Алкой можно было не церемониться.

— Дурак! Сколько ни созревай, все равно не поумнеешь.

— Все сказала? Тогда бай-бай…

Он брякнул трубку на рогатые хлипкие рычажки. Всё. Прежнего настроения уже не вернуть. Включил свет, задул свечу, помусоленными пальцами сжал дымный фитилек… бумага с бессмысленной россыпью букв ярко белела на краю стола. Кинтель обиженно посмотрел на

нее, пошел на кухню. Пальцами похватал со сковородки холодную картошку. Потом решил: надо все же разогреть, включил газ. Глотнул воды из-под крана.

По радио диктор читал последние известия. Ничего нового. Главари провалившегося путча сидели в тюрьме с романтическим названием «Матросская тишина». Какой-то банковский деятель клялся, что нового повышения цен не будет (скорее всего, врал). Президенты совещались об экономическом договоре. А в республиках стреляли. Стреляли в Карабахе, в Армении, в Азербайджане, в Молдавии, в Южной Осетии, в Грузии… Где не стреляли, там митинговали… В Югославии тоже шла пальба. Сербы в хорватов, хорваты в сербов… Какого черта не живется людям? Прямо руки у всех чешутся, тянутся к «калашниковым»…

Все всегда ищут врагов. Чтобы очередями по ним… Поставить на обрыв — и тысячу за тысячей. Представить всерьез такое убийство невозможно. Когда видишь на экране, как убивают одного, это страшно. Потому что понимаешь: был человек — и нет его. А когда тысячи… Те, кто стрелял, наверно, уже ни о чем не думали, привыкли. Палили, как… по кустам или по забору… А ведь

каждый был живой… И среди них — Никита Таиров. Тот, кто оставил цифирь-загадку. Для него, для Кинтеля.

А может, вовсе и не для Кинтеля?

И нечего соваться в чужую тайну!..

Но у тайны такая природа: требует разгадки! Уже просто потому, что она, эта тайна, есть на свете…

Кинтель вернулся в комнату. Взял «Устав». Рассеянно открыл заднюю корочку — там, где выцветшие чернила сообщали, что книга эта не чья-нибудь, а «корабельного мастера Василія Алексеева, сына Селянинова, дворянина города Зупцова…».

Какие корабли строил он, «сын Селянинов»? Почему оказался в заштатном Зубцове? И что за город такой? Может, все же была там корабельная верфь? Волга все-таки… Если была, то наверняка это отмечено в городском гербе. Может, там кораблик, вроде как на гербе Преображенска?

Кинтель растворил дверцы рассохшегося книжного шкафа, в котором дед хранил самые-самые свои редкости. С нижней полки вытащил альбом «Гербы городовъ, губерній, областей и посадовъ Россійской имперіи». Знаменитый и редкий теперь гербовник, который в конце прошлого

века «составилъ П.П. фонъ Винклеръ». Дед этой книгой ужасно дорожил и гордился. Вроде как профессор Денисов «Морским уставом».

Герб Зубцова в гербовнике нашелся. Оказалось, что «Высочайше утвержденъ 10-го Октября 1780 года. Тверской губерніи. Уѣздный». Рисунки были не цветные, но в объяснении значилось: «В красномъ польтl золотая стена со старинными зубцами».

Стена была похожа на частый гребень. И фон — такой же, как стена, только перевернутый. Словно два гребня — светлый и темный — вошли друг в друга, образовав нехитрый рисунок герба. Никакого кораблика, только зубцы между зубцами… Между…

Опять что-то завертелось в мозгах. Будто очнулась там щекочущая мошка… Строчки на фотографии, они… тоже как бы зубчиками! Нижние числа не прямо под верхними, а под промежутками! И если… их поставить в эти промежутки? Ну-ка…

Тут уже не до свечи, не до игры в кладоискателей. Скорее!.. Что выходит?

Твердый знак в соответствии со старой орфографией прилипает к первой букве "К"!.. Затем чуть заметный промежуток — наверно, раздел

между словами… "N" аккуратненько, как по заказу, вписывается между двумя "W"!

«К WNW…»

К вест-норд-весту! А дальше?.. Что это? Неужели получается? Ой-ей-ей…

Къ WNW отъ мыса
Св. Иліи ос. (Ш-нъ).
SO отъ Макушки валунъ съ
Б плюсъ Л подъ
внешней выем
кой копать
строго внизъ
два фута.
Найди и помни!

— Ура! — Кинтель неуклюже встал на голову и поболтал ногами при весьма неодобрительном взгляде прапрабабушки.

Впрочем, скоро радость поулеглась. Письмо — вот оно, да многое остается непонятным. Где этот мыс Святого Ильи? Что за остров Ш-н? Может, Шикотан, который рядом с Японией? Нет, с какой стати мальчик Никита стал бы что-то зарывать в такой несусветной дали!

Да и как бы он туда добрался…

Девочка Оля, для которой писалось письмо (вернее, тогда уже девушка), про остров Ш-н, разумеется, знала. Где его найти и как туда попасть.

Кинтель взглянул на снимок. Прапрабабушка смотрела прямо перед собой. Она была очень серьезна. А Никита в своей полуулыбке хранил загадку. Словно говорил: «Думаешь, прочитал письмо — и все решено? Клады так легко в руки не даются…»

Но Кинтель не ощутил обиды. Радость возвратилась к нему. Ведь что ни говори, а полдела было сделано! Полтайны раскрыто!

И когда наконец вернулся дед, Кинтель гордо поделился с ним своим открытием.

Дед обрадовался. Уселся на диван, листал и разглядывал (не без зависти) «Устав», слушал возбужденный рассказ Кинтеля. Покачивал головой, говорил: «Смотри-ка ты, надо же! Кто бы мог подумать!.. А мама, наверно, так и не прочитала. До того ли было в те годы! Да и книга к тому времени, скорее всего, потерялась…»

— Само собой, что не прочитала, — вздохнул Кинтель. И присел рядом с дедом. — А то бы, наверно, вырыла, что зарыто… Интересно, что за остров «Ша-эн»?

Дед отодвинулся, глянул на Кинтеля сбоку:

— Ох ты, дитятко… Неужели думаешь, будто это всерьез! Да играли они, вот и все. А это письмо — просто память о детской игре.

— Но ведь что-то же было, наверно, зарыто!

— Боже мой, ну какая-нибудь игрушка или детский талисман. Скажем, пробка от графина или красивая пуговица… Закопал Никита где-нибудь под яблоней в дачном саду. В том месте, которое у них двоих называлось мысом Святого Ильи. Бывает ведь такое в детстве, когда выдумывают свои острова и города, карты неведомых земель рисуют…

«Так, скорее всего, и было, — подумал Кинтель. — Разве найдешь теперь ту лужайку под яблоней? И дач-то нет уже давным-давно…»

Стало грустно и задумчиво. Еще немного, и включится в голове та скрипичная музыка… Но вдруг Кинтеля осенило:

— Толич! А может, они играли не с самодельной, а с нашей картой? Вот с этой! — Он кивком показал на стену. На блеклую и потрепанную карту 1814 года.

— Возможно. Только это ведь ничего не меняет…

Лишь сейчас Кинтель понял наконец, что за недавним возбуждением деда кроется не только

интерес к открытию. Еще что-то. Какая-то озабоченность. Сейчас это стало заметнее.

— Неприятности опять, что ли?

— Да нет, наоборот… приятности. Не знаю только, как это для тебя. Видишь ли…

Кинтель всерьез встревожился. Дед сделался нерешительным, неловким, съеженным даже.

— Что случилось-то? Говори давай!

— Скажу, скажу. Никуда не денешься… Видишь ли, думали мы с Варварой, думали… и порешили наконец…

— Расписаться, что ли?! — весело спросил Кинтель.

— Ну… вроде бы, — выдохнул дед. — Оно, конечно, если со стороны смотреть, то может показаться смешно. На старости лет…

— Да ладно тебе! — сказал Кинтель. — Вы оба еще это… вполне…

Дед несмело засмеялся, толкнул Кинтеля локтем:

— Значит, не возражаешь?

— Не-а… если меня не прогоните.

— Да Бог с тобой… У нее, кстати, тоже двухкомнатная квартира, можно будет сообразить с обменом, расшириться…

— По-моему, и здесь хорошо, — беззаботно ото-

звался Кинтель. — Мне своего угла за шкафом вполне хватает…

Дед опять засмеялся и толкнул внука с неловкой игривостью. А Кинтель не понимал его смущения. Давно было понятно, что к тому все идет. Тетя Варя появлялась у них все чаще, хозяйничала, готовила иногда обеды и ужины… Ужины!

Кинтель с воем бросился на кухню. Только теперь сообразил, откуда запах гари.

На сковородке дымилась превратившаяся в угольки картошка.

Появился дед. Сказал с удовольствием:

— Который раз за эти дни… Что это доказывает? Что женский глаз в доме необходим.

— Я тебе яичницу сделаю на ужин, — виновато пообещал Кинтель.

После ужина Кинтель, шипя от нетерпения и боли в ногтях, отколупнул на карте кнопки. Унес карту в комнату, где за шкафом стоял его залатанный диван. Взял у деда лупу. Включил на столе лампу. И начал водить стеклом над россыпями крошечных букв. По всем побережьям. Не найдется ли где-нибудь мыс Святого Ильи? И не даст ли это открытие в руки еще одну ниточку разгадки?

Мыс не находился. А глаза стали слипаться.

И Кинтель, не споря с дремотой, лег щекой на карту. От старой бумаги пахло почему-то сухой травой… будто траву скосили на лужайке среди яблонь, и она теперь на жарком солнце превращается в сено.

По скошенной траве, разгребая ее босыми ногами, брели девочка и мальчик. Держались за руки. Это были, видимо, Оля (будущая прабабушка Кинтеля) и Никита Таиров. Но в то же время — девочка-скрипачка и Салазкин. Только Салазкин был не в клетчатой рубашке, а в белой матросской блузе с косым синим галстуком, а девочка — в стареньком коричневом платье вроде нынешней школьной формы… Они знали, что Кинтель смотрит на них, но не обращали внимания. Они искали мыс Святого Ильи.

— Вот он… — Девочка показала на кочку, устланную скошенным клевером. И кочка сразу выросла, превратилась во взгорок, за которым чувствовался обрыв. За обрывом туманно синело, клубилось, как дым, неласковое море.

Девочка и мальчик поднялись на взгорок, встали спиной к морю, к Кинтелю лицом. Покачнулись.

«Осторожно!» — хотел крикнуть им Кинтель. И в этот миг между ним и ребятами выросли из

травы пятнистые дядьки в касках. Как манекены. Прижали к плечам приклады, навели на тех двоих стволы. Мальчик и девочка не испугались. Словно знали заранее, что всё так и будет. Неторопливо обняли друг друга за плечи, как перед фотоаппаратом… Сбоку от солдатской шеренги встал офицер — с бледным лицом, в старинном мундире с эполетами. Это был, без сомнения, командир фрегата «Рафаил» Стройников. Он в тишине поднял большую прямую саблю (видимо, не успел еще сдать туркам).

«Стойте! — беззвучно закричал Кинтель. — Не стреляйте! Они же не виноваты!»

«К сожалению, виноваты, — так же неслышно (только губы шевельнулись) возразил Стройников. — Они не поехали на картошку…»

«Вы что, офонарели?! Разве за это стреляют?! Перестаньте!»

«Я не могу. У меня приказ».

«Это незаконный приказ! Я… отменяю! Есть Декларация детских прав!..»

«Да? В таком случае сыграй отбой…»

Кинтель ощутил в ладони гладкий металл трубы. Поднес ее к губам. И…

«Я же не знаю, как играть! Меня не учили, чтобы отбой! Про это в песне…»

«Вот видишь, — грустно сказал Стройников (а на сабле горела солнечная искра). — Оказывается, сигнал отбоя тоже бывает нужен. А ты не захотел. Я бессилен что-то сделать…»

Вот, значит, как! Заманили в ловушку! Заставили искать мыс Святого Ильи, а сигналу не научили!

«Постойте! Тогда лучше я!.. Меня!.. Ведь это я виноват, а они-то ни при чем!..» И Кинтель хотел побежать к Никите и Оле, чтобы встать вместо них на обрыве. Но густое сено оплело ему ноги — не двинешься… Но должно же прийти какое-то спасение!

Может быть, вон оттуда, где стена?

Горячая от солнца кирпичная стена крепости вставала слева от Кинтеля. Очень высокая, с длинными и частыми, как у гребня, зубцами. Среди зубцов появились мальчишки-трубачи. Одетые как средневековые пажи, в плащах-крылатках, с длинными фанфарами. Дружно, по команде, подняли к небу сверкающие раструбы. Сигнал (тоже неслышный, но ощутимый нервами) разошелся над скошенной травой. Но солдаты разом сделали полуоборот, вскинули стволы, и те беззвучно затряслись, выплевывая клочки синего дыма. И трубачи стали медленно

падать со стены, и за каждым летел трепещущий разноцветный плащ.

Стройников повернул к Кинтелю бледное лицо и опять шевельнул губами:

«Я не виноват».

Кинтель, давясь плачем, бросил в солдат свою трубу. Потому что это была не труба, а граната. Взрыв метнулся тихим желтым пламенем, солдаты попадали и затерялись в траве. А Стройников бросил саблю и сгорбленно пошел прочь.

Девочка и мальчик бежали с обрыва к упавшим трубачам. Кинтель с трудом побежал туда же.

Мальчишки лежали на скошенной, сладко пахнущей траве. Но они были ненастоящие. Вроде тех алебастровых и отлитых из бетона горнистов, которых раньше ставили в скверах и пионерских лагерях, а потом посшибали.

А один был бронзовый, как настоящий памятник. Весь потемневший, с пятнами зеленой окиси на спине. Он лежал вниз лицом, и металлические пальцы плотно сжали трубу. Одно плечо было натерто, словно его кто-то старался отчистить, и на желтом сплаве замер солнечный зайчик…

Кинтель виновато посмотрел на девочку и мальчика: что же теперь делать? А они молчали. Мальчик задумчиво наматывал на палец

матросский галстук. Девочка подняла из травы коричневую блестящую скрипку, вскинула к подбородку и заиграла. Ту самую мелодию.

Почти сразу все это исчезло, скошенная трава, трубачи, мальчик и девочка. Но мелодия осталась. Она приходила со стороны сквозь многослойную дремоту. И наконец разорвала пелену. Кинтель поднял голову.

Музыка доносилась из другой комнаты, от телевизора.

Кинтель сразу подумал: вдруг показывают концерт юных скрипачей и там выступает она! И назовут имя!..

Но на экране под знакомую музыку проплывали пейзажи с колокольнями и березами.

Дед сидел перед телевизором, оглянулся на Кинтеля:

— Сейчас передачу покажут: «Куда ведут нити заговора». Про Янаева и всю компанию. Будешь смотреть?

— Да ну их всех…

— Тогда ложись. Поздно уже.

— Угу…

## СНОВА О ФРЕГАТЕ «РАФАИЛ»

Ночью стал стучать по стеклу крупный дождь. И видно, сильно похолодало. Кинтель спал с распахнутой форточкой и зябко ежился под одеялом, просыпался даже. Но подниматься и закрывать форточку было лень.

Утром светило солнце, но уже по-осеннему, сквозь низкие клочковатые облака.

Дед ушел рано, и Кинтель остался со своими заботами: о супе, который надо варить на обед, об уроках, которые (будь они неладны!) надо готовить. Хотя бы письменный по русскому. А то Диана возликует, вкатывая в журнал «гуся»…

Вчера весь вечер мысли были заняты одним: расшифровкой письма и мысом Святого Ильи. А сегодня пошли по более широкому кругу. Про все, что было накануне. И Кинтель вспомнил, что так и не спросил Салазкина: кто он, этот стремительный мотоциклист, перед которым спасовала даже завуч?

Салазкин оказался легок на помине. Побрякал звонком и появился на пороге. В мятых школьных брюках и в свитере, к которому прилипли сухие травинки. Малость растрепанный.

— Извини, что так рано…

— Какое там рано! Десятый час! — Кинтель крепко обрадовался Салазкину. Втащил его за рукав, веселым толчком усадил на свою постель.

А тот рассказывал:

— Я еще раньше хотел, подошел к дому, а потом думаю: неудобно в такой ранний час… А в переулке здешние ребята на тележке катались. Ну, на багажной, как у носильщиков. С горки по асфальту. Я подошел, говорю: «Можно с вами покататься?» Они сперва удивились, наверно, подумали: откуда такой нахальный? Потом один говорит: «За рейс двадцать копеек». Я согласился. «Пожалуйста», — говорю. А тут подскочил твой сосед Витя: «Это дружок Кинтеля, чего вы…» Ну, мы и стали кататься вместе… А один раз прямо в бурьян!

Было просто здорово, что Салазкин такой безбоязненный! И «достоевские», значит, поняли, что не так уж прост и беспомощен этот вежливый пацаненок из «Дворянского гнезда». Конечно! Он же недавно еще и Витьку кинул носом в траву!.. А как держался в кабинете у Зинаиды! Не дрогнул…

— Санки! (У Кинтеля это имя выскочило само собой, и Салазкин не удивился.) Слушай, а кто

этот Вострецов? Так примчался…

Салазкин сказал с ноткой удовольствия:

— Это мой давний друг. Уже больше года знакомы… Ну, не только мой, там целая компания у него на Калужской. Вроде отряда… Я потому и галстук ношу. А ты думал, что из-за школы?

— Что за компания?

Кинтель ощутил укол ревности. Но Салазкин этого не понял.

— Раньше был большой отряд. Назывался сперва «Эспада», потом еще по-всякому. В походы ходили, кино снимали. Под парусами плавали… Ну а потом их из подвала выгнали, в котором они занимались. Отдали подвал какому-то кооперативу. Отряд, конечно, меньше сделался, но весь не рассыпался, стали у Корнеича собираться. То есть у Вострецова… Когда я с ними познакомился, так все уже и было… Но мы живучие!

Это веселое «мы живучие» не очень-то понравилось Кинтелю. Ревность снова царапнула его. Оказывается, Салазкин — совсем не беззащитное дитя, есть у него друзья и заступники. И значит, проживет он спокойненько в случае чего и без Кинтеля…

А Салазкин сказал как о деле само собой решенном:

— Я тебя с ними познакомлю, конечно.

«Больно надо», — огрызнулся Кинтель. Но про себя. Не хватало еще, чтобы Салазкин догадался о его мыслях. И Кинтель сказал со снисходительным уважением:

— Он, этот Корнеич, вчера… будто снег на голову. Как это удалось-то?

— Главная удача, что он оказался дома! А дальше — просто. Как услышал пароль — сразу в седло…

— Какой пароль?

— «Добрый день»! Кто не знает, тот не поймет, а наши все знают. Как услышишь это — бросай все и на помощь!

«Наши…» — опять обидчиво отозвалось в Кинтеле. А Салазкин объяснил весело и бесхитростно:

— Раньше был пароль «Майский день». А потом решили, что это слишком обращает на себя внимание, и переделали…

— А почему «Майский день»? — стараясь не говорить хмуро, спросил Кинтель.

— По-английски «мэйдэй». Международный сигнал бедствия. Вот если где-нибудь гибнет корабль, то по радио… — И Салазкин замолчал.

Кинтель насупился, отвернулся к окну. Тень

«Адмирала Нахимова» прошла по комнате…

Салазкин проговорил тихо:

— Прости меня, пожалуйста. Я напомнил, да?

Ну кто еще мог бы так сказать, кроме Салазкина? Виновато и откровенно, с настоящей боязнью, что обидел… Хмурая ревность Кинтеля пропала в один миг. Он сел рядом с Салазкиным. Вполголоса признался:

— А я ведь прочитал… то, что на фотографии.

Салазкин не удивился. Вздохнул, потрогал сквозь брю-чину родинку-горошину. Проговорил полушепотом:

— Я был почти уверен… Я потому и вертелся у твоего дома с восьми часов. От любопытства. Я ужасно вот такой… нетерпеливый… Даня, а что там?

Кинтель взял со стола листок с расшифровкой…

Они с полчаса обсуждали всякие варианты: игра это была у Никиты с Олей или не игра? Сопели над старой картой: вдруг все-таки отыщется среди тысяч бисерных названий мыс Святого Ильи?.. Потом Салазкин завздыхал, засобирался домой.

— Уроков такое безбожное количество…

— Скажи, а можно, сегодня еще «Устав» побудет у меня? Я вчера колдовал над цифирью, а почи-

тать его даже не успел.

— Оставь, конечно!

— А ты… пока никому не говори, что тут у меня расшифровалось. Даже там… на Калужской… — И Кинтель замер в ревнивом ожидании.

Но Салазкин откликнулся с веселым пониманием:

— Разумеется! Даже папе не скажу, хотя он уже любопытствовал.

— Да папе-то можно! — Кинтелю опять стало радостно. — Санки, а правда ты Зырянова каким-то приемом крутанул?

— Ой, да это просто! Это хоть кто сумеет, если показать…

— А меня… можешь опрокинуть?

Салазкин посмотрел на щербатые половицы:

— Здесь, пожалуй, не надо. Твердо…

— А нога уже не болит?

— Что ты! Я и забыл!

— А я… пожалуй, сегодня буду болеть. И в школу не пойду! — вдруг решил Кинтель. — Ночью из форточки дуло, и теперь у меня горло… кха-кха… Буду валяться и читать «Устав».

— Ты самостоятельный, — с уважением сказал Салазкин. — Мне бы за такое дело попало…

— И мне может. Но я заранее позвоню деду.

Он и в самом деле позвонил, когда Салазкин ушел.

— Толич, я это… совсем простыл. В горле дерет, как теркой, и, кажется, температура.

— Не пудри старому деду мозги. Хочешь полентяйничать! Правда ведь?

— Ну… правда. Наполовину. А горло тоже… кха… Ну могу я устроить себе разгрузочный день?

— На второй-то неделе учебного года!

— А потому что вчера у меня… был стресс, вот!

— Лодырь, — печально подвел итог дед. — Шут с тобой. Но тогда сиди дома, на улицу не суйся.

Кинтель улегся с книжкой на постель. Открыл «Устав» в самом начале. Старый шрифт — не помеха. Сколько уже Кинтель прочитал книжек, напечатанных до революции! Того же толстенного Гоголя…

Скрипучий переплет норовил закрыться. Книжка топорщила листы. Кинтель придерживал ее, как живое существо…

Господи, неужели этой книжке двести семьдесят лет?.. Напечатали ее, когда не было на свете даже Ивана Гаврилова, давнего предка Кинтеля… И может быть, в самом деле держал ее в руках Петр Великий? А уж капитаны его кораблей

— точно держали. Обветренные, в треуголках и ботфортах, с тяжелыми шпагами на портупеях… И можно об этом думать без напряженной виноватости, потому что другое время — задолго до истории с «Рафаилом»…

Предисловие, где рассказывалось о древнем русском флоте, Кинтель прочитал полностью. Интересно было, хотя язык такой, что прямо… ну как церковная служба: «Усмотрено место к Корабельному строению угодное на реке Воронеже, под городом того ж имени. Призваны из Голландии мастера, и в 1696 году начали в России дело…»

Дальше было тоже любопытно: как давать присягу на верность Его Величеству Петру Первому, на какие эскадры делится флот, какие бывают во флоте командиры: «Генерал-Адмирал. Адмирал от синего флага. Адмирал от красного флага. Вице-Адмирал. Шаутбейнахты. Капитаны-командоры…»

Но постепенно Кинтель утомился и стал перелистывать сразу по нескольку страниц, читать наугад… Потом вздремнул. Разбудила его тетя Варя, которая открыла дверь своим ключом.

Она была маленькая, подвижная, энергичная. С остреньким носом, быстрыми черными глазами и волосяным шариком на макушке. Уж-жасно

строгая.

— Ты чего это, друг ситный, разлегся, в школу не собираешься?

— А потому что катар дыхательных путей, Толич велел дома сидеть.

— Веником бы тебя по одному месту, враз никакого катара не стало бы…

— А веником нельзя. Декларация прав ребенка есть. Ра-ти-фи-ци-рованная.

— «Декларация»!.. Картошку-то хоть купили, мужики?

Хорошо, что Кинтель не занялся обедом. Тетя Варя лихо, с победным громом кастрюльных крышек, принялась готовить сама. И что-то бодро напевала на кухне.

Кинтель громко спросил в открытую дверь:

— Когда поженитесь-то, наконец, по-нормальному?

— Это что еще за разговоры!

— Да ладно тебе! Дед признался!..

— Скоро, моя радость, скоро! И вот уж тогда-то я за тебя возьмусь…

— Ладно! — разрешил Кинтель. — Только без веников!

Тетя Варя ушла, оставив кучу наставлений насчет продуктов, талонов и хозяйственных дел.

Кинтель еще повалялся, с аппетитом пообедал, посмотрел «Гардемарины, вперед!», третью серию. Подумал, что готовить уроки, заданные на сегодня, уже не имеет смысла. Улегся опять с «Уставом». Открыл наугад. На двести девяностой странице. И надо же ведь, попало вот что!

*«В случае бою должен капитан или командующий кораблем не только сам мужественно против неприятеля биться, но и людей тому словами, а паче дая образ собою побуждать, дабы мужественно бились до последней возможности, и не должны корабля неприятелю отдать, ни в каком случае, под потерянием живота и чести».*

...Капитан второго ранга и кавалер военных орденов Семен Михайлович Стройников «Устав», конечно, знал. Понимал, чем кончится для него сдача фрегата. «Потерянием живота и чести». Не лучше ли было потерять «живот» чуть раньше, зато честь оставить незамаранной? Или надеялся, что суд его пощадит?

Так и случилось, адмирал Грейг смягчил приговор (наверняка с ведома царя), сохранил бывшему капитану жизнь... Но какая это жизнь — потом! Когда сломали над головой шпагу, когда вечный стыд и каторга в крепости, а потом в рядовых

матросах, и даже детей нельзя иметь. По крайней мере, законных…

А может, все-таки жизнь?

Может быть, Стройников не жалел о содеянном? Решил, что всякое существование на белом свете лучше безвременной гибели? Или дело не в этом? Знал, может быть, такое, чего не ведали другие?..

А что, если он считал, что не нарушил «Устава»?.. Тут вот какое-то еще «Толкование» мелким шрифтом.

*«Однако, ежели следующие нужды случатся, тогда за подписанием консилиума от всех обер и ундер офицеров для сохранения людей можно корабль отдать…»*

Конечно же! Ведь положение было безвыходное! И Стройников поступил, как велено Петром!

"1. Ежели так пробит будет, что помпами одолеть лекажи или течи невозможно.

2. Ежели пороху и амуниции весма ничего нестанет. Однакож ежели оная издержана прямо, а не на ветер стреляно для нарочной истраты.

3. Ежели в обоих вышеписанных нуждах никакой мели близко не случится, гдеб корабль простреля мочна на мель опустить…"

Кинтель перечитал еще раз — в слабой надежде, что пропустил что-то или неточно понял… Нет, все точно. Не было оправдания командиру «Рафаила». Потому что не был фрегат безнадежно пробит, наоборот, новенький совсем. И пороху — полные запасы.

У Кинтеля упало сердце. Словно не для Стройникова, а для него, Даньки Рафалова, написан был приговор военно-морского суда за то, что «Рафаил» спустил флаг, когда мог драться с врагами!

Но много ли выстрелов успел бы сделать фрегат под перекрестными залпами линейных громад? Все равно он был обречен!..

Затрезвонил на столе деда телефон.

— Данила! Ну как твое горло?

— В форме. Отлежался, откашлялся… Тетя Варя приходила, наварила сразу на три дня. Хорошо, когда хозяйка в доме…

— Во-во… — смущенно подтвердил дед. — А я сего-дня опять задержусь, в семь часов совещание. В Лесном поселке инфекционное отделение открывают, а с кадрами полный кавардак…

— А сейчас? — осторожно спросил Кинтель. — Ты очень занят?

— Ну… сижу, списки перетряхиваю…

— Толич, я спросить хочу… Помнишь «Рафа-

ил»? Может, капитан Стройников был не так уж виноват?

Дед помолчал. Не удивился вопросу. Сказал мед-ленно:

— Чтобы понять, надо знать, о чем он думал тогда. А кто это расскажет?.. Почему ты вдруг вспомнил?

— В «Уставе» одно место нашел. Вот послушай… — И Кинтель прочитал статью «Устава» и толкование к ней.

Дед выслушал терпеливо. Проговорил сочувственно:

— Ну что ж, ты сам видишь, нет здесь оправдания для Семена Михайловича.

— Но ведь сказано: для сохранения людей можно корабль «отдать»!

— Не при таком случае, сам видишь.

— Но это тоже безнадежный случай!

— Если бы он дрался до последней крайности, а уж после спустил флаг, может, и нашли бы смягчающие обстоятельства…

— А зачем драка без пользы?! Никакой же надежды на победу…

— Драка, чтобы принести вред врагу, — как-то официально ответил дед.

— И всех людей загубить. Живых…

— Людей загубить, а достоинство флага отстоять, — все так же сухо отозвался дед. — Как написано на памятнике командиру «Меркурия» — «потомству в пример»… Это же война, дорогой мой, у нее свои законы. Там людей жалеть некогда…

— Значит, ты тоже считаешь, что нет ему оправдания, — покоряясь неизбежному, проговорил в трубку Кинтель.

Дед, кажется, усмехнулся:

— Это не я так считаю. Так счел его величество государь-император Николай Первый. И члены суда. А потом — историки и писатели. Кое-кто отзывался вроде бы с сочувствием, но не оправдывал ни один…

— А ты… тоже не оправдываешь?

Дед молчал довольно долго. Не то сердито, не то озадаченно. Потом отозвался с раздражением:

— А я как могу судить? Я здесь лицо заинтересованное, необъективное. Как и ты…

— Почему?

— Вот те на! Ты не понял, что ли? — В голосе Толича проскользнула опять грустная усмешка. — Если бы Стройников взорвал фрегат, не было бы ни тебя, ни меня…

Елки-палки! А ведь в самом деле!

Дед еще о чем-то спросил, Кинтель машинально ответил и положил трубку.

До сих пор Кинтелю не приходила в голову эта простая мысль. Он существует на свете благодаря тому, что капитан Стройников опустил на своем фрегате флаг! Иначе взрывом крюйт-камеры разнесло бы на куски всех, кто был на «Рафаиле». В том числе и квартирмейстера Ивана Гаврилова. А когда раньше срока умирает человек, это не только его гибель. Гибнут дети, которые могли от него родиться и не родились. И значит — внуки, правнуки. Целая ветвь рода человеческого! Такое рассуждение Кинтель встречал в каких-то книжках, но до этой минуты оно не связывалось в сознании с его собственной судьбой.

А может, связывалось, только безотчетно? Иначе почему так часто вспоминался «Рафаил»?

Но… тогда что же выходит? Он, Данька Рафалов по прозвищу Кинтель, живет на свете благодаря трусости и предательству?

«Я же ни при чем!.. И дед ни при чем!.. И даже Иван Гаврилов был не виноват, не он ведь приказал спустить флаг!»

«А может, и виноват! Стройников писал в рапорте, что матросы не захотели взрывать корабль…»

«Он писал, чтобы оправдаться перед царем! Сваливал свою трусость на других!»

«Сваливал? Боевой офицер, дворянин, воспитанный на законах чести! Не раз глядевший смерти в лицо…»

«Все равно он виноват больше всех!»

«Виноват… в чем? В том, что ты теперь сидишь вот тут живой, здоровый (и даже горло не болит) и рассуждаешь о его поступке? Легко тебе… А вот не было бы тебя совсем…»

*«Не было бы совсем?»*

Сколько ни напрягайся, а представить это нельзя. Кинтель много раз — по ночам, когда не спится и думается о всяком — пытался осознать: как это, если его совсем не будет? Такое все равно невозможно. И когда дед однажды рассказал о разных учениях про переселение вечных душ, Кинтель воспринял это как само собой разумеющееся… Но в каком виде и как жила раньше и как будет жить потом его душа — покрыто тайной. А вот зачем он, Кинтель, сейчас на Земле? Какой в этом смысл? А может, никакого смысла? В такое тоже не верится. Потому что порой, когда задумываешься о вечности и бесконечности, накатывается чувство, как… ну как звездный космос. И хочется вдохнуть в себя эту громадность, и кажется, что

вот-вот откроется какая-то тайна. Может, самая главная во всем мире…

И сейчас Кинтель опять думал про это, сидя на дедовом столе и отколупывая от старого канделябра подтеки стеарина. Думал долго, пока не начался тонкий звон в ушах. Тогда Кинтель встряхнулся. Прыгнул со стола, включил телевизор — наугад, не помня, что в программе. На экране зевала симпатичная рекламная овчарка биржи «Алиса». Потом дикторша предложила посмотреть передачу о творчестве режиссера Вадима Абдрашитова. Кинтель нацелился переключить канал, но тут появился кинокадр: в ночном море тонул громадный лайнер. Освещенный иллюминацией, он медленно погружался в черноту, метались, кричали, прыгали за борт люди, а огни сияли, не желая расставаться с недавним праздником… А диктор что-то говорил о новом фильме «Армавир», который чиновники конечно же не хотели пускать на экраны…

А Кинтель замер, съежившись на стуле. Что это за день сегодня! Все одно к одному…

Лайнер погибал. Гибли пассажиры. Наверняка так же, как тогда, в августе восемьдесят шестого…

Кинтель старался не думать лишний раз о ка-

тастрофе. Потому что, если представляешь такое, то, значит, соглашаешься до конца, что она была. И не просто была, а имеет отношение к тебе. Как «Рафаил»… И получается, что отказываешься от своей тайны, от последней надежды.

Кадр сменился, режиссер что-то оживленно говорил зрителям. Кинтель убрал до отказа громкость. Подошел к столу, подержал руку на телефоне. Позвонил деду:

— Толич… Еще не началось совещание?

— Нет пока… Что случилось?

— Ничего. Так, вспомнил… Толич, когда человек умирает, дают какой-нибудь документ?

— Ну-ну… дают, конечно. Свидетельство о смерти… Что у тебя за похоронный интерес? — Дед явно забеспокоился.

— Толич, а про маму такое свидетельство есть?

— А, вот оно что… — слегка отчужденно отозвался дед. — Нет, мы не получали. Когда человек гибнет с судном и его не находят, он считается пропавшим без вести. По крайней мере, какое-то время… Ну, потом-то, наверно, дают бумагу. Родственникам… А кто должен был получать? Она же одна жила…

— Ну да. Никому никакого дела… — вырвалось у Кинтеля.

— Даня, — осторожно сказал Виктор Анатольевич. — Чего это ты сегодня… такой? Может, правда заболел?

Кинтель тряхнул головой:

— Все нормально. Просто подумалось… Кино идет про морскую катастрофу, вот и вспомнил.

— Не смотрел бы чего не надо…

— Ага, я переключил… — Деда не следовало волновать зря, опять за сердце будет держаться. — Ладно, пока. Совещайся там…

Кинтель не успел снова погрузиться в печальные мысли. Едва положил трубку, как аппарат затрясся от звонка.

Звонила Алка Баранова.

— Кинтель! Ты почему в школе не был?

— Это… кха… О-эр-зэ, или катар… Дед не пустил. Он же у меня врач.

— А тебя Диана пол-урока склоняла. Какой ты такой-сякой… Что ты ей вчера наговорил?

— Да ну ее! Она меня еще с детсадовских времен помнит! Я ее при одной встрече дебилкой обозвал. По младенческой наивности… А вчера опять сцепились.

— Имей в виду, ты нажил смертельного врага…

— Видал я этого врага знаешь где… А с чего это

уж так-то — «смертельного»?

— Потому что ты задел у нее больные струны. Когда говорил, что нельзя предавать детей… Она же замуж собирается, а у нее от первого брака семилетний сын. И она его сплавляет в интернат, чтобы с новым супругом жить не тужить…

«Вот оно что!» Кинтель чуть не похвастался, что будущего мужа Дианы обозвал проходимцем. Но Алку следовало держать в строгости. И он сурово сказал:

— Собираешь всякие сплетни.

— Ни капельки не сплетни! Это все девчонки знают!

— Я-то не девчонка! Чего ты мне бабью информацию на уши вешаешь?

— Ты невозможный тип, — надменно сообщила Баранова.

— Потому-то ты, шашлычок мой, и влюбилась в меня с детсада? — Он так дразнил ее иногда.

— Че-во-о-о! Ой, мамочки! Чучело колючее, обормот! Да я лучше в щетку влюблюсь, которой рыжие башмаки чистят!

— Для тебя это самая пара. — И Кинтель положил трубку.

Но телефон тут же затрясся опять.

— Чего тебе еще? — гаркнул в микрофон Кин-

тель.

И услышал робкое:

— Извини… Я думал, что…

— Салазкин? — ахнул Кинтель. — Не обижайся. Я думал, это снова одна дура звонит, из нашего класса.

Салазкин обрадованно засмеялся. Кинтель спросил:

— Ты откуда сигналишь?

— От дома…

— Разве у вас есть телефон?

— Я ведь не «из», а «от». Нам еще не поставили, но у подъезда есть автомат… А как твое горло? Не болит?

— Да ты что! Я же просто сачковал! Чтобы «Устав» почитать на досуге.

— Да, кстати… Я сегодня все думал о том письме, про мыс Святого Ильи. А потом вот что вспомнил…

— А чего ты по телефону-то! Давай приходи! — Кинтель представил, как хорошо будет сейчас увидеть Салазкина.

— А можно? Я бегу!

## ПАРОХОД «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

Он примчался через пять минут. Весело запыхавшийся и немного виноватый.

— Здравствуй… Но у меня, к сожалению, только негативная информация. У нас дома «Географический энциклопедический словарь», там все названия. Но мыса Святого Ильи там нет…

— Ну, нет так нет. — Сейчас письмо Никиты Таирова волновало Кинтеля гораздо меньше, чем вчера. — Ты сядь и отдышись. А то будто за тобой племя ирокезов гналось…

Салазкин послушно засмеялся. Сбросил у порога кроссовки, прошел в комнату, присел на стул. Вздохнул:

— Там, в словаре, есть только горы Святого Ильи. В Кордильерах…

— Далековато, — сказал Кинтель. — Если уж искать, то поближе… Тебе дома не попадет за то, что пошел ко мне?

— Еще ведь не поздно.

Было около семи, в окно сквозь ветки светило совсем низкое оранжевое солнце.

— А я почти весь день «Устав» читал. Но целиком его не осилить. Это уж, наверно, только

историки могут…

— Папа говорит, что там есть очень любопытные места. Даже перекликаются с современностью. Например, про борьбу с бюрократами…

— Давай ты сегодня книгу отнесешь домой. А то у отца небось на душе кошки скребут…

— Да ничего подобного!

— Ну, все равно пора возвращать. Я тебя провожу.

— И обязательно зайдем к нам!

— Вот уж фигушки!

Салазкин, глядя в пол, тихо сказал:

— Папа очень просил зайти. И мама…

— Ну вот! На кой это…

Не поднимая головы, Салазкин глянул сквозь во-лосы:

— Но ведь нельзя же так… Надо же как-то, чтобы все по-хорошему. Раз уж мы… познакомились…

«И надо сказать профессору спасибо за книгу, — подумал Кинтель. — А то свинство получается…»

— Ладно… Только учти: я на минутку…

Салазкин радостно подскочил:

— Да ты не бойся, маме сейчас не до тебя! И не до меня! Потому что такое семейное потрясение: Соня и Зоя в Москве разом замуж собрались. Они же все вместе делают, одинаково! И даже обоих

женихов зовут Сергеями! Мама в трансе…

— Потому что оба Сергеи? — усмехнулся Кинтель.

— Вообще… Все четверо студенты, жить-то где? В общежитии? Масса проблем…

Профессора Денисова не оказалось дома. А с матерью Салазкина встреча получилась (к великому облегчению Кинтеля) без всяких лишних сложностей. Та прямо у двери быстро взяла закаменевшего Кинтеля за плечи, наклонилась:

— Даня! Вот и славно, что пришел. Я знаю, ты на меня тогда обиделся. Ну и правильно обиделся! Только ты меня пойми, я за Санчика так дрожу. Столько всего кругом, каждый день сообщения о всяких жутких случаях… С дочками-то меньше забот было, они всегда друг с другом. А с этим постоянно всякие истории…

— Это с ними сейчас истории, — весело напомнил Салазкин. — Я-то жениться пока не собираюсь…

— Ох, не жизнь, а кошмар… — Мать Салазкина смешно, как бабушка, всплеснула руками.

От нее слегка пахло духами и кремом и еще чем-то хорошим таким, домашним. Как давным-давно, в почти забытые времена, пахли в шкафу мамины платья. Мама уехала, а платья почему-то

остались. И Кинтель, крошечный совсем, когда оставался один, открывал шкаф, зарывался в платья лицом и вспоминал. И почему-то очень боялся, что кто-нибудь увидит его в этот момент…

Он проговорил, глядя в плетеный половик:

— Я понимаю, конечно… Район незнакомый, люди тут всякие… Каждая мать за сына боится.

Ему очень хотелось, чтобы мама Салазкина поверила, что он понимает и не обижается. И она, кажется, поверила, по лицу видно. Тогда Кинтель сказал с облегчением:

— Вы передайте Александру Михайловичу большое спасибо за книгу. Я пойду, до свидания…

— Куда?! — хором сказали Салазкин и мать. И она добавила решительно: — Так в гости не приходят, без чая не отпущу! Тем более у нас на работе сегодня конфеты давали по заказу. «Кошкин дом» называются, вы, мальчики, таких и не видели…

Вот этого Кинтель боялся больше всего! Чаепития и всякого светского общения. И вдруг обрадованно вспомнил:

— Ой, да я же телевизор не выключил! Звук убавил до отказа и забыл! Вот как полыхнет! Я побегу!..

— Я с тобой! Провожу! — подхватил Салазкин.

— Только недолго! — всполошилась мать.

— Мы еще погуляем потом! — решительно заявил Салазкин.

— На ночь глядя?.. Тогда возьмите Ричарда! Ему тоже гулять надо.

Через минуту они мчались по освещенной закатом улице Достоевского. Салазкин крикнул на бегу:

— Ничего не будет! Черно-белые загораются очень редко!

— Кто его знает? Он один раз уже дымил!..

А спущенный с поводка Ричард был счастлив. Он мчался рядом и дурашливо хватал то Салазкина, то Кинтеля за штанины.

Когда ворвались в квартиру, старенький «Фотон» мирно и бесшумно мерцал экраном. Кинтель с облегчением повалился на тахту. Салазкин бухнулся в скрипучее кресло. Ричард обошел квартиру, обнюхал мебель и выжидательно уселся у дверей.

— Фу-у, — выдохнул Кинтель. — А я уж думал, полыхает наш памятник архитектуры… Знаешь, Санки, этому дому двести лет.

— С ума сойти! Привидений здесь нет?

— Домовой, говорят, есть. У соседей на первом

этаже…

Ричард у дверей тихонько поскулил, напомнил о себе…

— Не нагулялся, — сказал Салазкин. — Может, вы-ключим телевизор и побродим?

— Ага… Сейчас, отдышусь маленько…

На экране шла программа Российского ТВ. Опять (который раз!) показывали горящие танки, потом митинг, потом — как снимают краном с постамента памятник Дзержинскому.

Салазкин тихо проговорил:

— А Павлика Морозова тоже сняли. И бросили у забора…

Кинтель сел:

— Когда? Он же совсем недавно стоял, помнишь?

— Да… А сегодня у нас было всего два урока, и я поехал на Калужскую, к Корнеичу. Надо было про одно дело спросить… А сад-то с памятником как раз на полпути. Обратного трамвая долго не было, я пошел пешком. Когда проходил мимо сада, глянул вдоль аллеи, а памятника нет. Постамент пустой… Я подошел, оглянулся, а потом вижу, он в сорняках…

— Ну что за сволочи, — шепотом выговорил Кинтель. — Скидывали бы памятники, которые

себе ставили. То есть взрослым. А пацанов-то чего трогать…

— Мне… как-то не по себе стало. Знаешь, Даня, будто его… расстреляли и бросили…

«И наверно, из того окна это видно», — подумал Кинтель. Он встал. Попросил нерешительно:

— Может, съездим посмотрим? Это ведь недалеко…

Зачем такое нужно, он не смог бы объяснить. Но Салазкин и не спрашивал.

— Конечно! Пошли.

Им повезло: «двадцатка» подкатила к остановке как по заказу. И в вагоне было свободно, никто не заругался, что едут с собакой. Когда подъехали к саду, уже начинали густеть сумерки. Постамент, где раньше стоял щуплый непокорный мальчишка, был пуст.

— Пойдем, — шепотом сказал Салазкин. И повел Кинтеля сквозь лопухи. Листья громко шуршали по одежде. Ричард шастал в окрестных кустах.

Сквер был отгорожен от внутренних дворов квартала ветхим забором. Вдоль забора тянулась полоса частого кустарника, за ней стоял высокий бурьян. В ней и лежал сброшенный с постамента Павлик.

Было еще не совсем темно, можно разглядеть…

Он лежал лицом вниз. Теперь, на земле, видно было, что фигура крупнее детской, ростом со взрослого мужчину (это на постаменте она казалась маленькой). Но все равно было понятно, что это мальчик. По-детски лохматились на затылке волосы, тонкие щиколотки босых ног беззащитно высовывались из потрепанных штанов. Ступни по-прежнему упирались в квадратную площадку. Из нее с другой стороны торчали четыре штыря.

Бронзовые мальчики падают не меняя позы. И кулаки опущенных вдоль тела рук были, как и раньше, упрямо сжаты.

Несколько желтых, светящихся в сумерках листьев лежали на черной бронзе.

— Может быть, его лопухами закидать? — нерешительно предложил Кинтель. Он опять чувствовал себя так, будто в чем-то виноват.

— Давай, — согласился Салазкин.

Лопухи были вялые, мягкие, как тряпки. Их по-надобилось много, рвали долго, вдоль всего забора. Укрыли…

— Все равно это не выход, — прошептал Салазкин. — Уж тогда лучше закопать бы… раз он никому не нужен.

— Где? Здесь не дадут… Набегут, заголосят: что делаете, кто разрешил?! Да и копать сколько…

— И как-то жалко закапывать. Будто живого хоронить… Лучше уж вот что! Опустить в озеро! Пусть стоит на дне, не падает… И солнце там сквозь воду светит… Надо приехать в темноте на грузовой машине, потом его на шлюпку — и на середину озера, где глубина…

— А где взять машину-то? И шлюпку…

— Это не проблема. Корнеич достанет. А вот если кран понадобится, это сложнее. Бронза, она ведь ужасно тяжелая.

— Может, не очень. Памятники обычно пустые внутри, — возразил Кинтель, по-прежнему чувствуя себя виноватым. — Наверно, получится и без крана, если ребят собрать. С нашего квартала можно пацанов пятна-дцать организовать.

— И у нас почти столько же, — отозвался Салазкин.

Ревнивая досада опять зашевелилась в Кинтеле.

— Это на Калужской, что ли? У Корнеича?

— Да! Там очень дружные люди.

«Подумаешь! Чего тогда вокруг меня крутишься?» Но обида была какая-то беспомощная, и у Кинтеля вы-рвалось:

— Рассказал бы хоть, что за люди! Что за Корнеич?

— Да, конечно! — звонко отозвался Салазкин. Будто ждал этого. — Пошли…

Они позвали Ричарда, выбрались через заросли на аллею. Но пошли не туда, где трамвай, а в другую сторону: где калитка и та самая скамейка. Кинтель — машинально, по привычке. А Салазкин решил, видимо, что так надо. Он сказал:

— Корнеич, это… в общем, в детстве он был в отряде, который назывался «Эспада». Не такой пионерский отряд, как в школе, а сам по себе. Они там много чего делали. Фильмы снимали, яхты строили сами, в походы на них ходили. Фехтованием занимались… А главное, всегда были друг за дружку… Ну, потому что там всё добровольно, никто ведь в эту «Эспаду» не загонял насильно, как в школьную дружину… И был он там до десятого класса. А потом стал поступать в архитектурный институт, но не поступил, скоро его забрали в армию. В Афганистан…

Они шли медленно, листья шуршали под ногами. Ричард присмирел и послушно шагал между хозяином и его новым другом. Салазкин сказал сбивчиво:

— А там он… в общем, насмотрелся на всякое. Он обычно разговорчивый, но про это говорить не любит… И когда приехал… Знаешь, говорят,

такое было со многими: все из рук валится, ничего в жизни не получается, каждый день мысли про то, что было. Какая там кровь, сколько людей погибло. И наших, и афганцев… Ну, он тогда тоже пил отчаянно…

— Почему «тоже»? — дернулся Кинтель.

Салазкин глянул чуть испуганно:

— Ну… я же говорю, так у многих было…

«Дурак», — сказал себе Кинтель. И спросил хмуро:

— Сейчас-то завязал?

— Да! Его выручил товарищ по отряду, он постарше был. Он археолог. Взял с собой в экспедицию, в Херсонес, это под Севастополем. Потом устроил работать в мастерские при краеведческом музее — у Корнеича руки-то золотые… Познакомил его с редакцией «Молодежной смены». А потом говорит: «Ты же капитан, Данила, собирай-ка ребят снова…»

— Как это — капитан?

— Это не по-военному, а такое звание было в «Эспаде»… Только «Эспады» тогда уже не было, их к тому времени из помещения выгнали, яхты сделались старые, гнили на пристани… И вот этот друг, Сергей Каховский его зовут, говорит: «Собрал бы ты ребят, столько хорошего народа

ходит без дела...» Ну, у Корнеича старое в душе зашевелилось... Он сам так говорит — «старое зашевелилось»... Созвал с разных улиц ребят, выпросили они пустой подвал у начальства, отремонтировали два парусника. Снова получился отряд. Уже не «Эспада», а новый. Но все равно хороший. И Корнеич во все эти дела влез с головой... Только это все было, когда я еще его не знал. А когда познакомились, отряду в то время опять не везло...

— Почему?

— Потому что подвал отобрали, он какому-то кооперативу понадобился. У кооператива деньги, а у Корнеича что? Он и так ползарплаты на отряд выкладывал, но разве на аренду этого хватит? А еще яхты совсем развалились. А чтобы новые делать, тоже деньги нужны. И стройматериал. И помещение...

Салазкин говорил с непривычной деловитостью. Видать, эти дела давно заботили его.

— Да и Корнеичу труднее. Он теперь на заочном учится, а еще дела в газете, в комиссии Детфонда...

— Он что, так и кидается по всякому сигналу «Добрый день»? — спросил Кинтель. Потому что из рассказа было уже в основном ясно, какой

человек Даниил Вострецов, Корнеич.

— На всякий не успеть, — вздохнул Салазкин. — Он ведь и так рвется на части. В прошлом году к тому же сын родился у них с Таней. Таня — это жена его, тоже из «Эспады»… И такая была история! Она только из роддома, а его — в больницу. Обострение с ногой… Ты ведь, наверно, и не заметил, что у него протез вместо левой ноги?..

— Да?! А на мотике гоняет как рокер…

— Он еще и не такое может… Всяким приемам учил. И фехтованию. У него до армии первый разряд по шпаге был…

— А ногу… там, в Афгане, да?

— Да… Он сам про это неохотно вспоминает, но ребята все равно знают. Ему ее раздробило осколками, а он все равно отстреливался. Прикрывал отход… Его потом вытащили без сознания. Из развалин.

«А зачем ты мне такие подробности рассказываешь? Будто все без оглядки выкладываешь!» Это опять шевельнулась непонятная обида и подозрительность. Кинтель проговорил, набычившись:

— Наверно, Корнеич твой не обрадовался бы, если бы узнал, что ты… вот так про него все излагаешь постороннему.

— Ну почему же?! У него от ребят секретов нет.

— Так это же от своих ребят…

И тогда Салазкин сказал:

— Даня… Корнеич спрашивал: может быть, ты зайдешь к нему? Вместе со мной…

— Зачем?

— Ну… ты же интересуешься всем, что про море… Помнишь, на теплоходе? А у нас тоже… Может быть, наберем фанеры к весне, будем строить шхуну.

— Без меня, что ли, не справитесь? — буркнул Кинтель.

Помолчали. Только листья швырк-швырк под но-гами.

Салазкин вполголоса спросил:

— Ты на что-то обиделся, да?

«Господи, да что это со мной? Будто не с Салазкиным, а с Дианой говорю…»

Кинтель сказал быстро и нарочито бодро:

— Нет, что ты! Просто… перепады настроения. Бывают в переходном возрасте.

Салазкина успокоило это скрытое извинение. Он потрепал по загривку Ричарда.

Они подошли к скамейке. Дом за изгородью, на улице П. Морозова, светился окнами. И то окно светилось. Кинтель зацепился за него глазами,

попросил:

— Давай посидим чуть-чуть.

Салазкин послушно сел. Ричард положил ему морду на колени. Кинтель тоже сел. Окно было теплым, розовато-желтым. Салазкин деликатно молчал, как молчат рядом с чужой тайной.

Чтобы Салазкину не показалось, будто здесь что-то особенное, Кинтель спросил:

— А те старые яхты… их теперь уже никак не починить?

— Легче построить новые. Потому что обшивка вся прогнила, рыхлая такая. Стукнешь пяткой — и насквозь. Сразу целое кораблекрушение… — И Салазкин виновато притих: спохватился, что сказал ненужное слово.

Тогда, откинувшись на спинку скамьи, Кинтель ровно спросил:

— Ты ведь слышал про пароход «Адмирал Нахимов»?

— Да… ты же говорил недавно. Я понимаю…

— Про него много писали.

— Да, — приободрился Салазкин. — Еще и недавно в «Комсомолке» статья была. Кто-то считает, что это не случайная гибель, а заговор. Чтобы какие-то документы уничтожить…

— Я не про то… — тихо возразил Кинтель.

Зачем он об этом? Чтобы такой вот откровенностью доказать Салазкину, что нет никакой обиды? Или… надежда гаснет, если долго прячешь ее в себе, не поделишься ни с кем?

А с кем можно поделиться, кроме Салазкина? Даже с дедом нельзя…

— Мать погибла на «Нахимове», — сказал он одними губами, не отрывая глаз от окна. — Так они говорят…

И тоже еле слышно Салазкин спросил:

— Кто «они»?

— Все… Отец, дед. Мол, поплыла с кем-то отдыхать, и вот… Она тогда с нами давно уже не жила и со мной не виделась. По-моему, ко мне ее специально не пускали, а мне говорили «далеко уехала». А потом я узнал, что она… сильно пила… Санки, это я только тебе… Ты никому…

— Я клянусь. — Салазкин проговорил это без всякой торжественности, вполголоса. И ясно сразу — это он железно.

— А потом сказали: утонула… А в прошлом году, как раз после теплохода, я иду по улице и вижу: навстречу женщина… Я… маму плохо помню, фотоснимок только один сохранился, и на нем она совсем молодая. И к тому же у меня память на лица плохая. Но тут я… как будто меня

примагнитило. Лицо такое — вроде и знакомое, и… ну как будто долго болела она. А может, и от этого… ну, если пила, а потом лечилась… А тут к ней какая-то тетка подходит, окликает: «Надежда Яковлевна…» — Кинтель кашлянул, замолчал.

— Так твою маму зовут, да? — шепотом спросил Салазкин. И Кинтеля накрыло теплом от этого «зовут», а не «звали»…

— Я подумал: может, они все нарочно мне врут… про «Нахимова». Чтобы я не вспоминал и не встречался… А она тоже… наверно, решила: «Раз я такая, зачем я ему?» То есть мне…

— Она там живет? — Салазкин тоже посмотрел на окно.

— Да… Одна. Я тогда за ней пошел незаметно, а потом про нее у здешних девчонок выведал… Знаешь, никто и не видел ее пьяной. Только всегда одинокая и будто больная… Она сюда прошлой весной переехала, квартиру обменяла… Говорят, машинисткой работает…

— Даня… А может, пойти к ней и выяснить?

«Ты с ума сошел?! А если это не она? Сейчас-то хоть надежда есть…»

Салазкин понял. Виновато посопел.

Кинтель сказал:

— Мне ведь ничего от нее не надо. Только знать,

что она есть… А когда вырасту, там видно будет. Может… я ее к себе возьму… Может, она меня не совсем позабыла.

Салазкин оттолкнул Ричарда, сел к Кинтелю вплотную. Плечо к плечу. Подышал тихонько, потом очень серьезно посоветовал:

— Пошли ей открытку.

— Ты что?!

— Напиши не про себя, а так. Ну, поздравление с каким-нибудь праздником. Просто чтобы она знала, что ты ее помнишь.

— А если… — Он заставил сказать себе самое плохое: — Если я… ошибаюсь?

— Ты не подписывайся. Просто: «Мама, я тебя поздравляю…» Если что не так, ну и ладно. Она решит, что кто-то ошибся.

— Я… не знаю. Я боюсь, Санки…

— Ты подумай. Это можно ведь и не сейчас. А… когда решишь.

— Ага. Я подумаю…

По светящейся шторе скользнула тень: кто-то прошел там по комнате. Кинтель подождал, потом поднял глаза выше дома. Над крышей, у антенны, переливалась белая звезда. Яркая такая, живая. Потом рядом проклюнулась еще одна.

А если глянуть совсем вверх, то вон их уже

сколько блестит среди еще не облетевших листьев...

## *Часть вторая*
## *«ТРЕМОЛИНО»*
# ФОНАРЬ И КОМПАС

В апреле прошлого года Саню Денисова прогнали с уроков. За родителями. Факт невероятный. До того дня Денисов был среди третьеклассников самым вежливым и никогда не нарушал дисциплину. Скорее всего, именно поэтому — от неожиданности — его «дикая выходка» повергла Юлию Геннадьевну в особое негодование.

— Марш домой! И без отца или матери не являйся!

Саня не испугался. Торжество справедливой победы еще звенело в нем, и он ответил с несвойственной ему дерзостью:

— Но вы должны понимать, что все нормальные родители сейчас на работе.

Юлия Геннадьевна сказала, что это ее не касается. Сама проводила его до раздевалки и велела тете Кате выдать «этому грубияну» куртку. Саня пожал плечами и ушел из школы.

Идти домой было бессмысленно. Поехать в университет к отцу? Саню там знают и помогут

отыскать профессора Денисова. Но не бросит же папа лекции, чтобы немедленно мчаться для разбора школьного скандала!

Прогуливать так прогуливать! Саня побренчал в кармане мелочью и с хмурой решительностью отправился на автобусную остановку. Он поедет в магазин «Буратино», где есть комната компьютерных игр. А дальше будет видно.

День был серый, влажный. Автобус долго не приходил. Саня поеживался и топтался у бетонного фонарного столба, оклеенного объявлениями. Казалось, все население Краснодзержинска охватила неудержимая «охота к перемене мест». Масса объявлений была про обмен квартир. Кто-то хотел за две маленькие получить большую, кто-то, наоборот, — за трехкомнатную просил двухи однокомнатную. Кому-то хотелось переехать в Краснодзержинск из Севастополя (наверно, ненормальный). Какой-то наивный человек предлагал поменяться на районный город Туринск…

Но менялись не только квартирами. Предлагали французские духи за детские колготки, венгерскую двуспальную кровать («в хор. сост.») за мотоцикл любой марки («можно подерж.»). Интересно, кто отдаст мотоцикл даже за самую

мягкую и роскошную кровать? Разве что инвалид какой-нибудь… За «библиотеку с классиками» просили цветной телевизор, а за баню на дачном огороде — японский телефон с электронной памятью…

Зябкий ветер трепал на объявлениях бахрому из язычков с телефонными номерами. Почти у всех бумажек была такая бахрома. И лишь один листок — без нее. И к тому же — не белый, а розовый. Саня зацепился за него взглядом. И…

«Продается старинный американский компас с японской шхуны. А также старинный морской фонарь оттуда же. Спросить в любое время. Ул. Кирова, д. 3, кв. 26».

Это было… ну как ветерок из тропиков среди запахов промозглой улицы. Или как если бы между озабоченных скучных прохожих прошагал человек в ослепительно белой форме с якорями и золотыми нашивками… Саня мигнул, прочитал еще раз. Ему, с давних дошкольничьих лет воспитанному на книжках и кино про паруса, объявление показалось не просто чудом. Еще и старинной загадкой, тихим голосом, похожим на зов в страну Приключений…

Саня постоял, зажмурившись. А когда решил прочесть о компасе и фонаре снова, увидел

рядом дядьку. Молодого, с клочковатыми темно-медными волосами, с густыми веснушками, проступающими сквозь словно пыльный загар. Дядька этот вынул из кармана просторной куртки блокнот и ручку, стал деловито записывать адрес.

Не сдержался Саня, протяжно и шумно вздохнул. Клочкасто-рыжий незнакомец глянул на него сверху вниз, Саня — навстречу. Глаза в глаза. Тихо и с грустной завистью Саня спросил:

— Будете покупать, да?

Незнакомец ответил по-деловому:

— Небось цену заломят несусветную. Надо посмотреть.

— А вы… сейчас пойдете смотреть?

Незнакомец взглянул на часы и опять на Саню:

— Да, пожалуй…

Саня внутренне зажмурился и еще больше набрался храбрости:

— Простите, пожалуйста. Вы не могли бы взять меня с собой?

У незнакомца были ярко-синие, с резким блеском глаза.

— Интересуешься? — с сочувствием спросил он.

— Естественно, — вздохнул Саня. — Раз про-

шусь…

— Но это ведь далеко, улица Кирова…

— Я знаю. Недалеко от университета, где папа работает. На «восьмерке» без пересадки.

Незнакомец наклонил набок голову. С любопытством.

— Дитя мое, а папа и мама не говорили тебе, что не следует на улицах знакомиться с непонятно какими взрослыми? Да еще отправляться с ними неизвестно куда…

Саня внутренне вздрогнул. Папа и мама про такое говорили. И в школе говорили. И по телевизору. Потому что бывают взрослые мерзавцы, которые заманивают детей и делают с ними всякие гадости и даже губят до смерти. Страх и сомнение подсказывали: извинись-ка, Санечка, и давай на попятную… Хотя лицо незнакомца — некрасивое, но симпатичное — вызывало доверие… Но мало ли что! Преступники иногда бывают очень обаятельные… Да, но разве всякие гады и мучители интересуются корабельной стариной?.. Саня нашелся:

— Но ведь это не вы меня куда-то заманиваете, а я сам попросился.

— Логично. — Незнакомец кивнул медной голо-вой. — Ну что ж… А дома не хватятся, где ты?

— У меня еще два часа до той поры, когда мама станет звонить и спрашивать, пришел ли я из школы…

Тут, как бы разбивая последние сомнения, подкатил автобус — полупустая «восьмерка».

— Ну поехали, искатель приключений…

Они сели на заднее сиденье. Саня — у окошка. Он стеснялся и поэтому смотрел на улицу, хотя были там серость и скука.

Попутчик сказал:

— Меня зовут Даниил Корнеевич. Вострецов. А тебя?

— А меня… Александр Александрович, — неловко, исключительно из-за смущения, пошутил Саня. — Денисов.

Даниил Корнеевич кивнул:

— Очень приятно. А скажи, Александр Александрович, почему ты не на уроках. Вроде бы самый разгар школьного расписания…

— Выгнали, — безбоязненно сказал Саня.

— Не похож ты на человека, которого выгоняют из школы…

— Это впервые в жизни.

— Да? А что послужило причиной столь кардинальной педагогической меры? Если не секрет, конечно…

Уважительный тон вызвал у Сани ответное доверие.

— Ничуть не секрет. Я дал ему по зубам!.. Вернее, хотел по зубам, а попал по носу, и он разбился. Нос… Ну и что?! Они изводили меня три года подряд! Целой кучей на одного! Потешались как вздумается. Дразнили… знаете как? Маринованный Сверчок…

— Глупость какая, — печально отозвался Даниил Корнеевич. — Бессмыслица.

— Конечно! Ну и… есть же предел терпению!.. Я позвал его в закуток у раздевалки и там… Вы знаете, это ужасно, когда кровь капает с лица, и я бы ни за что его больше не ударил. Тем более, что он заплакал… И тут Юлия Геннадьевна…

— Понятно… Александр Александрович.

— Саня я… — виновато сказал он.

— Ага… А что, Саня, тебя толкнуло-то? Столько терпел и вдруг…

Саня потрогал сквозь штанину кнопку-родинку. Глядя себе в колени, признался:

— Книгу прочитал. «Одиссея капитана Блада»… Мне кажется, человек не имеет морального права читать такие книги, а потом трусить…

Даниил Корнеевич потер щеки с чуть заметной медной щетинкой.

— Однако ты, наверно, и раньше читал героические книжки…

— Разумеется. Но раньше я не ощущал такой взаимосвязи.

— М-да… А теперь, значит, осознал. И сразу неприятности. Слушай, но это же несправедливо! Ты защищал свое достоинство, и тебя же сделали виноватым! А с уроков выгонять вообще запрещено.

Саня шевельнул плечами: такова, мол, наша действительность.

— Знаешь что? Морской антиквариат подождет. Давай-ка поедем в твою школу и расставим нужные акценты. У меня есть полномочия…

— Не стоит! Папа сходит и сам… расставит.

— Не боишься папы?

— Ни в малейшей мере, — сказал Саня слегка надменно. — Папа всегда вникает в суть дела.

Папа вникал. И если даже Саня оказывался виноват, дело кончалось беседой, не более. Лишь единственный раз в жизни, когда Саня решил, что курево укрепляет мужской характер, и попался на первой попытке, папа позабыл о современной педагогике, стал сдергивать с себя чахлый клеенчатый поясок. Саня перепугался тогда не столько за себя, сколько за отца: до какого же состояния

он, Санька, довел кошмарным поступком папу, если тот пошел на т а к о е д е л о! И во время суетливой и неумелой воспитательной процедуры он жалобно просил: «Папочка, ты только, пожалуйста, не волнуйся…»

Короче говоря, случай был совершенно нехарактерный для семейства Денисовых.

В 26-й квартире, в доме номер 3 на улице Кирова им открыла дверь нестарая, но рыхлая тетка в мох-натом длинном халате. Узнала, зачем пришли, слегка удивилась:

— Да-а? А я и не ждала… Это зять привез с Владивостока, говорит: напиши, может, найдутся любители… Сам-то он опять укатил, язви его…

Она явно настроена была подробно изложить свое мнение о непутевом зяте, однако Вострецов сухо сказал:

— Позвольте посмотреть вещи.

Тетушка вынесла в прихожую и поставила на два табурета фонарь и компас.

Фонарь был ростом Сане чуть не до пояса. Пузатый, с шаровидным стеклом. Его металлические части отливали тусклой медью, как волосы Вострецова. А компас формой и размерами походил на небольшую кастрюлю.

Саня придержал дыхание: настоящие, с ко-

рабля.

Но Даниил Корнеевич сказал пренебрежительно:

— Н-да… А написано, что старинные… Ну и сколько за этот… товар?

— Вообще-то я не знаю. Он говорил, что шестьсот…

— Че-во? — искренне изумился Даниил Корнеевич. — За этот ширпотреб?

— Зять говорил, вещи… эти, как его… эк-зо-тические.

— Ну-ну, — хмыкнул Даниил Корнеевич. — Фонарь сделан в Ленинграде в шестьдесят третьем году, вот клеймо, сами смотрите… А компас гэдээровский, фирмы «Тельтов», тоже шестидесятых годов. Дрянной, кстати, прибор, наши не в пример лучше, его и даром не надо. Фонарь, пожалуй, взял бы. За тридцатку…

— Да вы чё, молодые люди!

— Ну, извините за беспокойство. Пойдем, Саня…

Лифта не было, а квартира на четвертом этаже. Когда спустились до второго, хозяйка заголосила сверху:

— Эй, мужчина! Покупатель! Ну обождите, может, сговоримся! Ну чё уж тридцатка-то, это

разве деньги? Кило говядины на рынке!..

Сговорились за полсотни.

Даниил Корнеевич, сдержанно довольный, вынес фонарь из подъезда. Саня шел рядом, поглядывая.

— Ни старины, ни экзотики особой, но красив, черт побери, — говорил Даниил Корнеевич. — Почистить, лампочку поставить вместо ржавой горелки, повесить в углу — создаст колорит…

— Значит, вы любитель, — заметил Саня, пряча зависть.

— Да и ты тоже. Разве не так?.. А хочешь посмотреть кое-что поинтереснее этого? Я недалеко живу, на Калужской.

Саня хотел. Но прежние сомнения опять зашевелились в нем. Однако их разбила новая встреча. На улице подбежали двое мальчишек. Один — лет двенадцати, другой — вроде Сани.

— Корнеич! У-у-у… Где раздобыл?

Вострецов сообщил, что где взяли фонарь — тайна, которую он так просто не откроет. И добавил, что неприлично уделять такое внимание неодушевленному фонарю и не замечать человека, который идет с ним, с Корнеичем, рядом.

Старший мальчик — высокий, кудлатый, без шапки — сказал:

— Нет, мы сразу обратили внимание. Человек — откуда и зачем?

— Это Саня, — сообщил Даниил Корнеевич.

— Привет, Саня. А я Дим. — И высокий протянул узкую прочную ладонь. Спокойно так, по-деловому.

— А я Виталик… — Это маленький, круглолицый, с полными радости глазами тоже качнулся к Сане.

— По прозвищу Не Бойся Грома, — уточнил Даниил Корнеевич.

— Ага! — весело сказал Виталик.

Даниил Корнеевич объяснил ребятам:

— Мы добывали фонарь вместе с Саней. Он тоже интересуется морскими делами. А еще он ищет политическое убежище, ибо изгнан из школы за то, что, отстаивая права личности, слегка деформировал противнику форштевень…

— Ну так пошли, — сказал Дим. — Давай фонарь…

Виталик Не Бойся Грома, прыгая впереди, сообщил:

— Там еще Костик, Андрюшка и Маринка пришла. Но Таня послала Маринку на молочную кухню, потому что Ромка орет с голоду, как маячная сирена.

Даниил Корнеевич жил в такой же блочной пятиэтажке, как та, где купили фонарь. На верхнем этаже.

Саня попал в комнату, где, кроме обычной обшарпанной мебели, была масса удивительных вещей. В одном углу, у широкого окна, стояла тумбочка с корабельным компасом («Нактоуз!» — вспомнил название Саня). В другом щетинился большущий рогатый штурвал со сверкающей латунной ступицей. Две стены — в сигнальных разноцветных флагах, морских картах и фотографиях с парусниками. Еще одна — с некрашеными самодельными полками. На полках, перед книгами, — заморские раковины, кораблики, обломки кораллов и обкатанные прибоем камни.

На подоконнике, занимая почти половину окна, стояла модель с двумя отогнутыми назад мачтами, с тре-угольными парусами и высокой узорчатой кормой…

Саня ощутил, что он как бы растворяется среди всех этих волнующих душу признаков морской жизни. Или наоборот, впитывает эту комнату с ее чудесами в себя. И с ее людьми!

Кроме пришедших, в комнате оказались еще двое мальчишек. Один — смуглый и молчаливо-деловитый — устроился с ногами на тахте и

заплетал конец толстого лохматого троса. Другой — коротко стриженный, с носом-клювиком, совсем еще небольшой (наверно, первоклассник) — сидел на корточках перед высоким барабаном и задумчиво что-то выстукивал на нем. Барабан был лаково-черный, с голубым якорем на бо-ку, с блестящими обручами и витыми желтыми шнурами. О него терся боком и горбил спину худой серый котенок.

Саню встретили без лишнего любопытства. Узнали, как зовут, протянули руки, назвали себя (Андрюша и Костик) и дальше относились как к своему. И не было тут никакого притворства.

— Чаю с сушками хочешь? — спросил Костик-барабанщик. — Только они твердые, зубы не поломай…

— Нет, спасибо, — прошептал Саня, оглядываясь.

Никто не обратил внимания, как он ходит вдоль полок и стен, разглядывая диковины. Только Даниил Корнеевич иногда тихим голосом давал объяснения. Например, что круглые корабельные часы отданы ему знакомым штурманом с ледокола «Гектор», а розовая раковина — подарок одного друга, он привез ее с Кубы…

Котенок Беня (полное имя — Бенедетто) тоже

признал Саню за своего. Когда тот наклонился, чтобы погладить, Беня по рукаву ловко забрался на Санино плечо. Так, с мурлыкающим Беней у щеки, Саня и ходил дальше по комнате, которая именовалась таверной «Сундук Билли Бонса»…

Потом пришла девочка Марина — с большой сумкой, где звякала молочная посуда. Поглядела на Саню, принесла ему из прихожей шлепанцы:

— Возьми, а то от окошка дует на полу… Я на кухню пойду, к Тане, она там замаялась…

В соседней комнате иногда коротко и громко вопил младенец (как потом выяснилось, шестимесячный сын Корнеича). Виталик Не Бойся Грома, Костик и Андрюшка стали обсуждать, куда повесить фонарь. При этом шикали на чересчур громкого Виталика: «Тише ты, опять Ромка проснется». Ромка проснулся и снова радостно взревел за стеной. Появилась Маринка, брякнула в небольшой надраенный колокол, висевший на дверном косяке.

— Таня говорит: если голодные, чистите картошку сами, нам некогда. Дим, давай наряд на кухню…

— Ага… — Дим прошелся по всем глазами. — Я, Кос-тик и Саня…

Это было полным признанием! Как бы зачисле-

нием в экипаж для кругосветного плавания или посвящением в рыцари! И Саня преисполнился тихого восторга и благодарности, позабыв про время… Зато помнил Даниил Корнеевич.

— Сане, братцы, домой пора. А то будет великий шум и поиск… Ты ведь еще придешь, верно?

— Да… — выдохнул Саня. И с сожалением снял с плеча Беню, отдал Костику.

— Приходи, — сказал Костик.

На автобусной остановке случилась новая неожиданность. Там стоял профессор Денисов. И что было делать? Не прятаться же было!

— Папа…

— Ба! Ты откуда здесь?

— Я… Мы то есть… — Саня оглянулся на Даниила Корнеевича, который провожал его.

— Давай-ка, дружище, выкладывай папе все как есть, — посоветовал тот.

— Да, конечно… Во-первых, меня выставили с уроков…

И Саня изложил события.

— А потом мы познакомились, читая объявления на столбе, — перебил его Даниил Корнеевич. — У нас нашлись общие интересы в области маринистики, и я пригласил Саню в гости.

— Весьма вам благодарен, — произнес профес-

сор Денисов довольно сдержанно. И обратился к сыну: — Не исключено, что ты прав в оценке своего боевого поведения. Кстати, очень для меня неожиданного… Однако перспектива объяснения с Юлией Геннадьевной меня все-таки не радует.

— Но это твой отцовский долг, — бодро заявил Саня. Он почуял, что в глубине души папа доволен его отвагой.

— Не спорю. Но не забывай и о своем долге. В частности, он состоит в следующем: когда тебя снова попрут из школы, не болтайся нигде, а сразу иди домой. И не стремись к уличным знакомствам. Не всегда тебе повезет встретить такого человека, как… — Он посмотрел на Даниила Корнеевича вопросительно и выжидательно.

Тот светски наклонил клочкастую голову:

— Вострецов. Работник краеведческого музея и корреспондент «Молодежной смены»…

— Весьма рад. Профессор Денисов, завкафедрой зарубежной истории…

— Ого! — резво обрадовался Даниил Корнеевич. — Так это ваша статья о раскопках неизвестного города на Южном Урале? В «Голосе науки»!

— Читали? — слегка оттаял папа. — Чрезвычайно приятно…

— Да! И еще очерк в «Музейной хронике». О

библиотеке потомков генерал-адмирала Апраксина. Крайне интересный материал.

Папа начал потихоньку расцветать.

— Кстати! — вспомнил Даниил Корнеевич. — У нас, по-моему, есть общий знакомый. Сергей Каховский. Он был аспирантом при вашей кафедре.

— Как же, как же! Отлично помню! Куратором его был не я, но по византийской теме наши интересы соприкасались, и мы… Да! А где он сейчас? В Москве?

— Он перевелся в Севастополь, поближе к любимому Херсонесу…

Эта встреча Вострецова с отцом во многом упростила дальнейшие события. Мама не стала охать, почему ребенок повадился каждый день ездить неизвестно куда и к кому. После папиного рассказа согласилась:

— Если у него не сложились отношения в школе, может быть, найдет друзей хотя бы на стороне…

А в школе отношения действительно «не сложились». Теперь и с Юлией Геннадьевной. Перед майскими праздниками она сказала:

— Конечно, пионерская организация уже не такая, как раньше, но мы, я думаю, все равно

должны создать в классе отряд. Кто хочет стать пионером?

Хотели не все. Примерно половина. Это Юлию Геннадьевну раздосадовало. И, глядя на Денисова, она произнесла:

— Но уж драчунов-то, которые даже не догадались попросить прощения, думаю, принимать в любом случае не следует.

А Саня вовсе и не поднимал руку! Вернее, поднял, но только чтобы поправить волосы.

— Вы ошиблись, я не напрашиваюсь.

А красный галстук он все равно получил. В строю, на пирсе водной станции клуба «Металлист». Был праздник, и под барабанную дробь Костика на мачту подняли оранжевый, с белым солнцем и синим корабликом флаг, и Саня Денисов пообещал быть верным морскому отряду. Название отряда было вышито на галстуке золотыми буквами по краю алого синтетического шелка.

Увидев Денисова в пионерском галстуке, Юлия Геннадьевна подняла крик. И хотела даже собственными руками галстук «этого самозванца» снять. Саня выскочил из класса. Недалеко от школы был телефон-автомат.

— Корнеич! Добрый день…

Вострецов примчался через десять минут. Больше Саню не трогали. Ни из-за галстука, ни вообще. Хотя, казалось бы, причин даже прибавилось. Саня ходил теперь на уроки в отрядной форме — в синих шортах с флотским ремнем и оранжевой рубашке с нашивками и с якорями на погончиках. Одно удовольствие поцепляться за шевроны и погончики Маринованного Сверчка. Однако не цеплялись… Впрочем, был уже самый конец учебного года.

Дни тогда наступили уже совсем летние, и отряд наконец спустил на воду свою легонькую фанерную шхуну.

Старое было суденышко, но все еще быстрое. И Саня задохнулся от восторга, когда шхуна, лихо накренившись, набрала ход и тихонько зазвенела от скорости.

— Шверт поет, — заметил сидевший у руля Корнеич.

Саня уже знал, что шверт — это стальной тонкий плавник, его выдвигают из днища судна. Вот этот звонкий металлический лист и вибрировал, рассекая воду.

— С точки зрения гидродинамики это, наверно, не очень здорово, — сказал Корнеич. — Но зато какая музыка для души, а! — И глянул на

Саню. — Вот потому и название такое. У шхуны и у отряда.

…С той поры прошло уже ой-ей-ей сколько времени. Ревучий Ромка стал спокойным двухлетним карапузом и начал ходить в ясли. Тощий котенок Беня вымахал в упитанного тигра Бенедетто — грозу окрестных котов. Саня познал радости парусных плаваний и премудрости корабельной оснастки. И среди людей из таверны «Сундук Билли Бонса» было ему хорошо как нигде. Первые две недели он звал Вострецова по имени-отчеству, а потом стал называть, как и все, Корнеичем…

Чего, казалось бы, еще желать в жизни? Есть любимое дело, защита от недругов, есть надежные товарищи… Но среди них — действительно надежных, действительно замечательных — пока не было такого, кто стал бы самым-самым. А мечтой по такому другу томится, наверно, всякий человек. Или, по крайней мере, многие… И все-таки странная это штука — человеческое сердце. Разве поймешь, по каким законам рождаются в нем привязанности. Почему больше, чем к кому-то в отряде, потянуло Саню Денисова к хмурому и колючему Дане Рафалову? Сперва год назад, на теплоходе, а потом здесь, после переезда и новой

встречи. Разве объяснишь?..

Да и не объяснять надо было теперь, а для полного спокойствия души соединить их вместе: Кинтеля и маленький отряд с трепещущим, как флаг на ветру, именем «Тремолино».

## ДЖОЗЕФ КОНРАД И МУЗЫКА

Кинтель и дед увязывали книги в пачки.

— Эту не надо, — сказал Кинтель, — она не наша, мне Корнеич дал почитать.

— О! Джозеф Конрад!.. Ну и как? Читал?

— Естественно, — отозвался Кинтель тоном Салазкина.

— Многие считают, что Конрад устарел…

— Только не «Зеркало морей»! Она вообще… как целая морская энциклопедия. И вот еще, смотри… — Кинтель открыл начало последней главы, ее название. «Тремолино».

— Выходит, ваша компания называется так в честь Джозефа Конрада?

— Ну, не в честь, а… по созвучию. Он тут пишет про двухмачтовую баланселлу с латинскими парусами, очень быструю. Она даже дрожала от скорости. А у Корнеича и у ребят была двухмачтовая яхта. Типа бермудской шхуны. Тоже

очень легкая на ходу. Сперва ее хотели окрестить «Мушкетером», а когда испытали, дали название как у Конрада…

— Я, по правде говоря, забыл, что оно означает.

— Это по-итальянски. От слова «тремоло». Значит «дрожащий», «трепещущий». А «тремолино» — это уменьшительное. Вроде как «трепещущий малыш». Трепещущий не от страха, а от скорости. И от радости, что такая скорость…

— Весьма поэтично, — откликнулся дед, но уже с ноткой озабоченности. — Давай-ка, однако, поторапливаться. А то явится Варвара Дмитриевна, и оба мы будем дрожать и трепетать, когда она увидит такой кавардак.

— Мне-то что, — хмыкнул Кинтель. — Это ты трепещи. На то ты и есть молодой муж… — Он со смехом увернулся от подзатыльника, но запнулся за книжную стопку и растянулся на полу. Встал, кряхтя и потирая бока.

— Рукоприкладство в ответ на критику. Я травмирован и работать не могу… Толич, мне пора к ребятам, мы там карту рисуем… Ой, чуть не забыл! Можно я возьму туда на недельку твой альбом со старинными картами? И вот эту, со стены…

— Еще чего!

— Ну, То-олич! Нам надо кое-что срисовать, чтобы… чтобы получилось как в старину. Шрифты скопировать и обозначения…

— Что, у вашего Корнеича мало морских карт?

— Они современные, а старых нету…

— Потащишь куда-то такую редкость! Эта карта не покидала дом больше ста семидесяти лет.

— Все равно ведь придется скоро покинуть… Толич, не жадничай. Санькин отец не побоялся «Устав» мне дать, а ты…

— А я вредный… Ладно, шут с тобой, только сперва увяжешь все книги.

— Да я и так уже опаздываю!.. Я потом все один упакую, не волнуйся!

— Когда это потом… — проворчал дед.

— А куда спешить? Переездом пока и не пахнет…

Дед и тетя Варя расписались в ЗАГСе в середине октября. Тихо, скромно, без всякой свадьбы. И сразу стали решать вопрос о совместной жизни. Здешнюю квартиру и двухкомнатную тети Варину решено было поменять на трехкомнатное жилье. На Кинтеля по этому поводу нашло однажды грустно-подозрительное настроение, и он, надувшись, сказал деду:

— Я вам небось там и не нужен буду…

— Дурень, — ответил дед. И прибавил с какой-то виноватостью: — Комнату себе выберешь лучше прежней.

— Ну уж, «лучше». Небось потолки низкие. И вообще… Толич, тебе не жаль отсюда уезжать? Ты ведь здесь родился.

— А что поделаешь, — насупился дед. — Все равно к весне дом снесут. Сам знаешь…

О том, что дом должны снести, говорили давно, однако Кинтелю не верилось. Уже один за другим стали уезжать на новые квартиры жильцы первого этажа, но все равно казалось, что с домом ничего не случится. С таким привычным, с таким прочным… Кинтель так и сказал.

— Никакой он не прочный, — вздохнул дед. — Стропила все сгнили. И сырость в стенах. Говорят, ремонт себя не окупит. К тому же по генеральному плану здесь должна пройти улица — от моста до нового театра.

— Да театра-то еще нету! Его сто лет не построят! А дом развалить у всех руки чешутся!

Дед сказал, что разваливается вся страна, кто тут будет думать о каком-то старом доме.

Кинтель не считал, что страна совсем уж разваливается. Конечно, жизнь делалась все дороже и голоднее, даже ходили слухи про карточки

на хлеб. И главное, люди повсюду посходили с ума. Однажды в таверне «Сундук Билли Бонса» маленький, всегда насупленный пацан по прозвищу Муреныш смотрел, как на экране лупят из минометов не то грузины по осетинам, не то азербайджанцы по армянам, потом плюнул, вытер ладонью брызги со штанов и произнес:

— Вовсе мозги проквасили. Взрослые называются…

Но пальба, стотысячные митинги и таможенные споры были где-то далеко, в других республиках или на окраинах России. А Преображенск время от времени лишь потряхивало забастовками: то встанут автобусы, то прекратят работу парикмахерские. Три дня, на радость ученикам, бастовали и педагоги. Требовали добавки к зарплате. Дружно так! В школе, где учился Кинтель, не поддержал забастовщиков лишь Геннадий Романович. Высказался почти как Муреныш:

— У вас что, вовсе мозги прокисли? Ребятишки-то при чем, их кто учить будет?

«Штрейкбрехера» заклеймили на стачечном комитете и постановили, чтобы убирался из школы. Геночка плюнул на «эту бабью ассамблею» и ушел. Говорят, подался в кооператив…

Но в общем-то жизнь была не такая, чтобы

ударяться в панику. И главное — дружно жил и не думал разваливаться маленький отряд «Тремолино».

Нельзя сказать, что Кинтель прижился в «Тремолино» сразу. Сперва он ходил на Калужскую только ради Салазкина, чтобы не обидеть его. Кинтель понимал, что винить надо лишь себя, для отчужденности не было никаких причин. Он видел, что ребята отличные: как раз такие, каких он хотел записать в экипаж, когда мечтал о своем пароходе. И Кинтеля они встретили хорошо и спокойно, как давнего знакомого. Но были они в своем «Тремолино» как-то уж чересчур завязаны друг на друга. Одна семья, где все понимают каждого с полуслова. Они знали свои корни: историю прежних отрядов, из которых вырос «Тремолино», судьбы тех, кто был в этих отрядах раньше.

Иногда Корнеич пускал на разболтанном видике кассету с записью старых отрядных кинохроник и самодельного фильма «Три мушкетера». И весь народ смотрел это как про самих себя, хотя на экране сражались на рапирах, шли через пенные гребни на фанерных яхтах, шагали через лесную чащу и лупили палочками по коже высоких черных барабанов мальчишки семидесятых и восьмидесятых годов. Барабанщики «Эспады»,

«Мушкетера», «Синего краба» и, наконец уж, «Тремолино»…

Была на этой пленке и песня о трубаче. Ее пел в окружении пацанов худой смуглый паренек с тонкой полоской усиков на нервной губе. Длинноволосый, с продолговатыми, какими-то «марсианскими» глазами. Тот, кто придумал эту песню.

— Гена Медведев… Кузнечик… — шепотом говорили ребята. И с печалью.

Но даже эта песня не приближала Кинтеля к «Тремолино». Это была их песня, это был их Кузнечик. Их печаль оттого, что Кузнечик навсегда остался в прокаленной афганской земле…

Единственное, что связывало Кинтеля с отрядом, был Салазкин. Но он, оказавшись здесь, как бы растворялся среди обитателей «Сундука Билли Бонса», а Кинтель оказывался в сторонке.

Впрочем, внешне все выглядело нормально. И когда проводили занятия по парусной оснастке (а такое случалось), и когда обсуждали проект новой шхуны с бермудскими парусами, Кинтель не чувствовал себя совсем уж новичком: кое в чем он разбирался. Но если собирались просто так, «на огонек», он держался в уголке или ускользал на кухню, чтобы помочь Тане, жене Корнеича. Та

принимала его помощь с благодарностью. И кажется, вообще понимала Кинтеля лучше других. Однажды сказала:

— Ну, Данечка, быть тебе корабельным поваром. Даже Маринка годится тебе лишь в младшие поварята.

И Кинтель мгновенно почуял: она хочет помочь ему. Дело в том, что каждый вносил в «Тремолино» что-то свое. Или какое-то умение, или черту характера, или даже какую-то необходимость особой заботы (как, например, Мурены ш с его домашней неустроенностью). Эти способности, черточки, горести и радости как раз и создавали тот сплав настроений, который был воздухом «Тремолино». Был в этом сплаве и несильный, но чистый голосок Салазкина, когда один из старших мальчишек, Юрик Завалишин, брал гитару, и все пели песни, которых Кинтель раньше никогда не слышал (кроме «Трубача»).

Кинтель петь не умел и стеснялся. Это ему легко прощали, как остальным прощали всякие другие недостатки: например, излишнюю дурашливость Витальки Не Бойся Грома или стремление маленького Костика то и дело постукивать в барабан, с которым он был неразлучен.

У Кинтеля не было ничего, что могло бы доба-

вить экипажу «Тремолино» новых красок. Его легко взяли в компанию, но так же легко — он чувствовал это — могли обойтись и без него. Потому что не принимать же всерьез умение готовить макароны с жареным луком.

«Может, это потому, что я здесь тринадцатый, несчастливый?» — грустно усмехался про себя Кинтель.

Кроме него, ребят в «Тремолино» была ровно дюжина. Одиннадцать мальчишек и деловитая Маринка — отрядный «лекарь, пекарь и аптекарь». У Маринки был брат Андрюшка, на год младше. Бесстрашное создание с остреньким смуглым лицом и глазами, вечно жаждущими справедливости. Он лез отстаивать эту справедливость на улице, в своем дворе, в школе. Недели не проходило, чтобы Корнеич не кидался вытаскивать его из очередной истории. А еще были Сержик Алданов и Паша Краузе — самые «ветераны» отряда и неразлучные друзья, шестиклассник Игорь Гоголев (по прозвищу И-го-го), сочинявший стихи не хуже, чем Глеб Ярцев в классе Кинтеля, и тихий, немного похожий на Салазкина Сенечка Раух. И девятилетний неприкаянный Илька Мурзаев — Мурeныш, — живший больше у Корнеича, чем дома. Он был одновре-

менно и ласковый, и упрямо-самостоятельный. Большеглазый, чернявый, нестриженый…

Именно благодаря Муренышу кончилось в отряде скрытое отчуждение Кинтеля.

Однажды Мурены́ш взгромоздил у стеллажа самодельную стремянку и полез к верхней полке. Что ему там понадобилось, неизвестно, он ведь никогда не объяснял. Потянул с полки увесистую подшивку журнала «Морской флот», не удержал, не удержался сам. Муреныша поймали еще в середине полета. Но книги, которые посыпались за ним, поймать не смогли.

А следом за книгами со звоном упал на половицы помятый, но блестящий пионерский горн.

Кинтель отпустил невредимого Муреныша и поднял трубу. Поправил загнувшийся край внешнего венчика. Горн был с мундштуком. С таким же, как на той фанфаре, которую дали однажды Кинтелю в «гусарском» оркестре.

Виталик Не Бойся Грома радостно подскочил:

— Ой, я и не знал, что у нас труба есть! Откуда?

— Да разве ж я помню, — недовольно отозвался Корнеич, он перепугался за Муреныша. — Кажется, от давних киносъемок осталась, кто-то герольда на рыцарском турнире изображал… По правде-то у нас горнистов почти не было. Лишь в

самом начале были. А в «Мушкетере» и в «Синем крабе» уже ни одного. Только барабанщики.

Все привычно глянули на знакомую фотографию. И Кинтель. Снимок был большущий, пятьдесят на шестьдесят, в раме и под стеклом. На фотографии — десятилетний Данилка Вострецов в парадной форме барабанщиков «Эспады»: с плетеным капроновым аксельбантом на рубашке, в лихо заломленном берете, в белой портупее. Слегка взъерошенный ветром и собственной радостью, он сиял веснушчатым лицом и от души лупил в барабан, растопырив колючие локти и расставив среди подорожника и клевера щедро украшенные синяками ноги в съехавших гольфах.

Кинтель стеснялся смотреть на эту фотографию и не раз думал: как Корнеич сам-то смотрит со спокойной душой? На себя, стоящего на двух ногах. Ведь одной-то ноги теперь нет! Вот этой, левой, с белым квадратным пластырем под коленкой. Она выросла и была раздроблена миной в Афгане, и ее отрезали ниже колена, и теперь там скрипучий протез. Кто не знает, сразу и не заметит, но ведь Корнеичу-то сколько мук…

Однако и Корнеич, и другие всегда смотрели на снимок без боязни и неловкости. И сейчас тоже.

Но Кинтелю вдруг показалось, что они прочитают его мысли, и он отвел глаза. И чтобы скрыть смущение, спросил:

— А почему их не было, горнистов-то?

— Да так как-то… — Корнеич развел руками. — В барабан стучать — дело нехитрое, а для трубы способности нужны, чтобы играть чисто, а не дудеть, как на школьном сборе…

Кинтель не удержался, тронул мундштук губами, и языком толкнул в него сгусток воздуха. Тонкий металл чутко отозвался, притих словно в ожидании.

— Умеешь, да? — подскочил Не Бойся Грома.

— Не-а… я так просто…

— А все-таки? — сказал Корнеич.

— Да нет же… Я только один раз в руках фанфару держал, в оркестре. Попробовал однажды…

— Ну попробуй еще разок, — с пониманием и с каким-то нетерпением попросил Корнеич.

Кинтель послушался. Как и в том случае, в клубе, звук получился чистый, высокий и с переливчатым дрожанием, которое называется «тремоло». Тогда Кинтель, словно испугавшись, что могут остановить, проиграл те четыре ноты, что и в прошлый раз, три года назад. Проснулась в нем память этих звуков. И они запели так, что

отозвались оконные стекла и колыхнулись паруса модели… И влетела в комнату Таня:

— Вы что, люди! Ромка только что заснул!

Кинтель чуть не провалился. Но Корнеич сказал:

— Подожди. Ромку полковым оркестром не разбудишь, а мы тут горниста нашли… Быть тебе, Данила, трубачом, первым в истории «Тремолино»… Если, конечно, согласен.

— Да я же ничего не умею! Только вот это, что сейчас! И то случайно получается…

— Достаточно и этого для начала. Готовый сигнал. Потом научишься. Главное тут — сама идея и почин…

Кинтель увидел глаза Салазкина — и радостные, и просящие: «Не отказывайся!» И ощутил, как вырастает связь: «тремоло» и «Тремолино». Кинтель и отряд…

То ли по случайности так вышло, то ли был в этом особый смысл — в тот вечер Маринка сказала:

— Дань, давай я на твоем галстуке название вышью, наше. Все равно школьные дружины рассыпаются. А мы живем…

В «Тремолино» никто, даже старшие, с галстуками не расставались. В этих алых треугольниках

здесь видели особый смысл. Кинтель знал давнюю историю, когда в середине семидесятых для первой шхуны не хватило парусины и бушпритные паруса сшили из красного синтетического шелка. Тогда еще можно было найти в магазинах и недорого купить такую материю. Кливера эти стали знамениты на всем Орловском озере. Командир «Эспады» Саша Медведев, старший брат Генки Кузнечика, однажды в разговоре с корреспондентом «Молодежной смены» рассказал:

— Недавно опять на улице шпана к нашим ребятам прискреблась, хотели галстуки посрывать. А для «Эспады» галстуки — это не часть школьной формы, без которой завуч не пускает на уроки. Это символ алого треугольного паруса, кливера. Именно такие паруса помогают идти круто к ветру… Ну и вломили наши мальчики этим пиратам…

Интервью с командиром «Эспады» было напечатано. А через день в отряд явился бойкий молодой человек в отутюженном костюме с комсомольским значком. И предъявил претензии. Мол, что это за новые пионерские законы и правила вы пропагандируете! Во все времена считалось, что красный галстук — символ единства трех поколений, а вы тут со своей трактовкой!

Есть разработанная символика!..

Разговаривал он чересчур самоуверенно, а кандидат физических наук Александр Медведев чиновников недолюбливал. И сказал комсомольскому деятелю, куда тот должен идти вместе с разработанной символикой. После этого у «Эспады» и у Саши начались очередные неприятности, отряд который уже раз поперли из помещения, но ребята держались. А три алых кливера сделали своей эмблемой. Навсегда…

После случая с трубой Кинтель осмелел и пару раз напоминал, что Данькой и Данилой звать его не стоит. Лучше привычным именем-прозвищем. И скоро стал здесь, как и везде, Кинтелем. Для всех, кроме Салазкина. Тот по-прежнему звал его Даней. А больше никто. Но и Саню Денисова никто не называл «Санки» или «Салазкин». Это было как бы право одного Кинтеля…

Конечно, звание трубача было чем-то вроде почетной должности. Звание-название. Потому что, если по правде, — зачем он нужен, горн-то, в двухкомнатной квартире, где собирается экипаж «Тремолино». Маленький Костик — тот хоть подыгрывает гитаре на своем барабане, когда Юрик Завалишин начинает вступление к песне. А Кинтелю даже потренироваться негде — ведь

не будешь трубить в комнате…

И все же Кинтель обрадовался, когда Маринка подарила ему нарукавный значок трубача (хотя и хихикал над собой: «Как третьеклассник, которому дали первое пионерское поручение»). На ромбике из вишневого бархата Маринка вышила золотистыми нитками круто изогнутую, старинного вида трубу, обметала материю такой же золотистой каемкой.

— На. Пришьешь на форменную рубашку.

— У меня же ее нету, рубашки-то…

Корнеич сказал:

— К весне будем всем новую форму справлять. Пора приводить экипаж в порядок. — И добавил: — Кстати, наши музейные мастерские с одним кооперативом закончили, «Орбита» называется. Эти парни пообещали мне подбросить несколько листов фанеры-шестерки. Просто так. «Мы, — говорят, — в детстве тоже о парусах мечтали». Есть среди преображенских бизнесменов совсем даже порядочные люди… Так что, если отыщем к весне какой-нибудь сарай, можно будет закладывать корпус новой шхуны…

— Можно и прямо на берегу, на базе! — весело сунулся Не Бойся Грома.

Он не боялся трудностей. И вообще был от-

важной личностью, несмотря на внешнюю дурашливость. Свое прозвище он получил за то, что в позапрошлом году без лишних слов укротил и заставил полюбить себя громадного пса Грома, который охранял водную станцию. Вообще-то Гром был добродушной псиной, но на посторонних гавкал устрашающе. Загавкал и на Витальку, когда тот появился на берегу первый раз. Виталька без лишних слов подошел к зверю, обнял за шею, потрепал по лохматому боку. И Гром замахал хвостом, лизнул храброго пацана в подбородок…

Услышав предложение Витальки о строительстве под открытым небом, все заговорили, заспорили. А Кинтель осторожно затолкал нашивку во внутренний карман.

…Но однажды горн все-таки пригодился. Во время похода.

Впрочем, был это даже не поход, а воскресная лесная прогулка. На электричке доехали до станции Белый Камень, потом прошагали километра три и вышли на берег Орловского озера.

Справа, в далекой дымке темнел еле заметный город. По берегам щетинился синий лес, в котором мелькали последние проблески не успевшей облететь листвы. День стоял безоблачный, озе-

ро среди берез и елей синело резко и чисто. На лужайках в жухлой опавшей листве и хвое виднелись последние мелкие цветы — робкие, бледно-желтые и белые.

— Завтра уже Покров, снег должен бы выпасть, а тут тепло такое, — сказала Маринка и почему-то вздохнула. — Ну ладно, костер все равно нужен. Мальчишки, идите за хворостом.

Кинтель, Салазкин и трудолюбивый Мурены ш притащили охапки сучьев раньше других. Развели огонек, подвесили над ним ведерко с ледяной озерной водой. Вода уже нагрелась, а другие ребята все не показывались из чащи. Корнеич забеспокоился:

— Кинтель, а ну-ка, потруби…

И Кинтель достал горн, который перед походом, стесняясь, почти украдкой, сунул в рюкзак. Заволновался почему-то, но чисто и протяжно выдал на весь лес четыре ноты.

И побежали из-за деревьев, заспешили к огню послушные сигналу матросы экипажа «Тремолино».

— Что случилось?!

— Тревога, да?!

— Тревога оттого, что вы бродите где-то целый час, — притворно нахмурился Корнеич. — Хватит

уже, вон сколько дров…

Дальше было все как бывает в таких походах. Посидели у огня, угостились обжигающим дымным чаем, вспомнили кое-какие песни. В том числе и «Трубача». Паша Краузе вдруг сказал:

— Вчера заспорил с одним парнем в нашем классе, он из скаутского отряда, из «Былины». Говорит: «Ваши песни — все какие-то агрессивные, к вечной борьбе зовут. „Нам коней горячить, догоняя врага…“ Какого врага-то?» А я ему говорю: «Зато это наши песни…»

— В общем-то скаутский мальчик прав, — задумчиво согласился Корнеич. — Песни эти действительно из прошлых лет, из семидесятых. Тогда «Эспаде» и другим таким же отрядам воевать приходилось направо и налево. И школьное начальство нас поедом ело, и горкомовские чины. И местная шпана в трогательном союзе с ними… В чем-то тогда было даже лучше, чем сейчас. По крайней мере, знали, кто друг, кто враг… А сейчас большой враг разбежался на сотни маленьких. Будто крупный зверь превратился в сотню мышат. Кусают за пятки. Причем ядовито…

— Они бы лучше помалкивали, эти былинщики, — сказала Маринка. — «Синего краба» нашего сами на каждом сборе поют…

— А в общем-то они хорошие ребята, — заметил Сержик Алданов. — Никогда ни на кого не лезут. За первоклассников тогда заступились вместе с нами…

Корнеич вспомнил:

— Их руководитель мне звонил в начале сентября, приглашал: подавайтесь в нашу организацию. У скаутов, говорит, и материальная база, и возможность за-граничных поездок…

— А ты? — дернулся у Корнеича под боком Костик-барабанщик.

— А я говорю: у нас двадцать лет своей истории, она не хуже скаутской. Чего же мы будем ради заграничных поездок от всего своего отказываться… У вас, говорю, и барабаны другого цвета, а Костик свой барабан ни на какой другой никогда не променяет. А мы куда же без Костика?..

— То-то же, — сказал Костик. И устроился поудобнее.

— А он что, этот их руководитель? — поинтересовался Дим.

— А этот скаут-мастер… с ехидцей, хотя и вежливо: «Что ж, верность принципам достойна уважения. Даже если это верность организации имени Владимира Ильича…»

— Давно уже нет этого имени у пионерской ор-

ганизации, — сказала Маринка. — Проснулись…

— Сейчас на пионеров каждый, кому не лень, бочку катит, — вмешался Дим. — На кавээнах здоровые обалдуи обрядятся в шортики, салютуют и кривляются… Будто раньше в отрядах только и делали, что маршировали да песни про Ленина разучивали…

Корнеич ногой-протезом поправил тлеющие сучья, привалился спиной к сосне. Объяснил с досадой:

— Все уже позабыли, что были разные отряды. Одними классные руководительницы командовали, по минпросовским планам, другие за свою самостоятельность воевали. В хороший отряд ребята шли для того, чтобы товарищей найти, чтобы локоть к локтю… Помню, как я сам в пионеры вступал. Хором говорили заученные слова: «Я, такой-то, вступая в ряды пионерской организации имени Ленина…» Я об этом имени, что ли, думал тогда? О Павлушке Снегиреве думал, который слева от меня стоял, и о Васильке Рыбалкине, который справа… А был у нас Димка Соломин, так он чуть все торжество в школе не нарушил, когда его принимали. Должна была ему какая-то девчонка галстук повязывать, а он заупрямился. И к Сереге Каховскому: «Повяжи мне ты. Потому

что ты мой друг…» Тот потом рассказывал, что у него аж горло перехватило…

Дим деликатно спросил:

— А он, Сергей Евгеньевич-то, пишет что-нибудь?

— Пишет. Обещал в севастопольском «Военторге» якоря и пуговицы для нашей новой формы раздобыть… Кстати, я помню, как в те дни Серега сцепился со своим дядюшкой. Тот все укорял его за стремление влезать во всякие свары. А Серега ему: «Вы же всегда на Ленина ссылаетесь. А разве Ленин учил в углу отсиживаться?» Дядюшка и усох… Для нас Ленин был тогда вот таким оружием. В случае чего можно было сказать классным дамам и завучам: «Говорите, что Ленин учил смелости и честности, а от нас чего требуете? Чтобы не пикали и не высовывались!..» Потому что никто ведь не знал тогда ни о концлагерях еще в девятнадцатом году, ни о том, как расстреливали казаков целыми станицами, как священников уничтожали… И был для всех Ленин не человеком, а вроде как символ для отдания почестей. Салютнули и пошли, а чувств никаких… Чувства были, когда наши барабанщики начинали играть наш сигнал — «марш-атаку»…

— А правда, что Ленина скоро в земле похоро-

нят? — вдруг спросил Муреныш.

— Может, и похоронят, — вздохнул Корнеич. — Правильно было бы. А то чего хорошего? Умер человек, а на него чуть не семьдесят лет все глазеют, как в музее… Судить можно по-всякому, а лежать в земле каждый имеет право.

Маринка сказала полушепотом:

— Бабушка говорит, что душа не может успокоиться, пока человека не похоронили…

— А душа, она по правде есть? — полусонно спросил Костик.

— А как же! — храбро заявил Не Бойся Грома. И вдруг смутился, засопел.

Сержик Алданов опять вспомнил про скаутов:

— К ним теперь каждую неделю священник ходит, занятия ведет по религии…

— Ну и что такого?.. — тихо отозвался поэт Игорь Гоголев (который И-го-го).

— Да ничего, — сказал Алданов. — Только у них эти занятия обязательные. А разве можно такое в обязательном порядке?

Корнеич проговорил со вздохом:

— Если нам тоже священника звать, то какого? Пришлось бы и православного, и лютеранского, и раввина. И муллу, наверно… да, Муреныш?

Тот не удивился вопросу:

— Мамка и отец неверующие. А бабушка верит в Аллаха и меня учила…

— Вот видите, — сказал Корнеич.

Вечный рисовальщик Сенечка Раух, черкая в своем блокноте угольком, сказал тихонько, но уверенно:

— Главный Бог у всех религий все равно один…

Корнеич поднялся:

— Пусть он нам и поможет. Осень протерпеть да зиму продержаться. А весной заложить новый корабль… Солнце садится, ребята.

В конце сентября по чьему-то умному указу время передвинули еще на час назад по сравнению с привычным, и теперь закат начинался совсем рано. Помидорного цвета солнце среди стволов опускалось в озеро, раскатало по воде огненную дорожку.

— А ну-ка, народ, встали, — серьезно сказал Корнеич. И все быстро, привычно выстроились на лужайке в шеренгу. Корнеич попросил: — Ну, трубач, давай прощальный сигнал.

И Кинтель, ощутив холодок волнения, снова проиграл свои четыре ноты. А остальные стояли, подняв над правым плечом сжатый кулак, — это был давний салют независимых отрядов. Так

«Тремолино» проводил в этот вечер солнце…

С той поры прошло еще три недели. Наступили осенние каникулы. В «Тремолино» увлеклись новым делом. Вернее, забытым старым. Решили нарисовать на нескольких листах фантастическую морскую карту и возродить давнюю игру с корабельными боями и путешествиями. Крошечные и очень аккуратные модельки парусников для такой игры хранились у Корнеича на отдельной полке. Десятка два. Эти кораблики в свое время смастерили мальчишки «Эспады», «Мушкетера» и «Синего краба».

Рисовать умели не все. Работали в основном Сенечка Раух, Салазкин, Дим и сам Корнеич. Остальные больше давали советы и были, как говорится, на подхвате. Из Кинтеля художник был как из слона балерина. Но зато Кинтель притащил в «Сундук Билли Бонса» альбом с копиями средневековых портуланов и старую карту полушарий, за что удостоился всяческого одобрения.

В тот вечер засиделись до девяти часов. Кинтель возвращался домой один: Салазкин отбывал дома карантин после ангины.

Падал редкий щекочущий снежок, уютно светились фонари, и Кинтель решил пару автобусных перегонов пройти пешком. Хорошо было и спо-

койно, спешить не надо, деду Кинтель позвонил, что немного задержится, не волнуйся, Толич. И шагал теперь, отдувая от лица снежинки…

Хорошее настроение испортила встреча с отцом. Тот вышел из дежурного гастронома на Садовой. При свете витрины отец и Кинтель узнали друг друга.

— Привет, Данилище…

— Здравствуй, — неохотно сказал Кинтель.

— Гуляешь?

«Ну, начинается пустословие!»

— А чего не гулять? Это у вас, у взрослых, праздник Великого Октября отменили, а у нас все равно каникулы.

— Вот и заглянул бы хоть разок в каникулы к отцу…

Кинтель пожал плечами:

— Ты же на работе целый день.

— Ладно отговариваться-то, — добродушно пожурил его Валерий Викторович. — К Лизавете-то, к мачехе бывшей, заходишь небось, а меня вовсе позабыл.

— Я не к ней, а к Регишке… А у вас в общежитии вахтерша такая… Один раз я сунулся, а она сразу: «Куда прешь!»

Отец и тетя Лиза разошлись еще в конце сентяб-

ря. Возиться с разменом отец не захотел, оставил квартиру бывшей жене и ее дочке. Родное СМУ-11 дало ему комнату в общежитии. Обещали подыскать потом и постоянное жилье, хотя бы в коммуналке. Ценили специалиста.

Кинтель и отец пошли вдоль освещенных магазинов. Насчет вахтерши отец сказал:

— Ты, наверно, не объяснил ей, к кому идешь. Иначе бы сразу пустила, меня там уважают.

Кинтель промолчал. Потому что про вахтершу он соврал, в общежитие никогда не заглядывал.

Отец вдруг предложил:

— Слушай, а может, переедешь ко мне, а? Комната большая. А если вдвоем будем, глядишь, и однокомнатную выделят, предприятие скоро дом сдает.

Кинтель сказал прямо:

— Для того я тебе и нужен?

— Ну зачем ты так? Я же по-хорошему…

Уже иначе, тихо, Кинтель спросил:

— А для чего я тебе тогда?

— Ну… сын же ты. Почему не пожить с отцом? Да и мне одному как-то… паршиво порой.

— Зачем разводился-то?..

— «Зачем»… Так просто не скажешь, жизнь штука сложная.

— Сам ты себе сложности придумываешь… А от деда я не пойду. Чего ради? Я с ним с самого младенчества…

— Ну и что же, что с младенчества?.. Я с ним тоже с младенчества, а теперь он про меня и слышать не хочет.

— Почему же, — примирительно сказал Кинтель. — Он часто вспоминает. Переживал тогда, как вы там с тетей Лизой…

— Подумаешь, «переживал»! — внезапно ожесточился отец. — Проку-то от его сентиментальности… А тебя он, думаешь, почему пригрел? Потому что ты у него за домработницу!

— Не говори чего не надо-то, — пренебрежительно отозвался Кинтель.

— А ты от правды не отмахивайся. Поразмысли и сам поймешь… Ты вот меня поддел, будто я тебя ради квартиры зову. Ну и что? Стали бы вместе жить, а потом квартира тебе досталась бы… У меня, между прочим, предынфарктное состояние было…

— Ну ты даешь!

— А чего, трезво смотреть надо… Деду, между прочим, именно благодаря тебе новая-то квартира светит, поскольку дом на снос. А иначе бы: получите, Виктор Анатольевич, комнату, по-

скольку вы одиночка, и будьте довольны…

— Неправда! По закону должны дать равнозначную площадь!

— Ха! Где они законы-то наши?.. А когда отец с Варварой съедутся, будешь ты им нужен как драный лапоть на трюмо.

Эти слова ощутимо кольнули Кинтеля. Потому что отец словно угадал его недавнюю тревогу. Правда, тревога та была минутная, полушутливая, но все-таки… И Кинтель опять разозлился:

— А если ты снова женишься, я вам буду нужен как что?

— Я? Женюсь?! Трижды одну глупость не делают.

Кинтель помолчал и вдруг спросил:

— Папа… А как узнали, что мама погибла?

— Что?.. — Отец малость растерялся. — Ну, как… Списки же были. Всех пассажиров. Тех, кто спасся, и тех… кого потом нашли… И кого не нашли… Я вплотную-то этим не занимался, мы ведь не жили уже тогда вместе…

— А она… точно погибла?

Отец глянул быстро, но без сочувствия:

— А что ты думаешь? Может, просто следы замела? Зачем?

— А иди ты… знаешь куда! — взвинтился Кин-

тель.

— Ну, ты!.. С отцом все же разговариваешь!

— А я на разговор и не просился, ты сам… Ладно, я пошел, вон автобус…

— Постой! Ну давай поговорим по-человечески!

— Мне домой надо! — И Кинтель побежал к остановке.

…Слова отца, что деду Кинтель нужен был ради выгоды, хотелось наглухо забыть. Потому что чепуха это! Но все же сочился эдакий яд сомнения. Домой Кинтель пришел хмурый.

Дед и тетя Варя увязывали последние пачки.

— Ну, явился работничек! — ворчливо обрадовалась тетя Варя. — Хоть к концу дела. А то мы без тебя умаялись.

— А чего маяться, — сварливо сказал Кинтель. — Еще и квартира никакая не светит, а вы шмотки упаковываете.

Дед разъяснил добродушно:

— Во-первых, кое-что светит. Во-вторых, всегда лучше делать хлопотливую работу заранее…

— Вы ее, работу, всегда отыщете, — буркнул Кинтель.

— Что-то отрок не в духе, — нерешительно заметил дед. И сообщил: — Регина звонила тебе,

спрашивала, пойдешь ли с ней завтра в кино. Вроде бы ты обещал…

— Только ей я еще и нужен, — проговорил Кинтель и почувствовал, как заскребло в горле.

Дед и тетя Варя переглянулись. Тетя Варя спросила:

— Ужинать будешь? Пойдем, я на кухне все тебе поставлю.

— Сам управлюсь, — тихо сказал Кинтель.

## ГЕРОИ И НЕ ГЕРОИ

Ветер менялся постоянно. Это затрудняло маневрирование обеих эскадр в узкостях Лимонного архипелага. Угадать изменения ветра было немыслимо. Они зависели не от законов природы, а от волчка. Его крутил Муреныш. Нравилось Муренышу быть в должности ВВВ — Владыки Всех Ветров. Хотя, по правде, владычества здесь не было, все зависело от того, каким краем упадет волчок на карту Семи морей и Нетихого океана. Картонный кружок, надетый на спичку, был восьмигранный, на каждой грани — название компасного румба. Лег волчок на карту «норд-вестом», значит, и ветер с северо-запада. Упал «зюйдом» — значит, с горячего побережья Сэнд-

ландии дует южный, с запахом раскаленного песка «Дракон пустыни»…

Играли семеро: Кинтель, Салазкин, Паша Краузе, Дим, Андрюшка Локтев, Не Бойся Грома и Мурены́ш. Все, кроме Мурены́ша, были капитанами кораблей или даже соединений.

Корнеич сидел тут же, но не играл. В углу, у журнального столика с лампой сочинял для газеты статью о том, как паршиво организованы в Преображенске зимние каникулы: на главной площади у елки — разгул шпаны, ребятам опасно соваться; в кино — сплошной американский мордобой; половина катков не работает…

Ромку отправили в гости к тетушке — старшей сестре Корнеича, тете Юле, — это было очень кстати. А то двухлетний флибустьер имел обыкновение врываться в комнату и громить все эскадры, не разбирая, где флот адмирала Розенбаркера, а где корабли славного Диего де Нострапустры… Серого разбойника Бенедетто, который тоже не прочь был поиграть корабликами, заперли на кухне. Таня, правда, это не позволяла, но сейчас ее не было дома: готовилась в институте к сессии заочников. И морское сражение разгоралось без помех, наполняя комнату невидимым дымом канонады и боевым азартом…

За бригом «Арамис», которым командовал Салазкин, гнались Виталькин фрегат «Афродита» и трехдечный линейный корабль Паши Краузе «Три Адмирала». Вот-вот прижмут к отмели плоского острова Черная Поясница. Но тут Мурены принес Салазкину удачу: волчок показал, что задул спасительный зюйд-ост. «Арамис» увалился до фордевинда и лихо ринулся в узкую протоку Кишка Крокодила, которая разрезала остров надвое. «Афродита» и «Три Адмирала» с величайшей досадой прекратили погоню: сунуться за «Арамисом» не позволяла малая глубина Кишки.

Ловкий маневр Салазкина позволил не только спасти бриг, но и вообще изменил ход сражения. У подветренного берега Черной Поясницы Кинтель на сорока-пушечной «Оранжевой Звезде» отбивался от могучего линейного «Гаргантюа», на котором воевал Дим. Виталик на «Красотке» спешил «Звезде» на помощь, но не успевал. «Арамис» вырвался из протоки и первым же залпом сделал в «Гаргантюа» дыру ниже ватерлинии. Тот осел на левый борт и два хода подряд не мог вести огонь…

Артиллерией всех кораблей распоряжался Андрюшка. Еще он командовал шхуной «Флейта», но ее к тому времени утопили, и Андрюшка весь

отдался «огненной потехе»: азартно швырял на кожу гулкого барабана разноцветный кубик. Три грани кубика — белые, это значит промах. Одна желтая — попадание в надводную часть. Одна коричневая — повреждение рангоута и такелажа. А самая грозная — голубая: пробоина в подводной части. Вода хлещет, матросы кидаются к помпам, капитан орет: «Спокойно! Паникеров вышвырну за борт! Заткните дыру коком, он самый толстый!»

Извечное стремление Андрюшки к справедливости исключало всякую возможность, что он станет подыгрывать той или иной стороне.

…Пока «Гаргантюа» чинился, беспомощно обезветрив паруса, подоспела «Красотка», и под боевые вопли капитана Не Бойся Грома три судна пустили несчастный линкор в пучину Нетихого океана.

— Будем лежать на дне, трам-пам-пам, — печально мурлыкал Дим, — в синей прохладной мгле, трам-пам-пам… — Потом сказал: — Тебе повезло, Санечка, с зюйд-остом. А то оказался бы как бриг «Меркурий» перед «Селемие» и «Реал-беем».

— Ну и оказался бы! — храбро заявил Салазкин. — Может, и отбился бы!.. И Корнеич в мой герб пожаловал бы рисунок пистолета. Как Нико-

лай Первый офицерам «Меркурия».

Корнеич уже не сидел над статьей. Он стоял над расстеленной на полу картой и задумчиво тер щетинистый подбородок.

— Здесь не очень-то похоже на ситуацию с «Меркурием»…

— Потому что перед «Меркурием» было открытое море, свобода маневра, — тоном знатока заметил Не Бойся Грома.

— Не в этом даже дело… — Корнеич, скрипнув ногой, сел на корточки. — Тут надо учитывать все сопутствующие обстоятельства. Может, Николай и не стал бы так возвеличивать подвиг «Меркурия», если бы не другие события. Нужно было в тот момент особо подчеркнуть, что есть на Черном море русские герои. Чтобы затушевать другие случаи, негероические…

— «Рафаил», да? — тихо спросил Кинтель. Не хотелось ему об этом, неуютно стало, но удержаться не смог.

— Да… — вздохнул Корнеич. — И кстати, сдача «Рафаила» спасла, скорее всего, от неприятностей командиров брига «Орфей» и фрегата «Штандарт». Конечно, можно по-всякому судить их поведение, но как ни крути, а «Меркурий» они бросили. Умчались от турок благодаря хорошей

скорости, а Казарского оставили на разгром… А потом, услышав канонаду, приспустили флаги: прощай, дорогой товарищ. Думали, что конец… Царь, видать, решил с ними не разбираться, чтобы не раздувать скандал, хватило и Стройникова…

Судя по всему, Корнеич хорошо знал этот случай. Да и другие были не новички в морской истории. Только Мурены́ш хлопал глазами.

Дим возразил:

— Все равно «Орфей» и «Штандарт» ничем не помогли бы «Меркурию». У турков же целый флот был, одних линейных кораблей шесть вымпелов. Никакой пользы от такого боя…

— Ну да, — хмыкнул Корнеич. — Их рассуждения были признаны здравыми. Товарища бросить — это все-таки не флаг спустить. Можно сохранить видимость приличия. А вот капитана Стройникова не простили. И офицеров его. Трусы, говорят…

Что-то похожее на рассуждения деда было в тоне Корнеича. И Кинтель спросил с надеждой:

— А может, и не трусы, а… совсем другое здесь?

Корнеич внимательно посмотрел на Кинтеля. Словно догадывался о чем-то! (А ведь он ни о чем не знал, и ребята не знали, даже Салазкин.)

— Думаю, что было другое, — понимающе сказал Корнеич. По-мальчишечьи потер подбородок о колено, повертел в пальцах бриг «Арамис», поставил на карту. — Думаю, там, на «Рафаиле», столкнулись две правды…

— Разве так бывает, что две? — придирчиво спросил Андрюшка.

— Порой случается… С одной стороны присяга, честь флага и достоинство военного моряка. А с другой — заповедь Божья: «Не убий…» Мне кажется, Стройников ужаснулся, когда понял, что своим приказом к бою он просто-напросто убьет две с лишним сотни человек. Причем это ради одной идеи, потому что на исход войны тот бой, конечно, никак не влиял… Стройников не за себя испугался… Ведь после плена матросы могли вернуться, служить дальше, потом прийти в свои деревни, жить, землю пахать, детей растить… А он все это должен был зачеркнуть одной командой… Конечно, высокая доблесть — взорвать себя, не сдаться врагу. Но мне кажется, Стройников счел, что есть еще более высокая доблесть. Пожертвовать своим именем, честью, шпагой, свободой, чтобы спасти других. По-моему, он знал, на что идет… И сколько матросских жен и детишек потом в сельских церквях за него свечки

ставили…

«И я должен…» — толкнулось в Кинтеле. Но он проговорил со стыдливым упрямством:

— А чего же он, Стройников-то, в рапорте все на матросов свалил? Будто они не захотели воевать до смерти…

— Может, и правда кто-то не захотел, зароптал. Живые люди ведь… А суд не стал это подтверждать. Царю не понравилось бы, что на одном корабле столько трусов… А может, Стройников, когда все было позади, испугался уже за себя, решил таким образом оправдаться. У всякой человеческой твердости есть предел, и когда спадает напряжение, может насупить слабость… Бывает такое…

Он замолчал, и ребята тоже молчали. Со скрытой неловкостью. Потому что почуяли: говорил Корнеич не только про давние морские бои. Еще и про свою войну.

И может, чтобы сбить напряжение, Паша Краузе кашлянул и вспомнил:

— Вот у декабристов тоже… Я читал недавно. Вроде все были храбрые, с Наполеоном воевали, а после восстания… в общем, некоторые и на допросах раскалывались, и друг на друга…

Корнеич, словно встряхнувшись, заступился за

декабристов:

— Но потом, в тюрьме и в ссылке, ни один не упрекал другого. Хватило совести и чести…

А Кинтелю было хорошо, тепло так от этого, что здесь его спасли наконец от вины за «Рафаил». Корнеич спас. Конечно, никто не снимет официальных обвинений с капитана Стройникова, но теперь за него можно заступиться. Потому что в самом деле — сколько свечек было поставлено в память о нем!..

А разговор о декабристах показался Кинтелю тоже не случайным. Так бывает часто: одно как по заказу увязывается с другим. Кинтель весело поделился с друзьями:

— А в нашем доме тоже декабрист жил. Лейтенант Вишневский, из гвардейского экипажа. Мне дед рассказывал недавно…

Этот разговор с дедом случился накануне Нового года.

В декабре квартирные дела начали разворачиваться на удивление бойко. Уже нашлись желающие обменять свое трехкомнатное жилье на квартиру тети Вари и на новую однокомнатную, которую получит дед. И он должен был ее вот-вот получить, да в последние дни какие-то проходимцы устроили «поганую волокиту» с

ордером. Ссылались то на предстоящую приватизацию жилья, то на неясности с законами.

— Ждут, когда я им «на лапу» положу! — негодовал дед. — Черта с два! Не дождутся, паразиты!.. Превратили СССР в СНГ, а кавардак остался прежний, что в Союзе, что в Содружестве… Тоже мне «содружество»! Две республики выясняют отношения с помощью ракет и тяжелой артиллерии, а остальные ничего не могут сделать…

— Тебя бы туда, ты навел бы там порядок, — ворчала тетя Варя.

— Меня там только и не хватало… Внутренние войска и те из Карабаха драпают.

— Тогда сиди, не воюй.

Но дед остывал не сразу и минут пять еще ругал и политиков, превративших страну черт знает во что, и чиновников, из-за которых Новый год придется встречать на прежнем месте, среди собранных заранее узлов, коробок с имуществом и увязанных в пачки книг.

— Ну и встретим! — не унывала тетя Варя. — И не такое бывало! А уж в новом году с новыми силами — переезд!

Несмотря на дикие цены, она купила на рынке килограмм говядины и полкило свинины, сделала фарш, раскатала тесто и усадила Кинтеля и

деда лепить пельмени.

Пельмени Кинтель любил. Но сейчас веселому тети Вариному напору подчинился насупленно. Порой ему казалось, что тетя Варя командует им чересчур энергично и придирчиво. Будто он сам не знает, какие дела ему делать! До недавнего времени был хозяином в доме пу-ще деда, а теперь… Нет-нет да и вспоминался ему ноябрьский разговор с отцом. И думал Кинтель: «Если здесь такое, то на новом месте еще хуже начнется… А может, это нарочно? Чтобы я сам запросился к отцу…»

Впрочем, на этот раз Кинтель дулся лишь минуту. В новогоднем вечере всегда есть какой-то намек на сказочность, и не хотелось разбивать это настроение.

Готовые пельмени тетя Варя вынесла на мороз, а из дровяника притащила елочку. Славную, разлапистую.

— Вот! Утром какой-то пьяница у гастронома продавал.

Дед заворчал. Он считал, что можно обойтись искусственной елкой, незачем губить природу.

— Так все равно уже срублена! Пускай будет у нас! — весело спорила тетя Варя. — Я с детства люблю, как елкой пахнет… Вы наряжайте, а я еще

пробегусь по магазинам…

Кинтель тоже любил новогодний запах елки. Не сравнить с искусственной. И елочные игрушки любил. Среди них было несколько старинных: стеклянный полумесяц с потертой позолотой, картонный домик, в который раньше вставляли свечку, пять шаров с картинками, ватный лягушонок. Может быть, их вешали на рождественские елки еще Оля Чернышева и Никита Таиров.

Кинтель вдруг подумал, что этим игрушкам потом, на новой квартире, будет неуютно, непривычно. И портрету прапрабабушки. И старой карте. Она ведь всегда висела здесь.

— Жалко… — вздохнул Кинтель.

— Что? — насторожился дед. Он осторожно вешал на елку розовый шар.

— Вообще… Плохо, что ли, нам тут жилось? Не тесно вроде…

— Все познается в сравнении. Поживешь на новом месте, обратно не захочешь…

— Обратно и не получится, разломают… Ну зачем разрушать-то? Крепкий еще дом. Можно было бы в нем какие-нибудь мастерские сделать. Или библиотеку. Вон детская библиотека на Первомайской в какой конуре…

— Я говорил в исполкоме. Чего, говорю, спешите-то? Ломать — не строить. А они все то же: генеральный план, магистраль от реки до театра… Не убедил. Говорят, сохраняются только памятники истории и архитектуры.

— А у нас, что ли, не памятник? Двести лет!

— И про то говорил. Мало того, вспомнил даже, что здесь одно время декабрист Вишневский жил. Управлял горными заводами в сороковых годах…

— Правда?! — подскочил Кинтель.

— Были такие слухи…

— А ты мне никогда не рассказывал!

— Я думал, ты знаешь… Да и чего рассказывать-то? Документами это не подтверждается. Может быть, просто легенда. Хотя мама говорила, что карта наша именно от него осталась…

— Ну, Толич, ты даешь… — обиделся Кинтель. — Ни разу ни словечка!.. Ну-ка, рассказывай.

— Ох и вреден ты стал… Ладно. Федор Гаврилович Вишневский. Как все тогдашние офицеры флота Российского, окончил Морской корпус. Под командой капитана Лазарева ходил вокруг света на фрегате «Крейсер». На том самом, где был тогда и… — Дед вдруг замялся. Чертыхнулся шепотом, будто не может надеть петельку шара

на колючую ветку.

— Где был тогда и Павел Степанович Нахимов, будущий адмирал, — ровным голосом закончил Кинтель. — Толич, ты по правде думаешь, будто при имени Нахимова меня колотит нервная дрожь? Хватит уж… Одно дело пароход, а другое адмирал…

— Так мне старому… — с досадливым удовольствием сказал дед. — Хорошо. Поехали дальше… К моменту восстания было лейтенанту Вишневскому двадцать четыре года. Как сей офицер оказался среди заговорщиков, непонятно, в Тайном обществе он не состоял. Однако же восставших поддержал, отказался присягать Николаю, роту свою, что была в составе матросского гвардейского экипажа, вывел на Сенатскую площадь… Но тем и кончилось. Постояли на площади, увидели, что дело провалилось, и пошли обратно… А ночью голубчика взяли, как и многих… Ну, в разряд главных бунтовщиков Вишневский не попал. На допросах он упорством и доблестью, видимо, не блистал, утверждал, что старался удерживать своих матросов от активных действий. Что еще говорил, не знаю. Читал только, что Николай отмечал где-то: мол, показания Вишневского довольно любопытны… До суда помотали его по

разным крепостям, потом сослали солдатом на Кавказ, через несколько лет он выслужился в мичмана, побыл еще на флоте, ушел в отставку. После того и сделался чиновником в Управлении горных заводов… Но я не уверен, что здесь жил именно он. Возможно, что его брат или даже однофамилец…

— Что ж это он из моряков-то ушел?.. — недовольно заметил Кинтель.

— Может, по службе продвижения не давали или здоровье подвело… А возможно, и не был он сильно привязан к морской жизни… Другой декабрист-моряк, Завалишин, отзывался о нем в своих записках весьма нелестно. И вроде бы капитан Лазарев на «Крейсере» тоже не очень-то Вишневского любил…

— Подумаешь. Мало ли кого начальство не любит, — буркнул Кинтель. Ему стало обидно за Вишневского.

— И один из Бестужевых, Павел, по-моему, тоже писал о нем не слишком хорошо. Что Федор Гаврилович был человек неглупый и добрый, но все время роптал на свою судьбу, а это недостойно сильной натуры… В общем, как видишь, тоже не герой…

— Почему «тоже»? — напрягся Кинтель.

Дед покосился через плечо:

— Ну, я имел в виду капитан-лейтенанта Стройникова. О котором ты часто думаешь.

— С чего ты взял, что часто? Больно мне надо о нем думать!

Виктор Анатольевич сделал вид, что поверил:

— Ну и ладно… Попробуй-ка лампочки включить, горят ли…

Лампочки среди пахучих веток сказочно загорелись. Но досада у Кинтеля не прошла, он проворчал:

— А чего ты на них бочку-то катишь? И на Стройникова, и на Вишневского. Будто они самые последние гады…

— Я?! Что ты, мой милый… Я им в судьи не гожусь, потому как сам далеко не герой. Если бы ты знал, сколько у меня на совести совсем даже не храбрых поступков…

Кинтель поморщился. Такие фразы прорывались у Толича и раньше — в грустные минуты. Нечасто, правда… Пришлось теперь заступаться за деда перед дедом же:

— Это хоть у кого есть на совести. А есть и другое! Ты же сам рассказывал, как с парашютом прыгал, когда в санитарной авиации служил.

— Ну прыгал. Один раз… Куда не прыгнешь, ес-

ли приспичит… Это было совсем не романтично и чертовски страшно. А главное — зря…

— Зря?! Ты не говорил… Больной все равно умер, да?

— Если бы так, это имело бы, по крайней мере, оттенок благородной трагедии. А тут сплошной водевиль. Парень украдкой перебрал казенного спирта и маялся с перепою, а друзья на базе решили, что кончается, дали радиограмму…

Кинтель сказал с хмурым ехидством:

— Бывает, что и с перепою помирают. Или тогда помогать не надо? Потому что тоже не герой?

— Экий ты сегодня… Может, у тебя двойка за полугодие? Или со своим Салазкиным поругался?

— Мы с ним никогда не ругаемся. А дневник я тебе вчера на подпись давал… Ты скажи лучше: если в человеке ничего героического, значит, он вроде как и неполноценный, да?

— Во-он ты о чем… Это вопрос многоплановый. Поставленный, так сказать, самой российской историей.

— Почему?

— Такая наша жизнь. Даже песня была в недавние времена: «Когда прикажет страна быть героем, у нас героем становится любой…» А не хочешь подвиги совершать, мы тебя… Вот и шло

деление: или ты герой, или дезертир и враг народа… А те, кого еще не определили, кто он есть, жили смирненько и ждали, как оно повернется. Потому что вроде бы не люди, а так… единицы населения. С ними чего церемониться? Можно и за проволоку, и стрелять тысячами не жалко… Впрочем, и с героями не церемонились…

— Я же не про советские времена, а про те, что раньше!

— А корни-то куда уходят? В это самое раньше… Его величество Николай Павлович разве не так поступал?.. "Ах, ты не хочешь, сукин сын, быть героем? Так мы тебя им сделаем! Солдатскую шинель на плечи — и на Кавказ ша-агом марш… А то и в крепость. Для обретения правильности мыслей… А другие величества? Тот же Петр Великий…

— Ну, Петр-то, он все-таки по правде великий был! Флот построил. И вообще он думал не о себе, а о стране!

— А Николай Первый? Думаешь, он за себя переживал? Тоже за Великую Россию! За такую, как он ее себе мыслил. Чтобы всюду порядок, все ходили по струночке, а другие государства нас боялись и чтили… По сути дела, он сам был раб этой системы.

— Ты скажешь! Царь и раб…

— Раб своих убеждений… Кстати, по дурацкой нашей традиции его изображают этаким безмозглым и бессердечным фельдфебелем. А это был умный человек. Бюрократов и проходимцев-чиновников не терпел. Отличался честностью… Например, был такой случай во время Крымской войны. Изобретатели предложили вести разведку с воздушных шаров, а он запретил: неблагородно подглядывать за противником с воздуха…

— Ну и дурак, — буркнул Кинтель. — Англичане тогда вон сколько военных хитростей применяли…

— Дурак, говоришь? Это как посмотреть. Рыцарство и дурость смешивали во многие времена… Кстати, не чужд он был и вполне человеческим чувствам. Ребятишек любил. В Морском кадетском корпусе была резервная рота, мальчишки лет девяти, и его величество весьма жаловал их отеческим вниманием. Иногда звал в гости и прямо во дворце устраивал с ними ребячью возню. Императрица войдет в покои, а ее муженек с пацанами катается по ковру, и все орут от веселья…

— Подумаешь, Гитлер тоже, говорят, любил с детишками поиграть…

— Тьфу на тебя. Ты на все найдешь ответ.

— А если он, Николай, такой хороший был, зачем декабристов повесил?

— Я разве говорю, что он был хороший? Но он был тоже человек. А пятерых декабристов повесили по решению суда. С точки зрения тогдашних законов (да и нынешних, кстати) это было вполне обоснованно. Они с оружием в руках пытались свергнуть существующий строй… И на кой черт Каховскому на площади надо было убивать генерала Милорадовича, героя войны с Наполеоном… Кстати, нашим августовским «героям», что сидят в «Матросской тишине», тоже «вышка» грозит, хотя и царя у нас нет, и по сравнению с декабристами они мокрые суслики… Но это все хотя бы по суду. А сколько миллионов, считая с семнадцатого года, угробили без всяких судов и следствий! Николай — невинная овечка на фоне наших «социалистических завоеваний»…

Кинтель вновь представил желтый обрыв над морем, неторопливый стук пулеметов. И люди ложатся, как бумажные солдатики. И пропадают за кромкой… Никита Таиров падает — не врангелевский поручик, а мальчик в белой блузе с матросским воротником… А девочка Оля бежит к нему сквозь колючие сорняки, беззвучно кричит,

а колючки рвут ее платье.

Странно, что Кинтель об этой девочке вовсе не думает как о своей будущей прабабушке. Наверно, потому, что никогда он ее не видел, она умерла задолго до рождения Кинтеля. Он даже представить ее взрослую не может отчетливо. А девочку Олю видит как живую. Как маленькую скрипачку… И тихая знакомая музыка — та, от которой всегда теплела душа, — пришла к Кинтелю.

Было уже полутемно. Елочные лампочки, послушные переключателю, ритмично мерцали, кидали на стены разноцветные отблески. Искрились остатки позолоты на раме портрета, на фарфоровом циферблате, на дверных ручках. Ручки эти — старинные, на широких пластинах, с фигурными шишечками, были за-крашены той же краской, что и дверь. Только середина их, вытертая ладонями, всегда блестела чистой медью. Однажды Кинтель предложил деду отвинтить ручки, отскрести от краски, пусть сияют, как медяшки на корабле! Но дед недовольно сказал, что их за-красила его мама много лет назад и потом отвинчивать не позволяла. Потому что есть вроде бы такая примета: беспокоить и свинчивать ручки с дверей — это к пожару и другим несчастьям.

Кинтель хотел было возразить, что прабабушки давно нет, а приметы — это пережиток, но не решился…

В первых числах января дед получил ордер, и дело с обменом опять закрутилось. Переезд ожидался в середине месяца. Вот уедут Рафаловы, и останется в доме лишь одна семья — Зыряновых. Но и она сидит на чемоданах. К февралю дом опустеет совсем. Разве что тень бывшего морского лейтенанта Вишневского будет ночами бродить по холодным комнатам.

…Услышав о декабристе, Корнеич насторожился:

— Постой, постой. В музее, по-моему, ничего об этом не известно… Если такой факт подтвердится, это меняет дело. Можно было бы дом-то и отстоять.

— Да декабрист-то незнаменитый, — виновато сказал Кинтель. — Говорят, не герой вовсе.

— Герой — не герой! Все равно история…

Паша Краузе — человек спокойный, но решительный — предложил:

— А давайте, как освободится дом, въедем явочным порядком. И будет у «Тремолино» двухэтажная резиденция.

Корнеич думал о чем-то, терзал пальцами под-

бородок. Отозвался рассеянно:

— Ага, въедем, а потом придут натренированные мальчики в сером, с дубинками. Они такие операции любят: и риска никакого, и плюс в отчете… Кстати! — Он глянул на Кинтеля и Салазкина. — К ним в управление подался наш общий знакомый! Следователь Глебов! Помните?

— И очки не помешали? — весело удивился Салазкин.

— В контору же, в штаб. Видимо, для укрепления юридической платформы. Я с ними разбирался недавно по поручению редакции. Они шумно навестили один кооператив, якобы для проверки, не имея на то осно-ваний…

— А Диана ушла в спецшколу для слаборазвитых, — сообщил Кинтель. — Сказала на прощанье: «Что здесь, что там — одинаковые дебилы, но там хоть зарплата повыше…»

— Скатертью дорога, — отозвался Корнеич. — А что ты еще знаешь о Вишневском?

Кинтель пересказал, что слышал от деда.

— В одной комнате можно было бы морской музей сделать… — задумчиво проговорил Паша Краузе. — А внизу мастерские…

— Тише, — с шутливым испугом, но наполовину серьезно попросил Корнеич. — У меня

мелькнул проблеск идеи. И надежды. Но пока ни слова об этом, чтобы не сглазить…

Ни слова так ни слова. И заговорили о прежнем. Кинтель сказал неловко:

— Если бы у Стройникова тоже был хоть проблеск надежды, он бы ни за что не сдался.

— В том-то и дело! — резко откликнулся Корнеич. — А у него не было никакого просвета… Кстати, ни в одной цивилизованной стране сдачу в плен при безвыходных обстоятельствах не считают преступлением. Потому что жизнь человеческая — не мелочь для размена… А у нас даже в мирное время… В восемьдесят первом году в шведских шхерах села на мель советская подлодка «У-137». Видать, вела разведку и напоролась. А недавно в «Известиях» один офицер признался, что у них был приказ: закупорить люк и взорвать лодку вместе с людьми, если шведы попытаются взять ее. А там пятьдесят шесть человек… Хорошо, что у шведов хватило ума не соваться.

— Решили, что себе дороже, — с зевком сказал Паша Краузе. — На лодке-то, говорят, были атомные торпеды.

Любивший точность Андрюшка напомнил:

— Но ведь потом в «Известиях» была и другая статья, там написано, что все это неправильно…

— А потом была и третья. И четвертая, — вздохнул Корнеич. — Одни настаивают, другие опровергают… А не бывает дыма без огня…

Вмешался Дим, произнес скучным голосом:

— Вот как начнут Черноморский флот делить, хватит тут и дыма, и огня… Одни под жёлто-блакитные флаги захотят, другие под андреевские…

— Каховский звонил из Севастополя, — отозвался Корнеич. — Говорит, город митингует. Нельзя, мол, флот Украине отдавать, и город тоже…

— Ну правда нельзя! — подскочил Не Бойся Грома. — Это же все русское! Нахимовское… Жалко же…

— Жалко, что и говорить, — согласился Корнеич. — Особенно город. Даже в голове не укладывается. Севастополь — и вдруг будет заграница… А флот… Если всерьез разбираться, он, такой громадный, ни Украине, ни России не нужен. С кем воевать-то сейчас? Конечно, военные найдут кучу причин, чтобы такую армаду содержать, да на это же столько миллиардов надо… Все равно кончится распродажей или резкой на металл… Лишь бы в самом деле крови перед этим не было. Найдутся ведь умники и здесь, тоже закричат: ничего не отдадим, костьми ляжем, не сдадимся!

Все помолчали, словно какую-то виновность

почуяли.

Паша Краузе так же спокойно, как обо всем прочем, только потише, спросил:

— Корнеич, а в Афгане сдавались?

— Всякое бывало… Стволы направят в пузо — куда денешься…

— Но ты же… — сказал Паша совсем негромко, — не сдался тогда…

Корнеич не нахмурился, не показал, что говорить об этом не стоит. Но легкая неохота скользнула в голосе:

— Да я уж объяснял ведь: надо было дать ребятам отойти подальше. К тому же была какая-то надежда… — Корнеич посмотрел на Кинтеля. — Как у брига «Меркурий». Хоть маленькая, но была. Вот она и оправдалась. В обоих случаях… Надежда — вообще великое дело. Иногда небывалые чудеса сбываются…

Кинтелю показалось, что Корнеич говорит не о себе. И не о «Меркурии». А о нем, о Кинтеле. Словно прочитал его тайную и давнюю надежду на чудо. Но откуда Корнеич мог знать? Тайну эту ведал лишь Салазкин, а он человек железный.

Кстати, именно по совету Салазкина Кинтель написал в конце декабря открытку. И опустил ее в ящик номер 12 в крайнем подъезде дома

на улице П. Морозова. На открытке было: «Мама, поздравляю тебя с Новым годом». Подпись поставить Кинтель не посмел, а слова написал печатными буквами. И после этого за все каникулы не решался пойти в сквер с поваленным памятником, поглядеть на знакомое окно.

...Кстати, похищать и прятать памятник не пришлось. В те же сентябрьские дни, когда Кинтель и Салазкин вновь пришли на разведку, статуи в сорняках не оказалось. Наверно, увезли на переплавку.

## ПУСТОЙ ДОМ

Тетя Варя всю жизнь работала медсестрой. Сперва обыкновенной, потом старшей, потом сестрой-хозяйкой. Она была невысокая, сухонькая, быстрая, с решительным нравом. Казалось, ее с рождения запрограммировали на преодоление жизненных трудностей. С дедом они были знакомы со школьных или даже с дошкольных времен (как Алка Баранова и Кинтель). Была ли между ними когда-то жаркая любовь, Кинтель не знал. Но то, что два дружных пожилых человека решились сойтись и жить вместе, чтобы не коротать век вдовой и бобылем, Кинтелю было

понятно. Тем более, что тетя Варя ему нравилась. Он всегда покорялся ее веселому напору. И даже безропотно сносил от нее всякие процедуры и уколы, когда схватил однажды жестокую ангину.

И все-таки, все-таки… Что-то последнее время было не так. Засел в глубине души колючий шарик досады. И порой хотелось огрызнуться или хлопнуть дверью. Может, правда — переходный возраст? Или догадка, что в общем-то он, Кинтель, нужен тете Варе далеко не в первую очередь (или даже совсем не нужен). А прежде всего нужен ей Толич.

Впрочем, Кинтель сдерживался…

Переехали в конце января. Новая квартира была в пяти кварталах от прежней, в девятиэтажном корпусе на улице Титова. На шестом этаже. Трехкомнатная, с телефоном. Одну комнату Кинтелю выделили в полное распоряжение. И оказалась она гораздо больше той, в которой он обитал раньше. Живи да радуйся.

Но Кинтель не радовался. Раздражал его невысокий потолок, узкие (ненастоящие какие-то) подоконники, постоянный шум улицы за непривычно широким окном. Все чужое…

Чтобы не порвать с прошлым окончательно, Кинтель постарался собрать в своей комнате по-

больше привычных вещей. Хмуро, не спрашивая деда, повесил над своим столом старую карту полушарий, а над постелью — портрет прапрабабушки. Толич не спорил, вздыхал только.

Первые ночи на новом месте Кинтель почти не спал. Мешал рокот моторов, мешали чьи-то шаги вверху, над потолком. Казалось, что и снизу, и даже из-за стен слышны чужие голоса…

Кинтель жаловался Салазкину:

— Понимаешь, как-то жутко даже делается, когда представишь: над тобой люди, а над ними еще, а над теми снова… И внизу тоже. И по сторонам… Какое-то многоклеточное пространство, у меня голова пухнет.

Салазкину, который с рождения жил в многоэтажных громадах, такие чувства не были знакомы. Но он сочувственно кивал.

Впрочем, с Салазкиным Кинтель теперь виделся реже. После зимних каникул семиклассники стали учиться в первую смену, а пятиклассники остались во вторую. Так что можно было встречаться по вечерам, на короткое время, или в выходные. Чаще всего встречались у Корнеича. «Тремолино» собирался там в среду и в воскресенье. Чаще было неудобно: у Корнеича и Тани и без этого дел невпроворот: и работа, и семейные

заботы, и учеба. Только Мурeныш там дневал и ночевал…

В среду сбегались вечером, на часок, а в выходной бывало, что и на полдня: строили планы на лето, мечтали о новой шхуне, раскидывали на полу громадную карту для игры… Но были и учебные занятия: по устройству судна, по морским узлам, по сигналам, по маневрированию парусников. И тут Корнеич спрашивал строго. Даже с Муренышa и маленького Костика…

В новой квартире хватало забот: каждый день надо было что-то прибивать, переставлять, налаживать. Больше времени стало уходить и на другие дела. С продуктами в январе сделалось совсем паршиво, даже на хлеб ввели талоны. И конечно, всюду очереди. Торчишь перед булочной на морозе среди скандальных теток три часа ради двух батонов… Да что там хлеб, если даже соль по талонам! И цены совершенно взбесились. Называлось «либерализация», то есть «освобождение»… На фиг она нужна такая свобода! Правда, зарплату людям тоже повысили. Но толку-то… Дед однажды принес аж целую тыщу. Двумя бумажками по пятьсот рублей. Похвастался ими перед Кинтелем. Но тут же добавил, что раньше на такие деньги семья могла тянуть полгода, а те-

перь куда их? Только… Да и то не годятся, потому что бумага жесткая…

В очередях говорили, что правительство совсем спятило, и на кой черт надо было в августе строить баррикады и защищать демократов. Кое-кто, однако, за правительство заступался (больше мужики): мол, президент и министры сами хлеб не сеют, и, если семьдесят с лишним лет коммунисты доводили матушку Россию до ручки, чего теперь искать виноватых. Ладно, что хоть нет пока стрельбы, как в Карабахе и Цхинвали…

А в школе уроков стали задавать столько, что, если все готовить, суток не хватит. Особенно старалась учительница, пришедшая вместо Дианы. Умная тетка, рассказывала интересно и не орала зря, но замучила сочинениями. Кончилось тем, что семиклассники создали стачечный комитет во главе с Артемом Решетило. Комитет потребовал: сократить домашние задания так, чтобы тратилось на них не больше часа. Потому что домой приходишь после двух, а в три уже сумерки, голова гудит, и тянет в сон от такой жизни. А кое у кого дома еще и батареи не работают. Попробуй попиши, когда руки стынут… Педсовет, конечно, в крик:

— Если хотите бастовать, а не учиться, скатер-

тью дорога! Нынче никого насильно не держат!

Семиклассники в ответ:

— А вы не бастовали, да? Сами затянули программу, а теперь на нашем горбу…

Учителя сдали позиции. А домашние сочинения с перепугу отменили совсем…

Как ни занят был каждый день Кинтель, а все же выпадали и свободные часы. И куда деваться? Салазкин в школе, Корнеичу надоедать неловко. И от такой неприкаянности да еще от печали по старому гнезду начал Кинтель захаживать на родную улицу Достоевского. Там пацаны залили на пустыре каток и соорудили изрядных размеров ледяную горку. Побалдеешь в шумной компании, разомнешься — и легче на сердце.

А иногда пробирались в старый дом. Он стоял теперь пустой и темный. Последнее семейство, с Витькой Зыряновым, выехало почти сразу за Рафаловыми. Окна были заколочены, но никто дом, конечно, не охранял: откуда у ЖКО ставка для сторожа?

Во всех квартирах в свое время были поставлены батареи, но печки сохранились. В кухне на первом этаже ребята облюбовали маленькую плиту. У нее-то и собиралась иногда «достоевская» компания. Разожгут дрова, сядут у раскрытой

дверцы на чурбаках, грызут семечки, травят анекдоты. Хорошо у огонька, хотя порой и грустно почему-то…

Джула сказал однажды:

— Ты, Кинтель, как уехал, дак чаще прежнего бывать с нами стал.

— Ностальгия…

— Чего? — удивился необразованный Эдька Дых.

— Тоска по родине, дубина, — сказал ему Джула. — Это по-научному, тебе не понять.

— Где уж мне, с «дворянами» не дружим.

— А они там не люди, что ли? — огрызнулся Кинтель.

— Да вроде люди, — сказал Джула. — Команду склепали, пришли к нам на каток: айда, ребята, «шайбу-шайбу». Ну ничего, поиграли. Один раз только драчка вышла, один у них там шибко нахальный…

— А все равно мы их на нашу горку не пускаем, — гордо заявил Гошка Полухин, именуемый Рюпой.

Джула возразил:

— Это смотря кого. Санька Денисов, дружок твой, Кинтель, тут часто крутится по утрам. И еще несколько. Ничего, нормальные парни…

— Вы только сюда Саньку не зовите, — попросил Кинтель. — Незачем ему…

— Это само собой, — согласился Джула. И достал мятую полупустую пачку «Космоса».

Компания обрадованно охнула. Закурили все, кроме Рюпы, которому Джула показал дулю: «Подрасти сперва». Посмолил сигарету и Кинтель. Не потому, что хотелось, а так, под настроение. Старые приятели во-круг…

Во рту потом было противно, по дороге домой Кинтель плевался и даже снег пожевал, дома старался дышать осторожно, в сторонку. Но дед унюхал:

— Табачком баловаться изволили? А как же наш обет?

— Это ж когда было!.. А ты тоже нарушал! Обещал больше одной рюмки вечером не принимать, а сам…

— Ты не выкручивайся.

Но Кинтель выкручивался:

— Я и не затягивался, просто так в рот сунул разок, за компанию…

Тетя Варя сказала почти всерьез:

— Еще раз такое дело, и сниму я с тебя штаны. Такую «компанию» пропишу… У меня медицинский жгут есть, первое средство от любви к

никотину.

Кинтель вспомнил Салазкина, хмыкнул, поежился. Перевел все в грустную шутку (в шутку ли?):

— Вот уйду я от вас, будете знать…

— Куда это ты уйдешь? — насмешливо спросил дед.

— Найду куда… Обратно в старый дом!

— Валяй… Только его вот-вот сроют.

— А вот это уж фиг!

У Кинтеля прорвалась торжествующая нотка. Потому что он знал: Корнеич не сидит сложа руки. Насчет дома развернул он бурную кампанию. Уже была договоренность с кооперативом «Орбита» (где работал теперь бывший трудовик Геночка), что дом общими силами постараются отстоять. И тогда одна половина помещения — «Орбите», а другая — «Тремолино». И «Орбита» обещала даже сделаться спонсором отряда. Потому что для кооператива выгодно помогать детскими коллективам, меньше берут налогов. Да и вообще ребята в «Орбите» были неплохие, готовые помочь не только ради выгоды, но и от души. Двоих там Корнеич знал еще с афганских времен.

Чтобы легче было отстоять дом от разрушитель-

ных архитекторов, Корнеич в музее раскапывал сведения о декабристе Вишневском. Никаких документов, что Вишневский жил на улице Достоевского (бывшей Купеческой), не нашлось. Но имелись сведения, что он все-таки бывал в Преображенске. И Корнеич на свой страх и риск пустил по городу слух, что чиновники готовятся снести дом, связанный с историей декабристов. Заволновалось Общество охраны памятников…

А людям из отряда «Тремолино» уже снились комнаты морского штаба, украшенные картами и атрибутами корабельной жизни. И музей парусного флота с портретами моряков-декабристов. И мастерская, где растет на стапеле корпус новой шхуны…

Может, недалеко уже время, когда оживет старый дом, вспыхнет в его окнах свет.

Кинтель зажмурился и будто наяву увидел, как в доме одно за другим загораются высокие окна. И тут вспомнил другое окно — то, на пятом этаже. На улице П. Морозова.

Кинтель ходил туда после зимних каникул несколько раз, но каждый вечер окно было темным. И такая же темная тревога приходила к Кинтелю. Подумалось даже: «А вдруг она после той открытки уехала насовсем? Потому что не

хочет ничего знать про меня…»

Не выдержал Кинтель, поделился тревогой с Салазкиным.

Тот смутился почему-то, но постарался успокоить Кинтеля:

— Может, уехала в отпуск. Или работает сверхурочно, машинистки теперь нарасхват. Папе надо было статью перепечатывать, и он еле договорился…

Возможно, все было именно так. Но тоскливое беспокойство порой накатывало на Кинтеля. Накатило и сейчас. К счастью, затрезвонил в прихожей телефон. Тетя Варя сказала:

— Ваша табачная светлость, возьмите трубку.

Кинтель взял. И обрадовался:

— Салазкин! Ты откуда звонишь?

— От подъезда… Даня, можно я у тебя переночую? Мама с папой на свадьбу к знакомым уходят, а мне… ну не хочется одному. И мама волнуется: вдруг, го-ворит, ночью грабители загребут тебя… Меня то есть…

— Чего ты долго объясняешь! Беги скорее!

Салазкину и раньше случалось ночевать у Кинтеля. Так, для интереса. Хорошо лежать в полумраке и шептаться до середины ночи обо всем на свете.

Тетя Варя догадалась, о чем разговор.

— Вот и хорошо. А то мы с Толичем в кино собрались. — Она деда тоже называла Толичем. — На восемь часов. «Унесенные ветром», три серии. Придем к полуночи…

— Гуляйте, ваше дело молодое, — буркнул Кинтель. Увернулся от подзатыльника.

Тетя Варя спросила:

— Надеюсь, ты не с Саней приобщался к никотиновому зелью?

— Еще чего! И не вздумайте ему сказать!

— Тогда иди вычисти зубы, а то и говорить не надо…

Кинтель добросовестно вычистил.

Салазкин появился на пороге, когда дед и тетя Варя уже ушли.

— Ты не думай, что я боюсь один дома оставаться. Просто…

Кинтель втащил его в комнату:

— Ух и промороженный! Пошли чай пить. Полбанки сахарной смородины в полном нашем распоряжении.

Усидели эти полбанки. Порассуждали про отрядные дела, посмотрели с середины вторую серию «Узника замка Иф», потом — программу новостей. Новости все были уныло-скверные.

Затем на экране заплясали длинноногие девицы в чулках с подвязками и без юбок. Кинтель плюнул. В одиночку он, может, и поглядел бы с минуту на такое дело, но при Салазкине стеснялся. Переключил. По второй программе шел концерт иного рода. Певец в длиннополой шинели надрывно вопрошал:

*Поручик Голицын! А может, вернуться?!*

*Зачем нам, поручик, чужая земля?!*

Хорошая песня, но сколько можно одно и то же! Тем более, что было ясно: возвращаться нельзя. Иначе — обрыв над морем и хриплые от натуги пулеметы…

По Ленинградскому каналу мелькнул обрывок мультика, потом диктор сказал, чтобы смотрели передачу «Этот непростой девяносто первый» — по итогам прошлого года. И началось опять то, что видели тысячу раз: бывший вице-президент Янаев, страдающий насморком и дрожанием рук; танки перед Белым домом, депутаты, президенты, генералы… Пустые постаменты памятников. Потом — кричащие женщины-осетинки, бой на проспекте Руставели в Тбилиси, пальба в Карабахе… И мальчик лет восьми с черными

пробоинами на белой рубашонке — упал ничком и в предсмертном усилии пытается вцепиться в асфальт…

— Ну что за гады… — со стоном сказал Кинтель. — Ну совсем уж сволочи психопатные… — Он опять включил Малинина, убавил звук.

Салазкин сказал:

— Меня мама в магазинные очереди не пускает. Говорит, на той неделе в гастрономе на Кировской мальчика задавили насмерть. Толпа к прилавку разом придвинулась, а там поручень такой из трубы. Его как раз шеей на эту трубу…

— Слышал я… Ну и правильно, что не пускает тебя…

— А кто должен? Они с отцом оба на работе…

Кинтель выключил телевизор.

— Давай ляжем. И поразговариваем…

— Да! О чем-нибудь хорошем, — согласился Салазкин. Но как-то неуверенно.

Разделись, залезли под одеяла. Кинтель — на свой старый диван, Салазкин — на раскладушку. Кинтель оставил включенной настольную лампу. Помолчали. Ничего хорошего для разговора в голову не шло.

— Дед хочет свою коллекцию значков в комиссионку отнести, — вздохнул Кинтель. — Потому

что зар-плату сколько ни прибавляют, а цены еще страшнее скачут, как бешеные… Я говорю: не надо, протянем как-нибудь…

Салазкин неуверенно спросил:

— А отец… он не помогает?

— Подбрасывает иногда. Но ему еще и тете Лизе с Регишкой платить приходится.

— Алименты?

— Ну вроде. Только не по суду, а он сам… А мне сказал: «Я ведь тебя не прогонял. Жили бы вместе, и никаких вопросов…»

В этот миг проснулся телефон. Кинтель побежал в прихожую. Крикнул оттуда:

— Салазкин, это тебя!

Звонила мама.

— Ну да! Конечно! — досадливо отвечал Салазкин в трубку и переступал босыми ногами. — Не волнуйся ты, пожалуйста, все у нас в порядке. Мы уже легли… Ну и что же, что рано! Поболтаем, потом спать… Ты больше не звони, а то мы уснем, а тут опять тре-звон… Спокойной ночи.

Он вернулся, сел на раскладушку.

— Что поделаешь? Она всегда такая беспокойная из-за меня…

— Радуйся, глупый. Ты же счастливый…

Это у Кинтеля впервые вырвалось такое. Не-

ожиданно.

Салазкин быстро глянул исподлобья. Зацарапал на колене родинку. Кинтель проговорил уже иначе, грубовато:

— Ложись давай. А то простынешь, от окошка тянет…

Салазкин не лег.

— Даня… я хочу тебе признаться… — Он вдруг встал, щуплый, виноватый, затеребил подол майки.

Кинтель дернулся от испуга за него:

— Что случилось?

— Даня… Дело в том, что я знаю, почему в окне было темно. Там…

Кинтель приподнялся. Салазкин говорил почти шепотом:

— Я тебе не рассказывал, чтобы не расстраивать. Но я узнал там, у соседской девочки. Она сказала, что Надежду Яковлевну увезли в больницу. Прямо в Новый год…

— Что с ней?!

— Этого я не знаю… Но ты не бойся, теперь она уже вернулась! Честное слово!

— Откуда ты знаешь? — Кинтель уже сидел. А сердце стукало неровно, нехорошо так.

— Я узнавал. И окно вчера светилось, я сам

видел…

— Правда?

— Да!.. Ты не сердись, Даня… Ты все равно ничем бы не помог, только измотался бы весь…

Что было делать? Выругать Салазкина? Но он и так вон какой несчастный… Да и в этом ли главное?

— Но оно правда светится?

Салазкин растопырил локти и приложил к груди кулачки:

— Я же сказал!

Кинтель помолчал, зябко потирая плечи. И жалобно попросил:

— Санки, давай съездим туда, а? Сейчас… Если она правда дома, то, наверно, еще не легла и в окошке опять свет…

«Я понимаю, Санки, что это глупость. Бредятина просто. Но я не успокоюсь, пока не увижу сам. Ты, наверно, думаешь: вот дурак, переться по морозу…»

— Или ты лежи, а я сгоняю один. Я быстро…

— Ты определенно спятил. «Один»! — И Салазкин прыгнул к табурету с одеждой…

Окно светилось. Над мохнатой от инея изгородью, над заснеженными ветками горел в искрящемся от мороза воздухе желтый прямо-

угольник складчатых, просвеченных лампой штор. И даже неторопливая тень прошла по ним один раз.

Стояли недолго. Колючий холод хватал за щеки, за нос.

— Все в порядке, — выдохнул Кинтель и ощутил, как из губ рванулся теплый парок. — Пошли, Санки…

Они зашагали назад по скрипучей от плотного снега аллее. Опустевший постамент памятника весь был в изморози, она серебрилась под фонарем. И какой-то гад вывел на ней пальцем кривую свастику. Кинтель стер ее двумя яростными ударами варежки. Вдали звякнул трамвай.

— Бежим, Санки…

Когда вернулись, то еще через дверь услышали, как надрывается телефон.

— Это наверняка мама! Даня, скажем, что крепко спали!

Но это была не мама Салазкина. Незнакомый мужчина озабоченно спросил:

— Извините, это квартира Виктора Анатольевича Рафалова?

— Да… Но его сейчас нет.

— Простите, а вы, наверно, Даня?

— Да… — От непонятного страха стало пусто

в груди.

— Видите ли какое дело. Вам звонит сосед… бывшей жены вашего папы. Ее неожиданно увезли в больницу. А девочка вся в слезах. И очень просится к вам… Вы меня слышите?

— Да… — потерянно сказал Кинтель. И встряхнулся. — Да, я слышу! Мы едем сейчас!

— Видите ли, она могла бы побыть и у нас. Но очень плачет: только к Дане, и ничего другого…

— Я понял! Я еду!

— Простите… именно вы?

— Но дедушки же нету! Он придет совсем ночью!

— Не надо ехать. У меня рядом гараж, и машина, к счастью, на ходу. Я привезу девочку сам.

## ПИКЕТ

Отец и тетя Лиза не развелись официально: это дело требовало времени и немалых денег. И теперь оказалось, что у отца все права на прежнюю квартиру. Он туда и въехал опять. Виктору Анатольевичу сказал по телефону:

— А что такого? У меня тут еще и вещи кое-какие, и вообще… Чего пропадать жилплощади? Поживу, пока Лизавета в больнице. А дальше

видно будет…

— Ну-ну… — только и проговорил дед.

А Валерий Викторович вдруг спросил нерешительно:

— А Регишка-то… может, со мной поживет? Под родной крышей все-таки. И с отцом…

— Чего это ты вспомнил про отцовство?

— А я, между прочим, и не забывал. У меня удочерение оформлено было, документ есть…

Дед помолчал и ответил миролюбиво:

— Валерик, ну что ей твой документ? И посуди сам: ты целый день на работе, а за ней присмотр нужен. Из школы встретить, покормить, уроки проверить. Кроха ведь еще… Да к тому же не документом надо махать, а спросить у девочки: как она сама-то хочет?

Регишка хотела быть только с Даней. Утром, когда он уходил, ее обезьянья мордашка горько морщилась, а когда Кинтель возвращался, она сияла.

Два дня Регишка в школу не ходила: не отпустишь ведь одну через весь город, а провожать-встречать некому. В понедельник пошел Кинтель к завучу Зинаиде Тихоновне и выложил ей все как есть. Зинаида Тихоновна по-женски поохала, не стала бюрократничать и определила Регину

Рафалову в первый "А". Временно, до возвращения мамы из больницы.

Скорое возвращение, однако, не светило. Дед в первый же день навел в больнице справки и сказал тихо, чтобы девочка не слышала:

— С кровью у нее скверное дело. Кто бы мог подумать? Казалось, такая здоровая женщина…

Теперь Кинтель и Регишка отправлялись на занятия вдвоем, а потом она терпеливо ждала Даню, потому что у него бывало по шесть, а то и по семь уроков.

Дома Регишка тоже старалась быть рядом. Не то чтобы надоедливо липла, но все время как-то оказывалась поблизости. И следила преданным вопросительным взглядом: ты про меня не забыл? По правде говоря, сперва это даже раздражало.

Порой доходило до смешного. Вернее, и смех и грех. Пришел черед Регишке мыться в ванне. Она заявила, что искупается самостоятельно. Долго плескалась и вдруг запищала. Тетя Варя — к ней. У Регишки вся голова в мыле, ладони прижаты к глазам. И вопит жалобно:

— Не ходите, я вас стесняюсь! Пусть Даня придет!

— Регина, он же мальчик! Нехорошо же…

— Ну и что? Он зато брат, а вы неродная… Ой-

ей-ей, скорее!..

Тетя Варя растерянно глянула на выскочившего в прихожую Кинтеля. Он чертыхнулся, отодвинул ее, шагнул. Набрал в таз теплой воды, вылил бестолковой девчонке на голову. Открыл душ, рывком поднял за локти это несчастное тощее существо, повертел под струями. Потом выдернул из ванны, замотал в простыню, унес в постель.

Регишка спать укладывалась в комнате Кинтеля, на раскладушке, за раздвижной ширмой, которая нашлась в тети Варином имуществе. Ночевать в большой комнате она отказывалась. Боялась одна или просто хотела, чтобы ночью брат был поближе…

Кинтель сунул Регишку за ширму.

— Одевайся, килька моченая… — И бросил ей дедов мохнатый халат.

Путаясь в этом халате, она через несколько минут выбралась из-за ширмы, села рядом. Он вздохнул, прижал ее. «Сестренка…» Регишка потерлась о его рубашку непросохшей всклокоченной головой, спросила еле слышно:

— А если мама не поправится… ты меня не бросишь?

Он испугался по-настоящему:

— Ты зачем так про маму-то?!

Регишка тоскливо молчала. Без слез. Ждала.

— Я тебя никогда не брошу, не выдумывай, глу-пая, — сурово сказал Кинтель. — А мама поправится. Обязательно.

Однако он знал, что это не обязательно. Даже наоборот…

Прошло уже две недели, а никакого улучшения не было. И лицо деда, когда говорили про тетю Лизу, делалось насупленным.

Кинтель наконец спросил в упор: есть ли какая-то надежда?

Дед посмотрел мимо него, сжал губы и медленно покачал головой.

— Совсем никакой? — выдавил Кинтель.

— Если не случится чуда… Что ты хочешь, лейкемия, быстротекущий процесс. Можно задержать на месяц-полтора, а потом… Наша медицина — это же каменный век. Да и спохватились поздно…

Кинтель помолчал, привыкая к безнадежности. Потом спросил:

— Толич, а помнишь, ты осенью про мальчика говорил? С такой же болезнью. Валюту искали, чтобы отправить за границу. Что с ним?

Дед рассеянно поморщился:

— Какой именно мальчик? Не помню. Таких

мальчиков знаешь сколько…

Чтобы Регишка не скучала, брал ее Кинтель и к Корнеичу. Она там никому не мешала. А с Муренышем они стали приятелями: сидят в уголке со «Сказками» Андерсена, и Регишка читает вполголоса, а Муреныш почтительно слушает. Или в шашки играют…

Разговоры у Корнеича шли теперь все больше об одном: о доме. Дело с домом двигалось. Кинтель, занятый семейными заботами, не очень вникал в детали, но знал, что кооператив «Орбита» потихоньку берет верх над городскими чиновниками. А тут еще появилась в «Молодежной смене» статья Корнеича. Д. Вострецов с жаром доказывал, что это просто идиотизм — разрушать добротные дома, когда в Преображенске тысячи ребят слоняются без дела. Когда нет приюта ни для подростковых клубов, ни для библиотек, ни для чего, что идет на пользу детям. Находятся помещения только для коммерческих магазинов и видеосалонов… «Тремолино», если бы въехал вместе с «Орбитой» в этот дом, вырос бы в несколько раз. Можно было бы набрать до сотни окрестных мальчишек, построили бы эскадру! Как в прежние времена! А то наши власти вспоминают о детях лишь осенью, когда прихо-

дит очередной срок «спасать урожай»…

И кроме того, писал Д. Вострецов, что за свинство — уничтожать прошлое! Ну пусть пока не доказано, что жил в этом доме декабрист. Но все равно дом — часть городской истории. Со своим лицом. Если отремонтировать — будет загляденье. Денег нет на ремонт? «Орбита» берет это дело на себя…

И что у нас за архитекторы! Как видят старый квартал, так у них зуд начинается: скорее послать бульдозеры. Не строят, а только пустыри плодят в городе. Теперь у них бредовая идея — ради выпрямления улицы снести дом, который еще мог бы служить и служить людям… А улицу, кстати, все равно никто выпрямлять не станет, нет у города на это денег! И появятся на месте срытого дома кооперативные гаражи, как это сделано уже в десятках других мест…

В общем, все Корнеич изложил как надо. Подробно. Доказательно… А еще через неделю, в конце февраля, он сообщил завопившему от восторга «Тремолино», что «комиссия по архитектуре рассматривает вопрос и, скорее всего, решит его в нашу пользу».

— Ну подождите уж так-то орать! Всякое еще может быть. Враг силен и коварен.

В том, что враг коварен, убедились через несколько дней. Едва Кинтель и Регишка вернулись из школы, как позвонил Салазкин. Голосом звонким и отчаянным сказал:

— Добрый день! Там приехали ломать наш дом!

— Регишка, я побежал! Срочно! Нет, тебе нельзя! Ничего, посидишь одна, не дошкольница…

Оказалось, к Салазкину примчался маленький Рюпа из Джулиной компании:

— Санька, дом хотят ломать! Кран приехал с чугунной «бомбой»! Наши там стоят, не пускают…

Салазкин кинулся к телефону-автомату. К счастью, Корнеич оказался у себя на работе, в мастерской. Он скомандовал:

— Звони всем ребятам! И бегом туда!

«Достоевские» пацаны оказались молодцами. Встали перед машиной в цепочку, за руки взялись. Водитель и еще один дядька орали, матерились, но тронуть ребят пока не смели. Тем более, что собрались и несколько взрослых — тоже не в помощь «ломальщикам».

Один за другим подбегали ребята из «Тремолино», вставали вперемежку с «достоевскими». Кинтель встал между Салазкиным и Джулой.

— Шпана! — вопил водитель. — Расшибу всех,

отвечать не буду, паразиты!

Его товарищ размахивал бумагой:

— У нас документ!

Ребята молчали. Стояли прочно. Ждали.

Примчался на мотоцикле Корнеич. А с ним, на заднем сиденье — кто бы вы думали? — Геннадий Романович, бывший учитель труда, а ныне член правления малого предприятия «Орбита». Подошли к орущим. Корнеич двумя пальцами взял бумажку, которой размахивал толстый небритый деятель в песцовой шапке.

— Разрешение некоего тов. Сапожникова… Беда, коль пироги нам печь начнет… Сапожников. Извините, не знаю такого. А у меня — вот. Копия решения исполкомовской комиссии.

— А я видел эту комиссию в белых тапочках! У меня свое начальство!

— Вот ты, дядя, и шагай к своему начальству, — предложил Геночка. И оглянулся на ребят. Узнал Кинтеля и Салазкина, подмигнул.

— Это ты сейчас зашагаешь, бандюга! — голосил дядька. — Вон, гляди…

Из-за угла выкатил милицейский «рафик». Это водитель крана успел оперативно сбегать к телефону-автомату. «Рафик» остановился, вышли шестеро в сером. В шнурованных высоких

ботинках, с палками на поясе. Джула сказал вполголоса:

— Ну, парни, щас начнется. Я про такое раньше только по телику смотрел. Маленьких надо убрать…

Лейтенант, покачиваясь, подошел к Корнеичу:

— В чем дело?

— Мешают разбирать, — скандально сказал дядька в песцовой шапке. — Изображают, понимаете ли, защитников Белого дома… У меня документ!

— И у меня, — сказал Корнеич.

Лейтенант взял две бумажки, почитал, покачал в пальцах, словно сравнивал: какая весомее? Потом крикнул:

— Товарищ капитан!

Из «рафика» выбрался еще один. В фуражке и шинели… Ну целое собрание старых знакомых! Андрей Андреевич Глебов! Жених (или уже супруг?) ненаглядной Дианы Осиповны.

Подошел, сказал:

— Здравствуйте, Даниил Корнеевич. Вот и правда встретились…

— Мир тесен…

Глебов мельком глянул в оба документа, пренебрежительно объяснил лейтенанту:

— Комиссия какая-то. Липа… А тут подпись самого Сапожникова. Ломайте… Даниил Корнеевич, уберите ребят.

— Едва ли у меня получится… А решение комиссии, значит, липа? Это ваше официальное заявление?

— Не надо меня пугать… Лейтенант, уберите ребят.

— Ох, не надо этого делать, — вкрадчиво сказал Геннадий Романович. — Такие дела добром не кончаются. Вспомните рижский ОМОН. Даже в Сибири потом не спаслись…

— Не надо меня пугать, — повторил Глебов. — Гражданин Вострецов, вы уберете ребят?

— Этих — да, — отозвался Корнеич. — Идите, хлопцы. Теперь подежурят другие.

Выкатил еще один «рафик», зеленый. Вышли восемь человек, штатские. В пестрых куртках. Но чем-то похожие друг на друга. Семеро молча встали впереди ребят (которые так и не разошлись). Разом закурили. Восьмой подошел к Корнеичу и милиционерам.

— Кто такой? — вскинулся лейтенант.

Подошедший улыбнулся широко, по-приятельски. Только глаза как у снайпера.

— Здравия желаю… Да вы меня, лейтенант

Борисов, знаете. В декабре, на митинге студентов, мы малость… повстречались. Помните? Старший лейтенант запаса Гольцев, отряд «Желтые пески», общественная охрана порядка… Что это вы, братцы, все на молодежь! Ну ладно, там хоть студенты были, а тут ведь совсем пацаны…

— Афганцы, — шепотом произнес Джула. — Можно маленьких не уводить. Хана ментам…

— Товарищ капитан! — сказал лейтенант Борисов высоким голосом. — Я так не могу. Надо сперва разобраться, кто прав. А то мы им наломаем хребты, а потом с нас же спрос… Или давайте письменный приказ.

В шеренге «Желтых песков» тихонько засмеялись.

— Можно и письменный, — отозвался Глебов.

Афганцы разом бросили окурки и слегка расставили ноги. Один оглянулся, шепнул:

— Шли бы вы, ребята…

Но уходить не пришлось. Лейтенант опять заговорил:

— И вообще… Если бы несанкционированный митинг или свалка, а то обычный пикет. Разгонять пикеты указа не было.

— Но они препятствуют работе, — сухо заметил Глебов.

— А что за работа дома ломать! — У лейтенанта появились плачущие нотки. — С нас же потом и спросят. Вы-то с вашим юридическим образованием всегда найдете доводы, а все шишки на меня. И на них… — Он кивнул на топтавшихся по снегу омоновцев.

— Можете уезжать, — бесцветным голосом проговорил Глебов. — Я доложу в штабе о случившемся.

— Ну и докладывайте! А мы тоже не нанимались, чтобы во всякую дыру затычкой…

Глебов блеснул очками, поправил фуражку и пошел прочь.

— До свидания, Андрей Андреевич, — сказал бывший трудовик Геночка.

Лейтенант Борисов кивнул своим, те полезли в машину. Желтый «рафик» укатил.

— Все, господа, ваш спектакль отменяется, — сказал Корнеич шоферу и его напарнику.

Шофер плюнул:

— А нам-то чё! Пущай разбираются в конторе…

И автокран с подтянутой к радиатору «бомбой» начал медленно разворачиваться.

— Спасибо вам, Коля, — сказал Корнеич командиру «Желтых песков». — Извини, что потревожили. Выхода не было.

— Да чего там… Но гляди, опять ведь приехать могут.

— Сейчас пойду в исполком…

— Мы будем поглядывать, — пообещал Джула. — Если что, я сразу к Саньке.

— Или мне звони, — сказал Кинтель.

…Салазкин убежал домой за портфелем — опаздывал в школу. Остальные «тремолиновцы» двинулись к трамваю. Конечно, собрались на место происшествия не все, а те, кого успели поднять по тревоге. Было их вместе с Корнеичем семеро. Кинтель шагал, заново переживая всё, что испытал недавно, когда стоял в шеренге между Джулой и Салазкиным. И ясное ощущение правоты, и бесстрашие (пусть хоть убивают, сволочи!), и яростную готовность кинуться в схватку, несмотря на дубинки. И берущее за душу ощущение победы, когда встали впереди ребят афганцы…

Видно, и другие испытывали что-то похожее.

— Все-таки наша взяла! — вслух порадовался Не Бойся Грома.

— Ни чья еще не взяла, — сумрачно отозвался Корнеич. — Опять придется разбираться…

Виталька, однако, не хотел терять свою радость:

— А все равно сегодня победили мы!

— Мы пахали, — вздохнул Дим.

— Паршиво это все, — сказал Корнеич. — Люди на людей… Вот представь, Виталик, такую ситуацию: среди тех омоновцев твой старший брат.

— На фиг нам такие братья, — насупился Не Бойся Грома.

— Братьев ведь не выбирают, — негромко объяснил ему Паша Краузе.

А в Кинтеле все еще не растаяло боевое настроение. Похожее на отголоски песни: «Подымайся, мой мальчик, рассвет раскален…» И он не удержался:

— Они же сами на нас войной пошли…

— Послали их, вот и пошли, — недовольно отозвался Корнеич. — А война всегда дело пакостное, с обеих сторон. В любых масштабах.

Андрюшка Локтев, любивший все уточнять, за-явил:

— Но по истории учат, что войны бывают несправедливые и справедливые, хорошие.

— Идеи бывают хорошие, — возразил Корнеич. — А когда эти идеи начинают с кровью мешать, всякая справедливость побоку. И больших, и маленьких гробят с той и с другой стороны…

Он сегодня заметно хромал. Кинтель знал, что

Корнеичу нужен новый протез, который стоит сумасшедших денег. А плату за две последние статьи Корнеич отдал фирме «Ласточка»: там обещали раздобыть по госцене рубашки из натурального хлопка для летней формы отряда «Тремолино».

Кинтель представил себя в новенькой оранжевой форме среди «достоевской» компании и ощутил какую-то неуютность, несправедливость даже.

— Корнеич… А вот те пацаны, с Достоевского… Они ведь за нас борются, дом охраняют. Когда будет у нас там просторное жилье, может, их тоже… как-то к отряду? — И тут же испугался. Вдруг кто-нибудь скажет: «На кой нам всякая шпана!»

Но Корнеич отозвался обыкновенным тоном:

— Естественно. Все равно ведь придется набирать новичков. А эти тем более люди местные…

Паша Краузе, однако, трезво заметил:

— Захотят ли? Образ жизни у них… малость иной.

— Разница образа жизни тут в одном, — сказал Корнеич. — У нас впереди новый корабль, паруса, а у них никаких парусов нет. Убрать эту разницу, и остальное приложится…

## РАВНОДЕНСТВИЕ

В середине марта сгорел телевизор. Дед плюнул и сказал, что «кинескоп не выдержал ежедневного сумасшествия». Действительно, творилось черт знает что. В Карабахе и между Арменией и Азербайджаном уже сплошная война, ракетные установки «Град» пошли в дело. Когда показали, что случилось под городом Ходжалы, тетя Варя из комнаты ушла. Потому что на экране — снежное поле, а в поле этом сотни трупов: и взрослые, и ребятишки… На Днестре тоже шла пальба — правый и левый берега в Молдове выясняли отношения. Чечня вооружилась до зубов и России уже не подчинялась. В Казани кое-кому тоже, видно, не жилось мирно: да здравствует референдум и самостоятельность. Дед боялся, что и там, чего доброго, начнется заваруха, а это вовсе уж недалеко от Преображенска… У Кинтеля назойливо вертелось в голове: «Полыхает гражданская война от темна до темна…» Песня вроде бы неплохая, но это если просто песня, из старого кино. А когда по правде такие пакостные дела…

В Преображенске было пока спокойно, однако и здесь всякие пожилые деятели собрали семнадца-

того числа митинг: «Даешь обратно Советский Союз…»

— Никак в их отставные головы не вобьешь, что нет уже никакого «обратно», — ругался дед. — Как говорится, и рад бы в рай, да грехи не пускают…

Из-за митинга — на всякий случай — в школе отменили у второй смены занятия. Салазкин приехал к Кинтелю.

— Радуешься? — сказал Кинтель. — Лишний выходной…

— Чему радоваться? Потом лишних уроков навесят.

Но зато приближалось событие, отменить которое не могли никакие политики. Равноденствие!

В календаре значилось, что день становится равным ночи девятнадцатого марта. Но в «Тремолино» по традиции отмечали Весеннее Равноденствие двадцать второго. Это был давний праздник морских ребячьих отрядов начиная еще с «Эспады».

В нынешнем году двадцать второе выпало на воскресенье. Удача! В полдень собрались у Корнеича. Сверкало за окнами солнце, веселились воробьи. Таня выбрала время, вместе с Маринкой нажарила пирожков с капустой. Устроили праздничное чаепитие, и у всех было прекрасное

настроение, только Мурeныш слегка дулся — оттого, что не пришла Регишка.

Она сперва просилась с Кинтелем, но сообща уговорили ее остаться дома: помочь тете Варе со стиркой и обедом. «Привыкай хозяйничать, большая уже девочка. Мама вернется, порадуется, какая ты стала помощница». И Регишка согласилась. Она повеселела в последние дни, потому что на этой неделе матери стало наконец-то получше…

После чаепития весь народ с Корнеичем отправился на водную станцию «Металлист», на Орловское озеро. Там в пристройке служебного домика была у «Тремолино» своя комнатушка. Начальник базы выделил ее отряду, чтобы хранить паруса и прочее флотское имущество, но ребята устроили там настоящий летний штаб. Жаль только, что зимой в этом штабе нельзя было собираться: и путь до базы неблизкий, и в промороженной насквозь фанерной каморке не было никакой печурки… Но теперь, когда день стал длиннее ночи, пришло время готовиться к лету.

Было ясно, что шхуну в этом году уже не построить, но начальник пообещал Корнеичу отдать списанную шлюпку, ял-шесть. Подлатаете, мол, и плавайте на здоровье. Для хождения под парусом

«шестерка» рассчитана была на восьмерых взрослых. А в пересчете на легковесных мальчишек — как раз для всего тремолиновского экипажа.

Чтобы попасть на базу, надо было ехать сперва до трамвайного кольца у Дома культуры «Сталевар», а оттуда — по пригородной одноколейке вдоль озера. Оно примыкало к западной окраине города, а дальше уходило в пологие лесистые холмы.

По дороге говорили, конечно, больше всего о доме. Корнеич сказал, что теперь дело почти решенное. Осталось получить на документах еще две-три подписи. Ближе к лету «Орбита» подвезет к дому стройматериалы и начнет ремонт. Уже договорились с бригадой. Во дворе, на месте старых сараев, поставят навес, под которым можно будет собирать корабельный корпус.

— По прежним чертежам будем работать? — деловито спросил Костик-барабанщик.

— Конечно, — сказал Корнеич. — От добра добра не ищут, Митин проект он самый оптимальный.

Кинтель знал уже, что прежняя шхуна была спроектирована Митей Кольцовым, давним другом Корнеича. Они были вместе в «Эспаде». Потом Кольцов окончил в Ленинграде кораблестроительный институт, стал работать в Таллине, и вот

что-то давно от него нет весточек из нынешней тревожной заграницы…

От кольца до Зеленого полуострова ходил по одноколейке старенький вагон. Маршрут номер двенадцать. Был трамвай сегодня почти пуст: дачно-садовый сезон еще не начался. Разместились по скамейкам, поехали с дребезжанием. Слева потянулись домишки окраинной улицы, справа — сверкающее настом озеро с черной россыпью замерших над лунками рыболовов. Кое-где горбатились над ледяной равниной темные лохматые островки.

Миновали разъезд, где встретился такой же расхлебанный трамвайчик, ехавший до города. И почти сразу показалось за тополями кирпичное старинное здание с широким серебристым куполом.

— Что это? — спросил Кинтель у Салазкина.

— Хлебозавод.

— Будто за?мок…

— Разве ты раньше здесь не бывал?

— Ни разу. На пляж с пацанами ездили, но это с другой стороны… Здешняя улица как называется?

— Дачная… Корнеич рассказывал, что раньше, до революции, здесь дачи стояли…

Корнеич оглянулся:

— Верно. Только у нас ведь все задом наперед делается. Дачной-то улицу назвали как раз тогда, когда все дачи стали сносить. Под крики «Долой буржуев!». Мне бабушка рассказывала, она из этих мест.

— Моя прабабушка тоже в этих местах на даче жила, — вспомнил Кинтель. — Когда еще была девчонкой… А тогда эта улица как называлась?

— В те патриархальные времена? Ильинская.

— Почему… Ильинская? — настороженно спросил Кинтель.

— Хлебозавод-то — это ведь бывшая церковь. Тоже Ильинская. Вот по ее имени и улица…

Кинтель и Салазкин оглянулись на завод. Он был хорошо виден в заднем окне. Ярко краснел на фоне блестяще-белого озера.

— На мысу стоит… — прошептал Салазкин.

Они взглядами метнулись по озеру. Какой тут остров к вест-норд-весту от мыса? Но разве разберешься на ходу!..

— Надо сойти, — нервно сказал Кинтель. — Пробраться на мыс и проверить оттуда…

— Так ничего не выйдет, надо с компасом, — возразил Салазкин.

— Вы о чем? — удивился Корнеич.

Кинтель и Салазкин переглянулись. Никто, кроме Салазкина, в «Тремолино» не знал про зашифрованное письмо на фотографии. Не то чтобы Кинтель считал это большим секретом, но зачем зря болтать-то? Раскрытия тайны все равно не предвиделось, а ворошить давнюю семейную жизнь без нужды не было смысла. Неловко даже. Будто девочка Оля и мальчик Никита могли обидеться.

Но сейчас… Неужели новый шаг к разгадке?

Кинтель решительно сказал:

— Корнеич, слушай…

Слушал, конечно, не только Корнеич. Все обступили скамейку с Кинтелем и Салазкиным. К «Тремолино» пришла тайна. Она была настоящая: с загадочным письмом, кладом, островом. Она давала отряду новую цель: плыть, искать, разгадать…

Неужели еще по правде, не в книжках осталось на свете такое!

Не Бойся Грома решительно заявил, что завтра же надо идти к острову на лыжах и вырыть клад, пока его не откопали другие.

— Умник. Там же все промерзло сейчас, — сказал Сержик Алданов. — Динамит понадобится.

Сенечка Раух, который терпеть не мог лыжи,

заметил, что если за столько лет клад не вырыли, то полежит он и еще немного. До той поры, когда сойдет лед и будет починена шлюпка.

— Надо еще выяснить: что за остров-то? — напомнил Салазкин. — Взять компас — и на мыс…

Корнеич сказал, что это ни к чему. На базе есть большая карта Орловского озера, можно определить по азимуту, какой остров на линии запад-северо-запад.

«А вдруг никакого?» — с замиранием подумал Кинтель.

База была еще под снегом. Только узкие тропинки темнели среди оседающих ноздреватых сугробов. Спали под навесом шлюпки. У пирса, на высоких кильблоках, грелись зачехленные крейсерские яхты.

Ребят встретил громадный пес Гром. На радостях от встречи попробовал вставать передними лапами на плечи всем подряд. Даже на незнакомого Кинтеля на загавкал, а приветствовал его, как и остальных. Только к Салазкину принюхался сдержанно: возможно, учуял запах аристократа Ричарда…

Вслед за Громом появился сторож дядя Гриша — очень высокий, тощий, усатый. Он жил холостяком в здешней сторожке. От дяди Гриши

чуть-чуть попахивало: наверно, в одиночку он отметил Равноденствие.

— Привет, ранние птахи, — хрипловато радовался он. — Тепло почуяли? Шеф сказал: шлюпка ваша — вон, крайняя под навесом. Можете хоть сейчас начинать капремонт…

— Успеется, — сказал Корнеич. — Ты, Григорий Васильич, отопри-ка нам контору. Надо взглянуть на схему озера.

— Уже в поход собрались, что ли? Ну пошли…

Большущая, написанная масляными красками схема озера занимала полстены в главной комнате базы — в кают-компании. В правом верхнем углу ее остроконечным цветком пестрела старинная роза ветров. Кинтель отыскал мыс Заводской — с хлебозаводом. Глазами прочертил от него линию влево и немного вверх — параллельно лучу с буквами «WNW». И этот стремительный путь по крашеной озерной синеве привел Кинтеля к острову с названием Каменный. К одному из самых дальних. И не его одного привел.

— Каменный! — зашумели все. — Точно на вест-норд-вест! Всё совпадает…

— Кроме названия, — сказал Кинтель. — В письме-то сказано: ша-эн.

— Может, они, когда играли, свое название

придумали, — утешил его Салазкин. Кинтель понимал, что это, конечно, могло быть. Но все-таки жаль, что не было полного совпадения.

Дядя Гриша стоял здесь же. Он заметил:

— С названиями у нас тут завсегда была полная путаница. В разное время по-всякому называли ост-рова, я уж и не припомню всё на старости лет. Где-то среди бумаг старый план имелся, можно поглядеть.

— А ну-ка… — нетерпеливо сказал Корнеич.

Дядя Гриша повозился со связкой ключей, отпер на фанерном кривобоком шкафу висячий замок. Дверцы разошлись, будто кто их толкнул изнутри. Повалились на пол конторские папки, брошюры и рулоны бумаг. Пыль столбом. Не Бойся Грома демонстративно чихнул. Дядя Гриша нагнулся и безошибочно выволок из макулатуры сложенный желтый лист.

— Вот он… С него и схему писали, только без лишней старины, конечно…

Мешая друг другу, развернули бумагу прямо на полу (она была протерта на сгибах).

В верхней части значилось: «Планъ озера Орловскаго и прилегающихъ къ нему окрестностей города Преображенска».

В углу тоже была роза ветров. И конечно, все

метнулись глазами по лучу вест-норд-веста. И там, где на схеме бы просто остров Каменный, на плане значилось: «О. Каменный (Шаманъ)».

«Ура» сотрясло кают-компанию.

На базе провели время до вечера (они были теперь уже светлые, вечера-то). Слегка поскребли — для почина — старую шлюпку, прибрались в своей штаб-квар-тире, похожей на крошечный морской музей. Попили чайку в сторожке у дяди Гриши — он выдал каждому по ложке сахарного песка и по крепкому черному сухарю.

Ради конспирации не стали говорить дяде Грише, почему всех на самом деле интересует остров Шаман. Корнеич походя сочинил легенду: будто есть сведения, что первые пионеры Преображенска зарыли где-то на Шамане письмо будущим поколениям. Хорошо бы найти для музея.

Григорий Васильич покивал:

— Лед сойдет, и сплаваете. До того времени все равно искать бесполезно, снег еще. Да и по льду идти себе дороже, там рыбацких лунок полным-полно…

Кинтель подумал, что теперь все весенние дни до того долгожданного плавания будут у него связаны с радостной тревогой и ожиданием… А вдруг в конце ожидания — неудача?! Нет, надо

надеяться. И на эту разгадку, и… на другие.

Корнеич, прихлебывая чай, рассуждал — и обрадованно, и с досадой:

— Сколько лет бываю на базе, а про этот план и слыхом не слыхал. И что Каменный — он же еще и Шаман, тоже не ведал. Вот тебе и музейный работник… А про Каменный легенда есть. Будто, когда сложили плотину и появилось озеро, это в петровские времена еще, первый владелец здешних заводов повелел навалить в воду гранитных глыб. Чтобы на этом искусственном острове поставить себе памятник. Да потом, видать, побоялся, что упрекнут в чрезмерном бахвальстве, или денег пожалел. А остров так и остался… Только, скорее всего, это сказки. Похоже, что, когда озера тут еще не было, стояла на берегу реки Сож каменная горка. Может, здешние племена на ней жертвы приносили да пляски устраивали, потому и Шаман…

— Мы, как… это самое найдем, тоже пляску устроим, — сказал Не Бойся Грома.

На него посмотрели неодобрительно.

В город вернулись, когда уже были сумерки. Звонкие, синие. Кинтель проводил Салазкина и заспешил домой. Ужасно хотелось есть. У двери позвонил длинно и нетерпеливо. Открыл дед.

Был он хмурый, смотрел мимо Кинтеля. Сказал как-то неловко, по-стариковски:

— Тут такое дело, звонили из больницы. Померла ведь Елизавета…

Кинтель мигнул, постоял. Потом в куртке и ботинках кинулся в свою комнату. Регишка уже знала. Ничком лежала на диване, вздрагивала. Кинтель поднял ее за плечи, прижал…

## ТЕМНОЕ КРЫЛО

Целую неделю Регишка не ходила в школу. То плакала навзрыд у себя за ширмой или на коленях у Кинтеля, то каменно молчала. Так было и до похорон, и после. Но что поделаешь, надо жить дальше. И в следующий понедельник, с Кинтелем за руку, пошла опять Регишка учиться. Послушная, безучастная…

На девятый день собрались помянуть тетю Лизу. На Сортировке собрались, в ее квартире. Кроме деда, тети Вари и Кинтеля с Регишкой, пришли еще несколько незнакомых женщин (они были и на похоронах). Отец, тихий, осунувшийся, расставлял рюмки и тарелки, женщины ему помогали. Посидели, выпили, поговорили о чем-то тихонько… Кинтель разговора не слышал.

Посидев за столом пару минут, он ушел с Регишкой в другую комнату, помог собрать кое-какие игрушки и книжки.

Любимую куклу Анюту Регишка взять с собой отказалась:

— Пускай живет здесь. Она привыкла…

Когда уходили, отец подошел, погладил Регишку по волосам. И она… вдруг вцепилась в его рукав, прижалась к нему щекой и так стояла с полминуты при общем молчании. Ох как зацарапалась тогда в Кинтеле ревность, как заныла тревога…

Когда вернулись, дед сказал нерешительно:

— Слышь, Данила, поговорить бы надо.

Они сели рядышком на диване в большой комнате. Кинтель уже понял, о чем будет разговор. Дед повозился, выговорил:

— Как дальше-то с девочкой?

— А что? — вмиг ощетинился Кинтель. — Мешает? Или много ест?

Дед поморщился:

— Ну, ты только давай без этого… Не мешает, конечно, и не объест она нас. Живи бы да живи. И Варваре одна радость, всё о внучке мечтала…

— Ну так в чем дело?

— Легко ли такой маленькой-то круглой сиро-

той жить…

— Что же теперь делать? — скованно произнес Кинтель.

— Ты видел, как она к отцу прилипла сегодня… Она же всегда его родным считала.

— А он? — безжалостно хмыкнул Кинтель. — Наплевал да бросил… А сейчас… Подумаешь, по головке погладил.

— Кто кого там бросил, сейчас и не разберешься, — вздохнул дед. — Не нам судить их с Елизаветой… А про Регину он нынче говорил: надо, мол, чтобы девочка с отцом росла. Как же, мол, иначе-то…

— Хрен ему! — неумолимо сказал Кинтель.

— Но у него же права…

— А у нее?! У Регишки?! — взвился Кинтель. — Она же человек, а не кошка, которую можно из дома в дом!.. Ее, что ли, и спрашивать не надо?!

— Кто говорит, что не надо? Ее-то в первую очередь… Как она решит, конечно…

— Папочка надеется, что она меня оставит? Ха-ха… — сказал Кинтель с горьким злорадством.

— Не надеется. О том и речь…

— О чем? — Страх прошел по Кинтелю. Догадка.

— Просил он… чтобы, значит, я с тобой пого-

ворил. Может, переедет, мол, Данила вместе с Регишкой ко мне. К нему то есть. К родному же отцу все-таки…

— Ну ясно. А вам с… Варварой Дмитриевной я уже поперек горла, да? — выговорил Кинтель с тихим отчаянием. Без оглядки. Будто обрывал все нити.

Дед стукнул кулаками по коленям. Но не со злостью, а беспомощно.

— Так я и знал! Так я и думал, что ты начнешь эту чепуху нести. Главное, сам ведь знаешь, что чепуха…

— Зачем тогда хочешь, чтобы я уехал?

— Да не хочу я! И у Варвары этого в мыслях нет! Ни про тебя, ни про Регину!.. Только девочку-то жалко. Она к своему дому привыкла. И отца любит… И школа у нее там своя, привычная… И еще…

— Что? — натянуто спросил Кинтель.

— Я про Валерия. Хоть у нас отношения и не очень, сын ведь он мне… Легко, думаешь, знать, что он в одиночку мается?

— Он, значит, сын, а я, выходит, уже и не внук…

— Ладно… — Дед устало поднялся. — Не получается беседа… Я, по правде говоря, думал, что ты

взрослее. А ты еще… Впрочем, винить некого…

— Ну давай, давай, пригвозди теперь меня. — Кинтель сидел, откинувшись, и смотрел на деда снизу вверх. В горле ощутимо скребло.

Дед отвернулся к окну:

— Дурачок ты. Будут свои дети, поймешь…

У Кинтеля не было сил обидеться на «дурачка». Он сказал совсем уже сипло:

— Вот о детях и надо думать. Регишка к отцу вовсе и не просится… а вы…

— Пока не просится, и говорить не о чем, — не оглянувшись отозвался дед. — Ладно, поживем — поглядим…

Несколько дней прошли сумрачно и спокойно, без событий. Однажды вечером пришел Салазкин. Кинтель обрадовался, но и Салазкину не удалось развеять до конца его грустную, уже привычную озабоченность.

Поговорили о том о сём. Салазкин сообщил, что Корнеич разговаривал со знакомым художником, тот пообещал после ремонта расписать в доме, в будущей кают-компании, стену. Как старинную карту — с кораблями и морскими чудовищами.

— Хорошо, — сказал Кинтель. Но получилось невесело.

И тогда Салазкин вдруг спросил тихо, но ре-

ши-тельно:

— Даня, скажи, наконец: ты все еще на меня сердишься?

— Санки, да ты что! С чего взял?

— Так показалось…

— Да за что сердиться-то?

— Я думал… может, за ту историю. Когда я скрыл, что Надежда Яковлевна болеет… Я понимаю, что у тебя в эти дни масса несчастий и забот, но мне казалось… Ну, будто ты и на меня злишься.

— Брось ты, Салазкин, — слабо улыбнулся Кинтель. — У меня в голове даже и не копошилось такое… — И он добавил, хотя это было чересчур по-детски: — Ну… честное тремолинское…

Салазкин тоже заулыбался. Виновато и с облегче-нием.

— Мама говорит, я такой ужасно мнительный…

— Правильно она говорит. А я… просто тут такое дело… — Он показал глазами на ширму, за которой тихонько дышала Регишка.

Салазкин сразу понял:

— Мне домой пора.

— Ага. Я тебя провожу!

Когда вышли на улицу, Кинтель и поведал

Салазкину свою печаль. И боязнь, что Регишка запросится к отцу и в то же время от него, от Даньки, отрываться не захочет.

— И что мне, Санки, тогда делать?

Холодно было, даже уши пощипывало. Апрельские лужи затянулись игольчатым ледком, он блестел под неласковым закатом. Салазкин поежился и сказал беспомощно:

— Даже не знаю, что посоветовать… Регишку тоже понять можно…

«Ну вот, и он туда же!»

А Салазкин вдруг начал рассказывать:

— Я на той неделе к вам заходил перед школой. Думал, ты уже дома, но тебя еще не было. Я с Регишкой стал разговаривать. Она спрашивает: «Скажи, когда сон снится — это совсем ничего или немножко по правде?» Говорит: «Я маму во сне видела. Как она меня на колени посадила и по голове гладит…» Я ей тогда и рассказал… то, что читал в газете «Зеркало», про одно учение…

— Какое?

— Будто вокруг Земли есть еще несколько невидимых пространств. Семь, кажется. И люди никогда не умирают по-настоящему, а их энергетические поля, то есть души, переходят из одного пространства в другое. И те, кто друг друга на

Земле любил, там обязательно встретятся…

— Она поверила?

— По-моему, да. Ей ведь очень хотелось, чтобы так было.

— А ты? — тихо спросил Кинтель. — Тоже веришь?

Салазкин сказал шепотом:

— Наполовину…

— Наполовину — это уже немало, — с печалью отозвался Кинтель.

В то, что мама не погибла, он тоже верил наполовину. Или, честно говоря, даже меньше. Но и этой надежды хватало, чтобы она согревала жизнь. И страшно было потерять ее.

Когда Кинтель вернулся, он сразу понял, что опять будет разговор. Дед шевельнул бровями и сказал обреченно:

— Отец твой звонил. С Регишкой разговаривал. Ну и… как оно и предвиделось: «К папе хочу, домой…»

— Ну а кто ее держит? — в сердцах бросил Кинтель.

— Ты… Без тебя не хочет.

— Пусть сама это скажет!

— Боится, что ты рассердишься… А Валерий мне сказал: пускай Данила хоть немного поживет. Не

может быть, говорит, чтобы родные сын и отец не ужились, не бывает так…

«Еще как бывает…»

— Говорит: если захочет обратно, если невмочь станет, кто удержит-то? А здесь комната твоя как была, так и будет. И вообще… можешь ведь хоть каждый день приезжать…

— Это уже не он, это ты говоришь, — сказал Кинтель.

В душе росла безнадежность. Не нужен он тут… А раз так, стоит ли упрямиться? По правде говоря, к этому жилью — с вечным шумом за окнами, с чужими голосами за стенами — он так и не привык, неродное оно. Вот если бы из старого дома уезжать — совсем тошно, а отсюда…

Он ничего не сказал. Молча ушел и поехал туда. В сквер с остатками памятника. Загадал: если светится окно, тогда — пусть… Значит, судьба.

Окно светилось.

Кинтель вернулся уже в полной темноте. Его встревоженно ждали. Регишка стояла на пороге, смотрела похожими на мокрые сливы глазами. Но даже к ней не было сейчас у Кинтеля сочувствия. Только усталая жалость к себе. Он имел на нее право, потому что все уже решил. Деду Кинтель сказал набыченно:

— Имей в виду, карту я заберу с собой.

С той поры жизнь приобрела суматошный ритм. Одна дорога до школы — час туда, час обратно. А еще пришлось приводить в порядок квартиру. Кинтель вымыл полы, отнес в прачечную белье, выстоял несколько очередей, чтобы выкупить по талонам хоть какие-то продукты.

Он вел себя как недовольный хозяин, после долгой отлучки вернувшийся в дом и обнаруживший кавардак и запустение. Отец слушался его во всем. Порой проявлял даже излишнюю поспешность, выполняя поручения Кинтеля. Смотрел виновато и вопросительно. Кинтель один раз не выдержал:

— Ну чего ты все время на меня так глядишь? Будто… пообещал шоколадку, а вместо этого сам съел.

Отец нерешительно засмеялся. Потом вдруг закашлялся и сквозь кашель проговорил:

— Слушай, Данилище… Я ведь никогда ничего плохого тебе не делал. Один раз только по дурости… ножницами…

— Да?! А как линейкой отлупить хотел, забыл? Когда мне шесть лет было, — сказал Кинтель. Сказал с ненатуральной такой придирчивостью, как бы нарочно показывая, что это полушутка.

Отец подышал, успокаивая кашель, потоптался рядом. Вдруг взял Кинтеля большой ладонью за затылок, неловко прижал его голову к свитеру:

— Большущий ты вырос…

Под свитером толкалось шумное сердце.

— Ну чего… — пробормотал Кинтель. — Я же в чешуе весь, карасей чистил…

Но прежде, чем вывернуться из-под отцовской руки, он замер, постоял так две секунды…

В этой квартире, в трехэтажном «дохрущевском» доме, все было как в те времена, когда Кинтель жил здесь с отцом, Регишкой и тетей Лизой. Даже старая фотография висела над комодом: на ней они вчетвером. Регишка еще совсем ясельная, а Кинтель — шестилетний, в том нарядном костюме, в котором ходил записываться в гимназию. С пышной прической, лупоглазый, серьезный.

Кинтель над своим столом решительно приколотил старинную карту. А больше ничего менять в комнатах не стал. И фотографию со стены не убрал, хотя заметил, что Регишка подолгу стоит перед ней с мокрыми глазами.

А один раз он увидел, как Регишка забралась в шкаф и там, нахохлившись, прижимает к лицу платье тети Лизы…

Но в общем-то Регишка ожила по сравнению с первыми днями. Иногда улыбалась даже. Смотрела детские передачи, Кинтелю и отцу помогала возиться на кухне.

Салазкина Кинтель теперь видел еще реже, чем зимой. Иногда у Корнеича, а иногда в школе между сменами.

Но однажды вечером Салазкин приехал сюда, на Сортировку. С Ричардом. Видимо, взял пса для безопасности.

Все Салазкину обрадовались, даже отец. Салазкин сообщил, что со следующего воскресенья начинается ремонт шлюпки, надо будет в любое свободное время ездить на базу.

— Холодно ведь еще, — озабоченно заметил отец. — Руки стынуть будут. Да и всякая краска-шпаклевка в такую погоду плохо ложится.

— Синоптики обещают раннее потепление, — сообщил Салазкин.

«Ох, скорее бы…» Кинтель почувствовал, как он устал от зимы и от затяжного весеннего холода. Так хотелось тепла и зелени. А пока — будто темное крыло между ним, Кинтелем, и солнцем. И не в погоде, конечно, дело…

Но вот пришел Салазкин и пообещал тепло. А он, Салазкин-то, всегда говорит правду.

## ЗЮЙД-ЗЮЙД-ВЕСТ

Кинтель думал, что за зиму он совсем не вырос. Все такой же щуплый и колючий. Алка Баранова, с которой они всю жизнь были одного роста, к весне сделалась выше на полголовы. Но нет, и он подрос. Это обнаружилось, когда Кинтель примерил прошлогодние джинсовые шорты. Дед купил их ему в начале того лета, перед путешествием, но они оказались велики, болтались, и Кинтель надевал их, лишь когда с артелью «Веселые брызги» ходил мыть машины. А нынче — в самый раз. И главное, петли на поясе широкие — флотский ремень, который подарил ему Корнеич, пролез почти без скрипа…

Волосы Кинтель не стриг с осенних каникул, тетя Варя только подравнивала их, и впервые за несколько лет у Кинтеля появилась густая шапка волос. Алка однажды сказала:

— Данечка, тебе ужасно идет новая прическа.

— Само собой, — буркнул Кинтель.

Плохо только, что черный суконный берет с флотским крабом слабо держался на пружинистых волосах. И, выйдя из дому, Кинтель свернул и сунул его под погончик оранжевой форменной

рубашки. Тем более, что стояла уже вполне летняя жара…

Салазкин не обманул, в середине апреля пришли теплые дни. К маю уже зеленели деревья и буйно цвели по газонам одуванчики. Правда, первого мая пришло похолодание с дождем, но это уж такой закон природы в здешних местах: как День солидарности трудящихся, так слякоть (независимо от политической обстановки). Впрочем, ни праздника, ни демонстрации в этом году все равно не намечалось.

Зато с понедельника опять началось тепло. Пуще прежнего. К этому времени как раз в мастерской подоспел заказ: покрашенные в огненно-апельсиновый цвет рубашки для «Тремолино». И Корнеич потребовал:

— Ну, народ, пора переходить на летнюю форму. На открытии навигации всем быть при полном параде.

Три последние недели ребята вкалывали на ремонте яла. Вспузырили паяльной лампой и ободрали старую краску, заделали пробоины, законопатили щели, за-шпаклевали корпус смесью олифы и мела. Покрасили. Издалека на шлюпку глянешь — будто новая. Залатали старенькие серые паруса…

— Не шхуна «Тремолино», конечно, да ладно уж, сойдет, пока свой корабль не построили, — поговаривали ветераны. А Кинтелю казалось, что и шлюпка, названная добродушным именем «Тортилла», — отличное судно. И оставшиеся до первого плавания дни он жил в предпраздничном напряге… Тем более, что ожидалось не просто испытание «Тортиллы», а экспедиция на Шаман…

В таком вот настроении и шагал сейчас Кинтель к автобусной остановке. Правда, кроме праздника, сидело в душе и сомнение. Человеку со стеснительным характером нелегко, когда его разглядывает каждый встречный. Но в общем-то Кинтель уже притерпелся. С утра он ходил с Регишкой в «Стрелу» на сеанс мультфильмов — специально в тремолиновской форме. Во-первых, чтобы задавить в себе дурацкую стыдливость, а во-вторых, после кино уже не осталось бы времени для переодевания. Он и так попросил у Корнеича разрешения приехать на базу не к двенадцати, как все, а к часу. Конечно, не следовало бы в день долгожданной экспедиции тратить время на другие дела, но Регина еще накануне запросилась на мультики про кота Леопольда. Корнеич согласился, что причина, разумеется,

уважительная.

Салазкин сунулся было:

— Я с Даней! Можно?

Но тут Корнеич ответил:

— А работать кто будет? Шлюпку спускать надо…

Если дело касалось плавания, Корнеич никому не давал поблажек. И люди в «Тремолино» это понимали. Даже неугомонный Не Бойся Грома становился спокойным и деловитым, когда вступала в силу корабельная дисциплина.

— А иначе и нельзя, — как-то объяснил новичку Кинтелю Паша Краузе. — На воде — это на воде, не на земле. Чуть что не так, и может кончиться как в песне:

*Будем лежать на дне,*
*В синей прохладной мгле,*
*Ля-ля-ля…*

Салазкин после ответа Корнеича засмущался. Кинтель тоже почувствовал себя виноватым.

— Я бы не просил, да Регишка… Ей вот приспичило. Надо пользоваться случаем, чтобы хоть малость ее развеселить…

В кино, конечно, все пялились на Кинтеля. Рубашка — будто факел, и столько на ней золоче-

ных якорьков, нашивок, аксельбантов. К тому же, кроме Кинтеля, никого из пацанов еще не было в шортах, не лето все-таки. От этих взглядов по Кинтелю бегали щекочущие мурашки. Но потом он увидел двух мальчишек из скаутской «Былины» — в полном их обмундировании, веселых и независимых. И малость приободрился. К тому же Регишка так гордилась блестящим видом старшего брата!

А кроме того — праздники. Потому что воскресенье десятого мая было как бы продолжением Дня Победы. Вполне понятно, что в ребячьих отрядах могут быть всякие сборы и линейки, оттого и парадный вид. Вон ветераны, они ведь тоже в своих мундирах, гимнастерках и при наградах во всю грудь. На них тоже глядят кому не лень…

После сеанса Кинтель отвел Регишку домой, подхватил собранную заранее сумку — и на автобус. Но у самого подъезда услыхал:

— Да-анечка! Какой ты… элегантный.

Алка Баранова! Откуда ее принесла нелегкая? Стоит, водит по нему своими шоколадными глазищами от кроссовок до макушки и обратно. И опять — мурашки. Чтобы прогнать их, Кинтель стал спокойным и язвительным:

— Да. А ты как думала! Теперь ты еще больше в

меня втюришься.

— Больше уже некуда… А что это у тебя за знаки различия?

Как съехидничать, Кинтель не придумал, буркнул примирительно:

— Знаки как знаки. Отряд такой. Парусный.

— Я и не знала, что ты моряк… Мой брат Мишка в судостроительном кружке занимался, в Доме пионеров, так у них настоящая морская форма была. Клеши, матроска…

— Настоящая — у настоящих, — сердито объяснил Кинтель. — А у них — маскарадная. Модельки строить — это не шкоты тягать. Попробовали бы они в своих клешах на базе, у шлюпок, когда все время по колено в воде. Или за бортом оказаться…

Ни вкалывать по колено в воде, ни оказываться за бортом Кинтелю пока не приходилось. Но ответ вышел, кажется, ничего: как у бывалого.

Алка покивала, качая толстыми, но короткими торчащими косами. Заметила:

— Ты прав. Такие штанишки тебе идут.

Он опять зарядился спасительным ехидством:

— А ты только сейчас заметила? Ты меня и раньше в штанишках видела, сколько лет смотришь влюбленными глазами.

— Раньше — это давно. Ты маленький был…

— А я и сейчас маленький, — сказал Кинтель с дурашливой беззаботностью. — Двенадцать лет — какие годы! Самое время для мальчика поиграть в ляпки да в пряталки… Это вы, девицы, раньше срока в рост пускаетесь. Во… — Кинтель вскинул над головой руку. — И во… — Он волнистыми движениями ладоней нарисовал в воздухе раздавшуюся дамскую фигуру. Хотя Алка, что касается ширины, была совсем не «во». Только на груди под тоненьким белым свитером — легкий намек на выпуклость.

Она не обиделась. Заметила чуть насмешливо:

— А тебе-то, игрок в пряталки, через неделю, по-моему, уже тринадцать стукнет.

— Ай-яй-яй! — Он сделал вид, что ужасно удивился. Потому что удивился по правде. — Как это ты вспомнила?

— Вспомнила. Тебя еще в детском садике поздравляли, в старшей группе. Когда шесть лет…

— Верно! Ты мне тогда пластмассового зайчонка подарила! — Кинтель сбил невольную лиричность воспоминания комическим закатыванием глаз. — Это было так трогательно… Кстати, заяц до сих пор не потерялся.

— Ты путаешь, — вздохнула Алка. — Зайца я по-

дарила в другой день. Эльза Аркадьевна взгрела тебя линейкой, и ты ревел в уголке за беседкой, а я тебя пожалела… А ты мне потом венок из одуванчиков сплел.

— Сейчас бы я и не сумел уже, — вздохнул Кинтель. — Какие мы были талантливые в молодые годы.

— Ох, не говори… А на день рождения подарков я тебе никогда не дарила. Можно сейчас исправиться? — У Алки была замшевая сумочка. Открыв ее, Алка достала что-то круглое, завернутое в бумажную салфетку. — На…

— Что это? — сказал Кинтель слегка опасливо.

— Бери, бери. Это без подвоха…

Кинтель пожал плечами. Взял, развернул. Оказалось — расписное деревянное яйцо, размером с куриное.

От растерянности он спросил тоном «достоевского» пацана:

— В натуре, что ли, мне?

Она засмеялась:

— «В натуре»… Ох ты, Кинтель…

— Не ко времени вроде, — опять малость съехидничал он. — Пасхальная неделя уже кончилась.

— А это не пасхальное. Специально для тебя…

Кинтель осторожно помолчал. Потом хмыкнул:

— А внутри небось игла, как для Кощея. Разобью — и мне каюк… Или нет! Воткнется в сердце, и тогда я влюблюсь в тебя безоговорочно.

Впрочем, яйцо было тяжелое — видимо, сплошное.

Алка сказала без улыбки, скучновато даже:

— Ладно, пошла я… Не забывай, адмирал. — И зашагала прочь, помахивая сумочкой и качая твердыми коричневыми косами.

— Да уж ладно, не забуду как-нибудь до завтра-то, — сказал Кинтель ей вслед слегка растерянно. И добавил запоздало: — Мерси вам, сударыня…

Потом затолкал яйцо на дно сумки, под запасной спортивный костюм и сверток с бутербродами. И за-спешил к автобусу.

…Вот ведь, черт возьми, не повезло Кинтелю! Когда приехал к трамвайному кольцу у «Сталевара», там на диспетчерской будке красовалось объявление, что двенадцатый маршрут не работает из-за ремонта линии. Ну что за свинство! Праздничный подарочек садоводам и дачникам… Теперь, чтобы добраться до базы, надо топать по шпалам с полчаса.

Впрочем, часы на Доме культуры показывали

половину первого, так что времени в самый раз. И Кинтель потопал.

Скоро настроение у него опять стало лучезарным. По бокам узкоколейки зеленели низкорослые клены и рябины, между шпал в густой рост шла трава с желтым мелкоцветьем, над ней порхали бабочки. Солнце грело плечи. Слева, из-за горбатых низких крыш летел теплый, но плотный ветерок. Зюйд-зюйд-вест, самое то, чтобы курсом-галфинд, без лавировки, сходить на Шаман и вернуться. Справа синело Орловское озеро. По нему бежала мелкая безобидная зыбь.

Такое было вокруг солнечное умиротворение, что даже мысли о кладе на Шамане перестали волновать Кинтеля. Об этом думалось рассеянно, вперемешку с другим: с Алкиным подарком, с утренними мультиками, со всякой всячиной.

Трамвайная линия по прямой убегала вдаль и терялась в кустах, за которыми прятался разъезд. И долгое время было пусто впереди, а потом… Потом словно вдали на рельсах возникло большое зеркало, и Кинтель увидел себя. Идущего навстречу.

Конечно, это был кто-то из своих! В той же форме. Кинтель заспешил. И очень скоро по слегка косолапой походке — видно, снова ногу

подвернул, балда! — Кинтель узнал Салазкина. Тот, наверно, отпросился встречать его! Кинтель заторопился еще больше. Но уже с полусотни шагов разглядел, что радостной встречей тут не пахнет. Очень уж понуро шагал Салазкин.

— Что случилось? — еще издалека сказал Кинтель.

Случилось дело скандальное, для Салазкина просто постыдное. И главное, непоправимое. Потому что нарушения техники безопасности во время занятий парусным делом прощению не подлежали. Это в «Тре-молино» было законом с давних пор, и закон все принимали безропотно. Иначе кончится тем самым: «Ля-ля-ля, в синей прохладной мгле...» И если кто-то нарушил по разгильдяйству или забывчивости — будь ты хоть самый лучший друг, хоть самый заслуженный ветеран, — гуляй, голубчик, с базы домой и обижайся только на себя. Потом тебя никто упрекать не станет и будешь ты по-прежнему свой среди своих и хороший человек, но в этот горький день тебя к пирсу и близко не пустят...

Все это Салазкин знал прекрасно. Но словно какой-то бес толкнул его под копчик. Когда спустили «Тортиллу» со слипа и Корнеич назначил пятерых (Салазкина в том числе) перегнать

шлюпку к пирсу, все, конечно, надели спасательные жилеты. А Салазкин забыл, прыгнул в шлюпку без него.

— Ты откуда упал? — изумился Дим. — А ну, за жилетом!

Но Салазкиным овладела какая-то необъяснимая беспечность.

— Чепуха! Тут же недалеко! Ничего не случится!

Ничего опасного в тот момент случиться и правда не могло.

Но случилось другое: все это увидел Корнеич.

— Саня! Марш за жилетом!

— Да ладно! Тут же двадцать метров до пирса! — И Салазкин взялся за весло.

Тогда-то Корнеич и сказал железным тоном:

— Денисов, на берег.

А потом уже, когда все осознавший Салазкин с головой ниже плеч встал перед нестройной шеренгой, Корнеич горестно развел руками:

— Сам виноват. И что на тебя нашло?.. Шагай домой, чадо, ничего не поделаешь. Всем ты подпортил этот день…

Уже ни на что не надеясь, Салазкин прошептал:

— Можно я лучше целую неделю буду рынду

драить?

— Это можно, — вздохнул Корнеич. — А домой идти все равно придется. Закон есть закон…

И Салазкин пошел, глотая слезы, и сдерживался до самой встречи с Кинтелем. А тут не выдержал. Разревелся самым безудержным образом, когда стал рассказывать.

— Перестань, — понуро сказал Кинтель. Тошно ему сделалось. Вот ведь свинство судьбы: только что все было хорошо, и вдруг… — Но на Салазкина злости не было, он и так горем умывается. Господи, что же делать-то? — Не реви. Давай сядем…

Салазкин всхлипнул и послушно сел на рельс.

— Подвинься, — сказал Кинтель, вспомнив старый анекдот. Но шутка не заставила Салазкина повеселеть. Он даже и не понял, подвинулся. Кинтель сел рядом.

Стали молчать. Салазкин съежился и все еще всхлипывал, ухитряясь вытирать мокрые щеки о колени. Потом сказал шепотом:

— Ладно, пойду я…

— Куда?

— Домой, конечно…

— Вместе пойдем.

Салазкин вскинул голову:

— Ты с ума сошел?

«Дурак ты. Как же я без тебя-то?» — подумал Кинтель и упрямо шевельнул спиной.

— Получится, что ты бросил экипаж перед плаванием, — испуганно объяснил Салазкин. — Так не делают. Вообще никогда… И к тому же без предупреждения…

— Хорошо, я пойду и предупрежу.

Салазкин понуро проговорил:

— Ну и будет еще хуже. Провалится все дело…

Помолчали снова. Салазкин шевельнулся:

— Пойду я. Сплаваете без меня, чего такого… Сам ведь я виноват, зачем вокруг меня еще что-то громоздить…

Все это было правильно. Он был кругом виноват. И ничего бы не случилось, если бы «Тремолино» сходил на остров Шаман без Сани Денисова. Но Кинтель представлял, как сейчас встанут они, повернутся спиной друг к другу и пойдут по рельсовой колее в разные стороны. И будут расходиться все дальше, дальше… и это было невозможно, несмотря ни на какие рассуждения о справедливости.

Салазкин теперь не опускал голову, смотрел перед собой, ощетинив сырые ресницы. Облизывал губы и ковырял на коленке выпуклую родинку.

— Оставь ты свою бородавку, — в сердцах ска-

зал Кинтель. — Сдерешь когда-нибудь совсем.

— Ну и сдеру… Надоела.

— Схватишь гангрену какую-нибудь. И помрешь…

Салазкин горестно шмыгнул носом. Судя по всему, он был не прочь сейчас помереть.

— Или ногу отрежут. А зачем? Мало нам, что ли, одного такого Джона Сильвера…

Но и на эту шутку — глупую и даже хамскую — Салазкин никак не прореагировал. Только сильнее придавил родинку мизинцем. Из-под него выкатилась кровяная бусинка.

— Во! — подскочил Кинтель. — Говорил я! Колупнул все-таки!

— Первый раз, что ли?..

— Под ногтем знаешь сколько бактерий… Надо смазать чем-нибудь! У тебя есть аптечка? — У Кинтеля стремительно зрело решение.

— Откуда у меня аптечка? Она на базе…

— Вот и пошли на базу!

Салазкин повернул полосатое от слез лицо. Сказал грустно и понимающе:

— Ну и что? Потом все равно отправят домой.

— Видно будет. Пошли!

…Появление Салазкина вызвало неловкость и растерянность. Ребята опускали глаза. Корнеич

сказал:

— Это что за явление? — Сердито глянул на Кинтеля: с какой стати, мол, вернул штрафника? Не знаешь правил?

Кинтель проговорил агрессивно:

— У человека нога в крови, а вы… Обработать же надо!

Корнеич пригляделся, куснул губу:

— Батюшки мои, какая травма… Смажьте ему зеленкой.

Маринка умчалась и тут же вернулась с аптечкой.

— Дай сюда, я сам… — Салазкин забрал у нее пузырек.

— Ну, всё? — Корнеич глянул хмуро и нетерпеливо. — Теперь будешь жить. Ступай домой…

— Он хромает, — сказал Кинтель.

— Да, он хромает, — сказал Костик-барабанщик.

— Понял, — сухо согласился Корнеич. — Отвезу до кольца на мотоцикле.

— Да вы что! — вознегодовал тогда Кинтель. — Так же нельзя! Один раз прогнали, зачем снова-то! Так никогда не бывает, чтобы за одно дело человека дважды… казнили… Даже когда к расстрелу приговаривали и с первого раза не могли застре-

лить, потом человека прощали. У Высоцкого про это песня есть!

— Да, есть у Высоцкого такая песня, — авторитетно сказал Дим.

И все вопросительно, выжидательно стали смотреть на Корнеича. Даже несгибаемые ветераны Сержик Алданов и Паша Краузе.

— Ясно, на чьей стороне общественное мнение, — проворчал Корнеич. — Ладно, оставайся… недостреленная личность.

Салазкин засиял еще не просохшими глазами.

— Я все равно буду целую неделю рынду чистить!

— Чисти. Может быть, умилостивишь судьбу… С одной стороны, конечно, Кинтель прав: за один грех дважды не спрашивают. Но с другой — мы сегодня из-за тебя впервые нарушили устав. Есть примета, что такое безнаказанно не проходит. Если случится какое ЧП, знай — по твоей причине…

Салазкин сопел виновато и счастливо. И какое ЧП могло случиться в этот безоблачный день с ровным теплым ветром?

Правда, дядя Гриша предупредил ворчливо:

— Вы долго-то не задерживайтесь. И вообще… глядите там. Катера-то пока еще на берегу, сезон

не открылся. Ежели что, помощи никакой…

— Синоптики на всю неделю ровную погоду обещали, — сказал Корнеич.

— Синоптики эти…

— Вернемся нормально… Кинтель, труби сбор на линейку.

У Кинтеля что «сбор», что «тревога» — на все один сигнал, четыре протяжные ноты. Он сбегал в штабную каморку за горном и затрубил прямо с крыльца. Построились в шеренгу на пирсе. Салазкин, сам того не замечая, все еще праздничнo улыбался. А смазанная коленка сияла, как зеленый светофор: путь открыт! Флаг полагалось поднимать самому маленькому. Таким был Костик, но он — с барабаном. И поднимал Мурeныш. Заплескалось под гафелем на береговой мачте оранжевое полотнище с белым лучистым солнцем и синим корабликом. Костик приветствовал его умелой дробью. И Корнеич скомандовал:

— Народ, по местам!

Те, кто в прошлые годы ходил на шхуне «Тремолино», вспоминали не раз ее легкость и стремительность. Но Кинтелю сравнивать было не с чем. Ему сейчас казалось, что и неторопливая «Тортилла» несется, словно клипер. Ветер, когда отошли от берега, стал еще плотнее, двойной

шлюпочный парус круто выгнулся. Серый и полинялый, теперь, на солнечном просторе, казался он белым и чистым. Легкие гребешки ударили в звонкий борт, зажурчала кильватерная струя. Теплый зюйд-зюйд-вест взлохматил Кинтелю волосы, и он вдохнул восторг первого парусного плавания.

Несмотря на недавний ремонт, кое-где сквозь щели в обшивке сочилась вода. Но Виталик Не Бойся Грома деловито объяснил Кинтелю, что это ненадолго: скоро дерево набухнет, все щели закроются, не бойся, новичок.

А Кинтель и не боялся. «Тортилла» была большой и надежной. Минут пятнадцать для испытания походили туда-сюда вдоль пирса, а потом — с креном на правый борт, курсом вест-норд-вест — шлюпка побежала к темному пятнышку на горизонте — скалистому острову Каменному, который раньше назывался Шаман…

Орловское озеро слегка ершилось. Кое-где загорались пенные гребешки. Стала покачивать «Тортиллу» бортовая зыбь. И в этом неопасном покачивании, в искрящейся синеве, в журчании и плеске, в теплом ветре и трепете оранжевого флажка на задней шкаторине грота было такое счастье, что на какое-то время Кинтель опять

почти забыл про главную цель путешествия. Ему дали держать кливер-шкот, и он ощутил властное давление ветрового потока на парусину. И ревностно следил, чтобы кливер не заполоскал, потеряв ветер…

Попались навстречу две гордые крейсерские яхты с высоченными мачтами. Кинтель проводил их глазами с восхищением, но без зависти. Чего завидовать чужому счастью, если есть свое… А больше парусов не было видно. Несмотря на теплую погоду, яхтсмены и шлюпочники окрестных спортклубов еще не раскачались, чтобы начать сезон…

Бежало время, проплывали мимо «Тортиллы» и оставались позади поросшие кудрявой зеленью островки: Петушок, Тополиный, Рыбачий… А серый, без единого кустика суровый камень Шаман делался все ближе, ближе. И Кинтеля, уже притерпевшегося к радости плавания, все сильнее брало в плен волнение. Этакое замирание под сердцем.

Скоро — разгадка. И наверно, ничего там не найдется, к этому надо быть готовым. Столько лет прошло, столько тысяч рыбаков и туристов побывали на Шамане, лазили по всем камням. Скорее всего, давно отыскали и унесли клад Ни-

киты Таирова. А если он до сих пор там, то разве сейчас отыщешь валун с надписью «Б+Л»? Буквы наверняка давно стерло время… Но в самом этом плавании, в самом поиске был тревожащий дух Приключения. Старая книга, тайное письмо, необитаемый (ведь и правда необитаемый, без жилья!) остров… А в приключении всегда есть надежда, что оно кончится удачей.

А позади этой надежды жила и другая. Та, которую Кинтель не сумел бы объяснить никому, даже себе. Он и не пытался объяснить, но берёг в себе странное чувство, что разгадка клада поможет другой разгадке — кто живет на улице П.Морозова? За тем окном на пятом этаже! Не было здесь никакой связи. Но непонятная надежда была, и от нее порой щемило душу…

Путь до Шамана занял чуть больше часа. И вот наконец «Тортилла» заскрипела килем по песку, выползла крутым носом на отмель у нависших скал.

Все попрыгали на песок, заприплясывали, разминая затекшие ноги. Закрепили за камень швартов, опустили в шлюпку реек с парусом. Всем не терпелось кинуться на поиски.

— Люди! По камням не скакать сломя голову! — предупредил Корнеич. И, поморщившись, уселся

на валун: видимо, опять болел натертый протезом сустав. — Держаться по двое, страховать друг друга!.. Не будем суеверными, но надо помнить о возможности ЧП… И по сигналу — сразу к шлюпке! Ладно, разбежались…

Кинтель, конечно, пошел с Салазкиным.

Островок в ширину был метров сорок. Но на этом клочке земли было столько нагромождений! Торчали скалы — холодные в тени и горячие на солнце. Грудами поднимались валуны, между ними вились натоптанные тропинки. Кроме экипажа шлюпки, не было сейчас на Каменном никого, но следы посещений виднелись повсюду: желтые обрывки газет, консервные банки, осколки бутылок. Ох как умеют люди загадить любое хорошее место!..

Но, несмотря на мусор и затоптанность, был Шаман загадочен и красив. Похож на руины замка. Не росло здесь ни кустика, но валуны покрывал сухой узорчатый мох, горели среди гранитных обломков солнечные брызги одуванчиков. Камни громоздились друг на друга, уступами уходили к неровной верхушке острова. Пахло теплым древним гранитом и золой старых костров.

Все разбрелись, перекликаясь. Где здесь искать валун с буквами «Б+Л»? Написано: к зюйд-осту от

макушки. Но вон их сколько, камней-то! Проверять каждый — до заката не хватит времени. Тем более, что смотреть надо внимательно: скорее всего, надпись теперь полустерта или покрыта мхом… Как она была сделана? Хорошо, если выбита железом. А если выведена непрочной краской? Могла совсем исчезнуть…

Надписей, кстати, хватало: «Гена+Люся», «Здесь были В.Д. и Ю.Ю.», «Яхта „Лотос“ 1963 г.», «Да здрав-ствует Метал» (с одним "л")… Одни надписи четкие, другие слабо различимые. Но ясно, что все эти туристские отметы — советского времени. И никаких "Б" и "Л"…

Царапая ноги о гранитные гребешки, добрались Кинтель и Салазкин до вершины, где лежал похожий на спящего бегемота камень. С другой стороны поднялись Дим, Юрик Завалишин и Маринка…

— Ничего не нашли, — виновато сказала Маринка. — Вы тоже?

Кинтель досадливо молчал.

Они взгромоздились на спинку каменного «бегемота». Ветер обрадованно затрепал галстуки и распущенные рубашки. С высоты была видна вся солнечно-синяя ширь. Вспыхивали барашки. Блестел стеклами далекий город, темнели леси-

стые берега. Самый близкий берег был примерно в километре, там на склонах пестрели домики пригородного поселка Старые Сосны. Сосны — мохнатые, одинокие — и правда темнели над крышами. Позади поселка зеленой ящеркой бежала электричка.

Небо над озером оставалось ясным, синим, но теперь по нему бежали в сторону Старых Сосен мелкие светлые облака.

Кинтель бросил взгляд вниз, по каменистому склону. В направлении SO. Где там этот проклятый камень? Вон их сколько…

Недалеко от шлюпки, на прибрежном песке возился с костром Корнеич. Дрова благоразумно прихватили с собой.

Корнеич поднял голову и закричал:

— Спускайтесь, обедать пора! Больше часа рыщете там!

Неужели больше часа прошло? И все напрасно…

Спустились — растрепанные, поцарапанные. Порастерявшие прежний азарт. Только Не Бойся Грома радостно сообщил:

— А я вот что нашел! — И помахал противогазом, неизвестно как попавшим на остров. Но находке не обрадовались.

Вскипятили в котелках чай, развернул бутерброды. Принялись за еду энергично, но хмуро. Виновато поглядывали на Кинтеля. А он тоже чувствовал себя виноватым: наговорил про клад, втравил людей в напрасные поиски.

Корнеич сказал:

— Оно и понятно: сразу разве отыщешь?.. А я вот нынче и совсем искать-лазать не могу, деревяшка ноет так занудно…

Салазкин, деловито жуя, отозвался:

— Тебе и не надо. А мы поедим и еще поищем…

Он, сверкая зеленой коленкой, сидел выше всех, на пологом склоне с мелкой травкой. Привалился спиной к отвесному выступу торчащего из земли гранита. Корнеич посмотрел на него, потом вверх. Медленно возразил:

— Нет, братцы, сегодня искать больше не будем. Не нравятся мне эти быстрые тучки. Добраться бы домой, пока не рассвистелось…

— Но как это? Уплывать не солоно хлебавши!

Теперь на Салазкина посмотрели все. И Маринка сказала:

— Кто-то сегодня уже спорил. Чем это кончилось?

Салазкин засопел и заерзал спиной по камню,

словно у него зачесался позвоночник.

— Чучело гороховое, ты что делаешь! — Маринка кинулась к нему. — Камень-то в копоти, здесь костер разводили! Всю сажу на рубашку собрал… — Она заставила Салазкина встать, повернула спиной. Спина и правда была пятнисто-черная.

— Я же не знал… — Салазкин вертел головой, пытаясь взглянуть на собственные лопатки. Не сумел, взглянул на злополучный камень. — Я думал, он от природы такой черный… Ой…

Камень уже не был черным. Копоть была счищена рубашкой с плоского серого гранита. Сажа осталась лишь в щелях и углублениях. И в точечных ямках, выбитых чем-то острым. Ямки эти явно складывались в долгожданный знак:

**Б+Л**

— Ой-ей… — осторожно сказали разом еще несколько человек. Придвинулись, присели у камня на корточках. Смотрели на буквы с полминуты. У Кинтеля не в груди, а где-то у горла нервно перестукивало сердце. Не Бойся Грома и Костик-барабанщик вдруг переглянулись, кинулись к шлюпке, вернулись с маленькой киркой и саперной лопаткой.

— Пустите! — Не Бойся Грома размахнулся

киркой.

Корнеич поймал ее:

— Постойте, братцы… Давайте-ка без суеты. Встанем как надо.

Все знали, как надо. Встали в кружок, руки друг другу на плечи.

— Помолчим, — сказал Корнеич. — Загадаем хорошее и попросим судьбу, чтобы не обманула нас…

У Кинтеля одна ладонь на плече Салазкина, другая на плече Андрюшки Локтева. Кинтель зажмурился и в наступившей темноте (зыбкой, с зелеными пятнами) мысленно попросил те добрые силы, которые должны помогать людям: «Пусть найдется… Ну, пожалуйста…»

— Вот так… — выдохнул Корнеич. — А теперь, Кинтель, бери кирку. Твой удар — первый…

И Кинтель взял. И ударил в землю железным острием. У самого камня, под надписью…

Два фута — это сантиметров шестьдесят. Земля оказалась податливая, хотя с каменным щебнем. Работали киркой и лопатой без перерыва, меняя друг друга. Слышались только удары, скрежет и частое дыхание…

И когда яма стала маленькому Костику чуть не до пояса, случилось то, что должно было случить-

ся. Лопатка стукнула о твердое.

Никто не закричал «ура». Молча и нетерпеливо вырыли сколоченный из полусгнивших досочек ящик. Размером с толстую книгу.

Дерево развалилось прямо под пальцами. В ящике оказалось заскорузлое, твердое (когда-то, наверно, промасленное) сукно. Разогнули, разломали его. И увидели железную коробку. Была она довольно тяжелая. Кое-где в пятнах ржавчины, а местами — в сохранившейся золотистой краске с цветным орнаментом. И сбоку различима была витиеватая надпись: «Паровая шоколадная фабрика М. Конради».

— Подождите… — Корнеич взял коробку, протянул Кинтелю: — Открывай.

Кинтель суетливо зацепил ногтями крышку. Она, видимо, приржавела.

— Возьми. — Корнеич протянул открытый складной нож. — Или дай все-таки мне, а то пальцы поуродуешь…

Корнеич сунул лезвие под крышку, надавил… И крышка отскочила, задребезжав.

— Возьми, — опять сказал Корнеич Кинтелю.

Все замерли, сгрудились. Только посвистывал нарастающий ветер. В коробке лежало что-то завернутое в сизую шерстяную тряпицу. Уве-

систое.

Кинтель сжал нетерпение и не спеша развернул. Вздохнул тихонько и поставил на ладонь темную фигурку.

Костик-барабанщик вдруг засмеялся. Необидно, хорошо так.

— Ой, мальчик… — прошептала Маринка.

— Он золотой, да? — спросил простодушный Му-реныш.

— Бронзовый, наверно, — сказал Корнеич. — Посмотрите, какой славный…

## ИСКРА НА НОСУ

Мальчик был ростом сантиметров десять. Он стоял на крошечной квадратной площадке, в рельефе которой угадывалась примятая трава. Стоял в небрежной, несколько озорной позе: чуть выгнулся назад, отставил правую ногу, левый локоть оттопырил, а ладонь сунул в карман. Волосы были легко раскинуты косым пробором, на виске курчавился лихой локон. Круглолицый, курносый мальчишка задорно смотрел на тех, кто вызволил его из многолетней тьмы. И вот что главное! Правую руку он сжал в кулачок и поднял его у плеча. Он приветствовал «Тремолино»

давним салютом вольных ребячьих отрядов.

— Чудо какое… Привет, — сказала ему Маринка.

А у Кинтеля каждый нерв, каждая клеточка теплели от ласкового счастья. Чего угодно ждал он, но такого… Это было лучше золотых монет и драгоценностей. Лучше всяких таинственных рукописей и старинного оружия. Лучше всего — по своей радостной неожиданности, по живому ощущению счастливой встречи. Кинтель сейчас испытывал то, что бывало в лучшие минуты их дружбы с Салазкиным, в те моменты, когда сознание вздрагивало от нового толчка: «Господи, как же хорошо, что есть на свете Санки…» Но сейчас еще было и другое. Еще и как бы мгновенно появившаяся нить, которая связывала его с давним временем, с живым Никитой Таировым…

— Можно? — попросил Корнеич. Взял, покачал тяжелую фигурку в ладони. — Да, бронза… Ну, здравствуй, мальчик. Сколько же тебе лет? Наверно, ты из прошлого века…

По первому взгляду это был деревенский мальчуган, только, скорее всего, не из русской, а из какой-нибудь прибалтийской деревни. Или с небогатой городской окраины. В сбившейся, распахнутой на груди рубашке с подвернутыми

рукавами, в брючатах длиною до середины икр, в стоптанных башмаках. Судя по всему, не робкого десятка пацан. Вон как по-свойски, без смущения глядит на незнакомых мальчишек. Будто на приятелей, которых встретил после долгой отлучки…

Осторожно, без суеты, по очереди брали ребята бронзового мальчика. Разглядывали, поворачивали. Подмигивали ему.

— Наш человек, — решительно высказался Игорек по прозвищу И-го-го и отдал мальчишке ответный салют.

— Давайте имя ему придумаем, — предложил Сенечка Раух.

— Это уж пусть Даня решает, — ревниво сказал Салазкин.

— А письма никакого в коробке не было? — спросил Юрик Завалишин.

«Зачем письмо? И без него все ясно», — подумал Кинтель. Он так и хотел ответить, но Корнеич вдруг сказал резко и недовольно:

— А ну, тихо, люди!

Кинтель даже обиделся. Но все уже разом отключились от находки и смотрели вверх. Мелкие быстрые облака все больше превращались в тучки. Среди камней нарастал зябкий шелест ветра. Поблекло солнце.

— Ох, не нравится мне это, — признался Корнеич.

И остальным не нравилось. Даже неопытный Кинтель ощутил боязливый холодок. Корнеич, хромая и чертыхаясь шепотом, полез наверх. Ребята тоже. И позади всех Кинтель с бронзовым мальчиком в кулаке.

Сверху видно стало, что южная часть неба затянута серой дымкой, солнце еле светит сквозь нее, а клочковатая облачность на фоне этой дымки густеет на глазах. Взъерошенное озеро было сплошь усыпано гребешками, чайки метались и скандально орали. Ветер стал жестким.

— Кажется, лето кончается, — объявил Не Бойся Грома. Он ежился и подпрыгивал, потирая ноги и локти.

— Судя по всему, влипли, — задумчиво проговорил Корнеич. — Вот ведь паразиты эти синоптики. А еще бастовали, повышения зарплаты требовали.

— Надо сматываться, — сказал Дим. — А то будет поздно.

— Боюсь, что уже поздно, — сумрачно откликнулся Корнеич. — Шквалы пойдут, завалит на галфвинде… Вон как свистит уже… Черт возьми, это я виноват. Знал ведь, что такие штучки быва-

ют в мае, несмотря на благостные прогнозы…

— Ни в чем ты не виноват, — сказал Андрюшка Локтев. — Плыть-то все равно было надо. Без риска не проживешь.

— Рифы на гроте возьмем — проскочим, — предложил Паша Краузе. — Нам бы только до Петушка, а там берег прикроет.

— До Петушка-то сколько пилить, — возразил Корнеич. — На траверзе Кленового мыса запросто может уложить, там даже в нормальную-то погоду часто дует как из форточки… Вон, поглядите, уже будто солью посыпано.

И верно, белые гребешки сплошь покрыли озеро. Видно было, как длинные полосы ветра срывают пену, словно стараются причесать взлохмаченную, посеревшую воду. Солнце совсем исчезло, в ветре прорезался зимний холодок.

— Пошли вниз.

У берега, под защитой скал, вода оставалась довольно спокойной, но видно было, как в сотне метров уже вырастают волны. Костер продолжал уютно потрескивать, ветер почти не залетал сюда. Но все равно не осталось и намека на недавнее тепло. Теперь не только Не Бойся Грома — все ежились и прыгали. Корнеич велел надеть спортивные костюмы.

Между тем день темнел, обещая серьезную непогоду. Корнеич подозвал к себе старших: Пашу Краузе, Сержика Алданова, Юрика Завалишина и Дима — тех, у кого на левом оранжевом рукаве было пришито по четыре золотых угольника с капитанским вензелем. Но и другие слышали разговор командиров.

— Кабы без малышей, — сказал Сержик Алданов.

— А что делать? Это надолго, — заметил Паша Краузе.

— Может, на веслах попробовать? — нерешительно предложил Дим.

— Смеяться-то… — вздохнул Юрик.

Корнеич решил:

— Придется подождать.

— Это надолго, — опять сказал Паша Краузе.

— Понимаю, что надолго. Но бывает, что при таком похолодании первый фронт быстро проходит, и дуть начинает ровнее. Время еще есть…

Было половина пятого. А потемнело так, словно уже совсем вечер. Брызнуло мелким дождиком.

— Этого еще не хватало! — возмутился Корнеич. — А ну, хлопцы, давайте навес!

Тут Кинтель увидел на практике, какой тренированный народ в «Тремолино». Все, кроме него,

Кинтеля, даже Мурены и Костик, знали свое дело. Вмиг были связаны из скрещенных весел стойки, на них положили реек с гротом и кливером, укрепили парусину и весла веревочными оттяжками. Кинтель все же успел удачно помочь Салазкину наладить пару оттяжек…

Дождь уютно зашуршал по парусной ткани, от углей потянуло под навес теплом. Сгрудились все под зыбкой матерчатой крышей. Тесно было — тем более что для тепла надели поверх костюмов спасательные жилеты. Но в этой тесноте опять стало хорошо, надежно. Снова вспомнили про бронзового найденыша (и Кинтель обрадовался этому).

— Давайте поставим его перед всеми, — предложила Маринка.

Мальчика поставили на плоскую плитку гранита, и он — неунывающий — держал у плеча вскинутый кулак: «Не бойтесь, ребята, я с вами».

Юрик Завалишин ухитрился устроиться с гитарой.

*Ты лишний раз не говори,*

*Как бриз качает фонари,*

*Как он летит по присмиревшим переулкам…*

Остальные начали подпевать. А Кинтель слышал эту песенку первый раз. Нет, оказывается, еще не все он знал про «Тремолино». Песенка была вроде бы шуточная, хотя и слегка печальная: о мальчишке, убежавшем из дома и сделавшемся пиратом.

*И не беда, что он пират,*
*Таким пиратам всякий рад,*
*А кто боится их, пусть пьет побольше брома.*
*Мы о секретах ни гугу*
*И лишь споем в своем кругу,*
*Как жил средь нас пират*
*Анри Не Бойся Грома…*

Виталька довольно сопел, будто песенка и правда про него. Тем более, что в свое время родители долго не пускали его в «Тремолино», и он прибегал в отряд украдкой. Пока не вмешался Корнеич…

Потом на мотив «Катюши» спели «Пиратскую тещу».

*У бабуси от ударов гиком*
*Вся в могучих шишках голова…*

Но чего-то все-таки не хватало в этих песнях для ощущения полной дружеской прочности. И тогда Юрик ударил по струнам иначе:

*Над волнами нам плыть,*
*По дорогам шагать,*
*Штормовые рассветы встречать…*

Тут заметнее других зазвенел ясный голосок Салазкина. Это была его песня. А Кинтель не столько пел, сколько для виду шевелил губами. Не потому, что стеснялся, а просто какой из него певец. Не голос, а одно сипение. Но сердце его было всё в этой песне.

*Скоро день расцветет,*
*Словно огненный клен,*
*Голос горна тревожно-певуч.*
*Подымайся, мой мальчик,*
*Рассвет раскален…*

После этого ничего уже не было страшно. Пускай хоть африканский торнадо свистит… И Кинтель вместе с другими гаркнул «ура», когда Корнеич решил:

— Делать нечего, братцы, выход один: с попутным ветром до ближнего берега — это около

полумили. Там, у Старых Сосен, рыбачья станция. Оставим у них шлюпку, а сами — на электричке. А то родители небось уже в полной панике…

Ближнего берега тоже не было сейчас видно за мглой и моросью. Но Виталик Не Бойся Грома бодро сказал:

— Не океан, мимо земли не проплывем.

— Да, но левее базы подводные камни, — предупредил Корнеич. — Если промахнемся, хряпнет за милую душу… — И велел: — Маринка, надо сделать треугольник. Будем поднимать к топу.

Отшнуровали четырехугольный шлюпочный кливер. Заложили верхний угол так, чтобы парус превратился в треугольник. Маринка взяла толстенную иглу, суровой ниткой притянула угол и края рядом с ним к парусине.

Залили костер, погрузили имущество. Сдвинули шлюпку дальше в воду. Подняли к верхушке мачты маленький парус-треугольник. Он задрожал, забился. Все сняли, спрятали за пазухи береты — а то запросто сдует.

— Данилка, садись на пайолы, к мачте, — сказал Корнеич. — А с тобой пусть Муреныш и Костик.

Кинтель понял: его, как самого неопытного, вместе с маленькими сажают вниз, в центр шлюпки, для балласта. Но он и не подумал обижаться!

Тем более, что Корнеич сказал непривычно и ласково: «Данилка». Сроду никто Кинтеля так не называл.

Послушно и быстро — это всё, что он мог, — Кинтель сел на планковые слани, лицом к форштевню и парусу. Спиной прислонился к дощатой банке. Обхватил за плечи Мурены́ша и Костика, которые приткнулись справа и слева. Стуча протезом, к рулю пробрался Корнеич. Ветер (здесь еще не сильный) дергал его медные космы. Юрик Завалишин, Сержик Алданов, Дим и Паша Краузе встали на носу с длинными веслами, уперлись рукоятями с вальками в дно и в береговой песок. Остальные без суеты расселись по бортам. Не Бойся Грома привычно ухватил кливер-шкот.

— С Богом, — сказал Корнеич.

Налегли на весла, заскрипел песок, потом «Тортиллу» качнуло на свободной воде. Капитаны попрыгали вниз, уложили весла вдоль бортов.

— Кливер на ветер…

Шлюпку стало разворачивать, все быстрее, быстрее, парус дернулся последний раз и надулся теперь уже как надо. Остров оказался за кормой. Сквозь шум ветра стало слышно бурление кильватерной струи. Кинтель оглянулся. Берег заметно отодвигался. Ветер ударил хлестко, с про-

мозглым холодом. Сверху сыпался не то дождь, не то крупа. Набежала сзади волна, подняла и резко опустила шлюпку.

— Началось, — негромко сказала Маринка.

Салазкин сидел на бортовой банке между И-го-го и Андрюшкой. Встретился с Кинтелем глазами, улыбнулся — неловко, на себя не похоже.

Да что они все? Думают, что если Кинтель новичок, то у него душа в пятках?

Он ничуть не боялся! Если был нервный холод в мышцах, то от зябкости, от ветра, от мороси. А ни в какие несчастья Кинтель не верил! Тем более, что с ним талисман — бронзовый неунывающий мальчишка. Кинтель сунул его под трикотажную фуфайку, и уголок подставки покалывал ему живот…

Волны стали крупнее, поднимали «Тортиллу» все размашистее. Мало того, еще и качали с борта на борт. Потому что гребни шли теперь не прямо с кормы, а наискосок.

— Корнеич, ты привелся, что ли? — сказал Паша. — Гляди, уже не фордевинд, а бакштаг.

— Это ветер зашел!

— Снесет нас… доннерветтер унд таузенд тойфель, как говорили мои остзейские предки…

— И каррамба, — подал бодрый голосок Костик

у Кинтеля из-под локтя.

— И тысяча дохлых медуз за шиворот синоптикам, — сказал Сенечка Раух.

— Не гневите Небеса, мальчики, — попросил Корнеич.

Но поздно. Небеса ответили таким хлестким порывом, что шлюпку круто положило на левый борт, а Маринка тихо сказала «мама».

— С левого борта — на слани! Паша и Дим, откренивайте активнее! — велел Корнеич. — Женщины и дети, без паники…

— Сам ты «женщины и дети», — жалобно огрызнулась Маринка. — Между прочим, я плавать не умею…

Все засмеялись.

— Она это каждый раз говорит, — сказал Салазкин оглянувшемуся Кинтелю. — А сама как русалка.

— В такой воде все русалки мигом передохнут, — заявила Маринка. — Градусов пять, не больше… Ай, мама… — Это новая порция ледяной крупы ударила по щекам.

Кинтель проморгался и глянул вперед. Берега не было видно — свистящая мгла. Остров Шаман за кормой тоже исчез. Переваливаясь и хватая иногда бортом воду, «Тортилла» неслась вовсе

не по-черепашьи. Казалось, прошел уже целый час… Ветер стал суше, и вдруг полетели снежные мухи…

— Окрестность исчезла во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега, — сказал Сержик Алданов. — А. Эс. Пушкин, «Повести Белкина», «Метель». Недавно писали изложение…

— И кто мог подумать тогда, в какую переделку мы попадем! — в тон ему подхватил Юрик Завалишин.

Снег летел все гуще, застревал в волосах, липнул к парусу. Дунуло крепче прежнего, плеснуло гребнем через наветренный борт.

— Я так не играю! — возмутился Не Бойся Грома. — Шкот не удержать, возьмите кто-нибудь еще!.. Данилка, возьми ты!

Кинтель ухватил конец пенькового троса. Сильно дернуло кожу на ладонях. Но вдвоем держать — это не трудно.

«А что они сегодня, сговорились, что ли? Всё „Данилка“ и „Данилка“…»

Где же он, берег-то? Судя по времени, давно пора ему быть, вон какая скорость.

Опять хлестнуло — по тем, кто откренивал.

— Подо мной совершенно мокро, — пожаловался И-го-го.

— И подо мной, — сообщил Андрюшка Локтев. И верный своей склонности все уточнять, добавил: — Но не думайте, не потому…

— Знаем почему… — неуверенно пошутил Костик-барабанщик.

«Батюшки, а это ведь настоящий шторм… И… значит, конец может быть всякий?»

Сенечка Раух звонко пообещал:

— Если все кончится хорошо, буду всегда слушаться бабушку и делать зарядку!..

— Грех давать невыполнимые обеты, — сказал от руля Корнеич.

— Я буду выполнять! Ну, не всегда, а хотя бы по выходным…

Кинтель оглянулся на Салазкина: как он там? Салазкин мотал головой, отплевываясь от снега. Так по-будничному…

«Тортиллу» опять подняло на волну, и тогда сквозь мглу и летящий снег замаячило впереди желтое пятно.

— Огонь впереди! — завопил Не Бойся Грома. — Справа по курсу! Приводись!

Шлюпка пошла было носом вправо, но ход сразу упал. Новые гребни ударили в борт.

— Не вырезаться под кливером! — крикнул Корнеич. — Капитаны, на весла!

Не очень ловко (попробуйте при такой болтанке), чертыхаясь и путаясь, вставили уключины, выдвинули две пары весел. Сели на них Паша, Дим, Сержик, Юрик. В помощь им встали напротив И-го-го, Салазкин, Сенечка, Андрюшка. Взмахнули, налегли… Лопасти то зарывались, то чиркали по гребням.

Темной массой проступил впереди берег. Фонарь светил оттуда сквозь летящий снег будто желтая звезда. И кто-то неразборчиво кричал в мегафон. Шлюпка пошла на огонь.

— Нормально, братцы! Навались еще! — крикнул Корнеич. — А, черт! — Это килем грохнуло о камень. Раз, другой. Стали…

Муреныш под боком у Кинтеля всхлипнул. Костик сказал:

— Не бойся. Раз камень, значит, уже неглубоко. Выберемся.

— Я не боюсь. Я ногу отсидел, больно… — Муреныш завозился виновато и сердито.

— Двое с веслами на корму! Толкаться! — приказал Корнеич. Но еще одна волна милостиво сняла «Тортиллу» с камня.

— Отставить! Нажмите, люди! Вот так…

Справа возник пирс, на нем стояли двое: большой и маленький. У маленького в руках сиял

электрическим огнем рефлектор.

— Бери левее! — гаркнул мегафон. — Теперь прямо! Вот так, лады…

Качать перестало. Волны безвредно бились о бетонную стенку гавани. «Тортилла» по инерции шла к причалу.

— Егоров, ты, что ли?! — крикнул с кормы Кор-неич.

— Кто, как не я!.. Ваш Васильич мне трезвонит каждые пять минут, волосы на себе рвет: как вы там на Каменном!.. И у него катера нет, и у меня мотор по закону подлости разобран. Хотели уже звонить «Буревестнику», просить, чтобы крейсерскую яхту за вами послали. Или милицию на ихней плавучей платформе…

— Этого еще не хватало, — сказал Корнеич.

Егоров оказался молодым дядькой со шкиперской бородкой. Его помощником — Федор, белоголовое существо лет восьми, в резиновых сапожищах и ватнике до колен. Федор по-хозяйски сказал:

— Пап, я чайник на плиту поставлю. — И с фонарем зашагал к домику.

В шумном бестолковом разговоре, в сетованиях на подлую погоду закрепили у пирса шлюпку, убрали парус, вынесли на причал Муреныша,

растерли ему ногу. Он стеснялся недавних слез, сопел. Паша Краузе взял его на руки.

Егоров повел ребят в дом. Корнеич поспешил вперед — звонить дяде Грише, чтобы не поднимал паники.

В дощатой комнате с табуретками и голым столом было тепло. Показалось, что жарко даже. Скинули спасательные жилеты, постягивали промокшие спортивные костюмы. Хотели уложить Мурениша, но он уже ступал на ногу, только прихрамывал.

И-го-го сказал Кинтелю:

— Все по правилам. Приключение.

*Мы давно уж ждали старта,*
*Не сиделось по домам,*
*И таинственная карта*
*Привела нас на Шаман.*
*Грунт на острове не мягок,*
*Но отрыли старый клад.*
*И сперва была штормяга,*
*А потом пошло на лад…*

Это я прямо в шлюпке сочинил, прямо сейчас…

— Лермонтов, — сказал Кинтель искренне. — Евтушенко… — Он радостно ежился. Теперь

казалось, что все это — волны и снежные вихри — длилось лишь минуту.

Салазкин проговорил покаянно:

— Все из-за меня. Корнеич правильно говорил: будет ЧП.

Андрюшка Локтев решительно восстановил справедливость:

— Если бы не ты, ничего бы не нашли. Это ведь ты буквы на камне отчистил!.. Данилка, ты Сане должен самолично рубашку выстирать. В благодарность…

— Ладно, — счастливо пообещал Кинтель.

— Вот еще, — притворно надулся Салазкин. Уселся на табурет, привалился к стенке, привычно потянулся к родинке на покрытом размытой зеленкой колене.

— Опять! — прикрикнул Кинтель. — Дам по пальцам!

Салазкин засмеялся, болтнул ногами в отсыревших кроссовках. Одна сорвалась, ее поймал на лету Сенечка Раух:

— Без выкупа не отдам!

— Возьми на память! — веселился Салазкин. — Чтобы не забыл, как обещал слушаться бабушку и делать зарядку!

— Только по воскресеньям!..

Кинтель вдруг ощутил толчок неожиданного горячего счастья. Оттого, что все именно так. Шторм позади, все вокруг радуются, а бронзовый мальчик — клад! — вот он, в кулаке. И еще от понимания, что именно сегодня он, Кинтель, Данька Рафалов (Данилка!), стал в «Тремолино» окончательно своим.

Пришел Егоров с пышущим чайником. Федор тащил за ним связку эмалированных кружек. Следом появился Корнеич. Сообщил, что успокоил по телефону дядю Гришу (а то он и правда хотел уже водную милицию о помощи просить). А еще позвонил Тане, чтобы всем родителям, которые начнут трезвонить и справляться о судьбе своих чад, сообщала: целы-невредимы, едут электричкой…

После чая все осоловели. Двигаться было лень, и даже разговаривать не хотелось. Сонно ждали, когда, развешанные у горячей печурки, высохнут спортивные штаны и фуфайки. Но скоро оказалось, что теплые костюмы не так уж нужны: за окном резко светлело и так же стремительно возвращалось тепло. Таяли на траве остатки снега, выкатилось солнце. Оно опять грело сквозь рубашки плечи, когда ребята повыскакивали из дома. Недавно казалось, что на дворе поздний

вечер, и вот, пожалуйста, опять день. В мае в семь часов — еще яркое солнышко…

Будто не было ни мглы, ни снежного шквала!

Когда шли на станцию Старые Сосны, выбрались на шоссе. По нему катил пустой автобус «Уралец». Наверно, с какой-то спортивной базы. Корнеич голоснул. Автобус затормозил. Корнеич поговорил с водителем.

— Ну садитесь, — добродушно разрешил пожилой дядька. — Как не подвезти, если вы такие красивые… А я думал, пионеры у нас перевелись.

— Не все, — гордо сказал Костик-барабанщик. — Те, которые морские, они живучие…

Ух как уютно было ехать в этом, будто специально для них посланном «Уральце»! Он катил ровно, ласково урчал мотором. Кое-кто стал клевать носом. Но Корнеич вдруг сказал:

— Данилушка, покажи-ка еще нашего найденыша. Теперь самое время.

И все сгрудились у сиденья, где ехали Кинтель и Салазкин. Бронзовый мальчик опять пошел по рукам.

— Смотрите-ка, здесь что-то написано! — обнаружил И-го-го. — Латинские буквы…

По краю бронзовой подставки была выбита мелкая надпись: «M. BAUER».

— «Бауэр» — по-немецки «крестьянин», — сказал Паша.

— А «Эм» — значит «маленький»! — сунулся Костик. — Маленький крестьянин.

— «Маленький» по-немецки «кляйнер», — возразил Паша.

— Эм. Бауэр — это, наверно, имя мастера, который делал статуэтку, — решил Корнеич.

— Виталик, он на тебя похож, — сказала Маринка.

— Конечно! — Не Бойся Грома выскочил в проход между сиденьями, встал горделиво — кулак над плечом. — Салют!

— Неужели тогда уже были такие салюты? — удивился И-го-го.

— А может быть, он скаут? — предположил Костик. — Они ведь были еще и до революции.

— Ну да! Без галстука-то! — заспорил Виталик. — И у скаутов не такой салют, у них три пальца вверх…

Корнеич пригляделся:

— А по-моему, он что-то держал в кулаке. Взгляните-ка, кулак вроде бы просверлен…

И правда, под сжатыми пальцами был круглый проем. Словно когда-то кулак мальчишки сжимал не то палку, не то дудку.

— Может, подзорную трубу? — сказала Маринка. — Вдруг это маленький капитан?

«А если не подзорную, а сигнальную?» — подумал Кинтель. Но постеснялся сказать. Да к тому же сообразил: изогнутую трубу не просунешь в бронзовый кулак…

— Если и держал что-то, теперь уже не узнать, — заметил Дим. — Да и зачем? Пускай считается, что он приветствует нас…

Сенечка Раух взял статуэтку, повернул к свету.

— Весь темный, а нос блестит! Вот! — На задорном носу бронзового мальчишки зажглась от низкого солнца искра.

— Потому что нос — он самый выступающий, — внес ясность Андрюша Локтев. — Пальцами натерли, хватают все.

— Нет, — сказал Сенечка, — локти и кулаки тоже ведь выступающие, а не блестят. А то, что искра на носу, я сразу увидел. Там, на Шамане…

## ЧТО ОН ДЕРЖАЛ В РУКЕ

Утром Кинтель взял бронзового мальчика с собой. Положить его в сумку не решился — помнил историю с «Морским уставом», — сунул в карман. Это оказалось не очень-то удобно, угол-

ки подставки царапали сквозь подкладку ногу, шорты от тяжести съезжали, пришлось покрепче затянуть флотский пояс. Кинтель пошел в школу в отрядной форме из какого-то веселого упрямства. А еще — из чувства особой, щемящей душу преданности «Тремолино», которая во много раз выросла после вчерашнего штормового плавания. И кроме того, хотелось почему-то снова поддразнить своим видом Алку Баранову (а может, просто покрасоваться перед ней?).

А потом он (если Алка не будет чересчур воображать и насмешничать) похвастается вчерашней экспедицией на Шаман и покажет находку…

Но Алка в школу почему-то не пришла. Кинтелю слегка взгрустнулось.

Кстати, никто особого внимания на его форму не обратил: школа пестрела всякими нарядами, день стоял совершенно летний, словно и не было вчера «арктического плевка». Лишь один старшеклассник, смерив Кинтеля взглядом, заметил: «Во, еще один скаутенок вылупился». И получил в ответ «драного козла». Однако за Кинтелем не погнался: старших одолевали более крупные заботы. Одиннадцатые классы бунтовали, не желая сдавать экзамены по программе, утвержденной педсоветом. Глядя на них, волновались

и девятые…

После шестого урока Кинтель встретил у школы Салазкина: такого же оранжевого и при аксельбантах. Кинтель весело сказал:

— Вот узнает Корнеич, что мы форму в школе треплем, будем нам на орехи.

Салазкин слегка смутился — видать, вспомнил вчерашнюю неприятность. На коленке у него все еще заметны были следы зеленки. Кинтель тихо спросил:

— Ты вчера, наверно, здорово на него обиделся, да?

Салазкин вскинул глаза — такие, будто и в них капнули зеленкой.

— Что ты! Ничуть… Я сам был сплошной дурак. А он ведь за каждого отвечает… Даня, ты заметил, как он перекрестился, когда сошли на пирс? Там, в Старых Соснах…

— Я… нет…

— Дело-то ведь было нешуточное, — совсем по-взрослому сказал Салазкин. — Особенно когда о камни грохнуло…

— Я толком, кажется, ничего и не понял, — признался Кинтель. — Потому что новичок…

— Теперь уж какой ты новичок!.. А если бы что-то случилось, это было бы навеки ЧП имени

Александра Денисова. Потому что я наворожил. Своей дурью.

Кинтель помолчал и спросил, преодолев неловкость:

— Санки, а ты заметил: меня вчера почему-то перестали Кинтелем называть? Всё «Данилка» и «Да-нилка»…

— А тебе как больше нравится? По-новому или по-старому?

— По-всякому, — вздохнул Кинтель. — Ладно, пока. Я побегу, дед сейчас как раз на обед придет. Он ведь еще ничего не знает про это… — Кинтель похлопал по отвисшему карману.

Дед поставил бронзового мальчика перед собой и смотрел на него с хорошей, чуть печальной улыбкой. С такой же, с которой рассказывал Кинтелю о своем детстве: как гоняли на пустырях тряпичный мяч, пробирались без билета в летний фанерный цирк в городском сквере и устраивали на Сожинском спуске гонки на построенных из досок самокатах…

— И нос блестит… Так в точности блестел нос у моего приятеля, рыжего Вовки Постовалова, когда мать насильно умоет и вытрет его… И так же он замахивался на обидчиков.

— Думаешь, он замахивается? — спросил Кин-

тель. В жесте мальчишки вроде бы не было угрозы. Кулак, поднятый к плечу и повернутый сжатыми пальцами вперед, все-таки означал, скорее всего, приветствие. — Похоже на салют. Ну вроде как «рот-фронт»…

— Пожалуй, — согласился дед. — Хотя в ту пору не было еще никаких «рот-фронтов»… А может, он заступается за кого-то? Без особой агрессивности, но с ощущением своей силы и справедливости…

— Слишком беззаботно стоит… Смотри, Толич, он что-то держал в руке, кулак просверлен.

— В самом деле… А может быть, не держал, а держался? Видишь, слегка отклонился влево.

— За что держался?!

— Ну, скажем, за ветку, за ручку колодезного ворота… за что угодно.

— А где тогда это «что угодно»?

— Видишь ли, мальчик мог быть не сам по себе, а деталью какой-то композиции. Скажем, большого письменного прибора. А на приборе мастер мог понастроить все что хочешь. Бронзовые вещи были тогда в моде.

Кинтелю это не понравилось. Не хотелось, чтобы мальчишка был чем-то вроде шахматной фигурки среди множества других. Нет, он — сам по себе. Веселый, храбрый, встретивший друзей.

«Вот и я! Возьмите меня в „Тремолино“!»

— По-моему, он не от прибора. Смотри, здесь имя мастера выбито. Разве мастер стал бы свое клеймо ставить на каждую детальку? Выбил бы на общей площадке… Нет, этот пацан сам по себе отлитый!

— Возможно, возможно, — покладисто сказал дед. И уже как-то рассеянно. Сел на диван, откинулся к спинке, ладони — под затылок.

— Толич, а Оля… мама твоя… она ничего про бронзового мальчика не говорила? Может, это была у них с Никитой общая игрушка, а потом он спрятал ее для тайны…

— Нет, Даня, не помню… Мало ли у мамы было игрушек… Может быть, они об этом мальчике что-то в своих детских дневниках писали…

— А где дневники?!

— Вот и я про то, что «где»… Сожгла мама все в тридцатых годах. Все старые бумаги.

— Зачем?!

— Господи, «зачем»… Я же рассказывал тебе, какое было время. Боялись всякой мелочи. Вдруг кто-то прочитает, что твой дед был владельцем лавки! Буржуй, эксплуататор, враг трудового народа! Или на снимке увидят какого-нибудь твоего дальнего родственника в фуражке с кокардой. «В

вашей семье были белогвар-дейцы?..»

— Все равно, — с обидой сказал Кинтель. — Можно было спрятать получше. Чего уж так трястись-то?

— Вот так, мой милый, и тряслись… — Дед смотрел перед собой. И в голосе была горестная усмешка. — Многие годы в постоянном страхе. А мама особенно. Если бы узнали, что ее муж был священником…

Кинтель сел рядом с дедом, поставил пятки на диван, а мальчика — себе на колено. Мальчик покачался и встал прочно. Искра блестела, лицо было задорное. Мальчик не понимал, как можно жить в постоянном страхе. И Кинтель сказал:

— Это же немыслимо: бояться с утра до вечера, каждый день…

— Никто из молодых этого не понимает. А это было. И жили… И считали, что нормально. Потому что ничего другого не знали. Нам же с рождения вдалбливали, что наша страна самая справедливая, а там, на остальном белом свете, сплошной гнет и насилие… И сравнивать было не с чем… Вот представь, вылупился из икринки карась в каком-нибудь полуозере-полуболоте. Что он знает о реках и океанах? Он считает, что болото его — весь мир, такой, каким он и должен

быть…

— Человек, он ведь не карась, — тихо возразил Кинтель. Было не то чтобы жаль деда, а как-то неловко за него.

— Да… И где-то пробивалась, конечно, правда. Из обрывков каких-то, из старых книг. И того же Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Понятия о какой-то общей, всечеловеческой совести. Но ведь, с другой стороны, каждый день: «Самая главная правда на Земле — коммунизм!» И попробуй в этой правде усомниться! Даже мысленно — и то страшно: неужели я враг своему народу? А уж открыто…

— Но были же… которые против…

— Были, но немногие. Если даже и понимали, что к чему, то все равно… Далеко не каждый может быть героем…

«Ты уже говорил про это», — подумал Кинтель.

— Понимаешь, какая подлая система! Она все время держала людей на грани! На страхе! Вспомни, ведь еще недавно все хором одобряли войну с Афганистаном! А если и проклинали, то шепотом. Многие ли выступали открыто?.. И это совсем в ближние времена. А раньше… И это в любой момент могло коснуться каждого.

— Что «это»? — сказал Кинтель, покачивая

мальчика.

— Ты ведь до сих пор не знаешь, почему я перестал быть морским врачом…

— Ты говорил: из-за сердца… А по правде почему? — Кинтель покосился на деда. Тот по-прежнему сидел с ладонями под затылком, смотрел перед собой.

— Плавал я на «Донецке» уже два года, когда появился у нас новый первый помощник капитана. Первый — значит, помполит. «Помпа». Не штурман, а комиссар, который бдит за правильностью идеологии. И вот, когда стояли мы в Архангельске, пригласил он меня к себе в каюту. А там еще один — незнакомый, с лысинкой, в пенсне и в штатском костюме. Какой-то весь увертливый. Молчит, только слушает. А «помпа» заводит разговор: «Вы, Виктор Анатольевич, молодой специалист, член партии, сознательный человек, разбираетесь в обстановке. Не согласитесь ли нам помочь…»

Гляжу я на лысого: ясно, кому это нам. Вербуют в стукачи, сволочи. Чтобы следить за своими и капать, кто что сказал и сделал. И первая мысль, конечно: послать их… А вторая: послать-то послал, но тогда — что? Вмиг найдется повод — прощай заграница. А предстоял рейс на Кубу

— давняя мечта моя. Был я молод и горел жаждой путешествий. До той поры, кстати, бывал только в скандинавских портах да в Польше и Германии. И вот ситуация: с одной стороны — Антилы, пальмы, летучие рыбы, восторг тропиков, а с другой… Думаю — а что с другой? Ну, скажу этим типам: ладно. Потом и отвертеться можно. Да и в конце концов, не гестапо же сотрудничать приглашает, не ФБР или ЦРУ, а свои, советские. Вдруг и правда за границей какое шпионство встретится?"

«Ну, — говорю, — в общем-то я не знаю. Такое дело… Тут ответственность особая, и способности нужны…»

И тогда встревает лысый. Прямо как в старом анекдоте: «А вы попробуйте, Виктор Анатольевич. Попытка — не пытка. Мы вам доверяем…»

Ну и… не сказал я «нет». Пробормотал, что попробую, мол, раз уж так это надо…

Ничего особенного и не было сперва. Несколько раз помполит спрашивал между делом: «Ну, о чем говорят?» — «Да ничего такого, — отвечаю. — Вы же не хуже моего знаете. Экипаж у нас дружный, сплоченный, идейно выдержанный… Анекдоты, правда, травят, да не про политику, а все больше такие, знаете ли, неприличные, как всегда мужики в своем кругу…»

Пришли в Гавану, начались увольнения. Разбивают по трое, в одиночку ни-ни… Один в тройке — старший. Ну, пошли мы однажды гулять по старому городу: я, радист Веня Соловьев и матрос Рябов. Не помню, как звали. Довольно пожилой уже, малоразговорчивый… Бродили мы, на старые бастионы смотрели, на мулаток. Потом решили в церковь зайти. Неужели, говорит Веня, революционные кубинцы Богу молятся? Зашли. Молятся. И пожилые, и молодежь. Даже два мальчика священнику помогают. Ну а особенно и смотреть нечего, церковь скромненькая, не то что соборы в Гданьске или Гамбурге… Одна картина мне понравилась, в боковом приделе. Богоматерь с Младенцем. Будто живые. Рябов тоже подошел, смотрит. А потом задержался еще, вижу: перекрестился украдкой…

А наутро вызывает меня «помпа»: что нового? «Да ничего, — говорю, — все в ажуре». — «В самом деле? — И прищурился. — А то, что матрос Рябов религиозные ритуалы в иностранной церкви демонстрировал, тоже „в ажуре“?»

Значит, радист стукнул, паразит…

Мне бы заверить помпу: не видел, и все тут. А меня забрало за печенку. Видно, есть предел человеческому маразму. «Не обратил, — гово-

рю, — внимания, товарищ первый помощник. А если бы и обратил, не счел бы данный факт нарушением. Потому как у нас вроде бы по Конституции свобода совести, и каждый имеет право…» — «Даже за границей, где на нас постоянно направлены десятки вражеских глаз?!» — «А что он, — спрашиваю, — антисоветские лозунги, что ли, на паперти декламировал?» — «Ну-ну, — говорит „помпа“. — Вашу оригинальную точку зрения вынужден я буду сообщить куда следует…» Тут меня и прорвало: «Только попробуй, сволочь! Там „где следует“ узнают и то, как ты на одеколон „Кармен“ кораллы выменивал, которые к вывозу с Кубы запрещены! И что у тебя за дверной обшивкой спрятано!»

Про обшивку я уж так, наугад. Знал, что таким образом многие мелкую контрабанду прячут. Он, смотрю, побелел, процедил: «Идите…» Ну и на том наши контакты кончились до завершения рейса. А рейс длинный был. Я пару дней помучился всякими сомнениями (потому как не герой), а потом по наивности стал думать, что всё обойдется.

Пришли опять в Архангельск, заглянул я с приятелями в ресторан отметить возвращение. Там какая-то шпана стала нарываться на скандал. И тут же — милиция. Загребли не их, а нас. Прото-

кол об участии в коллективной драке (которой вовсе и не было). Загранвиза — прости-прощай… Тут я смекнул, чьих рук дело. По глупости попробовал права качать. Меня на медкомиссию: у вас сердце барахлит, не годитесь для плавсостава. А потом в военкомат: на два года пойдешь служить как офицер запаса. Я говорю: «У меня же сердце не в порядке!» — «Это там у вас сердце, а для нас в самый раз…» Ну и оттрубил «две зимы, две весны» в Казахстане. Кстати, не жалею, хорошие там были ребята. Хотя, конечно, пришлось несладко. С Кларой, с бабушкой твоей, и с маленьким Валеркой обитали втроем в крошечной комнатке общежития… Потом вернулись сюда, ушел в санавиацию (и сердце оказалось ни при чем). В море больше не совался… Так и живу. С грязной плямбой на душе…

— С чего плямба-то… — скованно сказал Кинтель. — Ты же никого… не предал.

— Кроме себя. Когда не сказал сразу «нет», предал себя самого. Тут уж никуда не денешься… Спустил флаг, как Семен Михайлович Стройников…

— Стройников, может, посмелей многих был! — вскинулся Кинтель. — Он людей спасал!

— Ну… может быть. Тем более. А я спасал се-

бя…

— Ничего себе «спасал»! Послал эту помпу ко всем чертям!

— Нет, Данилка, не обольщайся, дед у тебя никогда не был смелой личностью.

Кинтель встал, поставил мальчика на край стола. Потрогал на его виске бронзовый завиток. Сказал не оборачиваясь:

— Я знаю, почему ты на себя наговариваешь. «Видишь, какой я плохой, не жалей, что уехал от меня… И не вздумай возвращаться…»

Дед резко заскрипел диваном.

— Ты рехнулся? Да хоть сегодня перебирайся обратно!

— Нет уж, — вздохнул Кинтель. — Теперь нельзя. Сам знаешь…

Он затолкал мальчика в карман, пошел к двери. И, опять не решившись оглянуться, проговорил:

— Ты про себя хоть что рассказывай. А я тебя… все равно любить буду, не запретишь. — Он быстро вышел из квартиры и побежал к лифту.

Слышал сквозь дверь, как из кухни кричит тетя Варя:

— Данила! А обедать?!

Пообедал он у Денисовых. Санькина мама встретила Кинтеля на улице, попросила под-

нести до подъезда тяжелую сумку, а потом не отпустила: повела «без всяких разговоров» есть суп и сосиски, который раздобыла по великой счастливой случайности. «А то вон какой тощий! В точности как мой обормот…» Кинтель давно уже был в доме у Салазкина своим человеком, стесняться и отказываться не стал. Тем более, что сосиски последний раз он ел в прошлом году.

Отец Салазкина оказался дома, сели обедать вместе. На кухне, по-домашнему. И Кинтель за столом рассказал Александру Михайловичу и Санькиной маме о всех вчерашних приключениях. Многое родители знали уже от Салазкина, но бронзового мальчика видели, конечно, впервые.

— Если бы наш Санечка не расчистил спиной камень, ничего бы не было, — подвел итог Кинтель.

— Вчера вечером сам рубашку стирал, — сказала мама Салазкина. — Чтобы сегодня отправиться в ней в школу. До того упрямый стал…

Бронзовый мальчик стоял среди тарелок и блестел искрой на носу…

Дома Кинтеля сурово встретила Регишка:

— Где тебя носит? Я целый день одна…

— Большая уже. Занялась бы хозяйством.

— Я и так… Пойдем в парк?

— Мартышка, у меня завтра английский. Англичанка грозила парой за четверть тем, кто перевода не сдаст.

Уже пришел отец и грел на кухне ужин, а Кинтель все еще корпел над письменным переводом. Наконец закончил. Теперь не страшно, пускай спрашивают. Надо только для гарантии сверить текст у Алки…

И тут он вспомнил про Алкин подарок. Деревянное яйцо так и лежало в спортивной сумке, под костюмом!

Кинтель вытащил яйцо, покатал в ладонях. Показалось — внутри что-то стукнуло. Разве оно не сплошное? Кинтель поднес яйцо к окну, под вечерние лучи, пригляделся. Тонюсенькая щель делила яйцо пополам. Кинтель сжал скользкое дерево пальцами, поднатужился. Половинки скрипнули, шевельнулись. Кинтель сунул в щель ногти… Ура!..

В яйце пряталась голубая пластмассовая коробочка. В ней, опутанный тонкими проводками, лежал крошечный фонарик.

Он был шестигранный. Из прозрачной пластмассы, витой проволоки и древесного шпона. Такие фонари ставят на моделях старинных кораблей. И Кинтель сразу вспомнил про Алки-

ного брата, который занимался в судомодельном кружке.

Специально заказывала? Или выпросила готовый? Ну, Алка…

Внутри виднелась лампочка от карманного фонарика.

Стесненно улыбаясь — не столько лицом, сколько в душе, — Кинтель вышел из дому, позвонил Алке из ближнего автомата:

— Привет. Кинтель это…

— А! Здравствуй… — Она как-то грустновато это сказала.

— Слушай, а я ведь только сейчас открыл яйцото! Вчера не догадался.

— Ты всегда был недогадливый…

— Ладно тебе! В общем… спасибо.

— На здоровье… Данилка.

С ума сойти! И она туда же!

Но тут Алка сказала уже веселее:

— Там проводки. Соединишь с батарейкой — загорится.

— Конечно! Я понял!

— Вот и хорошо.

— Слушай, Алка… А ты, что ли, специально вчера в такую даль перлась, меня у подъезда караулила? Чтобы подарок отдать?

— Не выдумывай! У нас на Сортировке знакомые, я к ним ездила по делу! А фонарик захватила… так, на всякий случай.

— Врешь небось, — сказал Кинтель задумчиво.

— Ну, считай, что вру… Включишь фонарик — вспомнишь…

— Я тебя, моя овечка, и так всегда помню, — перешел Кинтель на обычный тон. — И сейчас тоже. Ты английский перевела?.. Ой, а почему тебя сегодня в школе не было? — спохватился он. — Завтра-то придешь?

— Не приду, Данилушка, — усмехнулась она. Странно как-то, будто издалека. — Я теперь вовсе не приду.

— Ты… чего это? Почему?

— Завтра уезжаем в Москву. А потом насовсем.

— Как это? Куда?

— Ты глупенький, да?

— Наверно… да, — сказал он без обиды. С неожиданной грустью.

— Туда, куда едут люди с фамилией Шварцман…

— Но… ты же… — Он совсем растерялся. Он же ее, Баранову, с детского сада знал.

— У меня мамина фамилия. А у папы Шварцман… Все документы уже оформлены и визы…

— Ну ты даешь, Алка… — потерянно сказал Кинтель.

— Так что зажигай иногда фонарик…

Кинтель кашлянул и попросил серьезно:

— Давай, Баранчик, встретимся. Хоть на минутку.

— Зачем, Данилка?

— Ну… попрощаемся по-человечески.

— Мы вчера хорошо попрощались. Я тебя таким красивым запомнила… — Опять привычная Алкина насмешливость шевельнулась в голосе. Но чуть-чуть, ласково так…

Кинтель молчал. Алка сказала, как взрослая маленькому:

— Не расстраивайся. Может, я тебе письмо напишу.

— Ты же адрес не знаешь!

— Если бы не знала… как бы вчера оказалась у твоего дома?.. — И пискнуло в трубке, заныли противные гудки.

Постоял Кинтель в будке. Подумал: не набрать ли номер снова? Не решился. Да и что тут скажешь? К тому же и двушки больше не было.

Большой печали Кинтель не чувствовал. Скорее грустную растерянность: «Эх ты, Алка… Как же я теперь без тебя-то? Ни английский сдуть,

ни подразнить, как бывало…» Но если копнуть себя поглубже, было за этой несерьезной грустью что-то еще. Более скрытое, тревожное и горькое. Словами не скажешь.

Пришел Кинтель домой, вытащил из старого кас-сетника плоскую батарейку, примотал к язычковым контактам проводки. Загорелась в фонарике желтая искра — славно так! Будто на носу у бронзового мальчика.

Кинтель вспомнил о мальчике и сразу понял, что надо делать! Смастерил из тонкой проволоки крючок, приладил к фонарику. Сунул крючок в кулак мальчишки.

— Вот что у тебя было в руке…

Регишка, примостившись неподалеку, тихонько следила за Кинтелем. Когда фонарик опять вспыхнул — теперь уже у мальчика, — она спросила:

— Мальчик кого-то встречает, да?

— Почему ты так думаешь?

— Светит, чтобы тот не заблудился…

«Как вчера маленький Федор…»

— Да, Регишка. Светит. И надеется…

Тайная, непонятная, ничем вроде бы не подсказанная надежда жила в Кинтеле со вчерашнего дня. Будто мальчик каким-то путем соединит

Кинтеля и… ту, кого зовут Надеждой Яковлевной. Соединит в счастливом разрешении загадки… Думать о таком было боязно, и Кинтель инстинктивно отодвигал эти мысли.

Фотография с Теклой Войцеховной, Олей и Никитой висела ниже карты, в некрашеной рамке, которую Кинтель купил недавно у лотошника, в сквере рядом с «Художественным салоном». В самый раз оказалась рамка. Прапрабабушка, Оля и Никита смотрели теперь из нее, как из окошка. На искрящийся фонарик.

«Ты будешь Никита. Как тот, кто тебя спрятал, — мысленно сказал Кинтель бронзовому мальчику. — Никитка, Ник… Ты будешь частичка того Никиты…»

Мальчик не спорил. Фонарик его горел ярко. И этот свет зажег опять крошечную искру на вздернутом носу Ника. Кинтелю вспомнился Новый год, когда они с дедом в комнате с упакованными вещами зажигали на ел-ке лампочки. Тогда тоже вспыхивали искры из меди — на старых, натертых ладонями дверных ручках…

Ручки большие, тяжелые. Из каждой могло получиться несколько таких Ников…

Пришел на ум Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик». Кинтель про него еще в детскому саду

читал вслух, и ребята слушали (и Алка). «Жили однажды на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были родные братья — матерью их была старая оловянная ложка». Алка тогда еще высказалась: «Ничего себе ложечка. Целый половник, наверно».

Ручки тоже были «ничего себе». Тяжелые. Сделанные, наверно, еще во времена декабристов. Небось их уже отодрали какие-нибудь любители наживы. Дом пустой, лазят в него кому не лень. Вот скоро начнется ремонт, подвезут стройматериалы, тогда «Орбита» выделит сторожа. А пока тащат все что можно. На первом этаже рамы повынимали со стеклами…

Жаль, если ручки свинтят. Почему он раньше не сообразил, что надо их забрать? Прабабушка, мама Толича, говорила, что трогать их — дурная примета. Но это когда семья жила в том доме. А сейчас-то что! И дом пуст, и прабабушки давно нет…

А ручки, они же просто музейные! И к тому же если их привинтить к здешним дверям — это была бы частичка прежнего родного гнезда!

До чего же досадно, что разумные мысли приходят в голову после…

А может, еще не поздно? Может, мародеры не

обратили на ручки внимания?

Кинтель заторопился. На кухне, в ящике с инструментами, взял большую отвертку, стамеску и молоток. Украдкой уложил их в школьный портфель. Жаль, что не было в доме карманного фонарика. Взять тот, что у Ника? Но много ли света от лампочки-крохи без рефлектора. Да и не хотелось обижать бронзового мальчишку, отбирать подарок. И Кинтель отыскал в кухонном шкафу стеариновую свечку, прихватил коробок со спичками. Так даже интереснее — будто Том Сойер…

Регишка заметила, конечно, что он куда-то собрался.

— Даня, ты уходишь?

Отец тоже встревожился:

— Куда на ночь-то глядя?

— К деду пойду ночевать. От него до школы ближе, а завтра у нас нулевой урок, с семи пятнадцати. Подготовка к контрольной по алгебре.

Это была правда, про урок-то. Но главное — не придется сегодня возвращаться на Сортировку, можно не спешить.

Поверх отрядной формы Кинтель натянул спортивный костюм. Не потому, что холодно, а для маскировки — чтобы не светиться там, у подхода

к дому, позументами и незагорелыми ногами.

Регишка спросила печально:

— А мальчика с фонариком с собой возьмешь?

— Нет, Мартышка, играй с ним… А завтра приду из школы, и поедем к Корнеичу. Муреныш по тебе соскучился… Пап, я пошел!

## МЕДНЫЕ РУЧКИ

Только в десятом часу Кинтель добрался до улицы Достоевского.

Впрочем, одно название, что улица. В прилегающих переулках еще густо жили люди, а здесь, на отрезке от Первомайской до «Дворянского гнезда», робко светились окна двух-трех уцелевших домиков. На месте остальных — зарастающие лопухами груды щебня, торчащие печки, остатки стен. И сумрачная пустая коробка его, Кинтеля, дома… Зато многоэтажные «дворянские» утесы сияли за тополями россыпью огней.

Были уже сумерки. Мягкие, теплые. Висел в сиреневом небе неяркий месяц. Несло дымком — на окрестных огородах и в садах жгли прошлогоднюю листву и мусор. Оттуда слышны были голоса. Но здесь, по пути к дому, не встретилась ни одна живая душа. Только два майских жука

тяжело пролетели над головой…

Кинтель подобрался к дому со двора. Отодвинул доски на окне первого этажа (оно считалось заколоченным, но доски еле держались). Пробрался в темноту (сердце стукало). Пахло затхлостью нежилого помещения и всякой дрянью. Кинтель оскорбленно поморщился. Прислушался. Вроде бы никого. Ни бродяг, ни окрестных пацанов, ни любителей наживы. Но полностью он не доверился тишине. Пошел к внутренней лестнице на цыпочках. Ступил на нее тихо-тихо. А то ведь старые ступени имеют привычку скрипеть, особенно во время приключения. Не заскрипели, не выдали…

На втором этаже Кинтель замер и прислушался опять. Да, нигде ни шевеления, ни вздоха. Дом будто подсказывал: не бойся, ты здесь один. И нервная натянутость ослабла, Кинтель почти обыкновенным шагом добрался до своей бывшей квартиры.

Двери были распахнуты. В окна сочились остатки света — полумрак такой. Но Кинтель не споткнулся бы и в полной темноте, он все здесь знал на ощупь.

Ручки оказались на месте.

И тогда Кинтель успокоился совсем… А чего

вздрагивать и волноваться? Это его дом! Он прожил здесь чуть ли не всю жизнь, он и сейчас имеет право быть хозяином!

Кинтель достал из портфеля свечу и спички, сел на корточки, зажег фитилек. Накапал на половицу стеарин, укрепил свечу в застывшей лужице. От огонька опять загорелись на ручках искорки.

Глубоким вздохом Кинтель прогнал остатки волнения, взял стамеску и молоток, начал постукивать — отковыривать вокруг ручки многолетние слои краски. Сперва еще прислушивался, потом работа втянула его. Думая теперь только о деле, отчистил он подкладку одной ручки и плоские головки шурупов. Их было шесть — три вверху и три внизу. Стамеской Кинтель проковырял шлицы, вставил отвертку…

Ну конечно, сперва шуруп не шевельнулся. И Кинтель долго сопел и пыхтел, налегая на отвертку. Ладони скользили. Кинтель снял трикотажную фуфайку, обмотал рукоятку отвертки подолом, налег опять… Винт подался! Пошел, пошел… Кинтель вынул его, положил у свечки.

Но потом было то же самое со вторым, с третьим, с четвертым… Сколько же времени прошло? За окнами стало совсем темно, свеча сделалась гораздо короче. Ладони у Кинтеля горели. Нако-

нец последний винт упал на пол. Кинтель дернул ручку, она оторвалась от двери с чавкающим звуком. Кинтель ожидал увидеть под ней след на высохшей краске и черные гнезда шурупов. Но в длинном, с фигурными концами отпечатке темнела выемка. Шириной сантиметра два.

Кинтель, ни о чем еще не догадываясь, почти машинально сунул туда палец. Что-то упруго шевельнулось под ним. Кинтель тихонько охнул, подцепил, потянул. На свет высунулся конец тугой бумажной трубки… Осторожно-осторожно, словно сапер, Кинтель потянул ее дальше. Сердце затихло, и тишина пустого дома стала плотнее в сто раз. Громко затрещало в этой тишине свечное пламя.

Бумажная трубка была перевязана толстой серой ниткой, узел с петелькой. Кинтель — ясно понимая, что открывает новую тайну, и замирая от этого — взялся за кончик. Узелок, завязанный неведомо в какие времена, распустился с шелковой легкостью.

Оказалось, что в трубку скатано несколько согнутых пополам больших листов. Бумага была ворсистая, сероватая, без линеек. Кинтель сел на корточки, ближе к свече. Развернул. Карандашные неровные строки покрывали все листы.

Крупный разборчивый почерк.

Сразу в левом верхнем углу ударило в глаза:

«Оленька! Оля-Олюшка…»

Кинтель оторвал свечу от пола, поднес к листу.

"Оленька! Оля-Олюшка, вольная волюшка!

Это пишу тебе я, Никита, твой Ник, твой Том Сойер. Пишу с дальнего Крымского берега, который стал последним берегом моей жизни…"

Вот как, значит… Все бумаги сожгла прабабка, а это письмо не решилась. Или не захотела?! Рука не поднялась? Видимо, самое главное письмо.

Кинтель, привычный к старой орфографии, побежал глазами по строчкам, пестреющим «ятями», твердыми знаками и похожими на маленьких человечков "і". Будто не сам читал, а слышал дальний глуховатый голос.

"…который стал последним берегом моей жизни.

Так уж получилось. Мы не успели уйти на корабли союзников. Красные обошли нас, батарея оказалась в кольце. Два десятка солдат, два офицера — я и прапорщик Володинька Тулин, недавний юнкер. Были у нас снаряды, могли мы еще какое-то время отбиваться прямой наводкой. Но я, будучи командиром, сдал батарею.

Красные, уговаривая сдаться, обещали каждому жизнь и свободу. Я и Володинька знали, что они лгут, офицеров расстреливают безусловно. Но была надежда, что пощадят рядовых. Надеюсь на это я и сейчас, надеется и Володинька, и надежда эта согревает наши последние часы в каземате Михайловского равелина.

Нас много тут, офицеров разных полков. Мне повезло больше других. Знакомый красный командир из охраны дал мне несколько листов и карандаш. Карандаш мы с Володинькой сломали пополам, бумагу поделили. Он пишет матери, а я тебе. Письма эти наш знакомый обещает передать по адресам при первой возможности. Он славный человек, бывший поручик инженерной роты. В шестнадцатом году мы вместе лежали в госпитале в Гельсингфорсе и довольно близко сошлись. А потом разметала нас судьба по разные стороны. Теперь он чуть не со слезами предлагал мне помощь, обещал вывести отсюда сквозь посты. Я отказался. Риск для него чудовищный. Да и как бы я бросил Володиньку!

И куда бы я делся потом на этом забитом красными войсками полуострове? И во всей России, где правит свой сатанинский бал торжествующее Зло.

И еще. Сдавши врагу батарею и сделавши все, чтобы спасти от напрасной гибели подчиненных, сам я не хочу просить у судьбы милости.

Помнишь, лет пятнадцать назад, когда отмечалось полвека Севастопольской обороны, выходил в приложении к «Ниве» роман «Под щитом Севастополя»? Мы читали его выпуск за выпуском. Там описывался и давний случай с русским фрегатом, который, будучи окружен турецким флотом, спустил флаг. Мы спорили тогда с тобою. Я гневно осуждал капитана за малодушие, ты же очень жалела его и других офицеров, которых император наказал со всевозможной строгостью: лишил дворянства, отправил в арестанты и матросы. Ты говорила, что кровавая бойня без всякой надежды на спасительный выход жестока и нечеловечна. Я же сердился, считая слова эти девчоночьей слабостью… Как меняет людей война. Вот и сам я сдал батарею. И теперь думаю, что командир фрегата не прав был в одном: ведь спасши других, мог он затем кончить свою жизнь для спасения чести. Впрочем, кто смеет его судить? Возможно, он почитал своим долгом испить чашу до конца, а в самоубийстве видел грех, невозможный для христианина.

Мне такой грех не грозит. Красные возьмут это

дело на себя.

Умирать не очень страшно. Такое чувство, что накопившаяся за эти годы усталость теперь навалилась разом и клонит, клонит в сон. Столько крови, столько бессмысленной ярости, столько смертей за шесть лет окопной жизни. Ты теперь не узнала бы своего капитана Ника. И я даже рад, что в памяти твоей останусь прежним. Тем полным боевого пыла мальчиком, который нетерпеливо прощался с тобой, уходя на германский фронт в четырнадцатом году. И думал, что война — это череда подвигов и блестящих побед.

Господи, какой же я был тогда ребенок. Оставил тебе карточку с засекреченным письмом вместо того, чтобы просто рассказать, как оно все было. Все еще играл. И думал, что станешь играть и ты.

А историю своего маленького клада я до сих пор вспоминаю с улыбкой. А ты ее так и не знаешь. Вот, слушай. То есть читай. О Бронзовом мальчике. Только извини, что я пишу так длинно. Ты, Олюшка, всегда меня бранила за нелюбовь к длинным письмам. Видишь, я исправился. Тем более это мой последний с тобой разговор, а впереди у меня еще несколько часов. Володинька тихонько плачет над своим письмом, жаль его. Но мне плакать не хочется. Я улыбаюсь, мыслен-

но возвращаясь в те дни.

Помнишь, когда нам было по десять лет, мы были Том Сойер и Бекки Тэчер. Книжку про них мы читали вдвоем множество раз. И однажды ты строго сказала, что я должен поцеловать тебя. В щеку. Не потому, что тебе хочется, а чтобы все было как у Марка Твена. И это таинство свершилось в полутемном уголке вашей передней, и сердце у меня колотилось весь вечер.

А потом в лавке старьевщика на углу Корнеевской и Пароходной я увидел его. Маленького бронзового Тома Сойера — в точности такого, каким я его представлял, только ростом в два вершка. И тут же понял, что нет лучше подарка для тебя, чем этот… Сколько тряпья, костей и драных калош таскал я этому вредному скрипучему мужику, который подсмеивался над лопоухим гимназистиком и все набавлял и набавлял цену. И лишь в обмен на помятый серебряный подстаканник без ручки, который я с полным сознанием собственного греха похитил в домашнем чулане, злодей отдал мне сокровище. И я ликовал заранее, представляя, как в День твоего ангела, в июле, я со словами, полными важного смысла, вручу тебе этот талисман и как обрадуешься и расцветешь ты. И, может быть, позволишь свершиться еще

одному поцелую…

Но за неделю до именин тебя увезли с дачи в город, и папа, вернувшись, сказал, что у тебя скарлатина. И добавил, чтобы я не волновался, потому что, может быть, все обойдется без осложнений. Но я тревожился отчаянно, потому что слышал от папы прежде, как опасна для детей скарлатина.

А кроме тревоги, была еще и тоска по тебе. И я, чтобы унять эту печаль и чтобы задобрить судьбу и заодно, наверно, утолить мальчишечью страсть к приключениям, задумал отважное дело. Рано утром унес из дома простыню, а от дачной пристани увел чужую лодку. Из двух шестов и веревок соорудил мачту с поперечиной, поднял на ней парус. До сих пор помню, как хлопала и полоскала на утреннем ветру простыня, которой выпало счастье стать парусом моей каравеллы.

Кое-какой опыт обращения с лодкой у меня уже был, но в дальние плавания, в одиночку, да еще под парусом отправлялся я впервые. Ради тебя, Оленька. Потому что я загадал: если выполню все, что задумал, то и болезнь твоя пройдет без следа и скоро.

Руля не было, правил я веслом. Могло случиться всякое, будь ветер покрепче, но он дул милостиво и попутно. И часа через два без приключений

пригнал меня к Шаману, который для старших гимназистов служил местом свиданий, а нам казался окутанным легендами. Здесь под приметным камнем, где выбиты были какими-то влюбленными буквы Б + Л, я и зарыл Тома Сойера в коробках из жести и дерева. Примял и разровнял землю. Понимал, что никто не заподозрит, что на таком приметном месте, вблизи берега, зарыт чей-то клад.

Я представлял, как в конце лета мы приплывем сюда вдвоем, будем бродить среди камней, будто Бекки и Том на необитаемом острове, а потом я выведу тебя к знакомому месту и полунамеками открою тайну. И бронзовый Том Сойер окажется у тебя в руках. Это обязательно должно было случиться. И потому никак не могло быть, чтобы твоя болезнь окончилась бедою.

Пришла пора возвращаться, и я понял, что главная трудность впереди. До той минуты я был почему-то уверен, что ветер ближе к полудню сменится на обратный. Но тот и не думал меняться. Мало того, держась прежнего направления, он сделался сильнее, пошли волны с гребешками. Под моим самодельным парусом, в лодке без киля и думать было нечего идти навстречу ветру зигзагами, в лавировку. Да я и не умел тогда… Я

отважно начал грести к дому, но скоро понял, что путь этот мне совершенно не под силу. Двенадцать верст против волны и ветра!

Страх меня охватил тогда нешуточный. Но возвращаться на Шаман я не мыслил: это означало бы нарушение обета и могло накликать на тебя несчастье. Сквозь охватившую меня боязнь пришло все-таки здравое решение. Спасение было одно: идти к ближнему берегу, до которого около версты. И я погреб. Этот путь тоже дался мне с трудом, стоил сорванной кожи на ладонях. Лодку сносило, сильно качала боковая волна, плескала через борт, могла и перевернуть. И все же я выгреб. Спрятал лодку в кустах, заранее зная, что придется признаваться, чтобы вернуть ее хозяину. Быть лодочным вором я не мог и помыслить, это же не подстаканник стащить из собственной кладовки.

А дальше начался пеший путь вокруг озера. Я представлял его с трудом и только понимал, что это не меньше пятнадцати верст. Чтобы не сбиться с пути, шел берегом, через лес, всякие буераки, болотистые ложбины и каменные горки. К счастью, на полпути, где к озеру подходила проселочная дорога, увидел меня знакомый садовник с соседней дачи. Может быть, помнишь, горбатый

дядька Филипп. Он ехал из деревни Павлово. Окликнул, поохал, усадил на телегу и доставил докторского сына прямо к даче. Встрепанного, чумазого, в перепачканной матроске, изодранных чулках и с оторванной подошвой сандалии.

А дома была уже, конечно, паника. Папа и наша кухарка Федосья метались по всей округе в поисках. Тревожились и соседи. Как же: исчез еще до завтрака, не появился к обеду. Я, успевши уже отдохнуть в телеге, встретил расспросы и гневные упреки с мужской сдержанностью и суровой покорностью судьбе. Не стал принижать свой подвиг ложью и признался про все: про лодку, про унесенную ветром простыню и про дальнее плавание. Только о Бронзовом мальчике ничего не сказал, объяснив свою экспедицию жаждой приключений.

Папа, убедившись, что я невредим, перешел от испуга и радости к исполнению необходимого родительского долга. Пересиливши природную доброту, он объявил, что на сей раз мне следует отправиться в сад и самому срезать подходящий к случаю прут. Я обмер, но сжал зубы и пошел. И добросовестно выбрал двухаршинную хворостину, поклявшись себе, что не пикну во время отцовской кары. Так же, как молчал Том Сойер,

когда принял на себя наказание, предназначенное Бекки. Это была еще одна моя жертва. Перед лицом судьбы, которая распределяет в мире добро и зло, я своими страданиями надеялся убавить твои, как бы перекладывая их долю из одной чашки весов в другую. И загадал опять: ежели свое первое в жизни знакомство с розгою снесу без стона и слез, это будет залогом того, что тогда уж ты выздоровеешь непременно.

Судьба, однако, на сей раз милостиво освободила меня от нового испытания, прислав спасение в лице твоей мамы. Текла Войцеховна приехала из города с сообщением, что тебе гораздо лучше. Узнавши о приключении и увидевши зловещее орудие возмездия, она решительно взяла меня под защиту, к удовольствию папы, который уже, несомненно, сам искал повода для амнистии.

Уведя меня на террасу, Текла Войцеховна стала рассказывать про тебя и угощать меня шоколадным драже из такой же коробки, в которой я спрятал на Шамане маленького Тома. И стала спрашивать про плавание, чтобы потом рассказать тебе. И тут я, позабывши капитанскую сдержанность, пустил слезу. Боль бы я перенес, а эту ласку снести не мог. Ты до сих пор не знаешь, Олюшка, как я завидовал, что у тебя есть мама.

Как хотел, чтобы и у меня была. Такая же, как твоя. Пускай временами строгая, но с тем запасом любви, который окутывает тебя и защищает от всех печалей невидимой магической силой. И Текла Войцеховна это, без сомнения, понимала. Порой она ко мне была ласковее, чем к тебе, словно читала душу мальчика, у которого нет мамы. Иногда мне кажется даже, что она любила меня почти так же, как тебя. Упокой, Господи, душу ее. Завтра, в последний миг, я вспомню ее вместе с тобою и с теми, кого считал самыми дорогими в этой жизни..."

Кинтель закашлялся от сухого, оцарапавшего горло всхлипа. Но слез не было. Только расплавленный стеарин не первый раз уже сорвался со свечи, горячей слезинкой скользнул по пальцам, упал застывающей каплей на прочитанные строчки.

"...Но сейчас я не хочу думать про завтра. В эти минуты я снова там, среди дач, на улице Ильинской.

Ты появилась в августе. Такая похудевшая, коротко стриженная, что у меня сердце заходилось от жалости. Была ты слабая, не могло и речи идти про плавание на Шаман. А потом начались

дожди и кончились наши каникулы. Зимой же (не смейся над тогдашним мальчишкой, Оленька!) явился мне во сне седой кудрявый старик в черном костюме — то ли Марк Твен, то ли святой угодник. И строго сказал: «О мальчике ей не говори, пока не станет большой». Кто не суеверен в детстве? Да и потом… Но я молчал не только из-за страха нарушить запрет. Больше — из-за того, что нравилось иметь тайну, которую я открою тебе когда-нибудь. С годами тайна эта крепла, как вино в глубоком погребе, набираясь особого смысла. Я мечтал даже, что, может быть, это случится перед тем, как мы пойдем под венец. Я ни разу не спрашивал тебя, согласишься ли ты на это, но ты же понимаешь, что не думать про такое я не мог. Не сердись. Теперь ты все равно не сможешь огорчить меня отказом.

Едва ли ты разобрала письмо на нашей фотографии и едва ли откопала мой подарок. До того ли было в эти годы. Но если когда-нибудь бронзовый Том Сойер попадет тебе в руки, знай — это я. Приветствую тебя. Видишь, вскинул сжатую руку. Обрати внимание, кулак сжат не совсем плотно, в него можно просунуть проволоку или спичку. Кажется, мальчик что-то держал в руке. Я долго в те дни думал: что? Может быть, дохлую

кошку из города Сент-Питерсборо? Но это скорее пристало Геку Финну. Деревянную саблю? Но рука в том положении, что саблю так не держат, она упрется в грудь. Свирель? Но слишком воинственно вскинул кулак. А может быть, в кулаке был хвастливо поднят садок с наловленной рыбой? Но где тогда удочки…

Я придумал вот что. Если все-таки Том будет стоять перед тобой, сделай для него фонарик. Такой крошечный, с наперсток, какие ты когда-то делала для елки. Из проволоки, серебряной бумажки и слюды. И вставь туда свечку-малютку с фитилем-паутинкой. Ты умеешь. И дай фонарик Тому в руку. Такой свечки хватит на несколько секунд горения, но эта искра пусть будет живым приветом от меня. В конце концов, что такое наши жизни, как не мгновенные искры на темном ветру?.."

Кинтель, обожженный внезапным совпадением, опять вытолкнул воздух сохнущим горлом. И не заметил уже, как горячий стеарин с кулака льется на колено, горячо сочится сквозь трикотажную штанину.

"…мгновенные искры на темном ветру? Но все-таки в этих искрах так много всего. И горя, и

счастья. Да, и счастья. Потому что жизнь — это ведь не только то, что есть сейчас и будет потом. Тем более, что «потом» может и не быть. Главным образом жизнь — это то, что уже было, а в те ясные времена наших игр на улице Ильинской, тихих вечеров, когда кружится у абажура мошкара, наших любимых книжек, заповедных секретов и бесконечного лета были дни безоглядного счастья и чистой, всю душу заполняющей любви. И я благодарен за них Творцу. И тебе. И это никто у меня не отберет. Храни это и ты.

В наше сбившееся с пути время, когда страна наказана злом, все же есть еще какие-то проблески добра. И я молю Спасителя, чтобы капельку из остатков этого добра он даровал и тебе, самому любимому моему человеку. Потому что если не ты, то кто еще имеет право на глоток счастья в этом взбесившемся мире? Я надеюсь, что Господь будет к тебе справедлив и милостив. С этой надеждой и уйду.

Прощай и не плачь.

Твой Н. Т.

17 ноября 1920 г., очень раннее утро".

Кинтель осторожно поставил свечу в круглый след на застывшей стеариновой лужице. Положил рядом с ней последний лист. Прикрыл глаза.

Устали ноги — столько сидел на корточках, — но он не шевелился. Зеленые пятнышки от свечки плавали в глазах. А в тишине — уже не плотной, а прозрачной, чистой — возник (будто издалека пришел) первый звук той музыки. Словно где-то в квартале отсюда стояла среди сурепки и одуванчиков, играла специально для Кинтеля девочка-скрипачка. Про все играла. Про молчаливое прощание Ника Таирова с Оленькой и про вечную потом печаль этой Оленьки, вышедшей замуж за бывшего красного командира Анатолия Рафалова, который привез ей от Никиты последнее письмо. И про то, что все-таки была у Оли и Никиты в детстве ясная радость, которая сохранилась потом, как негасимый огонек, — несмотря на все горести. Как упрямый фонарик в руке у мальчика… А еще, наверно, про Алку Баранову… И про светлое окошко на пятом этаже…

Она, эта мелодия, звучала в душе чисто и отчетливо. Так знакомо… И вдруг Кинтель понял, что есть здесь еще совпадение! Во второй фразе этой музыки слышался его собственный сигнал! Те четыре ноты, про которые командир ребячьего оркестра сказал когда-то: «Ну просто „Итальянское каприччио“…» Если сыграть их чуть помедленнее, не на трубе, а на той певучей

скрипке, они вплетутся в эту мелодию, словно так задумано давным-давно. Нарочно для него… Для Данилки Рафалова…

В этом открытии был намек еще на одну разгадку. Оно, казалось бы, не имело отношения ни к письму, ни к бронзовому мальчику, ни к окну на улице Павлика Морозова, и тем не менее теплая, похожая на ласковое обещание уверенность тихо согрела Кинтеля. Словно кто-то шепнул ему: «Теперь будет все, как ты ждал…»

Кинтель осторожно, чтобы не расплескать новую надежду, стал выпрямляться. И в этот миг тяжелый удар сотряс музыку, тишину, дом. Пошел по всему пространству черными трещинами.

Кинтель упал, вскочил, бросился к окну.

В сумраке он различил вставшую напротив машину с грузовой стрелой. Висевший на тросе длинный предмет с нарастающей скоростью отплывал от дома. Не гиря, не ядро, а, видимо, бетонная балка. И пока она уходила от треснувшей стены для нового размаха, Кинтель успел передумать множество мыслей.

«Раз не чугунный шар, а балка, значит, не специальные ломатели! Незаконные…»

«Корнеич говорил, что какие-то типы предлагают исполкому кучу денег за разрешение

поставить на месте дома кооперативные гаражи… Исполком чуть не согласился, но опять помогла газета…»

«Гады, в темноте подобрались! И ребят не собрать сразу. Пока докричишься, разрушат…»

Эх, была бы труба! Но кто же знал…

— Стойте! — закричал он отчаянно. — Не смейте! В тюрьму захотели, паразиты?!

Но балка неслась уже к нему, к Кинтелю. Он отшатнулся. Бетонный груз ударил в косяк, внутрь комнаты полетели кирпичи, сверху посыпалось.

Тогда Кинтель вскочил на подоконник. Стекол и рамы не было, пустой проем.

— Стойте, сволочи! Бандюги! Не ваш дом, не смейте!!

Кто-то заголосил у машины:

— Гошка, там пацан! Тормози!

Другой голос ответил с матом:

— …тормози! Как?.. Эй, ты, пошел оттуда!

Он не пошел. Загораясь яростной правотой и ясным бесстрашием, он знал теперь, что остановить врагов можно только самим собой! В конце концов, он не Стройников, он отвечает за себя за одного!.. И когда балка бетонным концом опять сокрушающе врезалась в стену — левее и ниже подоконника, — Кинтель не упал, не сорвался.

Толкнувшись от косяка, он прыгнул на балку и вцепился в трос. Встал!

Миг балка была неподвижна, потом все быстрее и быстрее пошла назад, и Кинтеля охватило ощущение жутковатого полета. А снизу неслись вопли и матерщина. Но и в этом страхе, в этом полете Кинтель не потерял головы.

— Не смейте, гады! — снова кричал он. А потом увидел в сумерках, будто метнулись вдали по улице маленькие тени! Может, ребята играют в ночные пряталки? Показалось даже — мелькнула собака. Ричард? Значит, и Салазкин?!

И Кинтель закричал еще громче, со смесью отчаяния и злого азарта:

— Ребята! Санки! Дом ломают! На помощь!..

Балка замерла в очередном замахе и понеслась обратно. Внизу, кажется, ее пытались удержать за волочившийся трос. Разве удержись!.. Но Кинтель не боялся. Он чувствовал, что запаса инерции теперь не хватит, чтобы балка ударила в стену…

Он не учел другого. Клен! Балка слегка изменила путь, ветка хлестнула мальчишку по плечу, зацепила капроновый аксельбант, и Кинтель грянулся на щебень. Перевернулся несколько раз и оказался лежащим навзничь. У фундамента своего дома.

Двинуться он не мог, тупая несильная боль от затылка растеклась по мышцам неодолимой слабостью. Но Кинтель слышал еще, как подбежал кто-то, выругался, постоял секунду и кинулся прочь. Ухнула земля, это машина сбросила балку и трос. Заурчала, разворачиваясь и втягивая стрелу. Уехала, кажется. Тихо стало…

На верхнем карнизе окна, из которого Кинтель выскочил, появился оранжевый отсвет. И Кинтель ясно понял, что свеча упала на письмо, огонь пошел по листам, потом по сухим обоям, клочьями висящим на стене…

«Жаль письмо. Полностью теперь не вспомнишь…»

«Ох и крику будет из-за сгоревших учебников…»

«А ручки не сгорят, можно будет потом найти. Хорошо, что вторую и отвинчивать не придется…»

Потом отблеск на карнизе исчез. И сам дом исчез, и темное небо. Только маленькая искра еще долго дрожала во тьме, словно вдали стоял с фонариком в руке бронзовый Том Сойер, Ник…

## ОГНЕННЫЙ КЛЕН

Мальчишки там не играли в тот вечер, Кинтелю просто показалось. Они примчались к дому лишь тогда, когда отовсюду стало видно бьющее из-под крыши пламя. Джула прибежал, Эдька Дых, Рюпа. И Салазкин из своего «Гнезда». Вместе с Ричардом. Ричард и учуял Кинтеля, кинулся к нему с жалобным лаем. За ним ребята. В тот момент к дому еще можно было подойти…

«Скорая» приехала раньше, чем пожарные. Когда с воем примчались красные машины, сухие стропила, потолочные балки, дощатые перегородки и лестницы, полы и масляная краска стен пылали вовсю.

К утру от дома остался черный выгоревший остов без крыши.

Тех, кто пытался разрушить дом, так и не нашли. Да скорее всего, не очень-то и старались найти. Ходил слух, что в площадке для гаражей на этом месте заинтересовано было и милицейское начальство.

Короче говоря, то, чего не сделали разрушители со своей бетонной балкой, сделал огонь. Теперь о ремонте нечего было и думать.

Да об этом и не думали. Все мысли были о Кинтеле. Называли всякие травмы. Перелом основания черепа и много еще другого… Опытный хирург, хороший знакомый деда, сделал Кинтелю операцию. И сказал потом виновато: «Все, что возможно… Теперь зависит от организма, как он сам…»

А сам Кинтель был плох. В сознание не приходил. Не открывал глаз, не размыкал губ. Опутанный проводами и шлангами, он лежал в палате реанимации, и только нервные стрелки приборов показывали, что мальчик жив. Еще жив… Так прошли сутки, вторые. Дед, отец, тетя Варя дежурили в больнице по очереди. Впрочем, не все время дежурили. Потому что сиди, не сиди рядом, ничем все равно не поможешь, а за состоянием Кинтеля следили медсестры. Состояние это называлось коматозным. Когда человек в глубоком беспамятстве и ни на что не реагирует. То ли жив, то ли…

Впрочем, это лишь казалось, что Кинтель ничего не чувствует. Придавленное глухой тяжестью и необоримой ленью сознание все-таки вбирало в себя обрывки чужих фраз, движений и, кажется, даже мыслей. Выстраивало их в цепочки. Кинтель знал, что дом сгорел, но виноватых не

нашли, что люди очень встревожены его беспамятством и считают, что он умирает. Сам он этим встревожен не был. Он думал о себе отстраненно, как о другом человеке. Мало того, иногда он словно видел себя со стороны: неподвижного, подключенного к разным аппаратам.

Вроде бы он видел и тех, кто был рядом. Один раз даже показалось, что в палате появился Салазкин. Тихий, неподвижный, с растрепанными волосами и горестными зелеными глазищами. С тощими и поцарапанными ногами, торчащими из-под белого халата. Кинтель мысленно улыбнулся, понимая, что Салазкин-то уж явно привиделся. Кто же пустит мальчишку в больницу, да еще в такую строгую палату…

Но Салазкин действительно пробился в больницу. Кажется, на четвертые сутки. Помог белый халат, который нашелся дома. Его в давние времена сшила мама, когда ухаживала за крошечным заболевшим Саней — чтобы он привык к белому и не пугался приходившего врача и медсестер. В этом халате Салазкин проскользнул мимо строгой вахтерши, которая решила, что у мальчика пропуск. А потом помогли Салазкину его непривычные для взрослых вежливость и затем слезы, которые рванулись сами собой… И молодой чер-

нобородый врач сказал двум другим:

— Ладно, пусть постоит у порога. — И добавил вполголоса: — Не все ли равно теперь…

И Салазкин с минуту стоял у двери маленькой палаты, где на единственной кровати, среди каких-то блестящих ящиков и трубок лежал неподвижный, почти незнакомый Кинтель. Суровую безрадостность слов «не все ли равно теперь» Салазкин тогда не понял.

Он понял это позже, на следующее утро, когда опять пришел в больницу. Там, в вестибюле, он встретил Виктора Анатольевича. Спросил полушепотом:

— Он… как?

Дед Кинтеля, глядя мимо Салазкина, потоптался, развел руками и вдруг вздернул плечи и быстро вышел на улицу.

Салазкин обмер и ослабел. Но тут же, рывками натягивая халат, кинулся на второй этаж. На этот раз — под крики вахтерши и медсестер. Он успел добраться до Андрея Львовича — того чернобородого доктора. Нашел его в ординаторской.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга с горьким пониманием.

— Что ли… совсем без надежды? — выдавил Са-лазкин.

Андрей Львович так же, как дед Кинтеля, глянул мимо Салазкина. Сказал излишне ровным голосом:

— Пока человек жив, надо надеяться. Даже тогда, когда уж совсем…

— А он… совсем?

— Беги-ка домой, Саня, — насупленно посоветовал Андрей Львович. — Вопросами делу не поможешь…

И Салазкин пошел. Не домой, к Корнеичу. И лишь через квартал понял, что идет в белом халате…

Дома у Корнеича теперь постоянно был кто-нибудь из отряда. А по вечерам собирались все. Потому что вместе легче переносить тревожное ожидание и неизвестность. Иногда кто-нибудь приводил и Регишку. Потому что очень уж тошно ей одной-то, когда отец на работе или в больнице у сына…

Впрочем, тоскливой расслабленности в отряде не было. Скорее — нервная ожесточенность. И желание хоть как-то ответить неизвестным гадам, из-за которых все несчастья: и с Кинтелем, и с домом.

И ответили.

Паша Краузе напечатал на машинке Корнеича

вот что:

**В этом доме**
**в 40-х годах XIX века**
**жил декабрист Ф.Г. Вишневский.**
**В наши дни**
**этот дом хотели отдать детям.**
**Его уничтожили враги**
**города и детства.**
**Его до последней минуты**
**защищал последний трубач**
**отряда «Тремолино»**
**Данилка Рафалов,**
**которого зовут**
**Кинтель.**

Паша сперва написал не «зовут», а «звали», но Сержик Алданов молча показал ему это слово и покрутил у виска пальцем. Паша испуганно порвал бумагу и напечатал все заново.

Текст сняли на пленку «Зенитом». И на больших листах фотобумаги, пятьдесят на шестьдесят, напечатали в десяти экземплярах. Буквы стали большими, высотой в сантиметр. Черные на белой блестящей поверхности они читались издалека.

Взяли банку эпоксидной смолы и отвердитель,

приготовленные для строительства шхуны. Наклеили бумагу на прямоугольники древесностружечной плиты, оставшиеся от ремонта вострецовской квартиры. Той же смолой — для прочности — покрыли текст.

Паша Краузе, Дим, Салазкин и Не Бойся Грома пришли к сгоревшему дому и прибили доску со стороны улицы, вгоняя тяжелые гвозди в щели между обугленными кирпичами. Тут же собралась компания «достоевских». Смотрели молча и одобрительно. Только Джула спросил недовольно:

— А почему «последний»? Вы что, его уже заранее похоронили? И себя заодно?

Паша хмуро, но миролюбиво разъяснил, что никто не хоронит отряд. «Тремолино» будет жить, сгори хоть весь город. Шхуну построят прямо на берегу, под навесом на базе. И крышу себе найдут в конце концов. И Кинтеля никто не отпевает. Но чем бы все это ни кончилось, кроме Данилки Рафалова, трубачей в отряде больше не будет. Он со своим сигналом — единственный. Это теперь ему как бы вечное звание. Как награда и память на всю жизнь…

А майский день был теплый, радостный, и диким казалось, что в такое время может кто-то

умереть. И даже не «кто-то», а всем знакомый Кинтель, товарищ, давний житель этих мест…

Зеленели клены, и только самый ближний к дому стоял обгорелый. Словно в наказание за то, что ветки его сбросили Кинтеля на землю. Но разве он был виноват? Ведь не мог он посторониться.

— Жаль дерево, — сказал Дим. — Сгорело заживо…

Маленький Рюпа сел на корточки.

— Оно отрастет. Смотрите, у корней поросль…

Не Бойся Грома вдруг стянул с себя красный галстук и привязал к обугленной ветке. Тогда и Салазкин, за-дрожав от горького волнения, сделал то же. И, глядя на них, оставили на обгорелом клене свои галстуки Паша Краузе и Дим.

Местные смотрели на это молча и с пониманием. Потом разбежались по домам, отыскали галстуки, в которых давно уже не ходили в школу. И тоже привязали их к черным скрюченным сучьям. Клен, потерявший майскую листву, словно обрел теперь другую — пламенную. Она длинными языками трепетала на теплом ветру.

…Через сутки оказалось, что доску сорвали и унесли. Но ребята прибили другую. А вечером Джула рассказал Саньке, что приезжали на машине двое, опять нацеливались на доску. Но

свистнул дежурный, сбежались местные пацаны, встали цепочкой. Толстый дядька чиновничьего вида сказал им:

— Зачем это, дети? Вы создаете ненужный ажиотаж. Развалины все равно скоро снесут.

— Найдем куда прибить, — ответил маленький Рюпа.

Дядька пожал плечами. «Жигуленок» уехал. На всякий случай записали его номер…

А галстуков на клене прибавилось. Говорят, приходили незнакомые ребята, оставляли свои. Было теперь здесь и несколько разноцветных — от скаутских и разных других отрядов. Но особенно густо горели на солнце алые. И клен был словно опять охвачен пламенем в потоках плотного и ровного зюйд-веста.

Салазкин шагал из больницы пешком и оказался у тополя, когда был уже полдень. Пора идти домой, собирать портфель для школы. Но Салазкин стоял и смотрел на клен. Как он полыхает… Клен полыхал весело, по-боевому, а Кинтель в больнице, несмотря на это, умирал. Салазкин понимал теперь с полной ясностью, что надежды нет. Плакать не хотелось. По крайней мере, не очень. Потому что было сейчас как на войне, а там, говорят, над погибшими не плачут. И Салаз-

кин просто стоял и смотрел на огненный клен. С глубокой и слегка горделивой печалью: «У меня умирает друг…»

Потом он заметил, что один галстук сорвало и отнесло ветром, запутало в прошлогоднем репейнике. Салазкин, царапаясь, достал его. Положил под кленом сумку с халатом, глянул наверх. Он решил забраться к верхушке, чтобы завязать этот галстук выше других.

И полез, пачкая себя сажей обугленных ветвей.

Он остановился лишь тогда, когда ветки стали потрескивать под ним. Привязал галстук за гибкий, казавшийся живым прутик. Алая материя вымпелом рванулась из ладоней.

Салазкин спустился. Постоял, глядя вверх.

«У меня умирает друг…»

Привязав галстук, Салазкин сделал для Кинтеля все что мог… Или мог что-то еще?

Мог. И обязан был! И он решился на то, о чем до сих пор думал отрывочно и несмело.

К счастью, была суббота, для многих выходной день, и она оказалась дома.

Открыла дверь, вздрогнула, отступила, взяв себя тонкими пальцами за подбородок. Может, испугалась перемазанного вида мальчишки?

— Здравствуйте, — сказал Салазкин тихо, но

решительно. — Вас зовут Надежда Яковлевна?

— Да… входи.

Он шагнул через порог.

Надежда Яковлевна отступила еще. Спросила то ли со страхом, то ли со скрытой болью:

— Чего ты хочешь, мальчик? Я… слушаю…

Глядя в ее худое, с печальными складками лицо, Салазкин все так же негромко, но твердо проговорил:

— Извините. У вас был сын. Да?

— Да… Да!.. А ты…

— Я его друг.

Надежда Яковлевна села на приступок у зеркала, глянула ищущим, недоверчивым, растерянным взглядом:

— Но… я не помню тебя. Да нет, не может быть. Ты гораздо младше.

— Всего на два года. Это не важно… Сейчас ничего не важно, Надежда Яковлевна. Вы ничего не знаете, а он… сейчас в больнице. В очень плохом состоянии… — Салазкин не посмел сказать «в безнадежном»…

Она прижалась затылком к собственному отражению. Пальцы на подбородке закаменели, брови сошлись.

Салазкин строго сказал:

— Все ему говорили, что вы погибли, но он не верил. И узнал, где вы живете…

Она как-то обмякла, положила руки на колени, нагнулась к Салазкину:

— Я что-то начинаю понимать… Наверно, именно этот мальчик опустил мне в ящик под Новый год открытку, которая на месяц уложила меня в больницу?

— Да… но разве вы…

— Нет… — выдохнула она. — Нет, мальчик, нет… Это просто… такое вот совпадение. У меня был сын, Витенька, двенадцати лет. Он умер три года назад от лейкемии. Не здесь, в другом городе… И я приехала сюда, потому что не могла там одна… И вдруг открытка: «Мама, поздравляю…»

— Это я посоветовал ему, — прошептал Салазкин.

Помолчав и отвернувшись, она спросила:

— Сколько ему лет?

— Тринадцать… завтра было бы…

— Почему… «было бы»?

Салазкин всхлипнул, но не отвел глаз.

— Потому что, наверно… не успеет…

— Так плохо?

Он кивнул, но опять поднял глаза:

— Надежда Яковлевна… Теперь ведь не имеет

значения. Говорят, он иногда что-то чувствует сквозь… бессознание. И он поймет, что вы пришли. И будет думать… Хоть на последний час ему радость… Он надеялся целый год…

— Господи… Почему он решил, что я его мама?

— Говорит, похожи… Может, он даже откроет глаза и увидит… — Салазкин отвернулся, заплакал уже открыто.

— Господи… — сказала опять Надежда Яковлевна. И потом еще, с усилием: — Я несколько дней провела в палате, когда умирал Витя. До самого конца… Ты думаешь, я выдержу это еще раз?

Салазкин глянул мокрыми испуганными глазами:

— Извините… Я так не думал… Я об этом вообще не думал. — Потом сказал спокойнее и уже безнадежно: — Дело в том, что я думал только о Дане…

— Его зовут Даней?

— Да…

Они молчали долго. Салазкин хотел уже прошептать: «Извините, я пойду…» Надежда Яковлевна вдруг поднялась. Медленно, будто с тяжелым мешком на плечах.

— Ладно, идем…

— Нет… если так, то, наверно, не надо… — забормотал он.

— Теперь это не тебе решать. И не мне. Наверно, судьба… — Она вдруг стала спокойной, строгой даже: — Пошли… Хотя постой, иди-ка сюда. Где ты так вывозился…

Надежда Яковлевна за плечо ввела Салазкина в ванную. В теплой воде намочила конец махрового полотенца, решительно и умело оттерла Салазкину щеки, ладони, коленки. Щеткой почистила рубашку, без успеха впрочем.

— Идем.

На лестнице она спросила:

— Где больница?

— На Московской, областная…

На улице они не пошли к трамваю. Надежда Яковлевна подошла к обочине, решительно проголосовала первому же «Москвичу». Тот тормознул.

— Нам нужно в больницу, очень срочно. Там мальчик… На Московской.

— Садитесь, — буркнул молодой водитель, мельком глянув на Салазкина.

— Спасибо… Ох, я оставила деньги! Вы подождете минуту?

— Садитесь. Мне все равно в ту сторону…

Помчались. На полпути Надежда Яковлевна вдруг шепотом спросила:

— Мальчик, а меня пустят?

— Я добьюсь, — тихо сказал Салазкин.

Он добился. Его уже знали здесь и недолго сопротивлялись отчаянной просьбе позвать Андрея Львовича. Скоро чернобородый доктор оказался в вестибюле.

— Вот… — сказал Салазкин. — Это его… мама. Она должна…

Андрей Львович посмотрел на мальчишку, на женщину. Почему-то оглянулся на лестницу. И сказал уже ни на кого не глядя, опустив глаза:

— Хорошо, Саня, дай Даниной маме свой халат, так будет быстрее…

Вот и все. Он сделал что мог. Теперь надо было идти домой, потом в школу. Обедать, сидеть на уроках, жить…

Но Салазкин опять пришел к обгорелому клену. Тянуло его сюда, словно за каким-то утешением. За спасением. Но не было теперь ни утешения, ни спасения. Ни надежды. Понимание того, что Кинтель вот-вот умрет, надвинулось беспощадно. Уже без всякой гордой печали, без той значительности, которая была во фразе: «У меня умирает друг».

Салазкин понял, что до сих пор все-таки не верил в это до конца. Пока делали доску для дома

и привязывали галстуки, пока он пробивался в больницу, и даже пока разговаривал и ехал с Надеждой Яковлевной — это все еще была какая-то игра. Это отвлекало мысли и силы от того самого страшного, что неизбежно приближалось. А теперь отвлекать было нечему. И страшное, безысходное ощущение потери обрушилось на беззащитного Салазкина со всей своей черной беспощадностью.

Он прижался лбом к обожженному стволу и зашелся в отчаянном плаче. Потому что как он будет на свете, когда Кинтель, Даня, Данилка Рафалов умрет?

…Но Кинтель не умирал.

Мало того, он и не собирался умирать. Тьма и свинцовая тяжесть еще лежали на нем, но не было в них той абсолютности, которая давила прежде.

Он не мог умереть. Иначе в каком одиночестве окажется Регишка!.. И кто будет зажигать фонарик у бронзового Тома Сойера?.. И кто расскажет, что было в спрятанном под медной ручкой письме?

И впереди столько дел! Надо строить шхуну «Тремолино-2». Надо разыскать родственников или друзей семьи Алки Барановой и узнать у них

ее заграничный адрес. Надо выучить полный набор сигналов для трубы, чтобы тот, самый первый, самый главный, играть лишь в особо важные моменты… Надо вновь ощутить счастье парусного плавания… И много чего еще надо успеть и сделать…

Чашка весов, качнувшись в сторону жизни, теперь уже не могла остановиться. Потому что тепло этой жизни шло неудержимо от узкой горячей ладони, которая лежала на запястье у Кинтеля. Он знал, чья это ладонь. И она спасала его. И сердце стучало все отчетливее, все ровнее. И шевельнулись ресницы...

# *ЭПИЛОГ*

Тринадцатилетний Генри Линдерс, трубач первой роты ее величества морского десантного полка, был огорчен до крайности. Война не получалась. Она была совсем не такой, какой виделась Генри вначале, когда он, обалдевший от счастья, узнал, что по ходатайству полковника Томсона зачислен в беломорскую экспе-дицию.

Военная экспедиция эта состояла из трех пароходов с четырнадцатью орудиями на каждом, и командовал ею капитан королевского флота Омманей. Он держал свой флаг на пароходе «Бриск».

Это грозное плавание было частью большой войны, которая начинала разворачиваться в 1854 году на Черном море, на Балтике и даже в Тихом океане. Пока главные силы англичан, французов и турок точили зубы на Севастополь, пока флот адмирала Непира подбирался к Кронштадту и Бомарзунду, а эскадра адмирала Прайса — к Петропавловску на Камчатке, задача капитана Омманея была громить русские гарнизоны и крепости на Белом море и блокировать торговые пути.

С точки зрения Генри Линдерса, капитан Омманей справлялся с этой задачей скверно. Точнее, не справлялся совсем, пятная своей нерешительностью военный флаг Британского королевства.

Нельзя же считать всерьез боевыми действиями за-хват нескольких мелких купеческих судов, груженных рыбою и хлебом и не имеющих никакого оружия. А промеры фарватеров у острова Мудъюг для подхода к Архангельску имели скандальную развязку. Шесть английских шлюпок были встречены ружейным огнем с канонерских лодок и пальбою двух полевых орудий с берега и ни с чем вернулись на пароходы.

Желая смыть мелкие неудачи крупной победой, капитан Омманей с пароходами «Бриск» и «Миранда» 18 июня подошел к Соловецкой обители. Стены и башни монастыря, отражавшиеся в тихой воде, производили впечатление грозной крепости. Что же, тем больше славы принесет королевскому флоту и капитану Омманею штурм твердыни и ее капитуляция. Тем выше будет цениться добыча. О сокровищах монастырских церквей ходили легенды.

Генри Линдерс, однако, не думал о добыче. Единственной мечтою был геройский штурм русской цитадели. Упоенно билось сердце, ко-

гда представлял он, как первым выскочит из шлюпки, вспрыгнет на береговой валун и, заиграв сигнал атаки, жестом адмирала Нельсона укажет доблестным солдатам ее величества путь к пробитой в стене бреши. Затем он вместе с ними кинется туда, к дымному проему, чтобы не отстать от героев…

Лишь бы русские не струсили раньше времени и не вздумали поднять белый флаг до начала штурма!

Может, и не сдадутся. В ответ на тридцать орудийных выстрелов с пароходов монастырь отплюнулся несколькими ядрами из трехфунтовых пушчонок, да так удачно, что разбил на «Миранде» верхнюю часть рубки и навылет прошил ее дымовую трубу. Свистнуло ядро и над палубой «Бриска». Генри не дрогнул.

Командующий эскадрой приказал пароходам отойти, а на следующий день отправил с парламентером на берег суровое требование. Содержание письма было известно всем офицерам, матросам и солдатам. Капитан флота ее величества Омманей объявлял русским, что, произведя пальбу по английскому флагу, Соловецкий монастырь «принял на себя характер крепости» и «в удовлетворение за враждебные действия» глав-

нокомандующий Британской эскадрою на Белом море требует безусловной сдачи. В случае же если комендант не передаст лично свою шпагу на пароход «Бриск», русская крепость подвергнется немедленному бомбардированию.

Генри молил Бога, чтобы комендант в Соловках собрал все свое мужество и не отдавал шпагу до штурма.

Вскоре парламентер привез ответ за подписью «Соловецкий монастырь». В письме сообщалось, что выполнить требование господина капитана Омманея обитель не может по двум причинам. Во-первых, в ней нет никакого коменданта, а есть лишь настоятель архимандрит Александр, который шпаги, естественно же, не имеет. Во-вторых, невзирая на отсутствие личного оружия и склонностей к бранным утехам, отец Александр тем не менее, уповая на Божью помощь, надеется постоять за веру и землю Русскую. Как стало известно позже, владыка уповал еще и на твердость своих иноков и богомольцев и небольшой инвалидной команды во главе с прапорщиком Николаевым.

В ответ на дерзость загремели орудия «Бриска» и «Миранды», посылая в крепость громадные бомбические снаряды. Десять монастырских пушек отвечали бодро и умело. В церквях зазво-

нили колокола.

Более девяти часов продолжалась канонада, но древние каменные стены были чересчур прочны. Мало того! В подзорные трубы можно было разглядеть, что никто из бесстрашных участников крестного хода, двигавшегося вокруг обители по стенам, ничуть не пострадал, хотя ядра не раз пробивали деревянную крышу галереи.

Генри был уверен, что наутро командующий велит повторить обстрел и затем отдаст приказ десанту. Но капитан Омманей малодушно распорядился развести пары и удалиться, признав безуспешность своего покушения на «Цитадель оф Солоффки».

Признаться, Генри даже всплакнул в уголке кубрика от сознания, что рушатся все его мечты.

Нет, он ничего не имел против русских, это были честные и храбрые противники. Но какой смысл был отправляться в экспедицию, если надежд на подвиг оставалось все меньше?

Через два дня, разграбив по пути несколько деревенек и церквей, экспедиция подошла к селению Плахты, стоявшему на невысоком берегу среди редких сосен и валунов. Около сорока дворов и деревянная церковка на взгорке. Командир первой роты майор Грей сообщил командующе-

му эскадрой, что видит среди камней и заборов нескольких людей с ружьями.

Капитан Омманей приказал готовить десантные шлюпки.

В шлюпку, где был майор Грей, прыгнул и Генри.

Когда подходили к берегу и высаживались на песок, селение казалось обезлюдевшим. Но едва цепь стрелков двинулась к домам, как из-за валунов и сложенных штабелями бревен ударил встречный залп. Три королевских солдата грянулись замертво, еще несколько легли на землю, прижимая ладони к ранам. Ответные выстрелы, проклятия и команды смешались в ушах у Генри. И он едва разобрал, что двум десяткам солдат велено обойти противника слева и ударить ему в тыл.

— Первого же пленного офицера — ко мне! — кричал майор Грей…

Но никаких офицеров не было в Плахтах. Из военных там жили только двое: бывший уже в отставке унтер-офицер Босов и отставной же рядовой Ивлин, которые по причине начавшейся войны подали недавно прошение о зачислении их на повторную службу. А также находился в селении губернский секретарь Волков, оказав-

шийся там по ревизионному делу. Он тоже был ранее в военной службе и посему принял на себя командование гарнизоном, куда, кроме Ивлина и Босова, вошли два десятка поморов. Оружие их было — мушкеты времен еще государя-императора Петра Алексеевича. Зато храбрости не занимать.

Едва показались в белесом безветренном море неприятельские дымы, баб и ребятишек отправили в ближний лес, а мужики собрались в маленькой церкви на молебен о ниспослании помощи в отражении супостата.

Служил молебен отец Федор. Настоятелем здешнего храма стал он недавно. Раньше был здесь отец Пантелеймон, давний житель этих мест, для всех как родной. Но немощный и старенький, на девятом уже десятке, по весне он преставился, и селяне били челом Соловецкому владыке: пришли нового священника. Ибо невозможно церкви и селению без пастыря. Архимандрит Александр на просьбу отозвался, отправил в Плахты иеромонаха отца Федора. Тот был человек лет шестидесяти, прямой, строгий, молчаливый. Вначале смутил жителей внешней суровостью. Вскоре, однако, увидели, что вроде бы и не суровость это, а скорее какая-то неизгладимая

печаль. Оказалось, за прихожан болеет душой, о недужных имеет постоянную заботу. Особенно же ласков был с ребятишками, которые раньше других разглядели за хмуростью теплое сердце…

После богослужения отец Федор не оставил защитников селения, пошел с ними, чтобы в трудный миг не дрогнули душою. Причем не только словами Святого писания поддерживал в поморах твердость духа, но и давал дельные советы, как лучше расположиться по укрытиям. Это говорило о том, что не всегда отец Федор посвящал себя монастырскому послушанию, было в его жизни и что-то иное…

К моменту высадки англичан шестеро поморов и отец Федор оказались на правом краю позиции в некотором отрыве от других сил гарнизона. Отец Федор рассудил, что в этом месте, под прикрытием кустарника, противник может обойти защитников и перерезать дорогу к лесу.

Оно и правда, такая попытка случилась. Десятка два англичан, укрываясь меж валунов и в сосновой поросли, хотели тайно пройти в тыл. Красные мундиры их, однако, выдавали движение. Отбить превосходящего по числу и оружию врага можно было лишь дружностью неожиданного огня. У каждого помора было на

этот случай по два ружья, а у солдата Ивлина к тому же и пистоль. И только отец Федор был без всякого вооружения, лишь тяжелый наперсный крест сжимал в правой ладони.

— Готовсь, братцы, — приказал Ивлин, и стволы, качнувшись, замерли над ветками и камнями. Теперь оставалось ждать, когда солдаты выйдут на открытое место перед засадой.

Первыми вышли трое — два высоких стрелка и солдатик в непомерно большой мохнатой шапке, с изогнутым блестящим горном в руке. Кто-то из поморов неловко шевельнулся в засаде. Два солдата вмиг упали ничком, боясь огня. Маленький же скачком взлетел на валун и затрубил, указывая левою рукою туда, где заметил опасность. Михайло Батюхин, молодой, быстрый на руку помор, укрывавшийся рядом с отцом Федором, вскинул фузею. Грянул выстрел. Но за миг до того отец Федор снизу ударил крестом по оружию:

— Опомнись! Мальчонка же!

Пуля рванула с мундира трубача красно-золотой полосатый наплечник. Мальчик уронил трубу и стал медленно падать с камня.

Выстрел, вскрик отца Федора смешались тут же с другими выстрелами и криками. Англичане кинулись было в атаку, но второй залп погнал

их назад. Нападавшие отступили, не подобрав даже горниста и еще двух упавших товарищей. Видимо, сочли, что противостоящий им враг весьма силен.

Сделав свое дело, засадная группа готовилась отойти к лесу. Но прежде подошли к упавшим. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять: оба солдата сражены наповал. Отец Федор и Михайло Батюхин наклонились над трубачом. Тот был с белым лицом, закрытыми глазами. Шапка отлетела. Волосы светлые, как у здешних ребятишек.

— Палишь, не глядя в кого… — глухо сказал отец Федор.

— Сгоряча не разглядел, что малой. Вижу, своим на нас кажет… Неужто насмерть? Вот грех-то на душу…

— Да нет, оцарапало малость, вот и обмер. Видать, первый раз в таком деле…

— Чего же они, басурманы, детишек-то на смерто-убийство.

— Бывает такое… В герои рвался мальчик…

— Ресницами шевелит, — прошептал Михайло…

Генри поднял ресницы и увидел над собой бородатое лицо с темными глазами. Очень болело

плечо. Но страха не было.

— Я ранен? — спросил он через силу.

— Да. Но, надеюсь, не опасно. — Бородатый говорил по-английски довольно хорошо, хотя и с акцентом. — Вы совершили славный поступок и своим сигналом спасли жизнь многим товарищам. Теперь, однако же, вы в плену, таковы превратности войны…

— Меня расстреляют?

Бородатый чуть улыбнулся:

— Вас отправят в один из городов и вылечат. Думаю, жизнь в России не будет для вас суровой, русские не обижают пленных. Особенно таких… юных и храбрых…

— Тогда дайте попить, — сказал Генри, но тут опять стало темно и тихо…

— Возьми его на руки, — велел отец Федор Михайле. — И пошли… Отходим все!

Через час отец Федор вернулся в селение. Один. Так он решил, запретив кому-то идти с ним.

Дома горели, едкая гарь висела в жарком безветренном воздухе. Солдаты тащили к шлюпкам награбленные вещи.

Никем не остановленный отец Федор подошел к церкви. У нее горела ветхая крыша, и было ясно, что скоро церковь заполыхает вся. Несколько

солдат и пожилой офицер стояли у крыльца. Из церкви выскочили еще двое. Один с парчовым покрывалом, другой с большим образом Богородицы с Младенцем в посеребренном окладе.

Отец Федор шагнул к рыжему детине, взялся за икону. Сказал по-английски:

— Отдайте. Вы же солдат, а не грабитель. Божье достояние не может быть военным трофеем.

Рыжий выпустил икону, отступил на два шага, взял штуцер, который держал под мышкой, и выстрелил навскидку.

Отец Федор сел на землю. Выпустил икону. Прижал руки к пробитому пулей боку, лег навзничь. Закусил губу.

— Джон Робертс! — закричал пожилой офицер. — Вы с ума сошли! Это же священник! Вы забыли, в какой вы армии!

— Господин майор, я не нарочно! Я хотел попугать! — завопил рыжий детина. Кажется, искренне.

— Сержант, арестуйте солдата Робертса. Он нарушил закон…

— Оставьте, майор. Какие у войны законы… — отчетливо сказал священник.

Майор Грей нагнулся:

— Я надеюсь, ваша рана не опасна.

— Думаю, что наоборот… Если не трудно, прикажите солдатам положить меня на ровное место. На доски… И еще прошу вас: не трогайте икону. У вас и без нее довольно добычи, а для здешних людей это реликвия…

Неподалеку сложен был широкий штабель свежего теса: думали к осени сделать на церкви новую кровлю. Отца Федора уложили на доски, икону пристроили рядом. Солдаты были смущены и отходили один за другим.

— Я прикажу перевезти вас на пароход, — сказал майор Грей.

— Вот уж не думал… что офицеры ее величества берут в плен священников.

— Я не для того! У нас на судне доктор!

— Не надо. Едва вы отойдете, как наши люди вернутся из леса и окажут помощь… если она будет нужна… — Отец Федор слегка задыхался.

— Но разве есть у вас врач?

Отец Федор опять улыбнулся. С усилием.

— Зачем врач, если Господу угодна будет моя кончина. А если нет… Не утруждайтесь, майор, я у себя дома…

Майор Грей сказал нерешительно:

— Мы подобрали на месте стычки двух солдат, но не нашли трубача. Вам известна его судьба?

— Да. Слегка поцарапан и отправлен в тыл…

— Если вы в силах, то не могли бы способствовать его возвращению? Мы пришлем парламентера…

— Боюсь, что поздно. Скорее всего, его уже повезли в Холмогоры.

Это была правда. На укрытой в лесу бричке губернского секретаря собирались отправить ближнему начальству донесение и пленного.

— Плен — слишком тяжкое испытание для ребенка, — сказал майор Грей.

Отец Федор слегка поднял голову:

— А пули? Не слишком тяжкое… испытание? Посылать детей на войну — совместимо ли это с христианскими заповедями?

Майор ответил неохотно:

— Это его судьба. Он сирота, воспитанник полка…

— Он ребенок… И счастливая судьба его, может быть, в том, что плен спасет от смерти… Успеет еще повоевать, когда вырастет.

— Может быть, вы и правы, — помолчав, отозвался майор. — Тогда прощайте, ваше преподобие. И еще раз примите мои соболезнования… Не думал, кстати, встретить здесь кого-то, знающего наш язык. Судя по всему, вы джентльмен.

— Что вы имеете в виду? Дворянство? Был когда-то…

Майор Грей слегка поднял брови.

— Мало того, майор, я был, как и вы, офицером. Только плохим…

Майор Грей сказал учтиво:

— Я не заметил в вас недостатка храбрости.

— Этого мало. Чтобы быть хорошим офицером, надо уметь без колебаний посылать на смерть множество других людей. У меня это не получилось. И государь не простил. Вот и вышло: сперва матросская лямка, потом ушел в монастырь, ибо в Господе единственное видел утешение и спасение. И оправдание, если хотите… Простите, что открываю душу незнакомому человеку. Боюсь, что другому уже не успею.

— Давайте все-таки на пароход!

— Нет, благодарю вас, майор… О судьбе мальчика при случае вас известят через парламентера… Главное, что мальчик остался жив…

…Мальчик остался жив!.. Мальчик жив! Эта летучая весть пронеслась по коридорам больницы, вырвалась за ее стены, сделала счастливыми многих людей. Ушел от них изматывающий душу страх, ушла тоска…

И женщина, которая неотрывно провела у его

койки множество часов, наконец расслабила плечи, откинулась на спинку стула, закрыла глаза.

— Вам надо поесть и поспать, — сказал ей чернобородый доктор Андрей Львович.

— Как? Уйти?.. Нет. Еще нет!

— Вам сюда принесут еду. И поставят раскладушку.

— Но я еще посижу. Немного…

Доктор наклонился над мальчиком. Почти все провода и шланги были уже убраны. Щеки порозовели. Ресницы иногда дрожали, и дважды сомкнулись и приоткрылись губы, неслышно обрисовав звуки "м" и "а".

Женщина оглянулась на врача, сказала просительно:

— В конце концов, разве дело в кровном родстве…

— Конечно, конечно… Вы все же поешьте и отдохните, прошу вас. А я пришлю медсестру для укола.

— Зачем?! Разве ему хуже?

— Не для него. Для вас. Иначе вы сляжете…

— Ну хорошо… — Она с трудом заставила себя убрать ладонь с запястья мальчика. Тот опять шевельнулся.

— Кстати, — вспомнил Андрей Львович, — да-

вайте я хотя бы задним числом выпишу вам пропуск. Надежда Яковлевна… а, простите, как ваша фамилия?

Она улыбнулась. Теперь, когда страшное осталось, кажется, позади, в ней появилась излишняя суетливость и нервная разговорчивость.

— Да-да, пропуск, конечно… Моя фамилия Линдерс. Девичья. Когда я развелась, взяла ее снова… Говорят, у нас предок был англичанин и в середине прошлого века попал к русским в плен. Это в ту пору, когда Севастопольская оборона и так далее… Он так и остался жить в России. Странные бывают судьбы, верно?

— Бывают, — вежливо согласился доктор.

А женщина вдруг опять резко нагнулась над койкой:

— Что с ним? Так замер…

— Он просто спит, — сказал Андрей Львович.

Кинтель спал. И видел сон. Будто он с Салазкиным, с ребятами, с Корнеичем и даже с Алкой Барановой плывет на пароходе по неширокой реке с низкими берегами. Пароход старинный, неторопливый, позванивает медным колоколом и на поворотах задевает берег то одним, то другим гребным колесом. Стаями поднимаются из камышей крикливые журавли.

День без солнца, с плотными синеватыми облаками, но ветер ласковый и теплый. А река впереди распахивается — там то ли озеро, то ли морской залив.

От пасмурного горизонта, быстро вырастая в размерах, спешит навстречу кораблик. И очень белыми кажутся на фоне темных облаков его паруса. Все, кроме кливера. Тот — как пунцовый проблеск. Под кливером искрится на бушприте фонарик.

Кинтель знает, кто на этом кораблике.

А машина парохода стучит спокойно и ровно, как одолевшее невзгоды сердце.